

Борис Фирсов

# ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

1950–1980-е годы

*В основе моего понимания истории послевоенной социологии лежит оппозиция естественного и неестественного (несвободного, подконтрольного, регламентированного сверху) процессов возникновения и развития социальных наук. В СССР господствовала неестественная форма существования социологии (по аналогии с другими сферами), знаменовавшая собой полную зависимость ученых и администраторов науки от власти, прежде всего партийной и государственной. Вмешательство режима в деятельность профессионального сообщества было постоянным, оно стало предпосылкой ущемленного состояния науки и всех ее компонентов...*

**Б.М. Фирсов**



**Борис Фирсов**

# **ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ СОЦИОЛОГИИ**

**1950–1980-е годы**

**очерки**



**ЕВРОПЕЙСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ**

**Санкт-Петербург 2012**

УДК 316.3/4  
ББК 60.5  
Ф62

Рецензенты:

*Е.А. Здравомыслова, В.А. Ядов*

**Фирсов Б.М.**

Ф62 История советской социологии: 1950–1980-е годы. Очерки : [учебное пособие] / Борис Фирсов. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. — 476 с.

ISBN 978-5-94380-126-6

Волонтаристски прерванный в период сталинского правления процесс развития российской социологической науки возобновился лишь в конце 1950-х гг., после XX съезда КПСС. Цель переиздания книги — продолжить исследование ренессанса этой науки, имевшего место в последние десятилетия существования СССР. Ее центральные темы остались неизменными: роль социологов в поддержке и критике советской системы, исторический экскурс в мир сложных взаимоотношений партийно-государственной власти и интеллектуальной элиты страны. Однако, используя новые источники, автор переосмыслил меняющийся социально-политический контекст советского общества, основные теоретические и эмпирические работы по социологии и их значение для реконструкции социальной истории СССР и феноменологии советского общества; углубил исследование мотивации поведения социологического сообщества на основе анализа научных школ и наиболее типических судеб ученых; предложил свое понимание путей хождения советской социологии в поля мировой социологической науки.

Для социологов, историков, политологов, науковедов, преподавателей и студентов обществоведческих факультетов, а также широкого круга читателей, интересующихся развитием социальных наук в России.

УДК 316.3/4  
ББК 60.5

ISBN 978-5-94380-126-6

© Б.М. Фирсов, 2012

© Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2012

# Содержание

От автора (2001) .....	8
От автора (2012) .....	12
<i>Очерк 1. Несколько точек зрения на прошлое советской социологии</i> ...	17
1.1. Вступительное замечание .....	17
1.2. Документальные выдержки из «дела о реабилитации» советской социологии .....	19
1.3. Периоды истории советской социологии (субъективная версия Владимира Шляпентоха) .....	43
1.4. Состояние социологической науки сквозь призму перестроечной гласности .....	49
1.5. Вместо заключения .....	55
<i>Очерк 2. Становление науки и преемственность социологической традиции</i> .....	57
2.1. Вступительное замечание .....	57
2.2. О становлении русской социологической науки .....	60
2.3. Политическая ангажированность отечественной социологии .....	65
2.4. Марксизм и русская социология .....	67
2.5. О механизме всевластного распорядительства интеллектуальной жизнью .....	70
2.6. Марксизм и советская социология 1920–1940-х гг. ....	79
2.7. Возникновение разрывов в социологическом знании .....	83
2.8. О преемственности социологической традиции .....	89
2.9. Общий вывод к проблеме становления и развития дисциплины .....	94
<i>Очерк 3. Социология между обществом и властью</i> .....	96
3.1. Вступительное замечание .....	96
3.2. Волны радикализации общественно-политической жизни страны и социология .....	98
3.3. Социологические исследования и советские руководители. Манипулирование информацией .....	108
3.4. Влияние тотальной идеологизации .....	112
3.5. О диссидентской роли советских социологов .....	121
3.6. Общество и советская наука: мифы 1960-х гг. (резюме к третьему очерку) .....	125

<i>Очерк 4. Субъективные факторы и мотивация социологической деятельности</i> .....	129
4.1. Вступительное замечание .....	129
4.2. Плюрализм целей социологической деятельности .....	130
4.3. Социологи и интеллектуальная среда .....	134
4.4. Шесть типических моделей отношений социологов с властью .....	137
4.5. Независимо мыслящий ученый (модель 7) .....	151
4.6. Возвращаясь к семинарскому движению 1960–1970-х гг. ....	156
4.7. Причины культурного дефицита социологической мысли ....	165
 <i>Очерк 5. Социальная история советского общества и социологические исследования</i> .....	170
5.1. Вступительное замечание .....	170
5.2. Социологическая база для реконструкции социальной истории .....	173
5.3. Социологическое видение развития общественной жизни ....	177
5.4. Генезис качеств советского человека .....	181
5.5. Поиск правдивого знания как отражение социальной истории .....	192
 <i>Очерк 6. Научные школы как опора и «кристаллизаторы» социологической науки</i> .....	212
6.1. К определению научной школы .....	212
6.2. Роль этического измерения .....	216
6.3. Новосибирская экономико-социологическая школа .....	217
6.4. Становление советской школы социологии труда .....	225
6.5. Комплексное исследование «Общественное мнение» («Таганрогский проект», 1967–1974) .....	234
6.6. О реальном значении школ и главном препятствии для их развития .....	240
6.7. Век XXI: изменится ли что-то в судьбе научных школ? .....	244
 <i>Очерк 7. Как наводились мосты между советской и зарубежной социологией, или «self-made Sociologists»</i> .....	248
7.1. Вступительное замечание .....	248
7.2. Сначала было печатное слово... ..	251
7.3. Как Роберт Мертон пришел на помощь советской социологии .....	255
7.4. Три этапа освоения парсонизма .....	259
7.5. «Профессор Сорокин? Откуда он там взялся?» .....	265
7.6. Польская социология: Восток — на Западе и Запад — на Востоке? .....	270
7.7. Возрождающаяся советская социология глазами западных социологов .....	278
7.8. Подводя итоги... ..	290
 <i>Очерк 8. Советская социология в период перестроечных перемен</i> .....	292
8.1. Послесловие к брежневскому времени и предперестроечным годам .....	292
8.2. Новосибирский манифест .....	301

8.3. Одиссея помощников партии .....	304
8.4. Борьба за возвращение первородного имени .....	313
8.5. Социологическая наука в поисках себя и места в изменяющемся обществе .....	320
8.6. Финал: два события из летописи советской социологии .....	326
<i>Очерк 9. О советской социологии по гамбургскому счету .....</i>	<i>330</i>
9.1. Максима Бориса Грушина .....	330
9.2. Амбивалентность социальных ролей советских обществоведов .....	335
9.3. Социологическое сообщество в зеркале поколенческого анализа .....	344
9.4. «Бермудский треугольник» идеологий .....	350
Эпилог .....	358
<i>Приложение 1. Б.М. Фирсов. Как создавался курс по истории советской социологии 50–80-х гг. (рассказ в документах) .....</i>	<i>359</i>
<i>Приложение 2. Интервью с доктором философских наук Б.М. Фирсовым .....</i>	<i>371</i>
<i>Приложение 3. Б.М. Фирсов. «...О себе и своем разномысли...» .....</i>	<i>390</i>
<i>Приложение 4. Б.З. Докторов, Б.М. Фирсов. Правилom является разномыслие .....</i>	<i>416</i>
<i>Приложение 5. Профессиональный кодекс социолога .....</i>	<i>439</i>
Литература .....	443
Именной указатель .....	459
Список сокращений .....	469
Summary .....	473
Contents .....	474



## От автора<sup>1</sup>

Предпринимаемая мной попытка воссоздать картину развития советской социологии во второй половине истекшего века не является пионерным начинанием — она всего лишь продолжает дело, начатое другими. Первые решительные шаги в направлении недавнего советского прошлого этой науки сделал «Социологический журнал», который организовал дискуссию о роли советской социологии шестидесятых годов в реформировании общества (1994 г.)<sup>2</sup> и опубликовал серию мемуарных статей ведущих российских ученых. Затем с легкой руки редактора журнала Г. Батыгина вышла в свет обстоятельная книга воспоминаний и документов, посвященных отечественной социологии 60-х гг.<sup>3</sup> В промежутке между этими двумя событиями появился сборник документов директивных органов (1953–1968 гг.), помогающих понять подчиненную роль социологии в системе властных отношений советского государства<sup>4</sup>.

Инициативу москвичей подхватили петербургские социологи. Их историко-научная акция — Международная конференция «Ленинградская социологическая школа (1960–1980-е годы)» — привела к изданию ценных материалов о деятельности локального социологического сообщества в условиях жесткого идеологического контроля

---

<sup>1</sup> Раздел, предваряющий 1-е издание, — см.: *Фирсов Б.М.* История советской социологии 1950–1980-х годов: Курс лекций. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в С.-Петербурге, 2001.

<sup>2</sup> См.: Российская социологическая традиция шестидесятых годов и современность: Материалы симпозиума, 23 марта 1994 г. / Под ред. В.А. Ядова, Р. Гратхоффа. М.: Изд-во Института социологии РАН, 1994.

<sup>3</sup> См.: Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред. и авт. предисл. Г.С. Батыгин. М.: Русский христианский гуманитарный институт, 1999.

<sup>4</sup> См.: Социология и власть: Сборник. Документы. 1953–1968 / Под ред. проф. Л.Н. Москвичева. М.: Academia, 1997.

и цензуры<sup>5</sup>. Процесс, таким образом, пошел, обозначив собою не ограниченную временем возможность приближения к абсолютной исторической истине путем порождения истин относительных.

Наблюдавшаяся смена парадигм развития России лишь подчеркнула необходимость индивидуальных и коллективных забот о сохранении и углублении исторической памяти как условия преемственности социологического знания и опыта его добывания. Носителями этой памяти выступили два поколения ученых — основатели советской послевоенной (в другом выражении — доперестроечной) социологии и идущие им на смену новые когорты российских обществоведов. Последним не раз пришлось перебеливать летописи и хроники своих предшественников, каждый раз изменяя и обогащая, казалось бы, устоявшиеся и проверенные временем и научной практикой представления. Неоднозначность и изменчивость исторических реконструкций — жесткое правило, которому подчиняется генезис исторического и историографического знания.

Признавая всевластие этого правила, я все же взял на себя смелость предложить свой взгляд на историю советской социологии 1950–1980-х гг. Может показаться, что частное решение такой задачи облегчено моим непосредственным участием в развитии социологической науки начиная с середины 60-х гг.<sup>6</sup> Но в наиболее общем случае даже искренно выраженные переживания, свободные от предвзятости или, напротив, от холода отрешенности, не гарантируют полной достоверности наблюдений, «особенно если наблюдатель наблюдает самого себя»<sup>7</sup>. Помня об этом, я буду пользоваться не столько личным опытом, сколько опытом других, кристаллизованным в трех группах источников — документах, устных историях (личных свидетельствах) и наблюдениях моих многочисленных коллег по социологическому сообществу. Их мнения, впечатления, высказывания, а часто и мироощущение в целом, предвосхитили многие страницы книги, повлияли на содержание отдельных ее разделов. Соавторство, скорее, чем авторство, лежит в основе профессиональной мотивации, побудившей меня выступить в роли летописца. Я готов отнести эту книгу к жанру коллективного повествования о том, что случилось с социологией и социологами в интересующий нас период жизни советского государства. Но, как автор, я намереваюсь убедить читателя, что так было, но, правда, могло быть

---

<sup>5</sup> См.: Ленинградская социологическая школа (1960-е–1980-е годы): Материалы междунар. науч. конф. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998.

<sup>6</sup> См.: Интервью с доктором философских наук Б.М. Фирсовым // Журн. социологии и социальн. антропологии. 1999. Т. 2, № 4(8). С. 5–22; прилож. 2 к настоящ. изд.

<sup>7</sup> См.: Российская социология шестидесятых годов... С. 7.

и иначе. Как было на самом деле — предстоит открывать еще не одному поколению исследователей.

Остается добавить, что в основе книги лежит курс лекций, прочитанный в 1999–2001 учебных годах слушателям факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, и объяснить центральную идею замысла как этих лекций, так и самой книги. Перед началом работы над курсом я решил инициировать экспертный опрос группы авторитетных российских и зарубежных социологов и предложил им на выбор несколько вариантов общей содержательной направленности лекций<sup>8</sup>. По *первому варианту*, акцент следовало сделать на анализе путей становления и развития различных областей социологического знания в послесталинский период. Согласно *второму варианту*, предполагалось представить каждое из отобранных основных направлений исследований с помощью case study (детальный разбор наиболее представительных, классических работ советского периода, сфокусированный на их теоретических предпосылках, методологии, технике сбора данных и полученных результатах). *Третий вариант* имел своей целью показать «восхождение на Голгофу» социологического знания в условиях советского государства, при этом центральной темой должны были стать отношения между социологией и властью. Эксперты не были едины в своих мнениях, но отдали предпочтение *третьему* варианту. Я последовал за большинством своих коллег, отчетливо осознавая, что мой выбор не лишает первый и второй варианты равного права на существование и воплощение в жизнь.

Пользуюсь случаем, чтобы выразить свою признательность рецензентам книги — доктору философских наук В. Ядову (Институт социологии РАН) и кандидату социологических наук Е. Здравомысловой (Европейский университет в Санкт-Петербурге), а также всем участникам экспертного опроса: доктору философских наук Г. Батыгину, доктору философских наук Б. Докторову, академику РАН Т. Заславской, доктору философских наук А. Здравомыслову, доктору философских наук И. Кону, доктору философских наук С. Кугелю, доктору философии (Ph.D.) Б. Рублу, профессору П. Тамашу, доктору философии (Ph.D.) Д. Шалину, профессору Т. Шанину, кандидату философских наук Ф. Шереги, доктору исторических наук О. Шкартану, профессору В. Шляпентоху, доктору философских наук В. Шубкину, доктору философских наук В. Ядову — за ненавязчивое наставление автора на путь глубокого понимания особенностей развития отечественной социологии.

---

<sup>8</sup> См.: Фирсов Б. Как создавался курс по истории советской социологии (1950–1980-е гг.) (рассказ в документах) // Журн. социологии и социальн. антропологии. 2000. Т. 3, № 2 (10). С. 154–169; прилож. 1 к настоящ. изд.

Особая благодарность преподавателям и слушателям факультета политических наук и социологии ЕУСПб, чей неподдельный интерес к истории советской социологии повлиял на мою решимость написать эту книгу. Благодарю от всего сердца сотрудников ректората ЕУСПб. Их поддержка, помощь и участливое отношение к моим авторским занятиям в период исполнения служебных обязанностей ректора ощутимо ускорили выпуск книги в свет. Редактор книги *Е. Васьковская* без усталости искала и находила поводы для повышения литературных достоинств авторского текста. Референт *Н. Иванова* стойчески вынесла муки, связанные с размножением неисчислимых вариантов рукописи. Заведующая библиотекой *О. Лапенайте*, не считаясь с затратами времени и сил, с неутомимостью пчелы разыскивала материалы для чтения курса лекций и написания книги, едва в них возникала необходимость. *Т. Николаева* осуществила компьютерную верстку книги с непостижимой для меня скоростью и мастерством. Всем им я выражаю свою искреннюю признательность.

*Б.М. Фирсов*  
2001 год

## От автора

За время, прошедшее после выхода в свет первого издания моей книги в 2001 г., российскими учеными было сделано чрезвычайно много для всестороннего познания истории русской (дореволюционной), советской и российской (постсоветской) социологии. Их новые работы позволили основательно углубить понимание путей развития нашей дисциплины за весь период ее существования — начиная со второй половины XIX в. и до наших дней.

Назову некоторые из этих научных публикаций: *Алексеев А.Н.* Драматическая социология и социологическая ауторефлексия: В 4 т. СПб.: Норма, 2003. Т. 1–2; 2005. Т. 3–4; *Батыгин Г.С.* «Социальные ученые» в условиях кризисных структурных изменений в дисциплинарной организации и тематическом репертуаре социальных наук // Социальные науки в постсоветской России / Под ред. Г.С. Батыгина, Л.А. Козловой, Э.М. Свицерски. М.: Академический проект, 2005. С. 6–107; *Беляева Л.А.* Эмпирическая социология в России и Восточной Европе: Учебное пособие. М.: Издательский дом ГУ–ВШЭ, 2004; *Голосенко И.А.* Социологическая ретроспектива дореволюционной России. Избранные произведения в 2 книгах. СПб.: Социологическое общество им. М.М. Ковалевского, 2002; *Грушин Б.А.* Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. М.: Прогресс-Традиция, 2001. Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева; 2003. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (1); 2005. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (2); *Здравомыслов А.Г.* Социология в современной России // Здравомыслов А.Г. Социология: теория, история, практика. М.: Наука, 2008а. С. 106–211; *Левада Ю.* Ищем человека. Социологические очерки 2000–2005. М.: Новое издательство, 2006а; *Осипов Г.В., Москвичев Л.Н.* Социология и власть (как это было на самом деле). М.: Экономика, 2008; *Полвека борьбы и свершений.* М.: Вече, 2008; *Свешникова О.* Юбилей Геродота: шестидесятилетнее прошлое в зеркале современной социологии // НЛО. 2009. № 98. С. 97–110; *Социальные науки в постсоветской России / Под ред. Г.С. Батыгина, Л.А. Козловой, Э.М. Свицерски.*

М.: Академический проект, 2005; *Социология в Ленинграде — Санкт-Петербурге* во второй половине XX века / Под ред. А.О. Бороноева. СПб., 2008; *Экономическая социология в России. Поколение учителей* / Сост. и отв. ред. В.В. Радаев. М.: Издательский дом ГУ–ВШЭ, 2008; и др.

Поле изучения прошлого отечественной социологии интенсивно расширяется. Ныне профессиональное сознание уверенно включает сюда (помимо «традиционных» сюжетов, еще 10 лет назад поражавших своей необычностью и новизной) процессы, отражающие состояние и развитие социальных наук; метаморфозы важнейших направлений исследований; истории научных школ; профессиональные и жизненные, социально-личностные и творческие поиски научных коллективов, групп и отдельных ученых. Исторические главы и разделы стали неотъемлемой частью общих учебников и пособий по социологии, а также монографий, посвященных теории, методологии и методам социологических исследований.

Творческим вкладом в изучение прошлого социологии являются интеллектуальные автобиографии и воспоминания российских социологов, опубликованные в последние годы: *Заславская Т.И. Моя жизнь: воспоминания и размышления // Избранное*. Т. 3. М.: ЗАО «Экономика», 2007; *Кон И.С. 80 лет одиночества*. М.: Время, 2008; *Кугель С.А. Записки социолога*. СПб.: Нестор-История, 2005; *Руткевич М.Н. Развитие философии и социологии в Уральском университете (40–70 гг. XX века)*. М.: Центр социального прогнозирования, 2003; *Тукумцев Б.Г. Очерки истории первой самарской социологической лаборатории*. Самара, 2000; *Шляпентох В.Э. Страх и дружба в нашем тоталитарном прошлом*. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2007; *Яницкий О.Н. 1) Семейная хроника (1852–2002)*. М.: Изд-во LVS, 2002; 2) *Досье инвайронменталиста. Очерк интеллектуальной биографии*. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 2009; и ряд др.

По смыслу и содержанию к названным публикациям примыкают коллективные труды: *Vivat, Ядов! К 80-летию юбилею: Сборник*. М.: Новый хронограф, 2009; *Воспоминания и дискуссии о Юрии Александровиче Леваде* / Сост. Т.В. Левада. М.: Издатель Карпов Е.В., 2010; *Открывая Грушина* / Ред. сост. М.Е. Аникина, В.М. Хруль. М.: Изд-во Московского университета, 2010; *Воспоминания и дискуссии о Юрии Александровиче Леваде* / Сост. Т.В. Левада. М.: Издатель Карпов Е.В., 2010; *Памяти Юрия Александровича Левады* / Сост. Т.В. Левада. М.: Издатель Карпов Е.В., 2011.

Социолого-мемуарная литература обладает громадным познавательным потенциалом. Сквозь призму жизненного и научного опыта

авторов воспоминаний становится понятным и зримым не только рождение дисциплин и направлений (в случае И. Кона это история социологии, социология личности, психология юношеского возраста, этнография детства, сексология; в случае с Т. Заславской — это экономика и социология деревни, экономическая социология). Особое значение биографии и воспоминания социологов имеют для понимания нашего советского прошлого, которое цепко держит в своих далеко не ласковых руках громадные массы людей, представляющих все поколения, вышедшие на историческую арену.

Важным средством обновления источниковой базы стал интернет. Назову, прежде всего, сайт Фонда «Международная биографическая инициатива» (IBI) (<http://www.unlv.edu/centers/cdclv/programs/bios.html>), созданный усилиями наших соотечественников, работающих и живущих сейчас за рубежом: Бориса Докторова (профессор, независимый исследователь, США) и Дмитрия Шалина (профессор, университет штата Невада в Лас-Вегасе, США). Особо отмечу титанические усилия Б. Докторова, связанные с развитием жанра биографического интервью. Современная техника позволила преодолеть Атлантический океан, разделяющий США и Россию, и создать условия для полноценных диалогов Б. Докторова с представителями различных поколений российских социологов.

Заметно усилилась роль научной периодики. Журналы, в первую очередь «СОЦИС», «Социологический журнал», «Журнал социологии и социальной антропологии», «Мир России», «Социальная реальность», «Новое литературное обозрение», существенно расширили представления о прошлом русской, советской и российской социологии. Их исторические рубрики открывают доступ к малоизвестным фактам и событиям истории нашей науки. Особо плодотворными представляются усилия петербургского издания «Телескоп — журнал социологических и маркетинговых исследований». Раздел «Современная история российской социологии» появился в нем в 2004 г. (№ 4), и с той поры все номера журнала, выходящего 6 раз в год, содержали материалы на эту тему. Эстафету подхватили академические институты. Институт социологии РАН опубликовал на своем сайте документы Юбилейной сессии, посвященной 50-летию со дня основания Советской социологической ассоциации и 40-летию первого академического института социологии (см.: [http://www.isras.ru/index.php?page\\_id=688](http://www.isras.ru/index.php?page_id=688)). Интересным кажется цикл бесед с учеными-гуманитариями «Взрослые люди» (см.: <http://www.polit.ru/story/vzr.html>).

Такое изобилие новых сведений лишь подтвердило актуальность многих черт и характеристик отечественной социологии, выявленных ранее, в частности не изменило значения ее советского периода. Советское прошлое по-прежнему с нами, его постоянные рецидивы и вспле-

ски напоминают о том, что былое не следует забывать. Независимость любой науки от власти остается условием ее успешного развития и в изменившихся макросоциальных обстоятельствах. По этой причине я не изменил версию истории, предложенную в 2001 г., решив, что она нуждается в уточнениях и дополнениях, но не подлежит ревизии под влиянием переживаемого нами времени и новых фактов о прошлом отечественной социологии, которые стали известными в результате исторических разысканий последнего десятилетия.

Готовя второе (дополненное и переработанное) издание, я сделал акцент на комментариях и документальных иллюстрациях к «каноническому» тексту, написанному ранее, не забыв исправить опечатки и неточности. Дополнения, если они имели место, были связаны с ликвидацией немалого числа «белых пятен», лакун в моем первоначальном повествовании. Так, появился новый раздел, целиком посвященный контактам западной и отечественной социологии, без которых последняя не могла бы стать частью мировой науки. Я счел необходимым резюмировать каждый основной раздел книги, с тем чтобы облегчить читателям мониторинг движения отечественной социологии в историческом времени. Особое внимание было обращено на заключительную часть книги, где, помимо гамбургского счета нашей дисциплине, выставленного в конце советской истории, предпринимается попытка проанализировать качества научной среды, с которыми социология вошла в новый, российский период своей истории. Именно эту среду предстоит усовершенствовать социологам новой России, единственным правопреемникам их советских предшественников.

Сама среда, в свете исследовательских данных последних лет, предстает далеко не однородной, в сильной степени сегментированной. Силы сцепления между этими сегментами отсутствуют, как и отсутствуют реальные лозунги для интеграции социологического сообщества, объединенного формальной принадлежностью к одному профессиональному цеху, но разъединенного различием интересов и устремлений его сегментов (частей). Какая из сил (центробежная или центростремительная) при этом возобладает — вопрос для меня открытый, но не лишенный остроты и актуальности по причине, которая корнями уходит в долговременные структуры российской ментальности и в советское прошлое, в котором наука была жертвой «разрешительного характера» развития, установленного партийно-государственной властью.

Доктор философских наук и мой учитель *В. Ядов* (Институт социологии РАН) и кандидат социологических наук *Е. Здравомыслова* (Европейский университет в Санкт-Петербурге) взяли на себя, как и при подготовке первого издания моей книги, тяжкое бремя рецензентского труда. Сердечное спасибо им, а также моим российским и зарубежным



коллегам — кандидату философских наук *А. Алексееву*, доктору философских наук *Б. Докторову*, академику РАН *Т. Заславской*, доктору философских наук *С. Кугелю*, доктору философских наук *Л. Столовичу*, доктору философии (Ph.D.) *Д. Шалину*, профессору *Т. Шанину*, кандидату философских наук *Ф. Шереги*, профессору *В. Шляпентоху*, с которыми я постоянно сверял свое понимание прошлого, настоящего и будущего отечественной социологии. Смерть, над которой мы не властны, вырвала из этой благорасположенной ко мне среды доктора философских наук *И. Кона* и доктора философских наук *А. Здравомыслова*. Благодарная память о них, ушедших навеки, будет моим неизменным спутником на всю оставшуюся жизнь.

Особой благодарности заслуживают преподаватели и слушатели факультета политических наук и социологии ЕУСПб, чей неподдельный интерес к истории советской социологии повлиял на мою решимость написать эту книгу в 2001 г., а затем переиздать ее спустя десятилетие.

Благодарю от всего сердца сотрудников ректората, издательства и библиотеки ЕУСПб. Их поддержка, помощь и участливое отношение к моим авторским занятиям заметно ускорили переиздание книги.

Как и 10 лет назад, вновь бесценную помощь мне оказали редактор книги *Е.И. Васьковская* и референт *Н.А. Иванова*, а также *А.Д. Гроздилова*, составившая Именной указатель, за что я выражаю им свою глубокую признательность.

*Б.М. Фирсов*  
*Январь 2012 года*

# Очерк 1<sup>1</sup>

## НЕСКОЛЬКО ТОЧЕК ЗРЕНИЯ НА ПРОШЛОЕ СОВЕТСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

### 1.1. Вступительное замечание

В качестве стартовой отсылки к наблюдениям и опыту других социологов сошлось на В. Ядова. Выступая на конференции по истории ленинградской социологической школы в сентябре 1994 г., он сказал следующее: «...у нас в институте, в Москве, вместе с “Социологическим журналом” мы проводили круглый стол по истории советской социологии, где собрали ведущих социологов. Участвовало человек пятнадцать, и надо сказать, что не было и двух человек, которые были бы солидарны в понимании прошлого. Один видел это как диссидентство. Другой — как науку, которую приручала партия. Третий — как борьбу разных школ внутри сообщества. Четвертый говорил, что социологи, как собаки, делятся на служебных, охотничьих и декоративных. Мое выступление свелось к тому, что никто историю социологии правдиво не напишет: она видится с разных точек зрения по-разному» (Ленинградская социологическая школа 1998: 14–15).

Я был участником этого круглого стола; и, насколько помню, вопрос Ядова (возможно ли написать подлинную историю науки?) стал одним из центральных в ходе развернувшейся дискуссии. Сошлись на том, что дело это чрезвычайно трудное. И вовсе не потому, что люди могут исказить правду, или потому, что не удастся добраться до архивных «залежей». Субъективизм представлений до известной степени преодолевается путем наложения и сопоставления разных точек зрения. Что касается архивных данных, то их рано или поздно открывают не только для исследователей, но и для широкой публики. Наибольшая трудность

---

<sup>1</sup> В предлагаемом переиздании книги изменился подзаголовок: вместо слова «лекции» появилось слово «очерки». Я сознательно решил обеспечить себе большую свободу в изложении исторического материала и отказаться от слишком жесткой его систематизации. Формой выражения этой свободы стали, в частности, обстоятельные примечания (комментарии) по поводу освещаемых в книге событий, фактов и документов истории советской социологии.

состоит в выборе схемы, а не в буквальном воссоздании того, кто, какое слово и где сказал (Российская социологическая традиция 1994: 30, 34).

Ядро возможной схемы, какой она видится мне в результате долгих размышлений и постоянных обращений к опыту жизни в социологической науке, начавшейся в середине 60-х гг., — социальный и социально-политический контексты развития советского общества, усиливающиеся во времени столкновения партийно-государственных структур и интеллектуальной мысли. С тех же позиций, кстати сказать, следует смотреть и на современную (постсоветскую) социологию. Ее роднит с советской социологией неустребованность со стороны власти, которая ныне уже не тоталитарная, а претендующая на право называть себя демократической.

Такой истории пока нет, но именно ее следует создавать и адресовать молодым российским обществоведам, которые никогда в руках не держали советский паспорт. В качестве приближения к этой цели хочу предложить три сюжета.

Один из них — документальный рассказ о том, как пораженная в правах наука обретала статус полноценной научной дисциплины в условиях хрущёвской «оттепели» и брежневского «застоя»<sup>2</sup>. Отношение высшего политического руководства страны к формирующейся науке было неоднозначным. Социологию числили «прикладной дисциплиной», обязанной сообразно этому «званию» руководствоваться исключительно канонами исторического материализма. Использование социологами понятий и теорий, выработанных мировой социологической мыслью, рассматривалось тогда партийными догматиками не иначе как «сдача идеологических позиций», «протаскивание» в советскую социологию идей «буржуазной социологии».

---

<sup>2</sup> После выхода первого издания книги некоторые из коллег, в частности профессор Венского университета М. Фюельзак (Манфред Фюельзак (нем. Manfred Fuelsack; род. 1960, Вена) — австрийский социолог; последователь Никласа Лумана. Преполагает в Венском университете социологию, философию, историю труда и другие дисциплины), упрекнули меня в том, что, описывая историю возрождения социологии в послесталинский период, я немотивированно остановил документальный рассказ на 1971 г. и резко изменил дискурс, обратившись к субъективным версиям процесса. Он полагал, что было бы правильнее сначала создать скелет (схему) развития социологии вплоть до краха советского общества, а затем оснащать эту схему фактическим материалом, почерпнутым из различных документальных и личных источников. Смягчить этот упрек помогли мне события, связанные с празднованием в 2008 г. 60-летия Советской социологической ассоциации (ССА) и 50-летия Института социологии РАН. К этим примечательным датам было приурочено издание ряда новых публикаций, в том числе книги (см.: Осипов, Москвичев 2008), для которой профессор Л.Н. Москвичев подготовил очередное, третье по счету, собрание документов ЦК КПСС и Президиума АН СССР, относящихся к 1973–1984 гг. Это позволило мне довести документальную версию истории советской социологии до начала перестройки.

Еще один сюжет — периодизированная история советской социологии как функция ее отношений с властью. Основной источник, послуживший для разработки этой версии, — длительные наблюдения профессионального социолога, вынужденно покинувшего СССР в 1979 г.<sup>3</sup>

И последний сюжет — все та же наука, но глазами социологического сообщества, которое получило возможность непредвзято, независимо от власти подвести итоги пути, пройденного от начала реабилитации науки до наступления перестроечных перемен. Все три сюжета имеют дело с одним и тем же объектом, представленным в трех связанных между собой измерениях. Выражением этой связи является изменчивая во времени, конъюнктурная политика партии и государства по отношению к социологии.

## **1.2. Документальные выдержки из «дела о реабилитации» советской социологии**

Документы и материалы ЦК КПСС, Президиума АН СССР, ряда других ведомств отражают медленный и осторожный процесс реабилитации социологии, которая утратила свои позиции в результате целенаправленных репрессий в довоенные годы (Социология и власть 1997, 2001; Осипов, Москвичев 2008). Процесс реабилитации растянулся, она проходила с большими сложностями на фоне многолетних аппаратных игр. Как это происходило, будет показано ниже с сохранением хронологического порядка документированных событий.

### **1953 год**

Первые события имели место вскоре после смерти Сталина. АН СССР опасалась заметного и быстрого признания науки, находившейся под многолетним запретом. Поэтому когда Международная социологиче-

---

<sup>3</sup> Ряд коллег считали, что личные свидетельства В. Шляпентоха следовало бы для обоснования предлагаемой периодизации сопоставить с аналогичными свидетельствами других социологов. Мое высокое доверие к выбранной версии определено многолетним знакомством с этим ученым и верой в его человеческие и профессиональные достоинства. «Он всегда был окружен своими аспирантами, относившимися к нему как к искреннему и высокоморальному человеку... и настоящему ученому, поражавшему широкой научной эрудицией и настоящей профессиональной этикой» (Шереги 2006: 9–10). Покинув не по своей воле Отечество в середине 1980-х гг., он был первым советским социологом, кто посмотрел правде в глаза и написал неподцензурную версию возрождения социологической науки в постсталинское время. Сомневаться в ней у меня, как и у многих моих коллег-социологов, нет никаких оснований.

ская ассоциация (МСА) приняла решение провести в 1954 г. очередной, II Всемирный конгресс социологов в г. Льеж (Бельгия) и известила об этом Академию наук СССР, Президиум АН отклонил приглашение участвовать в Конгрессе. Причина отказа от участия — по мнению Президиума АН, программа Конгресса была насыщена вопросами, не представлявшими интереса для советских ученых (речь шла об изменениях социального состава населения, юридической технике разрешения конфликтов и др.). Она не являлась актуальной, поскольку была оторвана от насущных проблем современной жизни и борьбы за мир. К тому же МСА была детищем «ЮНЕСКО», в деятельности которой СССР участия не принимал (Социология и власть 1997: 15 — **Документ 1.0.** *Записка АН СССР о приглашении Международной ассоциации социологов принять участие в работе II Всемирного конгресса социологов в г. Льеж (Бельгия). 27 августа 1953 г.*).

Прежде чем отказаться от участия в Конгрессе, законопослушная Академия заручилась согласием ЦК КПСС на то, чтобы социологи «остались дома» (Там же: 16 — **Документ 1.1.** *Записка Отдела науки и культуры ЦК КПСС с согласием секретаря ЦК КПСС о нецелесообразности участия АН СССР на II Всемирном конгрессе социологов. 5 сентября 1953 г.*).

### 1955 год

Известие об очередном, III Конгрессе МСА (1956 г., Амстердам, Нидерланды), где предполагалось обсуждение проблем социальных изменений в XX в., вызвало более определенную реакцию. Президиум АН СССР счел целесообразным принять приглашение и обратился в ЦК КПСС за разрешением направить в Амстердам делегацию, поскольку «участие наших ученых в конгрессе дает возможность, с одной стороны, лучше узнать наших идейных врагов, а с другой — установить связи с теми буржуазными учеными, которые придерживаются прогрессивных взглядов в области социологии». При этом констатировалось, что неучастие в таких мероприятиях приводит к распространению клеветнических измышлений в отношении советского общества (Там же: 19–20 — **Документ 2.2.** *Записка АН СССР о повторном приглашении принять участие в работе III Международного конгресса социологов. 7 октября 1955 г.*). Президиум ЦК КПСС разрешил участвовать в Конгрессе, но поручил Президиуму АН СССР рассмотреть тексты докладов и представить в ЦК состав делегации.

### 1957 год

Президиум АН СССР, соблюдая все правила обращения в высокие партийные инстанции, внес предложение о создании Советской социологи-

ческой ассоциации (ССА) и поставил вопрос о вступлении ССА с представительскими целями в члены МСА (Там же: 38–39 — **Документ 5.0. Записка АН СССР о создании Советской социологической ассоциации. 26 декабря 1957 г.**)<sup>4</sup>. Однако в первые годы своего существования эта ассоциация явилась лишь формой легализации международных контактов ограниченного числа «выездных» лиц, по преимуществу чиновников от науки и партийных идеологов, с целью ознакомления участников международных социологических форумов с «нашей позицией» по важнейшим вопросам общественного развития и воспрепятствования распространению клеветнической информации об СССР.

### 1958 год

Москва впервые за всю историю СССР стала местом проведения Международного совещания социологов по вопросу о мирном сосуществовании (январь 1958 г.). Официально оно именовалось «Вторая конференция круглого стола по социологическим аспектам мирного сотрудничества». Положительные итоги этого мероприятия связали с тем, что делегаты СССР и стран народной демократии сумели дать отпор «вражеским наскокам буржуазных социологов». Одновременно обнаружилось, что нашей успешной борьбе с чуждой идеологией и ревизионизмом мешал ограниченный доступ к статистическим материалам, которые, несмотря на их засекреченность, могли бы быть приведены на конференции не только без ущерба, но и с большой пользой для советского строя (Там же: 28–35 — **Документ 3.5. Докладная записка**

---

<sup>4</sup> Фактическое учреждение ССА состоялось в 1958 г., после того как «законодательное» решение принял ЦК КПСС. «В эти годы железный занавес, отделявший СССР и социалистические страны становится прозрачнее. Для КПСС частичная интеграция в мировое сообщество означает, прежде всего, попытку расширить сферу влияния марксизма–ленинизма. Осуществлять это предполагалось и через существующие в капиталистическом обществе институты, в том числе через профессиональное объединение социологов. Поэтому социология (и ССА в придачу) спешно институционализируется *на экспорт*; для внутреннего пользования существует исторический материализм. Сказались и настроения в странах Восточной Европы, не порвавших довоенные связи с международными объединениями обществоведов» (Бутенко 2008: 53). ССА, как покажут первые годы ее существования, позволяла контролировать не только выступления, но и зарубежные связи советских ученых. В отличие от международных традиций она не была результатом добровольного союза исследователей с целью защиты общих интересов. В СССР, продолжает И. Бутенко, ученые не имели права функционировать сами по себе, они всегда выступали в качестве «представителей» учреждений и институтов, в нашем случае назначенных (с ведома ЦК КПСС и Президиума АН СССР) на роль учредителей ССА и ее первых коллективных членов. Для всех других индивидов доступ в ССА первоначально был закрыт (Там же: 54).

*К.В. Островитянова о работе Второй конференции круглого стола по социологическим аспектам мирного сотрудничества. 3 февраля 1958 г.).*

### 1959 год

Советская делегация, сформированная в соответствии с хорошо отработанными правилами, приняла участие в IV Всемирном социологическом конгрессе МСА (Милан–Стреза, Италия). Официальный отчет об этом событии иллюстрировал живучесть стереотипов отношения к западной социологии: во время Конгресса буржуазные социологи приукрашивали капитализм, а советские делегаты и их коллеги из социалистических стран (правда, не все!) показывали наши достижения, подчеркивая важность разоблачения приемов «холодной войны»; советские делегаты увидели срастание науки с политикой капиталистических стран, воочию убедились в том, что их западные оппоненты навязывали конгрессу ревизионистскую версию марксизма и превозносили преимущества капитализма. За этим легко было обнаружить обострение кризиса буржуазной социологии, ее неспособность ответить на коренные вопросы современности. Итог был таков: мы должны усилить влияние на западную интеллигенцию. По этой причине следует публиковать больше материалов о наших успехах и, в частности, необходимо созвать в середине 1960 г. Всесоюзное совещание о задачах социологических исследований и программе коллективных работ, посвященных новым явлениям в труде и быте советского человека в период развернутого строительства коммунистического общества; создать группу социологических исследований в Институте философии АН СССР (лучшие работы издать на английском языке), а также начать выпуск ежегодников ССА (Социология и власть 1997: 47–52 — **Документ 6.2.** Из отчета делегации советских социологов «Об итогах IV Всемирного социологического конгресса». 10 октября 1959 г.).

### 1962 год

В сентябре в Вашингтоне проходил V Всемирный социологический конгресс МСА. И на этот раз советские ученые участвовали в его работе и, как всегда, успешно выступили, убедительно раскрыв глубину, силу и непобедимость марксизма — единственной научной социальной теории. Признанием их растущего международного авторитета стало избрание в состав Исполкома МСА представителя от СССР (Там же: 62–67 — **Документ 8.5.** Об итогах работы советской делегации на V Всемирном социологическом конгрессе (Вашингтон, 2–8 сентября 1962 г.). Отчет руководителя делегации члена-корреспондента АН СССР Ф.В. Константинова. 3 октября 1962 г.).

### 1965 год

В действительности эти и им подобные декларации о победном шествии и торжестве марксистского учения оказались лишены объективных оснований. Реальный авторитет общественных наук в СССР, не говоря уже о зарубежных странах, падал. Основная причина такого падения — в монополии на руководство этими науками лиц, потерявших научный, моральный и политический авторитет, дискредитировавших обществоведение. Не зная буржуазной философии, Ф. Константинов, П. Поспелов, Л. Ильичев не представляли какую-либо научную школу и являлись не более чем отдельными лицами, спаянными общностью своих карьеристских устремлений (Там же: 71–74 — **Документ 11.0**. Из письма академика П.Ф. Юдина председателю Идеологической комиссии ЦК КПСС П.Н. Демичеву о причинах падения авторитета общественных наук. 1 сентября 1965 г.). Письмо академика П. Юдина было рассмотрено на Идеологической комиссии ЦК КПСС и благополучно отправлено в архив (1966).

Во время годичной сессии АН СССР академик А. Александров предложил организовать в стране социологический институт. Его поддержал академик Б. Митин. Общее собрание АН СССР приняло решение о создании Всесоюзного центра конкретных экономико-социологических исследований и в целом конкретных социальных исследований (Там же: 75–76 — **Документ 12.0**. О сессии Общего собрания Академии наук СССР, посвященной проблемам экономического развития и технического прогресса. Из отчета Президиума АН СССР. 14 декабря 1965 г.).

### 1966 год

На Всесоюзный социологический семинар в Москве собралась, по оценкам ректора Академии общественных наук при ЦК КПСС В. Малина, едва ли не вся партия. Социологические исследования ценны для партии (научный анализ ситуации, возможность получения оперативной информации, расширение диапазона применяемых методов сбора информации), они же ценны и для ученых (выявление актуальных проблем, увеличение возможностей для реализации выводов, улучшение условий научной деятельности). Было констатировано, что повсеместно стала складываться система для социологического изучения разных сторон жизнедеятельности советского общества в интересах КПСС, появились центры, ориентированные на это изучение (Там же: 77–85 — **Документ 14.0**. Записка ректора Академии общественных наук при ЦК КПСС В.Н. Малина «О Втором Всесоюзном семинаре по социологическим исследованиям идеологической деятельности». 2 сентября 1966 г.).



**1967 год**

Наступило время для открытых действий ЦК КПСС. В начале года Отдел науки и учебных заведений совместно с Отделом пропаганды внесли предложение: придать импульс развитию общественных наук, в частности начать комплексное изучение социальных, экономических и политических проблем развития общества (но в рамках научного коммунизма). Впервые в документах этих отделов обращалось внимание на продуманное проведение конкретных социальных исследований (Социология и власть 1997: 85–91 — **Документ 15.0**. «О мерах по дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве». Записка Отдела науки и учебных заведений и Отдела пропаганды ЦК КПСС о проекте Постановления ЦК КПСС. 9 января 1967 г.).

Прошло несколько месяцев, и в ЦК КПСС поступило ходатайство Председателя Научного совета АН СССР по проблемам конкретных социальных исследований и Председателя ССА о выделении помещения для Отдела социологических исследований Института философии АН СССР, насчитывавшего уже свыше 100 человек (Там же: 93–97 — **Документ 17.0**. Письмо академика А.М. Румянцева и доктора философских наук Г.В. Осипова секретарю ЦК КПСС П.Н. Демичеву о развитии конкретных социологических исследований в СССР. 13 апреля 1967 г.).

Казалось бы, «лед тронулся», но не будем спешить с выводами. Весной 1967 г., осуществляя контроль литературы, поступавшей в Советский Союз из-за рубежа, Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР задержало книгу проживавшего в США социолога-эмигранта П. Сорокина «Пути проявления любви и сила ее воздействия», выпущенную на английском языке американским издательством. Книга, как было установлено бдительными цензорами, посылалась автором с дарственной надписью профессору И. Кону. Учитывая «враждебный характер» помещенных в ней материалов, книгу конфисковали и не пропустили адресату (Там же: 97–98 — **Документ 18.0**. Записка Главного управления по охране государственных тайн о задержании книги П. Сорокина «Пути проявления любви и сила ее воздействия». 15 мая 1967 г.). Заключение цензуры («книга является свидетельством антисоветской настроенности автора, помещенные в ней материалы носят враждебный характер») было равнозначно вынесению политического приговора ее автору.

В обоснованности такого вывода убеждает еще одно документированное событие. Незадолго до «задержания книги» П. Сорокин выразил желание «до своей кончины посетить свою родину» и направил в связи с этим письмо в АН СССР (Там же: 91–93 — **Документ 16.0**. Записка Научного совета АН СССР по истории мировой культуры о приглашении в СССР президента Американского социологического общества

П.А. Сорокина. 3 февраля 1967 г.). Партийные власти, к которым за соответствующим разрешением обратилась АН СССР, не сочли нужным приглашать в страну всемирно признанного к тому времени классика социологической мысли и не дали никаких разъяснений по данному поводу. Представляется, что конфискация книги П. Сорокина проливает свет на причины отказа ему в разрешении побывать в СССР и «ослужить службу русским ученым» (Там же: 13, 92).

Еще одно документированное событие — реакция Главлита на публикацию в журнале «Грани» статьи, написанной В. Поремским по результатам встреч с советскими учеными во время VI Всемирного социологического конгресса МСА (сентябрь 1966 г., Эвиан, Франция). Автор статьи писал о том, что социология в СССР, о которой ранее никто на Западе не знал, бурно развивается. Свыше 2000 работников вузов и научных учреждений занимаются исследованиями. Только в 1965 г. вышло в свет свыше 3000 публикаций. Этот прогресс Поремский связывал, в частности, с успехами мировой социологии, вследствие чего возник повсеместный интерес к этой науке, особенно в тех странах, где имела место научно-техническая революция, оказывавшая влияние на радикальные изменения социума. Родственность социальных проблем во всем мире, пусть разделенном на разные социально-экономические системы, была очевидна, как и необходимость искать решения самих проблем. Консультативная роль науки в этих условиях возрастала. Наступало время коллективных поисков истины, пора совместных научных исследований. Жить далее в изоляции исследователи обществ не могли, тем более что тяга к совместной деятельности неуклонно возрастала.

Поремский провел исследование «в пробирке», задав ряду участников конгресса вопрос: «Что вы думаете о вкладе советских ученых в социологию, более узко — в работу Эвианского конгресса?»

Ответы были получены знаменательные: *они говорят с нами на одном языке; приятно, что они занимаются исследованиями; они стали менее догматичными, чем ранее; большая часть сообщений была на уровне самых высоких требований; они показали высокую компетентность, держали себя непринужденно; различия в идеологии уменьшаются; социология у них может служить средством для достижения целей; их сила в едином взгляде на мир; они ведут себя по предписаниям своих организаций; у них начинается период развития социологии более продуктивный, чем ранее; я видел их склеротических чиновников и талантливых ученых; молодое поколение стремится к независимости; выступления советских ученых скорее относятся к области социальной или политической философии; философский привкус оказался очень сильным; эпоха чисто идеологических споров проходит; наступает время совместных научных дискуссий и поисков доказательств.*

Автор жаждал узнать, что думали в СССР о западных ученых, какие формы кооперации с западными социологами могли предложить. С этой целью он послал копии своей статьи в адрес 53 советских институтов. Однако бдительный Главлит посчитал статью «ограниченной для общего пользования». По одному экземпляру «злополучного» оттиска получили лишь восемь наиболее проверенных научных организаций Москвы и Ленинграда (Социология и власть 1997: 101–124 — **Документ 20.0.** *Записка Главлита о задержании статьи В. Поремского «Советская социология глазами западных ученых». 24 июля 1967 г.*).

Отчаянную, иначе не назовешь, попытку остановить намечавшееся признание, если не социологии, то социологических исследований, предприняло близкое по духу Главлиту ведомство — Комитет по делам печати при Совете Министров СССР. Главная редакция общественно-политической литературы этого Комитета инициировала составление критического обзора изданной в СССР социологической литературы. Начав «во здравие» и бегло перечислив ряд ее положительных качеств, критики произнесли громогласную и длинную речь «за упокой». Оказалось, что обозреваемую литературу более всего отличало мелкотемье, узость объектов исследования, критические перехлесты, непродуманность анкет, увлечение количественными методами, идеалистические термины, попытки создать автономную науку, стремление нагромождать «Монблан фактов», банальные и непродуманные выводы, отсутствие единого взгляда на предмет социологии как науки, намерения большинства авторов, навеянные буржуазным влиянием, оторвать социологию от исторического материализма. «Обозреватели» без тени смущения сделали вывод, который выходил за пределы их служебной и профессиональной компетентности: «Представляется, что какой-либо обособленный социологический институт или центр не сможет охватить всей совокупности необходимых как для науки, так и для практики обстоятельных и универсальных обследований жизни социалистического общества» (Там же: 125–136 — **Документ 21.0.** *Сопроводительная записка Комитета по делам печати при СМ СССР к аналитической записке... 9 августа 1967 г.*).

Однако начавшийся процесс восстановления в правах социологического знания остановить было уже невозможно. Осенью 1967 г. Президиум АН СССР утвердил и разослал по партийным инстанциям «Проект создания центрального института конкретных социальных исследований». Целями нового академического учреждения являлись организация комплексных исследований развития общественной жизни, разработка научно-методического прогноза социального развития, обеспечение научно-методического руководства конкретными социальными исследованиями в масштабах всей страны. Реализация этих целей должна была осуществляться путем работы по ряду направлений:

социальное прогнозирование, динамика социальной структуры, социальные аспекты экономической реформы и НТР, теоретические основы научной организации управления, общественное мнение, методы пропаганды и ее эффективность, проблемы подъема материального благосостояния, развитие быта, культуры, досуга в городе и деревне, развитие производственных коллективов, социальное планирование на предприятиях, социально-демографические процессы.

Символично для того времени, что проект предусматривал издание закрытого бюллетеня и организацию закрытого отдела для выполнения специальных заданий научно-информационного характера. Там же ставился вопрос о праве привлекать специалистов, не имевших ученой степени, о праве зачислять в штат института работников по месту проведения исследований, вести хоздоговорные исследования (Там же: 137–140 — **Документ 23.0.** *Записка Президиума АН СССР о реорганизации Института философии АН СССР и создании на его базе Института конкретных социальных исследований и Института философских исследований. 26 октября 1967 г.*).

### 1968 год

Наступил «великий перелом»: ЦК КПСС признал целесообразным организовать Институт конкретных социальных исследований (ИКСИ) АН СССР. Политбюро сохранило основное направление деятельности Института, предложенное Президиумом АН СССР, — изучение развития общества, но одновременно выдвинуло задачу помощи партии и государству в управлении социальными процессами, повышении эффективности производства, росте культуры и совершенствовании идеологической работы. Постановление с грифом «Совершенно секретно» подписал тогдашний Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. Брежнев (Там же: 142–143 — **Документ 23.3.** *Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об организации Института конкретных социальных исследований Академии наук СССР». 22 мая 1968 г.*).

В соответствии с директивами Политбюро ЦК КПСС, важнейшими задачами ИКСИ АН СССР стали проведение исследований для оказания научной помощи партии и государству в управлении социальными процессами, в повышении эффективности общественного производства, в культурном строительстве, совершенствовании системы коммунистического воспитания и методов идеологической работы; координация исследований в пределах системы учреждений АН СССР; подготовка специалистов путем обучения в аспирантуре и организации стажировок (Там же: 143–145 — **Документ 23.4.** *Записка АН СССР с предложениями о структуре и организации работы ИКСИ АН СССР. 15 июля 1968 г.*).

«Последняя пуговица к мундиру последнего солдата» была «пришита» Секретариатом ЦК КПСС. Этот орган не смог удержаться от ряда дополнений при окончательной редакции постановления. Институту вменялись в обязанность критика буржуазных социологических теорий, развитие социальной психологии, оказание научной и методической помощи на местах. Секретариат ЦК КПСС «достроил» отношения Института с «верхом» (Институт обязали направлять предложения в Отделы ЦК КПСС, согласовывать с ними свои планы) и разрешил Госплану и ЦСУ СССР посылать в Институт материалы, касающиеся основных направлений его деятельности. Одновременно Институту было поручено обеспечить режим хранения этих материалов совместно с компетентными органами. В итоге ИКСИ оказался полностью «встроенным» в систему партийно-государственного управления (Социология и власть 1997: 149–150 — **Документ 23.8. Постановление секретариата ЦК КПСС «Об основных направлениях работы Института конкретных социальных исследований Академии наук СССР». 10 декабря 1968 г.**).

Понять общественную атмосферу, в которой рождался институт, помогают «Краткие воспоминания о работе в “Правде”» А. Румянцева (Российская социология шестидесятых 1999: 478–484), который до назначения на должность директора ИКСИ АН СССР был редактором этой газеты (1964–1965). В октябре 1964 г. был снят Хрущёв, об «оттепели» и говорить не приходилось (она кончилась еще в достославную хрущёвскую эпоху), верх испытывал дефицит информации о реальном протекании социальных процессов в стране, но боялся зайти слишком далеко в поисках социальных истин и картин о реальном положении вещей. Более того, начались восхваление прошлого, нападки на тех, кто позволял себе критиковать Сталина (поводом для полемики явилось празднование двадцатилетия Победы). Румянцев предпринял попытку начать публикацию критических статей о разных сторонах внешней и внутренней жизни страны, но натолкнулся на сопротивление партийного аппарата. Особенно усердствовали местные партийные органы, первые секретари которых неистово защищали честь своего мундира, ссылаясь в наиболее общем случае на единичность (нетипичность) отрицательных фактов, о которых писала газета.

В своих воспоминаниях Румянцев описывает случай, который произошел с его собственной статьей «Партия и интеллигенция», опубликованной в газете «Правда» 21 февраля 1965 г. Статья была набрана и поставлена в номер. Но накануне публикации поступило указание секретаря ЦК КПСС М. Сулова убрать из нее кажущийся теперь невинным абзац: «Лучший способ избежать крайностей состоит в том, чтобы как можно шире ставить на страницах прессы животрепещущие проблемы экономики, политики и культуры, отдавая себе отчет в их взаимной зависимости, комплексности. Редакции смелее должны выдвигать

новые, еще не решенные вопросы, привлекать ученых и специалистов-практиков. Публиковать различные точки зрения по обсуждаемым проблемам. Давать возможность спорящим сторонам полностью развить свою аргументацию и, подводя итоги дискуссии, выделять наиболее обоснованные подходы к решению вопросов» (Там же: 483–484). Изымать этот абзац автор не стал по принципиальным соображениям и снял статью из набора. Вскоре он перешел на работу в Академию наук.

Но вернемся к документированным событиям.

### 1969 год

Как директор академического института, А. Румянцев начал с мер по созданию высокопрофессионального научного коллектива. Инициативы следовали одна за другой. После посещения в конце декабря 1968 г. США он направил в ЦК КПСС записку, в которой предлагал существенно расширить контакты с представителями общественных наук этой страны. Свое предложение Румянцев мотивировал тем, что, встречаясь с большим числом ведущих экономистов и социологов США, он пришел к выводу: американские обществоведы активно участвуют в политической жизни страны, в решении ее внутренних и внешних проблем (Социология и власть 2001: 61 — **Документ 3.0.** *Письмо вице-президента АН СССР А.М. Румянцева секретарю ЦК КПСС М.А. Суслову о направлении аналитического обзора работы научно-исследовательских центров США по общественным наукам. 23 января 1969 г.*). Радикализм академика был «погашен» Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС: все, что он так энергично предложил, у нас якобы уже давно и планомерно проводится в жизнь соответствующими ведомствами. Никаких экстренных «перестроечных» мер принимать не следует! (Там же: 73–74 — **Документ 3.4.** *Справка отдела науки и учебных заведений ЦК КПСС о записке А.М. Румянцева. 14 апреля 1969 г.*).

Несколько месяцев спустя Постоянное представительство СССР при ООН с оптимизмом известило Отдел науки о том, что Институт социального развития ООН планирует организацию ряда симпозиумов, в том числе и по вопросам социального прогнозирования. Участвуя в них, советские ученые могли бы получить возможность распространить во всех странах-членах ООН ленинские идеи по проблемам мирового развития и тем отметить 100-летие со дня рождения вождя мирового пролетариата. Однако приглашение, присланное А. Румянцеву и другим ученым, было отклонено Президиумом АН СССР «ввиду практической занятости... в намечаемые сроки проведения симпозиумов» (Там же: 85 — **Документ 6.2.** *Справка Отдела науки и учебных заведений и международного отдела ЦК КПСС «О приглашении тт. Румянцева А.М., Ковальского Н.А. на симпозиумы ООН». 12 ноября 1969 г.*).

## 1970 год

Глухая стена возникла на пути еще одной важной идеи — организации Центра изучения общественного мнения в составе ИКСИ АН СССР. Помимо политических препятствий, делу помешало экономическое бесправие института — отсутствие разрешения на проведение хозяйственных исследований, хотя число возможных заказчиков исследований, готовых вложить в них свои средства, превышало тогда 50 (Социология и власть 2001: 119–121 — **Документ 10.0.** *Записка Института конкретных социальных исследований АН СССР об организации Центра изучения общественного мнения. 26 июня 1970 г.*).

Партийное руководство наукой как предпосылка для успешного развития самой науки считалось делом бесспорным. Но партийный орган (в данном случае Отдел науки и учебных заведений ЦК КПСС), от которого напрямую зависели статус и прогресс социологии, все чаще выполнял функции «цензора» и «экзекутора», наказывающего отдельных ученых и научные коллективы за те или иные просчеты или ошибки. Требования, связанные с созданием атмосферы принципиальности и смелого научного поиска, нетерпимости к интригам, зашатайству и т. д., оставались без внимания. Выпущенного единожды из бутылки джина — социологию — вскоре начали загонять обратно в бутылку.

## 1971 год

В этом году закончилась трехлетняя история Советской ассоциации научного прогнозирования, созданной с целью «координации усилий ее индивидуальных и коллективных членов в деле предвидения, планирования и управления развитием науки, техники, экономики, общества». За короткий срок своего существования эта ассоциация сумела объединить свыше 2000 специалистов, желающих выполнять патриотическую работу для страны в надежде на то, что государство создаст необходимые условия для проявления полезных обществу гражданских и научных инициатив. (Каждый второй член ассоциации был членом КПСС, каждый четвертый — имел ученую степень кандидата или доктора наук, остальные — высшее образование, более 90 % — владели иностранными языками!) Но вместо того чтобы поддержать эти инициативы и обеспечить *свободу ассоциации* в стремлении активно воплощать в жизнь Программу КПСС, партийно-государственная машина приступила к полномасштабной операции, направленной на их пресечение.

Специальная комиссия ЦК КПСС, опираясь на Главлит при Совете Министров СССР, Комитет государственного контроля, аппарат ЦК КПСС, членов Политбюро и секретарей ЦК КПСС, установила, что создание общественной организации — Всесоюзного общества (Совет-

ской ассоциации) научного прогнозирования, начатое при активной поддержке ИКСИ АН СССР, Госплана СССР, Всесоюзного общества «Знание» и других официальных организаций и ведомств, сопровождалось грубейшими нарушениями всех государственных и партийных установлений, имевшихся на этот счет. Гнев вызвали самые что ни на есть заурядные факты: самостоятельное проведение всесоюзных симпозиумов по научному прогнозированию с попытками объединить разрозненные группы ученых, создав отделения Общества в союзных республиках, областях страны, и выйти за *пределы страны* с целью организации Международного конгресса по научному прогнозированию. И все это — без какого бы то ни было контроля «сверху» (Там же: 98–102 — **Документ 9.8.** *Записка Комиссии ЦК КПСС о грубых нарушениях установленного порядка при создании Всесоюзного общества научного прогнозирования. 8 января 1971 г.*).

Еще в одном документе было прямо заявлено, что большое число проводимых по инициативе ученых научных и научно-технических совещаний, съездов, конференций, симпозиумов и семинаров вызывает серьезную озабоченность высшего политического руководства страны. В 1970 году было организовано около 1600 всесоюзных научных мероприятий с участием 200 000 человек. Большинство из них были стихийными, «внеплановыми», а часто и вовсе не учитывались. «При таком огромном количестве совещаний возможны любые неожиданности, ибо ни партийные, ни государственные органы не в состоянии обеспечить должного контроля за их работой» (Там же: 108–111 — **Документ 9.10.** *Записка Комиссии ЦК КПСС к вопросу о грубых нарушениях установленного порядка при создании Всесоюзного общества научного прогнозирования. 5 марта 1971 г.*).

Точку во всей этой истории поставил Секретариат ЦК КПСС (Там же: 117–119 — **Документ 9.15.** *Постановление Секретариата ЦК КПСС «О незаконной деятельности так называемого Всесоюзного общества (Советской ассоциации) научного прогнозирования». 12 мая 1971 г.*). До принятия этого постановления Комитет партийного контроля при ЦК КПСС изъясил у ассоциации документы, и в результате ее деятельность была фактически прекращена (Там же: 21).

В том же году начались «наезды» на Институт конкретных социологических исследований, сотрудники которого демонстративно «пересмысливали» с помощью социологии коренные вопросы марксизма-ленинизма в духе ревизионизма и модных на Западе буржуазных концепций абстрактного гуманизма и позитивизма. Авторами этих нападок в виде прямых обращений в высокие партийные инстанции были ревностные стражи марксистско-ленинского учения, возмущенные тем, как изображается в ряде работ Института советское общество, партийная жизнь и руководство партии. Они бдительно заявляли, что выявленный ими тип



социологического ревизионизма требует (ни больше ни меньше!) «пристального внимания Комитета Государственной безопасности» (Социология и власть 2001: 151–153 — **Документ 16.1**. Из доклада В.В. Николаева «Решения XXIV съезда КПСС и борьба с опасными, далеко зашедшими в СССР проявлениями ревизионизма в теории марксизма–ленинизма, в марксистско-ленинской философской науке». 15 июня 1971 г.). Судя по записке Отдела науки и учебных заведений ЦК КПСС, «разоблачитель» и автор доклада своей цели не достиг. Отдел сообщил «на самый верх», что «никаких новых вопросов и фактов, которые бы уже не рассматривались в ЦК КПСС и Академии наук СССР, в представленных проф. Николаевым материалах не содержится». Видимо, в разбираемом случае Николаев «пересолил», вследствие чего его оценки состояния философских наук были названы в том же ответе «субъективными».

### 1972 год

Осада ИКСИ АН СССР, начатая отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС, вступила в решающую фазу. «Огонь на поражение» открыла группа разоблачителей, которая написала на имя секретаря ЦК КПСС М.А. Сулова письмо (см.: Там же: 154–156 — **Документ 17.0**. Из коллективного письма сотрудников гуманитарных институтов АН СССР секретарю ЦК КПСС М.А. Сулову о недостатках в работе Института конкретных социальных исследований». Зарегистрировано в Общем отделе ЦК КПСС 13 января 1972 г.). О нем следует рассказать более подробно.

Однако прежде позволю себе одно отступление. Оно касается методов партийного руководства страной. Обращения «снизу» в первые годы после революции рассматривались как средство привлечения внимания к недостаткам в различных областях жизни государства и общества. В период усиления репрессий и преследований функции этих обращений расширились: к ним стали прибегать для обличения и разоблачения отдельных лиц, групп людей, целых коллективов, а также для компрометации кого-либо в чьем-либо мнении с целью подорвать репутацию, доброе имя, опорочить, подвергнуть административному, а то и уголовному наказанию. Требование в подобных случаях соблюдения презумпции невиновности показалось бы, попросту говоря, если не смешным, то, во всяком случае, бесполезным. Ибо различные административные (а то и уголовные) санкции определялись чаще всего в так называемом партийном порядке и являлись актами произвола, вынесенными за пределы правового поля и всех видов официального законодательства. Существует множество оснований занести в категорию внесудебных расправ систему партийных расследований, инспирированных обращениями «снизу».

Содержание письма сотрудников гуманитарных институтов АН СССР на имя Суслова говорит само за себя. Оно — образец репрессивной партийно-политической культуры советского времени, которая достигла расцвета в период борьбы с космополитами в конце 1940 — начале 1950-х гг. и еще не одно десятилетие сохраняла свою живучесть, обслуживая цели удержания партийно-государственной власти в стране. Образец оказался на редкость устойчивым. Можно сказать, что в 1970-е гг. немного угасли патетика и пафос этих обращений в сопоставлении со временем, когда был жив Сталин и борцы с космополитами начинали письма с высокопарных фраз, возбуждено адресуемых вождю и учителю: «Товарищ Сталин! В искусстве (науке, культуре) действуют враги! Жизнь отвечаю за эти слова!..» Однако в целом структура и содержание инквизиторских писем (не могу назвать иначе доносы на своих сограждан) практически не изменились.

Письмо М. Суслову сохраняло многие генетические черты этого вида эпистолярного наследия поздней сталинской эпохи. После едва ли не религиозно-благочестивой и безличной ссылки на старых большевиков (совесть партии), которые, согласно партийному канону, не могли не одобрить обращения к адресату, авторы приступали к доказательствам своей исторической правоты, обличая и разоблачая ИКСИ АН СССР — «рассадник завуалированной антисоветчины» — с бескомпромиссной решительностью и гневом. Далее следовал перечень преступлений «врагов», пропитанный болезненной подозрительностью и демагогией и сопровождаемый перечислением фамилий «главарей», чей аморализм и антисоветские деяния не могли не вызвать чувства возмущения у всякого патриотически настроенного гражданина страны. Еще одна типичная деталь — смысловые ударения, которые не могли пройти мимо внимания и не возмутить адресата (напомню, что М. Суслов многие годы считался главным идеологом партии). Апофеозом письма являлся призыв к возмездию — укреплению института людьми, крепко стоящими на марксистской позиции в свете решений XXIV съезда КПСС.

Письмо являлось опорной частью «проекта» Отдела науки и учебных заведений, направленного на «реорганизацию» ИКСИ АН СССР, который под руководством не в меру либерального директора, академика А.М. Румянцева, давно вышел за «красные флажки» дозволенного регламентом партийного руководства наукой. Оно сработано топорно и сшито наспех. Загадочные безымянные авторы, фамилии которых отсутствуют даже в подлиннике документа; невероятно-странная осведомленность анонимных доносчиков о фактах, обычно устанавливаемых путем тщательной проверки на местах; непривычная для академической системы забота ведомственно разобщенных «гуманитарных институтов» о судьбе недавно организованного академического учреж-

дения; беспардонные, заведомо ложные ссылки на события, которых в действительности никогда не было, например: «Научная общественность Москвы уже много раз обращалась в партийные органы с просьбой принять безотлагательные меры в отношении *нашего института* (курсив мой. — Б.Ф.)»<sup>5</sup>, а также вороха других облыжных обвинений, настолько непристойных и неправдоподобных, что составители сборника должны были записать: «При публикации документа опущена часть текста с утверждениями, затрагивающими честь и достоинство ряда сотрудников ИКСИ АН СССР» (Социология и власть 2001: 154). Уже одно это обстоятельство давало основания перед тем, как выбросить компромат в корзину, попросить сотрудников из родственного ЦК КПСС учреждения — КГБ СССР — произвести тщательную графологическую экспертизу на предмет установления личности авторов письма. Но клеветников не ищут там, где опираются за заведомо «инсценированную» ложь.

Теперь приведу само судьбоносное и знаковое для эпохи застоя письмо.

Дорогой Михаил Андреевич!

Старые большевики, с которыми мы посоветовались, рекомендовали немедленно обратиться к Вам. Дело не терпит отлагательств.

Институт конкретных социальных исследований АН СССР (ИКСИ), Новочеремушкинская, 46, представляет собой рассадник завуалированной антисоветчины (которая выдается ведущими сотрудниками за последнее слово социологической науки), полнейшего паразитизма и, как результат этого, морального падения. Политическая деградация привела к моральному падению, злостному использованию служебного положе-

---

<sup>5</sup> Каким-то чудом не вычеркнутые из текста слова «нашего института» (я их выделил курсивом) имеют значение улики. Письмо, по моей версии, было написано по заказу Отдела науки и учебных заведений ЦК КПСС одним или несколькими сотрудниками ИКСИ АН СССР — недоброжелателями академика А.М. Румянцева, противниками его курса на развитие социологии в нашей стране. Приписывание авторства мифической группе доброхотов из гуманитарных институтов — не более чем сознательная подтасовка, связанная с желанием аппаратчиков сохранить в тайне имя своих осведомителей. Ведь, чем черт не шутит, они могут пригодиться в будущем, и не раз! То, что письмо написано неграмотно и в нем отсутствуют отточенные формулировки, значения не имеет. Во-первых, других, более образованных, стукачей не нашлось, а, во-вторых, главное в письме, по мысли заказчика, — дух, настроение авторов, их неукротимое желание сделать Институт похожим на настоящее советское учреждение. Убедить в «справедливости» написанного высокого патрона — секретаря ЦК КПСС М. Сулова — оказалось делом нетрудным и недолгим. Регистрация рокового документа в Общем отделе ЦК КПСС и начертание резолюции М. Суловым, открывавшей путь к партийной расправе над ИКСИ АН СССР, помечены одним и тем же числом — 13 января 1972 г. Торопились!

ния, взяточничеству, подделке документов, подтасовке научных фактов, разбазариванию государственных средств, круговой поруке, систематическому нарушению трудовой и производственной дисциплины.

Научная общественность Москвы уже много раз обращалась в партийные органы с просьбой принять безотлагательные меры в отношении *нашего* института.

Коллективное письмо, подписанное сотрудниками Института истории АН СССР, Международного рабочего движения, Философии АН СССР, Истории естествознания и техники с перечнем конкретных фактов, возмущивших научную общественность Москвы и переданное для разбора в ИКСИ АН СССР — фактически вместо того, чтобы разобраться по серьезному, по партийному, по деловому выявить недостатки и в корне их пресечь, ведущие научные сотрудники Института... занялись разгадыванием того, кто посмел поставить свои подписи, которых было более 40, и решили принять «контрмеры» — объявить это все клеветой, а с подписавшими письмо людьми — жестоко расправиться. Но ведь действительно Институт совершенно не похож на советское учреждение. Однобокий национальный состав привел к тому, что в Институте царит торгашеский дух, многие сотрудники ИКСИ при встрече вместо приветствия говорят: «Ну, как там наши, бьют арабов?» Социологи ИКСИ распускают заведомо ложные слухи о том, что якобы их поддерживает кто-то в правительстве, а в Академии наук — академик Федосеев П.Н. и потому нам, мол, море по колено и все позволено. Обратимся к фактам.

— Институт совершенно не выдает научной продукции, а то, что выпускается, все время получает негативную оценку специалистов, т. к. в этих «трудах» явно выражена антимарксистская направленность. — В ИКСИ отсутствует даже самая элементарная дисциплина. — Сотрудники Института по целым неделям и месяцам не появляются на работе. Деньги перечисляются на счет в сберегательную кассу. В рабочее время научные сотрудники за счет государства занимаются своими личными делами.

— Институт существует пятый год, однако до сих пор отсутствует конкурсное зачисление на должности. Это дает возможность администрации принимать на работу случайных людей, не имеющих отношения к социологии, только на основании личных знакомств и симпатий.

— В Институте отсутствуют совещания, конференции, на которых должны отчитываться секторы и отделы, потому что Институт создает только видимость работы. — Научные труды Институтом рассылаются по списку с грифом «Для служебного пользования». Это значительно затрудняет объективную оценку, т. к. закрывает доступ для внешней рецензии...

После того как партийные органы обратили внимание на слабое знание классиков марксизма, сотрудники ИКСИ, руководство Института в издательской форме восприняло это замечание и на подобие (так!) маоистов предложило произведение В.И. Ленина читать хором вслух!!!

— Вообще-то классиков марксизма-ленинизма считают в институте догматиками и ортодоксами. Их вспоминают только формально для того, чтобы вставить цитату как «принудительный ассортимент», — так говорят идеологи-«марксисты» из ИКСИ.

— Институт превращен в удобную и выгодную дойную корову.  
 — Ведущие сотрудники ИКСИ отрицают исторический материализм как основу для социальных исследований.

Люди, посмеявшие противостоять тлетворной, антисоветской атмосфере ИКСИ, вынуждены или уходить из института или кончать жизнь самоубийством... <...>

Из-за одностороннего национального состава ИКСИ наблюдается определенная сионистская направленность и своеобразная клановость.

— Руководство института неоднократно выписывало себе большие денежные премии...

— Вопреки советским законам руководство ИКСИ... помимо большой площади уже имеющейся, получили по второй однокомнатной квартире. — Для того, чтобы легче скрывать нарушения финансовой дисциплины, руководство института предоставило бухгалтеру квартиру. <...>

Убедительно просим принять самые жесткие меры в отношении нарушителей норм советской жизни и партийной дисциплины и пресечь аморальные деяния, совершаемые ведущими сотрудниками данного коллектива.

Просим укрепить Институт кадрами специалистов, четко стоящих на марксистской позиции в свете решений XXIV съезда КПСС.

Считаем необходимым просить Вашей помощи для этого.

Под письмом 26 неразборчивых подписей.

Резолюция: «Тов. Трапезникову С.П. Прошу совместно с МГК КПСС и Академией наук СССР тщательно разобраться с положением дел в Институте конкретных социальных исследований, принять необходимые меры и о результатах доложить. М. Сулов. 13/1/72 г.».

Письмо круто изменило направление деятельности ИКСИ АН СССР и его общественную и научную репутацию. По отношению к уже сформировавшейся группе социологов был применен чисто эмпирический метод «управления конфликтом», заметит известный российский социолог А. Здравомыслов. Многие «шестидесятники» даже получили некоторые дивиденды в личном плане: часть из них именно в конце 60 — начале 70-х гг. защитят докторские диссертации, станут профессорами (но без кафедр!). Однако у этого метода была и другая, не столь оптимистическая сторона. «Придя в институт, М.Н. Руткевич (новый директор ИКСИ. — Б.Ф.), как законопослушный член партии, выполняя указание П.Н. Федосеева и Г.Г. Квасова, учиняет в нем полный разгром» (Осипов, Москвичев 2008: 446). Было уволено свыше 100 сотрудников: одних перевели в другие институты, иным сказали, что «литераторы» более не нужны, третьим предложили идти на конкурс, четко зная, что они не пройдут. Многие стали искать работу сами.

Роковым, иначе не скажешь, это письмо оказалось для жизни и судьбы Алексея Матвеевича Румянцева — первого директора ИКСИ АН СССР. Нужно было обладать большим мужеством, чтобы отстаивать право науки на саморазвитие. Академик Румянцев обращается в ЦК КПСС и аргументированно пишет о том, что место конструктивной критики результатов научных исследований занимают грубые, неквалифицированные «разносы», унижающие достоинство ученых и препятствующие творческой работе. Часты случаи прямого произвола, особенно в организации научных дискуссий и определении судьбы ряда научных направлений. В итоге возникает впечатление, что отдельные факты не изолированы, что их порождает неверный, некомпетентный подход, имеющий место в руководстве научными учреждениями, особенно гуманитарного профиля. Оздоровить обстановку может только вмешательство ЦК КПСС (Социология и власть 2001: 121–125 — **Документ 11.0. Письмо А.М. Румянцева о методах руководства общественными науками. 1 июля 1970 г.**).

Аппарат в лице заведующего Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС С. Трапезникова, конечно, оказался сильнее (Там же: 130–135). Критика академика Румянцева была переведена им в разряд необоснованных политических обвинений (все ли взвесил автор записки, делая столь далеко идущий политический вывод?), некомпетентность отдела и его руководства отвергнута с порога, а обществоведы, социологи в частности, названы носителями непреодоленных нездоровых настроений, людьми во многих случаях безответственными. Сам Румянцев был объявлен «ослушником», который часто игнорирует рекомендации и даже когда соглашается с советами и рекомендациями, на деле поступает иначе. Ему вменили ответственность за упущения в деле подбора и расстановки кадров, заполнение Института сомнительными в политическом и даже в научном отношении людьми. В 1971 году академику объявили партийный выговор. Вскоре он был освобожден от директорских обязанностей.

Эпилог печален. В 1974 году Румянцев обратился к Брежневу. Стоит привести это обращение полностью для лучшего понимания того, как партия ценила таланты своих верных сынов (Российская социология шестидесятых 1999: 477–478).

Дорогой Леонид Ильич!

Разрешите мне обратиться к Вам в неофициальном порядке. Не посчитайте это нескромностью с моей стороны. Я понимаю, что члены ЦК должны разрешать вопросы личного характера, не отнимая у Вас времени, занятого огромными партийно-государственными делами внешней и внутренней политики страны. Но иногда бывают ситуации, когда нет иного выхода, как обратиться к Генеральному секретарю ЦК партии.

Активное участие в работе ЦК является для каждого его члена естественной обязанностью, но за последнее время я, как член ЦК, не получаю каких-либо поручений от Центрального Комитета. Такое положение чрезвычайно удручает меня, т. к. я чувствую себя вполне трудоспособным, готовым к выполнению тех поручений, какие найдет нужным возложить на меня Центральный Комитет.

Я говорил об этом с некоторыми руководящими лицами в ЦК, но без Вас этот вопрос, видимо, не может быть решен. Именно поэтому я обращаюсь к Вам, дорогой Леонид Ильич. Очень тяжело, будучи членом ЦК, имея опыт и знания, могущие пригодиться в работе, находиться в стороне от текущей работы нашего Центрального Комитета, решающего в данный момент столь важные для нашей партии и страны вопросы. Может быть, для этого есть какие-либо особые причины. Но об этом мне никто ничего не говорил.

Очень прошу Вас разрешить этот вопрос, ибо без Ваших указаний никто это сделать не может.

Извините меня за письмо, но, право, я не нашел другого выхода.

С искренним уважением,

член ЦК КПСС А.М. Румянцев<sup>6</sup>

(Уже в 1970 году Румянцевым был поставлен вопрос о переименовании ИКСИ АН СССР в Институт социальных исследований (ИСИ) АН СССР со ссылкой на то, что Институтом изучаются вопросы преимущественно закрытого характера, связанные с деятельностью партийных и государственных органов, а вырабатываемые на основе исследований рекомендации требуют, как правило, решений директивных органов. Было констатировано, что к настоящему моменту при ЦК компартий союзных республик, в городах страны на общественных началах функционирует свыше 40 институтов. В высших учебных заведениях насчитывается свыше 100 лабораторий. Такие же подразделения имеются в ведомствах. Все это требует усиления научного контроля и методологического руководства (Российская социология шестидесятых 1999: 550–551).

После ухода А.М. Румянцева с поста директора Института наступил самый тяжелый период в жизни головного социологического учреждения страны. Партийная власть поддержала нового директора, члена-корреспондента АН СССР М.Н. Руткевича, и помогла ему относительно быстро решить несколько вопросов, чего ранее не смог сделать его предшественник в силу нараставшей утраты доверия со стороны ЦК КПСС. В частности, в конце 1972 г. ИКСИ был переименован в ИСИ.)

---

<sup>6</sup> Обращение осталось без ответа. Умер Алексей Матвеевич Румянцев в 1993 г.

**1973 год**

В ЦК КПСС поступило письмо нового директора ИСИ АН СССР и постановление Отделения философии и права АН СССР о развитии социологического образования. Отдел науки и учебных заведений проводит совещание и рекомендует Министерству высшего и среднего специального образования СССР сделать несколько осмотрительных шагов в ответ на эти обращения. Министерству рекомендуется рассмотреть вопрос о введении специализации по прикладной социологии в порядке эксперимента с нового учебного года на философском факультете МГУ и других университетов, а также в ряде инженерно-экономических и финансово-экономических институтов. Означенным ведомствам и учреждениям рекомендуется в союзе с головным Институтом социологических исследований предусмотреть издание учебных пособий по марксистской социологии и разработать учебные планы для подготовки специалистов по прикладной социологии (Осипов, Москвичев 2008: 255–256 — **Документ 2.2.** *Записка отдела науки и учебных заведений ЦК КПСС «О развитии социологического образования в стране».* 23 апреля 1973 г.).

Однако социология как целостное знание и самостоятельная научная дисциплина продолжала оставаться непризнанной. Академия наук считает целесообразным в соответствии с веяниями времени развить систему реферативной информации по общественным наукам. В «инстанцию», как тогда было принято называть ЦК КПСС, вносится предложение: разрешить Институту научной информации по общественным наукам (ИНИОН) АН СССР издание нового реферативного журнала начиная с 1973 г. Издание предлагается сделать открытым, в нескольких сериях («Проблемы научного коммунизма», «Экономика», «Философские науки», «История», «Государство и право», «Литературоведение», «Языкознание»). Одновременно испрашивается разрешение на бесплатную рассылку серий по спискам (Там же: 259–260 — **Документ 6.0.** *Записка вице-президента АН СССР П.Н. Федосеева «Об издании Академией наук СССР реферативного журнала “Общественные науки в СССР”».* 29 июня 1973 г.). В письме академического сановника, отвечавшего за развитие общественных наук в стране, места социологии не находится. Однако про нее не забыли в реферативном журнале «Общественные науки за рубежом», учрежденном в 1972 г., опять-таки с согласия ЦК КПСС. Журнал включал в себя серию «Философия и социология». Говоря иначе, «там» наша дисциплина существовала, но как буржуазная наука. Потому означенная серия рассылалась по академическим учреждениям с грифом «Для служебного пользования».



## 1974 и 1978 годы

Намеренно пропускаю академические «религии», адресованные в ЦК КПСС, об итогах очередных конгрессов Международной социологической ассоциации (Торонто, Канада, 1974 г.; Упсала, Швеция, 1978 г.). Обращу, однако, внимание на одну особенность этих документов. По мере течения времени и приближения конца советской истории усиливается общий накал сообщений об очередных «викториях», которые одерживает марксистское учение, будучи представленным в докладах советских ученых. Сошлюсь лишь на главный вывод, сделанный по итогам конгресса МСА в г. Упсала: «...теперь недостаточно только утверждать преимущество марксистско-ленинской теории общественного развития (ибо с этим не только согласны многие исследователи на Западе, но и утверждают то же), но показать в значительно большей мере образцы глубоких исследований конкретных социальных проблем, для чего необходимо повысить качество наших докладов» (Осипов, Москвичев 2008: 344 — **Документ 25.1**. *Отчет руководителя делегации советских ученых на IX ВСК директора ИСИ АН СССР Т.В. Рябушкина «Об итогах участия делегации советских ученых на IX Всемирном социологическом конгрессе»*. Не позднее 19 сентября 1978 г.). Социология переживала период застоя. Она стремилась остановить время и потому жила ложными иллюзиями об усиливающейся власти идей единственно правильного и непобедимого учения.

## 1975 год

Этой тональности в полной мере соответствуют дошедшие до нас свидетельства «битвы» с Издательством «Советская энциклопедия», которую вел директор ИСИ АН СССР Руткевич, отстаивая идейную чистоту понятийного языка марксистской социологии. По недосмотру издательства, писал он, важные статьи социологического характера «Интеллигенция» (автор Е. Амбарцумов, т. 10), «Личность» (автор И. Кон, т. 14), «Массовое сознание» (автор Б. Грушин, т. 18) противоречат реальности, содержат неверные трактовки, опираются на ошибочные концепции. Дискуссионность выражаемых авторами взглядов, возможная в научной среде, является совершенно недопустимой, если речь идет об ответственном справочном издании, рассчитанном на широкие круги читателей. Указанных выше ошибок (равно как и других) можно было легко избежать, если бы предназначенные для БСЭ важнейшие статьи по философии и социологии обсуждались в Институте социологических исследований и Институте философии АН СССР, на кафедрах философии Академии общественных наук и Высшей партийной школы при ЦК КПСС (Там же: 279 — **Документ 15.0**. *Письмо*

*директора Института социологических исследований М.Н. Руткевича «Об ошибках идеологического характера в третьем издании Большой Советской Энциклопедии». 16 сентября 1975 г.).*

### 1977 год

Еще один обертон эпохи застоя — борьба против идеологических диверсий, работа на «заинтересованные организации» (эвфемизм для обозначения органов государственной безопасности. — Б.Ф.). Благодаря созданному ранее (1970) отделу социологических проблем пропаганды ИСИ АН СССР это направление становится ведущим. Оно включает в себя такие темы, как отношение населения к западному радио, проникновение буржуазных и ревизионистских идей в сознание отдельных категорий интеллигенции, социальные последствия влияния сионистской пропаганды на некоторые категории советских граждан, влияние маоистской пропаганды на некоторые категории населения Дальнего Востока и Казахстана. Это — терминология контрразведывательной деятельности, одной из главных функций органов государственной безопасности. С грифом «Секретно» сообщаются крупницы истины о том, как на самом деле ведут себя и что думают советские граждане: «аудитория западного радио составляет более половины занятого взрослого населения европейской части страны»; «объем русской аудитории программ финского телевидения в г. Таллине увеличился за последние четыре года вдвое и составил более 80 % среди взрослого населения, а среди взрослого населения эстонской национальности — 90 %... в наибольших масштабах западное радиовещание проникло в молодежную аудиторию» (Там же: 331–338 — **Документ 21.0.** Информационная записка директора Института социологических исследований АН СССР Т.В. Рябушкина и заведующего отделом социологических проблем пропаганды В.Н. Иванова секретарю ЦК КПСС М.В. Зимянину «О некоторых итогах работы отдела социологических проблем пропаганды». Не позднее 14 июля 1977 г.). Стиль документа осторожный, вещи редко называются своими именами (например: «некоторые теоретические спекуляции буржуазных идеологов и ревизионистов по поводу социальных последствий научно-технической интеллигенции разделяются некоторой частью советских людей»). Сказать начальству, что «борьба против идеологических диверсий» становится все более безнадежной, авторы не решаются. Поэтому предлагаемые ими превентивные меры связываются с очередной по счету реанимацией пропаганды, утратившей свое доверие среди всех «контингентов» населения страны. Одна из таких мер предлагает: «По третьей программе организовать выступления для учащихся старших классов с беседами, посвященными раскрытию истинных целей

работы западных радиостанций (в частности, их роли в провокационной кампании против нарушения прав человека в странах социализма), методов их работы, а также разоблачению политического лица и устремлений так называемых диссидентов как пособников империалистической реакции и агентов пропагандистских и шпионских центров» (Осипов, Москвичев 2008: 337).

### 1984 год

Пройдет еще семь лет. Тот же отдел ИСИ АН СССР выскажется более определенно: несмотря на глушение передач зарубежного радио, оно по-прежнему сохраняет в нашей стране массовую, относительно стабильную по размерам аудиторию, охватывающую все основные категории населения. Проникновение этого радио будет квалифицировано как широкое. Наш классовый противник, наращивая масштабы использования в радиопередачах антисоветских выступлений государственных деятелей Запада, стремится использовать этот неконтролируемый Советским государством канал для непосредственного обращения к советским людям (Там же: 373 — **Документ 37.1. Приложение к Аналитической справке Института социологических исследований АН СССР «Информационная обстановка в стране» (по материалам социологических исследований)». 8 апреля 1984 г.)**.

Вскоре в ЦК КПСС поступил документ, разоблачавший антисоциалистическую сущность плюрализма. Идеино-политическому единству стран социализма и социалистической демократии в этом случае противопоставлялись «лозунги “свободы духа”, “свободы творчества”, “свободы науки”, “свободы культуры”, для реализации которых буржуазное общество создает якобы наиболее благоприятные возможности». Употреблением кавычек автор призывов наставительно подчеркивал сомнительную ценность перечисленных свобод для человека, а заодно и самой плюралистической практики. Письмо было составлено с целью «сориентировать соответствующим образом научные учреждения и средства пропаганды» (Там же: 374 — **Документ 39.0. Докладная записка директора Института философии АН СССР Г.Л. Смирнова «О необходимости усиления критики буржуазных и ревизионистских концепций идейного и политического плюрализма. Не позднее 19 июля 1984 г.)**).

Однако знамя борьбы с буржуазным плюрализмом развернуть не удалось. До начала перестройки оставались считанные месяцы...

### 1.3. Периоды истории советской социологии (субъективная версия Владимира Шляпентоха)

Свои хроники советской социологии Владимир Шляпентох начал с исходного утверждения и доказательства главного, по его мнению, свойства социологии как науки об обществе: *всякий, кто столкнется с социологией, вынужден будет признать, что эта дисциплина зависит от политики* (Shlapentokh 1987). В СССР, писал он далее, установки послесталинской власти на социологию были амбивалентными. Власть уже не могла не считаться с реалиями общественной жизни и потому открыто не ставила под сомнение потребность иметь в своем распоряжении картину жизни социума. Однако партийной власти было приятнее всего убеждаться, что ее идеологические установки совпадали с тем, что думало население.

От истории не утаишь, что часть социологических исследований 50–80-х гг. метафорически может быть названа «сладкоголосыми романсами», многократное публичное исполнение которых давало повод думать, что желаемое совпадение имело место. Одновременно, и это тоже вошло в историю науки, социологи все чаще стали обнаруживать факты, которые указывали на усиливающуюся со временем неспособность партийно-государственной машины достичь желаемых целей. Это «ранило» партию в самое сердце, и поэтому «разрешенная» было наука (мы уже знаем, что ИКСИ АН СССР был основан по решению партии в 1968 г. — Б.Ф.) довольно быстро превратилась в угрозу для политической системы. Трения стали объективно неизбежны. Наука жила, но путь ее становился тернистым. Она сравнительно быстро поднялась в период хрущёвской политической либерализации, но попала «под колпак» ограничительных мер, когда вслед за вторжением советских войск в Чехословакию наступил период политического консерватизма. Развитие социологии с этого момента стало развитием неудобной для власти науки со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такова была реальность, и от нее не уйти.

Итак, власть оказывала на социолога как прямое, так и косвенное воздействие. Здесь, конечно же, важную роль играли и политические установки самого исследователя. Баланс этих сил различался в условиях разных систем. На Западе в большей мере сказывались собственные ориентации социолога — консерватор, либерал и радикал выбирали разные проблемы — и тем более различались способы их анализа. В советских условиях доминировало влияние партии и государства. Различались и технологии воздействия. На Западе оно осуществлялось через фонды и частных лиц, в чьих руках находились финансы. В СССР — через тотальный партийно-государственный контроль.

Отношения социологии и власти были далеко не однозначными. Временами, казалось бы, незабываемую, «железобетонную» идеологию отличали некоторая гибкость и даже уступчивость. Ю. Андропов, придя к власти, заявил, что мы слишком плохо знаем общество, в котором живем. Но он же мог стукнуть кулаком по столу и прибегнуть к репрессиям, когда менялась ситуация. В определенной степени и социология порождает дилеммы — она могла воспевать общество, но и быть источником его дискредитации. Общий результат таков: власть и государство неуклонно деградировали, все чаще прибегая к «красному свету» — запретительным, ограничивающим, сдерживающим свободу научного творчества акциям, — по мере того, как увеличивалось число зон, «чувствительных» для руководителей страны. Одновременно власть понимала, что нельзя не дать дорогу определенному классу исследований (например, экономической социологии или исследованиям общественного мнения и массовой пропаганды). Столкновения интересов-антагонистов не помешали идеологической эволюции науки, росту мастерства, ряду открытий в познании развития советского общества.

Баланс действия внешних факторов и внутренних сил саморазвития социологии является лейтмотивом всех периодов ее истории, выделенных В. Шляпентохом, однако каждый раз в центре нашего внимания попеременно будет находиться лишь одна из балансирующих сторон.

Свою периодизацию развития социологии Шляпентох начал с *эмбрионального периода* (1958–1965) (Shlapentokh 1987: 13–32), которым он обозначил возврат к социологии, считавшейся в сталинское время буржуазной наукой. В этом качестве она была обречена оставаться эмпирической и ассоциировалась с изучением общественного мнения, а также с количественными методами сбора и анализа данных (что долгое время рассматривалось как нечто чуждое марксистской идеологии). При этом закрывались глаза на то, что эмпирические исследования были органичными и для марксистского изучения общественной жизни, и для традиций немарксистской русской (дореволюционной) социологии. Но в сталинские времена данный факт не признавался, а социологические (эмпирические) опыты 1920–1940-х гг. попросту замалчивались. Молчаливо обошли «истину» первые рабочие книги социолога, изданные в начале 70-х гг. Причина умолчания заключалась в том, что тогда пришлось бы признать, что социология обязана своим происхождением западной общественной мысли. Подобного рода реверансы долгое время запрещались. Идеология требовала называть ее происхождение марксистским, что и было сделано на начальных стадиях возрождения науки.

Не обошлось без задержек и при первых шагах профессионализации социологической деятельности (социальная система была подозрительной к любой организации, кроме собственной). Лишь в 1958 г.

было разрешено создание ССА. Ее, как водится, отдали сначала в руки старых, проверенных партией философов. В их сообществе молодые ученые, поднявшие знамя возрождения социологии, были скорее исключением. Прошло немного времени, и в 1961 г. появились научный сектор с «несоциологическим» названием «Сектор исследований новых форм труда и быта» (Г. Осипов) в Институте философии АН СССР и Лаборатория конкретных социальных исследований (В. Ядов и А. Здравомыслов) в ЛГУ при факультете философии. То же происходило в Новосибирске (сектор по изучению проблем молодежи при Институте промышленной экономики и организации под руководством В. Шубкина), Свердловске, Тарту. Особенность этого процесса — существование сильнейших неформальных связей между лидерами начинаний. Первые социологические опыты так или иначе были сфокусированы на проблемах труда и экономики. Считалось, что эти проблемы удалены на безопасное расстояние от политики и идеологии и поэтому их изучение не станет взрывоопасным в социальном смысле. Кроме того, наиболее понятной представлялась практическая сторона дела.

Однако главный итог, как об этом писал В. Шляпентох (*Ibid.*: 18–19), состоял «в прорыве к индивидам», возникновении прямой коммуникации с населением. Началось разрушение монополии власти на «первоправо» знать и судить об интересах рядовых граждан. Мистифицированные источники «правды» утрачивали свою роль. Здесь естественными оказались выход за пределы экономических границ и расширение проблематики исследований. Чисто социологический подход начал дополняться разработками, основанными на теории и методах сопредельных дисциплин.

К этому времени стал осознаваться дефицит профессиональных знаний и контактов с зарубежной наукой. Выход был найден в переводах статей по социологии на русский язык с английского и польского (З. Бауман, Я. Щепаньский) и в организации семинаров, которые первоначально устраивались в городах с либеральным (или неграмотным) партийным руководством или в зонах, относительно свободных от недремлющего партийного контроля (Новосибирский «Академгородок», Институт философии АН СССР, научные и образовательные учреждения Эстонии, где «наблюдатели» часто не понимали русский язык). Первые работы создавались с большим напряжением ума и способностей, их высокое качество можно объяснить тем, что войти в поле «ненадежного» занятия и добиться при этом успеха могли только талантливые люди.

Тогда же начались споры об определении науки, принявшие характер политической борьбы. Максималисты (Ю. Левада, Р. Рывкина) наделяли ее правом автономии по отношению к истмату, рассматривая как самостоятельную сферу изучения общества. Умеренные (А. Ру-

мянцев, В. Ядов) предлагали сохранить для социологии ее предмет изучения, но при этом опираться на базовые понятия истмата. Прагматики (куда входили многие консервативные идеологи) отдавали науку в полную власть теории марксизма и ограничивали ее роль сбором эмпирических данных (Shlapentokh 1987: 27–28). В итоге, несмотря на многолетний спор, «развод» социологической науки с истматом в доперестроечные времена не состоялся. В качестве компромисса за ней признали право на теории среднего уровня и обязанность эмпирически обслуживать эти теории, не ставя под сомнение макротеоретические взгляды на общество, продиктованные доктринальным истматом.

*Золотые годы советской социологии* пришлось на 1965–1972 гг. (Ibid.: 33–41). Этот этап отмечен громадным энтузиазмом первого послевоенного поколения социологов. Налицо был некоторый либерализм «верхов», считавших социологию «украшательским бантиком», ношение которого свидетельствовало о том, что «верх» чтит научный подход к общественным явлениям. Это не отменяло, однако, попыток укрощать социологию, хотя они были разовыми и не носили разрушительного характера. Стали публиковать книги «первопроходцев»<sup>7</sup>, устраивать семинары (например, в Кяэрику, 1967–1969 гг.), иницирующие всплеск профессиональной активности. Лидеры закрепляли позиции, шли преподавать в университеты и защищали первые докторские диссертации (правда, они получали степень доктора философских наук).

В конце 1968 г. было принято партийное решение о создании ИКСИ АН СССР. (В этом случае Л. Брежнев хотел скомбинировать «твердую стойку», которую он принимал, реагируя на диссидентов, с либеральными играми в среде законопослушных интеллигентов (Ibid.: 36).) Под крышей ИКСИ АН СССР собралось блистательное, радикально настроенное сообщество. Между 1968 и 1970 годами вышло около 50 бюллетеней ССА, стали появляться аспиранты, а Отдел пропаганды ЦК КПСС активно поддерживал «Таганрогский проект» (см. о нем в очерке 6). Популярность социологии в глазах власти и народа стала расти, усилились и легализовались постоянные научные контакты с Западом. Более того, вместе с профессиональными социологами в социологических конгрессах начали принимать участие работники партийного аппарата. Но одновременно уже тогда стали появляться первые «отказники». Профессиональное сообщество начало делиться на «выездных» и «невыездных», «послушных» и «непослушных», что создавало угрозу профессиональной изоляции для несогласных с линией партии.

---

<sup>7</sup> В их числе Шляпентох упоминает следующие издания: *Социология в СССР 1965–1966*; *Количественные методы в социологии 1966*; *Грушин 1967*; *Кон 1967*; *Человек и его работа 1967*; *Ядов 1968*.

Эти меры, добавлю от себя, принудительно отлучали ученых от научного опыта других стран, от обмена научными идеями. На языке чекистов подобные меры назывались профилактическими. Их придумали для того, чтобы не всякому открывать ворота из резервации советской социологии во внешний мир. Опасность оказаться в числе «невъездных», лишиться допуска к научной литературе и другим источникам научной информации часто была сильнейшим регулятором поведения ученых, побуждала поддерживать с властью и ее подручными лояльные отношения.

Уже позже, во второй половине 2000-х гг., В. Шляпентох напишет, что этот энтузиазм первопроходцев был основательно подогрет общей поддержкой новой интеллигенции, которая видела в социологах-первопроходцах людей, способных сказать нечто новое о своем обществе. «Мы все тогда, в 1960-е годы, чувствовали себя “избранными”, членами одного братства, которое было призвано как-то улучшить жизнь в стране» (Шляпентох 2006: 608). Недаром этот душевный подъем находил свое отражение в социологических трудах тех лет. Вера в социологию как «великое дело» объединяла тогда не только «комсостав», но и рядовых, сержантов, старшин и офицеров молодой социологической гвардии (Там же: 629).

Придя в ИКСИ, Шляпентох застал фантастическую для тех лет картину. Институт был переполнен «леваками» (вольнодумцами), часто имевшими весьма далекое отношение к социологии; были даже и «подписанты», осмеливавшиеся писать письма в защиту диссидентов. Среди ярких либеральных звезд можно было увидеть журналиста Льва Аннинского, экономиста Геннадия Лисичкина, Лена Карпинского, бывшего секретаря ЦК ВЛКСМ, за которым числилось несколько выдающихся для того времени поступков, таких как выступление в газете «Известия» против быстрого распространения волн сталинизма. В эту газету его перевели после изгнания из газеты «Правда» за статью (совместно с политологом Ф. Бурлацким) против цензуры. Был там и журналист Б. Орлов, также уволенный из газеты «Известия» за прямой отказ писать репортажи из Праги о вторжении советских войск.

Не менее заметными (этому я уже был свидетель, поскольку в 1969 г. меня пригласили для работы в ИКСИ АН СССР после досрочной защиты кандидатской диссертации) были сотрудники с другой, консервативной и антилиберальной, научной и идеологической ориентацией. Они занимали должности в научных отделах с открытой тематикой исследований, а также в подразделениях с закрытой тематикой, ориентированной на интересы органов государственной безопасности, не говоря уже о спецотделе, отделе кадров и международном отделе. Последний отдел одно время возглавлял зять в ту пору всеильной Е. Фурцевой (министра культуры СССР, члена Президиума ЦК КПСС



в первые годы хрущёвской власти), не скрывавший своего чекистского происхождения.

Шляпентох зорко подметил, что пока положение А. Румянцева, директора ИКСИ АН СССР и члена ЦК КПСС, было прочным, «антиподы» сосуществовали, достаточно миролюбиво относились друг к другу и даже проявляли озабоченность по поводу развития социологии или того, что каждая из сторон понимала под ней. Я тоже застал эту идиллическую ситуацию, когда многим, включая и меня, казалось, что либералы доминируют, составляют едва ли не конституционное большинство. Смена капитанов на мостике социологического корабля в 1972 г. показала, что имел место обман восприятия реальности. Едва ли не сразу стало ясно, что «мы, либералы, превратились в преследуемое меньшинство» (Шляпентох 2006: 630). Именно тогда обозначилось, лучше сказать, вышло на поверхность, резкое размежевание позиций внутри социологического «братства», которое затронуло не только ведущих ученых, лидеров сообщества, но и сообщество в целом (Там же: 631). Этот факт имеет решающее значение для общего понимания процесса становления советской социологии в послесталинское время. Далеко не одномерный, включающий в себя противоречивые, часто полярные и противоположные по смыслу тенденции, он не поддается однозначным (прямолинейным, категорическим) оценкам.

*Период поворота* наметился уже в 1972 г. Статус социологии как побочного продукта либерализации был непрочным. Система, боясь развала, начала строить оборонительные редуты и вступила в агрессивный спор с любыми проявлениями инакомыслия, в первую очередь среди интеллигенции. Наиболее громкие события в социологической среде — изгнание Ю. Левады из «социологического рая» (Российская социология шестидесятых 1999: 485–513) и «падение» академика А. Румянцева, первого директора ИКСИ. Новый руководитель (М. Руткевич) внес совершенно иной дух в деятельность Института, который стал типичным советским учреждением, оплотом борьбы с буржуазной социологией, местом идеологической инквизиции и разоблачений. Люди Руткевича — «социологические боевики» — начали борьбу с профессионалами и даже повернули некоторых учеников против изгнанных учителей. Мукой и ритуалом, призванным демонстрировать исправное выполнение роли помощников партии, стало социальное планирование. В исследовательской практике возобладал утилитаризм. Качество социологического анализа резко упало, а проблематика исследований возвратилась к «вечным» темам — изучению растущей социальной роли рабочего класса, проблем плановой экономики и идеологии способами, которые не нарушали «стерильности» социологии.

*Период серости* наступил в середине 70-х гг. (Shlapentokh 1987: 57–69). Он стал закономерным, если иметь в виду приближение эпохи

застоя. В это время потерпели крах неосталинисты, но ценой прихода к власти лиц умеренной ориентации (например, П. Федосеев в роли вице-президента АН СССР). Боясь ренессанса критических и либеральных настроений, они поддерживали лишь идеологически проверенных ученых. В итоге появились два новых центра социологии — Институт социально-экономических проблем АН СССР (Ленинград) и Институт промышленной экономики (Новосибирск), представлявшие в реальности периферию социологической науки. Ряд социологов внедрились в партийный аппарат и быстро освоили роль «наружных наблюдателей» за социологией. Тогда же предпринял активную попытку внедрения в социологию КГБ СССР.

Краткосрочная фаза *умеренного оживления* после 1976 г. не вернула атмосферы «золотого века». Вскоре наступило время стагнации общественной жизни. Идеологическая цензура не позволяла социологам удаляться от Маркса. Как следствие, разработка теории приостановилась. Прорывы, если они и имели место, то совершались в отдельных областях. Одно время стали интенсивно изучать образ жизни советских людей, но в основном с манипуляторскими целями — для того чтобы доказать преимущества советского образа жизни перед образом жизни развитых капиталистических стран. Но и эта задача оказалась непосильной.

#### **1.4. Состояние социологической науки сквозь призму перестроечной гласности**

В декабре 1986 г. состоялась отчетно-выборная конференция ССА, где с докладом «О роли социологии в ускорении развития советского общества» выступила академик Т. Заславская. Доклад можно отнести к разряду профессиональной экспертизы состояния социологической науки. Потому будет логично кратко пересказать его (Заславская 1997: 84–102).

К концу 1986 г. ССА объединяла 6000 индивидуальных и 1500 коллективных членов. Общее число социологов в стране достигло 15 000 человек. Помимо ИСИ АН СССР в системе АН работали 40 отделов, а в вузах — ряд кафедр типа «прикладная социология» и «экономическая социология». Высокую активность проявляли повсеместно созданные социологические общественные советы. Не менее 4000 человек трудились в социологических службах предприятий. Ежегодно защищались 15–20 докторских и до 50 кандидатских диссертаций. Ряд направлений социологических исследований оказались полезными и перспективными. В целом советская социология располагала немалым потенциалом. Однако нельзя было не видеть, что профессиональный уровень многих социологических работ оставался низким. Минимальная доля

затрат интеллектуальной энергии социологов была направлена на создание социологической теории.

Первый вывод докладчика был суров: *в предперестроечные годы социология оказалась скорее в арьергарде, чем в авангарде советского общества*. Эта наука изучала пройденное и «тащилась» за практикой, вместо того чтобы думать о предстоящих этапах, предлагать альтернативные варианты и обосновывать выбор лучших. Робость социальной мысли, отсутствие гражданского мужества и нежелание браться за изучение острых проблем — таков диагноз, поставленный Заславской обществоведению, притаившемуся в тени устоявшихся стереотипов и догм (Заславская 1997: 85).

*Статус социологии как науки* оказался невысоким. Этому помешала бессмысленная двадцатилетняя борьба за «правильное» толкование предмета науки. Признание того, что социология есть наука о функционировании, развитии и взаимодействии социальных общностей, образующих социум, затянулось. Взамен предлагалась точка зрения, согласно которой под социологией следовало понимать родовое название всей системы общественных наук, из которых наиболее продвинутыми являются исторический материализм, политическая экономия и научный коммунизм. В системе высшего образования не было ни одного социологического факультета, а введенные специализации в московском и ленинградском университетах именовались прикладной социологией, лишая дисциплину права на разработку теории. Стыдливое (безродное) название носил ведущий социологический журнал<sup>8</sup>.

*Обеспеченность социологии кадрами* оставляла желать много лучшего. Социология развивалась без социологов ввиду отсутствия профессионального образования. Открытые в МГУ и ЛГУ отделения

---

<sup>8</sup> Первый и до середины 1980-х гг. единственный в СССР профессиональный журнал «Социологические исследования» («Социс») начал выходить лишь в 1974 г. Его младший собрат — журнал «Известия Сибирского Отделения АН СССР. Серия: экономика и прикладная социология» — появился незадолго до перестройки. Первым главным редактором «Социса» был доктор философских наук А. Харчев (1974–1986). После его кончины редактором журнала стал доктор философских наук, профессор, член-корреспондент АН СССР (ныне РАН) А. Дмитриев. В настоящее время этот пост занимает доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ж. Тощенко. Продолжая тему о «стыдливых названиях», напомним, что лишь в конце 1970-х гг. Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК) ввела специальность «Прикладная социология», по которой стало возможным защищать кандидатские и докторские диссертации. Но парадокс состоял в том, что степени присуждались опять-таки не по социологии, а по философии или экономике. У ВАК не хватило принципиальности признать социологию научной дисциплиной. Первым в СССР доктором философских наук по специальности «Прикладная социология» (09.00.09) стал ленинградский социолог науки С. Кугель.

прикладной социологии были малы. Профессиональные социологи там не смогли закрепиться (этому мешала «берлинская стена» между АН СССР и вузами страны). Система социологического образования, опирающаяся на профессиональные социологические коллективы, отсутствовала. Не было системы переподготовки преподавательских кадров, как и системы обучения основам социологии работников государственных органов, хозяйственников, инженеров, актива общественных организаций.

Общее число социологов в СССР было меньше, чем в Польше или Венгрии. Лишь в 1989 г. ожидался выпуск первой сотни социологов с высшим образованием. В это время в США имелось 226 социологических факультетов, которые ежегодно выпускали 6000 специалистов; основами социологических знаний овладевали около 90 000 американцев, поскольку курсы по социологии читались в 92% американских университетов; издавалось несколько десятков социологических журналов.

*Состояние социальной статистики* (под которой надо понимать не залежи данных на складах ЦСУ, а конечные результаты обработки первичной информации самого широкого спектра, опубликованные в печати) было неудовлетворительным, масштабные и регулярные социальные обследования (типа тех, что проводились в США, Японии, ряде восточноевропейских стран) практически не велись. Статистика обслуживала интересы и цели власти. Известно, что уже данные переписи 1938 г. были подвергнуты цензуре с целью улучшения имиджа советской системы. Тогда же с помощью ложной статистики скрыли фактические масштабы репрессий. Короткий всплеск правдивых статистических данных в 60-е гг. быстро сошел на нет. Как следствие, началось сознательное свертывание картины реальной жизни общества. Подробные данные о смертности, преступности, экологическом загрязнении, даже производственном травматизме часто утаивались от общества. Главное — росло число зон «вне критики» и «вне социологического анализа», а также количество мест с надписью «Посторонним вход воспрещен» (Там же: 100–101). Число издательств, выпускавших социологическую литературу, было сокращено до минимума, институты обществоведческого профиля лишились права издания монографий.

*Связь с практикой* была слабой, несмотря на декларации о ее важности. Чаще всего принимались решения антисоциологического свойства, без учета имеющихся обоснованных практических рекомендаций и здравого смысла (Там же: 96). Социологи были отстранены от государственной экспертизы, от активного участия в государственном управлении. Правовой статус социологической экспертизы и социологического взгляда остался за пределами возможного и необходимого. Диалог с властью отсутствовал.

*Роль прикладного направления* требовалось повысить путем внедрения систем социальных показателей для оценки деятельности предприятий, повышения профессионального уровня работников социологических служб (их число в стране к тому времени превысило тысячу), введения системы аттестации этих кадров.

Новые задачи социологического сообщества в условиях перестройки качественно отличались от программ социологической деятельности, ориентированных на прагматические и идеологизированные интересы партии. Теперь уже требовалось обеспечить общество полной и правдивой информацией о потребностях, интересах и поведении общественных групп, наметить цели социальной политики, конкретизировать курс на экономическое развитие, обеспечить управление «обратной связью», сформировать социологическое мышление.

Не вызывает сомнений радикализм и демократический характер новых требований к науке в изменившихся социальных обстоятельствах. Другое дело, насколько удалось приблизиться к велениям перестроечного времени.

Автобиографическая повесть-драма Т.И. Заславской, которая одновременно является и ее мемуарами (Заславская 2007а), позволяет сказать несколько больше как о самом событии — отчетно-выборной конференции Советской социологической ассоциации, состоявшейся 26 ноября 1986 г., так и о главной героине этого события — академике Татьяне Ивановне Заславской, избранной тогда на пост Президента ассоциации. Возложение полномочий лидера социологического сообщества на Т.И. Заславскую было связано с признанием ее выдающихся научных заслуг и той безупречной этической позиции, которую она заняла в эпоху перестройки советского общества. К этому времени, пишет она в своих воспоминаниях, социологию уже перестали считать буржуазной лженаукой, однако статуса полноценной научной дисциплины в созвездии социальных наук она не имела. В громадной стране существовал всего-навсего один институт социологического профиля и один журнал как средство объединения и консолидации профессионального сообщества.

Повторю еще раз: в стране отсутствовало профессиональное социологическое образование, а сама наука социология оставалась непризнанной как самостоятельная социальная дисциплина. В тупик зашли все старания создать общесоюзную систему изучения общественного мнения. Власть трусливо избегала обратной связи с населением страны, имитируя ее изучением писем (обращений трудящихся) в партийные и советские органы. Все это сдерживало развитие социологических исследований, имевших принципиальное значение для демократизации советского общества не на словах, а на деле. Заславская осознавала, что нити управления практически любой сферой жизнедеятельности

страны по-прежнему остаются в руках высших эшелонов партийной власти. Ценой отказа от главного, что составляло смысл ее жизни, — от собственной научной деятельности — она вступила в сложные отношения с партийными лидерами и их помощниками, поставив перед собой цель добиться признания социологии *de facto* и *de jure*. Блистательный знаток и исследователь социальных механизмов развития общества, она решила освоить механизмы функционирования партийной власти, для того чтобы выиграть битву за восстановление в правах социологии. Эту битву ей удалось выиграть, опираясь на свой громадный научный и гражданский авторитет, завоеванный единственным для нее возможным путем — безупречным выполнением обязанностей ученого.

Нельзя обойти молчанием и тот факт, что стараниями Т.И. Заславской к проблемам социологии удалось привлечь внимание всего общества. Ее глубокие выступления в перестроечных СМИ были направлены на повышение творческой активности масс, служили мощным средством привлечения внимания социума к человеческому фактору и социальным вопросам, давно ждавшим своего неотложного и эффективного решения. Берусь утверждать это, исходя из собственных наблюдений за быстрым ростом авторитета Татьяны Ивановны Заславской в стране. Ее работы в журналах и газетах перестроечной поры люди самого различного социального положения читали и обсуждали, слова Заславской цитировались не только на форумах, но и в процессе повседневного обсуждения перестроечных дел, что было тогда одним из главнейших занятий миллионов людей. К экономисту и социологу Т.И. Заславской (редчайший случай для советских социальных наук в предзакатную пору СССР!) прислушивались партийные вожди, в частности М.С. Горбачёв. В конце января 1987 г. Заславская была приглашена на 1-ю Всесоюзную конференцию советских женщин (она проходила в Георгиевском зале Кремля). Татьяна Ивановна пишет: «В Президиуме мы встретились с М.С. Горбачёвым, поздоровались, и он в окружении многих свидетелей сказал мне несколько теплых слов. Полагаю, что именно в результате этого моя статья, неподвижно лежавшая в “Правде” с конца ноября, 6-го февраля неожиданно была напечатана под заголовком “Социология и перестройка”» (Там же: 570). Случай единственный за всю долгую советскую историю, но не удивительный для КПСС, если принять во внимание, что партия совершала масштабные общественные преобразования в стране, не прибегая к достижениям социологической науки. Статья имела принципиальное значение — она прозвучала как набатный колокол и выступила средством мобилизации социологов на борьбу за воплощение в жизнь идей перестройки. Никогда ни до ни после этого события социология не имела такой громадной разовой аудитории.

К ее чести, Заславская действовала без промедления, видимо, осознавая, что преимущества ее высокого общественного положения не

вечны. Уже в конце достопамятного ноября она делает в своем дневнике такую запись: «После избрания была у помощника Лигачёва — В.М. Легостаева. Обещал поддержку в развитии социологии и просил к концу января представить записку по этому вопросу. Вот и еще одно “высоко задание”, и опять со строгими сроками. К сожалению, о собственной научной деятельности в таких условиях не приходится думать. Отказ от нее (надеюсь временный) — цена моего согласия принять ССА. Жизнь покажет, насколько правильным или ошибочным оно было. Пока я склонна считать его правильным. Надо было присутствовать на Пленуме ССА, чтобы почувствовать, как стосковались десятки и сотни людей по активной работе, насколько стиснута социология в своем прокрустовом ложе. Если удастся его немного расширить и вернуть в социологию многих людей, то жертва, видимо, будет оправдана. Но если бы кто-нибудь знал, как я устала! Не знаю, как живут другие академики, я же живу гораздо труднее, чем в бытность членом-корреспондентом, не говоря уже о докторе наук» (Заславская 2007а: 570).

26 января 1987 г. Заславская вылетела из Новосибирска, где она в то время жила и работала, на две недели в Москву, чтобы организовать подготовку проекта постановления ЦК КПСС, которое должно было восстановить социологию в правах полноценной науки. В этой работе приняли участие большинство членов Президиума ССА, так как проект постановления охватывал широкий круг вопросов, касавшихся не только общего статуса этой науки, но и социологического образования, изучения общественного мнения, так называемой заводской социологии и других проблем. Сопrotивление консервативных чиновников было сильным, однако благодаря поддержке Горбачёва, Лигачёва в Политбюро ЦК КПСС, Г. Саркисянца и В.П. Можина (на уровне аппарата) работа увенчалась успехом (Там же: 571).

Не умаляя заслуг Т.И. Заславской в появлении на свет судьбоносного постановления ЦК КПСС «О повышении роли марксистско-ленинской социологии в развитии советского общества», замечу, что вся история с этим документом, открывшим дорогу к развитию социологической науки и социологического образования, заняла около полутора лет. Это притом, что процесс сотворения вердикта опирался на одобрительные резолюции, визы, распоряжения самых высоких иерархов партии и одновременно положительное отношение местоблюстителей министерств и ведомств, от которых зависело решение частных вопросов (Госплан СССР, ЦСУ СССР, Министерство высшего образования СССР, Госкомтруд СССР, Госкомиздат СССР, Президиум АН СССР). Заславской удалось превратить процесс подготовки и согласования документа в выполнение поручения «верха» особой важности. Она пишет: «И что тут началось, ни в сказке сказать, ни пером описать. 26 марта собрали нас Г.Н. Марчук и П.Н. Федосеев. Нас — это человек 15 главных “социо-

логов» Академии. И предложили нам срочно выработать меры по развитию социологии в АН СССР» (Там же: 5). Татьяна Ивановна пошла на хитрость, превосходно зная детали трехмесячной кампании по составлению черновиков программного для социологии документа. Она сделала вид, что создать документ решили руководители партии, а дело ведомств состоит в одном — поддержать идущую сверху инициативу. Вот замечательная фраза, которая свидетельствует о том, что на какое-то время Заславская стала мастером аппаратных игр: «И все-таки весь этот шум — дело именно моих рук, глядишь, и будет польза для нашей социологии. Из-за этого я ведь и шла в президенты, хотя подобных сдвигов не ожидала...» (Там же).

Не будь КПСС «руководящей и направляющей силой советского общества», надобности в «партийных лицензиях» на ведение социологической деятельности вовсе не существовало бы. В свободном демократическом обществе можно было обойтись для начала парламентской «Декларацией о правах и гарантиях развития науки», которую и по сей день Государственная Дума РФ не удосужилась принять.

## 1.5. Вместо заключения

Я долго искал универсальное объяснение парадоксам партийной ментальности, вследствие которых руководство советским обществом со стороны партийно-государственной власти постоянно сопровождалось разрушением того, что создавалось в процессе строительства социализма.

Над подобными вопросами люди задумывались достаточно давно, видя массу страданий и трагедий не только в период революционной ломки 1917 г. и последовавшей затем гражданской войны, но и в тридцатые годы, которые советская пропаганда называла годами победившего социализма. Один из них — наш великий соотечественник, академик В.И. Вернадский, чьи дневники и часть работ были опубликованы лишь в конце теперь уже прошлого двадцатого века (Вернадский 1998). Уже тогда он, прозорливо опережая собственное время, писал о том, что обществу, где нет свободы мысли, надо ставить гроб и свечку, полагая при этом главным не просто свободу от цензуры, а «присутствие мысли во всех делах — победу умной силы». Его горестные заметки о том времени во многом касались власти большевистской партии, которая демонстрировала «совершенное варварство», разрушая в основе строительство новой жизни. «В действительности верхушка — деловая — ниже среднего умственного и морального уровня страны...» — пишет в своем дневнике 23 февраля 1939 г. ученый-патриот, считавший будущее этой страны великим и дорогим для себя (Там же: 18–19).



О том же, но в более категоричной форме, он делает еще одну запись 11 апреля 1939 г.: «Резкое падение духовной силы коммунистической партии, ее явно более низкое умственное, моральное и идейное положение в окружающей среде — чем средний уровень моей среды — в ее широком проявлении — создает чувство неуверенности в прочности создающегося положения» (Вернадский 1998: 22). Многократно возвращаясь к лейтмотиву своих дневниковых записей, иллюстрируя его собственными наблюдениями, Вернадский подводит нас к главной мысли: партия была властной силой, распоряжавшейся всеми сферами жизнедеятельности общества. Считать ее при этом еще и умной силой было делом сомнительным, если иметь в виду громадную пропасть, чудовищный разрыв, который образовался в конце 1930-х гг. между умом правителей страны и умом, который накапливался в обществе к тому моменту (Там же: 5).

Этот смелый вывод стал результатом «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». В подтверждение своих наблюдений Вернадский привел десятки убедительных тому свидетельств из опыта личных контактов с «распорядителями жизни» всех рангов. Его короткие ремарки, разбросанные по дневниковым записям, помогают осознать некое важное, латентное правило советской жизни, которое сохраняло свою силу вплоть до развала СССР. Выражу его словами самого Вернадского: «Гнет и деспотизм [власти] разрушают все хорошее, что было сделано... Уровень партийных ниже среднего».

Наблюдения Вернадского 30-х гг. в полной мере относятся и к послевоенным годам, хотя разрушительный потенциал будет ослаблен постепенной утратой КПСС своего положения как руководящей и направляющей силы советского общества. По-настоящему «умной силой» КПСС никогда не станет. Но вредить делу будет постоянно. История советской социологии — еще одно печальное тому подтверждение.

## Очерк 2

# СТАНОВЛЕНИЕ НАУКИ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

### 2.1. Вступительное замечание

Темой предлагаемого очерка является обращение к корням — к зарождению социологии как науки об обществе в условиях дореволюционного российского общества. Время, прошедшее с момента выхода в свет первого издания книги, актуализировало вопрос о происхождении дисциплины. Чему в большей степени это происхождение можно приписать — действию внешних причин, например импорту, прямым заимствованиям тогдашних достижений западной социальной мысли, или причинам внутренним — влиянию российского социального, политического, культурно-исторического контекста? Я разделяю мнение и позиции тех, кто считает, что социология в России не была «завезенным товаром», а «взошла и проросла» «у себя дома», на российской почве (Здравомыслов 2008б: 6).

Потому, прежде чем стать социальной наукой в общепринятом (интернациональном) смысле, ей пришлось пройти свой путь обретения зрелости, не лишенный национального своеобразия, с которым российское дореволюционное, а затем и советское общество выдвигало, обсуждало и пыталось решать актуальные проблемы своего развития.

Подчеркну прежде всего особую роль умонастроений русской демократической интеллигенции в середине XIX в., которая довольно быстро осознала, что новая социальная наука (невзирая на отсутствие радикальных идей в ее ранней позитивистской версии, предложенной французом О. Контом) дает точку опоры для «великого русского спора» о судьбах страны и для выражения несогласия и протеста против власти самодержавия. Отсюда берет свое начало политическая ангажированность как отражение особенностей социального мышления и, более широко, менталитета образованных слоев нашего общества, которая ускорит процесс создания новой социальной дисциплины и будет оставаться родовой чертой отечественной социологии на протяжении практически всего XX в.

Это устоявшееся и вошедшее в научный оборот наблюдение может быть дополнено еще одним важным тезисом. Судьба, иначе не скажешь, единожды соединила двух незнакомых ранее людей в вагоне пассажирского поезда — писателя И. Тургенева и молодого врача, который поразил воображение писателя как социальный тип «нигилиста» (Батыгин 1998: 23). Кому-то этот пример покажется парадоксальным, но он характерен для российского социального и интеллектуального контекста, российского социального мышления и ментальности, складывавшихся в значительной степени под влиянием художественного способа освоения действительности.

Потому своим происхождением российская социология во многом обязана и русской классической литературе, которая успешно развенчивала представление о непостижимости России, подвергала десакрализации едва ли не все установления и институты: «...от помещиков и чиновников (Гоголь), государства и церкви (Лев Толстой), купечества (Островский), интеллигенции и крестьянства (Чехов и Бунин), армии (Куприн и Замятин) и т. п.» (Кантор 1997: 38). Сила и живучесть этой культурной традиции заявят о себе в конце XX в., в перестроечную пору, когда сначала прозвучат набатные произведения литературы, кино, театра, возвещаая время наступления долгожданных перемен, и только затем произнесет свое веское слово социология (к чему я еще вернусь в заключительных очерках книги)<sup>1</sup>.

Еще один момент — периодизация процесса развития социологии. Одну из таких схем предложил А.Г. Здравомыслов, выделив семь периодов: *середина XIX в.* (первоначальные варианты социологического мышления); *80-е гг. XIX в. до 1917 года*; *1917 — конец 1920-х гг.* (от полемики к идеологической монополии); *1929–1953 гг.* (период сталинской догматики); *возрождение социологии в 1960-е гг.* («шести-

---

<sup>1</sup> Необъявленное соперничество художественного и научного способов осмысления действительности едва ли не всегда заканчивалось победой первого над вторым. Отечественный литературный дискурс (проза, поэзия) в своем стремлении понять собственное общество и найти емкие словесные формулы для выражения его истинных, а не мифологических состояний оказывался по своему качеству существенно выше того, что предлагали социальные дисциплины. Причину сохраняющей свою силу власти художественного слова назвал поэт А. Найман: «Поэт не тот, кто подхватывает его (языка. — Б.Ф.) изменения, а тот единственный, кто знает, каков язык в каждую минуту, и чьи знания — закон для говорящей толпы. Он не учит языку, но, как родитель, что-то говорит над колыбелью нации, и через некоторое время языком становится то, что нация усвоила через него и повторяет применительно к своим потребностям. Он — санитар языка, промывает его лепет, косноязычие, очищает от омертвевших гниющих тканей — как дерево, перерабатывающее углекислый газ в кислород» (Найман 1998: 503). Адекватно ответить на этот вызов социология не смогла!

десятичники»); 1970–1980-е гг. (институционализация социологии и ее распространение); *плюралистическая социология 1990-х гг.* (Здравомыслов 2008б: 108).

У крупный вариант историографии российской социологии представил академик Г. Осипов, выделив следующие этапы ее развития: *зарождение* (связанное с появлением социологических публикаций, первенцем среди которых стала книга В.В. Берви-Флеровского «Положение рабочего класса в России: наблюдения и исследования», вышедшая в 1869 г.), *институционализация* (появление первой кафедры социологии в Психоневрологическом институте в 1908 г.), *период запрета* (1929–1955), *«проторенессанс»* (1956–1957), *собственно возрождение и повторная институционализация* (создание Советской социологической Ассоциации, Института конкретных социальных исследований АН СССР, а следом, с двадцатилетним отрывом по времени, и первых социологических факультетов при Московском и Ленинградском государственных университетах) (Юбилейная научная сессия РАН 2008: 151–152).

Обе схемы предложены учеными, которых профессиональное общество справедливо относит к числу основателей социологии 1950–1980-х гг. Оба «фундатора» пользуются словом *возрождение* в своих исторических реконструкциях. Однако истине, поисками которой настойчиво занимается поколение социологов, идущее первопроходцам на смену, более соответствует словосочетание *второе рождение*. Повод для такой коррекции появился в процессе проведения биографических интервью Б. Докторовым (см.: Докторов, Ядов 2008: 47–58). Оказалось, что в начале второй половины двадцатого столетия у создателей социологии не было обоснованных концепций ее построения, которые опирались бы на достижения русской дореволюционной и раннесоветской социологической мысли. Причина тому — не дилетантизм или равнодушие к прошлому, к опыту предшественников. Дело в исторических обстоятельствах и условиях жизни страны. Немалая часть предшественников разделили трагическую участь врагов народа, многие оказались в эмиграции, иные умерли, часто в неизвестности. Их возвращение в национальную память началось лишь после перестройки. По этой причине Б. Докторов сделает нетривиальный вывод, ссылаясь на точки зрения основателей социологии: термин «возрождение» применительно к процессу социологического строительства в хрущёвскую эпоху и его закрепление в историко-научоведческих исследованиях может стать основой для мифов, ложной, ошибочной интерпретации всего процесса развития науки во второй половине XX в. Т.И. Заславская поддержала Б. Докторова: «Я согласна, что это было второе рождение. Уже потом возник интерес к историческим корням, который сохраняется и сейчас» (Заславская 2007б:

166). По мнению Ж.Т. Тощенко, «в реальности русских социологов XIX века, 20-х гг. XX века вспоминали скорее по форме, чем по существу» (Тощенко 2007: 168)<sup>2</sup>.

## 2.2. О становлении русской социологической науки

Историк русской социологии И. Голосенко ввел в оборот представление о когнитивной зрелости научной дисциплины. Достигнув этой стадии, дисциплина оказывается способной выдвигать и решать различные классы познавательных задач в своей предметной области, опираясь прежде всего на собственную теорию, методологию и методы. Разумеется, этому способствуют полноценные условия для воспроизводства и распространения в обществе социологического знания. О достижении когнитивной зрелости свидетельствуют три критерия: «стремление к теоретико-методологической интеграции, создание эмпирического уровня исследований и успешная институционализация (организация преподавания и научной работы)» (Голосенко, Козловский 1995: 8). Проведя достаточно подробный анализ, Голосенко приходит к выводу о том, что, «проникнув» в Россию с Запада в 60-е гг. XIX в., социология быстро приняла собственные оригинальные формы и встала на путь динамичного самостоятельного развития, будучи тесно связанной с национально-культурными традициями и «встроенной» в политическую жизнь тогдашней России.

Процесс *теоретико-методологической интеграции* (ТМИ) прошел через три этапа (Там же: 34–52). На *первом этапе* (конец 60-х — конец 80-х гг. XIX в.) имело место возникновение «новой науки». Оно сопровождалось азартом и энтузиазмом ее сторонников. Их стараниями «социальное» было вынесено на страницы российской печати — рабочий, крестьянский, женский, национальный вопросы получили постоянную прописку в российских журналах и газетах. Неакадемическая форма

---

<sup>2</sup> Не удержусь от соблазна высказать собственную точку зрения. Первые годы моей профессиональной деятельности, после аспирантуры и защиты кандидатской диссертации в 1969 г., начались с изучения массовой коммуникации как специфического явления второй половины XX в. на основе синтеза современных западных теорий и эмпирических данных отечественного происхождения. Прошлое этой отрасли социологического знания (раннесоветское и/или дореволюционное) казалось анахронизмом, оно было подавлено прессом актуальности исследовательских задач 1960-х гг. По этой причине первые оригинальные «штудии», не только прикладные, но и теоретические, демонстрировали рождение нового знания, а не его возрождение из руин прошлого. Я начинал с чистого листа, без обращения к корням национальной (советской и русской) культуры и ее органической части — социальной науки.

распространения социологической социальной мысли — характерная черта того времени. Правда, дискурс осуществлялся в границах скорее обыденных, житейских представлений. Научная культура социологического мышления еще только обозначается в зыбких выводах, но дело идет вперед, несмотря на то, что к науке-Золушке далеко не дружелюбно относятся сложившиеся и официально признанные гуманитарные дисциплины, такие как история, правоведение, политическая экономия.

Оставляя в стороне справедливую критику увлечения позитивизмом во всех его формах и проявлениях (органицизм, географическая школа, психологизм, историческая социология), подведу итог первого этапа. Новая общественная наука сумела привлечь внимание к социальным процессам и состояниям общества в целом. Совсем другое дело, что ей не удалось преодолеть описательный характер и предложить систему обоснованной научной критики как состояния тогдашнего общества, так и своего собственного познавательного потенциала.

И.В. Голосенко делает такое резюме к первой стадии ТМИ: «В 1869–1883 гг. мы видим взрыв оригинальных публикаций (конечно, они готовились в предыдущие годы), почти одновременно появляются социологические труды В.В. Берви-Флеровского, Е. де Роберти, В. Лесевича, А. Щапова, Н. Хлебникова, Н. Данилевского, П. Лилиенфельда, П. Лаврова, Н. Михайловского, А. Стронина, Н. Кареева, С. Южакова, М. Бакунина. С этого момента можно говорить не о периоде, когда слово “социология” украсило российскую словесность, а о создании в России социологической науки» (Социологическая литература 1995: 9–10).

В последнее десятилетие XIX в. социология вошла во *второй этап*, который частично захватил и 1900-е гг. Для него было характерно резкое интеллектуальное оживление и начало дифференциации течений в русской социологии. Впоследствии этот период развития науки был назван этапом теоретико-методологической критики. На ее волне возникли устойчивые антипозитивистские ценности, неопозитивизм и марксистский подход. Особенность этого периода — акцент на основных понятиях языка социологической науки (для социологов было важно договориться, что понимать под обществом, народом, классами, интеллигенцией и т. д.), а также активные попытки пересмотреть отношения с другими гуманитарными науками, которые начинают признавать новую социальную дисциплину и плодотворность ее реалистического взгляда на общество.

Принимая логику И. Голосенко, можно заключить, что этот этап завершился появлением профессионального сообщества, когда многие российские мыслители остановили свой жизненный выбор на производстве социологического знания в самых различных формах. Выступление Герцена в роли первого российского социолога связано прежде всего со способом его мышления, которое позволило создать

целостную картину жизни современного ему российского общества и Европы, кстати, опирающуюся на схемы, отличные от тех, что предлагали О. Конт и Г. Спенсер. П. Лавров и Н. Михайловский, как и многие другие общественные мыслители, включенные в «список Голосенко», были «социологами по самоназванию». Другие из того же списка воспринимались их окружением как публицисты, общественные деятели (народники). Первыми социологами-профессионалами (по образованию, характеру научно-преподавательской и просветительной деятельности) можно считать М.М. Ковалевского и Е. де Роберти. Именно они стали учителями П.А. Сорокина.

Возникший в недрах второго этапа, *третий этап* (его пик пришелся на первое десятилетие XX в.) не исключил борьбу течений, но дал толчок к обретению ими (на базе теоретико-методологического размежевания) конкретной формы и содержания, научного профиля. Тогда же обозначились траектории научной и идейной эволюции большинства ведущих социологов. Итогом этого периода явилось создание эмпирического и теоретического уровней, усиление процесса приращения знания в целом. Подсчитано, что количество социологических публикаций в первом десятилетии XX в. выросло в три раза в сопоставлении с последним десятилетием XIX в. и превысило тысячу. Центральные темы социологической литературы того времени — конституирование социологии, обсуждение проблем социальной динамики, социальная структура (порядок) и социальное поведение, личность, отклики на сочинения западных социологов и интенсивные связи с ними.

Обращенность к процессам, имевшим место в мировой социологии, — важнейшая черта русской социологии. Практически все сколько-нибудь известные авторы, отмечал И. Голосенко, были переведены на русский язык (О. Конт, Л. Уорд, Ф. Гиддингс, Л. Гумплович, Г. Спенсер, Ф. Теннис, Г. Зиммель, М. Вебер, Э. Дюркгейм и др.). Многие из этих переводов вернулись к советским социологам в конце XX в., сохранив свою актуальность и познавательную ценность. Не только разнообразные и борющиеся между собой течения русской социологической науки, но и критически освоенное разнообразие научных идей, «возникавших у других народов» (Н. Кареев), составили в этот период единое мыслительное пространство (Голосенко, Козловский 1995: 39).

На первых порах в границах этого пространства развивался марксистский социологический подход. Оставим пока в стороне вопрос о том, какое место он занимал в иерархии всех направлений национальной социологической мысли, — был ли он главным или «рядом положенным». Даже подогретая вера части русских интеллигентов (включая сюда социологов-марксистов) в возможность научного переустройства России не приводила к утрате ментальной готовности терпеливо, или, как теперь часто говорят, толерантно, воспринимать другие идеи. По-

вторую, ибо это важно. В начале века различные течения социологической мысли — будь то органическое или психологическое, гегелевская школа или неокантианство — хотя и расходились с материалистическо-экономическим направлением, существовали одновременно и входили в теоретическую систему воззрений отечественной социологии, суммарно обеспечивая ее когнитивную зрелость. Так было до 1917 г.

*Институционализация* русской социологии (Там же: 17–34) протекала весьма динамично, несмотря на официальные барьеры и препятствия. В последней трети XIX в. начались рост публикаций и постоянное расширение их географии. Русские авторы активно сотрудничали в западных журналах, социология обретала не только в профессиональном, но и в массовом сознании статус науки, способной ответить на актуальные и жизненно важные вопросы. Что касается преподавания, то оно наталкивалось на сопротивление, хотя чтение специальных курсов по социологии началось еще в 70-е гг. Министерство просвещения долгое время считало, что преподавание новой науки «компрометирует любое учебное заведение». Сановные бюрократы даже переименовали сам термин «социология», назвав ее «блажьлогией». Но и здесь нашли выход. Распространение получили программы самообразования по социологии, разработанные рядом профессиональных ученых (Там же: 20).

Однако невысказанное или неизученное на родине приходилось договаривать и доисследовать за границей. М. Ковалевский использовал социально благоприятное отношение к социологии на Западе и организовал в Париже (во время проведения Всемирной промышленной выставки в 1900 г.) Русскую высшую школу общественных наук, просуществовавшую пять лет (1901–1906). За это время в ней прошли обучение свыше 2000 человек. Николай II оценил это учебное заведение как «вредное». Прямым «продуктом» школы стал Психоневрологический институт (изучение человека на базе органического сотрудничества естественных и социальных наук и с участием социологической кафедры, руководимой М. Ковалевским и Е. де Роберти). Воспитав в течение 1908–1916 гг. свыше 6000 человек, Институт попал под полицейский контроль.

После февральской революции институционализация продолжилась. Под влиянием буржуазных новаций были введены научные степени по социологии и образованы кафедры социологии в Петроградском и Ярославском университетах. В 1920 году Петроградский университет открыл факультет общественных наук, в составе которого была социологическая кафедра. Ее возглавил П. Сорокин<sup>3</sup>. Несколько

---

<sup>3</sup> Тогда же возобновило свою деятельность Социологическое общество, получившее имя М.М. Ковалевского (оно возникло в 1916 г., вскоре после его смерти).



ранее (1919) появился Социобиблиографический институт, вскоре трансформированный в Социологический институт, где какое-то время бок о бок трудились марксисты и немарксисты. Угрозу и конец этому сосуществованию положила система идеологических и теоретических институтов большевистской власти, которая окончательно сложилась в первой половине 1920-х гг.

В итоге на всех трех уровнях институционализации (динамика научных публикаций и изменений статуса социологии в массовом сознании; развитие системы социологического образования; появление специализированных научных организаций социологического профиля) происходила поддержка новой науки и наблюдался процесс ее утверждения (Голосенко, Козловский 1995: 33). Февральская буржуазная революция сумела воспользоваться плодами этого процесса и даже в какой-то мере, на непродолжительное время, подчинить науку собственным интересам. Многие социологи, оппозиционно настроенные к царизму, перешли на сторону Временного правительства и начали служить ему (В. Чернов, П. Милюков, П. Сорокин, Н. Кондратьев, Н. Тимашев, Ф. Степун и др.), но они же оказались в оппозиции и к коммунистической власти, действия которой сопровождалась арестами, изгнанием из университетов, роспуском кафедр и журналов, наконец, высылкой инакомыслящих ученых из страны. В 1922 году за пределы страны было выслано около 160 деятелей русской культуры и науки. В их числе оказались такие выдающиеся философы, социологи, как Н.А. Бердяев, П.А. Сорокин, П.Б. Струве, С.Л. Франк и многие другие. Большое число крупных ученых и профессоров были уволены из Петроградского университета, в их числе Н.И. Кареев (Осипов 2008).

Это и стало концом научной социологии, за которым вскоре последовало объявление ее буржуазной лженаукой, не только не совместимой с марксизмом, но даже враждебной ему (Социология в России 1998: 23). Впрочем, к этой «антинаучной» стороне дела мы еще вернемся.

*Эмпирическая база русской социологии* возникла до получения ею статуса самостоятельной научной дисциплины. Источником сбора сведений, характеризующих различные стороны жизни российского общества, стали губернские статистические комитеты, возникшие в середине XIX в. Уже упомянутая выше земская статистика была результатом деятельности, которой на первых порах добровольно занималась народнически настроенная интеллигенция. Систематические обследования

---

Председателем общества был избран Н. Кареев, действительный член Российской академии наук с 1910 г., единственный представитель плеяды дореволюционных обществоведов, ставший в 1929 г. Почетным членом АН СССР (Юбилейная научная сессия РАН 2008: 151–152).

имели место в 17 губерниях. В начале XX в. традиции земской статистики были многократно приумножены трудами учителей, врачей, экономистов, инженеров, представителей духовенства, которые проводили социальные обследования на свой страх и риск. Так возник первый в истории нашей страны анкетный бум, повторение которого произошло лишь спустя несколько десятилетий, но уже в результате активности социологов послесталинской поры.

Следует подчеркнуть, что в центре внимания в то время находились «больные вопросы» общественной жизни, каковыми тогда считались положение низов (рабочего класса и крестьянства), образование, широко понимаемый народный быт, санитарная культура, пьянство, самоубийства, проституция. (Парадоксально, но многие из этих тем были впоследствии табуированы в условиях зрелого социализма. Несмотря на низкую методическую культуру, ряд исследовательских работ сохранили свою ценность не только для историка науки, но и для современного социального исследователя.) Тогда же началась коррекция эмпирической стороны дела точными науками, в первую очередь математикой и статистикой. Ряд работ в этой области (например, труды А. Чупрова — ему тоже пришлось покинуть Россию) и по сей день считаются классическими.

Еще один важный момент — убеждение наших предшественников в том, что, несмотря на естественность разделения различных стадий социологического труда, социолог-теоретик и социолог-эмпирик должны выступать как единое целое в процессе познания реальности (Голосенко, Козловский 1995: 51).

Не вызывает сомнения итоговый вывод автора концепции когнитивной зрелости социологии. Русская социология была вполне сформировавшейся отраслью социального познания, связанной не только с «национальными ветвями» других социальных и гуманитарных дисциплин, но и с мировой социологической наукой в целом.

### **2.3. Политическая ангажированность отечественной социологии**

В предлагаемой ниже концепции (Социология в России 1998: 23–27) делается попытка избежать крайностей одномерного представления истории отечественной социологии, находившейся под влиянием марксизма на протяжении всей своей истории. Автор концепции (Г. Батыгин) исходит из того, что это влияние было исторически неизбежным: еще до распространения марксизма в России само российское общество и в особенности его наиболее радикально настроенная часть — российская интеллигенция — оказались политически ангажированными.

С дореволюционной социологией и путями ее развития в этой концепции связываются два принципиальных наблюдения. Историки российской социологии (более широко — исследователи российской общественной мысли) утверждают, что российская социологическая традиция никогда не замыкалась в рамках академической доктрины. С самого начала эту традицию отличали, во-первых, определенным образом выражаемое господство идей — приверженность категориям марксистской диалектики, дух «отчаянного» марксистского философствования, тесная связь с массовой пропагандой и идеологией, а во-вторых, — специфика поведения профессионального сообщества и ряда научных учреждений. Она влияла на борьбу интересов и процесс реформирования политического режима. Эти генетические черты из дореволюционного периода впоследствии были перенесены в советский период.

Данное предисловие представляется необходимым, для того чтобы грядущие поколения могли без предубеждений оценивать семидесятилетний период господства марксизма в СССР и не смотреть на него как на время тотального мрака и лжи. В противном случае люди, работавшие в это время, покажутся «либо бессовестными приспособленцами, либо угнетенными умниками с фигами в кармане» (Социология в России 1998: 24).

Их реабилитация начинается с констатации тезиса о рационализации нигилизма, имевшего место во второй половине XIX в., согласно которому отличительной стороной российской социологии всегда являлось ее исключительное воздействие на общественную и политическую жизнь. «История не знает другого такого подчинения человеческого сообщества теоретической схеме» (Там же: 25). Справедливость этого тезиса не вызовет сомнений, если вспомнить популярность марксистской доктрины среди российской интеллигенции конца XIX в.

К указанному времени Россия уже имела более чем столетнюю традицию секулярной (эмансипированной от религии) общественной мысли. Собственно научное ее направление возникло в 60-е гг. XIX столетия, когда начались критика несовершенного устройства общества, поиск социального идеала и появились «критически мыслящие личности» (тургеневские Базаровы, нигилисты). Они выступали против архаичных социальных институтов и всячески стремились к тому, чтобы десаκραлизовать (освободить от влияния религии) общественную жизнь и государство, сделать их подвластными эмпирическим наблюдениям и жизненному опыту. Этот процесс не исключал обостренных временем философских (религиозно-философских) исканий, но все же право называться представителями социологии на первых порах принадлежало сторонникам «позитивистской науки».

Появление социологии было подстегнуто вступлением России на путь капиталистического развития в конце XIX в. Оно совпало с тем, что

общество к этому моменту испытывало потребность в новой обобщающей дисциплине. Здесь заразительным оказался пример естественных наук, и в частности поиск единых законов природы. Однако требовалось найти методiku интеграции знаний об обществе, и ее заимствовали у О. Конта (в меньшей степени у Г. Спенсера, Г. Бокля и Д. Милля). Это новое знание сразу же оказалось оппозиционно настроенным по отношению к режиму, и поэтому нет необходимости говорить о наличии проблем тогдашнего российского общества, направленной ревизии прошлого и об активных поисках ответа на вопрос: *Что считать наиболее важным для блага народа?* Не вызывает удивления и сопротивление власти. Достаточно вспомнить запреты Павла I и Николая I на слова «прогресс», «общество», «революция». Ссылки, эмиграция, грозные предупреждения властей, тюрьма и увольнения — факты биографий многих социологов анализируемого периода. Их изначальный радикализм приобрел совсем иное качество под влиянием марксистских идей, сыгравших особую роль в поляризации социальных наук, а затем и всего российского общества.

## 2.4. Марксизм и русская социология

В 40–50-е годы XIX века марксизм как учение об обществе был мало известен русской интеллигенции. Но пройдет еще 20–30 лет, и, набрав силу, он обретет статус радикальной политической доктрины, которая станет знаменем нарождающейся социал-демократии (Голосенко, Козловский 1995: 214). Этот сдвиг может быть объяснен социальной привлекательностью марксистских идей — в приложении к общественной жизни они открыто призывали к изменениям существовавшего тогда устройства социальной жизни и власти. Правда, общество постепенно осваивало разделы марксистского учения (Гофман 1995: 105). Процесс начался с экономических идей и представлений о материалистическом понимании истории. За ними настала очередь философской концепции диалектического материализма. Синтез этих частей только усиливал рост общественного интереса к учению. Ведь в конечном счете теория и ее различные разделы были направлены на преобразование типа общественного устройства через захват и изменение власти.

Законы исторического развития по Марксу давали не только понимание прошлого и настоящего, но и предсказывали, казалось, вполне определенное будущее. «Знание предначертаний исторической необходимости, выступившей как замена воли божественного провидения, приводило к тому, что следование историческим законам или тенденциям воспринималось как моральный долг» (Там же: 105–106). Люди, познавшие эти законы, не должны были ждать, пока «историческая не-

избежность» проложит себе дорогу. Они были вправе ускорить действие законов, если желали перейти из «царства необходимости» в «царство свободы». Политический радикализм здесь обозначался со всей определенностью.

Поэтому не случайно революции занимали центральное место в теории социальных изменений, предложенной Марксом. Эта теория обладала двумя важнейшими свойствами. Во-первых, она знаменовала переход в новое качество общественных отношений. Буржуазная общественная формация завершала предысторию человечества, открывая путь к «подлинной истории», каковой была коммунистическая формация. Здесь существенными были такие черты коммунистической формации, как 1) исчезновение подчинения человека поработавшему его разделению труда; 2) одновременное исчезновение противопоставления умственного и физического труда; 3) превращение труда из средства к существованию в первую потребность жизни; 4) всестороннее развитие индивидов; 5) небывалый рост производительных сил и общественного богатства; 6) реализация принципа «От каждого — по способностям, каждому — по потребностям» (лозунг, первоначально провозглашенный французским коммунистом Э. Кабе) (Гофман 1995: 111).

Второе свойство — сам способ общественных преобразований: быстрый, резкий конфликт, а следом — тотальный сдвиг в социальных отношениях. Об эволюции здесь не могло быть и речи. Позволю себе лишь две короткие цитаты из работ К. Маркса на эту тему. «Революции — локомотивы истории» — таков первый постулат (Маркс, Энгельс т. 7: 86). Другой, не менее знаменитый, тезис — «Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым» (Маркс, Энгельс т. 23: 761).

Метаморфоза, связанная с превращением этих идей в догму, произошла позже. Но первоначально они стали оформляться как научные взгляды, на базе которых складывались марксистская социология и соответствующий ей тип социологического мышления, а затем вошли в массовое сознание в качестве императивов обновления социальной жизни. Элементами концепции были классовая модель общества и его развития; социальные ценности пролетариата, основанные на материалистическом понимании истории; статус личности, подчиненный требованиям социальной среды; радикальное изменение социального порядка революционным способом (Голосенко, Козловский 1995: 220).

Сама концепция вытекала из предложенных Марксом универсальных закономерностей общественного развития и тем укрепляла веру российской интеллигенции в возможность научного переустройства мира человека. Хотя при строгом взгляде на вещи «научность», которой была одержима интеллигенция начиная с последней трети XIX в., являла собой скорее умонастроение и утопический миф, чем ориента-

цию на дисциплинарную организацию знания (Социология в России 1998: 27–28). Но именно это «особое опьянение» оказалось причиной и следствием некритического восприятия обещаний марксизма, связанных с «подлинной» историей человечества. Обещания, замечу еще раз, опирались не столько на фундамент научных доказательств, сколько на веру в бесконечные возможности радикальных преобразований с помощью марксизма, который следом за его создателем считал науку не целью, а лишь инструментом революционных преобразований. Итог воздействия этих обещаний известен: испытывая чувство головокружения от внушенной ему социальными философами способности к переустройству мира, человек приступил к реальным действиям, обернувшимся в конечном счете социальным произволом, трагедиями XX в.

Я уже говорил о едином мыслительном пространстве русской социологии как важнейшей характеристике ее состояния в начале XX в. В это поле входила социология марксистского толка как относительно самостоятельный комплекс представлений об обществе. Теоретическая полемика между марксизмом и иными течениями в границах этого пространства представлялась делом естественным как важнейший способ развития социального познания (Там же: 46–51). Однако эта полемика с определенного момента поляризовалась: на первом полюсе обозначалась внутренняя борьба конкурирующих теорий немарксистского толка, на втором — их совместная борьба с марксистской социологией. Существенно, что многие социологи того времени были единодушны в конфронтации с марксизмом по всем направлениям (Там же: 48). Особенно острой эта конфронтация стала после революции 1905–1907 гг. Непосредственной причиной раскола, который сначала деформировал, а затем разрушил «единое мыслительное пространство», явилась «эксальтация классовой борьбы» (Г. Батыгин) на базе марксистского верования. С этого момента борьба социологических идей начала перемещаться из общенаучного поля в политическую сферу и в конечном счете стала *идеологическим* оружием в борьбе людей.

В качестве итогового рассуждения хочу сослаться на известный труд К. Поппера «Открытое общество и его враги» (Поппер 1992: 159–169). Исходное положение Маркса о том, что капитализм в результате действия могущественных законов истории изменится и сам придет к бесклассовому обществу, только внешне выглядело как тщательно обоснованное доказательство. При его построениях относительно убедительным эмпирически (да и то в приложении к капитализму XIX в.) был первый тезис о том, что возрастает не только богатство, но и нищета. Второй тезис о неотвратимости социальной революции уже приходилось принимать на веру. (К примеру, обнищание пролетариев не было гарантией их всеобщей солидарности, а восстание не обязательно должно было сопровождаться насилием.) Третий тезис — появление

социализма — требовал еще большей, едва ли не фатальной, веры. Эксплуатация не обязательно исчезала вместе с буржуазией: роль эксплуататоров могла перейти, как это и случилось на самом деле, к Новому классу бюрократии (номенклатура — в условиях страны победившего социализма). Государство не только не отмирало, но и усиливало свою власть над людьми, поскольку неограниченный законодательно социализм уже с первых дней после Октябрьской революции начал вмешиваться в экономику, политику и культуру.

«Марксистская теория марксизма и марксистская идеология были, по-видимому, достаточно искусными построениями, но они противоречили фактам истории и общественной жизни» (Поппер 1992: 475). Цель следующего раздела — проиллюстрировать государственный марксизм в действии.

## **2.5. О механизме всевластного распорядительства интеллектуальной жизнью**

Либеральная традиция — освобождать науку, образование, культуру от всех видов регламентирования со стороны государства — не могла привиться на советской почве. Хорошо понимая, к примеру, роль, которую сыграли свободная наука и свободное искусство в подготовке умонастроений народа к революции, произошедшей в стране (в октябре 1917 г.), большевики не могли допустить расцвета инакомыслия в советское время. В этих условиях партия сделала ставку на монополизацию государственного (политического) контроля и цензуру.

Первой инновацией явился контроль духовной сферы жизнедеятельности с помощью постоянно изобретающихся учреждений-монстров. Одним из таких монстров был Наркомпрос. К его ведению по старой традиции сначала отнесли образование, а следом за ним — литературу, печать, изобразительное искусство, кино, театр, музыку. Сошлюсь на фактические данные (Пайпс 1997: 343–404). Провозвестником этого процесса стал Госиздат (декабрь 1917 г.); следующий шаг — открытие Отдела ИЗО для контроля за бурной экспериментаторской деятельностью художников и скульпторов (январь 1918 г.) и закрытие Российской академии художеств (апрель 1918 г.). Затем была введена государственная монополия на бумагу (май 1919 г.), которая позже органично (если иметь в виду общий замысел — ограничить свободу самовыражения) дополнилась монополией государства на продажу книг и других печатных изданий. К ИЗО вскоре добавили МУЗО для распорядительства музыкальной жизнью страны; затем произошла национализация театров и цирков, а руководство над ними было передано Центртеатру (август 1919 г.).

В 1920 году был учрежден Главполитпросвет — новое идеологическое учреждение с задачами просвещения народных масс. Замыкало этот ряд Госкино (декабрь 1922 г.) — учреждение, призванное заниматься кинематографом — важнейшим, по определению Ленина, искусством. Исключение здесь составила Академия наук — вплоть до конца 20-х гг. она сохраняла свою относительную экстерриториальность в системе государственных учреждений, хотя уже с начала 20-х гг. в Наркомпросе существовало координирующее науку ведомство — Главнаука.

Сегодня (в отличие от прошлого десятилетия, когда вышла в свет «История советской социологии 1950-х — 1980-х годов») мы располагаем документами, позволяющими понять и ощутить, как осуществлялось насилие над мыслью, общественной моралью, нравственностью, как калечили *огосударственную* советскую культуру, искусство, науку. Рука об руку с КПСС, КГБ, ГУЛАГом произвол творила и советская цензура. Потому я решил расширить ранее рассказанный сюжет о нелегитимном распорядительстве интеллектуальной жизнью со стороны органов власти и подчеркнуть органическую связь этого процесса с судьбами советской социологии.

Советская цензура — вторая инновация большевистской власти. О ее роли еще только начинают писать, подчеркивая масштабы деятельности и соответственно тотальный контроль над мыслями, который был с ее помощью установлен. Наивысшей фазы своего развития цензура достигла в тот момент, когда начала исходить из появившихся подозрений относительно последствий, к которым могла привести публикация любого конкретного результата творческого труда. Цензура начала с контроля изданий, ожидавших выхода в свет (сигнальный экземпляр книги), премьерного или специального просмотра готового спектакля. Затем наступила очередь замысла того или иного произведения — контроль на «выходе» дополнился контролем на «входе» (например, в кино следовало повесить роль не только сценария, но и заявки на сценарий, от которой требовалось вербально изложить будущий фильм) (Паперный 1996: 221–239).

В итоге цензорский «фильтр» начал активно сдвигаться к истокам создания произведения (предварительная цензура). Кульминация процесса состояла в том, что сам «фильтр» начал генерировать сообщения. С этого момента цензура выступала как особый социальный механизм, который был занят трансляцией «знания» истинного результата в прошлое, к истокам пути, ведущего к этому результату (Там же: 240), пытаясь поставить под контроль творческий замысел ученого, автора, художника. Какое поле для проявления пролетарской бдительности открывалось в этом случае, оценить спустя десятилетия нам весьма сложно. Но все же не случайно в рассматриваемый период произошло



своеобразное сращивание деятельности двух важнейших институтов — Главлита и ГПУ. Исполнение отдельных акций, задуманных Главлитом в качестве мер, которые были направлены на борьбу с инакомыслием, поручалось чекистам. В свою очередь, ГПУ доверяло проведение таких акций «братьям по классу» — цензорам. Но, впрочем, все по порядку.

Одним из самых первых декретов, подписанных В.И. Лениным, провозглашалось запрещение всех буржуазных газет, что, по сути, было запрещением всех газет и фактической отменой всей печати, кроме большевистской (Цензура 2004: 4). Неделью спустя, 4(17) ноября 1917 г., высший орган власти нового государства ВЦИК в резолюции «О печати» заявил, что «восстановление так называемой “свободы печати”, то есть простое возвращение типографий и бумаги капиталистам — отравителям народного сознания, явилось бы... мерой, безусловно, контрреволюционного характера» (Там же: примеч. 1). ВЦИК безоговорочно разделил точку зрения вождя революции о том, что терпеть существование буржуазных газет значило бы «перестать быть социалистом». Собственно говоря, в этих документах заключена основа политических преследований и запретов в духовной сфере (печать, литература, искусство, культура, наука, образование, просвещение), поскольку истребление свободы слова, а еще точнее — систематическое убиение мысли, превратилось в считанные месяцы, если не дни и недели, в родовую черту «краснодержавия» (выражение З. Гиппиус).

Понять эту *страшную* основу помогают работы российских исследователей, занимавшихся изучением истории советской цензуры, опубликованные в последние годы. Каждый из периодов этой истории — идет ли речь о 1917–1929 гг., названных А.А. Ахматовой «вегетарианской эпохой», о тоталитарных временах 1930–1953 гг. или о последнем периоде, 1953–1991 гг., — имеет свой знак отношения к развитию и состоянию широко понимаемой общественно-политической мысли. В первый из названных периодов была создана и институционализована небывалая дотолем система всеохватной цензуры.

Строгости ради замечу, что какой-то отрезок времени (историки называют его доглавлитовским) сам факт существования цензуры еще не являлся государственной тайной, а результаты цензорского контроля, мотивы «вычерков» можно было найти в официальных изданиях. В годы расцвета тоталитаризма вступил в силу механизм подавления печатного слова и иных средств массовой информации, невиданного политического насилия над ними. Контроль полностью был узурпирован звеньями партии, отвечавшими за распространение коммунистической идеологии. Третий из перечисленных периодов утратил относительную целостность и единство первых двух. Историки цензуры с некоторыми оговорками разбили его на времена «оттепели», застоя и перестройки, связав окончательно и бесповоротно контроль форми-

рования образа мыслей в обществе — главную функцию органов цензуры — с генеральной линией правящей партии, направленной на сохранение статус-кво режима и своей власти. Вплоть до перестройки продолжалась непрерывная «эволюция» цензуры на основе вращающегося общественного организма и роста числа выполняемых функций. Уже в «вегетарианскую эпоху» наряду с чисто контрольными и запретительскими функциями цензура ревностно принялась за решение карательных и доносительских задач.

Поражают цензурного «размаха шаги саженьи». Созданному в 1919 г. агитационно-пропагандистскому отделу (далее — Политотдел) Госиздата РСФСР и его коллегии принадлежали все разрешительные и запретительные права на выход в свет всей печатной продукции, издававшейся тогда в России, с целью остановить поток идеологической, политической и тому подобной вредной литературы, не только в области политики, но и в области искусства, культуры, театра и тому подобное (Там же: 14, примеч. 1). Госиздат в действительности был воплощением централизации и регламентации всего издательского дела в стране. В отдельные годы первого десятилетия советской истории под его грифом выпускалось до 70 % всей публикуемой в стране книжной продукции. С этого времени авторы, будь то литераторы, журналисты или ученые, лишились «права на книгу» и «права на читателей», права видеть свою рукопись отпечатанной и дошедшей до читательских слоев (Там же: 15–16).

Редкие, но все же возникавшие иногда протесты и требования остановить растущее насилие над авторской мыслью успеха не имели. «Уже нельзя указать границ цензурному усмотрению. Нет никаких норм, которые были бы проведены между дозволенным и недозволенным», — говорилось в обращении Всероссийского съезда писателей на имя Народного Комиссара Просвещения А.В. Луначарского, принятом 30 декабря 1921 г. (Там же: 23–24). Логически обоснованные аргументы (цензура оценивает даже такие невосомые величины, как настроения, вычитывая их между строк и запрещая рассказы и стихотворения, настроение которых не нравится цензору; политическая цензура присвоила себе функции литературной, театральной критики, историка культуры, последнего судьи в вопросах научного историоведения, соединяя в себе это высокое притязание с редкими проявлениями духовного сервизизма, а также функции последнего судьи в вопросах религиозной совести) и другие не менее убедительные факты не встревожили Наркома просвещения. Поле боя осталось за Политотделом Госиздата, по мнению которого «их (писателей-жалобщиков. — Б.Ф.) может удовлетворить один момент — падение Советской власти». Следом за этими словами Политотдел выразил надежду, что ответ наркома «будет решителен и тверд» (Там же: 29).

На определенном витке развития цензуры стало ясно, что совмещение политконтроля с общередакционной работой становится делом затруднительным. Масштабы репрессий против слова неуклонно росли, однако утопическая цель — установить полный контроль над издательским процессом — становилась все более недостижимой. Не помогли даже срочные кадровые вливания за счет слушателей Института Красной профессуры, показавших себя годными для политической, литературной или специальной работы. Выход был найден в учреждении (июнь 1921 г.) государственного органа с отделениями на всей территории России, получившего при рождении имя Главлит (Главное управление по делам литературы и издательств при Наркомпросе РСФСР). Его задачи были определены как предварительный просмотр всех предназначенных к опубликованию произведений — периодических изданий, нот, карт и т. д.; составление списков произведений печати, запрещенных к обращению.

В ноябре 1922 г. в адрес всех местных органов Главлита была выслана инструкция, позволявшая связать авторство в его изобретении с единственным субъектом — партией большевиков. «Главлит, организованный по инициативе ЦК РКП, — говорилось в этом документе, — считает, что опыт цензурного воздействия выдвигает два основных пути цензурной политики:

1. Административное и судебное преследование, которое выражается в закрытии издательств или отдельных изданий, сокращении тиража, наложении штрафа и предании суду ответственных лиц. 2-й путь — путь умелого идеологического влияния, воздействия на редакцию — путем переговоров, ввода подходящих лиц, изъятия наиболее неприемлемых» (Цензура 2004: 35–36). Чем не черновой набросок к знаменитой фразе 1930-х гг. «Если враг не сдается, то его уничтожат!»

Деятельность Главлита имела явную тенденцию к постоянному расширению и без того всеохватного контроля за всеми проявлениями интеллектуальной активности. В 1923 году в поле этого контроля попадают репертуар и зрелища. Директива на сей счет содержала элементы трогательной заботы о комфорте контролеров, пришедших искать крамолу при исполнении художественных произведений. Зрелищным предприятиям вменялось отводить для «близнецов-братьев» — органов Главлита и отдела Политконтроля ГПУ — по одному постоянному месту, не далее 4-го ряда, предоставляя при этом бесплатную вешалку и программы (Там же: 39–40).

Следом за этим начался выпуск бюллетеней Главлита; их первые выпуски (тираж всего 12 экземпляров, отпечатанных на машинке) адресовались только политической и идеологической верхушке. Они готовились Главлитом совместно с ГПУ, намечая линии политического сыска на основе анализа книгоиздательского дела в Европе, обзоров русской

эмигрантской печати и литературы, сведений о виднейших русских литераторах-эмигрантах, отзывов на русские зарубежные книги, включая политические и философские издания. Я бы назвал эти бюллетени информационной базой для проскрипционных списков — перечней книг, журналов, подлежащих конфискации, запрету к изданию и распространению (включая ввоз на территорию РСФСР). Подогрею интерес читателя-социолога ссылкой на циркуляр Главлита от 21 августа 1923 г. В совершенно секретном порядке Главлит рекомендовал всем «литам» на местах: «Безусловно не разрешать книг по вопросам философии и социологии, имеющих явно идеалистическое направление, направленных против марксизма» (Там же: 69). Конец 1923 года ознаменовался еще одной инициативой — изданием инструкции об изъятии всех видов литературы из библиотек, читален и с книжного рынка (Там же: 73). Ответственность за кампанию возложили на комиссии, в состав которых должны были входить представители отделов народного образования, Главлита, а где таковых не было, — то представителей вездесущего ГПУ. Документ был подписан Председателем Главполитпросвета Н. Крупской. К циркуляру прилагался список из 1200 книг, приговоренных к отлучению от читателей: книги русских эмигрантских издательств, лубочные издания, исторические романы дореволюционных русских писателей (Лажечников, Загоскин), антинигилистические романы Лескова, приключенческие романы зарубежных авторов. В течение последующих 10 лет было уничтожено и изъято свыше половины всех фондов общественных библиотек. Процесс политического контроля ширился. В конце 1924 г. вышло в свет указание о необходимости просмотра стенных газет «достаточно развитыми партийными товарищами». Цензорская чума перекинулась на оперный репертуар с целью удаления (после просмотра текста), «по крайней мере, наиболее неприятно поражающих глаз и ухо моментов». В середине 1926 г. вышел в свет «Перечень сведений, составляющих тайну и не подлежащих распространению в целях сохранения политико-экономических интересов СССР» — знаковый документ для всей последующей советской эпохи. С его помощью устанавливался уровень гласности и открытости ведомственных и массовых средств и каналов информации печати, а следом радио, позднее — телевидения. «Перечни» в равной мере были «намордником» для искусства, культуры, они же прямо или косвенно определяли «меру дозволенного» для социальных наук. Принудительное и повсеместное насаждение «пролетарской перспективы» с помощью цензуры — одна из причин «лоскутности» социологического знания, которое досталось в наследство социологам послевоенных лет от их собратьев-социологов 1920-х гг.

Создание Главлита символизировало собой усиление несказанного гнета, диктатуры глупости, невежества и цензуры толпы (слова Ю. Айхенвальда, написанные им вскоре после высылки за пределы Рос-

сии на так называемом философском пароходе) (Цензура 2004: 18). У меня нет другого способа доказать его историческую правоту, кроме как обратиться к словам первого начальника Главлита П.И. Лебедева-Полянского<sup>4</sup>, относящимся ко времени апогея советской цензуры — началу 1930-х гг.

Вот выдержка из доклада начальника Главлита П.И. Лебедева-Полянского на секретном совещании заведующих республиканскими Главлитами и Облрайлитами в январе 1931 г. (стенограмма).

...Надо понять, что генеральную линию партии мы должны рассматривать не только в области чистой политики, чистой экономики, но мы должны существующую генеральную линию партии распространить на все области практической деятельности, на все области нашей идеологии — и на социологию, и на историю, и на философию, и на медицину, и на сельское хозяйство, и на художественную литературу, и на детскую литературу. Словом, на все области нашей деятельности, на все виды изданий.

Вы знаете, что до сих пор, хоть и с препятствиями, и довольно большими, периодически выходили такие книги, как работы контрреволюционеров Чайнова, Кондратьева и целого ряда других людей. Скоро придет время, когда мы не будем иметь таких преподавателей, и все эти обломки чайновщины и кондратьевщины будут изъяты из наших учебных заведений.

В нашей области мы должны раз и навсегда положить этим элементам конец. Больше выпускать такие произведения, после того, как мы узнали, что из себя представляют эти авторы, нельзя. Мы должны это прекратить.

Характерный момент — мимикрия авторов<sup>5</sup>. <...> Обычно эти люди, зная, что их работы в Главлите пропущены не будут, уже имели у себя

---

<sup>4</sup> *Лебедев-Полянский (Лебедев) Павел Иванович* (1881–1948) — литературный критик, историк литературы, член РСДРП(б) с 1902 г. Образование получил в духовной семинарии и на медицинском факультете Юрьевского университета (Тарту, Эстония). Последователь философа и одного из руководителей Пролеткульта, крупного социал-демократа А.А. Богданова. После Октябрьского переворота был назначен Правительственным комиссаром Литературно-издательского отдела На ркомпроса РСФСР; профессор МГУ и Коммунистической академии. Председатель экспертной комиссии по филологическим наукам Всесоюзного комитета по делам высшей школы, действительный член АН СССР (с 1946 г.). 6 июня 1922 г. назначен сначала заместителем, а спустя несколько недель (по протекции заведующего Агитпропом А.С. Бубнова) — начальником только что образованного Главлита (Цензура 2004: XX).

<sup>5</sup> Докладчик лукавил. Уже с конца 1920-х гг. благодаря сверхбдительности Главлита вошло в силу правило писать идеологически жесткие предисловия ко всем книгам, чьи авторы демонстрировали действительные (чего не бывает!) и мнимые (приписываемые) ошибки. Политика «тщетной предосторожности» Главлита была хорошо известна не только в нашей стране, но и за рубежом. Кто-то из историков

специалиста по порке. Они шли к такому специалисту и говорили: «Напишите предисловие, в этом предисловии меня поругайте хорошенько, но добавьте, что фактический материал очень ценен». И нужно сказать, что на эту удочку попадались и мы, органы Главлита. Был такой специалист по порке Струмилин, который утверждал в предисловии, что автор, конечно, не марксист, но «фактический материал» останется, он все-таки оставляет такой-то след своим содержанием, он что-то доказывает, и надо предполагать очень высокую критическую способность читателя, который мог бы разобраться. <...>

Нужно сказать относительно Лосева. Лосев начал писать совершенно невинные вещи, об Аристотеле, например. В последний раз нас крыли на XVI съезде партии за то, что мы разрешаем книги Лосева. Это большая наша ошибка. Ошибка, прежде всего та, что политредактор не прочел этой книги, только переворачивал ее, а самое главное, что этот господин в эту книгу около 100 страниц включил вещи, которые не представлял [в цензуру] и напечатал в Троицком бывшем Сергиевом Посаде. Оказалось, что там были вещи не только идеалистические, но прямо-таки контрреволюционные, и удивляешься прямо, на что человек рассчитывал, неужели он думал, что никто не будет ее читать? Нашлись все-таки коммунисты, которые захотели отточить зубы и прочли эту книгу. Такие люди, как Лосев, сейчас, конечно, не выступают и не будут выступать: урок здесь был дан хороший и по всем направлениям. Мы по нашему направлению сняли того товарища, который пропустил эту книгу не читавши. Лосев получил хороший урок, его приятели это знают и не могут теперь так выступать.

Я перехожу к художественной литературе. Это самый сложный и трудный фронт, на котором драки у нас с издательствами и авторами будет больше, чем на каком-либо другом. Надо сказать, что характер изданий очень резко меняется по отношению к тому, что было раньше. Раньше нам давали литературу махрово-контрреволюционную. Возьмем таких писателей, как Замятин, Булгаков. Замятин даже ухитрился выпустить сказку, политический смысл которой таков: как бы большевики ни пытались построить новое общество, они построить его не смогут, потому что на крови, на костях нельзя ставить, потому, что от разложившихся трупов в этом новом обществе идет смрад и все бегут из него, зажавши носы. Такова была сказка, которую напечатали и против которой я печатно выступил в журнале «Под знаменем марксизма». Затем тот же Замятин представил роман, изображавший социалистическое общество. Социалистическое общество — это конюшня, довольно темная, грязная, в которой много стойл и в каждом стойле находится свинья. И все... и больше ничего нет. <...>

---

французской школы «Анналов» заметил с иронией, что в советских публикациях противоядие всегда предшествует яду (Кон 2008: 207). Авторам, желавшим увидеть свои книги опубликованными, часто приходилось идти против собственной воли на идейные компромиссы и сделки совестью.

Наша точка зрения должна быть тоньше, и если раньше мы смотрели в очки, то в дальнейшем, может быть, придется смотреть с лупой, но эти вредные, враждебные элементы отыскивать. Борьба становится сложнее, труднее, чем она была до сих пор, потому что здесь требуются более тонкие нюансы. Конечно, когда говорят, что зло в человеке сидит от того, что у него привиты железы рабочего, а не какого-нибудь дворянина, то это теперь объяснять не нужно. <...>

Если бы мы издали Достоевского, Писемского, Лескова, и их только выпустили, — конечно, это было бы безобразие. Эти писатели никакой психологической установки и разрядки в настоящее время не дают. Нам нужны писатели, которые заставляют чувствовать жизнь, которые направляют на борьбу, на завоевание нового, а когда одновременно с Достоевским дают писателей 60-х годов, боровшихся за достижения жизни, это нам подходит, конечно. Из этого не следует делать вывода, что мы Достоевского печатать не можем. Как вы видите, здесь требуется особый подход. Нужно рассматривать не каждого писателя в отдельности, а нужно смотреть, как он выходит, в каком виде. Конечно, если бы вы вздумали выпустить «Бесы» в 500.000 экземплярах, в дешевом издании, то мы бы протестовали, но если бы выпустили «Бесы» в количестве 5–6 тысяч, в академическом издании, мы бы не возражали. <...>

Если нас бесконечно будут пичкать «Декамеронами», Сервантесом, еще кем-нибудь, и не будут давать классической литературы, которая нам нужна в нашей борьбе, тогда мы этот план потребуем изменить и скажем: мы понимаем, что классики, понятно, не отвечают и не могут отвечать на запросы, которые у нас стоят. Но надо подыскивать таких, которые побочным образом воспитывали бы нас в нужном психологическом направлении, которые бы способствовали разрешению этой задачи.

Конечно, я не хочу сказать, что «Слово о полку Игореве», Грибоедова, Пушкина не нужно изучать, но нужно найти пропорцию. Потому что литературу мы изучаем не ради литературы, но смотрим на нее как на определенное идеологическое средство воспитания масс в целях осуществления развернутого наступления социализма по всему фронту.

Утверждать издательские планы нужно на рабочих собраниях. Со звать, например, рабочих Путиловского завода в Доме культуры, вмещающем 2000 человек. Они дадут самые лучшие указания. Если масса рабочих Путиловского завода скажет — нам это не нужно («Декамероны», «Дон-Кихоты» и проч.), нужно то-то и то-то, тогда попробуйте возразить против Полянского. Здесь не Полянскому нужно будет возражать, а рабочему активу. А с ним мы должны считаться, потому что вся наша революция, все наши задачи направлены к тому, чтобы удовлетворять классовые интересы рабочих. <...>

Если до последнего времени мы были преимущественно органами карательными, своего рода ГПУ в литературе, то теперь делается поворот в другую сторону. Не умаляя прежней нашей функции, мы должны присоединить к ней и руководство литературной работой. ЦК партии обязал Главлит, чтобы он не только следил за книгами, которые выхо-

дят, но и выявлял все те тенденции, которые намечаются в областях литературы, чтобы он мог знать о назревающей опасности (Цензура 2004: 189–195 — **Документ 176**. *О политико-идеологическом контроле над литературой в период реконструкции. Январь 1931 г.*).

## 2.6. Марксизм и советская социология 1920–1940-х гг.

Ряд работ, опубликованных в последние двадцать лет (см., например: История становления 1989: 8–41; Социология в России 1998: 51–53), дают возможность увидеть, как стараниями большевиков марксизм после Октябрьского переворота в считанные годы был превращен в государственную науку<sup>6</sup>. Собственно говоря, это событие — ключевое. Затем последовало требование переориентации с сугубо практических целей анализа на задачи идеологические, которое «оскопило» социологию, явилось следствием процесса огосударствления науки, культуры, образования и установления контроля над их деятельностью, о чем речь уже шла выше.

Сложившаяся в России социологическая традиция, и в частности ее генетический плюрализм, какое-то время продолжала сохраняться и после Октябрьской революции, но в преобразованном виде. Вследствие резкого повышения политического статуса марксизма и марксистской социологии мирное сосуществование с немарксистской социологией постепенно упразднялось, уходило в прошлое. Первоначально немарксистскую социологию требовалось критически «преодолевать»,

---

<sup>6</sup> Ленинский Указ 1921 г. по существу отменил на территории России филологическое, историческое и философское образование. Прочитую Декрет Совета Народных Комиссаров от 4 марта 1921 г., скромно озаглавленный «О плане организации факультетов общественных наук Российских университетов». Интересен пункт второй: «В нормальный состав факультетов общественных наук Российских университетов входят отделения: экономическое с циклом: организации промышленности, труда, снабжения и финансово-административным; правовое с циклом: судебным и административным; общественно-педагогическое с циклом: школьным и внешкольным». Не менее красноречив и пункт третий: «В Московском университете в составе факультета общественных наук, кроме отделений, указанных в предыдущем пункте, учреждаются также отделения: статистическое, внешних сношений, художественно-литературное» (Джимбинов 1992: 209). Но далее, в примечании к пункту три, говорится: «Прочие университеты, кроме Московского, могут организовывать перечисленные в настоящем пункте отделения лишь по особому разрешению Народного Комиссариата просвещения по представлении данных о наличии достаточных преподавательских сил». Травмы, вызванные этим декретом, не зажили до сих пор.



но мягкими способами. Знание основных трудов М. Вебера, Г. Тарда, В. Зомбарта, Э. Дюркгейма и других западных социологов считалось необходимым. Однако научная терпимость существовала относительно короткий промежуток времени, пока ее не сменило господство воинственной нетерпимости.

Причину смены этих парадигм следует, по-видимому, усматривать в советизации марксизма и превращении его в государственную науку. Путь к этому лежал через разделение ученых и науки по классовому признаку, свертывание свободных научных исследований, массовую пропаганду основ марксизма и создание, прежде всего, институциональных предпосылок для развития исследований, теоретически и эмпирически ориентированных на марксизм. Естественно, что против принудительной советизации социологического мышления и деятельности категорически возражали социологи-немарксисты. Период их сотрудничества с новой партийно-государственной властью был весьма недолгим и закончился депортацией выдающихся российских ученых (П. Сорокин, Н. Бердяев, С. Франк, П. Струве и др.).

«Оставшимся» уже не хватало интеллектуальной энергии, а часто и образования и знаний для плодотворной деятельности в разрешенной области социологического анализа — в качестве таковой теперь предлагалось считать развитие социалистических идей. Революционный романтизм, сохранявшийся у них, на деле был источником упрощенного понимания человека, которого идеологизированная социология освобождала от груза индивидуальных переживаний и превращала в функцию «общего дела».

Кратковременный взлет институционализации социологии (открытие кафедр социологии в Ярославском и Петроградском университетах в 1920 г., о чем речь уже шла выше) был скорее парадоксом, чем закономерностью того времени. В реальности социологическая проблематика перешла под патронаж исследовательских и учебных заведений правящей партии. Местом массовой подготовки кадров, которые могли бы нести в науку и народное хозяйство коммунистическую идеологию и руководить построением нового общества, были Институты по подготовке Красной профессуры (декрет об их создании В.И. Ленин подписал 11 февраля 1921 г.). Центром развития теоретических исследований стала Социалистическая академия общественных наук (основана в 1918 г.), переименованная в 1924 г. в Коммунистическую академию. В этом качестве она просуществовала до 1936 г., не оставив яркого следа в развитии общественной мысли советского периода. Но все же под ее эгидой начался выпуск специализированных журналов, вышла в свет книга Н. Бухарина «Теория исторического материализма» — популярный учебник, выдержавший 8 изданий. Печатались и другие книги, авторы которых пытались избежать рифов чрезмерной догматизации

взглядов на общество (например, книга С. Оранского «Основные вопросы марксистской социологии», 1929 г.). В 20-е годы еще поддерживалась атмосфера дискуссий. Обсуждались проблемы классов, базиса и надстройки, а после смерти Ленина — его вклад в теорию марксизма. Были проведены довольно масштабные исследования труда, быта, социальной структуры, молодежи, стала развиваться статистика, изучалось народонаселение. Одновременно был установлен политический контроль. Едва он окреп, как эмпирические работы в области социологии начали сворачиваться.

В качестве иллюстрации приведу короткий, но узнаваемый по более поздним временам пример. Известно, что в 1920-е гг. Информационный отдел ЦК РКП(б) рассылал вопросники по губернским комитетам партии. Партия изначально хотела иметь однотипную информационную схему. Затем эта функция перешла к органам ВЧК, чьи спецподразделения издавали месячный обзор «Политсостояние СССР». Эта информация рассылалась в партийные верхи и считалась более надежной, чем партийные политические сводки, поскольку для ее получения использовались сеть осведомителей, данные перлюстрации и то, что сегодня называют «анализом случая» (Социология в России 1998: 32).

В заключение напомним, что советский марксизм содержал взгляд на общество как на организм, для изучения которого необходим объективный анализ производственных отношений. В этом тезисе содержалось требование научности, знания законов, без которых нельзя было рассчитывать на успех в борьбе с общественными бедствиями. Казалось, что в результате полного торжества пролетариата чистая наука победит. «Практическая задача переустройства общества может быть правильно решена при научной политике рабочего класса, т. е. при политике, опирающейся на научную теорию, которую пролетарий имеет в виде теории, обоснованной Марксом», — писал Н. Бухарин (Бухарин 1922) в своей книге «Теория исторического материализма: популярный учебник марксистской социологии», вышедшей в Москве в 1922 г. и выдержавшей затем несколько изданий. Отсюда берут свое начало намерения построить это изучение исключительно на базе догм исторического материализма, но догматизация и вульгаризация марксизма лишь сузили сферу научного поиска. Социологическое знание оказалось невостребованным.

Эпилог закономерен. Дискуссии в общественных науках становятся все более политизированными и идеологизированными<sup>7</sup>. В По-

---

<sup>7</sup> Выход работы Сталина «О диалектическом и историческом материализме» сам истмат как учение об обществе возвращает в лоно философии, а социологическое знание как нефилософское отрицается, ему не находится места в объяснении мира

становлении ЦК ВКП(б) от 25 января 1931 г. «О журнале “Под знаменем марксизма”» обществоведам инкриминировались две наиболее важные ошибки: во-первых, недостаточное внимание к ленинскому этапу развития марксистской философии; во-вторых, некритическое отношение к антимарксистским установкам и взглядам в философии, общественных и естественных науках. Социологию объявили «буржуазной наукой» (Социология в России 1998: 109). Было подтверждено, что теорией общественного развития является истмат — он и станет выполнять функции общей социологии. Обществоведение превратилось в инструмент апологетики генеральной линии партии. Факт, согласно которому к 30-м гг. прекратилось издание работ Бердяева, Франка, Шпенглера, Вебера, Зомбарта, Туган-Барановского (Там же: 52–53), лишь подтвердил наступление периода торжества «единственно правильного научного мировоззрения».

В реальности этими действиями было приостановлено развитие социологии как отрасли научного знания и университетской дисциплины. С понятием «социология» теперь связывалось лишь мировоззрение, объясняющее закономерности природы и общества «материей» со всеми присущими ей высшими формами движения, которые обозначали собой лишь «бездушный» жизненный процесс и перевоспитание человека методами диктатуры пролетариата (Батыгин 1991).

Теоретический лексикон марксизма–ленинизма упрямо отказывал социологии в легитимации. С конца 1920-х гг. начались многолетние скитания социологии под разными именами. Но однажды, как установил Батыгин, случилось невозможное (правда, оно и было недолгим). В 1946 году в составе Института философии АН СССР организовали сектор социологии под руководством профессора М.П. Баскина, который должен был заняться критикой буржуазных социологических учений. «Критики» (социологами их никто не решался назвать) постоянно работали с литературой и тем самым осуществляли рецепцию и переработку западной интеллектуальной мысли. Они многого не могли сказать открыто и потому вынужденно прибегали к иносказаниям в форме рефератов и публикации идей критикуемых врагов, стараясь отделить содержание социологических идей от неизбежных обличений. Их поддерживали Г.Ф. Александров (в ту пору начальник Управления пропаганды ЦК ВКП(б)) и Ю.П. Францев (руководитель отдела печати МИД СССР) (см.: Александров 1946: 11–39; Баскин 1947: 56–64;

---

человека, точнее общества. Понятийный аппарат резко меняется. На социологическую теорию и ее методы накладывается епитимья (запрет). Словесный запрет переходит в официальное осуждение. В 1929 году в стенах Института философии Коммунистической академии ее объявляют буржуазной лженаукой, выдуманной Контом, французским реакционером.

1949; Батыгин 1991; 1998: 31). «Проблема — V» — так была обозначена история и критика социологических учений в плане Института философии АН СССР на 1946–1948 гг. Эта формулировка означала признание критико-социологической проблематики важнейшим направлением «научно-философского фронта». Но в июне 1947 г. разразилась катастрофа. Книга Александрова «История западноевропейской философии» была подвергнута уничтожающей критике. Баскин оказался в числе «пособников» своего покровителя, и его отстранили от активных операций на означенном фронте.

Рассказанная Батыгиным история ждет своих исследователей.

## **2.7. Возникновение разрывов в социологическом знании**

Общее торможение развития социологической мысли, печать которого несет на себе вторая половина 1920-х гг., не может скрыть заметного прогресса эмпирических исследований на старте этого десятилетия. Историкам науки еще предстоит установить внутренние скрытые источники этого движения социологической материи, но факты налицо. Их одним из первых представил В. Шляпентох в своей книге «Социология для всех» (Шляпентох 1970: 36–42), произведя серьезные раскопки среди книжно-журнальных изданий, годами лежавших без движения в библиотечных собраниях.

Советские социологи тех лет весьма активно восприняли передовые традиции земских статистиков второй половины XIX в. Более того, в опровержение некоторых стереотипов можно сказать о том, что создание эмпирической сельской социологии проходило при поддержке местных партийных органов вплоть до начала 1930-х гг., когда социология была объявлена вне закона. Сбор данных был отмечен печатью объективности. Как писал один из участников обследований сёл Пензенской губернии (1926), материалы обращают в большей степени внимание на теневые стороны деревни, чем на положительные, ибо задача состоит в том, чтобы взглянуть правде в лицо, как бы она ни была неприглядна. На фоне всех практически ориентированных работ выделяется монография А. Феноменова (Феноменов 1925). Материалы по одной деревне он собирал в течение трех лет, они касались всех сторон жизни крестьян. Социологическая литература о селе изобиловала откровенными подробностями широко понимаемого быта крестьян. В одной из работ приводились такие данные: более 50% обследованных спали на печи и только 5% — на кроватях. В 85% изб водились насекомые — тараканы, блохи, клопы. Половина опрошенных была безразлична к отмене преподавания Закона Божьего в школах, всего

одна четверть относилась к этому запрету положительно, еще одна четверть — отрицательно.

Большое внимание уделялось изучению различных групп населения страны. В Москве, Ленинграде, Иркутске, во многих городах Украины анализировались условия жизни и быта рабочих. В роли организаторов исследований часто выступали профсоюзные и комсомольские организации. Работу Е.О. Кабо «Очерки рабочего быта» (Кабо 1928) можно считать социологической классикой того времени<sup>8</sup>.

Почти каждая глава книги «Социология в России» (Социология в России 1998) позволяет увидеть, что взлетами и падениями отмечен не только путь всей дисциплины, но и практически всех отраслей социологического знания. Коллективу ее авторов удалось доказать, что российская социологическая мысль не стояла в стороне от магистральных направлений европейской социальной мысли. «И в то же время она не привнесена в эту страну извне. Здесь ее дом и постоянное место» (Здравомыслов 2000: 2). Что же происходило в стенах этого дома в период между концом 20-х и началом 50-х гг. теперь уже ушедшего XX в.?

1. *Исследования в области истории социологии* (Социология в России 1998: 45–69). Прежде всего, стала сужаться активно начатая после Октябрьской революции разработка исторической проблематики. К концу 1920-х гг. в поле зрения историков социологии оставалось лишь развитие идей освободительного движения и марксистско-ленинского учения. Работы социологов, чьи интересы находились за пределами изучения этой сферы, попали под огонь критики, а часто и вовсе оказывались вычеркнутыми из «советского умственного обихода» (Н. Кареев). Следом стали упраздняться одно за другим немарксистские течения. Стремление к синтезу различных научных школ и направлений стало блокироваться. На смену множественности классификации научных взглядов пришел монизм материалистического понимания

---

<sup>8</sup> Более подробно социологические исследования первых лет советской власти описаны и проанализированы в двух книгах (см.: История становления 1989; Беляева 2004), к которым я адресую пытливых читателей. Последняя из двух названных работ является не только историей развития эмпирической социологии в России и Восточной Европе, но и одновременно — обстоятельным учебным пособием, которое включает в себя курс лекций и хрестоматию, позволяющую познакомиться с работами наших предшественников — социологов первых лет советской власти. Разные по своим задачам в 1920-х гг., сегодня эти исследования выполняют двойную роль. Во-первых, помогают понять, что именно происходило тогда в громадной стране, обозначая повестку дня для коллективных действий. Во-вторых (и в этом состоит их латентный смысл), они позволяют увидеть, как эмпирическое знание делало социологию дисциплиной, самостоятельной по отношению к канонам истмата, который тогда ускоренно, на глазах всего молодого советского общества приобретал статус «единственно правильного и непобедимого учения».

истории. Лицо русской социологии постепенно стиралось, а уровень научной и идеологической нетерпимости стал расти. В оценках работ начал доминировать классовый признак. Теперь уже и западные социологические работы дифференцировались в зависимости от того, чьи интересы и взгляды выражали их авторы.

2. *Изучение социальной структуры* (Там же: 104–129). Заметный плюрализм в понимании социальной, экономической и классовой структуры общества (марксистский, «распределительный», «организационный», «производственный» подходы, стратификационная теория П. Сорокина), который динамично развивался в дореволюционный период, сменился преобладанием марксистской концепции. Акцент в анализе и исследованиях стал смещаться, едва ли не полностью, в сторону рабочего класса. Политические дискуссии между Лениным, Троцким, Бухариным подчинили теорию данного раздела социологии практике большевистской политики уничтожения и преследований эксплуататорских классов. За пределами анализа остались появление нового правящего класса (советской бюрократии) и фактический рост социального и материального неравенства, всякого рода привилегий. Впоследствии более 20 лет потребовалось для того, чтобы возобновить изучение состава и источников пополнения рабочего класса, в полной мере обратиться к реалиям социальной структуры всего общества.

3. *Социология города* (Там же: 148–159). Появившаяся еще в дореволюционный период дисциплина сформировалась под влиянием либерально-социалистической мысли тех лет — идеи «идеального города». На рубеже веков в Европе и России возникло движение за создание «городов-садов», которое большевики первоначально взяли на вооружение. В 1920-е годы разгорелась едва ли не единственная за весь период советской власти дискуссия о городе, которую ее многочисленные участники поняли прежде всего как дискуссию о человеке и обществе. «Урбанисты» и «дезурбанисты» оказались в плену утопий, считая, что развитие городов будет следовать за развитием индустриальных систем и новых технологий. В этих схватках «правых» и «левых» было трудно отстаивать право отдельного человека и семьи на индивидуальный уклад жизни. Постановление ЦК ВКП(б) «О работе по перестройке быта» (1930) внесло элемент отрезвления в дискуссию, но одновременно на 30 лет прервало развитие социал-урбанической мысли.

4. *Социология села* (Там же: 160–172). Первоначально социологи этого направления продолжили традиции дореволюционного (комплексного, с охватом множественных характеристик) изучения села, к тому же имевшего глубокие исторические корни в деятельности губернских земств. Вскоре начались партийно-ориентированные исследования (их цель состояла в попытках понять, куда идет деревня — в сторону капи-

тализма или социализма), но и они представляли научную ценность. Их продолжение в 1930-е гг. было недолгим. В 1940-е годы центральное место заняли «обобщающие труды» в духе «идеологии победившего социализма». Их альтернатива — честные конкретные исследования советской деревни — несли уже прямую опасность для официальной идеологии. Возврат к научно обоснованному анализу села состоялся лишь в конце 1950-х гг., притом что возобновленные тогда исследования духовной жизни обслуживали доктрины «преодоления различий между городом и деревней» и «формирования коммунистического отношения к труду».

5. *Социология пола и гендерных отношений* (Социология в России 1998: 173–195). Накануне революции многие феминистские движения, а также научная рефлексия женского вопроса были достаточно плодотворными и создавали предпосылки для оформления различных, включая феминистские, теорий и подходов, которые использовали при социологическом изучении полов. С современных позиций, взгляды общественных деятелей и партийцев первых послереволюционных лет были прогрессивными, хотя и несли на себе влияние отрицательного отношения классиков марксизма к семье (вопрос об отмирании семьи, казалось, решался одновременно с отмиранием государства).

Эмпирических исследований в указанной области проводилось немного, а наиболее интересное для социологов изучение сексуальных отношений молодежи было вовсе прекращено после того, как государство решило положить конец либеральным революционным послаблениям и вновь стало запрещать аборт, преследовать гомосексуализм, усиливать свое вмешательство в семейную жизнь. Подобные исследования не проводились вплоть до 1960-х гг. Но и тогда государство продолжало культивировать бесполость, воплощенную в клише «советский человек». Если в этом идеологическом «гермафродите» можно было еще различить признаки женского пола, то словосочетание «советский мужчина» представлялось бытующим на грани абсурда.

6. *Социология образования* (Там же: 264–280). Многопредметные и многоаспектные исследования в этой области начала XIX в. подверглись интенсивной политизации в первые годы советской власти. Примат политики — главенство идей воспитания нового поколения — привел к утрате самостоятельного значения собственно педагогических идей и методов. Огосударствление системы образования повлекло за собой вмешательство в педагогический процесс, чистки советской школы от учителей несоциалистической ориентации и классово чуждых учеников. Сообразно этому деформировались объект и субъект социологического анализа. Изучение мировоззрения учащихся, образовательного ценза учителей, экономического положения студентов рабфаков, а также других реальных процессов прекратилось. Главными

стали идеологический контроль над педагогической наукой, вовлечение массы преподавателей в коммунистическое строительство. В целом социология образования надолго, вплоть до 1960-х гг., перестала существовать как позитивная наука.

7. *Социология религии* (Там же: 304–323). Русская социальная мысль имела широкий взгляд на религию, но только П. Сорокин ближе других подошел к созданию собственно социологической теории религии. В его представлении религия была формой деятельности человека, вырабатывающей определенные нормы, которые использовались в качестве специфических регуляторов социального поведения людей. Он же настаивал в 1919 г. на необходимости преподавания социологии религии, видя в этом средство борьбы с общественными бедствиями, протекающими от влияния верований религиозного и светского (политического) происхождения.

Большевистский режим считал религиозные организации прибежищем своих политических врагов. Отсюда — интерес к информации о степени влияния религии на разные слои общества, классовом составе религиозных общин, содержании проповедей, распространении сект и сектантства, настроениях верующих. «Заказ» на эту информацию часто подгонялся под очередные партийные установки. В конце 30-х гг. требовалось, например, знать, как религия — вредный «пережиток прошлого» — преодолевается в результате идейно-воспитательной работы в массах. Эти «штудии» трудно было назвать формами научного познания.

8. *Исследования демографических процессов* (Там же: 392–414). Печать идеологической подозрительности характеризовала отношение новой власти к научному анализу народонаселения. Именно это явилось причиной свертывания демографической науки в целом, науки, которая, усвоив в полной мере достижения своих российских предшественников, создала и реализовала надежные (неидеологизированные) математические и статистические методы анализа проблем населения. Преследования науки начались в 1920–1930-е гг., когда предпринимались попытки фиксировать демографическую ситуацию (рождаемость, смертность, заболеваемость и их связи с макросоциальными факторами) в тех районах страны, где состояние демографического учета было удручающим. Результаты этих обследований не публиковались. Перепись 1937 г. была объявлена «вредительской», поскольку не подтвердила ожидавшегося стремительного роста народонаселения в условиях строительства социализма. Участие в ее подготовке и проведении дорого обошлось многим выдающимся советским статистикам.

Еще одна трагическая страница — закрытие Демографического института АН СССР (ДИН) в 1934 г., что стало причиной смерти одного из ведущих демографов В. Паевского. Труды сотрудников ДИН были



подвергнуты ревизии и разностной критике за бесперспективность и формализм. Единственным учреждением в этой области остался Демографический институт при АН Украины, изучавший «конкретные проблемы украинской демографии» в отличие от ДИН, коллектив которого был озабочен поиском демографических истин, решая теоретические, методические и содержательные задачи проблемного характера.

9. *Социология политики* (Социология в России 1998: 518–544). Среди трех этапов социологии политики (досоветского, советского и постсоветского) самым тупиковым оказался советский, вернее его отрезок от конца 1920-х до середины 1960-х гг. Содержательная характеристика этого времени — освоение марксистско-ленинской теории как базовой концептуальной структуры для интерпретации политико-социологических проблем и лишение самостоятельности социологического подхода к их решению. Более конкретно — запрещение эмпирических исследований советской политики; вульгарно-марксистское объяснение социальных механизмов политической жизни страны; отождествление социально-политической теории и официальной политической идеологии; изоляция от мировых достижений и зарубежных разработок в области политической социологии. Табуирование этих направлений длилось около 40 лет! А ведь начиналась эта дисциплина с блистательного старта — к концу XIX–началу XX в. российская социология политики подошла в шестерке лидирующих социологических держав (наряду с Германией, Италией, Францией, США и Англией). Такому удачному началу способствовали теории М. Острогорского, М. Ковалевского, П. Сорокина, Г. Гурвича, Н. Тимашева и, наконец, Г. Плеханова, В. Ленина и Н. Бухарина.

10. *Изучение общественного мнения* (Там же: 569–586). Здесь необходимо пояснить, что опросы общественного мнения в той форме, которая их отличает сегодня, ни в дооктябрьский период, ни после установления советской власти в России не проводились. Попытки организации обратной связи предпринимали земства, отдельные газеты, книгоиздательства и даже цензура. Но от тематики, носившей скорее просветительский характер, к тематике социальной земства перешли только в начале XX в. Правда, и здесь собственно мнения, оценки, субъективные предпочтения оставались на втором плане.

При проведении социальных обследований в первые советские десятилетия исследователи лишь дополняли свои наблюдения, сбор и регистрацию различных фактов (например, условия труда и быта, бюджеты и т. д.) анкетными данными. Весьма серьезными были исследования общественного мнения, читательских запросов. Социологические обследования тогда проводили газеты — центральные, местные и армейские. Первое из них пришлось на 1920-й год. Текст анкеты обсуждался на специально созванной конференции опытной психоло-

гической лаборатории Генштаба Красной Армии, а также на специальном собрании библиотекарей Москвы. Вот один из результатов опроса. Читали тогда книги о сельском хозяйстве 99%, о приключениях — 30, о здоровье — 25, исторические книги — 19, о том, как живут люди на белом свете, — 12% опрошенных крестьян в возрасте от 25 до 40 лет (речь идет о грамотных крестьянах в каждой подгруппе). Масштабное исследование провела в 1925 г. «Рабочая газета» — орган ЦК РКП(б). Редакция получила свыше семи с половиной тысяч анкет от своих читателей (Шляпентох 2006).

Но и эти (сравнительно ограниченные по характеру изучаемых проблем, масштабам и регулярности) обследования с применением элементов опросных методик стали сворачиваться. В 30-е годы они исчезли со страниц массовой открытой печати и со временем превратились в источник закрытой партийной и государственной информации. Чем жестче становился политико-идеологический режим в стране, тем выше оказывался интерес власти к антипартийным и антисоветским настроениям и засекреченным способам их изучения.

Стоит напомнить, что первая в СССР профессиональная социологическая служба, специально занимавшаяся сбором и изучением мнения людей по самому широкому кругу проблем жизни общества и государства, появилась лишь в мае 1960 г. Это был Институт изучения общественного мнения при газете «Комсомольская правда» (под руководством Б. Грушина). Редакция создала этот Институт «на свой страх и риск», воспользовавшись благоприятным изменением общественного климата в пору хрущёвской «оттепели». Но жизни ему было отпущено всего семь лет! Всесоюзный центр по изучению общественного мнения возник в нашей стране только в конце 1980-х гг.

Остается добавить, что в уже неоднократно процитированной здесь книге «Социология в России» анализируется история 39 направлений этой науки. И практически в каждом из 29 не рассмотренных нами направлений можно найти сведения о нарушении непрерывности развития социологического знания.

## **2.8. О преемственности социологической традиции**

Большое количество разновременных лакун в социологическом знании дает право поставить вопрос: а состоялась ли вообще социологическая наука в нашей стране? Ответ на такой вопрос не может быть однозначным.

Начну с доказательств (или опровержений) непрерывности сохранения и развития основной традиции, которая, как теперь мы уже

знаем, никогда не замыкалась в рамках академической доктрины. Гипотеза заключается в том, что советская социология выдержала суровое испытание периода своего безвременья. Во всяком случае, базовой чертой ее ренессанса после смерти Сталина стало стремление к поиску эмпирических данных, «страстное желание» (В. Ядов) сформулировать практические рекомендации и тем самым направить процесс активного научного познания в определенное социальное русло. Социальное целеполагание стало властным императивом при анализе общества. Это объединило советскую социологию с классиками, которые были убеждены в неизбежности естественно-исторического процесса и прогрессивного развития общества. Правда, знание путей развития часто подменялось интуицией и верой, что освободило многих исследователей от мучительного поиска смысла прогресса.

Вектор прогресса был заданным — движение в сторону зрелого социализма, и поэтому «социальная проблематика концентрировалась на изучении особенностей и трудностей движения по заданному вектору. Если обнаруживалось, что социальная реальность в чем-то не соответствует идеологическим канонам, следовало либо подправить “реальность” (можно было описать ее в иносказаниях), либо уйти в иную область, “подальше” от коренных проблем развития советского общества» (Ядов 1995: 5–6). Как бы комментируя это суммарное представление, И. Кон заметил, что эмпирический характер возрожденной советской социологии был ее самой важной чертой. Потому что это была информация, разбивавшая — даже при всей ее неадекватности, при всех ограничениях — монолит идеологической схемы общества.

Здесь уместно вспомнить хрестоматийный эпизод, имевший место на одном из заседаний Ленинградского отделения ССА, посвященном количественным методам в социологии. На заседании выступили В. Ядов и А. Здравомыслов с первыми результатами изучения отношения к труду. Ими, в частности, было отмечено, что труд в качестве главной жизненной потребности воспринимают меньше чем 100 % советских людей. Однако даже такой мягкий вывод, который не опровергался и официальной пропагандой, возмутил академика М. Митина. Слушая, он кривился и морщился, а в заключительном слове сказал, что цифры бывают разные — правильные и неправильные, но нам (академик причислял себя к руководящим структурам) надо, чтобы они были правильными. «Вообще-то, точные данные нужны, партия нуждается в точных сведениях, но нам нужны такие данные, которые нам нужны! А тут получается, что рабочие недовольны работой» (Ленинградская социологическая школа 1998: 14).

Итак, «антиакадемизм», восходящий к истокам возникновения социологического знания в России, вновь заявил о себе. Это дает осно-

вание говорить о том, что ведущая социологическая традиция перешла во вторую половину XX в., несмотря на длительный период «поражения в правах». При этом все четче стали обозначаться различия между критическими и апологетическими взглядами социологов на развитие советского общества. Но общественное внимание и активный интерес жителей страны привлекли не столько эти различия, сколько сам факт получения информации, которая заставляла людскую массу задумываться над сложностью и противоречивостью реальных социальных проблем.

Однако к этому выводу полезно добавить ряд комментариев.

*Первый комментарий* связан с неперенными атрибутами традиции. Г. Батыгин выделил три: приверженность категориям марксистской диалектики; дух «отчаянного» марксистского философствования; тесная связь с массовой пропагандой. Научная дискуссия о социологической традиции 1960-х гг. позволила выделить еще три ее свойства (Российская социологическая традиция 1994: 23–25): «действительно широкий взгляд на анализ эмпирических данных», социологическое воображение, возможно, идущее от незнания, от отсутствия профессиональной подготовки, но в целом обернувшееся благом для советской социологической науки; междисциплинарность как следствие все той же социально-философской настроенности людей из смежных отраслей знания, сознательно перешедших в социологическую веру; неплохая методолого-методическая (не теоретическая) культура исследований.

*Второй комментарий* касается степени привязанности к «пуповине» государственной философии, какой стал марксизм–ленинизм в советских условиях. Теперь ее уже стремились разорвать разными путями. Один из них состоял в преодолении длительного духовного изоляционизма и в сознательном поиске путей, ведущих «к брегам мировой социологии». (Обычно в таких случаях не бежали от марксизма, но хотели ближе узнать социологию зарубежных стран.) Другой путь заключался в расширении семьи «социологически мыслящих наук». В. Колбановский назвал «младшими кузинами социологии» социальную демографию, социальную статистику, социальную психологию, математическое моделирование; их тогдашнее состояние позволило четко увидеть исчерпанность периода «экстатической» (марксистско-ленинской) социологии (Там же: 51–52). Результатом стало высвобождение социологии из-под «железной пяты» казенной ортодоксии. Замечу, что я ссылаюсь на мнение ученого, которому, по его словам, на многих социологических сборищах и идеологических «мордобоях» 1960–1980-х гг. многократно приходилось утверждать, что «социология без марксизма и помимо марксизма есть ретроградство» (Там же: 54–55). Эту позицию он разделяет и до сего дня.

*Третий комментарий* касается борьбы за выделение социологии как самостоятельной, конкретной и нефилософской науки. Я бы оспорил несколько легкомысленное, скажу жестче — не вполне корректное, определение (данное П. Бергером) затянувшегося на долгие годы спора о предмете социологии как «семейной склоки» между ортодоксальными и неортодоксальными советскими социологами. Концепция трехуровневого социологического знания — *социально-философская общая теория (исторический материализм) — частные социологические теории — эмпирический базис* — была достигнута в результате консенсуса, который удовлетворял притязания сторонников истмата. Роль общесоциологической теории осталась за философией. В то же время частные теории и эмпирические исследования получили право на относительную автономию в рамках федерации, возглавляемой истматом.

*Четвертый комментарий* — зарождение оппозиции постулатам наиболее реакционной части идеологов, что было делом рискованным в те времена. «Нельзя отрицать, — пишет В. Шубкин, — что каким-то спинным мозгом главные идеологи страны чувствовали: от этой области знания ничего хорошего для идеологии, для их спокойного существования ждать не приходится... нам не надо прикидываться диссидентами, но все-таки в формировании кругов, настроенных против системы, социология сыграла определенную роль» (Российская социологическая традиция 1994: 13).

*Пятый комментарий* — это желание возразить по ряду пунктов Г. Батыгину, для которого непрерывность развития социологической традиции является чуть ли не заданным от рождения генетическим свойством, изначальной характеристикой. Он считает, что на разных этапах своего развития в контексте советской истории истмат представлял собой довольно обширную и толерантную исследовательскую программу, которая не исключала ни математических методов, ни эмпирического анализа. Именно эта догматизированная версия марксистской социологии продолжала воспроизводить социологическое знание и социологическую традицию в период (с конца 1920-х по конец 1950-х гг.), который уже в наши дни получил название «малого средневековья» — так велик был урон, который этот период нанес развитию свободной мысли в нашей стране. Сторонникам этой версии (их стали называть носителями партийного интеллектуального стиля) была приписана важная роль — непотворение тому, чтобы возник еще один интеллектуальный стиль, на этот раз — научный. «Партийность» стала ассоциироваться с преобразующей силой «атакующего класса» (В. Маяковский), преодолевшего все мыслимые рациональности мира ради строительства нового мира. «Научность» получила статус рассуждения (не действия. — Б.Ф.), рационализированного дискурса (Там же: 18–20). «Дело» и «слово» не смогли жить друг без друга, но и ужиться не сумели, заметил Г. Батыгин

(Социология в России 1998: 24). Правда, произошло это не на идейной почве, а вследствие групповых, этических и психологических несходств.

Кажется, что этот взгляд находится в противоречии с действительностью. Он обходит стороной истинную борьбу разнообразных интересов, в том числе классовых, в советском обществе, игнорирует факт «погребения» социологии в 1930-е гг. под именем «буржуазной лженауки», не признает существования длительного регресса социальной мысли, кризиса идеологии и марксистско-ленинского учения, деспотизма властей и их неспособности изменить курс общественного развития, обеспечить свободу научного творчества и мысли. Заменять при таких отягчающих обстоятельствах реальную борьбу двух социологий, апологетической и критической, на тематический конфликт партийности и научности (Российская социологическая традиция 1994: 17) — значило бы упростить дело. Может быть, по этой причине пленение истматом вызывает взрыв положительных эмоций: «Догматизм и ортодоксия создавали своеобразный стиль теоретизирования, внутри которого, как и внутри любого канона, хватало места и для свободомыслия, и для школьного прилежания, и для плюрализма мнений» (Социология в России 1998: 24). Возможно, что в этом месте, как ни в каком другом разделе цитируемой публикации, нужны аргументы в пользу данного утверждения. Однако их нет, как нет и объяснений причинам подозрительной «влюбленности» репрессивного режима в догматическую марксистскую социологию. Раскрыть тайну этих «интимных отношений» — значило бы увидеть, что дискурс в рамках «партийности» нарушает преемственность социологической традиции. Путь к восстановлению ее непрерывности лежит через «научность», которая в данном случае будет антиподом, а не параллельно развивающимся интеллектуальным стилем.

Здесь стоит подчеркнуть, что столкновение этих позиций имело место все-таки в рамках советского, марксистски ориентированного обществознания. Впоследствии эти рамки были разрушены волнами протоперестроечных и перестроечных толчков. Обращение к широким мыслительным полям, включавшим в себя все направления русской социологии, а также мыслительные пространства зарубежной социологии, серьезно затруднило анализ проблем преемственности российской социологической традиции. Что было делать с анализом ее непрерывности, если, как заметил В. Ядов, о Сорокине знали по ««хихикам» Ленина», а о Кистяковском — только по случайным упоминаниям. Большинство социологов, возродивших свою науку в период хрущёвской «оттепели», не опирались на русскую традицию в полной мере. Возможно, что мои положительные утверждения несут на себе следы идеальных реконструкций, выполненных в послеперестроечное время, в условиях свобод, не только провозглашенных, но и реализованных в посткоммунистической России.

## 2.9. Общий вывод к проблеме становления и развития дисциплины

Вывод этот предложил В. Ядов, но путем апелляции к истории мировой социологической науки, в частности с помощью концепции М. Элброу (M. Albro), согласно которой процесс становления социологии в любой стране связан с последовательным прохождением определенных, сменяющих друг друга фаз (этапов). Эти фазы следующие: 1) универсализм, 2) национальные социологии, 3) интернационализм, 4) индигенизация (обращение к исконным основам, *indigenous* — туземный, местный, природный), 5) глобализация (Социология в России 1998: 9–12). Концепция была представлена ее автором на XIII Всемирном социологическом конгрессе в Билефельде.

Спустя 10 лет Ядов прокомментировал свой вывод. Начальная фаза получила название «универсализм» по той причине, что О. Конт, Г. Спенсер и другие классики социологии хотели создать позитивную социальную науку как объективное знание об обществе по образу и подобию наук естественных — физики и биологии (статика и динамика социальных процессов, социальный организм). Вторая фаза, по мнению того же Элброу, отличалась появлением национальных социологий. Ее главная черта — «концептуальный империализм» — период формирования классических теорий разного происхождения и противоборства теоретических парадигм. Третья фаза — характеризуется расколом социологов после окончания Второй мировой войны на два лагеря и усиливается их политическим противостоянием. Картина известная, подчеркивает Ядов: западные социологии с подачи Э. Гидденса говорили о теории Т. Парсонса как Большой и Единственной. Социологи советского блока утверждали, что единственно научной теорией является марксизм-ленинизм. И добавляет: после очередного конгресса МСА «следовало доложить наверх и опубликовать в СОЦИС'е рассказ о том, как мы успешно отстаивали нашу советскую позицию. Период 1970-х гг. Элброу назвал этапом индигенизации (отуземливания) классиков с помощью концепций, которые приносили к национальным условиям теории их создателей. Особо успешно был индигенизирован Маркс в советском доктринальном марксизме-ленинизме, в теоретических построениях Мао Цзэдуна, а также на Кубе в духе Че Гевары. Нынешний период получил название этапа глобализации теории в том смысле, что все общества связываются в миросистему и с большой вероятностью сталкиваются с типично схожими социальными проблемами. Вывод этот нельзя признать абсолютным, но и от миросистемных воздействий и влияния укрыться трудно (Ядов 2008: 17).

В конце XX в. российская социология *интегрировалась* в общемировое социологическое сообщество в качестве научной дисциплины, которая прошла через все «положенные» стадии развития.

Повторюсь: более чем столетний путь отечественной социологической науки отмечен взлетами и падениями. Уже в конце XIX в. первые всплески социологической мысли, формировавшейся под влиянием западной традиции (позитивизм, неокантианство), пришли в конфликт с национально-религиозным мировоззрением. Вплоть до 1891 г. цензура стояла на пути книг О. Конта к российскому читателю, считая, что эти сочинения «разрушают господствующие верования». Лишь в 1916 г. в России была открыта первая социологическая кафедра, но не в стенах столичного или московского императорских университетов, а в Бехтеевском Психоневрологическом институте.

Социальным обследованиям повезло больше. Начало их бурному развитию положила земская статистика. Обследования продолжились и в первые годы советской власти. Хуже было с теорией, которая вскоре после революции стала формироваться под влиянием догм «единственно верного понимания социально-исторического процесса». Впрочем, уже в 1930-е гг. вето на развитие социологической мысли распространилось на проведение эмпирических исследований функционирования общества. Как результат — доктринальный марксизм–ленинизм господствовал вплоть до начала перестройки. В гамбургский счет советскому государству и правящей партии следует вписать ответственность за вспышки преследований неортодоксально настроенных обществоведов, цензуру свободной научной мысли, запреты на публикации, закрытие отдельных научных школ.

Заострить проблему помогает высказывание социолога-«шестидесятника» В. Колбановского о насильственном вмешательстве в процесс развития социологической мысли в нашей стране: «В этом отношении постсталинская Россия находилась в неизмеримо худшем положении, чем послегитлеровская Германия (сохранение кадров социологов в эмиграции, живучесть идей М. Вебера, К. Мангейма, З. Фрейда и других классиков, поток литературы по американской и европейской социологии, быстрое восстановление нефашизированного социологического образования, отсутствие марксистской догматики как государственной религии)» (Российская социология шестидесятых 1999: 23–24). Потребовались серьезные тридцатилетние усилия, для того чтобы «с грехом пополам» обеспечить сходные условия в СССР, но и они пока не позволяют снять вопрос: состоялась ли вообще российская социология?



# Очерк 3

## СОЦИОЛОГИЯ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И ВЛАСТЬЮ

### 3.1. Вступительное замечание

В послесталинский период к сложившейся системе общественно одобряемых советских ценностей были добавлены небольшие дозы тщательно отобранных либеральных идей, не противоречащих советской концепции мирного сосуществования (Фирсов 2006: 62–65). Эта концепция не допускала сходимости различных социально-экономических систем (конверсия ценностей советской цивилизации исключалась, поскольку они а priori обладали историческими преимуществами перед ценностями буржуазного мира и, следовательно, олицетворяли будущее государства и общества). Либерализм любыми способами сдерживался, притом что игнорировать его было абсолютно невозможно.

Данный период (его можно было бы назвать — *между традиционализмом и либерализмом*) начался в хрущёвскую эру и закончился в середине 1980-х гг. Он обозначил назревание определенного раскола общества, вызванного необходимостью совершить исторический выбор между политикой внеэкономического принуждения и политикой экономического стимулирования, между авторитаризмом и демократическим устройством жизни. Хотя, возвращаясь к последним годам существования советской системы и годам перестройки, реформистские мечтания и намерения горбачёвской поры были во многом сходны с «латентным радикализмом» в конце сталинского правления. Уже тогда большое число здравомыслящих людей хотели придать более цивилизованный вид сталинскому режиму, а жизни в условиях этого режима — более рациональный характер или видимость его. Часть из них допускали частное предпринимательство (в рамках дозволенного нэпом). Многие всерьез задумывались о социальных гарантиях от вмешательства государства в жизнь людей и мечтали о послаблении политического контроля.

Ренессанс социологии был элементом духовной революции, которая начала медленно, но необратимо обозначаться еще в «исторических рамках» тоталитаризма (Российская социологическая традиция 1994: 50). Без этой, вопреки всему происходящему, струи «расшевели-

вания» общества, которая прошла через литературу, философию, кино, никакого «социологического взрыва» не могло случиться. Кто же стоял у истоков этого «взрыва»? Весьма различающиеся по своему составу, установкам и интересам сообщества.

В первую очередь обращает на себя внимание неоднородность академического (идеологического) начальства. На судьбу социологии повлияли и партийные либералы, благосклонно относившиеся к социологии, и люди, которые «с корыстными, неприглядными целями допускали, терпели, поощряли, держали на веревочке социологическую деятельность» (Там же). Заметно выделялись на их фоне группы, которые настойчиво искали новые и честные способы научного понимания и объяснения советского общества. Правда, энтузиазм таких людей существенно превышал их профессиональные знания. Еще одна группа — «бойкие» люди, «которые знали языки, ругали то, что надо, переведя книги и используя цитаты, ездили, угождали и т. д.» (Там же). Сложение разнородных усилий всех этих групп привело к созданию социологической науки — такой, какой она являлась в 1950–1980-е гг. Могла ли она быть иной — вопрос риторический. Важнее выяснить, как социология возникла из темноты сталинского времени и в качестве складывающегося социального института вступила в определенные отношения с обществом и властью.

Можно сказать, что драматическая история советской социологии была продуктом взаимодействия *пяти* принципиальных «актеров» на политической арене: интеллектуалов, многочисленных представителей интеллигенции, властвующей политической элиты, партийного аппарата и КГБ (Shlapentokh 1987: 73). Собственно массы в судьбе социологии заметных следов своего влияния не оставили. Впрочем, и сама социология не была центральной политической проблемой послесталинского времени. Однако поскольку в советском обществе едва ли не любой вид социологической деятельности переплетался с другими направлениями политического развития, то социологи, часто вопреки собственному желанию, оказывались вовлеченными в политическую борьбу и интриги.

Наверное, это переплетение может объяснить, почему названные выше «актеры» в первую очередь повлияли на становление социологической науки. Интеллектуалы и интеллигенция создали среду, в недрах которой зародилось умеренное либерально-реформаторское движение — «шестидесятничество»; на первых порах его поддерживали едва ли не все слои, включая номенклатуру всех уровней. Одновременно три других «актера» привычно взяли на себя роль «компетентных кругов», хотя и согласных с необходимостью некоторых перемен, но считавших, что перемены всегда должны осуществляться под надзором партийно-государственных структур, с которыми они себя в полной мере отождествляли. Границы дозволенного этими «кругами» время от времени

передвигались и менялись. Когда «разрешительный» режим смягчился, появлялись шансы на изменения «структуры политических возможностей» в пользу либеральных начинаний. Когда режим ужесточился, перед либеральными начинаниями «опускался шлагбаум». Е. Здравомыслова в своей рецензии на первое издание этой книги справедливо связывает «колебания генеральной линии» с конфликтами внутри высшего партийно-государственного руководства и соответственно аппарата. В такие моменты реформаторски ориентированные устремления «низов» приводили к положительным результатам, достижению поставленных целей. И хотя процесс протекал с переменным успехом, поле чаще всего оставалось за «кругами». Об этом и пойдет речь ниже.

### **3.2. Волны радикализации общественно-политической жизни страны и социология**

Весьма информативной характеристикой социально-политических условий жизни страны являются массовые социально-культурные переживания. Одно из них — реакция населения страны на смерть Сталина. Для миллионов людей, вне зависимости от того, какую ступень социальной лестницы они занимали, эта смерть означала катастрофу и крах сложившегося порядка. *Но главное происходило в сфере переоценки деятельности и роли Сталина, разоблачения культа его личности.* Трудные решения давались не сразу. «В течение трех лет, — писал Хрущёв, — мы не могли порвать с прошлым, не могли обрести мужества и решимости, чтобы поднять завесу и взглянуть, что было сокрыто от нас относительно арестов, судов, произвола, казней и все другое, что случилось в годы царства Сталина» (см.: Геллер, Некрич 1995, кн. 2: 96).

Очень важный момент — в стране началась дискуссия. Наряду с преступными деяниями умершего вождя предметом обсуждения стали советская общественная система, советский строй и образ жизни советских граждан. Однако еще раньше — с помощью литературных произведений и научной публицистики — началось пробуждение коллективной памяти, деформированной всевластным режимом, и переосмысление истории СССР (Там же: 152–153). Буквально через год после смерти Сталина вышла в свет статья В. Померанцева «Об искренности в литературе» (Померанцев 1953) и повесть И. Эренбурга «Оттепель» (Эренбург 1954).

Власть перешла от персонифицированного первого лица к сложной системе иерархической бюрократии. Следом была предпринята попытка внедрить идею ускоренного развития под влиянием переоце-

нок реальной прочности социально-экономической системы (обещание Хрущёва, согласно которому уже в 1980-е гг. советские люди будут жить при коммунизме). Права ведомств, органов и организаций на местах стали расширяться, но политическая децентрализация не породила новые социальные тенденции. Общество нуждалось в радикальных изменениях, в существенно большем, чем запоздалая отмена отдельных элементов государственного крепостничества. (Например, в 1956 г. был принят указ «Об отмене судебной ответственности рабочих и служащих за самовольный уход с предприятий и из учреждений, за прогул без уважительных причин», но колхозники по-прежнему не имели паспортов, — см.: Ахиезер 1997: 569.)

Волонтаристский нажим сверху заметно гасил реальные инициативы. В различных социальных слоях появились деятельные люди, способные рассматривать собственное благосостояние как результат личного труда и предприимчивости, но они были вынуждены вступить в конфликт с законом, начав активный, независимый от государства поиск путей удовлетворения своих потребностей. В сложившихся обстоятельствах их деятельность принимала уродливые формы хозяйственных преступлений, с которыми хрущёвская власть боролась, допуская применение даже смертной казни (Там же: 581). Началась конфронтация между свободомыслящей интеллигенцией и властью на почве выражения либеральных идей. Носители этих идей, часто вопреки собственным убеждениям, еще только «раскачивали» государственный «корабль», что усиливало в глазах власти опасность роста дезорганизации, которая в качестве ответной реакции могла встать на путь возврата к авторитаризму.

«Расшевеливание», послабления, либерализация были налицо. Сдвиг затронули *все* сферы жизнедеятельности. Особо важен для нашей темы сдвиг, возникший в отношениях между социальными науками и обществом. Союз зрелого тоталитаризма и этих наук, опосредовавших действительные состояния социума, — такой симбиоз невозможно было представить. «Сведенная к минимуму творческая наука не могла преодолеть завесу идеологической лжи и помочь обществу правильно оценить реальную ситуацию. А вот что касается периода 60-х годов, мы можем говорить о меньшей несвободе» (Российская социологическая традиция 1994: 73).

Даже частичное смягчение режима политической власти дало возможность вздохнуть чуть свободнее. Кризис сталинской государственной системы заставил партократию сделать это, хотя опыт жизни в советской стране научил людей не обольщаться различиями между тоталитаризмом и авторитаризмом. Обе эти модели властвования опирались на нелегитимное распоряительство судьбами страны и ее граждан, часто накладываясь одна на другую. И все же «поводок» был

ослаблен! Пробуждение творческих потенций народа от всеобщего оцепенения, появление «шестидесятников» — все это имело многочисленные положительные реакции. Одна из них — спрос на знания и науку, которая могла дать информацию о социальных процессах и предложить на их основе программы практических действий.

Наиболее важной здесь оказалась роль *интеллектуального сообщества* (Shlapentokh 1987: 73–75; Российская социология шестидесятых 1999: 27–29, 32–36). Социология, бесспорно, была результатом его сознательной деятельности под влиянием хрущёвской либерализации, начавшейся после XX съезда КПСС. Однако этот факт требует определенного уточнения. Пробуждение самосознания общества имело место и в последние годы сталинского периода истории страны, и в годы, предшествовавшие партийному съезду. Тем важнее подкрепить этот тезис ссылками на работы и свидетельства старшего поколения советских обществоведов.

К началу второго рождения советской социологии, пишет И. Бестужев-Лада, в середине 1950-х гг. марксистско-ленинское обществоведение было выстроено в следующем боевом порядке: в центре этого порядка размещались диамат и истмат, на флангах — соответственно полтэкономия и научный коммунизм. Однако все это не имело никакого отношения к науке, если понимать под ней одну из форм общественного сознания, связанную с производством новых знаний. Перед этим железобетонным порядком, составленным из догматов, была рассыпана «застрельщичья цепь» эмпирических исследований в исторических и филологических науках. Однако «саперам» в этой цепи разрешалось «копать» лишь только то, что подтверждало незыблемость догм. Едва они «выкапывали» нечто новое и неожиданное, их постигала судьба Яна Гуса или протопопы Аввакума. В философских и экономических науках строго запрещалась любая, даже куцая эмпирика. Против этих табу еще в первой половине 1950-х гг. выступил видный экономист и политик академик В.С. Немчинов<sup>1</sup>. Его логика была проста. Если на базе плохой буржуаз-

---

<sup>1</sup> Вскоре после этого академик В. Немчинов опубликовал статью «Социология и статистика» (Немчинов 1955). Она, скажу об этом объективности ради, была первой послевоенной публикацией, в которой ставился вопрос о самостоятельном развитии социологии. Добавлю также, что в этой статье автор наделил социологию инженерно-социологической функцией, закрепив за ней изучение массовых процессов, а за философией — анализ «общих закономерностей». Здесь социология выступала прямой альтернативой идеологической риторике истмата (Социология в России 1998: 35). Озвучивание идеи социологии как относительно самостоятельной науки об обществе было продолжено в ряде статей журнала «Вопросы философии» во второй половине 1950-х гг. (см.: Кучинский 1957: 95–100; Осипов, Колбановский 1957; Араб-Оглы 1958: 138–151; Колбановский 1958). По образному выражению В. Колбановского, журнал развернул необъявленную «войну философии от имени

ной политической экономии ведутся конкретные экономические исследования, приносящие миллиарды чистой прибыли, то почему на базе хорошей марксистско-ленинской политической экономии не могут вестись аналогичные исследования, дающие такую же многомиллиардную прибыль? (Бестужев-Лада 1995: 186–187).

Конкретным практикам и действиям, связанным с восстановлением социологической науки, предшествовало начало легализации, введение в научный оборот самого понятия «социология». Однако подобно тому, как в реке, скованной льдом, накапливается сила для грядущей весны, так и в философской аспирантуре, и на студенческих скамьях в высших учебных заведениях, готовивших кадры обществоведов, на переломе 40–50-х гг. выростали люди с новым складом ума, задумывавшиеся об истинном характере советского мироустройства. Именно в этой среде вызрела идея реставрации социологии. В числе представителей научных дисциплин, которые подняли знамя этой науки, должны быть названы, прежде всего, молодые философы с либеральной ориентацией: Г. Осипов, Б. Грушин, В. Ядов, И. Кон, Ю. Левада, А. Здравомыслов, Г. Андреева, А. Харчев, Н. Лапин, Ю. Давыдов. Естественным оказалось присоединение к ним экономиста В. Шубкина, историков Ю. Арутюняна, О. Шкаратана. В принципе идея была поддержана большинством интеллектуального сообщества. Известную осторожность проявили ряд представителей официальной философской науки, что не помешало части из них (кто имел дело с диалектическим материализмом, логикой и естественными науками — П. Копнин, А. Зиновьев, А. Ракитов, Б. Кедров) также высказаться «за». Из числа ученых — специалистов по историческому материализму — в ряды защитников социологии вступил В. Келле. На сторону социологии перешли международники (Ю. Арбатов, Ю. Замошкин, В. Семенов), специалисты, занимавшиеся системным анализом (И. Блауберг, В. Садовский, Б. Юдин), юрист В. Кудрявцев. Волны поддержки пришли от математиков, кибернетиков (Л. Канторович, лауреат Нобелевской премии), журналистов и писателей-публицистов<sup>2</sup>.

социологии». Она началась с упомянутой выше статьи польского социолога Ю. Кучинского, где опять-таки впервые для послесталинской эпохи говорилось о социальных законах как законах самостоятельной отрасли общественных наук. Дискуссия по данному поводу, проведенная журналом, была крайне важна для условий, в которых истмат устойчиво сохранял свое непреходящее значение как общесоциологическая теория, вследствие чего с ним обращались, как со священной коровой (Российская социология шестидесятых 1999: 24).

<sup>2</sup> Переиздание книги позволяет восстановить справедливость и отметить чрезвычайно важную роль региональных элит и региональных социологических центров (лабораторий, секторов, кафедр) в большом числе университетов и институтов Европейской части РСФСР, Сибири, Урала, Дальнего Востока, а также союзных

Особо важными оказались действия журнала «Новый мир» и «Литературной газеты» («ЛГ»), которая была главным рупором социологии (до выхода первого номера журнала «Социологические исследования» в 1974 г.) и публиковала социологические статьи, рецензии на книги. Редакция «ЛГ» была первым заказчиком исследований читательской почты и читательской аудитории.

Поддержку со стороны интеллектуалов можно объяснить наличием трех причин (Shlapentokh 1987: 77). Во-первых, они являлись приверженцами демократизации общества, расширения политических свобод и верили в то, что социология может способствовать раскрепощению общества. Они полагали, что социологические обследования позволяли выявить *реальные* настроения и мнения людей и в этом смысле превзойти возможности власти, которая часто с высокомерием продолжала настаивать на своем знании истинных потребностей населения, утверждая, что ее политика отражает подлинные интересы советских людей. Во-вторых, они считали социологию средством, с помощью которого можно было бы подчеркнуть важность человека и человеческого фактора в целом. В-третьих, социология открывала путь к принятию решений при опоре на научные данные.

Реализация этих установок помогла социологии сыграть заметную роль в просвещении общества, развитии его самопознания. Т. Заслав-

---

республик. Со ссылкой на кропотливый труд редактора журнала «Социологические исследования» Ж.Т. Тощенко, воссоздавшего картину участия регионов страны в становлении социологии в послесталинское время (Тощенко 2008: 59), назову главные точки роста этого процесса. При академических институтах страны социологические подразделения возникли в Институте экономики Уральского отделения АН СССР (рук. Л. Коган), в Институте экономики и организации промышленного производства (рук. Т. Заславская) и в Институте истории, философии и филологии Сибирского отделения АН СССР (рук. В. Бойко), а также в Дальневосточном научном центре (рук. Л. Рыбаковский). По свидетельству Ж. Тощенко, гораздо большее число подразделений возникло в вузовской среде: в Уфимском авиационном институте (рук. Н. Аитов), в Уральском (рук. М. Руткевич), Горьковском (рук. С. Фролов) университетах, в Пермском политехническом институте (рук. З. Файнбург), Алтайском пединституте (рук. В. Барулин и В. Воробьев), в университете (рук. Ж. Тощенко) и педагогическом институте Красноярска (рук. В. Голосов и М. Сергеев), Иркутском университете (рук. Г. Мельников), Хабаровской высшей партийной школе (рук. Г. Хохлюк). В эти же годы уверенно заявили о себе социологические подразделения Орловского пединститута (рук. И. Левыкин), Мордовского университета (рук. А. Сухарев), Куйбышевского политехнического института, а затем университета (рук. Е. Молевич), Саратовского политехнического института (В. Ярская). В это же время авторитетно зазвучал голос социологов Харьковского (Е. Якуба), Львовского (О. Олесневич), Белорусского (Г. Давидюк), Ташкентского (Д. Гилязитдинов) университетов, социологических центров Эстонии и Литвы, а также исследователей наркотизма (Тбилиси, А. Габiani).

ская справедливо пишет о том, что долгие десятилетия население страны было лишено объективной информации о положении дел в социуме. Более того, оно тонуло в потоках государственной лжи о «новом платье короля» и часто не решалось домысливать, почему король временами оказывался голым (Российская социологическая традиция 1994: 77). На фоне очевидного лукавства экономической и социальной статистики, скорее маскировавшей, чем раскрывавшей правду, социология в своих первых опытах пыталась приподнять завесу над истинным положением вещей. Заславская уподобляет возникновение социологии в СССР «появлению маленького и тусклого зеркальца в руках человека, никогда не видевшего себя самого и превратившегося в полузверя» (Там же).

Реанимация, «расшевеливание» общества, сохранившего в себе витальные силы, стимулировали громадную потребность и интерес к социологической деятельности и ее результатам. Социологические публикации в массовой печати, а вскоре и профессиональная социологическая литература сразу завоевали популярность у многочисленной аудитории. Статьи и книги социологов активно обсуждались, их темы становились предметом оживленных дискуссий в самых что ни на есть широких слоях читателей, прежде всего среди людей умственного труда — инженеров, научных работников, преподавателей.

Моральная и духовная поддержка *советской интеллигенции* — один из решающих факторов сравнительно быстрого роста высокой репутации новой науки в глазах общества. Социология способствовала общественному прозрению, расширяла границы мировоззрения людей, помогала формированию критического взгляда на природу социальных явлений, преодолению догматизма в понимании общественной жизни и ее развития. Динамика изменения программ вечерних университетов марксизма–ленинизма свидетельствует о том, что социологическое знание заметно теснило позиции истмата и научного коммунизма. Догмы этих дисциплин, сильно тускневшие перед логикой и доказательностью социологических фактов, постепенно перемещались на периферию сознания общества.

*Из воспоминаний В. Ольшанского* (см.: Российская социология шестидесятых 1999: 174–189)<sup>3</sup>. Академик А. Леонтьев поручил ему факультативно, впервые после многолетнего отрицания социальной психологии, прочи-

---

<sup>3</sup> Авторы личных свидетельств и повествований, на которые я здесь и далее буду ссылаться, используя подзаголовок «Из воспоминаний имя рек», были свободны в выборе формы изложения (профессиональная биография, воспоминания о жизни профессионального сообщества, заметки о развитии социологии, ответы на вопросы, интервью). Чтобы приблизиться к воплощению замысла книги, мне пришлось осуществить то, что В. Голофаст называл «тематической селекцией воспоминаний,



тать курс лекций по этой дисциплине. Занятия проводились вечерами. Однажды он не смог уложиться во времени, но никто из слушателей не хотел ждать продолжения целую неделю. Охранники попросили освободить помещение, выгнали всех во двор; ту, знаменательную для него, лекцию он заканчивал при свете факелов, которые соорудили студенты. Это дало ему полное право сказать: «Социология выступала достойной альтернативой атмосфере занудства и лжи, которая нас окружала. Нам противодействовали догматики — но их было немного по сравнению с теми, кто нас поддерживал» (Российская социология шестидесятых 1999: 186). Хороший полемист, он часто встречался с людьми, стремясь отвечать на их вопросы, но избегал славословия и ссылок на классиков марксизма. Во время одной из таких встреч с дотошными слушателями после него выступил Ю. Ким и провидчески исполнил песню о положении учителя-обществоведа в тогдашней советской школе:

*Я им говорю: это так-то и так-то,  
А что не так — значит ложь.  
А они мне: факты где, где факты —  
Аргументы вынь да положь.*

В сопоставлении с интеллектуальной элитой, делегировавшей своих представителей в первые когорты создателей новой науки, роль рядовых представителей интеллигенции может показаться скромной и даже малозначащей. Но это не так. Интеллигенция страны помогала разными способами формировать масштабный социальный запрос на социологическое знание и в отличие от власти поддерживала этот запрос, спасая социологию от опасностей и трагизма общественной невостребованности.

Период, наступивший в жизни страны вслед за смещением Хрущёва, оказался далеко не «романтичным». Новое руководство обладало властью авторитарного типа, по-прежнему не связанной правовыми ограничениями. Игра, таким образом, была продолжена на основе принципа шаха, который в любой момент мог перерасти в мат (Ахиезер 1997: 589). Изменения, если они и имели место, носили противоречивый характер и редко шли дальше лозунгов и деклараций. По инициативе руководства партии и страны была принята Конституция, наполненная взаимоисключающими идеями (народовластие не сочеталось с идеей руководящей роли партии). С помощью лозунга развитого социализма пытались навести некоторый лоск на фасад го-

---

фактов и способов их подачи», и пойти на преднамеренное сжатие сюжетов «устных историй». В итоге прямое цитирование авторов во многих случаях уступило место пересказу написанного ими. Во всех подобных случаях я старался сохранить своеобразие авторского стиля, отчетливо осознавая свою личную ответственность за «саморазрешенную» свободу обращения с текстами моих коллег. Смею думать, что при этом я не нанес им морального ущерба.

сударственного здания, создать иллюзию отказа от авторитаризма и волюнтаризма предшествующего правления, объявив заодно несуществующими ценности «оттепели».

В реальности же имел место возврат к некоторым формам принудительного труда в комбинациях со ставкой на советские ритуалы. Например, возникла особая монополия на дефицит (потребности росли, но общество не могло их удовлетворить; в результате был создан особый механизм перераспределения благ) (Там же: 593–605). В этих условиях хозяйственный и социальный статус человека начал определяться ресурсами, которые находились в его распоряжении. Стало очевидно, что хозяйственный механизм несет в себе в принципе неразрешимые внутренние проблемы, а общество оказалось неспособным преодолеть груз унаследованных отсталых форм труда. В итоге был дезорганизован механизм ценообразования (его начали заменять дотациями). На многих уровнях обозначилось банкротство самой непопулярной за всю предшествующую историю власти. Ее действия становились двусмысленными, а порой и вовсе лишены смысла.

Тем не менее даже в это «неромантическое» время наблюдалось неуклонное развитие социологии, которое продолжалось вплоть до 1972 г. Парадоксально? Вовсе нет, если привести два «земных» объяснения случившемуся. Одно — величина побудительного импульса «разрешенного» либерализма, вследствие которого движение по инерции продолжалось еще в течение доброго десятка лет. Другое — историческая особенность брежневского периода. Это было время, когда из системы начала постепенно исчезать жизнь и обозначился внутрисистемный кризис, корни которого уходили в глубь предшествующей истории страны. На «светофоре свободы» научной и гражданской мысли мерцающий неяркими вспышками зеленый свет уступил место желтому, что вначале не означало обязательную замену «разрешающего движение» знака на «запрещающий», красный. Однако эта замена все-таки произошла, и она в полной мере сказалась на социальной судьбе социологии.

Еще одна волна социально-культурных переживаний была связана с вторжением советских войск в Чехословакию (Россия/Russia 1998: 9). Это событие сразу поляризовало стратегию духовной элиты и впоследствии драматически усилило инакомыслие в обществе. Вначале слабое, оно тем не менее стало неудержимо «расползаться» по всем стратам, постепенно обретая права элемента повседневности и усиливая желание людей добиться большей свободы, уменьшить свою зависимость от власти «наверху». В итоге не только конформизм одних (что было свойственно еще недавнему прошлому), но и эскапизм других как модели выбора становятся универсалиями общественного поведения (Там же: 10). В последнем случае демонстрировалось «отрицание действительности» в пределах громадного смыслового поля.

В чисто культурном отношении конец 1970-х гг. ознаменовался изменением стиля жизни, а также представлений о разрешенном и недопустимом, вседозволенностью прежде всего в сфере культуры, приходом нового поколения, изменениями в аппарате подавления, заменой пьянства на наркоманию, новыми отношениями с массовой культурой. А. Пугачёва пела песни на слова О. Мандельштама и М. Цветаевой, В. Высоцкий стал кумиром массовой культуры, возник «квартирный» рок. Зарубежное издательство «Ардис» (основанное в 1971 г. в Анн-Арборе, США) приступило к открытой публикации книг наиболее известных советских и русских «неофициальных» авторов. Наряду с этим в обществе легализовались настроения и взгляды достаточно вольного либерализма, равно как и их носители (Россия / Russia: 14–15).

Л. Лурье определил «семидесятников» как поколенческую группу, состоявшую из лиц 1944–1953 гг. рождения, объединенных принадлежностью к так называемой второй культуре — мощному контркультурному движению, обладавшему своей идеологией, этикой, эстетикой и экономикой (Там же: 17–20). Родители этих людей принадлежали к поколению фронтовиков, уже лишенных коммунистической романтики. Поэтому над «семидесятниками» никогда не склонялись «комиссары в пыльных шлемах». Их отцы и матери вели трудную жизнь. Они были по преимуществу конформистами и чаще всего стремились отвлечь детей от политики. Они не боролись с режимом, уживались с ним, и их опыт был усвоен потомством. Старшие братья «семидесятников» пили кофе в Европейской гостинице, а сами они — в «Сайгоне» (одно из «гетто» «семидесятников» Ленинграда).

Любопытными были правила поведения в «романовско-брежневском» Ленинграде: нельзя было печатать на Западе антисоветские и близкие к ним по содержанию тексты, заниматься политикой (диссидентствовать и плести заговоры), размножать «там-» и «самиздатскую» литературу, совмещать контркультурную деятельность с иной недозванной активностью (наркотики или фарцовка), делать одновременно официальную и неофициальную карьеру, но обязательным было наличие постоянного места работы. При соблюдении названных условий власть могла оставить в покое и разрешала жить как хочешь.

Не секрет, что к тому времени в социальной структуре четко обозначилась, с одной стороны, партийно-государственная элита, а с другой — элита, рекрутированная из разных слоев культурной, художественной, научной, инженерно-технической интеллигенции. Партия и государство заботливо «прикармливали» их с помощью системы льготного перераспределения дефицитных материальных и социальных благ (Фирсов 1995: 26). Партийно-государственная элита хотела равенства, но не с народом, а с той интеллектуальной элитой, которая жила самостоятельно, окутанная особой аурой, и была тем более притягательной,

чем недоступнее она рисовалась сознанию не только рядового человека, но и представителей партийно-государственной номенклатуры (Фирсов 2006: 68–71). Поэтому, невзирая на известные служебные привилегии, номенклатура стремилась к утверждению этого равенства через престижное потребление культурного дефицита, который к этому времени утратил былую зависимость от власти.

Номенклатурной элите нужно было получить ощущение жизни, которое отличало многих звезд отечественной науки и культуры. Книги А. Солженицына ходили по рукам, и не только среди интеллигенции. При издательстве «Прогресс» была создана специальная редакция, которая с грифами «Секретно» и «Для служебного пользования» переиздавала за счет государственной казны книги писателя-диссидента и рассылала их по списку карьерным бюрократам самого высокого ранга, расширяя культурный кругозор их самих, а заодно и членов их семей. Председатель радиокомитета С. Лапин в конце 1940-х гг. был одним из главных борцов с низкопоклонством и космополитизмом. С его ведома был арестован и исключен из партии отец известного историка Н. Эйдельмана только за то, что во время трансляции пьесы А. Софронова «Московский характер» он выдернул шнур из розетки со словами: «Это не Чехов». В 1970-е годы тот же всемогущий Лапин (теперь он занимал пост председателя Гостелерадио СССР) прославился своей библиотекой, где были идеально представлены не только произведения опальных поэтов, но и собрания сочинений литераторов-диссидентов (см.: Подгородников 1999: 161). Отсюда — вынужденная толерантность к тому, что касалось отношения к субкультурам отдельных слоев и групп.

Однако тогдашние власти не могли позволить себе нечто подобное в формальных отношениях с наукой, которую изначально стремились превратить в «верного помощника партии». С точки зрения политики эти отношения никогда не предполагали партнерства или равноправия. Идеологическая же сторона дела отличалась нетерпимостью к инакомыслию «помощника». В итоге в обществе стало принято говорить о требованиях и общественных ожиданиях от социологии. Хотя вопрос о том, чего ждет социальная наука от общества, был далеко не риторическим, но ставился реже. Правда, всякого рода «разрешительные» по своему духу директивные документы не обходили проблемы, связанные с заказом на социологические исследования и элементарными экономическими условиями, но в них никогда не говорилось о том, чего ждет от общества социология, а именно — обеспечения свободы мысли. «Если нет свободы, естественно, система социологического знания коллапсирует», — пишет Т. Заславская (Российская социологическая традиция 1994: 72). Суть приручения, приведения ее к согласию с социальным порядком и нормативными требованиями так или иначе была связана с регламентацией научного творчества.

### 3.3. Социологические исследования и советские руководители. Манипулирование информацией

Понять, почему *советские лидеры (верхние эшелоны власти)* имели отрицательный взгляд на эмпирические исследования, можно, лишь установив нормы их отношения к социальной информации. Эти нормы были противоречивыми. Ценность информации определялась не только ее содержанием, но и условиями ее доступности. Будь социология созданием самой партии, признай ее партия универсальным средством сбора данных — все пошло бы по другому пути. Наступил бы прогресс дисциплины, но одновременно резко возросли бы ограничения на доступ к информации — ее смогли бы получать только центральный аппарат партии и КГБ.

Социология появилась на свет как дитя интеллигенции, о чем речь шла выше. Однако желание «верха» иметь как можно больше сведений пришло в противоречие с генетической привычкой контролировать все, а информацию — прежде всего. Сказалась природа власти. Чем дольше она существовала, тем сильнее становился контроль из-за боязни утечки данных и тем энергичнее режим сопротивлялся опровержениям реальности, исходившим от социологов. Логично было в таких условиях избавиться от источника «беспокойства», вызывавшего дискомфорт власти. Стагнация общественной жизни в период правления Л. Брежнева породила меры сдерживания социологии, большое число открытых и латентных ограничений, с помощью которых замораживалось развитие социологической мысли. На основании изложенного можно прийти к довольно любопытному выводу: если режим не отказывается от прошлого и стремится к тому, чтобы всячески его сохранить, он примет меры к снижению социологической деятельности. Напротив, если режим ищет способы преодоления прошлого, он станет поддерживать социологические исследования. Плох или хорош был Ю. Андропов, но от него исходил импульс интереса к социологическому изучению общества, хотя в данном случае, по-видимому, имела значение определенная оппозиция нового лидера к наследию, оставленному его предшественником.

Образ социологии в стране с самого начала периода ее возрождения зависел от природы партийного прагматизма, от целей деятельности и настроений лидеров страны. Однако все они с большей или меньшей очевидностью осознавали, что социология может оказывать сильное влияние на общественные взгляды (приводить их в колебание, изменять, сохранять нетронутыми и т. д.).

Согласно В. Шляпентоху, общественное мнение в СССР существовало в двух формах — индивидуалистической и коллективистской

(Shlapentokh 1987: 109). Для первой было характерно то, что мнение выражалось, однако его носитель мало знал о том, что по данному поводу думали другие. При второй форме это ограничение снималось, человек начинал видеть и осознавать свою позицию на фоне других суждений; более того, он получал возможность модифицировать свою точку зрения, видя, куда склонялся барометр мнений. В итоге даже в трудных случаях человек переставал бояться того, что его позиция могла отличаться от мнения остальных. Это позволяло ему преодолеть барьер идеологических запретов и боязнь инакомыслия. Гласный мониторинг общественного мнения пробуждал массы людей, до этого живших наедине со своим собственным представлением о жизни социума. Лидер, поддерживавший по тем или иным причинам исследования общественного мнения, должен был опасаться того, что слишком интенсивное их развитие могло подорвать идеологию.

Существует два способа ослабить этот опасный момент возможного прозрения общества: 1) понижать значимость проблем, выносимых на суд общественности; 2) подстраивать общественное мнение, а если потребуется, то и деполитизировать его в соответствии с избранным курсом. В брежневскую эпоху именно так и поступали, по существу, выставляя социологию (данные опросов об общественном мнении) на *идеологические торги*. Не приходится говорить, что в этих социальных условиях общественное мнение не могло существовать и функционировать как легитимный политический институт, как «пятая власть», реально участвовавшая в управлении гражданским обществом и непосредственно влиявшая на действия государства и его властных структур.

В известном смысле эти манипуляции с социальной информацией универсальны, ими пользовались и пользуются не только в СССР. Любой персонаж, оказавшийся на командном посту, будет стремиться к получению полезной для него информации, но одновременно думать об ограничении доступа к ней. Типично советским фактором, влиявшим на подход властных структур к эмпирической социологии, было их отношение к социальным инновациям, научно-техническому прогрессу. Идеи обновления и прогресса были начертаны на лозунгах партии в первые годы после смерти Сталина, страна, по мысли ее лидеров, неотложно нуждалась в модернизации. Не удивительно, что вплоть до 1968 г. и лидеры, и интеллектуалы рассматривали *социологию как средство и как символ национальной модернизации*, а точнее — как инструмент улучшения экономики и совершенствования идеологической работы партии (достаточно вспомнить здесь осененные одобрением высшей партийной инстанции основные направления деятельности вновь организованного в 1968 г. ИКСИ АН СССР).

Такова официальная сторона дела. Однако вербальное поведение еще в середине 1960-х гг. перестало совпадать с реальным. Социология

в сознании дряхлеющих лидеров страны начала утрачивать свой ореол и, более того, разочаровала их. Нужна ли свобода социологической деятельности, о которой твердят представители этой науки, когда партия взяла твердый курс на отказ от радикальных перемен? Вопрос оказался далеко не риторическим, и если социологию нельзя было запретить, то ее следовало обуздать, приручить, «встроить» в контуры власти. Так было положено начало партийной социологии, получившей заметную институционализацию к началу 1970-х гг. Правда, для этого потребовалось не только создать новые звенья, приближенные к деятельности партийных органов и работающие по их прямому заказу, но и удалить творчески мыслящих людей из академических институтов, заменив их и там верными режиму людьми. Центры социологических исследований начали смещаться на периферию, некоторые периферийные научно-исследовательские институты получили «первые роли», возникла обширная полупрофессиональная среда. Древко социологического знамени оказалось в руках консерваторов.

Для полноты картины рассмотрим советский механизм принятия решений и его связь с социологией (Shlapentokh 1987: 114–116). Ответ на вопрос о причинах возрождения социологии, конечно же, связан с явлениями спонтанной либерализации отдельных сторон жизни. Хрущёв желал модернизировать страну, но при условии сохранения политического порядка и идеологического контроля над населением. Позиция крайне противоречивая, поскольку обе цели (изменить страну, но сохранить неизменной власть) должны были прийти в конфликт. Тем не менее оба «клапана» попеременно открывались, лишь сгущая атмосферу неопределенности на всех уровнях партийно-государственной иерархии и соответственно по отношению ко всем сферам жизнедеятельности общества.

Усилителем подобной неопределенности выступал централизованный механизм принятия решений, где ведущая роль принадлежала всевластному лидеру страны – Первому секретарю ЦК КПСС. Другое дело, что его решения не могли носить исчерпывающий характер, и практически в любом случае, когда полномочия «верха» делегировались вниз, «низ» оказывался перед загадкой относительно истинных целей и средств принятых «верхом» решений. Так было при Сталине и продолжилось при Н. Хрущёве. Например, изменения, провозглашенные XX съездом КПСС, коснулись общественных наук, литературы, искусства. Требовалось освободить их от цепей сталинских догм. Поскольку Хрущёв остался верным принципу сохранения прежнего политического порядка и официальной идеологии, было чрезвычайно трудно определить «пропорцию» между либерализмом и консервативным сдерживанием, между необходимостью модернизации и требованиями сохранения контроля. Либерализация являлась насущной по-

требностью. Однако о полной либерализации не могло быть и речи, поскольку фактически она строго дозировалась. Это породило технологию «боязливых проб и ошибок», которой руководствовались все звенья партийно-государственной иерархии, пытаясь попасть в точку, но не выйти при этом за пределы дозволенного «свыше».

Таким образом, XX съезд КПСС открыл двери для эмпирической социологии, но из-за атмосферы неопределенности, царившей тогда в стране, аппарат мог разрешить движение только «мелкими шажками», постоянно озираясь на невыраженные и поэтому часто остававшиеся загадкой желания «верха». Понять эти «мелкие шажки» позволяют санкционированные «сверху» изменения официальных названий социологической деятельности: *социальные исследования — конкретные социальные исследования — конкретные социологические исследования — прикладная социология* и т. д. Удача (угадывание желаний «верха») вела к продолжению начатого дела, неудача (несовпадение с предпочтениями все того же «верха») — к угрозе «прикрыть» социологию.

Больших скандалов не случилось. Потому и удалось на основе тактики мелких, безошибочных шагов, начатых в середине 1950-х гг., довести дело до создания ССА (1958), а затем и первого социологического отдела в стране (1961). В брежневский период первоначально не было внесено никаких изменений в характер этого движения. В первые годы своего правления Л. Брежнев, как известно, не выступал за проведение широкой кампании против либералов и пресекал лишь прямые антисоветские действия. Таковых со стороны социологов не было, что и позволяло им сохранять себя.

Конкретный пример поможет объяснить традиции отношения политического руководства страны к социологии. Он связан с темой изучения настроений трудящихся (Социология в России 1998: 572–573). В 1930-х годах советская система полностью переориентировалась на внутренние и закрытые источники информации о состоянии общества. Понятие «закрытая партийная информация» означало очень многое. Партии и ее лидерам нужен был источник сведений, которому она только и могла доверять. Все остальные были в лучшем случае дополнительными, «комплиментарными» и никогда не рассматривались как «основные», на которые лидеры могли полагаться в полной мере.

Еще в 20-е годы эта роль была возложена на отделы партийной информации при комитетах ВКП(б) всех уровней. Но уже тогда выяснилось, что одних только усилий партийцев здесь явно недостаточно, и союзником в деле информационного обеспечения партии стали органы ВЧК–ОГПУ–НКВД, в распоряжении которых находились источники негласного наблюдения и осведомления. В этой точке сошлись интересы политического сыска и политического руководства страны. Инспирированная обоими субъектами информация была признана доста-



точной, для того чтобы держать руку власти на пульсе страны. В итоге власть, которая исходила из незыблемости поддерживаемого ею режима, ограничилась донесениями об антипартийных и антисоветских настроениях, дестабилизирующих режим, и сообщениями о поддержке лозунгов и политики руководства, укрепляющих режим. К началу брежневского правления эта система информационной «подпитки» руководителей страны достигла известного совершенства, особенно после того, как к ней добавились верные делу партии СМИ. Так и дожили до перестроечной поры, опираясь на синкретизм (слияние) откровенного доносительства и живого славословия.

### 3.4. Влияние тотальной идеологизации

Как только партийно-государственный корабль взял курс на стагнацию — немедленно был усилен контроль над программами и результатами социологических исследований. Все было сделано быстро и силами *партийного аппарата*. При этом власть совершила крупный просчет: боясь ослабить господство идеологии, она преднамеренно отказалась от возможности знать фактическое положение дел на местах, в стране в целом. Когда же возник едва ли не панический страх перед реальностью повторения «пражской весны» в советских краях, «помощника партии» стали воспринимать как потенциального оппонента в силу возникшего к тому времени убеждения, что он обладает едва ли не генетической склонностью к разномыслию. Именно по этой причине центральный и местный партийные аппараты были «прикреплены» к проведению социологических исследований на всех стадиях. Особую роль выполнял аппарат ЦК КПСС. Частные вопросы организации конкретных исследований в стране постоянно рассматривались инструкторами отделов ЦК КПСС, а проблемы научной политики — руководителями отделов и даже секретариатом ЦК КПСС (Российская социология шестидесятых 1999: 443–613).

Механизм контроля и регулирования профессиональной деятельности был включен на полную мощность не сразу. Степень его использования зависела от установок партии (аппарата) в отношении социологии, а сами установки менялись. В начале процесса возрождения этой науки роль аппарата была сравнительно невелика. Фактором, определившим ее появление, стала политика, провозглашенная руководителями страны. Аппарат, попросту говоря, реализовал эту политику, найдя, вернее сказать, угадав соответствующую нишу для новой науки. Такое «аккуратное» исполнение, гибкость в действиях заслуживают, чтобы их отметили. Хотя в общем случае политика руководства партии воплощалась в жизнь с меньшим усердием, когда становилось

известно, что в высших эшелонах власти консенсус по данному поводу отсутствует.

В истории социологии такого консенсуса действительно не было. Отсюда и невысокий энтузиазм, и достаточно длительный срок (более 10 лет!) созревания идеи (я имею в виду институционализацию социологии) и ее воплощения в жизнь. Здесь сказалось неприязненное и если не враждебное, то настороженное отношение низших звеньев партийного аппарата к независимой социологии. Этот факт был впервые зафиксирован при изучении контингента читателей центральных газет («Правда», «Известия») в Новосибирске в середине 1960-х гг. Тогдашний руководитель Новосибирского обкома КПСС Ф. Горячев отрицательно отнесся к исследованию, но вынужден был «стерпеть» факт сбора данных ввиду того, что оно было санкционировано ЦК КПСС. Поэтому не удивительно, что многие партийные комитеты на местах сопротивлялись созданию социологических групп. Все это свидетельствует о том, что новая политика уже в «оттепельные» времена наталкивалась на весьма заметное сопротивление партийных «низов», но все же социологию «пропустили вперед».

Однако в 1970-е гг. партийный аппарат перешел к активному сопротивлению, прямо содействуя коллапсу общественных наук, вопреки явному нежеланию высших лидеров страны прекратить все социологические (эмпирические) исследования. «Наверху» считали тогда, что исследования надо проводить, одновременно усилив контроль над деятельностью ученых. Контроль был установлен, он отличался жесткостью, особенно в регионах. Социологии и социологам (подобно тому, как это произошло с местными газетами и их редакциями) все чаще отводилась роль идеологического оружия партийных комитетов, помогающего воплощать в жизнь в первую очередь их политику.

Партия брала под свою опеку целые академические учреждения. Например, Ленинградский обком партии стал полностью контролировать деятельность Института социально-экономических проблем АН СССР, в котором прежде всего сместили относительно либерального директора и поставили «своего человека».

Подобными или иными, но в своей основе нелегитимными способами партийный аппарат следил за всем, что происходило внутри науки, добиваясь ее политической благонадежности. С этой целью аппаратчики неусыпно «заботились» о кадрах, особенно о тех из них, кто отвечал за формирование научной политики исследований. Даже должности старших научных сотрудников социологических институтов были предметом заботы партийных органов. Такое усердие проявляли многие обкомы КПСС. Кандидатуры ученых, представлявших диссертации на соискание ученой степени доктора наук, руководство этих институтов и ВАК согласовывали с Отделом науки ЦК КПСС.

Разумеется, согласование могло иметь и фактически имело различные результаты — одни кандидатуры пропускались, а другие могли быть «отложены».

Специальные меры принимались для увеличения числа членов партии среди социологического сообщества (Shlapentokh 1987: 120–121). В Москве в партии не состояло лишь 10–15% профессиональных социологов из академических институтов (прослойка беспартийных в масштабах всей страны была близкой к 60%). Партийность влияла на карьеру, исключенный из партии социолог с трудом мог продолжать профессиональную деятельность.

Тотальное требование состояло в том, чтобы свести воедино поток социологической информации и те сведения, которые в виде писем трудящихся, вопросов к лекторам и т. д. поступали в партийные органы. Неслучайно, что по этой причине начиная с 1970-х гг. происходило интенсивное переключение социологии на прямое обслуживание интересов партийного руководства. Особую роль в этом процессе играла Академия общественных наук при ЦК КПСС.

Результаты «партийных» исследований стали активно публиковать в журнале «Социологические исследования». В конце 1970-х гг. не менее 25% всех авторов этого журнала представляли партийный аппарат и связанные с ним исследовательские структуры. В стремлении сделать социологию своим оружием партия «командировала» работников аппарата в социологические учреждения; они, в свою очередь, стали защищать диссертации и принимать участие в социологических семинарах, конференциях, конгрессах МСА (Г. Квасов, Н. Пилипенко). Они же становились редакторами и авторами публикаций по социологии.

И все же внешне обоснованная и даже полезная акция (сблизить науку с высшими целями управления и развития государства и общества) обернулась селекцией ученых, которым эту акцию можно было доверить. Так появились социологи «первого» и «второго» сорта. В этом искусственном разделении ученых главную роль играло мнение партийного аппарата, а не талант, ум, научные заслуги, авторитет ученого в глазах научного сообщества. В итоге социология как наука принудительно стала служить более узким интересам, связанным главным образом с целями КПСС. Предметное поле исследований постепенно сжималось.

Общие черты этого процесса были заметны и на региональном уровне. Однако местные партийные органы более бдительно и ревностно, чем звенья центрального аппарата, охраняли результаты заказанных ими работ. В течение нескольких лет мне пришлось вместе Б. Докторовым руководить структурой, занимавшейся изучением общественного мнения, которая была создана «в интересах Ленинградского обкома партии». Отчеты об исследованиях направлялись только

первым лицам. Обсуждения результатов не практиковались. Данные опросов засекречивались и, таким образом, утаивались не только от общественности, но даже и от высших звеньев ЦК КПСС. Главная цель ленинградского партийного руководства, нарушавшего в этом случае каноны демократического централизма, была единственной — представить «колыбель революции», «авангард технического прогресса» и «кузницу передового рабочего класса» в крайне выгодном свете в глазах руководителей всей партии.

При составлении программ исследований общественного мнения по приказам партийного органа не рекомендовалось идти в глубь изучаемых проблем. С одной стороны, разрешалось, к примеру, выявлять оценки удовлетворенности состоянием здравоохранения, но, с другой стороны, рекомендовалось воздерживаться от вопросов о реформе здравоохранения или об отношении людей к платной медицине. В этих ограничениях угадывался страх системы перед истинной картиной состояния страны. В итоге изучалось общественное мнение, лишённое права услышать себя. Задача этих исследований состояла исключительно в поддержании существовавшего тогда *status quo*. Отсюда и узурпация права на социологическую информацию, способную его изменить.

Поглощение социологии партией было не единственной угрозой ее существованию. Такие же намерения имелись и у *Комитета государственной безопасности*. Известно, что начиная с 1970-х гг. органы государственной безопасности стали играть видную роль буквально во всех сферах жизни общества. Их роль в таком важном вопросе, как подбор и выдвижение кадров, существенно возросла по сравнению со сталинским временем. Связи с социологией были весьма тесными (однако представить себе весь спектр отношений трудно ввиду их секретности). К тому же и стороны не стремились к разглашению этих связей.

Образ КГБ в середине 80-х гг. был несравненно мягче и привлекательнее, чем в сталинские времена. Органы сделали многое, открыто убеждая граждан в необходимости сохранения безопасности советской родины. Формированию положительной репутации способствовали книги, кино и телевидение. Тем не менее многое осталось от старых времен, во всяком случае, интеллигенция относилась к органам скорее недружелюбно и с подозрением. Факт прямого или косвенного сотрудничества с КГБ скрывался. Всякий, кто об этом узнавал, скорее всего, видел в «сексоте» угрозу своему существованию. Тем более что сами сотрудники КГБ неоднократно пытались вмешиваться в социологическую деятельность, откровенно рассматривая ее как инструмент решения своих служебных задач. Уже в послеперестроечное время В. Ядов рассказал историю, которая случилась с ним и начальником Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области генералом В. Шумиловым в 1965 г.: «С Шумиловым мы были коллеги: он был первым

секретарем обкома комсомола, а я секретарем райкома комсомола. И на основании такого, так сказать, содружества Шумилов, уже будучи в КГБ, посылает ко мне своего парня, который говорит, что мы тебе дадим человек пятнадцать, а ты их социологами оформи, они будут ходить по квартирам — опрашивать. В общем, у нас не нашлось общего языка. И поскольку не нашлось общего языка, меня наказали, не смертельно, но наказали, не выпускали за границу пять лет» (Ленинградская социологическая школа 1998: 15).

Отдел специальных исследований в ИКСИ АН СССР размещался в особом изолированном помещении (здании), куда не всякий мог войти. Он функционировал автономно от дирекции Института и со всей очевидностью управлялся «извне» — центральным аппаратом КГБ. Исследования носили идеологическую направленность (например, изучение ориентации эстонского населения на передачи шведского и финского радио или общественного мнения населения областей по поводу острых политических проблем). Отношение к власти или мнение о роли партии при этом не затрагивались. Состав исследователей особыми талантами не отличался. Неграмотность не беспокоила. Даже после того как ИКСИ в середине 1970-х гг. был «вычищен» и из него уволили значительную часть профессионалов высокого класса, уровень сотрудников спецотдела еще длительное время оставался самым низким. Результаты исследований никогда не публиковались и не подвергались публичному разбору и критике.

Особую функцию КГБ представляло собой изучение статей и книг, разрешенных к открытой публикации. Тем же занимались и работники партийного аппарата, выполняя, по существу, обязанности идеологической цензуры. Их замечания подлежали обязательному учету и чаще всего не оспаривались. Цензорские обязанности выполняли другие субъекты — редакторы издательств, критики, заказчики, члены ученого совета и т. д. Все это ухудшало внутренний климат функционирования социологии в стране.

И наконец, последнее наблюдение. Сотрудники госбезопасности вели сложные игры с социологическим сообществом и даже предлагали отдельным ученым стать агентами-осведомителями. Не надо думать, что профессия социолога — социальная критика — содержала гарантии от соблазна принять эти предложения. Осведомители были, часто добровольные, но, говоря об этом, я не предлагаю начать поиск агентов, публикацию разоблачительных документов, гражданские казни и прочее. Расскажу лучше о моем пребывании в стране Икс в качестве участника Всемирного социологического конгресса. Нас было четверо, и жили мы вместе, занимая номер в отеле. Трое вели по вечерам обсуждение проблем советского общества, правда, «не редактируя» собственные высказывания, но и не призывая к свержению совет-

ского строя. Четвертый (это был член-корреспондент Академии наук одной из братских республик) хранил молчание в важных спорах, но никакого недовольства содержанием вечерних бесед не высказывал. После конгресса все четверо вернулись на родину, домой. Прошла неделя-другая, и трое «разговорчивых» узнали, что четвертый, «молчаливый», в письменной форме поведал об услышанном кураторам из центрального аппарата КГБ.

Я, как житель Ленинграда — колыбели пролетарской революции, хорошо помню, что эти «славные традиции» борьбы с антисоветской агитацией сохраняли свою силу вплоть до конца 1980-х гг. Поручкой тому было «творческое содружество» местных органов цензуры и КГБ, установленное еще в 1920-е гг.

Этот тандем отличало единство целей в том, что касалось борьбы с разномыслием. Официальная доктрина утверждала, что у нас научная мысль не контролируется, а так называемое литование связано исключительно с защитой государственных интересов и тайн. Всякие ссылки на фактическое вмешательство цензуры запрещались. «Вы нас подведете, если скажете, что адресованные Вам замечания исходят из Ленгорлита», — говорили автору сотрудники Ленинградского отделения издательства «Наука» в тех случаях, когда под нажимом цензуры приходилось делать купюры в тексте, снижать «до шепота» тон и без того безобидных замечаний по поводу проблем жизни общества, убирать статистику, сквозь призму которой бдительные цензоры угадывали опасности дискредитации советской системы. Полемика исключалась. Фамилии цензоров были секретом. Ленгорлит стремился к тому, чтобы «не оставлять пальчиков»: повеления цензуры автор узнавал от редактора. Финансовой ответственности за решения (например, пустить под нож уже готовый тираж книги или рассыпать набор «еретической» книги) цензоры не несли. За убытки платило издательство «Наука». Начальник Ленгорлита в 1970-е гг., Б. Марков, демонстрировал в таких случаях особую изворотливость. Чтобы замаскировать вмешательство цензуры, он направлял «крамольную» рукопись в обком партии вместе с погромной рецензией. И тогда за работу принимались инструкторы отдела науки обкома. Было бы проще всего считать, что Ленгорлит эксплуатировал простодушие сотрудников обкома, считавших, что все средства хороши для обеспечения линии партии. Партийные органы, цензура и органы КГБ были сиамскими близнецами, разединить их даже хирургическим способом было невозможно.

Здесь нельзя не вспомнить технологию ограничения доступа к зарубежной литературе. Легендарные спецхраны, особые шестиугольные штампы для маркировки поступавшей по почте книжной и журнальной продукции — все это отчетливо помнится. В Ленинграде одно время существовал «кооператив», основанный И. Коном и В. Ядовым, к участию

в котором пригласили и меня. Мы на собственные средства покупали и отправляли в США по три экземпляра отечественных книг по социологии и смежным дисциплинам. В обмен получали согласованное количество американских книг по интересовавшей каждого «кооператора» научной проблематике. На такой обмен следовало получить одобрение Ленгорлита. Для этого мы составили письменные заявления, согласно которым при поступлении на адрес любого из нас литературы «ограниченного пользования» цензор получал от нас «просьбу»(!) переслать крамолу в спецхран Библиотеки АН СССР (БАН).

Сами правила отнесения книг и журналов к такого рода литературе держались в глубочайшей тайне. Правила знал цензор, а мы могли о них лишь догадываться. Например, достаточно было одного упоминания или ссылки на Солженицына — и книга уходила в спецхран. Абсурдность этих правил понимали и сотрудники БАН. В легких случаях они разрешали изъять несколько «опасных» страниц и унести книгу домой. В начале 1970-х гг. мне пришла очень ценная книга. В моем присутствии с помощью лезвия безопасной бритвы сотрудница вырезала статью о массовой коммуникации в Китае с критикой доктрины коммунистической пропаганды, а все остальное разрешила взять домой (книга вновь могла считаться с этого момента моей)<sup>4</sup>. Такова была цена за легальную возможность воспользоваться остальными материалами книги. По-моему, из подобных экспонатов можно было бы создать антимузей социологии 1950–1980-х гг., посвятив один из залов Главлиту СССР, шестому актору (в добавление к пяти, ранее номинированным В. Шляпентохом).

### Опыт войны И. Кона с государственной цензурой

Первая стычка с цензурным ведомством произошла вскоре после окончания аспирантуры. Приехав в Москву специально для того, чтобы читать спецхрановские книги (по межбиблиотечному абонементу они не высылались), он с удивлением узнал, что ни цитировать, ни ссылаться на них нельзя. По молодости лет И. Кон не понимал, что чем глупее инструкция, тем она эффективнее, и позвонил в ЦК (телефон отдела пропаганды мне дали в справочной). Грубоватый собеседник воспринял его вопрос агрессивно.

— А вы что, всякую антисоветчину хотите тащить в печать?

— А вы думаете, я это читаю для удовольствия?! Мне это нужно для критики.

— Ну, и критикуйте без цитат, в общем виде.

— А вы читали «Материализм и эмпириокритицизм», помните, сколько там цитат?

<sup>4</sup> Для строгости изложения привожу данные «купированной» статьи (см.: Yu 1972).

Аргумент сработал, собеседник дал Кону телефон кого-то рангом выше. Тот сразу все понял, согласился, что правила устарели, и пообещал их изменить, что и было вскоре сделано. Однако он не угомонился и продолжал «качать права» (Кон 2008: 203).

Следующая баталия, которую стычкой никак не назовешь, связана с большим письмом И. Кона секретарю ЦК КПСС Суслову от 24 февраля 1961 г., в котором он жаловался, что Главлит «закрывает» любые специальные книги вплоть до учебников логики, где есть какие-то антисоветские высказывания, и доказывал, что это и то, что ученым-гуманитариям не дают зарубежных командировок, мешает нашей идеологической работе. Выдержки из этого письма заслуживают быть отнесенными к памятным материалам из хроники послевоенной социологии. Вот что, в частности, писал И. Кон в своем обращении на имя своего адресата, которое цитируется по книге «Пресса в обществе» (Пресса в обществе 2000: 465–466):

Глубокоуважаемый Михаил Андреевич!

Занимаясь в течение ряда лет изучением и критикой современной буржуазной социологии и идеологии в широком смысле слова, я хотел бы рассказать Вам о некоторых недостатках и трудностях в организации нашей идеологической работы, которые серьезно снижают, а иногда и вовсе сводят на нет ее эффективность. <...>

Каковы причины этого?

1) Отвратительная организация научной информации. Нельзя толково вести идеологическую борьбу, не зная противника. Но абсолютное большинство иностранных книг оседает в Москве и работникам периферийных учреждений мало доступно. Это можно было бы восполнить добротной научной информацией. К сожалению, такой информации нет. Бюллетень «Новые книги за рубежом», издаваемый Издательством иностранной литературы, отражает лишь ничтожную часть литературы. Закрытый же бюллетень, рассылаемый по списку, фактически недоступен ученым, работающим на периферии. ИЛ (Издательство иностранной литературы. — Б.Ф.) издает и рассылает по спискам переводы некоторых книг, но даже Ленинградский университет этих изданий не получает. И вообще в Ленинграде их достать нельзя. Почему? У нас же есть спецхраны, где книги были бы достигаемы только для специалиста. А нередко книги, идущие под грифом, только для специалиста и интересны. Например, в 1958 г. так была издана книжка Хайдеггера «Что такое философия?», весьма специального содержания. Институты философии стран Азии, стран Африки, мировой экономики и др. издают информационные бюллетени служебного характера. Почему нельзя посылать их в крупнейшие научные библиотеки (хотя бы в Ленинград, Киев, Минск, Свердловск, Новосибирск) для закрытого использования? Это стоило бы гроши, а дало бы много. Почему периферийным работникам нужно доверять меньше, чем московским? Почему ленинградский или киевский профессор не может пользоваться тем, что доступно любому московскому аспиранту?



2) Неправильный стиль работы органов Главлита. Среди иностранных книг, получаемых в СССР, имеется большое количество клеветнических антисоветских сочинений. Само собой понятно, что эта вредная литература не должна попадать широкому читателю. Для этого существует специальное хранение. Однако в последние два года органы Главлита, видимо, из соображений перестраховки, закрывают огромное количество специальных философских, социологических и т. п. книг без всякой к тому необходимости. Иногда закрываются даже прогрессивные книги. Например, книга американского социолога Миллса «Причины Третьей мировой войны» положительно оценена в советской печати, в том числе в журнале «Коммунист», но, тем не менее, находится на спецхране. На спецхране находится хорошая книга английского историка Барраклоу «История в изменяющемся мире», почти все иностранные социологические словари и справочники, книги по общей социологии и даже книга Догерти «Введение в аристотелевскую формальную логику». Нередко книга, первое издание которой открыто, вдруг закрывается во втором издании, хотя ничего нового в нем нет. Таких примеров цензорского произвола можно привести сотни.

В чем здесь дело? Вероятно, цензор, не имея времени прочитать книгу и не будучи в состоянии разобраться в ее содержании (это и не входит в его обязанности), закрывает книгу «на всякий случай». Но такая практика неправильна. <...>

Я со всей ответственностью утверждаю, что очень многие книги, находящиеся на спецхране, ничем не отличаются от тех, которые выдаются свободно. Если попытаться закрыть все то, что противоречит марксизму, то гораздо проще было бы посылать на спецхран всю буржуазную литературу. Но тогда надо расширить соответствующие отделы библиотек.

Может возникнуть вопрос: а не все ли вам равно, где читать литературу? Ведь вам никто не мешает ходить в отдел спецхранения и получить соответствующее разрешение легко? Нет, не все равно. Во-первых, спецхрановскую литературу нельзя получить домой, а сидеть целыми днями в библиотеке не каждый может. Во-вторых, перегрузка отделов спецхранения случайной литературой приводит к тому, что там нелегко найти даже место для работы. В-третьих, что особенно важно, спецхрановскую литературу почти невозможно получить по межбиблиотечному абонементу. В-четвертых, доктора наук имеют право на выписку очень небольшого количества иностранной литературы. Естественно, что они стремятся выписать справочные пособия. Но что прикажете делать, если все социологические справочники подлежат спецхрану и, следовательно, не выдаются на дом? Ясно, что это сильно мешает нашей работе и снижает ее продуктивность.

<...> Прежде чем написать это письмо, я советовался со многими товарищами, занимающимися критикой буржуазной идеологии, а также с библиотечными работниками, и убедился, что их волнуют те же самые проблемы.

С уважением,

доктор философских наук И. Кон

На письме стоит резолюция Суслова: «т. Ильичеву и Кириллину. Прошу обратить внимание, подготовить предложения». Главлит представил в ЦК справку аж на 34 страницах, где доказывал, что они всё делают правильно, а предложения Кона вредны. В результате по предложению двух отделов ЦК — пропаганды и науки — комиссия в составе Суслова, Куусинена и кого-то третьего, чью подпись Кон не разобрал, сочла возможным «несколько расширить список организаций, которым рассылается издаваемый Издательством иностранной литературы закрытый бюллетень» об иностранных книгах, включив туда библиотеки девяти крупнейших университетов, «обязав Главлит организовать надлежащий контроль за правильностью хранения и использования бюллетеня», а также предложить главным библиотекам страны «улучшить для научных работников условия ознакомления с зарубежными книгам и статьями». «Что касается предложения т. Кона относительно ослабления цензурных требований, касающихся иностранных книг, содержащих антисоветские и антисоциалистические утверждения, то это предложение принимать нецелесообразно» (Кон 2008: 203–204).

Главлит и его «смежники» крепко невзлюбили Кона и надолго сделали невыездным. Стычки с Главлитом продолжались вплоть до перестроечного времени. «Учитывая враждебный характер помещенных в ней материалов», цензура конфисковала посланную Кону книгу П. Сорокина «Пути проявления любви и сила ее воздействия» с дарственной надписью автора. Выпущенный в Англии сборник русских переводов Фрейда, который коллеги посылали ему дважды, оба раза безнадежно оседал в спецхране, а 24-томное английское собрание его сочинений дошло беспрепятственно» (Там же: 205–206).

### **3.5. О диссидентской роли советских социологов**

Вторжение советских войск в Чехословакию в августе 1968 г. и вызванная им отрицательная реакция у значительной части населения страны были одной из важнейших причин, ускоривших появление и распространение диссидентства. Назову основные черты этого движения, ссылаясь на одну из лучших работ о диссидентстве, написанную А. Даниэлем (Россия/Russia 1998: 111–124). Системообразующим фактором здесь выступило единое информационное поле, возникшее во второй половине 1960-х гг. и открыто связавшее воедино разные виды независимой общественной активности (50-е гг. были периодом, когда акцент приходился на политическое подполье). Наиболее заметно это поле стимулировалось «самиздатом» («Хроника текущих событий», 1968–1983, 65 выпусков). Эта дефиниция подчеркивала в диссидентстве совокуп-

ность общественных движений и индивидуальных разнородных и разнонаправленных по своим целям и задачам поступков, но совершавшихся в границах названного информационного пространства.

В рамки диссидентства вместились все значимые и оппозиционные (по преимуществу правозащитные) выступления названного периода. Его инициаторами всегда были представители свободомыслящей интеллигенции. Первые диссиденты родились в 1920-е гг., следующее поколение — в 1930-е, что указывает на отсутствие единства жизненного опыта. Впоследствии и у тех и у других появились «дети». Подчеркну сходство основных слагаемых в биографиях многих диссидентов: протестная деятельность — репрессии — специфическое поведение в неволе. Демонстрировать публично линию своей деятельности как пример для других многим казалось делом нескромным и сомнительным. Не случайно некоторых диссидентов (С. Ковалёв и ряд др.) покорило призыв А. Солженицына «Жить не по лжи!». В условиях «вегетарианского» тоталитаризма брежневской поры этот призыв невозможно было соблюсти. Ложью были пронизаны все виды общественных отношений, начиная от участия в голосовании и кончая сдачей экзаменов по марксизму–ленинизму или выходом на коммунистические субботники (Россия/Russia 1998: 120).

В обобщенном виде культура диссидентства — это культура поступка, а не нормативного текста (ведь движение объединяло почвенников, западников, коммунистов, монархистов, националистов, безыдейных художников). Протест был экзистенциальным. Модель, которую формировало это движение, была первой несовершенной и грубой моделью гражданского общества. Именно в него «играли», по выражению А. Даниэля, диссиденты. В качестве итога он назвал одной из черт диссидентского поведения «ускользание» (по аналогии с философией *дзен*, которая избегает дефиниций и воюет с интерпретациями).

В заключение мне хотелось бы подчеркнуть еще одну чрезвычайно важную черту диссидентства. Его представители не были организованной политической оппозицией, которая имела программу и план действий. Диссидентство являлось формой открытой защиты гражданских прав, которые Конституция гарантировала жителям страны. Диссидентов было немного, что лишнее раз указывало на трудности преодоления атмосферы всеобщего страха, в котором граждане прожили несколько десятилетий. В то же время существование этого явления свидетельствовало о том, что действия государства — нарушителя прав и свобод — могли быть оспорены. Человеческий дух побеждал всемогущее государство (Геллер, Некрич 1995: 206).

Свободой духа, так отличавшей диссидентское движение, не обладали в полной мере ни советская социология, ни основная масса профессиональных социологов на старте возрождения своей науки. Во многом

это объяснялось тем, что и возрождавшаяся дисциплина, и ее горячие поборники находились в цепком плену государственной идеологии, представленной советским вариантом теоретического марксизма, который, как мы уже знаем, предлагал весьма ограниченный взгляд на общество и его развитие.

Нетрудно понять, почему эти догмы мешали свободному и непредвзятому подходу к социуму. Они опирались на генерализующее утверждение о том, что марксизм открыл все основные законы общественной жизни. И поэтому науке в данном случае ничего не оставалось делать, кроме как иллюстрировать действие законов в качестве подтверждения истинности и неопровержимости марксистского учения. Естественно, что выход за «красные флажки» учения и обращение к иным теоретическим представлениям и взглядам на общество были сопряжены с рядом опасностей, угрожавших самой возможности продолжения творческой научной деятельности. Однако даже если отвлечься от «минных полей» усиленного политического и идеологического контроля, не удастся сбросить со счетов действие еще двух важных факторов. Один из них — вера в справедливость марксизма как учения об обществе, привитая в результате длительного идеологического и образовательного воздействия. Второй — относительно слабая осведомленность о немарксистских взглядах на развитие общества, а в ряде случаев — неграмотность в том, что касалось истинной сложности и разнообразия взглядов мировой социологической науки на свой предмет. В этом смысле переход к плюрализму социологического объяснения мира и развития собственного общества происходил медленно и часто внутри сознания самого исследователя.

Влияние марксистских догм я бы рискнул назвать первопричиной относительно медленного развития коллективной ментальности социологов в направлении оппозиционного противостояния истмату как единственно правильному научному мировоззрению. Данным тезисом я не пытаюсь умалить роль Маркса как ученого, оставившего след, как любили говорить в советское время, в сокровищнице мировой социально-философской мысли. Даже самые критически настроенные социологи не могли избежать влияния многих марксовых концепций, тем более что они были органической частью их философского или какого-либо другого профессионального образования и мировоззрения. Однако советская обществоведческая (социологическая) мысль длительное время находилась в противоестественном состоянии — она оставалась «искусственно замороженной» с помощью марксистской методологии вплоть до середины 1980-х гг. И поэтому советская социология как наука (прозрения отдельных ученых, осмысливших все до конца, здесь не играли ведущей роли) «не решила своей главной задачи, связанной с типологической идентификацией советского общества, не предсказала

неизбежность ожидавшей его трансформации» (Российская социологическая традиция 1994: 76).

Несвобода социологической мысли — первая и самая важная причина того, что история «поручила» диссидентство философам, историкам и представителям иных свободных профессий. В качестве подкрепления этого исходного тезиса можно вспомнить о том, что среди последних было больше беспартийных, чем среди первых социологических когорт. Либеральные идеи в большей мере циркулировали в среде беспартийных. В то же время существовало «призрение» за результатами социологических исследований. Малейшее проявление политической нелояльности вело, как правило, к отлучению ученого от собранных данных и их анализа. Опасение, что исследовательская деятельность может быть приостановлена в любой момент, делало социологов менее «оппортунистичными» в сравнении с другими обществоведами.

Политическая стагнация 1970-х гг. разрушила сравнительно целостную атмосферу социологической деятельности. Возросли политический конформизм, славословие, типичные для эпохи брежневского правления. Характерным было и социальное поведение ученых, которые не реагировали открыто (публично) на обстоятельства, унижавшие их достоинство. Когда людям, знавшим В. Шляпентоха, стало известно о его решении эмигрировать, то, по данным опроса, проведенного самим Шляпентохом(!), 44 % знакомых прекратили или существенно сократили контакты с ним. Крайне отрицательной и поэтому неожиданной была реакция профессиональной среды: на разрыв отношений или сведение их до минимума пошли 73 % его коллег из ИСИ АН СССР, где он в то время работал (Shlapentokh 1987: 96–97).

Весьма незаметным был социологический «самиздат». Известны лишь три «конспиративных» опроса: об отношении к Сахарову (800 респондентов), к польской «Солидарности» (600) и к войне в Афганистане (Ibid.: 98). Все интервью проводились в Москве добровольными интервьюерами, которых просили не опрашивать лиц, известных своими либеральными убеждениями. Тем не менее свое согласие с позициями академика Сахарова выразили две трети (64 %) респондентов в среде научных работников, инженеров, представителей гуманитарных дисциплин и лишь одна пятая — в рабочей среде. Три пятых респондентов-ученых и только одна пятая опрошенных рабочих высказались в поддержку «Солидарности».

Впрочем, и эти примеры в какой-то мере стали свидетельством отсутствия не только «внешней» свободы выражения мысли, но и «внутренней» свободы поиска истины. В своей известной книге «Просуществует ли СССР до 1984 года?» А. Амальрик поделил диссидентов на «политиков» и «моралистов». Первые исходили из неизбежности крушения советского строя и поэтому с той или иной степенью граждан-

ской смелости намечали контуры страны, которая рано или поздно освободится от коммунистической власти. Моралисты исходили из незыблемости, вечности социализма и поэтому ограничивали себя неучастием в делах первого в мире социалистического государства. «Оставаться чистыми», «терпеть, мириться с тем, что есть», «не опускаться до соучастия в недостойных поступках, делах власти», «слушать, но не распространять исходящую от власти ложь» — таковы были элементы нравственного кодекса «инакомыслия в законе» (А. Гинзбург, — см.: Пресса в обществе 2000: 214).

Не берусь судить о реальных соотношениях «политиков» и «моралистов» в диссидентской среде, но скажу, что заметное преобладание людей с умеренной, а не радикальной позицией отличало среду профессиональных социологов вплоть до «пражской весны».

*Воспоминания В. Шляпентоха* помогут нам вернуться в те дни и оценить величину критического (протестного) потенциала социологии: «Когда я недавно выступал в Кембридже, меня спрашивали: “Вот вы говорите, что советская система спокойно существовала к 1985 году, никаких серьезных проблем у нее не было, — а как же диссиденты? Вы сами, доктор Шляпентох?” Какая чушь! Какой я диссидент? Уж я-то точно с советской системой не боролся. Даже такие люди, как Солженицын и Буковский, никакого особенного вреда принести ей не могли. Я уже не стал им говорить (это было бы слишком), что мы не только не воевали с системой — мы хотели ее модернизировать, усовершенствовать».

Как мы были непроницательны! Я хорошо помню: мы летели с Карпинским из Академгородка в Москву летом 1968 года... и рассуждали о чешских событиях. Все газеты писали тогда, что в Чехословакии хотят реставрации капитализма... А мы сидели с Леном и возмущались: “Какая чушь! Как можно восстановить частную собственность? Нам голову морочат. Это же невозможно...” Что значит мышление тех времен! Вот вам два неглупых человека — и что они думали летом 1968 года. Фантазия наша не работала никоим образом...» (Там же: 116–117). Прозрение в те дни наступало очень быстро. Несколько недель спустя, после того как советские танки вошли на территорию Чехословакии, Лен Карпинский стал одним из тех советских граждан, кто активно протестовал против оккупации дружественного государства и вскоре за это был отовсюду изгнан.

### **3.6. Общество и советская наука: мифы 1960-х гг. (резюме к третьему очерку)**

Я долго думал над тем, как подвести итог всему, о чем шла речь в этом очерке, и, невзирая на критику условий, в которых проходило восстановление в правах социологической науки, сознательно решил сделать общий тон заключения оптимистическим, что больше отвечало бы

общественным настроениям и иллюзиям Хрущёвской эпохи. Сложное прошедшее, о котором я пишу, не обошлось без социальных упований, надежд, романтики, прежде чем по воле исторических обстоятельств стало свидетельствовать зарождение диссидентского движения и приход времени разочарований. Эта сложность целиком отразилась на извилистом, нелегком пути социологии.

Мне показалось, что метафорические отрывки из публицистической «тамиздатовской» книги П. Вайля и А. Гениса «60-е. Мир советского человека»<sup>5</sup>, впервые изданной в России в 1996 г., в которой были обстоятельно проанализированы образ жизни, общественные умонастроения, стереотипы сознания и атмосфера этого времени, могут быть вписаны как документальный источник в историю советской социологии (см.: Вайль, Генис 1998: 100–106).

**(1)** «...После того как выяснилось, что слова лгут, больше доверия вызывали формулы...»

В глазах общества ученые обладали решающим достоинством — честностью. Она же — искренность, порядочность, правдолюбие. Эпоха делала все эти слова синонимами и вкладывала в них мировоззренческий смысл. Дважды два обязано равняться четырем вне зависимости от того, кто считает. После произвольного советского прошлого страна остро нуждалась в безотносительном настоящем. Таблица умножения обладала качествами абсолютной истины. Точные знания казались эквивалентом нравственной правды... Общество, постепенно освобождающееся от веры в непогрешимость партии и правительства, лихорадочно искало нового культа. Наука подходила по всем статьям. Она сочетала в себе объективность истины с непонятностью ее выражения... Наука казалась тем долгожданным рычагом, который перевернет советское общество и превратит его в утопию, построенную, естественно, на базе точных знаний. И осуществят вековую мечту не сомнительные партработники, а ученые, люди будущего (Там же: 100).

**(2)** «...Ученые стали не просто героями...»

Общественное мнение превратило их в аристократов духа. С толпой их связывали лишь человеческие слабости (твист). Наука становилась орденом, слившим цель со средством в единый творческий порыв. Царство науки казалось тем самым алюминиевым дворцом, в который звал Чернышевский. Счастливики, прописанные в этом дворце, жили уже при коммунизме, который они построили для себя — без крови, жертв и демагогии. Шутя.

---

<sup>5</sup> Приходится признать, что честь первой публикации этой замечательной книги на русском языке принадлежит издательству «Ардис» (Анн-Арбор, штат Мичиган, США, 1988).

«От каждого по способностям, каждому по потребностям», — вздыхали почтительные, но сторонние поклонники, видя в ученых новый тип личности — личность, освобожденную от корыстолюбия и страха, творческую, полноценную и гармоничную (твист). То есть именно такую, какой ее рисовал моральный кодекс строителя коммунизма (Там же: 102).

**(3)** «...Чтобы русский человек продолжал верить в коммунизм, он должен, прежде всего, верить в советскую науку...»<sup>6</sup>

И он верил. В экономику, которая создаст обещанное Хрущёвым изобилие, в кибернетику, которая покончит с бюрократией, в генетику, которая исправит дурную наследственность... Любопытно проследить эволюцию представлений о социальной функции науки в сочинениях братьев Стругацких, лучших и самых любимых советских фантастов. В их первой книге «Страна багровых туч» (1959) коммунистическое общество еще мало отличается от советской действительности 50-х. И вот, через пять лет, появилась другая книга Стругацких — «Понедельник начинается в субботу». В ней уже не осталось и следа туповатых ученых, дисциплинированно цитирующих «Правду будущего».

Новые герои Стругацких полностью соответствуют бородастым кумирам 60-х годов. Они погружаются в веселую кутерьму науки с пылом молодых энтузиастов. Никто из них не осмелится стать в позу, чтобы произнести монолог о величии своих дел. Поэтому за них это делают авторы: «Люди с большой буквы... Они были магами, потому что очень много знали... Каждый человек — маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться». Как ни наивно выглядят постулаты этой научной религии, они оказали огромное влияние на общественные идеалы 60-х (Там же: 103).

**(4)** «...Ученые видели в науке рычаг, партия увидела в ней средство шантажа...»

Облеченные доверием партии и народа, ученые не могли не чувствовать своей ответственности перед обществом. Для них — единственных в стране — наука была не мифом, а реальностью. Они видели в ней социальный рычаг и не имели права пренебрегать ее возможностями. Научная интеллигенция явочным порядком реализовала запретные для других конституционные свободы. Когда в 1966 году в ЦК было направлено письмо об опасности реабилитации Сталина, под ним стояли подписи крупнейших ученых страны — П. Капицы, Л. Арцимовича, М. Леонтовича, А. Сахарова, И. Тамма.

<...>

---

<sup>6</sup> Так заявил эмигрантский «Новый журнал» (Нью-Йорк, США), цитируя подборку энтузиастических писем советской молодежи, относящихся к середине 1960-х гг. (см.: Померанцев 1965: 147).



<...> Война, в которой одна сторона располагала логикой, а вторая — грубой силой, оказалась бесперспективной для противников. ...Гражданские тенденции советской науки искореняли вместе с наукой... <...> Жрецы, которым общество предписывало упиваться чистой наукой, не выдержали искушения и спустились на землю. Тогда в них увидели шарлатанов и побили камнями. Ничего нового, конечно, в этой истории нет (Вайль, Генис 1998: 104–105).

**(5)** «...Правда ушла в почву...»

Когда таблица умножения не справилась с коммунизмом, ее признали ошибочной. Недавних кумиров обозвали «образованщиной». <...> И все же увлечение научной религией не прошло даром. Слишком праздничным был дух свободного творческого труда. Храмы науки с их выставками нонконформистов, с песнями бородатых бардов, с невиданным раньше веселым обиходом превратились в музеи. Но именно в них выросла слегка самоуверенная ироничная элита. Научная религия потеряла своих адептов, общество разочаровалось еще в одном мифе, но привилегированное ученое сословие осталось. Осталось, чтобы лелеять свою привилегию: помнить, что дважды два — четыре (Там же: 105–106).

Точку в этом очерке позволит поставить еще один документ — *воспоминания эмигрантского литератора И. Шамира*.

Новосибирский Академгородок был удивительнейшим местом в 60-е годы, где было полно свободы, и борьбы, и белок, и любви к поэзии... Я попал в Городок из близлежащего Новосибирска в 1962 году. Расстояние между ними было 30 километров и сто световых лет. Анклав настоящего коммунистического светлого будущего, Городок, мечта братьев Стругацких и их поклонников... Технократия и кибернетика безумствовали в те годы. Народ был уверен, что ЭВМ превзойдут науку управления, а тогда станут ненужными толстозадые завкадрами, преды и секи. Надо было только найти алгоритм, запастись памятью и настроить машину на достижение всеобщего блага. Гос- и парткадры должны были смотреть на это с разинутыми ртами и почесывать в затылке, как мужик за сохой при виде работающего трактора.

При всем этом мысли высказывались самые вольные. Гордо говорили в Городке: две горячих точки на планете — Вьетнам и Городок. Самиздат циркулировал по Городку невозбранно и в массовых количествах... Естественно, всем хотелось смотреть в будущее в надежде славы и добра. Казалось, что сведенный с пути Сталина бронепоезд социализма снова окажется на рельсах и сейчас будет уже дуть вперед без остановки, вплоть до высадки на Марсе. Лозунг был «Свобода явочным порядком», то есть — будем свободными, тогда и будет свобода (Там же: 337).

# Очерк 4

## СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ И МОТИВАЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 4.1. Вступительное замечание

Советская социология 1950–1980-х гг., или, как ее тогда стыдливо называли во избежание конфронтации с истматом, «конкретные социальные исследования», возникла на волне хрущёвских реформ и имела своей официально провозглашенной функцией их информационное обеспечение на правах «верного помощника партии». Но даже в таком узком и подчиненном, подчас технократическом понимании социология несла в себе мощное социально-критическое начало. Ведь она предполагала изучение действительности, которое неизбежно (каким бы робким конформистом ни был сам исследователь — а среди первых советских социологов таковых было немного, и в большинстве своем это были смелые, мужественные люди) демонстрировало ложь и несостоятельность господствующей идеологии. И эту опасность безошибочно чувствовали партийные начальники.

Приведу несколько, на мой взгляд, небезынтересных сюжетов, касающихся социальной биографии этой науки, с помощью воспоминаний моих коллег (в значительной мере сверстников), тем более что они были свидетелями и участниками ее взлетов и падений (Российская социология шестидесятых 1999). «Деятельность ученого не ограничена сферой “чистого разума” и включает в себя сотрудничество и конфликты в социологическом сообществе, явные и неявные формы социальной стратификации, “презентации себя”, отношения патрона, брокера и клиента, иными словами, “быт науки”», — писал ответственный редактор книги «Российская социология...» (Там же: 4). Именно отсюда берет начало социальная биография науки, которую можно представить как историю среды, порождающей знание, историю интересов и судеб людей. Здесь не удастся увидеть механизм возникновения новых идей, но окажется возможным найти следы групповой борьбы, побед и поражений конкретных персонажей. Правда, персонализированная информация — оружие обоюдоострое: она может подкрепить официально документированные версии интересующих нас событий,

она же в состоянии придать тем же событиям совсем иной смысл и даже в реальности сместить их официальную иерархию. И все-таки положимся на авторов воспоминаний. Тексты, на которые я стану ссылаться, принадлежат поколению социологов, взявшему на себя определенную этическую и идейную миссию — восстановить в правах социологическое знание, попавшее под сталинские репрессии. Но тогда придется пойти на известный риск и «закрыть глаза» на проблему, связанную с профессиональной идентификацией авторов. «Мы все — самоучки в социологии» — так назвал одну из своих статей В. Ядов и на примере собственной студенческой, аспирантской и преподавательской биографии убедительно доказал этот тезис (Российская социология шестидесятых 1999: 42–43). В таких условиях ничего не остается делать, как считать социологом всякого, кто занимался социологией. И риск, связанный с защитой подобной позиции, будет оправданным. Здесь бросается в глаза высокая профессиональная мобильность социологов, объединенных кругом чтения, интересом к исследованию социальных проблем общества, поисками себя в новом научном сообществе и в старом обществе, верой в чудесные открытия, которые предстоит совершить, снимая покровы с жизни социума. Ведь, по выражению того же Г. Батыгина, социология выполняла функцию базовой метафоры, с помощью которой устанавливалась идентичность обособленной, хотя и *разнородной* группы гуманитарной интеллигенции (Там же: 10).

## 4.2. Плюрализм целей социологической деятельности

Оглядываясь назад, следует сказать, что было несколько социологий. Первая исследовала общество, опираясь на доктринальный сталинский марксизм, вторая стремилась к переоценке ценностей и пыталась развивать новые темы и исследовательские методы. Правда, это не всегда было противостоянием догмы и творчества, идеологии и науки. «Нередко левое и правое меняются местами, оказывается сомнительным и моральное преимущество, традиционно приписываемое жертвам режима» (Российская социология шестидесятых 1999: 11). Поэтому не станем исключать из числа социологов старую номенклатуру. Ряд ее представителей сыграли важную роль в возрождении науки<sup>1</sup>. Академик

---

<sup>1</sup> Роль старшего поколения советских обществоведов, академиков, занимавших ключевые позиции в системе социальных наук, приближенных к руководству КПСС и высшим звеньям партийного аппарата, подробно разбирается в книге «Социология и власть» (см.: Осипов, Москвичев 2008: Прилож. 3). Среди них были люди, осознававшие необходимость восстановления в правах полноценной социологической

А. Румянцев, первый директор ИКСИ АН СССР, был мощным прикрытием для молодых и в то время еще бесправных социологов. По мировоззрению это был сторонник правого социализма, который считал, что для социализма была нужна база, включавшая такие западные ценности, как плюрализм, дискуссионность, конституционность. Старожилы этого Института должны помнить, как на одном из рабочих совещаний он сказал примерно следующее: «Штука в том, что все формации возникали естественным образом, кроме одной». И тут же умолк, больше ничего не комментируя. Но Румянцев (в этом его трагедия) жил внутри своего идеального социализма, как он его выучил и воспринимал. Он не желал вообще выходить за пределы этой оболочки и знать, что есть какие-то омерзительные реальности аппарата.

Впоследствии, в 1970-е и 1980-е гг., академика Румянцева на посту сначала общественного, а затем и «штатного» правозащитника социологии заменил видный советский юрист В. Кудрявцев, член Президиума ССА едва ли не с момента ее основания. Заслуженно занимая высокие академические посты (директор Института государства и права АН СССР, член Президиума и вице-президент АН СССР), академик Кудрявцев надежно поддерживал социологическую науку в целом, научные коллективы и проекты, заботился о судьбах талантливых ученых, своим авторитетом защищал их от ретивых блюстителей «идеологической чистоты». Под его патронажем в стране началось развитие социологии девиантного поведения, изучение личности преступника. (В 2000 году В. Кудрявцев в соавторстве с А. Трусовым выпустил книгу «Политическая юстиция в СССР» (Кудрявцев, Трусов 2000). Ее главные темы — показательные процессы 1930-х гг. и ГУЛАГ с точки зрения правовых установлений сталинского времени, взвешенные и обоснованные подсчеты масштабов политических репрессий.)

Множественность целей социологической деятельности связана с вненаучными функциями социологического знания. Его коммуникативные ресурсы были рассчитаны на все общество в целом. Социология создавала картины мира и распространяла их по всей стране, пыталась разрабатывать проект переустройства социума. При этом она не властвовала над умами, но все же рационализировала и развертывала будущее посредством дозволенной критики настоящего.

---

дисциплины. Однако отношение к социологии определяли не они, а та часть академической элиты, которая срослась с властью и вела себя, сообразуясь с политической конъюнктурой. В целом «иерархи» и не думали сдавать независимую науку и не шли в своих «мечтаниях» дальше идеи конкретных социальных исследований на базе истмата. Понимание самостоятельной социологической теории было враждебно их мировоззрению.

Еще одна миссия социологической деятельности — десакрализация и деканонизация основных понятий общественных наук в первые годы после сталинской эры. Общество нуждалось в том, чтобы найти логические и исторические обоснования тому языку, с помощью которого оно пыталось описать динамику своего возможного прогресса. Что такое базис, надстройка, народные массы, их роль в истории, переход от социализма к коммунизму, социализм и личность, движущие силы развития социалистического общества? Что бы мы ни говорили об этом сейчас, но начавшийся после смерти Сталина процесс поиска ответов на эти вопросы знаменовал собой своеобразную революцию в идеологии и общественной жизни, попытку трансформировать советский «отредактированный» марксизм в эзотерический код, с помощью которого порождались альтернативные идеи и предлагались различные версии будущего. Первые социологические работы послесталинского времени реформировали не только содержание, но и стиль и язык науки, создавали новые социальные символы и стандарты (Российская социология шестидесятых 1999: 13).

В этот период возросли престиж и репутация науки. Существование лабораторий или секторов, где признавались только эксперименты и доказательства, давали шанс на этическое и социальное реформирование общества. В итоге новое поколение вошло в конфликт со старыми кадрами, однако решающим обстоятельством для проведения «демаркационной линии» был профессионализм. Негласный кодекс научной честности и порядочности стал методологической установкой против идеологического приспособленчества и мнимой партийности. Профессионализм давал новому поколению интеллектуальное и моральное превосходство, которое оставляло мало шансов «не читавшим Парсонса» на участие в полемике по существу дела. Одна из фраз социолога Б. Грушина, адресованная «той стороне», стала крылатой: «Вы не стоите. Вы лежите на позициях марксизма».

*Из воспоминаний В. Колбановского (Там же: 19–41). Объективными факторами, благоприятными для возрождения социологии, были отпочкование положительных наук от философии (социологии было тесно в философском лоне) и переход общества от тоталитаризма к загнивающему и разлагающемуся авторитаризму. Субъективным фактором 1 стала молодая генерация ученых смешанного состава, глубоко неудовлетворенных шаманским камланием марксистской ортодоксии и искавших серьезную основу для общественного знания. Субъективным фактором 2 было прагматическое желание философских бонз иметь международное признание и свои выходы на мировую арену (они начиная с 1955 г. стали выезжать на конгрессы МСА, создав с этой целью для легализации своей миссии в глазах мирового социологического сообщества ССА) (Там же: 23). Внутренний рост созданной в начале*

60-х гг. США привел к развитию социологии. Процесс становления науки вырвался из-под непосредственного и недреманного контроля партии и тесно связанной с ней академической верхушки.

Этот выход в космос напряженной интеллектуальной борьбы за «правильный социализм» (все были тогда во власти социальных иллюзий) для каждого активного участника процесса становления «настоящей социальной науки» сопровождался взаимодействием его индивидуального жизненного пути с эволюцией социума. Определяющими здесь были желание и воля приблизиться наконец к пластам человеческих проблем и тем самым приступить к изменению жизнеустройства. И хотя требовалось время, чтобы внутреннее ощущение в необходимости перемен переросло в убеждение, само это время не было длительным. Движение за возрождающуюся социологию набирало темпы и ширилось. Участие в нем стало, без преувеличения, судьбой для всех создателей новой науки — героев моей книги, начавших борьбу с постулатами наиболее реакционной части идеологов и стремившихся показать истинное положение дел в обществе.

*Из воспоминаний В. Шубкина (Там же: 64–81).* Вопреки утверждениям многих заинтересованных лиц о том, что партия «открыла вентиль социологии» после XX съезда, правильнее считать, что социология тогда возникла «снизу». Здесь целью станет не столько восстановление в правах научной дисциплины, сколько сопротивление системе, но с помощью научного знания. Отдавая должное феномену Солженицына, правозащитному движению, «самиздату», нельзя не признать, что возрождение социологии, этапы ее становления, начавшегося с «полуподпольного» периода, когда сам термин «социология» был запрещен или использовался в качестве синонима враждебной буржуазной «лженауки», однозначно свидетельствовали: «социология — одна из форм сопротивления тоталитаризму, господствующей марксистско-ленинской идеологии» (Там же: 70).

После XX съезда партии было трудно обрушиваться с репрессиями. Потому и началось, хотя и медленное, но неуклонное «восхождение на Голгофу» двумя отрядами — *апологетическим и социально-критическим*. Первый из них всегда игнорировал глубинные пласты реальных процессов и явлений, сохраняя приверженность догмам и схемам, освоенным в молодости. Второй много сделал для раскрытия картин общественной жизни, но с началом перестройки и демократической эйфории стал уделять усиленное внимание политической борьбе, зондажам общественного мнения, внешним «шумовым» эффектам нашей жизни. Представители второго отряда (тогда, в 60-е гг. — Б.Ф.) убеждали представителей первого в том, что социология должна быть зеркалом жизни и обратной связью. В ответ они могли услышать примерно следующее: «Я хорошо, комфортно себя чувствую, но являетесь вы со своим зерка-

лом, и я узнаю, что я не так обаятелен, глаза слезятся. Желтые клыки изо рта выпирают, кривой нос. На кой черт мне ваше социологическое зеркало?» (Российская социология шестидесятых 1999: 79).

### 4.3. Социологи и интеллектуальная среда

Откликаясь на социальные ожидания и запросы пробуждающегося социума и не встречая на своем пути особых препятствий, новая дисциплина стала быстро развиваться и сразу завоевала надежную общественную репутацию. Еще за несколько лет до «конституирования» ИКСИ АН СССР (который был создан в конце 1968 г.) она смогла реализовать *критическую* функцию — способность надежно диагностировать социальную жизнь и привлекать к своим выводам общественное внимание (Shlapentokh 1987: 79). Уже первые социологические данные показали, что, вопреки требованиям пропаганды, молодежь не стремилась вливаться в ряды рабочего класса и предпочитала профессии специалистов с высшим образованием; что коллективистские ценности в значительной мере подавлялись индивидуалистическими и материальными заботами; что люди не испытывали интереса к идеологической части содержания газет, радио и телевидения, будучи ориентированными на отдых, развлечения, на проблемы, близкие их повседневной жизни; что поведение людей не совпадало с ожиданиями властей. В итоге происходило опровержение доктрин, на которые опирались партия и государство.

Не менее важной в глазах общественности была и *практическая* функция — стремление социологов с помощью исследований изменить к лучшему разные стороны жизни социума (способствовать эффективному использованию рабочей силы, улучшить положение женщин-одиночек, укрепить семью, снизить уровень молодежной преступности и т. д.) (Ibid.: 80). Этот созидательный иллюзионизм и романтизм отражал их стремление с помощью исследований изменить к лучшему отдельные сферы социальной жизни, свидетельствовал о намерениях совершенствовать общество на базе собственных институтов, тоталитарных по своей форме (Российская социологическая традиция 1994: 53). Возможность полноценной реализации этих устремлений следует поставить в зависимость от качества интеллектуальной среды, в границах которой развивалось и функционировало социологическое сообщество.

*Из воспоминаний Ю. Левады* (Российская социология шестидесятых 1999: 82–94). У него всегда было ощущение, что газеты, школа, пропаганда врут, и делают это потому, что «так надо». Но кто-то и где-то должен знать подлинную правду. И этих людей, это место, как и правду, требовалось найти. Мировоззрение сформировали потрясения 1953–

1956 г. — XX съезд и связанные с ним надежды и неосуществленные ожидания. Не скоро понял, что подлинной правды, за которой он пришел в Москву, ни у кого нет (Там же: 83). В ИКСИ попал в отдел теории. ИКСИ того времени — учреждение странное: в казенных академических институтах служили, исполняли планы, а здесь что-то искали. Правда, *мотивы* деятельности были разными. Одних более всего занимали чины, хотелось пробиться в члены-корреспонденты АН СССР, а технология движения в академики была трудоемкой, при отсутствии серьезных научных заслуг требовалось «выслуживаться». Другие видели в Институте инкубатор для выращивания прогрессивных (партийно-либеральных, умеренных) концепций. Третьи, не веря в политический прогресс, рассчитывали только на то, чтобы развить в себе и в окружающих интерес к фундаментальному социальному знанию (Там же: 85). Правда, часть из них сомневались в том, стоит ли заниматься всякими зарубежными премудростями, которые даже самое либеральное начальство не поймет.

Как показывает анализ, все три группы опирались на соответствующие *практики*. Если для «третьих» главной формой существования в науке был семинар, то для «вторых» было характерно сочетание научной деятельности и ритуальных игр с партийно-государственным аппаратом (это не сервильность, но желание быть востребованным). Карьеристы («первые»), как водится, не брезговали ничем. Часто их отличала всеядность. Находясь у власти, они предпочитали нагонять страх с целью удержать в идеологической узде коллектив подчиненных им людей.

История любого академического учреждения хранит примеры «мини»- и «макси»-катастроф, или, выражаясь по-другому, — «проколов». Термин «прокол» получил права гражданства в середине 1960-х гг. Смысл его универсален, он охватывает все случаи наказуемой инициативы, творческого и научного риска и связанные с этим последствия. «Прокол» в уточненном смысле — синоним служебного нарушения, так сказать, посягательств на некий «ведомственный устав», с помощью которого (существуй он в реальности) можно было бы оценивать качество научной деятельности социологов. За «проколы» наказывали, расправлялись с «провинившимися». Поэтому они породили особую ведомственную философию существования «без проколов», ориентированную на спокойную жизнь без споров и риска, на служебное благополучие. «Беспрокольный» научный сотрудник имел больше шансов на продвижение, чем те, кто вступал в конфликт, отстаивая право на свободу мысли и поиска истины.

Все три группы имели *специфические реакции на «проколы»*. Первые в случае допущенной провинности были готовы к немедленному покаянию, если она чем-то угрожала их существованию. При этом, пытаясь выгородить себя, они, как правило, перелагали ответственность



на окружающих, виноватыми были другие люди, например подчиненные, коллеги-сотрудники из соседних подразделений, а собственная вина усматривалась разве что в недосмотре. Вторые писали индивидуальные объяснения, рассчитывая на благородство, воспитанность, сочувствие вышестоящего начальника-адресата. Часто в необходимых случаях они могли напомнить собственные заслуги, подчеркнуть лояльность, которая сама по себе была надежной гарантией невозможности сознательного нанесения ущерба «системе». Третьи обычно попадали в самую трудную ситуацию. Их нравственность была наиболее чувствительной к «температуре» окружающей социальной среды. Чаще всего они осознавали две вещи.

Во-первых, нельзя было не считаться с людьми, которые действительно могли пострадать вследствие расправы над «провинившимся»<sup>2</sup>.

Во-вторых, следовало учитывать, что цепная реакция в таких случаях чаще всего бывала многоступенчатой. Возникла серия взаимосвязанных и подогревающих друг друга событий, когда после обсуждения допущенной ошибки следовало «общественное» осуждение, за осуждением — приостановка публикаций, затем — пересмотр научных планов и в конечном итоге — принудительный перевод в иные научные подразделения, «ссылка». Кроме того, не пойдешь и против себя. Собственные реакции в итоге оказывались сдержанными, о чем часто по прошествии времени приходилось сожалеть. Наиболее типичная реакция — уход из коллектива. Уходили, как правило, в одиночестве, без учеников и коллег. Например, после длительной серии «обсуждений и осуждений» (1969–1971) за ошибки, якобы допущенные при чтении лекций по социологии, Ю. Левада проработал 16 лет «сам по себе», постоянно помня, что его вынужденный перевод на новое место не отменял настороженного отношения к нему. «Один институт из-за вас чуть не разогнали. Пожалуйста, осторожнее», — сказал ему академик Федоренко (Российская социология шестидесятых 1999: 88).

Положение «провинившегося», как правило, осложнялось тем, что время угнетающим образом меняло оценки допущенных просчетов, делало их зависящими от политической и идеологической конъюнктуры. Для убедительности напомню, что Левада имел «несчастье» в одной из

---

<sup>2</sup> Здесь не будет нескромным вспомнить случай, произошедший со мной. Мое увольнение с работы за допущенный «прокол» в 1984 г. привело к тому, что было закрыто направление актуальных исследований (изучение общественного мнения и массовой коммуникации). При этом мои бывшие подчиненные — сотрудники, не имевшие никакого отношения к моему «проколу» и не защищенные служебным положением, опытом, степенями, публикациями, наличием собственного имени в науке, — были отправлены на «каторгу» — в сектор социальных проблем регионального социального соревнования.

своих лекций по социологии сказать и написать при публикации курса в 1966 г., что личность сложна, а общество примитивно, что личность подвергается разного рода давлению — давят власть, массовое общество (толпа), рынок и *танки* (курсив мой. — Б.Ф.) (Там же: 86–87). Здесь танки были не более чем метафорой, но «инквизиторы», читая текст в 1969 г., увидели в этом сознательно скрытый автором «подтекст». Теперь эти лекции ассоциировались с той горсткой диссидентов, которые вышли в августе 1968 г. на Красную площадь, требуя остановить оккупацию Чехословакии и вывести советские танки с территории этой страны.

Однако парадокс состоит в том, что периоды вынужденных ссылок в итоге бывали полезными для саморазвития. Будучи изгнанным из «социологического рая», Левада ушел с головой в теоретическую социологию, стал изучать Вебера, Дюркгейма, Парсонса с какой-то примесью культурологии, иногда семиотики, в основном нашей (Там же: 90). «Сосланный» Ядов написал две книги. Ссылки избежала Г. Андреева, но лишь потому, что сознательно ушла в социальную психологию, отказавшись от заведования кафедрой прикладной социологии.

Особо следует сказать о таком нелегком пути, как вынужденная эмиграция. Те немногие, кто, против собственной воли, собирався уезжать, произносили прощальные доклады на заседаниях семинара Левады (отсюда появилось и специфическое выражение: «Такой-то записался в докладчики»). Левада определил свой семинар как полуофициальную разновидность интеллектуального общения (больше клубного, чем лабораторного свойства) в период старения общественно-политической системы, либеральных надежд, первых попыток прямого сопротивления, разложения официальной общественной науки. Вне всякого сомнения, его можно было назвать феноменом протоперестроечной деятельности (Там же: 92). Как только несколько коллег Левады перешли вместе с ним во ВЦИОМ — попытки возродить семинар потерпели неудачу. Семинарская жизнь, расцветавшая в «полутьме» со всеми ее атрибутами (полудозволенность, полузапретность), утратила смысл в условиях открытости, когда стало возможным работать «на свету» (Там же: 93).

#### **4.4. Шесть типических моделей отношений социологов с властью**

Рисуя картины желанного мира, социология, являясь в каком-то смысле моральной и идеологической инстанцией, была вынуждена подчиняться партийно-политической власти. Это делало ее положение амбивалентным. Поэтому социологи создавали средства для *«не возмущающего власть противостояния»*. Одно из них — своя иерархия

внутри науки, где статус заменялся особой ролью первичных групп, а неформальный авторитет замещал должности и звания (до определенного времени). Большое значение придавалось языку правды, опирающемуся на подтекст. «Стремление к переоценке ценностей востребовало умение до времени не говорить и не писать лишнего не только из опасения перед возможными служебными неприятностями, но прежде всего из-за невозможности противостоять лжи в рамках существующего языка обществоведения. То, что написано, и то, что автор имел в виду, существенно различалось» (Российская социология шестидесятых 1999: 15). Так возникала речь, непроницаемая для внешнего контроля, но внутренне необычайно сложная и семантически стратифицированная. Язык ученых советов и партийных собраний сосуществовал наряду с этой эзотерической речью, умение пользоваться которой означало быть признанным «своим» в профессиональной среде.

Подчеркну, что такого рода механизмы являлись частным случаем, лучше сказать — рационализацией бессознательных защитных механизмов, с помощью которых в сталинское время и в первые годы после него демонстрировалась идеологическая лояльность и тем самым снижалась опасность всякого рода преследований.

*Из воспоминаний И. Кона* (Там же: 110–131). Почти в каждом из нас жил внушенный с детства страх. И даже в тех случаях, когда никто из близких не был репрессирован, устрашающие кампании против «врачей-убийц», «вейсманистов–морганистов», «безродных космополитов» или политические процессы типа так называемого ленинградского дела оставляли неизгладимый след в душах. Ведь «когда у тебя на глазах избивают других, чувствуешь, прежде всего, собственную незащищенность, страх, что это может случиться с тобой» (Там же: 112). Еще один механизм — описанное Джорджем Оруэллом двоемыслие, когда человек может иметь по одному и тому же вопросу два противоположных, но одинаково искренних мнения. Двоемыслие — предельный случай отчуждения личности, разорванности ее официальной и частной жизни. В какой-то степени оно было необходимым условием выживания. Тот, кто жил целиком в мире официальных лозунгов и формул, был обречен на конфликт с системой. Рано или поздно он должен был столкнуться с тем, что реальная жизнь протекает вовсе не по законам социалистического равенства и что мало кто принимает их всерьез. А тот, кто понимал, что сами эти принципы ложны, был обречен на молчание или сознательное лицемерие. Последовательных циников на свете не так уж много, и они редко бывают счастливы.

Большинство людей бессознательно принимали в таких случаях стратегию двоемыслия, вследствие чего их подлинное «Я» открывалось даже им самим только в критических, конфликтных ситуациях. В ординарном случае люди постепенно умнели, приобретали устойчивый навык выражать наиболее крамольные мысли между строк, эзо-

повым языком, как правило, не вступая на путь прямой конфронтации с системой. «Читатели 60–70-х гг. этот язык отлично понимали, его расшифровка даже доставляла всем нам некоторое эстетическое удовольствие и чувство “посвященности”, принадлежности к особому кругу. Но при этом мысль неизбежно деформировалась. Мало того, ее можно было истолковывать по-разному. Если долго живешь по формуле “два пишем, три в уме”, в конце концов сам забываешь, что у тебя “в уме”, и уже не можешь ответить на прямой вопрос не из страха, а от незнания» (Там же: 113). Поэтому такой психологически трудной оказалась для многих из нас желанная гласность. Людям, выросшим в атмосфере двоемыслия и «новооза», тяжело переходить на нормальную человеческую речь.

Двойственность положения социологов, о которой рассказывает И. Кон, восходила к более общим правилам социальной жизни советского общества — отношениям профессиональных элит и власти. Наиболее четко проблему амбивалентности социальных ролей интеллигенции поставил российский историк М. Гефтер. Он прозорливо заметил, что интеллигенция была и продолжает оставаться до сего времени *ресурсом гонимых и резервом гонителей* (Гефтер 1995: 87–88). Хотя в обыденном сознании те же отношения, скорее всего, выражались в терминах *защиты от власти* или, напротив, *защиты (поддержки) власти*. Опираясь на это высказывание, хочу предложить несколько моделей политических позиций и профессионального поведения, характерных для советских социологов в послеоттепельную пору, ближе к концу 1960–началу 1970-х гг. (Фирсов 1996а; Firsov 1997: 133–148).

Однако прежде сделаю одно предварительное замечание. В предыдущем очерке речь шла об умеренно-либеральных реформаторских настроениях и намерениях, которые возникли в конце 1950-х гг. и вскоре были с энтузиазмом поддержаны едва ли не всеми слоями советского общества, включая властвующую партийно-государственную элиту. Эти настроения и намерения стали знаменем того поколения, которое вошло в историю советского общества под именем «шестидесятники». Термин «поколение» поможет наиболее адекватно представить выдающуюся социальную роль людей, которых мы отождествляем с «шестидесятиничеством». В историко-культурных исследованиях этот термин чаще всего наделяется символическим смыслом, характеризуя современников и участников важных исторических событий, людей с общими ориентациями (если исходить из толкования «Большого энциклопедического словаря») и/или с общим социально-культурным опытом, пережитым в решающий период жизни (если опираться на работы К. Мангейма). Этот общий опыт «шестидесятников», как свидетельствует история социологической науки, помог «раскачать» страну, пробудить в ней витальные силы, стать своеобразной прелюдией к радикальным рестроечным переменам.

Противоречие между *высокой идейной мотивацией и суровой реальностью загнивающего авторитаризма* — суть жизненного конфликта «шестидесятников». Это делало личную судьбу многих из них безнадежной в условиях застывшего в своем развитии общества. Однако появление этого поколения было исторически неизбежно: его преисполненная оптимизма и героического энтузиазма работа «по своей сути является революционной и “подрывной”, она составная часть духовной революции» (Российская социологическая традиция 1994: 52).

Подчеркну необходимость выделения разных периодов социального времени, отпущенного советской историей «шестидесятникам». В рамках общей концепции книги (акцент на взаимоотношениях интеллектуалов и власти) полезно выделить продуктивные периоды, когда общие социальные и политические условия содействовали развитию общегражданской активности и успеху деятельности «шестидесятников», и контрпродуктивные периоды, когда названные условия сдерживали эту активность, сводя усилия «шестидесятников» на нет. В последнем случае имели место дифференциация, расслоение, казалось, монолитного по своей структуре поколения на отдельные группы в зависимости от степени доверия к власти и готовности сотрудничать с нею. Рассмотрим картину этого расслоения более подробно.

### **Модель 1. Индивидуальное существование в нише профессиональной деятельности**

Некоторый запас жизненного оптимизма позволял не страдать в условиях советского режима. Определенным гарантом своеобразной «защищенности» и относительной свободы выступали беспартийность и/или отстранение от сферы непосредственных партийных интересов. Чаще всего это связывалось с возможностью заниматься «чистой» наукой. Другой вариант «разрешенной» свободы — преподавание в вузе (в этом случае политическая свобода отсутствовала, но была свобода распоряжения временем). Таким образом, стратегия сосуществования с режимом состояла в поисках ниши. Умело найденная ниша обеспечивала возможность не вступать в конфликты с действительностью и властями (быть гонимым нелегко) и избегать тесного сотрудничества с ними (не каждый был готов принять на себя роль гонителя).

Прибегну к свидетельствам И. Голосенко, который вскоре после окончания философского факультета Ленинградского университета в 1964 г. волей судьбы стал одним из основоположников «преподавательской социологии»<sup>3</sup> (Голосенко 1997).

---

<sup>3</sup> Термин принадлежит М. Пугачевой и использован мной по ее рекомендации. Обозначаемый им пласт социологической деятельности до последнего времени не

После Пражской весны ситуация в стране стала меняться и Голосенко окончательно ушел в историю социальных наук. Он не захотел заниматься окружающим его миром, испытывая к нему какое-то отчуждение, тем более что на административном уровне и во взаимоотношениях с партийными чиновниками все ему казалось каким-то зыбким. А вот история — закрытая система, ею можно заниматься, да и источников много. Голосенко себя дисциплинировал единственно тем, что читал современную западную литературу. Так, он прежде выяснил, что пишут о проституции американцы, а потом уже стал изучать историю вопроса у нас; прочитал несколько западных работ о бедности, а потом написал о наших нищих. Надо сказать, что он знал многих людей, которые традиционно преподавали истмат, испытали разочарование оттого, что реальность и слово не совпадали, и стали искать что-то новое. И как раз в 60-е годы, когда замелькало словечко «социология», они стали, имитируя курс старого истмата, а потом и научного коммунизма, писать на чисто социологические темы.

Аудитория той поры была, конечно, разная, но студенческую он старался как-то баловать новыми идеями. Скажем, читал он курс «Научный коммунизм» (его ввели как антипод конкретным социологическим исследованиям). Ну и что? Ну, ввели. Но он почти две трети курса читал утопизм. Несколько лекций о Томасе Море студенты сидели развесив уши.

Голосенко знал всех ленинградских социологов, но не участвовал ни в каких политических баталиях. Социологи жили везде плохо со своими начальниками и ругались даже между собой. В их коллективные игры он не играл («Я — одиночка!»). Что касается добрых человеческих отношений, то они были всегда, хотя не распространялись дальше разговоров о погоде, рыбалке, двух-трех рюмок водки... С симпатией относился к Ядову, поэтому по-человечески всегда был на его стороне. Когда «выдавливали» Кона или Фирсова, конечно, был на их стороне, но подробности подобных дел были ему не интересны. Он считал, что шансы выжить у социологии незначительные, и если он занимается тем, чем никто не занимается, то это спасение и для него самого, и, может, кому-то потом пригодится. А выступать на всех этих партсобраниях, заниматься переливом грязи с одного человека на другого — зачем? Голосенко сознательно уходил от этого.

Круг его друзей — это преподаватели разных вузов. В 1960–1970-е годы многие философы ударились в философию естествознания. Так, один его приятель, блестящий профессор Бармин, специально получил второе высшее образование — математическое, чтобы разговаривать с естественниками на строгом, методологически выдержанном языке. Он занимался философией физики, посетил множество лекций

---

получил отражения в работах по истории советской социологии. Пользуюсь случаем поблагодарить М. Пугачеву за этот и другие полезные советы, которые она неоднократно высказывала в процессе моей работы над книгой.

на физическом факультете и даже читал там потом с большим успехом лекции. Физики держались тогда снобами, и он ломал этот лед. Вот многие такие ребята, которые занимались подобными вещами, были с ним в контакте.

Аполитичность или выработанная с годами склонность к ней очень помогли формированию защитных механизмов, суть которых заключалась в избегании погружения в реальность в процессе преподавательской или научной деятельности. Люди с подобными установками оставались стопроцентными продуктами советской системы. Но их жизнь проходила без травм и сломов, в отстраненном профессиональном мировоззрении. Бегство от реальности спасало: оно служило почвой для «нетрагического варианта фатализма».

### **Модель 2. Дистанцирование от власти**

Здесь кристаллизовавшиеся политические ориентации можно свести к одной формуле: держаться как можно дальше от руководящих инстанций любого рода. Обожание Сталина в детстве прошло, вместо него возникло понимание сути режима. Однако сил, чтобы пойти на диссидентские поступки и вынести наказание тюрьмой или лагерем, не было (притом, что внутреннее сочувствие диссидентам не вызывало колебаний). При определенных обстоятельствах такие люди — будь то ученые, писатели или представители технической интеллигенции — находили способ поддержать диссидентов: шли в зал суда, чтобы присутствовать на судебном процессе, подписывали письма в их защиту, писали письма в зону. Точное определение подобному виду солидарности с «гонимыми» можно назвать душевной гигиеной. В итоге постепенно возникла внутренняя оппозиция с полюсами: диссидентство на одном краю и принудительное примирение с властью — на другом.

*Из воспоминаний Ю. Давыдова* (Российская социология шестидесятых 1999: 382–402). Его первое увлечение Плехановым было ревизионистским. В итоге чтения возникло ощущение неразумности советской действительности без возможности найти выход. Заниматься Гегелем в Саратове того времени было делом запретным. Он казался похожим на еврея и был подозрительным из-за черных глаз (так думало начальство о своем народе). Но Гегеля все-таки «разгрыз», хотя чистилище работало всюду. В это время Э. Ильенков перевел для себя главную книгу Оруэлла «1984», вложив в перевод весь опыт общения с философскими инстанциями. «"Оттепельное сознание" было беременно социологией. Но не марксистской, классово-партийной, а гуманистически ориентированной» (Там же: 389). Поэтому в 1968 г. Давыдов подписал письмо в защиту диссидентов Гинзбурга и Галанскова. За это он

получил выговор и еще, «в подарок», — инструктора ЦК КПСС Квасова в качестве личного цензора всех своих публикаций. «Поручил ли ему кто это дело или то была его личная инициатива — не знаю. Но все мои работы проходили теперь через него. Пока он их не завизирует — нечего было и пытаться их печатать. Но сперва, до передачи Квасову, директор читал их сам: боялся и читал, вернее, пытался читать почти все, к чему я имел прикосновение» (Там же: 401). Теперь Давыдов был уже готов к «выдавливанию» из Института — ведь на нем висел партийный выговор с формулировкой, за которую при Сталине ставили к стенке. Однако он не представлял себе, кто бы мог рискнуть взять к себе такого отщепенца. Но к счастью, в это время уже существовал ИКСИ, куда могли взять на работу «подписанта».

### **Модель 3. Коллективная иммунная защита от власти на основе «игр по правилам»**

В этом случае не было открытого протеста или борьбы, но существовало скрытое сопротивление попыткам идеологизации науки, профессиональной деятельности. Поведение внутри замкнутого круга профессионалов не совпадало с официальным внешним поведением. Это давалось нелегко, требовало определенной способности к «мимикрии», к колебаниям вместе с линией партии. Но выигрыш был очевиден — сохранялась профессиональная среда. «Правила игр» включали в себя определенную интеграцию с системой и вынужденно-примирительное отношение к некоторым нелегитимным действиям и запретам со стороны власти (например, часть интеллигентов еврейской национальности не стремились к оформлению документов для выезда за границу в известной мере из-за того, что боялись быть не выпущенными и стать «мечеными атомами» — «отказниками»).

Собственно профессиональная деятельность в подобных условиях опиралась на правила безопасности. Одно из них состояло в поиске нейтральных или общественно одобряемых (часто конъюнктурных) тем. Если историк искал темы исследований, не возбуждавшие повышенного общественного или официального внимания, то социолог занимался критикой буржуазной науки, поскольку без критики трудно было сообщить читателю некий объем положительного знания. Еще одно правило состояло в том, чтобы, вопреки собственным убеждениям, не выходить за «красные флажки» цензурных или идеологических запретов. В целом здесь наблюдалось ироническое отношение к руководителям партии и государства. Вся советская система воспринималась как исторически несостоятельная. Однако люди, стоявшие на таких позициях, были весьма сдержанны в открытых высказываниях, часто рекомендуя окружающим рассматривать советскую действительность как некую данность, не подлежащую изменениям.



Ссылка на *воспоминания И. Кона* поможет понять индивидуализированный вариант той же модели (Российская социология шестидесятых 1999: 111–114).

Сначала инстинктивно, а потом сознательно он избегал откровенно конъюнктурных тем, предпочитая сюжеты, которые были в меньшей степени подвержены идеологическому контролю. Его интересовали более всего теоретические вопросы, хотя философские работы без ссылок на партийные документы были в те времена немыслимы. Став старше, он научился сводить обязательные «ритуальные приседания» к минимуму. Впрочем, внешняя, косметическая чистоплотность отнюдь не избавляла от интеллектуальных или нравственных компромиссов. Собственно говоря, они не были даже компромиссами, потому что самоцензура действовала автоматически и была эффективнее цензуры внешней. «Коллективизм–конформизм и ранняя идеологическая индоктринация, — писал И. Кон, — развращали нас с детства, официальные нормы и стиль поведения воспринимались как нечто естественное, единственно возможное, интеллектуальные сомнения и нравственная рефлексия приходили, если приходили, много времени спустя... Действительно свободными становились только те, кто полностью, хотя бы внутренне, порывал с системой, начиная жить по другой системе ценностей... Но таких было немного» (Там же: 113–114).

**Модель 4. Социальный конструктивизм**  
*в сочетании с критическим отношением к институтам*  
*партийно-государственной власти*

Эта модель может быть соотнесена с ядром мировоззрения «шестидесятников». Она возвращает к периоду начала «оттепели», когда в ту пору молодые советские интеллектуалы (социологи, в частности) исполнились благих надежд и бросились к власти в энтузиастическом порыве. Тогда многим из них казалось, что пришел конец тягостному и затянувшемуся ожиданию перемен. «Может быть, это наша власть, и мы ее поддержим, а она — нас», — говорила в одном из интервью со мной петербургская писательница Н. Катерли. Но надежды не сбылись. Власть посмотрела, понюхала, постучала каблуком о трибуну Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и вскоре окончательно и бесповоротно отвергла тех, кто было ей поверил.

Правда, отношение к власти изменилось не сразу. Какое-то время, пока не погасло пламя надежды, по стране прокатывались волны общественных требований перемен к лучшему. Социальный конструктивизм был их прямым следствием. В рамках принятой в книге концепции М. Гефтера об амбивалентности социальных ролей интеллигенции такая позиция была одним из возможных вариантов политического

и профессионального поведения: вплоть до начала горбачёвского периода здесь доминировали, с одной стороны, осуждение социального порядка в стране (в рамках дозволенного идеологией и цензурой), а с другой — высокий активизм и даже (в начале 60-х гг.) мессианство. Именно здесь кроются корни той гигантской работы по составлению записок, адресованных «верхам» и пронизанных чистосердечным стремлением сказать всю правду и добиться изменений. Другое дело, что адресатами этих обращений были «слепые вожди слепых», для которых социология была не больше чем модой.

*Из воспоминаний Л. Карпинского* (Там же: 190–204). Особый тип «шестидесятника», по его мнению, представлял Ф. Бурлацкий. Он выступал в роли научного работника (думного дьяка), который делает документы — нечто среднее между ссылками на социологические данные и пониманием стереотипов мышления аппарата и руководителей ЦК КПСС (Там же: 201). Жанр научного творчества специфический: под-сказки, как надо управлять страной, не задевающие достоинства высокопоставленных читателей, которые доверяют пишущему и потому соглашаются эти подсказки читать.

Однако более точным приближением к истинному образу «шестидесятника» является сам Лен Карпинский. Свободный импровизатор, публицист, философ с диссидентскими наклонностями и одновременно — социолог-дилетант, прочитавший «с карандашом» едва ли не всего Маркса, обучившийся марксизму и веривший в его абсолютную правоту, но почувствовавший, что не по Марксу выстраивалась советская действительность. Среди «шестидесятников» были такие, кого отличало полное отрицание сталинизма, а то и ненависть к нему. Однако другие, и их было большинство, воспринимали сталинизм как искривление, отход от «правильного» социализма. Лен Карпинский входил в число «других», чья позиция часто состояла в том, чтобы вразумить власть имущих, объяснить им, как следует строить политику и решать проблемы жизни и развития страны.

*Из воспоминаний А. Здравомыслова* (Там же: 156–174). XX съезд партии стал для него, как и для многих людей его поколения, очень крупным событием. Он не мог сказать о себе, как это сделал в свое время философ Мераб Мамардашвили, что, будучи давним антисталинистом, все это знал, предвидел, чувствовал заранее. Но именно после съезда партии возникло критическое отношение к действительности и стремление эту действительность самостоятельно понять: что необходимо? что случайно? где справедливость? где идеалы? Занимаясь изучением бюджетов времени рабочих, познакомился на одном из заводов с В. Шейнисом (будущим депутатом Государственной Думы РФ. — Б.Ф.), который был

сослан на Кировский завод для исправления как «неправильно мыслящий» студент, но сразу завоевал там авторитет как лекальщик высокой квалификации. Здравомыслов смог (уже тогда) увидеть «фасад» и внутреннюю жизнь рабочего коллектива. (Там впервые один из рабочих его спросил: «Вы задаете вопросы, записываете, а куда эти данные пойдут, вы сотрудничаете с госбезопасностью?») На следующем витке своей научной деятельности Здравомыслов выступил как соавтор одной из самых известных советских социологических книг «Человек и его работа», в которой было показано, что коммунистическое отношение к труду — явление, имеющее сугубо идеологическую основу, в то время как сложившееся в обществе отношение к труду развивается по законам реальной жизни.

Более мягкий вариант преодоления влияния режима помогают понять *воспоминания Л. Гордона* (Российская социология шестидесятых 1999: 371–381).

Живя на окраине Москвы, он презирал богатство и то, что считалось буржуазностью; был носителем советской гордости, твердо верил в ценности социализма. Рано увлекся историей. Правда, даже в последние годы своей жизни для него оставалось загадкой, каким образом еще в юности он попал под влияние марксистской тяги представлять мир в социально упорядоченном виде. Это не помешало понять, что занятия советской историей налагают определенные ограничения, «что здесь много вранья» (Там же: 373). Правда, это было, скорее всего, подсознательное ощущение. «Такова, мне кажется, психология довольно широких групп людей, живущих в условиях тоталитарного режима, — психология некого отстранения. Я знал, что могут посадить ни за что (среди родственников и друзей были такие люди, я вместе со взрослыми возил передачи в лагеря под Владимиром). Никто из людей моего круга никогда не думал, что Бухарин — шпион или что-нибудь в этом роде. Но то была одна сторона души. А рядом сосуществовало совершенно нелогичное ощущение: советская власть в главном права, она не ошибается. Вот такая двойственность сознания, «ненормальная нормальность». Не случайно при шизофрении психика прячется, задраиваются переборки, как на подводной лодке, чтобы она не потонула» (Там же: 373–374).

Ситуацию удалось преодолеть благодаря более широкому взгляду на мир. Став социологом, он отказался от всякой макросоциетальной схематики, пытаясь ощутить непосредственно микроткань общественного бытия. Сознательно приземленные экспериментаторские работы (например, выяснение социальных последствий перехода на пятидневную рабочую неделю) позволили ему объехать целый ряд промышленных центров, провести обследования на предприятиях. Это были его «новые университеты», где он, человек, который и раньше более или менее представлял себе советское общество, приобрел совсем иные, не спекулятивные знания.

Добавлю от себя, что технология переубеждения и «перевоспитания» власти, так, как ее понимал Л. Гордон, состояла в движении от тщательного описания реалий к их серьезному осмыслению и пониманию. Веря в людей неизмеримо больше, чем власть, он пытался «достучаться» до «верхов», предлагая им сущую правду и ничего, кроме нее.

Оставаясь относительно монолитными по своему настроению, социальные конструктивисты впоследствии, к началу перестройки (иные несколько раньше), распались на три части. Первые окончательно освободились от утопических иллюзий и стали на сторону демократических ценностей, вторые превратились в усталых прагматиков-профессионалов, третьи поменяли демократическую систему убеждений, придя к приоритету ценностей групповых, корпоративных, имперских или великодержавных над общечеловеческими и общедемократическими. Однако в целом судьба всех этих людей была общей судьбой поколения «шестидесятников».

Две следующие модели позволяют представить поведение социологов на поле «защиты власти».

### **Модель 5. Активное сотрудничество с органами власти**

Уже упоминалось, что на ренессанс социологии повлияло настроение молодых интеллектуалов, искавших серьезную основу для общественного знания. Во-первых, они являлись сторонниками демократизации общества, расширения политических свобод и *верили* в социологию как в средство раскрепощения социума, позволяющее понять реальные настроения людей, узнать их мнения и показать власти, которая высокомерно настаивала на знании реальных потребностей населения, истинное положение вещей. Во-вторых, они считали социологию средством, с помощью которого можно было бы подчеркнуть важность человека и человеческого фактора. И наконец, в-третьих, социология открывала путь к принятию решений с опорой на научные данные.

*Из воспоминаний В. Колбановского.* Для того чтобы достичь поставленных целей, упомянутой выше группе новаторов приходилось действовать, применяясь к правилам системы, пуская в ход все дозволенные и недозволенные приемы, чтобы уцелеть в борьбе и спасти свое детище. <...> Таким был, например, Г. Осипов (первый руководитель отдела изучения новых форм труда и быта Института философии АН СССР) (Там же: 26). Это о нем вельможный Францев, волею партии назначенный «быть избранным» первым президентом ССА, сказал: «Умень... хитер... ему бы еще ногу переломать — совсем бы Талейран был!» (Там же: 41).

Имея хорошее образование и обладая высокой работоспособностью, Осипов всегда ощущал дефицит самореализации. В 1965 году ему удалось поставить вопрос о самостоятельности социологической науки. В качестве одного из ее главных организаторов он заметно выделялся на фоне других наличием собственных интересов, мотивов и устремлений. Они состояли в том, чтобы не только создать новую дисциплину, полезную государству и народу, но и закрепить за собой лидерство в этой науке. Отсюда особый синдром свойств осиповской личности: настойчивость в достижении намеченных целей, прагматизм, едва ли не идеальное понимание поведения «заказчика», действий власти, свой тип «мимикрии», адаптации к властным структурам и их запросам, бюрократическая изощренность в том, что касалось выбора средств для достижения поставленных целей, опора на административный ресурс.

*Из воспоминаний Г. Осипова.* Институт, конечно, никогда бы не возник, если бы у тогдашней партократии не наличествовал собственный интерес: требовалось, прежде всего, взять под партийный контроль нарождающееся социологическое движение. Открыто вмешиваться в дела ученых было сложно, а институциональные формы облегчали решение этой задачи. Кроме того, у партийных лидеров были надежды использовать социологию для подкрепления фактами курса партии, решений съездов, также для обоснования лозунгов, которые выдвигались и сочинялись в ЦК. К примеру, если выступал Брежнев и говорил: «Превратим Москву в образцовый коммунистический город!», то аппарат предлагал обосновать этот тезис в числе десятков подобных (Российская социология шестидесятых 1999: 101–102).

Социологи (употребляя слово «социологи», Осипов пишет фактически о себе. — Б.Ф.) были вынуждены в значительной степени приспособляться, чтобы сохранить свое «Я» и свою науку. Однако они же впервые подняли вопрос о том, что критерием прогрессивности общества являются положение человека, его права и свободы. Они не выступали против властных структур, против строя, но несли новые оценки деятельности власть имущих, говорили о реформировании общества и переходе к новым, научным формам управления (Там же: 109).

«Стенобитными таранами» назвал людей, подобных Осипову, В. Колбановский, заметив далее, что они не только взламывали «фортеции партийно-государственной догматики», но весьма часто, пытаясь приспособить социологию под эту догматику, перенимали методы и нравы у собственных оппонентов и противников-«кураторов», парткопратов прежде всего (Там же: 26).

Одним из таких опасных заимствований было гипертрофированное властолюбие. Именно оно, как мне кажется, стало источником «самых кричащих противоречий в отношении и к науке, и к коллегам, и к товарищам. Это постоянно обнаруживалось в конкретных

ситуациях, заставляя людей разочаровываться в Осипове и отходить от него» (Там же: 27)<sup>4</sup>.

Тип социолога, игравшего «на поле власти», помогают представить *воспоминания Л. Когана* (Там же: 280–300).

Таковым, по его мнению, был М. Иовчук в бытность его руководителем кафедры философии Уральского госуниверситета. Основными чертами этого человека были убежденность в прозорливости и мудрости ЦК; талант внутреннего редактора, глушащий его собственные созидательные порывы, в силу чего все его качества как ученого и достоинства всех его публикаций оказывались ниже его творческих потенций; память, сохраняющая последнюю фразу указания; бешеная работоспособность; постоянное и глубокое переживание колебаний внутри себя; антиномия «хотелось бы» и «надо» с побеждающей силой последнего; придирчивость редактора, про которого говорили, что «если Иовчук начнет редактировать Библию, то получится Коран»; конъюнктурность (но если это свойство приходило в конфликт с порядочностью, то верх брала порядочность); невероятная интуиция. «Не торопитесь!» — сказал он аспиранту, предложившему уже через несколько дней после смерти Сталина, когда на улицах еще не снимали траурные флаги, написать статью о роли личной инициативы Сталина в развитии советского общества.

Приехав из Москвы в 1949 г., Иовчук долгое время сохранял московский режим, например, предлагал аспирантам являться в 3 часа 30 минут ночи (Там же: 283). Тогда же инициировал проведение социологических исследований рабочих Урала. Первый блин получился комом. Социологические данные ошеломили. Их передали в спецотдел, поскольку получалось, что чем ниже образование группы рабочих, тем меньшая доля в ней учится. И это вопреки желанию партии видеть рабочий класс просвещенным! Обескураживающие таблицы заменили беседами с новаторами, «гвардией Уралмаша». Но здесь подстерегала другая беда: на первый план назойливо выдвигали себя «профессиональные передовики» — лица, жившие на ренту со своего привилегированного положения на предприятии (Там же: 286). В свет вышло «заказное» произведение, которого и в наше время стыдились авторы, называя его «социологическим монстром».

Но случалось и так, что социологи с низким профессиональным уровнем получали более престижные должности и закреплялись на более выгодных научных позициях. Данный факт нельзя приписать наличию

<sup>4</sup> Отсюда становятся понятными недавние рейдерские (иначе не назовешь) попытки теперь уже академика РАН Г. Осипова, директора ИСПИ РАН, с помощью бутафорского образования — Социологическая ассоциация России (Академическая) — поставить под собственный контроль развитие социологической науки как целостного института и социологическое сообщество страны, монополизировать право выступать от имени всех российских социологов (Ядов 2011: 8).

(отсутствию) университетского образования. Истинная причина неправильной селекции — кадровая политика партийных руководителей, в силу которой политическая сервильность (угодливость) ценилась выше профессиональной компетентности. Правда, к этому пришли не сразу. В начале 1960-х гг. образовательный потенциал перевешивал по важности политическое доверие. В 1970-х годах все изменилось. Социолог должен был выбирать между двумя типами карьеры — оставаться незаметным «профи» без претензий на карьеру или ревностным служителем идеологии, перед которым открывался путь к служебному продвижению. Возможность комбинировать две роли — быть политически лояльным и профессионально компетентным — существовала лишь теоретически.

Как итог — профессионализм первых когорт к 70-м гг. улетучился. К тому же и «заказчик», в случае если он поручал работу политически преданным ему специалистам, особых требований к стандарту работы не предъявлял и был всеядным. Более того, ученые, которые добивались соблюдения высоких стандартов, часто в обыденном сознании рассматривались как великомученики (ибо слишком большие усилия затрачивались ими для того, чтобы оградить себя от всякого вмешательства извне). Отсюда и драма социолога — необходимость выбирать между политическими целями и императивами профессионализма. Компромисс в подобных случаях достигался с помощью аппаратных игр.

*Из воспоминаний Л. Оникова (Российская социология шестидесятых 1999: 229–235).* Как консультант Отдела пропаганды ЦК КПСС, много раз спасавший социологию, Оников свидетельствует, что открытое самовольство или фрондерство в вопросах социологии было грубейшим нарушением партийной этики. Во имя идеи приходилось прибегать к «закулисным технологиям». Например, уже упоминавшийся «Таганрогский проект» (подробно см. о нем в очерке 6) возник благодаря усилиям Отдела пропаганды ЦК. Работа без постановления партии была рискованной, но возможность принятия постановления исключалась. Предметом особого аппаратного искусства были взаимоотношения с обкомом, который должен был знать обо всем, что происходило на его земле, с его народом. Логика, в соответствии с которой социология была «зеркалом общества», часто безапелляционно отвергалась: «Каждый десятый житель страны — коммунист. Разве партия не знает, что происходит в стране?» Но на самом деле руководство не хотело знать правды и боялось ее, боялось конкретных исследований, мирилось с теоретической социологией на базе истмата, цинично рассматривая и разрешая ее в качестве «общего трепача» (Там же: 233). «Десант» социологов в джинсах и свитерах был потрясением для провинциального Таганрога. К сожалению, практического применения в деятельности ЦК материалы одного из самых крупных социологических исследований в нашей стране не нашли. Нужны были перемены. Но их никто не хотел. Активное неприятие «антитела» — социологии — было устойчивым.

### **Модель 6. Поддержка режима из карьерных интересов**

В данном случае речь идет о тех представителях научной интеллигенции, которые были коррумпированы властью. Не будучи частью номенклатуры в юридическом смысле, эти люди тем не менее идентифицировали себя полностью с ее функциями и выступали в роли «добровольной инквизиции» по охране коммунистической веры от всякой идеологической ереси и еретиков. Например, критически настроенным социологам приходилось тратить много усилий на оборону от профессоров Х. Момджяна и Г. Глезермана, а также других представителей «казенного» обществоведения, которые вызывали социологов в Институт философии, как в полицейский участок, и там их «прорабатывали», подвергая идеологическим экзекуциям. На травле молодых работников отдела Г. Осипова, созданного в Институте философии АН СССР, одно время специализировалась научный сотрудник того же института Е. Модржинская. Модификацией подобного поведения было научное доноительство, которое не только активно стимулировалось «сверху», но и «самопорождалось» в условиях бывшего СССР. Едва ли не в каждом академическом институте, к примеру, находились люди с «повышенной революционной бдительностью», с особым «нюхом» на антимарксистскую, как им казалось, крамолу. Как правило, малообразованные и примитивно мыслящие, они выражали себя в борьбе с буржуазной наукой и ее апологетами, прежде всего внутри своего же научного сообщества (Фирсов 1996б). Эти «волонтеры» нанесли немалый вред своими разоблачениями социологической науке.

Теперь, когда Россию иной раз пытаются представить как империю зла, а русских — в качестве основных носителей этого зла, я обязан сказать, что «добровольная инквизиция» была многонациональной, считать ее феноменом, отличающим русских ученых-обществоведов в условиях тоталитарной власти, было бы ошибкой. Например, разгром социологической лаборатории в Тартуском университете в 1970-е гг. (руководитель лаборатории Ю. Вооглайд) произошел во многом по инициативе социологов коренной национальности. Но об этом будет рассказано ниже.

## **4.5. Независимо мыслящий ученый (модель 7)**

Вопрос о существовании российских (советских) социальных наук переплетается с властными отношениями. Общее правило таково: властные отношения являются фактором развития науки, как и персонажи, увенчивавшие пирамиду власти, если иметь в виду советскую и российскую историю. В виде иносказания последнюю мысль выражу словами



П. Вайля. Самосознание русской культуры (следовательно, и науки) циклически меняется. «Процесс пошел». Это фольклор, выражение Горбачёва останется, как осталось от Ленина «Есть такая партия!», от Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселее», от Хрущёва «кузькина мать», от Брежнева «чувство глубокого внутреннего удовлетворения», «загогулина» — от Ельцина, «мочить в сортире» — от Путина (Вайль 2007: 154). Не чуют под собой страны (О. Мандельштам) — не значит не чуют вождей, поскольку черты их личности продолжают оставлять нетленные следы, вмятины на теле общегражданских свобод.

Власть и вожди всегда стремились встать над наукой. Прожив в науке более 40 лет, скажу, что в нашей стране много не знали. Либеральный вариант — «позвольте делать кто что хочет», «позвольте идти кто куда хочет», то есть невмешательство, — оставался недостижимой мечтой. Потому не стану далее перечислять словарные коннотации принципа «laissez faire» (франц. — позволяйте делать (кто что хочет)) — от «пусть позабавятся», как говаривал князь Долгоруков, имея в виду начинавшееся в середине XIX в. земство, до высказываний одного из университетских профессоров в годы студенческой молодости, карикозовца И.А. Худякова: «Свобода учения и преподавания невозможна. Я убежден, господа, что вас надо водить на помочах» (Худяков 1930).

В итоге российские общественные науки, подчеркну это, едва ли не весь период советской истории провисели на «помочах КПСС». Были даже такие ученые, кто не мог ощутить себя человеком без «партийных подтяжек» (слово вполне цивилизованное). Я отдал дань этой традиции, показав, что существовали сервильные отношения научных «низов» и «партийных верхов». Их характерная черта заключалась в том, что средний советский ученый в целях элементарного самосохранения добровольно или вынужденно, но вступал в обязательную сделку с «дьяволом», всемогущим властным партнером — партийными государственными структурами самого разного уровня. Однако этот властный партнер не мог существовать без постоянно совершаемых сделок с множеством «простых» людей, без признания за ними права на самосохранение (Советский простой человек 1993: 31).

Сознаюсь в том, что я проглядел *седьмую* модель, которая уже тогда в реальности просматривалась в научном сообществе во главе с Ю.А. Левадой (в конце 1960-х гг. — в атмосфере руководимого им сектора ИКСИ АН СССР, а в 1970-е гг. — в атмосфере научного семинара, о котором речь шла выше). Левада, и прежде всего он сам, обходились без «сделок с дьяволом», сознательно отдав себя во власть независимо мыслящей научной среды.

Ниже приводятся отрывки из Гарвардского интервью с Ю.А. Левадой (8 февраля 1990 г., интервьюер — Д.Н. Шалин; в интервью приняла участие Е. Петренко, — см.: Левада 2008: 155–174).

<...>**Ш. [алин]:** Как вам казалось, в шестидесятые—семидесятые годы, особенно когда вы были в опале, была у вас возможность говорить то, что вы думаете?

**Л. [евада]:** Вы знаете, мне кажется, что существуют преувеличенные представления по этому поводу, в частности насчет меня. Возможно, что я вас в чем-то разочарую, но я могу сказать только то, что могу сказать. Никаких особенных внутренних переживаний я не испытывал. Внешнюю канву этих событий вы знаете. В шестьдесят девятом — семидесятом была попытка расправиться с социологией. Предлогом была одна моя книжка, я думаю — только предлогом. Сама книжка особого значения не мела и не имеет, я так всегда думал. Ну, в результате всех тех событий было тогда новое руководство социологией, работать с ним было заранее невозможно. И когда я узнал, что придет Руткевич, я понял, что надо уходить — мне и всем людям, которые со мной работали. Пришлось уйти мне первому, но была подготовлена договоренность о том, кто куда уйдет, и практически все ушли (с. 155). <...>

**Ш.:** Ни из какой партии не выгоняли?

**Л.:** Нет, меня недовыгнали, то есть строгаж у меня висел, который очень затруднял переход с работы на работу, ну и поездки куда-либо, но это меня и не интересовало, и переходить я никуда не собирался, ибо мест таких не было, куда бы стоило переходить по тем временам. Вот, а в остальном это на меня никак не давило, не мешало, не беспокоило. Ни угрызений, ни переживаний у меня по этому поводу не было. Я понимал, что делается в мире, что делается в стране, я видел людей, которые боролись, которых сажали, все это было очень больно, и на этом фоне заниматься не [своими] переживаниями было нелепо (с. 157). <...>

Я подчеркиваю, что не собираюсь и не могу сравнивать какие-то там мои перипетии и трудности научные с тем, что действительно испытывала активная часть людей, — это всегда перед глазами, это было очень важно, но была такая штукавина. В целом это ведь были не тридцатые годы. Годы были другие. В эти годы не существовало тотального всеохватывающего страха — страха за жизнь и свободу фактически не было. Но те люди, которые шли на риск, они знали, на что они шли. Там были свои счеты. А тут была такая ситуация, [которая] имела свои, не личные, а социально-компромиссные стороны. Было много людей, которые говорили: конечно, все дурно, но, в общем-то, жить можно, и лучше на рожон не лезть, потому что может быть только хуже.

**Ш.:** Вы согласны были с этим мнением?

**Л.:** Нет, мне это не нравилось, хотя я считал, что я должен вести себя просто, естественно, так, как я могу вести себя, а не так, как не могу. И все. Мне ужасно претило и претит позиция нарочитого лазания на рожон для того, чтобы себя показать и прочее. Ну, в общем, все неизбежно на свете, и психологический тип поведения разнообразен. Я никак не хочу осудить людей, не имею ни малейшего права, ни оснований... Я немножко представляю себе эту типологию, биографические и еще какие-то причины, но мне претило это. Я не хотел и не хочу тор-

чать. По мере возможности — раньше, теперь и впредь — всегда хотел бы занимать такую позицию, чтобы она никем, ни мной самим не воспринималась как то, что я хочу выкрикнуть напоказ, или скрыться напоказ, или вытащить кукиш из кармана, чтоб знали они все... Ну, вы представляете, тут можно целый ряд таких уловок перечислить, разные люди к ним прибегают, но мне не хотелось. Поэтому я думал, что я... собственно, и думать тут не приходилось, поскольку я полагал, что веду себя естественным образом. Может быть, когда-то я допускал какие-то тактические ошибки, я не могу припомнить, в какой ситуации, не могу корчить из себя безгрешного, но в принципе думаю, что я более или менее выдерживаю эту линию. И компромисса психологического практически не было. Повторюсь, меня никто не заставлял делать то, что я не хочу, и я думаю, что я никогда не стал бы это делать, но и делать что-либо нарочитое я не стал бы. Положим, заниматься публичной критикой тогдашней социологии не было возможности. Никакой охоты не было, просто ни малейшей (с. 157–158). <...>

**Ш.:** Я вот слушаю вас, и мне кажется, что вы можете сказать, или кто-то мог о вас сказать, что вы жили не по лжи, вы, по существу, как думали, так и говорили. Я немножко утрирую, но...

**Л.:** Думаю, что да. Я не могу припомнить ни одной ситуации, когда бы я говорил, или писал, или заявлял то, чего не думаю...

**Ш.:** Хотя и молчал по поводу определенных вещей.

**Л.:** Во-первых, я просто не участвовал в социологических прочих вещах. Во-вторых, в это время развернулась политическая жизнь на уровне диссидентства.

**Ш.:** Вы, кстати, не считали себя диссидентом?

**Л.:** Нет. Видите ли, в чем дело. Я знал людей многих, которые с этим были связаны, в какой-то мере помогал. Никаких ни угрозений, ни опасений по этому поводу не было, но специального участия в работе я не принимал.

**Ш.:** А в части подписания [коллективных писем]?

**Л.:** Я был готов на начальных фазах подписаться, подписал бы немедленно. Но случилось так, что Седов до меня не донес это письмо, с которого все началось.

**Ш.:** А если бы донес, то подписали бы?

**Л.:** Подписал бы немедленно...

**Ш.:** Это какой год?

**Л.:** Это 67-й год, первая волна подписанства... Меня практически не звали. Почему-то получилось так.

**Ш.:** Секундочку, а почему и не звали? (с. 159–160) <...>

**Л.:** ...И было у меня и, по-видимому, у других такое ощущение, что не надо втягиваться в другие дела. <...>

Это было естественно. Для человека, скажем, который занимал какое-то положение, это было бы естественно, и при нормальном развитии событий нормально выступать в роли такой прикраски и покровителя разного рода действий, а не прямого в них участника. Кстати

говоря, это было видно, когда мы работали вместе, потому что какое-то влияние на работу ИКСИ я мог оказывать в тот период, в те три-четыре года, когда мы там работали. И по должности, и просто по каким-то там воздействиям. Я не стеснялся того, что я занимал партийную должность, потому что это немножко связывало руки таким людям, как Осипов, и немножко помогало что-то делать. И я тогда бы мог чуть-чуть похвастываться, хотя и ничего особенного, что ни в какие трудные времена у нас не только не уволили ни одного подписанта и ни одного еврея, а, наоборот, брали изо всех сил на работу (с. 160–161) <...>

Мне казалось, что я вел себя естественно. Мне естественно было пойти к Зиновьеву, узнавши, что он написал книжку, и, прочитавши ее, естественно было идти с ним по улице, ну просто потому, что если бы я стал от него бегать, было бы неестественно, и я бы испытывал какую колючку, боль оправдания. Или другая проблема. Положим, уезжали люди, я их провожал, из-за этого были скандалы — не со мной. Почему-то меня бог миловал... Я считал, что было бы неестественно вести себя как-то иначе. Я переписывался и перезванивался со всеми, с кем мог, хотя некоторые этим смущались на первых порах...

**Ш.:** Из некоторых имеется в виду советских?

**Л.:** Из очень хороших, из очень уважаемых... Вот у меня был разговор с одним из знакомых вам социологов. Называть его не хочу. Как-то встретились, спрашивал он, что и как, спрашивал про тех людей, которые уехали. Я стал рассказывать, один — так, другой — так-то. А он меня спрашивает: «А откуда у тебя такие подробные сведения?». Я говорю, я письма получаю (с. 164). <...>

**Ш.:** Значит, вы поставили крест на соображениях конъюнктуры?

**П.[етренко]:** Да не ставили никакого вопроса, он просто жил...

**Л.:** Они [эти вопросы] сами по себе куда-то девались и меня не интересовали. И я думаю, что это хорошо. Я посмотрел на этих, скажем так, маневрирующих моих добрых приятелей, и я им ни в какой степени не завидовал. Им же приходится то ли мучиться, то ли избавляться от каких-то регуляторов. Тут тоже завидовать нечего, [им нужно было] бегать, светиться, изображать из себя и в меру критичных, и в меру верноподданных, чтобы понравиться, скажем, таким, а с другой стороны, не порвать с этими. Ну, зачем это! Хорошо, что у меня само так получилось, что я стою в стороне.

**Ш.:** Люди эти не переставали быть друзьями?

**Л.:** Вы знаете, я довольно одинокий волк всю жизнь. У меня много добрых приятелей, но я очень затрудняюсь назвать людей слишком близкими друзьями...

**Ш.:** Вы всю жизнь гуляли сами по себе в каком-то смысле, хотя было много детей кругом вас...

**Л.:** Знаете, не только. У меня были детишки, и еще был такой все эти годы величайший амортизатор всех переживаний, всех душевных волнений. Амортизатор был большой, лохматый, у него был большой хвост. Это был собачище (с. 165).

Нравственный императив независимой науки всегда значил для Левады и его единомышленников гораздо больше, чем политические каноны режима, принудительно навязываемые властью. Это нашло свое отражение в его гарвардском интервью Дмитрию Шалину. В эпохи разных правителей он оставался неизменным со своими раз и навсегда принятыми правилами естественного поведения и кодексом чести. Поэтому так скупы его ответы о научном житье-бытье в советское время: всегда делил людей на две части — интересную и малозначущую для него («кривых», «нехороших», с кем никогда не следует иметь дела, «устраивать споры», а тем более просить о чем-либо); всегда считал главным «продолжить линию свободного научного мышления» в социальной области, но так, чтобы избежать «нарочитого лазанья на рожон»; неизменно и при любых обстоятельствах оставался самим собой, сохраняя независимость духа и свободу научного поведения; никогда не делал вреда другим, но и себя не ронял в собственных глазах. В итоге — «я не могу припомнить ни одной ситуации, когда бы я говорил, или писал, или заявлял то, чего я не думаю». При этом Ю. Левада был скуп на слова, разговорить его, тем более с целью подробно объяснить свое научное и нравственное кредо, было трудно. Не любил Юрий Александрович много говорить о себе. Нам еще предстоит перевести на язык своих повседневных представлений и действий то, что он полагал под выражением «вести себя естественным образом».

#### **4.6. Возвращаясь к семинарскому движению 1960–1970-х гг.**

Тема этого раздела — семинарское движение в нарождавшейся социологии, более широко — в общественных науках 1960-х гг. По верному наблюдению М. Пугачевой, оно лежало в общем русле социальных перемен, вызванных хрущёвской «оттепелью», и в этом качестве привело к появлению научных практик и форм научной коммуникации, оказавших сильное влияние на развитие и будущую судьбу социальных и гуманитарных дисциплин<sup>5</sup>. Это движение было мощным всплеском обще-

---

<sup>5</sup> См.: Пугачева 1999. В этой работе приводится впечатляющая панорама движения, с оговоркой, что представленная картина является далеко не полной. Назову семинары, включенные в «список» М. Пугачевой: Московский методологический кружок *Г.П. Щедровицкого*, занимавшийся принципами параллелизма формы и содержания мышления, различием формальной и содержательной логик; семинар *Ю.А. Левады*, имевший социологический характер в самом широком смысле слова (здесь обсуждались социальные, теоретико-экономические, семиотические, исторические и культурологические темы); семинар *Б.А. Грушина* «47 пятниц», возникший

ствоведческой мысли, стремившейся возвести служение истине в некий абсолют на базе новых нравственно-этических норм и гражданских ценностей, от которых, как тогда казалось многим романтикам и энтузиастам, рукой подать до достижения полной свободы.

М. Пугачева называет функции этих семинаров. Главная из них, по ее мнению, образовательная или просветительская, помогала становлению молодой социологической дисциплины. Не менее важной функцией была рецепция, освоение западных идей, концепций и методов. Заслуживают специального упоминания междисциплинарность; поддержание высокого уровня консолидации профессионального сообщества на базе усвоения обсуждения нового знания. Рискну заметить, что эти функции были «надводной частью айсберга». Коллекции фонограмм-записей интервью, проведенных М. Пугачевой с участниками семинаров, позволяют с необходимой достоверностью установить две латентные интенции (цели), которые объединяют небольшие по численности социологические сообщества, настойчиво искавшие пути научного и гражданского самоопределения<sup>6</sup>.

Одна из них — стремление к интеллектуальному раскрепощению и служение Истине. Ее помогает раскрыть интервью с А. Гофманом: «Я вижу [смысл семинара] в нравственной атмосфере, в духе свободы, безусловно интеллектуальной свободы, это чрезвычайно важно, там формировалась этика науки... Когда люди заботятся об истине независимо от шкурных или каких-то там еще интересов... Это имело определяющее значение для всех участников...» (Пугачева 1999: 124). Другая закамуфлированная цель раскрывается в интервью с А. Левинсоном. По его словам, важной составляющей «семинарской» жизни была определенная

---

вокруг проекта «Таганрог»; семинар по прогностике *И.В. Бестужева-Лады*; семинар по методологии истории *М.Я. Гефтера*; семинар *В.С. Библера* по философско-теоретическому осмыслению проблем культуры; семинар «диалектиков» *Э.В. Ильенкова* и *Г.С. Батищева*; семинар по исторической культурологии *А.Я. Гуревича* и *Л.М. Баткина*; семинар по всеобщей истории *Г.С. Кнаббе*; семинар *В.А. Ядова*, существовавший вокруг проекта «Человек и его работа» в Ленинграде; Сибирский методологический социологический семинар в Новосибирском Академгородке, руководители *В.Э. Шляпентох*, *В.Н. Шубкин*, позднее — *Р.В. Рывкина* и др. (Там же: 120).

<sup>6</sup> Все без исключения респонденты отмечают, что существовал некий единый «контингент» слушателей, ходивших из семинара на семинар, с лекции на вернисаж и т. д. Для некоторых это было своего рода *светской жизнью*. Помимо присутствующих на всякой лекции, публичном выступлении или дискуссии людей «с приветом» и «любителей туманных высказываний», которые отводили душу, неся околесицу», были *чудаки*, естественно, присутствовали *стукачи*, которые, впрочем, часто легко «вычислялись». Но основную часть аудитории составляли *коммуникативно ориентированные* люди, которые вообще ходили всюду, где что-нибудь происходило (Пугачева 1999: 122).

фронда властям. Темы выступлений, докладчики, аргументация научных споров, особенно атмосфера интеллектуальной свободы, являлись своего рода заочной дискуссией с властями. Правда, не с конкретными ее представителями, а скорее с Властью, понимаемой абстрактно. «Здесь нормой была эзопова речь, иносказание, показание, так сказать, драматичности существования через мелочь. И это ценилось. И в этом, если угодно, была эстетика поведения. Она же и этика» (Пугачева 1999: 124).

Будучи сам участником этого движения, подчеркну особую роль неформальных путей для развития науки. Мы нуждались в том, чтобы преодолеть гнет «односторонней и хмурой официальной серьезности» (М. Бахтин), которая пыталась едва ли не на века законсервировать статус-кво советского бытия и строя. Семинары были не только формой, приближающей непознанный окружающий социальный мир к социологам, вознамерившимся объяснить его себе и другим. Они одновременно являлись средой и пространством, где властвовал «вольный фамильярный контакт», начисто лишенный признаков развязности и бесцеремонности, искусственной непринужденности и знаменующий собой сближение людей (синоним близости человека человеку). Как итог, в «семинаристских кругах» началась тотальная переоценка репутаций членов социологического сообщества. Напомню в этой связи провидческие слова: «Дружба — эмоция, оккупировавшая 60-е, — стала источником независимого общественного мнения. Неофициальный авторитет стоил дороже официального, и добиться его было труднее. Остракизм “своих” был более грозной силой, чем служебные неприятности» (Вайль, Генис 1996: 76).

Предлагаю читателю несколько зарисовок «с натуры», мастерски выполненных философом, профессором Л.Н. Столовичем во время знаменитых Кяэриксских встреч-семинаров, на которые съезжались исследователи массовой коммуникации<sup>7</sup>.

Kääriku, по-русски Кяэрику, — наименование места, в котором находилась спортивная база Тартуского университета. Этот поселок вошел в историю многих областей знания. В Кяэрику в 1966–1969 гг. собирались также социологи, изучавшие теорию и практику массовых коммуникаций. И как обитатели саванн во время засухи направляются к еще незасохшим озерам и рекам, ведущие социологи страны съезжа-

---

<sup>7</sup> Приводится сокращенный вариант этого текста под заголовком «Социологи в Кяэрику», который был опубликован частично на эстонском языке в книге: *Leonid Stoloviš. Kohtumised elu gadadel* [Встречи на тропах жизни]. Tallinn: Ilo, 2006. Lk. 146–161, а также отчасти в книге: *Леонид Столович. Стихи и жизнь. Опыт поэтической автобиографии*. Таллинн, 2003. С. 213–227. Я благодарю профессора Леонида Столовича за предоставленное право публикации части этого материала.

лись в Кяэрику за глотком, хоть и не безБрежной, но все-таки свободы слова. До поры до времени местное начальство, пока оно само еще не было вполне уверенным, куда повернет ветер «пражской весны», этому не препятствовало.

Тема первой встречи социологов в Кяэрику в октябре 1966 г. — «Методологические проблемы исследования массовой коммуникации». Тема второй встречи в 1967 г. — «Ценностные ориентации личности и массовая коммуникация». На третьей встрече в 1968 г. обсуждалась проблема «Личность и массовая коммуникация». В 1969 году состоялась четвертая и последняя встреча социологов. Пустыня уже грозно надвигалась на оазис.

В этих встречах участвовали наиболее значительные социологи России: В.А. Ядов, Б.М. Фирсов, А.Г. Харчев из Ленинграда, Ю.А. Левада, Б.А. Грушин, Л.А. Седов из Москвы. Из Свердловска приезжали Л.М. Архангельский и Л.Н. Коган со своими сотрудниками, из Новосибирска — В.З. Коган, из Латвии — А. Милтс. К социологическим обсуждениям подключал свой методологический семинар Г.П. Щедровицкий — выдающийся специалист в области методологии и теории мышления. Выступали в ходе дискуссий философы И.С. Кон, П.П. Гайденко и Ю.Н. Давыдов. Одно из заседаний вел Ю.М. Лотман, который поразил участников социологических обсуждений своей необычайной деликатностью (все говорили: «Вот это — настоящий петербургский профессор!»).

Разумеется, в организации этих встреч и в обсуждениях проблем массовой коммуникации большую роль играли эстонские социологи: Ю. Вооглайд и возглавлявшая им лаборатория социологии при Тартуском университете, М. Лауристин, Я. Аллик, П. Вихалемм, А. Муруттар, П. Кенкман, М. Титма. Некоторые из них впоследствии стали видными политическими деятелями независимой Эстонской Республики, представляя разные политические течения. Марью Лауристин была Народным депутатом наиболее демократического Верховного Совета СССР и министром по социальным проблемам правительства независимой Эстонии. Микк Титма стал последним Секретарем ЦК по идеологии Компартии Эстонии, а потом работал в США, наезжая в Эстонию (избирался профессором социологии Тартуского университета). Не были в стороне от социологических встреч и тартуские философы — Р.Н. Блум, Я.К. Ребане и другие<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Л. Столович был подключен к социологическим конференциям не только потому, что его интересовала обсуждаемая на них проблематика, но и как научный руководитель социологических исследований в Тартуском университете. На столь престижную должность он попал и по некоторым формальным обстоятельствам. В ноябре 1965 года он защитил в Ленинградском университете докторскую диссертацию «Проблема прекрасного и общественный идеал», став первым и на какое-то время единственным доктором философских наук в Эстонии. Как такового его и назначили на эту «генеральскую должность».



В списке участников кяэрикской встречи 1966 г. мы обнаружим целый ряд студентов, которые в дальнейшем стали видными учеными-социологами, социальными мыслителями и политиками, таких как Яаак Аллик, Николай Горбунов, Пауль Кенкман, Дмитрий Михайлов. На встрече 1967 г. к ним присоединились студенты Тривими Веллисте. Евгений Голиков, Мярт Кубо; на встрече 1968 г. — Юрий Аллик. Тривими Веллисте стал потом первым министром иностранных дел независимой Эстонской Республики, Яаак Аллик и Мярт Кубо одно время были министрами культуры, а Юрий Аллик возглавил психологическую науку в Эстонии. Студенты, и перечисленные здесь, и неназванные, очень существенно помогли в организации всех мероприятий, от бытовых до культурных, вызывая восхищение гостей этой своей деятельностью. Но одновременно они посещали все доклады и их обсуждения и по мере своего развития включались в эти обсуждения.

Приезжали социологи, представлявшие официальные и официозные структуры. Одному из них командировку подписывал сам А. Шелепин. Так что мы знали, в соответствии с афоризмом Станислава Ежи Леца, что «человек не одинок, кто-нибудь за ним да следит», но тогда это нас не сковывало, хотя, как потом выяснилось, доносы на нас писались исправно. Помимо этого, в нашей среде, первоначально такой единой и дружной, намечался раскол на социологов, которые стремились честно исследовать реальные социальные процессы, происходившие в обществе, и на социологов, работавших по принципу: «Чего изволите!». Социологов первого типа представляла лаборатория Юло Вооглайда, поддерживаемая В.А. Ядовым, Б.М. Фирсовым, Ю.А. Левадой, Б.А. Грушиным. Ей противостояла другая группа социологов, организовавшая «Лабораторию коммунистического воспитания», курируемая М. Титма. Эта группа опиралась на сторонников «ручной», или, точнее, «подручной», социологии в Москве, которые начали захватывать господствующие высоты. Дело кончилось в 1975 г. разгромом и разгоном под руководством ЦК КПЭ и КГБ социологической лаборатории Вооглайда, исключением руководителя лаборатории из партии и увольнением его из университета.

Юло Вооглайд, окончив историческое отделение Тартуского университета в 1960 г., поступил в аспирантуру по социологии. Его научным руководителем был мой сокурсник Владимир Ядов, который в 60-х гг. представлял наиболее творческое течение в советской только что нарождавшейся социологии. Предметом исследования Юло Вооглайда была тартуская «Edasi», ставшая наиболее популярной газетой Эстонии и этим вызывавшая ревность республиканских печатных органов ЦК КПЭ. Накапливался уникальный и достоверный социальный материал, дававший правдивое представление о социальных процессах и противоречиях, происходивших во внешне благополучном обществе «развитого социализма». В этом была главная причина настороженного внимания, перешедшего в подозрительность, а затем и прямую враждебность, которую вызывала лаборатория у ЦК партии и КГБ. Не стану рассказывать о дальнейшей судьбе одного из первых эстонских социологов, ко-

торая привела его в парламент независимой Эстонской Республики, а перед этим — в Народные депутаты СССР. По счастью, в советской системе не все были идиотами и даже в руководстве республики встречались люди, которые понимали, что для реального дела нужны умные и знающие специалисты.

В условиях советского тоталитарного общества происходило довольно четкое разделение духовной жизни на официальную, прошедшую заградительный заслон цензуры, как бы она ни называлась, и неофициальную, которая являлась непосредственным и спонтанным выражением общественного и индивидуального мнения. Оно не имело возможности стать всеобщим достоянием через государственные средства информации и коммуникации, первоначально, и то в период «оттепелей», прорываясь в стенгазеты, рукописные кружковые альманахи, актерские капустники, передаваясь из уст в уста как «интеллигентский фольклор», по удачному определению московского философа-эстетика Ю. Борева.

В научной среде неиссякавшим источником смеховой культуры были полуофициальные мероприятия. Я имею в виду проведение семинаров, конференций, защит диссертаций. Конечно, все это тоже было регламентировано в своей официальной части, но далеко не полностью. Даже в ходе самих заседаний и защит могли быть острые незапланированные выступления. Что же касается кулуаров, совместных трапез, самодеятельности, то тут была сфера относительной свободы, ограниченная, правда, самоцензурой выступающих, знающих, что и в академической среде были «наушные сотрудники». Все это сдерживало, но не останавливало. Защиты диссертаций в Ленинграде, Москве, Свердловске, Тбилиси нередко переходили на последующих банкетах (до запрещения их ВАКом, а после этого — на празднованиях «дня рождения двоюродного брата диссертанта») в пародии на официальную защиту. Философское застолье в период конференций, семинаров и т. п., продолжавшее традиции античных симпозиумов, т. е. пирушек, рождало немало остроумных речей, шуток, афоризмов, эпиграмм, которые потом разбредались по просторам нашей необъятной родины. Возникали своеобразные периферийные центры юмора, не уступавшие по остроумию столице. Один из них был на Урале, в бывшем Свердловске. Смею сказать, Тарту тоже не остался в стороне от этого всенародного движения.

Но в конце 1960-х гг. социология как таковая, еще не расколота на противостоящие друг другу группы, боролась за свое существование против философов-догматиков, олицетворением которых стал образ Митрофана Лукича Полупортянцева<sup>9</sup>. Кто такой М.Л. Полупортянец?

<sup>9</sup> В стенной газете Института философии АН СССР «Советский философ» перед академическими выборами 1966 г. появился стенд «Выставим кого надо». В академии был выставлен *Митрофан Лукич Полупортянец* — обобщенный образ номенклатурного философа, созданный по образцу Козьмы Пруткива, но насыщенный новым социально-комедийным смыслом. Это был продукт коллективного

Этот вопрос проясняет приведенная ниже его автобиография, появившаяся на стенде Института философии.

Вышел я из народа. До 1937 года жил тихо. Без повышений. В том году из-за наличия вакантных мест сделался приказом кандидатом философских наук. Мною написано очень много автобиографий, сигналов и монографий. Важнейшие из них следующие:

1. «Меньшевиствующие идеалисты — это империалиствующие гомосексуалисты», 1932 г., в соавторстве, а второе издание 1938 г. уже без соавторства.

2. «Вейсманиствующие менделисты–морганисты», 1949 г.

3. «Вершина мировой философской мысли», 1950 г.

4. «Еще одна вершина мировой философской мысли», 1951 г.

5. «Памир (крыша мира) мировой философской мысли», 1952 г.

После этого по случаю инсульта находился в длительном творческом отпуску. Вернувшись к плодотворному научному труду, написал:

6. «Кукуруза как вершина мировой агрономической мысли», 1961 г.

7. «Кукуруза как пример волюнтаристствующего субъективизма», 1965 г.

8. «Экзистенционализм», 1966 г., в соавторстве.

И всего этого я не стыжусь. В условиях обостряющейся идеологической борьбы моя творческая мысль развивалась и крепла.

К автобиографии М.Л. Полупортянцева были приложены некоторые его любимые афоризмы, как-то: «Как говорят французы, такова селяви»; «А все-таки Рубикон должен быть разрушен!»; «Глас выпивающего в пустыне»; «Вальпургенова ночь»; «Сдвинуть дело с мертвой точки зрения» и т. п. Автобиография М.Л. Полупортянцева получила широкий резонанс в философских кругах и вошла в философский фольклор, дополняясь в списках самиздата.

В сборнике «Käätiku — Кяэрику I. Материалы встречи социологов “Методологические проблем исследования массовой коммуникации”. Кяэрику — 1966» (Тарту, 1967) я напечатал «Страницы из дневника» проф. М.Л. Полупортянцева.

27 октября 1966 г. Митрофан Лукич писал по прибытии в Эстонию: «Оказывается, это совсем не заграница, хотя и говорят тут на иностранном языке и хорошо организован сервиз, как говорят англичане». А на

---

творчества талантливых сотрудников института, в основном входивших в состав редколлегии стенгазеты: Эвальда Ильенкова, Эриха Соловьева, Александра Зиновьева, Арсения Гулыги и некоторых других философов, не уступавших по остроумию и мастерству профессиональным литераторам и карикатуристам. Стараниями Л. Столовича и его друзей из Института философии Митрофан Лукич перекочевал со стендов Института в Кяэрику и стал таким образом участником кяэрических социологических семинаров.

следующий день, делясь своими впечатлениями от встречи социологов, Полупортянцев восклицает: «Что же здесь происходит?! И впрямь как на конгрессе каком-то! Что это с молодежью? Забыла основы общественных наук! Зачем склоняются и спрягаются все эти чуждые нам, не наши понятия, как-то: “коммуникация”, “установка” (добро бы еще партийная!), “регуляция”, “отчуждение”, “социум”?! Нет, я не против нового, которое неодолимо. Я тоже читал кой-какие переводы и могу, как говорят, ударить грязью в лицо. Я не против социолухов, я за социолухические исследования! Я против аллилуевщины, которая порождение культа. Я за индуктивный и за дундуктивный методы. Я не против дискуссий, но нам нужна такая дискуссия, на которой бы все говорили правильно».

И опять же преувеличивают роль техники. Тут один товарищ показывал аппарат, который подсчитывает, сколько процентов “за” и сколько “против”. Решали вопрос, кто хочет мыться в финской бане смешанного типа (в Эстонии, оказывается, есть финские бани, т. к. эстонский язык очень похож на финский). Получилось 23% “за”. А если такой аппарат будет решать вопрос о присуждении ученых степеней и званий и другие текущие вопросы? Разве “механическим” большинством можно определять, как говорят англичане, “кто есть ху”?!»

Далее он писал: «Сегодня были жаркие споры о ценностях жизни и культуры. Одни кричат: “Ценность есть отношение объекта и субъекта”, другие: “Ценность есть отношение субъекта и объекта”. Пришлось дать отпор. Одним за объективизм. Другим за субъективизм».

Сборник «Kääriku — Кяэрику I» был роздан участникам 2-й встречи социологов в 1967 году, который проходил под риторическим вопросом М.Л. Полупортянцева: «Что же здесь происходит?!».

Для «Kääriku — Кяэрику II» я подготовил текст «Ответ на приглашение на Кукарекускую встречу социолухов заведующего отделом НИИБЕЛЬМЕСА профессора Полупортянцева, Митрофана Лукича»:

«Уважаемые граждане! Благодарю за приглашение, однако использовать его не могу не только в силу слабости здоровья, но и по некоторым принципиальным соображениям.

Перво-наперво, о теме вашего симпозиума, или, попросту говоря, в переводе с древнеримского, сабантуя: “Массовая коммуникация и личность”. Скажу вам откровенно, я всегда борюсь против культа личности: личность давно пора устранить. А вы с чужого голоса вытаскиваете на свет эту мнимую псевдо-проблему!

Окромя того, должен сказать вам со всей прямоотой: много у вас организационной неразберихи и прямого очковтирательства.

Так, вы пишете, что температура в финской бане (замечу, кстати, что эта баня — национальная по форме и обычная по содержанию — единственная, что мне у вас действительно понравилось) может дойти до 140°, тогда как вода кипит уже при 100° (количество переходит в качество).

Далее. Слишком много вы приглашаете социологов на букву “К”, как-то: Кон, Коган В., Коган Л. и Шляпентох.

Почему до сих пор не открыт закрытый буфет для специалистов высшей квалификации?

В этих ненормальных условиях мое присутствие было бы необходимым, хотя я не Дон Жуан, чтобы сражаться с ветряными девицами. Но случилось так, что в данный период имело место быть много ответственных Международных конгрессов, на которых, кроме меня, некого достойно представлять нашу Великую Родину: по философии в целом в Австрии, про Гегеля в небезызвестном Париже, по этике или эстетике (точно не помню) в Швеции. Поэтому в Кукареку я не могу, к сожалению для вас, выбраться. Но скажу откровенно, существенного на тех конгрессах было мало, хотя было немало поучительного. Прав был тов. Астахов, который, выслушав целый ряд докладов в Швеции на английском, немецком, французском и итальянском языках, сказал в кулуарах: «Ловко они свои дела обделывают!»»

Последняя, IV кязрикуская встреча, состоявшаяся поздней осенью 1969 года, помимо содержательного обсуждения темы: «Массовая личность, массовое общество, массовые коммуникации», запомнилась ее участникам явлением Игоря Губермана. И тут стало ясно, что недавно скончавшийся Ежи Лец — еще жилец. Губерман давал каждому столько, сколько кто мог взять и кто сколько заслужил. Он не лез за словом в карман. Карманы его были пусты. В Эстонии ему больше всего понравились «флора и сауна». В сауне в момент, когда ученые мужи, после жарких дискуссий, разогрели себя в 140-градусной жаре финской бани и охлаждались в ледяной воде озера, размолвали от жигулевского пива эстонского производства и интернационального шашлыка, будучи в костюме Адама, он мог бросить клич: «А теперь, мужики, *cherchez la femme!*» Узнав, что симпозиумом будет руководить социологический Сенат, он скромно поинтересовался: «А где тут у вас Сенатская площадь? У меня есть планы на декабрь». В наш обиход на многие годы вошла житейская мудрость бабушки Губермана: «Лучше я подожду поезда, чем он меня ждать не будет». Запечатлелся и редакционно-издательский принцип тех лет: «Кашу Марксом не испортишь!» Губерман уверял, что Сократ сказал перед смертью: «Дайте мне порцию Ядова!»

То, что было впоследствии названо «дацзыбао» и в конце концов «гариками», швырялось направо и налево, точнее, слева направо, бесцензурно, а порой и нецензурно, но непременно остроумно. Доставалось всем, но по чину. Положение губернаторское оказывалось хуже губермановского. Кумиры повергались, проткнутые рогом изобилия.

Губерман не вмешивался в ход научной дискуссии. Только в самом конце симпозиума наш гость не выдержал обет молчания за круглым научным столом (за другими столами он не давал «обед молчания»). Когда основной докладчик в своем заключительном слове стал сглаживать углы и предостерегать собравшихся от идеологических опасностей, в то же время призывая дать проблеме массовых коммуникаций «зеленую улицу» и не преграждать ее шлагбаумом, Игорь Губерман встал:

«Я никогда бы не посмел взять слово на столь высоком ученом собрании, если бы товарищ докладчик не произнес слово “шлагбаум”. Дело в том, что я — железнодорожник по образованию. Вот он говорит: “Дать зеленую улицу”, но не знает, что это такое. А я знаю. Это — когда

едешь, едешь, едешь, но только, если соблюдаешь указания табличек по бокам: «Открой поддувало!», «Закрой поддувало!», «Открой сифон!», «Закрой сифон!»... Поэтому я желаю вам счастливого бездорожья!»

Без атмосферы живое не может существовать. И мы ее получали в Кязрику в бездушном пространстве и душном времени, тем самым избежав «трагедии черного ящика» без его чудес. Явление Губермана буквально всех тонизировало. И в это время начавшегося погрома нарождающейся отечественной социологии избиваемые социологи могли адресовать своим административно-номенклатурным гонителям крылатое двуступище Губермана, до сих пор считавшееся народно-анонимным: «Мы — умы / А вы — увы!». <...>

#### **4.7. Причины культурного дефицита социологической мысли**

Сдержанность советской социологии, вероятно, правильнее объяснять не столько контролем и репрессивными действиями власти, сколько серьезным дефицитом ее культурных ресурсов (Фирсов 2006).

1. Обосновывая этот важный тезис, стоит вспомнить русскую классическую литературу, которая успешно развенчивала представление о непостижимости России, подвергнув десакрализации едва ли не все установления и институты — «от помещиков и чиновников (Гоголь), государства и церкви (Лев Толстой), купечества (Островский), интеллигенции и крестьянства (Чехов и Бунин), армии (Куприн и Замятин) и т. п.» (Кантор 1997: 38). Примеры можно продолжить, ссылаясь на произведения современного российского искусства. Вообще, мне кажется, что литературный (проза, поэзия) дискурс реальности в стремлении понять собственное общество и найти емкие словесные формулы для выражения его истинных, а не мифологических состояний и по сей день оказывается по своему качеству существенно выше того, что часто предлагают общественные науки и особенно нынешние средства массовой информации.

Описание реальности на уровне обыденных представлений, «чтиво для всех», на деле является не более чем организованным движением словесной массы. А. Найман в своем исповедальном сочинении высказал весьма примечательную мысль: «Поэт не тот, кто подхватывает его (языка. — Б.Ф.) изменения, а тот единственный, кто знает, каков язык в каждую минуту, и чьи знания — закон для говорящей толпы. Он не учит языку. Но, как родитель, что-то говорит над колыбелью нации, и через некоторое время языком становится то, что нация усвоила через него и повторяет применительно к своим надобностям. Он — санитар языка, промывает его лепет, косноязычие, очищает от омертвевших

гниющих тканей — как дерево, перерабатывающее углекислый газ в кислород» (Найман 1998: 503).

Обращение к социологической науке последних десятилетий советского периода не опровергает эту закономерность при сопоставлении ее выразительных средств с демократически ориентированной литературой тех лет, которая особенно заботилась о своем художественном качестве, и прессой, прилагавшей усилия к тому, чтобы повернуться к человеку, темам подлинного гуманизма, общечеловеческой нравственности и морали. Притом что наука была разной. Одна, по верному замечанию экономиста Г. Лисичкина, некоторое время работавшего в ИСИ АН СССР, обращалась к людям с предложениями, как улучшить и экономику, и жизнь вообще. Другая, напротив, была замкнутой в себе, высокомерно относилась к журналистике как средству диалога с населением, создавала нечто оторванное от жизни, опираясь на закрытый, «нечеловеческий» язык. Лисичкин пишет: «Я сижу на ученом совете и заранее знаю, как это будет — кто выступит, как выступит, все ранжировано, все отзывы получены, слова, какие должны быть, написаны. Если ты напишешь не теми словами, тогда не здесь, так в ВАКе тебя “зарезут”» (Пресса в обществе 2000: 76). Естественно, что эта, другая наука избегала апелляций к людям, она не могла конструировать сознание и тем более формировать жизнь. Табу, которые власть накладывала на открытый свободный диалог с обществом и в обществе, были для такой науки «священными». Строго говоря, абстрактные картины общественного развития, которые предлагали ортодоксально мыслящие обществоведы-марксисты, нельзя было назвать дискурсом, рассуждение здесь отсутствовало, преобладало апологетическое отношение к социализму.

Но дело двигалось. Среди экономистов и социологов было много людей, которые пытались дать ответы на сложные вопросы общественной жизни, задумываясь над ее противоречиями. Их стремление к «совершенствованию социализма» в реальности было своеобразным «гибридом» социализма и либеральных идей (другое дело, насколько этот «гибрид» был органичным). Их иллюзии заключались в том, что они верили в способность властей преодолеть собственную идеологическую косность, зашоренность, обманываясь звонкими словами постановлений, обещавших очередное преобразование общественной жизни (Там же: 99). Здесь уже не было отстраненности от людской массы, а преобладала забота о том, как будут восприняты идеи и мысли авторов, которые содержались в их публичных выступлениях в прессе или в записках, направленных в адрес директивных органов. «Мы, конечно, приспособлялись к условиям, но ради того, чтобы реализовать свои идеи. Если надо было протащить в печать некую актуальную мысль, помочь разрешению назревшей проблемы, мы были готовы не только использовать специально подобранные цитатки из классиков марксизма,

но и ссылаться на того же Брежнева, на постановления ЦК, вовсе не считая это уступкой ортодоксам и ретроgrадам, потому что знали, чего хотели, чего добивались» (Там же: 105).

Наиболее радикальным по тем временам был дискурс в границах представлений, которые уже в «послеоттепельное» время назовут «социализмом с человеческим лицом». Здесь важно подчеркнуть, что носители этих представлений были людьми если и несвободными в современном понимании, но, как правило, твердо осознавшими свою несвободу и поэтому внутренне несогласными с властью, ставшими чужеродными ей. Но это до поры до времени не мешало им верить в возможность построения процветающего и демократического социалистического общества. Для того чтобы быть услышанными, они не могли действовать напрямик. «Иногда в газете или литературном журнале можно было сказать больше, чем в профессиональном издании. Бдительные коллеги были страшнее редакторов. Большинство доносов шло именно оттуда», — писал И. Кон (Там же: 143). Пресса приводила к профессиональной известности, но главное — каждая новая публикация поднимала планку возможного не только для ученых, но и для читателей. Именно газеты и журналы, невзирая на жесткие ограничения идеологических правил, пытались расширять рамки дозволенного.

Однако в силу многих исторических и политических обстоятельств, которых я касаться здесь не стану, тяжкое бремя монополии на «оппозиционность» и «исключительность» легло на «Новый мир» и его главного редактора поэта А. Твардовского (60-е годы). Этот журнал оставался основной «щелью» для свободного или «полусвободного» слова, и все более или менее оппозиционное, либеральное, демократическое, всякая вольная, ищущая мысль, естественно, в эту «щель» устремлялись. Сотрудничество с журналом «Новый мир» многие ученые считали в то время наиболее важной частью своей научно-литературной деятельности, недаром в итоговый сборник своих избранных сочинений «Социологическая психология» И. Кон включил почти все «новомировские» статьи и ни одной — из научных журналов (Там же: 148).

2. Другое объяснение культурного дефицита социологии может быть дано, исходя из социологической парадигмы отношения к человеку. Напомню в этой связи предложенную П. Сорокиным интегральную теорию человеческой личности. Эта теория не отрицает, что человек является животным организмом и обладает «бессознательным», «рефлексо-инстинктивным механизмом тела». Однако главное в человеке — его способность выступать сознательным, рациональным мыслителем и сверхсознательным творцом, и потому он не может быть средством для чего и кого бы то ни было (Сорокин 1993: 142–143). Как следствие, интегральное представление о человеке складывается через единство Истины, Красоты и Добра. Спасти человека, не достигшего



этого единства и по сей день, может только производство и аккумуляция неэгоистической любви к другому человеку и человечеству вообще. Только Доброта, неэгоистическая, творческая любовь могут положить конец агрессии, враждебным отношениям, преобразовав их в дружеские, умиротворить конфликты и тем самым привести людей к согласию, миру и процветанию.

К сожалению, при осуществлении реформ в России вопрос о Добrote никогда не ставился. В переводе с «сорокинского» языка на общепринятый речь идет о гуманности путей и средств для достижения поставленных общественных целей, об их адекватности природе человека и, конечно, их определенном соответствии сложившимся ранее ценностям, нормам и поведению россиян. По словам московского ученого С. Кравченко, предание забвению фактора Доброты имело своим следствием сугубо прагматический подход к экономическим и политическим преобразованиям, что не только не снижало уровень аномии, апатии и иррационализма, но, напротив, приводило к стимулированию роста этих настроений (Кравченко 1999: 325).

Реформаторы, отталкиваясь от традиций предшествующих периодов, недооценивали важность Доброты и ненасильственной технологии решения острых социальных проблем. Им казалось, что сам факт официального отказа от принципов государственной распределительной экономики и ликвидации политического господства коммунистической партии едва ли не автоматически высвободит творческую энергию миллионов россиян, сделает их готовыми к взаимному сотрудничеству в условиях демократических преобразований и зарождающихся рыночных отношений. Просчет состоял, скорее всего, в том, что при реформировании общества не была принята во внимание истинная сложность природы человека. Имела место абсолютизация рационально-интеллектуального фактора и до известной степени игнорировалось значение бессознательных рефлексов, сохраняющих свою силу деструктивности.

3. Еще одна причина культурного дефицита социологии — ее достижения не «озвучиваются» в обществе. В итоге общество себя не осмысливает теоретически и результаты такого осмысления в обыденном сознании отсутствуют. Более того, социология заимствует из обыденного сознания фундамент для истолкования внешнего мира. Хотя есть исследования местных, отечественных тенденций, достаточно серьезные, чтобы их нельзя было не заметить в хаосе кризиса. Отмечаются всплески отечественной теоретической мысли, но они довольно неожиданно возникают и так же неожиданно исчезают, напоминая блуждающие рифы. В последнее время наблюдается ренессанс в издании трудов классиков, но и этот феномен, несмотря на его явную выраженность и пользу, еще далек от своего идеального состояния (Филиппов 1997).

Автор этого диагноза, социолог А. Филиппов, замечает, что общество только сейчас начало осознать противостояние культуры и социологии. Приверженцы социологии, пишет он, потрясающе некультурны. И дело не в том, что они лично не интересуются культурой, а в том, что смысловая составляющая социальной жизни заключается в ее внутренней связности и в новейших проявлениях чужда их теоретической установке. Многие из них, например, исследуя ценности, не берут на себя труд изучать их природу и смысловую сферу. Здесь социолог только подходит к бытованию смысла и ни разу не вспомнит о порождении смысла в социальных структурах и социальном взаимодействии.

4. Последняя причина — крах советской системы, который возник из-за истощения культурных, идеологических, человеческих ресурсов (Гудков 1999). Культурных ресурсов системы хватило на первичную индустриализацию, военную модернизацию и, с громадным напряжением, на восстановление ущерба и разрушений, вызванных Второй мировой войной. Но едва начался период постиндустриализма, рассчитанный на преобладающую роль науки и воспроизводство знаний, — и страна остановилась. Возник «склероз» внутреннего развития образованного общества, вследствие которого верхние звенья, управлявшие экономикой, промышленностью, политикой, развитием культуры и образования, и обслуживавшие эти звенья научные страты продолжали нести на себе черты «огосударственной» бюрократии с ограниченной философией служивых людей. Их мировоззрение отличалось от жизненных позиций среднего класса, который «в обществах другого типа видит себя центром мироздания, естественной основой общества, чьи системы координат становятся нормой для других» (Там же: 29–30).

## Очерк 5

# СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

### 5.1. Вступительное замечание

Начну изложение темы с нескольких вопросов.

*Вопрос первый* связан с *предметной областью* социальной истории. В уникальной по богатству собранных материалов книге (Миронов 1999) ее автор, петербургский историк Б. Миронов, через подзаголовок кратко выразил свое понимание предметной области этой исторической субдисциплины — генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. При более подробном описании и применительно к интересующему нас периоду сюда вошли такие разделы, как территория и рост населения; национальный вопрос и национальная политика, демографические проблемы и переход от традиционной к современным моделям воспроизводства населения; развитие малой (нуклеарной) семьи и демократизация внутрисемейных отношений; социальная структура и социальная мобильность населения; город и деревня в процессе урбанизации населения; менталитет различных слоев, групп и возрастных когорт населения как важный фактор социальной динамики; эволюция и развитие форм государственности; изменения правовых отношений в обществе и динамика преступности; модернизация и благосостояние населения.

*Вопрос второй* — *тональность объяснения* рассматриваемого периода социальной истории. Первая идея, предложенная Мироновым, исходит из презумпции нормальности российского исторического процесса. Именно поэтому исторический путь страны включил в себя несколько не меньше трагедий, драм и противоречий, чем история любого другого европейского государства (Там же: 17). Понимаемая таким образом нормальность эволюции никого не принижает, но и не стирает из коллективной памяти народа знание о том, что революция является самой дорогостоящей технологией социальных изменений. Согласие с такой точкой зрения позволяет определить послесталинский период как очередной этап движения России к благосостоянию, гражданскому обществу и всем иным благам цивилизации, выстраданным ее гражданами.

Является фактом определенный негативизм отечественной историографии в отношении дооктябрьского периода. Будет ошибкой, если подобный взгляд распространится и на советский период, в особенности на его последние десятилетия. Последствия этого могут быть очень серьезными — общенациональный комплекс неполноценности и утрата гражданского мужества. Полезнее помнить, что «ни одно европейское общество не реализовало в полной мере провозглашаемых идеалов, в частности принципов гражданского общества и правового государства, но все к ним стремились и достигали больших или меньших успехов на этом пути. Русский народ, его элита и правительство тоже стремились к этому идеалу, и хотя Россия в меньшей степени приблизилась к нему сравнительно с другими европейскими странами, тем не менее и она достигла на этом пути известного прогресса» (Там же: 16). Отсюда важна вторая идея Миронова — необходимость *клиотерапии* (буквально — «лечение собственной историей») (Там же), т. е. трезвого, объективного осознания достоинств и недостатков истории своего государства и общества. Формирование понимания прошлого и мифы, которые возникают при этом, не должны несправедливо унижать наше национальное достоинство (Там же: 15), лишать массовое сознание средств интерпретации прошлого и ориентиров на будущее.

*Третий вопрос* мне хотелось бы связать с идеей венгерского социолога П. Тамаша, который предложил лекции по истории советской социологии 1950–1980-х гг. ориентировать в значительной мере на раскрытие социальной истории советского общества через результаты социологических исследований того времени (Фирсов 2000: 161). Поскольку курс адресовался молодым обществоведам, получившим паспорта в период, когда Советский Союз уже прекратил свое существование, необходимо было понять, возможно ли с помощью эмпирических данных, полученных их предшественниками, представить какие-либо характерные феномены («определенные “конструкты” и “реликты”») советского общества упомянутого периода. Располагает ли социология таким материалом тех лет, который и тогда и сейчас мог бы свидетельствовать о том, что ей удалось вырваться за рамки господствовавших в то время идеологизированных моделей, представлявших внешнему миру разукрашенный фасад и выдававших его за реальность? Ведь Хрущёв, про которого говорили, что он был политическим лидером страны, пытавшимся преодолеть пропасть за два прыжка, устранил только самые одиозные черты сталинского режима, но саму сталинскую систему оставил нетронутой. Не случайно эта система отчаянно сопротивлялась самопознанию, а отсутствие объективных данных блокировало реалистическую политику (Беседа с В.Ж. Келле 2001: 86).

Представляется, что ответ на все поставленные вопросы может быть следующим. Социологи сумели найти выход из познавательного

тупика, когда абстрактная теория не могла быть руководством для изучения различных сторон общественной жизни, но саму теорию, по тогдашним канонам, нельзя было игнорировать. Концепция трехуровневой структуры социологического знания: общесоциологическая теория (исторический материализм) — частные социологические теории (теории среднего уровня, по Р. Мертону) — эмпирический базис (собственно эмпирические исследования) была хотя и вынужденным, но своевременным компромиссом (Социология в России 1998: 11). Будучи включенной в преамбулу Устава ССА, эта концепция легитимизировала эмпирические исследования в рамках нескольких десятков частных социологических теорий, опосредовавших осмысление данных на общетеоретическом уровне.

Главный разработчик этой концепции В. Келле (напомню об этом еще раз) прекрасно понимал, что если теоретические исследования будут проводиться не на теоретической базе марксизма, то им развиваться не дадут, их задушат. Доступными для него средствами он пытался защитить и уберечь то новое, что появилось в нашей научной жизни. В данном случае — эмпирическую социологию, упоминание которой чаще всего по инерции прожитых лет сопровождалось эпитетом «буржуазная». И надо сказать, что тактика сработала: «официоз принял эту точку зрения». Путь к изучению «реальных проблем» был открыт.

Добавлю сюда, что, по свидетельству В. Ядова, марксизм «отраслевых» социологий примечательным образом «совмещался» еще с одним мощным познавательным средством — структурным функционализмом Т. Парсонса, который, как известно, утверждая идеи стабилизации общественной жизни и общества, исходил из рациональности функций его институтов.

Идея гомеостаза (относительного динамического постоянства, устойчивости внутренней среды), проецируемая на общество, была близка по духу слепой вере в предсказуемость, управляемость, планируемость развития социума и помогала руководителям страны жить иллюзиями. Сквозь призму этих иллюзий социальная ситуация в стране рисовалась подвластной контролю сверху. В таких случаях власть не только не вмешивалась в исследовательский процесс, но иногда и поощряла его. Существенно, что терминологический язык парсоновского функционализма «мягко» переводился с английского языка на русский: социальные страты именовались социальными слоями, а воспитание советского человека постепенно, шаг за шагом, превращалось в фактор социализации личности.

Еще один серьезный прорыв к познанию социальной реальности произошел на базе широкого применения аппарата и языка системного анализа. В итоге, невзирая на спазмы и конвульсии советского поли-

тико-идеологического контроля, дело двигалось вперед, постепенно раскрепощая социологию и освобождая ее от «единственно правильного и всеобъемлющего учения».

## **5.2. Социологическая база для реконструкции социальной истории**

Так случилось, что остались относительно неразработанными применительно к условиям 1950–1980-х гг. проблемы, связанные с социальной и политической жизнью общества и функционированием власти (ведь собственно политическая социология обязана своим рождением перестройке и гласности, как и социология массовых движений, открывающих пути к демократизации общества). Думаю, что система партийных запретов сказалась на изучении девиантного поведения, в частности преступности, которую вплоть до середины 80-х гг. считали пережитком капитализма, и проституции, которой как бы не существовало. Впрочем, я уже упоминал о «расцвете» цензуры социологической мысли и социологической деятельности, который пришелся на конец 1920-х и 1930-е гг., что предопределило появление множества лакун в представлениях о жизни советского социума в более поздний период.

Однако названные обстоятельства не мешают выделить ряд отраслей социологического знания, которые могут служить достаточно надежным источником для реконструкции социальной истории послесталинского СССР. Основаниями для такого вывода являются относительная продвинутость теоретических построений и наличие представительной и обоснованной эмпирической информации. (Мой выбор не связан с попытками установить иерархию отраслей социологических исследований, поделив их, таким образом, на «передовые» или «отсталые». Задача эта неблагоприятная, да и ненужная в профессиональном сообществе, где всегда важнее стремление к получению надежных результатов и уважительное отношение к деятельности коллег, чем «доски почета» и «похвальные грамоты».)

Итак, назову и кратко охарактеризую те отрасли, которые, на мой взгляд, могут оказаться в первую очередь полезными для нашего анализа. Все мои ссылки опираются на наиболее важный и заслуживающий доверия источник — коллективный труд Института социологии РАН «Социология в СССР» (Социология в России 1998), где рассматриваются становление и развитие социологии в дореволюционной России, в советское время и в первое десятилетие новой российской истории.

*Исследования социальной структуры и стратификации* (Социология в России 1998: 110–129). Проблематика этого направления всегда была полем идеологической борьбы. Идеологический контроль требовал не отступать от официальной формулы «одномерной» социальной структуры, закрепленной в сталинском «Кратком курсе истории ВКП(б)» (два класса плюс прослойка). Она была возведена в абсолют, и даже более поздние партийные установки относительно «сближения классов» не меняли сути канонических представлений. Однако усилиями социологов этот канон был основательно расшатан. Уже в 1960-е гг. от изучения классов перешли к изучению социальных слоев, страт, вследствие чего предметом анализа стала многомерная внутриклассовая или внутригрупповая дифференциация. На следующих этапах началось опровержение идеологем, связанных со становлением социальной однородности советского общества.

Всесоюзное исследование «Показатели социального развития советского общества», проведенное в начале 80-х гг., верно отобразило структуру рабочих, ИТР, но одновременно показало рост численности чиновников, деятелей теневой экономики (латентная структура), выполнение квалифицированными рабочими и инженерами работы ниже уровня их образования, вскрыло жестко действующую статусную систему оплаты для одних и едва ли не всеобщую уравниловку для других. Однако до проблем бюрократии, номенклатуры и властвующих элит понастоящему добраться не удалось, поскольку эти проблемы оставались под запретом — их гласное обсуждение и изучение могло опровергнуть идиллическую сталинскую схему структуры социалистического общества. Хотя книга М. Джиласа «Новый класс. Анализ коммунистической системы», впервые опубликованная в Нью-Йорке в 1957 г., появилась и в СССР. С грифом «Секретно» ее напечатало издательство «Прогресс». В засекреченном варианте она предназначалась исключительно для партийной бюрократии — истинного правящего класса.

Картину разлома социальной структуры может основательно дополнить *социология образования* (Там же: 267–274). Начатые в Новосибирске (с целью устранить недостатки и недоработки «на местах») исследования выпускников средних школ в итоге выявили громадные противоречия между миллионами юношей и девушек, стремившихся найти свое место в жизни, и обществом, которое было не способно удовлетворить их потребности в знаниях. В этих работах не было прямых выпадов против господствующей идеологии, но статистические выкладки и их строгий, непредвзятый анализ свидетельствовали о существовании совершенно иного общества и иной системы образования. Были выявлены не только «перевернутые пирамиды» профессиональных ожиданий, но и доказано наличие усиливающегося неравенства шансов разных социальных групп на получение современного образования.

*Социология молодежи* (Там же: 133–147). Здесь с помощью представительных исследований удалось вплотную подойти к анализу социальных различий между отдельными поколениями молодежи и тем самым поставить под сомнение государственную идею преемственности поколений. Социологи сумели коснуться трагических страниц жизни предвоенного поколения (влияние политических репрессий на трудовой и профессиональный путь), оценить последствия перерывов в трудовой и образовательной карьере этого поколения; показать влияние экстенсивного развития экономики на процессы вхождения в жизнь послевоенных когорт. Результаты этих исследований полностью совпали с выводами проекта ВЦИОМ 90-х гг. (Советский простой человек 1993: 28), где было показано, что респонденты — деды, отцы и дети — предстают как одно поколение «вполне советских» людей. Хронологически — это когорта советских людей, вступивших в активную социальную жизнь в начале 1930-х гг. и занимавших в ней ключевые позиции вплоть до начала 1950-х. Предыдущее поколение было изломано революцией. Последующее с готовностью восприняло кризис и распад всей системы. Советская система в итоге оказалась не способна воспроизвести самое себя, и по этой причине она была обречена.

Это направление имело «внештатного» научного лидера-энциклопедиста И. Кона, который привнес и развил новые идеи, закрепил понятия возрастных когорт, жизненного цикла, уточнил специфику детства и юности, положил начало социологии личности.

*Социология города* (Социология в России 1998: 151–159). Первые социологические опыты, сопровождавшие начавшееся массовое жилищное строительство в 1960-х гг., дали впечатляющие результаты. Г. Платонов показал, что от момента вступления в брак до глубокой старости семья 6–7 раз меняет требования к жилищу, его местоположению. Это ошеломило! Нелишне будет напомнить, что начатая вскоре после революции реквизиция квартир богатых в пользу бедных быстро зашла в тупик во многом благодаря ленинскому определению богатой квартиры. Таковой было предложено считать всякую квартиру, в которой число комнат равняется или превышает число душ населения, живущего в этой квартире. В итоге пришли к душевой норме в 16 кв. аршин жилой площади, вместо того чтобы искать путь для предоставления отдельной комнаты каждому человеку. В 1969 году, впервые после 30 с лишним лет официальных запретов, состоялось совещание по социальным проблемам жилища. Правда, система «не допустила» социологов «до кухни» изготовления нормативных документов. Но все же удалось убедить власти в том, что урбанизация имеет место во всем мире и повсеместно интегрирует самые разные виды жизнедеятельности. С этого момента качество городской среды стали оценивать через степень выраженности потребностей горожанина.



Несколько позже была показана воспроизводственная роль городской среды (селекция эффективных форм общения, коммуникация норм городской жизни, диалог с «бесконечной» в целом культурой). Этому помогло интенсивное распространение достижений западной урбанистики.

*Исследования села* (Социология в России 1998: 161–172) подорвали официальный тезис о сближении города и деревни. Внутриклассовые различия между разными профессиональными группами работников сельского хозяйства были глубже межклассовых. Различия между колхозниками и рабочими не исчезали.

*Исследования по социологии культуры* (Там же: 329–345) показали, что «потребитель» культуры — субъект, а не пассивный «реципиент» культурной коммуникации. Было установлено явное несоответствие между официальной доктриной о культурном процветании в «самой читающей стране мира» и реальностью, в которой появились андеграунд, телеманы-обыватели, культурная элита либерально-демократического направления, систематически обращавшаяся к «самиздату». Этот срез социокультурных исследований сами социологи называли «нетленным свидетельством реалий культурных практик того времени» (Там же: 18).

*Социология быта и образа жизни населения* (Там же: 472–480). Seriously развившаяся к концу 1960-х гг., эта сфера социологического анализа смогла стать источником надежной информации об условиях и формах повседневной жизнедеятельности сначала в сфере досуга, а затем и более широко — вне общественного производства, в быту. Данные фундаментального исследования (опрос рабочих нескольких промышленных предприятий в пяти городах европейской части СССР, 1965–1968) позволили глубоко осмыслить тенденции развития городского быта как целостной системы, получить картину бытовых занятий семейно-возрастных, доходно-имущественных, культурно-образовательных групп. Книга «Человек после работы», написанная по итогам исследования (Гордон, Клопов 1972), стала одной из наиболее заметных социологических публикаций первой половины 1970-х гг. Обращение социологов к анализу повседневной жизни людей помогло преодолению упрощенных, мифологизированных представлений об обществе, утверждению подходов, позволяющих изучать жизнь современного человека во всей ее сложности. Авторам удалось соотнести быт с жизненным циклом человека, показать влияние социального возраста людей на особенности быта и образа жизни.

Особого упоминания заслуживают результаты *исследований общественного мнения и процессов массовой коммуникации* (Социология в России 1998: 573–586). Высокое научное качество социологических работ этого направления во многом определяли теоретические разра-

ботки, осуществление которых все время, начиная с конца 1950-х гг., опережало создание эмпирической базы. Информационно-коммуникативная концепция общества, теория массового сознания играли роль научных платформ, на базе которых произошло объединение большого числа исследователей Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Тарту и многих других городов. В итоге началось накопление баз данных, отражавших динамику умонастроений советского общества послесталинского периода. Были сформированы различные исследовательские структуры, включая общесоюзные; положено начало проведению общесоюзных обследований и опросов, а вместе с этим — и развитию методической базы (разработка опросных анкет и интервью, расчеты различных типов общесоюзных и региональных выборок, создание систем обеспечения надежности первичной социологической информации). Эти исследования открыли путь к изучению эффективности средств массовой коммуникации (телевидение, радио, печать), познанию советского менталитета, положили начало изучению социальной и гносеологической природы массового сознания советских людей, характерного для последних десятилетий СССР. Необходимо еще раз подчеркнуть особую роль Института общественного мнения газеты «Комсомольская правда», ценное научное наследие которого лишь сейчас начали вводить в научный оборот, принципиально обогащая коллективную память нашего народа и повышая степень изученности советского строя — предшественника обновляемой России (Грушин 2001).

### **5.3. Социологическое видение развития общественной жизни**

Советская культура или культура советской цивилизации? Привычно пользуясь концепцией «тоталитарного общества», которая *была порождена условиями «холодной войны» и являлась изобретением западной социологии*, искавшей способ наиболее точного представления своего главного идеологического противника в глазах мирового сообщества, можно прийти к достаточно одномерному представлению о советской системе (Фирсов 2006). Это был режим, опиравшийся на насилие (террор), которое охватывало все сферы жизнедеятельности общества (прежде всего политическую и экономическую), а также на принудительную идеологическую индоктринацию. По мнению В. Волкова, подобный взгляд гипертрофирует роль советского государства и мало что оставляет советскому обществу (Волков 1997). В этом случае общество должно было бы состоять из «винтиков», лишенных каких бы то ни было субъектных прав. Что касается государства, то оно возвышается

над индивидом, заполняя собой все клетки жизненного пространства, включая структуры повседневности. Обращение к «земным» реалиям (речь идет об анализе разнообразия человеческих действий, конкретных практик в условиях СССР) позволило дополнить представления о жестком, насаждаемом сверху социальном порядке более сложной, многомерной, «диффузной» моделью. Согласно этой модели, внутри советской системы действовали механизмы длительного и сложного согласования интересов общества и государства, их взаимного приспособления (Волков 1997: 327).

Такой взгляд является более емким. Он позволяет включить в рассмотрение не только системы партийно-государственных запретов, ограничений, всякого рода социальных табу, технологии подавления и репрессий, но и способы их искусного обхода, игнорирования и даже использования для своих целей, что открывало перед членами общества различные возможности для выживания. Здесь и сама власть выглядела более объемной, если принимались во внимание не только ее репрессивные, но и продуктивные действия и эффекты. «В этом смысле понятие “советская цивилизация” могло бы послужить более удачным наименованием для конфигурации практик, на *фоне* (курсив мой. — Б.Ф.) которых осмысленно функционировала официальная и неофициальная терминология советской системы» (Там же: 328). Этот фон составляли реальные отношения с гражданами. Сюда входили, с одной стороны, экономические и политические «игры по официальным правилам», а с другой — традиционные местные практики и формы коллективной жизни, системы личных связей и способы использования государства в личных целях, фактические повседневные действия, связанные с защитой от всеислия и преследований со стороны государства, и многое другое, что в последующем определило векторы (уровень и направления) развития культуры.

В первые десятилетия большевистской власти (1920-е и особенно 1930-е гг.), пока в сознании масс поддерживался социалистический энтузиазм, тоталитаризм эксплуатировал общинные, коллективистские традиции, восходящие к корням российской ментальности, с целью подавления личности и превращения общества в казарму. Но, по замечанию Г. Дилигенского, едва энтузиазм начал иссякать, как насаждаемые сверху искусственные формы коллективистской жизни стали отторгаться. Они осознавались все более как правила официальных отношений человека с государством. В условиях, когда социальная группа не могла выступить в защиту своих членов и тем более объединиться для отстаивания общих интересов, рациональная стратегия выживания индивида и его приспособления к правилам существования в советском социуме стала реализовываться в соответствии с принципом «каждый спасается в одиночку...» (Дилигенский 1997).

Хочу подчеркнуть еще раз: у обычного советского человека не было шансов для элементарного самосохранения без явной или мысленно допускаемой сделки с «дьяволом» — всемогущей властью. В то же время и сам «дьявол» в данном случае не мог существовать, не совершая постоянных сделок с множеством рядовых людей, не признавая за ними права на обособленную (приватную, семейную) сферу и права на самосохранение.

Авторы исследования «Советский человек», проведенного ВЦИОМ в 1989 г., писали, что «взаимная снисходительность», проявлявшаяся в подобных бесчисленных случаях, привела к формированию двойных стандартов в обществе, а точнее говоря, — к двоемыслию. В итоге в той или иной мере все группы образованной элиты и отдельные ее представители «вынуждены были пройти через “сделку с дьяволом”, стремясь к тому, чтобы сохранить себя, возможность работать и хранить культурное наследие» (Советский простой человек 1993: 31–32). Исследователи писали о том, что, с одной стороны, такого рода сделка сформировала типично советскую интеллигенцию, посаженную в мишурно-позолоченную клетку; с другой стороны, во многих случаях она разлагала ту часть общества, которая была не в состоянии выдержать тяжесть нравственных компромиссов. Однако наряду с существованием двоемыслия (дожившего и до нашего времени!) объективно имело место четкое осознание его пагубных последствий для общества. Данный факт со всей неизбежностью привел к тому, что уже в 1970-е гг. стали функционировать в открытой форме две культуры — разрешенная и не разрешенная. Подобное раздвоение означало переход к открытому сопротивлению власти.

Пристальный взгляд в прошлое позволяет отдельным исследователям заявить более радикальную позицию, опровергая стереотипное мнение, согласно которому советское общество было «сплошным ГУЛАГом». В своем интервью газете «Комсомольская правда» Б. Грушин, автор книги «Четыре жизни России в зеркале общественного мнения», заявил: «Закончив первый том, я могу точно сказать, что наше общество было неоднородным. Оно населялось не только homo soveticus, но и homo communisticus и homo sapiens. И это принципиально отличается от расхожей точки зрения, что все — “совки”. Не все. Работая над вторым томом, я вижу, как одна из групп, homo communisticus, постепенно исчезает уже в эпоху Брежнева, потому что обещанный коммунизм гигнулся, и все знают, что он не то что не за горами, а его вообще не существует, и уж, во всяком случае, он невозможен в нашей стране. Кстати, “шестидесятники” из той же породы, homo communisticus, как ни обидно. Зато возникает совершенно очевидный конфликт между homo soveticus и homo sapiens. Число последних увеличивается, и у них

совершенно другая система ценностей» (Философ и социолог Борис Грушин 2001).

Мы видим, что социологическое представление о развитии общественной жизни не противоречит парадигме нормальности, предлагаемой историками. Наступила пора трезвых размышлений, связанных с пониманием и переоценками недавнего советского прошлого, которые надо избавить от крайностей «лингвистической победы» российской интеллигенции, одержанной в период пика перестроечной гласности. В результате этой победы были реабилитированы рынок, инакомыслие, даже диссидентство, картина изменяющегося общества стала привычной.

Кризис, по М. Фуко, всегда связан с критическим дискурсом, который не только отражает, но и создает этот кризис. Акцент на развенчании старой власти в период перестройки не укрепил позиции новых политических сил. Массовое сознание, оставшись без средств интерпретации прошлого, сначала оказалось дезориентированным, а затем было возвращено назад, в знакомое прошлое. И иначе, по-видимому, быть не могло, если принять во внимание существование двух объективных обстоятельств.

Первое из них — быстро развившийся, весьма поверхностный, массовый идеологический мазохизм («мы страна рабов», «наша страна — черная дыра истории», «хуже нас нет никого»). Второе — отсутствие глубокой моральной переоценки прошлого. Ю. Левада убедительно объяснил это слабостью институциональной структуры (образовательные институты, СМИ и т. п.), которая должна обеспечивать производство коллективной памяти. Негативный исторический опыт, ставший так или иначе известным обществу, оказался ограниченным рамками индивидуального (в редких случаях — группового) опыта, передача которого другим поколениям была затруднена из-за неучастия в этом процессе соответствующих категорий интеллектуалов, например социологов. Л. Гудков ставит вопрос об устойчивости механизмов антропологической и культурной ретрансляции. Их сбой привел к тому, что поколение 60-х гг. — держатель исторического опыта свидетелей сталинизма — не сумело ни критически осмыслить этот опыт, ни передать его в обобщенной и аналитической форме молодым (Гудков 1999: 23–24). Социология, которая в неменьшей степени, чем история, формирует представления о прошлом, не должна забывать об этом. Хорошо, если бы она начертала на своем знамени слова, написанные нашим великим русским поэтом А.С. Пушкиным в письме А.Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г.: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой Бог нам ее дал».

## 5.4. Генезис качеств советского человека

Начну с того, что, на мой взгляд, не должно вызывать сомнений. Каждая цивилизация в процессе своего развития создавала свой набор социальных институтов, ценностей и правил поведения. На этой основе возникал характерный только (или преимущественно) для нее *тип человека*. Здесь полезно напомнить очень глубокую мысль, высказанную К. Марксом, — об изменяющихся в историческом времени «производителях», которые приобретают «новые качества» путем преобразования самих себя и создания новых сил, новых представлений, новых способов общения, нового языка, новых потребностей (Маркс, Энгельс, т. 46: 483–484). Был человек Рима и Китая, Европы периода средневековья, Европы нового времени. В каждом из таких человеческих типов воплощались и концентрировались черты соответствующего исторического времени (достаточно вспомнить хотя бы Т. Адорно и его классический труд об авторитарной личности).

Ю. Левада отмечал, что человеческая личность, — быть может, самый надежный носитель «кода» данной социальной системы и ее ценностных ориентаций (Левада 1992). Отсюда и повышенная актуальность таких вопросов, как: «Существовал ли свой тип человека в советской общественной системе?», «С каким человеческим материалом имели дело ее создатели и правители?», «Какова возможная судьба этого “материала”?», «Насколько историчны и истинны его свойства?», «Способны ли они сохраниться после крушения системы?». «Если да, то не смогут ли они быть использованы для того, чтобы вновь возродить ее?», «Что стоит за понятием “люди” в современном российском обществе в период его перехода к новым социально-экономическим условиям?». Поиск ответов на эти нелегкие вопросы привел к появлению нового и перспективного направления фундаментальных исследований — комплексного изучения качества человеческих ресурсов, или качества населения.

Небольшое пояснение по поводу термина «качество населения» поможет понять, о чем пойдет речь. Этот термин сначала «получил прописку» в демографии, которая главными характеристиками качества населения считает его репродуктивные свойства и семью, хотя многие ученые издавна стремились выйти за рамки этого представления. «Протодемографию» называли «политической арифметикой», испытывавшей на себе влияние мальтузианских идей. Многие исследователи (не обязательно демографы) пытались выразить свои суждения о различных свойствах народа.

Русский историк и публицист князь М.М. Щербатов еще в XVIII в. писал о «повреждении нравов». Ю.Э. Янсон<sup>1</sup> считал статистику народонаселения анатомией общества и даже написал книгу о направлениях обработки нравственной статистики. А.И. Воейков<sup>2</sup> поднял проблему людности как функции народного быта, истории и природных условий. Н.А. Каблуков<sup>3</sup> многое сделал для изучения грамотности населения. И.И. Мечников<sup>4</sup> исходил из идеи продления жизни, считая, что старики не должны быть обузой для общины, если сумеют свою опытность применить к наиболее тонким и сложным задачам общественной жизни. Д.А. Милютин<sup>5</sup> предлагал рассматривать население как субъект военной мощи государства. Впервые в отечественной демографии вопрос о «качестве населения» в том смысле, как мы теперь его употребляем, поставил С.А. Томилин<sup>6</sup>. Им была выдвинута идея о необходимости воспитания такого свойства в людях, как воля к здоровью.

Наш знаменитый соотечественник, социолог П. Сорокин, в своей классической работе «Современное состояние России» (Сорокин 1992а: 188–189) писал о том, что существует множество признаков, по кото-

---

<sup>1</sup> Янсон Юлий Эдуардович (1835–1893), профессор, член-корреспондент Петербургской АН, занимался статистикой и экономикой, заложил основы городской статистики. В 1881 году добился учреждения статистического отдела при Петербургской городской управе (возглавлял его до 1893 г.), заложив основы городской статистики. С 1882 года под редакцией Янсона выходил «Статистический ежегодник С.-Петербурга» — первое подобное издание в России. Он руководил переписями населения С.-Петербурга в 1881 (первая городская перепись) и 1890 гг. Автор работ по теории и истории статистики, демографии.

<sup>2</sup> Воейков Александр Иванович (1842–1916), российский географ, основоположник климатологии в России, профессор, член-корреспондент Петербургской АН.

<sup>3</sup> Каблуков Николай Алексеевич (1849–1919) — экономист, статистик, общественный деятель, доктор политической экономии и статистики. Отстаивал идею устойчивости мелкого крестьянского хозяйства в России. В начале XX в. научные интересы Н.А. Каблукова были тесно связаны с проблемами методики преподавания политической экономии. Преподавал в Московском университете.

<sup>4</sup> Мечников Илья Ильич (1845–1916), Нобелевский лауреат. Внес весомый вклад в развитие таких наук, как сравнительная эмбриология, микробиология, иммунология, геронтология, антропология.

<sup>5</sup> Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912), граф, крупный российский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, военный министр (1861–1881), реформатор. Историк, мемуарист. Почетный член Петербургской АН (1866), доктор русской истории. Один из ближайших, наиболее энергичных и наиболее заслуженных сотрудников императора Александра II.

<sup>6</sup> Томилин Сергей Аркадьевич (1877–1952), советский ученый, специалист в области социальной гигиены, санитарной статистики, истории медицины, демограф, профессор (1926), доктор медицинских наук.

рым дифференцируется любая совокупность людей: гении и идиоты, здоровые и больные, волевые и безвольные, старики и дети, мужчины и женщины и т. д. — все эти группы лишь обозначают собой вариации бесконечного разнообразия свойств индивидов. Поэтому судьба любого сообщества зависит от свойств его членов. (Короткий пример: адаптивность людей к переменам и восприятие ими реформ заметно варьируют при переходе от слоя к слою, от группы к группе. Взяв за основу предложенную Сорокиным стратификацию, можно было бы показать, как по-разному «справляются с жизнью» упомянутые им элементы структуры человеческого сообщества.)

Правда, Сорокин в цитированной работе берет трагическую ноту. В испепеляющих годах российской истории (1914–1922) он увидел лишь то, что убивали «лучшие элементы» и плодили «худшие». В итоге, по его мнению, погибли наиболее здоровые биологически, наиболее способные энергетически, наиболее волевые, одаренные, морально и умственно развитые психологически. Здесь Сорокин подводит нас к нетрадиционному представлению о неравенстве качеств людей, сочувствуя и сострадая тем из них, кого он называет «лучшими элементами» и на чью долю в эпоху социальных катаклизмов и напряжений выпадает обязанность «сжигать себя» во имя сохранения народа и его будущего (Сорокин 1992б: 185–189). Таким образом, неравенство состоит не только в различиях прирожденного и приобретенного опыта жизнедеятельности. Помимо этого существует неравенство затрат («амортизации») духовных и умственных потенций, жертвами которого в силу исторических превратностей становятся люди, считающие себя совестью народа, его защитниками и просветителями.

Заслуга выдвижения общесоциального подхода при анализе качества населения, несомненно, принадлежит президенту Римского клуба Аурелио Печчеи (1908–1984). Его работа «Человеческие качества» (Печчеи 1980) помогла увидеть зависимость судеб современной цивилизации от природы человеческого материала. Качество людей А. Печчеи предложил считать «самым важным ресурсом человечества», возможно, сравнимым только с тем теплом, той энергией, которую нам щедро посылает солнце. Идею президента Римского клуба подхватил наш соотечественник, физик, академик П.Л. Капица. Под качеством народонаселения он предложил понимать целый комплекс медико-генетических и социально-психологических характеристик жизни людей — их физическое здоровье, уровень развития интеллектуальных способностей, психофизиологический комфорт жизни, механизмы воспроизводства интеллектуального потенциала общества.

Теперь можно очертить контуры термина «качество населения». Единство биосоциальной сущности человека позволяет отнести сюда *биологические* свойства людей, от которых зависит смена уходящих из



жизни поколений новыми, нарождающимися, а также *надбиологические* свойства и характеристики, обеспечивающие непрерывное производство средств жизни и развитие системы общественных отношений.

Для социологии наибольший интерес представляет вторая группа — надбиологические свойства, и в особенности те из них, которые интегрируют внешние требования и тем самым приспособливают человеческую энергию к законам развития данной социальной системы. Ядро этих свойств правомерно связывать с тенденциями к росту, развитию потенций человека. Важно, что они зафиксированы не только в биологической природе, но и являются, как заметил К. Леви-Стросс, следствием возникновения социальной жизни, языка, ценностей или, выражаясь обобщенно, культуры.

Это представление было взято за основу при разработке двух исследовательских подходов. Один из них, назовем его *изучением качества населения*, связывали с теми свойствами людей, которые позволяют данной общности (населению) пережить переломные периоды истории. Повороты, изгибы, зигзаги истории — вот объективная почва для актуализации понятия «качество населения». Этот подход и его результаты с необходимыми подробностями описаны в коллективной работе, выполненной при моем участии (Качество населения 1996). Поскольку во многом это уже послеперестроечная социология, я не буду подробно останавливаться на полученных результатах, но все же скажу об этом несколько слов.

В одном из вариантов первого подхода качество населения определяется как замыкающий ресурс развития (Генисаретский 1994). По мере того как общество, опирающееся на информационные и интеллектуальные технологии, обретает черты реальности, в роли условия, завершающего процесс становления такого общества, начинает выступать «человеческий капитал». Ценность такого капитала определена также качествами людей, ставших объектом вложений, прежде всего их образованием (знаниями) и квалификацией (умением). Но это уже будущее, которого я не стану касаться.

Другой подход можно определить как *социолого-антропологический*. Чтобы охарактеризовать его, вновь сошлюсь на авторитет Ю. Левады, который подчеркивал, что человека необходимо рассматривать как краеугольный камень сооружений, именуемых социальными устройствами. Используемый для этих «сооружений» человеческий материал предстает в виде набора многообразных типов, о чем уже говорилось. Является аксиомой, что современные общества отличаются крайне высокая степень разнообразия, что можно объяснить прежде всего широтой спектра человеческих качеств, комбинации которых образуют названные типы под влиянием социальных обстоятельств. Главное заключается в том, что, несмотря на гневное отрицание на-

шего прошлого и даже начавшееся было расставание с ним, социальные типы бывшей советской системы не только не исчезают, но даже и не изменяются быстро. Основная причина этого — типы имеют социально-антропологическую основу, которая обладает известной консервативностью и уже в силу этого не может измениться за считанные годы социальных перемен.

Однако самосохранение «человека советского» (*homo soveticus*) определяется не только медленной скоростью историко-эволюционных изменений. Большое значение имеет живучесть старых экономических структур и отношений, в лабиринтах которых «человек советский» еще долгое время будет находить себе прибежище. Во всяком случае, многолетнее сравнительное исследование ВЦИОМ позволило зафиксировать «уходящую натуру» — сильную идентификацию респондентов с советским прошлым (Левада 1992; Человек советский 2000: 392–548).

Обращает на себя внимание тот факт, что исследование опиралось на весьма надежную эмпирическую основу. Разработав программу под условным названием «Советский человек», социологи смогли в ходе полевых работ первой волны, в ноябре 1989 г., опросить 2700 респондентов из различных республик и регионов СССР (российская выборка при этом составила 1250 человек). Полевые работы второй волны состоялись 5 лет спустя, в 1994 г. (было опрошено 3000 респондентов, представлявших различные слои российского населения). Наконец, еще через 5 лет, в марте 1999 г., были проведены полевые работы третьей волны (было опрошено 2000 россиян) (Человек советский 2000: 438).

Результаты сложных по своему замыслу и исполнению исследовательских процедур, разделенных между собой достаточно значимыми по своей протяженности периодами, выдвинули ряд проблем методологического характера. Одна из них — воздействие глобальных социальных перемен на сознание респондентов, что потребовало внесения определенных поправок, учитывавших весьма заметные сдвиги в оценках и понимании явлений и категорий социальной и политической реальности.

Напомню, что опрос 1989 г. застал российское, во многом лишь номинально советское, общество в момент взлета иллюзорных надежд. В ту пору люди еще уповали на существенность перестроечных перемен. Однако тогда же появились и первые признаки разочарования. Опрос 1994 г. проводился в тот период, когда россияне были заняты радикальной переоценкой имевших место изменений и поиском механизмов стабилизации жизни в условиях обострившегося кризиса. Последний опрос 1999 г. проходил в атмосфере всплесков ностальгии по советскому прошлому на фоне попыток вынужденно (болезненно, непривычно) адаптироваться к радикальным социальным изменениям.

Вынужденное приспособление есть одна из главных причин, в силу которых господствовавшие ранее свойства (черты советского че-

ловека) сохраняют свое доминирующее значение, вместо того чтобы становиться рецессивными, т. е. оказывающими существенно меньшее влияние на общую конфигурацию социальных качеств людей. Задержка наступления рецессии (иными словами — «отступления», перемещения на задний план) этих свойств свидетельствует о длительном характере «рецидивов» советской ментальности.

Социологи нашей страны не могли изучать «человека советского» в пору его расцвета (с некоторыми допущениями можно утверждать, что эта пора пришлась на конец 1930-х гг.). В поле зрения профессиональной социологии этот феномен оказался лишь на самой последней стадии своего относительно стабильного существования, когда разворачивающийся кризис уже сильно встряхнул социальную систему, но еще не принял характера социальной катастрофы.

Ситуация глубокого общественного раскола, кризиса всех основных общественных институтов всегда создает уникальные возможности для рассмотрения тех компонентов и механизмов социального устройства, которые в обычных условиях скрыты и незаметны. Это вполне можно отнести и к «краеугольному камню» социального сооружения — человеку. Его свойства во многом формируются обществом, однако, по замечанию Левады, это происходит не обязательно сознательно, по чьему-то замыслу или желанию. Решающая роль здесь принадлежит «обстоятельствам» — сложному сочетанию, синдрому жизненных, педагогических, пропагандистских воздействий. Поскольку исследователи имели дело с социальным продуктом относительно быстрого формирования, который складывался десятилетиями, а не веками, то его черты могли оказаться далеко неравнозначными. Одни можно было считать доминирующими (например, осознание индивидом своей государственной принадлежности, его одиночество в толпе, опыт обучения в школах жестокости, базовые этнические рамки и образцы, мнение об источниках радостей), а другие — малозначащими и подчиненными, что предполагало их историческую изменчивость, ситуативность, зависимость от времени, от особенностей того или иного периода развития страны.

Представления о «человеке советском», какими они видятся в результате нескольких стадий многолетней реконструкции его исходных форм, являются *алгебраической суммой* ряда сущностных характеристик, выявленных путем изучения когда-то существовавшего целого через «разрушенное». Воспроизведу близко к авторскому тексту эти интегральные характеристики, построенные путем синтеза всех трех стадий уникального социологического проекта (Левада 2006б: 265–270).

(1) Это — «человек изолированный». Приходится повторить, что социальная и культурная изоляция страны были доведены до предела. Прекратились контакты на человеческом уровне, а многотонный «же-

лезный занавес» отгородил большую страну от опасностей капиталистического окружения. «Китайской стеной», но на советский лад, явились волны массовых гонений против «буржуазного космополитизма» и «преклонения перед Западом». Этот надуманный «патриотический» вздор калечил души и судьбы людей.

Однако подобные кампании находили благодатную почву в человеческом материале, созданном усилиями советской власти. Исторически и психологически укорененные бинарные оппозиции типа «свое» — «чужое», «наше» — «вражеское» работали в массовом сознании куда эффективнее доктринерских классовых разграничений (Там же: 266). Изоляция от внешнего мира успешно дополнялась намеренной изоляцией от собственного прошлого. Вся история была вывернута наизнанку только ради того, чтобы представить 1917 год поворотным событием для всего мира. Всячески стимулировалось чувство изоляции от собственного внутреннего мира — «излишних сложностей» генетики, культуры, психологии. Внутренняя изоляция действовала на людей сильнее, чем многие принудительно навязывавшиеся внешние ограничители. Это было не только «табу» на информацию извне, но и боязнь информации, нежелание иметь ее, неумение ее получать, готовность воспринимать любое новое знание, факты, сообщения только сквозь призму традиционных стереотипов, консервативного индивидуального и коллективного опыта (неофобия) (Там же).

Одновременно образовалась почва для массовой апатии, непонимания чужого, неготовности к активному социальному действию. Именно тогда возникло еще одно опасное явление — «элитарный» изоляционизм. Итогом многолетних идеологических чисток среди интеллигенции, особенно среди той ее части, которая ассоциировала себя с властью или находилась в окол властном пространстве, явилось искоренение влияния «западников», «космополитов», «интернациональных революционеров». Взамен этого на грани 1940–1950-х гг. возникли и начали развиваться устойчивые синдромы русофильских, великодержавных, шовинистических, антисемитских настроений.

(2) Это — «человек без выбора», чьим историческим уделом была безальтернативность. Жизнь была устроена таким образом, что отсутствовали не только варианты политического, идейного, в значительной мере даже эстетического выбора, табуировались профессиональный выбор (например, запрещение самовольных переходов с одной работы на другую), избирательное поведение в сфере личной жизни (запрет на аборт). Хотя были развиты неофициальные практики обхода этих ограничений. Главное же заключалось в том, что абсолютной оставалась безальтернативность политической системы. Разные люди и в разных жизненных ситуациях воспринимали ее по-разному — с энтузиазмом, по привычке, с лукавым терпением, редко — с возмущением

или протестом, но непременно и едва ли не во всех случаях как нечто данное, неизбежное, неизменное. В массовом сознании отсутствовали варианты существования не только в настоящем, но и в будущем.

Утопия грядущего земного рая, ограниченного в позднейших вариантах «отдельно взятой страной» (в этот рай мало кто верил), выполняла сугубо идеологическую функцию — закрепляла массовую иллюзию вечности данной социальной системы (Левада 2006б: 267). Два первых «доминантных» советских поколения выросли, практически не имея представлений о существовании других миров и иных линий общественного развития. Инерция таких представлений оказалась настолько сильной, что даже поколение «шестидесятников» (имеется в виду его интеллигентская верхушка!) исходило в своих планах и устремлениях не столько из альтернатив существующей системе, сколько из возможности гуманизированного варианта — так называемого социализма с человеческим лицом, образ которого родился и погиб вместе с пражской весной 1968 г.

(3) Это — *«человек упрощенный»*. Этой характеристикой подчеркивалось требование системы — формировать человека, знающего свое место в системе, без лишних претензий и недоумений. Перечислить разные стороны этой «упрощенности» (послушность власти, умение довольствоваться малым и жить как все, не стремиться к слишком заметным отличиям от других, жить заботами и ожиданиями от всемогущего государства, небрежение к личным интересам и даже к собственной жизни ради целей высокого, надындивидуального порядка, и т. д.) — значило бы составить некий «антидостижительный» кодекс, целью которого было «оттеснить неконтролируемые проявления с демонстративной плоскости общественной жизни» (Там же: 269).

(4) И еще одно ведущее качество — *«человек мобилизованный»*. Для советского тоталитарного социализма постоянная мобилизованность была «нормальным» состоянием. Подчинение различных, если не всех сфер жизнедеятельности общества целям, задаваемым извне, постоянная необходимость действий отдельных лиц, групп, субъектов права в пользу центра, работа общественного механизма на исчерпание ресурсов требовали экстраординарного напряжения всех сил — перманентной мобилизации на основе постоянно действующего принуждения. Непременным условием мобилизационных состояний стала обстановка постоянной борьбы с внутренними и внешними врагами, с природой и за урожай, за перевыполнение плана и др. В этих условиях требовалось поддерживать и воспроизводить псевдогероическую атмосферу, опирающуюся на мифологизацию персонажей (герои, враги) и ситуаций (измена, коварство, подвиги) (Левада 2001: 11).

Здесь мне хотелось бы сделать небольшое замечание. Даже считая советский режим обреченным на историческое поражение, мы не

можем не принимать во внимание живучесть советской ментальности. Поэтому выражение «уходящая натура» кажется вполне релевантным переживаемой ситуации, когда советское общественное устройство сходит с исторической арены, но *homo soveticus* не исчезает и ищет себе, по образному выражению Левады, шанс на обретение экологической ниши в развалинах распределительной экономики и номенклатурной кадровой системы. Данные ВЦИОМ (Левада 1992; Социология в России 1998; Человек советский 2000: 392–548), а также данные, полученные при осуществлении проекта изучения качества населения Санкт-Петербурга (Качество населения 1996), позволяют увидеть, каким образом, в каких слоях социальной и демографической структуры и с какой скоростью происходит расставание с прошлым. Позволю себе прокомментировать эти эмпирические результаты.

Мир *homo soveticus* не рассыпался, подобно берлинской стене. Полезно вспомнить, что венгерские социологи в «пробном» выпуске журнала «Коридор» (1994) поставили вопрос о своеобразной контрцивилизации, которая еще недавно, в советскую пору, определяла видение мира, культуру труда и повседневную жизнь восточноевропейского человека. Черты этого человека были во многом окрашены в национальные цвета. Венгерский *homo kadaricus* заметно выделялся на фоне себе подобных склонностью к сделкам, нацеленностью на потребление и был «полуобуржуазившимся». В то же время, и это представляется более важным, многих граждан восточноевропейских стран объединяли такие общие черты, как инфантилизм в том, что касалось ответственности за собственную судьбу. Ее частные производные — привычка стоять в строю; едва ли не слепая вера в преимущества социалистической системы; ложное ощущение блаженной простоты и ясности мира; иллюзия защищенности в рамках дозволенного свыше. Однако освобожденный от ответственности человек не мог свободно строить свою жизнь, был лишен многообразия жизненных альтернатив и возможности для самовыражения. Крушение привычного мира, взлет надежд в первые исторические мгновения начавшейся перестройки и их скорая утрата предопределили неизбежность духовного кризиса.

Не без умысла сошлюсь на пример населения восточных земель нынешней Германии. Страна, казалось, предоставила немцам из бывшей Восточной Германии едва ли не идеальные условия для того, чтобы они могли войти в техногенную цивилизацию. Однако многие из них по-прежнему демонстрируют демобилизацию сил и беспомощность перед реальностью здорового и преуспевающего капитализма. Атрофия мобилизационной готовности у восточных немцев — сюжет, достойный внимания. В бывших странах государственного социализма огромное число людей продолжают переживать духовное и моральное раздвоение: одни ностальгически относятся к старым социалистическим поряд-

кам, другие, напротив, едва ли не фанатически поклоняются богу рынка. Эта поляризация заметно тормозит процесс изменений в обществе.

Некоторые авторы допускают, что причины ренессанса коммунистических (советских) ценностей, наблюдаемого на территории нашей страны и бывших социалистических стран, можно объяснить, исходя из идей О. Шпенглера об определенной продолжительности жизни и фазах развития как формируемых заново, так и сложившихся культур. В таком случае следует признать колебательный характер этого развития и его определенную нестабильность, которая может быть своеобразной наследственной чертой общества, чья коллективная психология несет на себе следы тоталитаризма и конформизма. Здесь может срабатывать «пугающая» схема — циклическое повторение периодов жесткой тоталитарности, сменяемых более короткими «оттепелями». Последние заканчиваются анархией, но вслед за этим опять появляется «твердая рука» (Кузьменко 1999).

Журнал «Искусство кино» в конце 1990-х гг. посвятил кинематографу Германии почти целый номер, опубликовав несколько статей немецких интеллектуалов о долгожданном и выстраданном немецкой нацией воссоединении двух разрозненных частей страны. Вот лейтмотивы этих публикаций. Общество оказалось не готово к объединению и раскололось. Одни платят «взнос солидарности» (дополнительный налог на реформирование жизни в восточной части Германии), другие не выдерживают вороха обрушившихся проблем. Все, вместе взятые, только теперь увидели истинную глубину пропасти этого воссоединения, на пути которого вновь возникло тоталитарное понимание свободы (отсутствие нищеты и безработицы) и нежелание восточных немцев признавать приоритет либеральных прав индивида. Ибо необходимость решать самостоятельно важнейшие вопросы выживания и материального достатка стала во многих случаях чрезмерным требованием к индивиду.

Свобода творит неравенство, и именно этим она страшит «осси», как называют теперь бывших граждан ГДР. «Люди испытывают культурный шок, который предполагает десяток определенных психических реакций: стресс из-за того, что от человека требуют приспособляемости и связанных с нею поступков; страх потерять работу, статус и имущество; ощущение, что от тебя отворачиваются “новые господа”; непонимание собственной роли, ценностей и идентичности; негодование по поводу масштабов культурных различий; наконец, чувство бессилия, поскольку человек не в силах справиться с новой ситуацией» (Хальтер 1998: 66).

Исходя из других позиций, можно говорить о том, что бывшая Восточная Германия стала пространством, на котором развернулась настоящая культурная война. Спорят о западных ценностях, но западногерманские интеллектуалы хранят упорное молчание. Тем не менее

война эта разделяет друзей, семьи и партии. Речь идет прежде всего о конфликте между свободой и равенством. «Восточные немцы родом из контролируемой государством культуры уравниловки, где слесарь и профессор медицины жили на одной площадке панельного дома. Уничтожение этого “равенства маленьких людей”, осознание того, что коллега, с которым состоишь в приятельских отношениях, поднимается по ступеням нового общества, а сам ты отстаешь, — одно из самых сильных потрясений после объединения» (Хартунг 1998: 78).

Этой тенденции можно дать аналитическое объяснение, если исходить из Закона позитивной и негативной поляризации, предложенного П. Сорокиным (Сорокин 1993: 125–150). Согласно этому закону, в периоды радикальных экономических, политических, социокультурных преобразований люди ведут себя далеко не одинаковым образом. Общество дезинтегрируется: одна его часть начинает склоняться к социальной аномии; другая, напротив, стремится к консолидации усилий, к обновлению всех сфер жизнедеятельности путем морального возрождения и демонстрации доброты, обеспечивая тем самым не только самосохранение, но и обновление общества в целом.

Следует признать, что до настоящего времени наши политики самого разного уровня и по сей день не принимают во внимание взаимосвязь позитивной и негативной поляризации общества, видимо, самоуверенно рассчитывая на безусловную поддержку их реформаторских намерений со стороны большинства населения. Остается загадкой, почему все радикальные преобразования авторитарного толка осуществлялись в России заметно быстрее, чем нынешние реформы, которые изначально опираются на либеральный регламент. Возможно, это происходит из-за того, что постсоветская культура имеет весьма ограниченный опыт независимого существования, а, кроме того, ее ресурсы для осуществления радикальных преобразований, в первую очередь связанных со становлением рыночных отношений и демократии, являются пока ограниченными.

Так все-таки, что «уходит» и что «остается»? Официальные структуры и тем более ярлыки общества изменяются быстрее, чем его основания. Это относится и к человеческому материалу общества, к социальному типу человека. Социологи ВЦИОМ могли еще раз убедиться в этом после завершения эмпирической стадии исследования «Советский человек». Переживаемые обществом потрясения, исчезновение советской символики и фразеологии не влекут за собой перемен в его социально-антропологической основе. Выращенный и «встроенный» советской системой в соответствующую социокультурную нишу, этот человек еще надолго останется «советским».

Уже на первых стадиях исследования советского человека (1989 г.) авторы столкнулись с характерной особенностью объекта — его двой-



ственностью (Левада 1992: 211). С одной стороны, он практически без всякого сопротивления принял крушение социальных и идеологических рамок своего прежнего существования. (Не потому ли, что и ранее эти рамки воспринимались им по преимуществу демонстративно, как элемент игры на выживание?) Но, с другой стороны, из разломов советской системы на поверхность вышел не сказочный освобожденный богатырь, а всего лишь человек, склонный приспособливаться, чтобы выжить. Ю. Левада так пишет о нем: «Готовый декларировать свою приверженность демократии из отвращения к старой системе, но вовсе не приспособленный к демократическим институтам. Готовый следовать в моменты эмоционального подъема за новыми лидерами в надежде на то, что они окажутся отцами народа, вождями его и спасителями. (Кстати, потому и склонный довольно быстро от этих лидеров отворачиваться, если они подобных надежд не оправдают.) Готовый декларировать свою приверженность рынку и приватизации, но почти не готовый к самостоятельному экономическому поведению. Из этой двойственности соткана была ранее и соткана сегодня вся наша противоречивая социальная действительность» (Там же). Данные 1999 г. (Человек советский 2000: 438–466) свидетельствуют о медленном преодолении этой двойственности. Значительное большинство граждан России продолжают оставаться «вынужденно» втянутыми в процесс социальных перемен. Почему это происходит? Возможно, исчерпывающий ответ на этот вопрос удастся получить социологам новой, «третьей волны».

### **5.5. Поиск правдивого знания как отражение социальной истории**

Одно уникальное исследование, проведенное социологом А. Алексеевым в 1978–1980 гг., следует обсуждать вне рамок отраслевых социологий (Ожидали ли перемен? 1991). Забегая вперед, замечу, что оно отражает лишь часть обширных научных интересов и чисто человеческие переживания его автора, которые можно объединить общим понятием «драматическая социология» (Алексеев 1997)<sup>7</sup>. Взлет мысли, отмечающий работу и в равной мере характеризующий личности автора и ото-

---

<sup>7</sup> С выходом этой книги в свет была раскрыта вся действительная история андеграундного экспертно-прогностического исследования рубежа 1970–1980-х гг., а также роль и имена всех его участников и соавторов. В невидимый до поры колледж, помимо А.Н. Алексеева, входили историк М.Я. Гефтер, писатель С. Соснин, экономисты В.Л. Шейнис и Н.Я. Шустрова, что неизменно, начиная с 1997 г., стало отображаться во всех публикациях на данную тему. Подробнее об этих событиях см.: Алексеев 2003, т. 1: 58–119; 2005, т. 4: 400–516.

бранных им респондентов, позволяет на примере только одного этого исследования утверждать, что советская социология внесла свой вклад в социальную историю страны. Но лучше вместо оценок воспроизвести несколько текстов.

**Текст 1.** *«Как установлено компетентными органами...»*

...Кроме того, установлено, что в 1979–1981 гг., Алексеев организовал и провел несанкционированное партийными органами и администрацией ИСЭП АН СССР социологическое исследование «О состоянии и перспективах развития советского общества». Вопросы анкеты «Ожидаете ли Вы перемен?» и методологический комментарий к ней носили тенденциозный характер и были построены таким образом, чтобы получить негативные ответы о состоянии и перспективах развития советского общества...

*(Из записки УКГБ ЛО «В отношении Алексеева А.Н.», март 1984 г.) (Ожидали ли перемен? 1991: 258).*

**Текст 2.** *В порядке личной инициативы...*

Предметом моей основной работы в ИСЭП АН СССР было исследование динамики жизненных условий, поведения и сознания людей, изменений в их образе жизни. Важнейшим условием, всеобщим фактором этих изменений является экономическое, социальное и политическое развитие общества в целом. Без учета этого «прогностического фона» выводы о тенденциях образа жизни людей малопродуктивны.

В 1978 году, в порядке личной инициативы, мною был разработан пробный вариант плана социологического интервью под названием «Ожидаете ли Вы перемен?» (речь шла об общественных переменах, сдвигах, изменениях в общественной жизни).

Вопросник этот разрабатывался в русле разворачивавшихся тогда в нашей стране социально-прогностических исследований. В отличие от сопоставимых по теме анкет, применявшихся в ту пору в ИСЭП АН СССР, мой план интервью предполагал постановку опрашиваемого в положение своего рода эксперта, приглашал к размышлению на актуальные общественные темы...

Как видно, разработанный в конце 70-х гг. методический документ предусматривал заранее не сформулированные ответы на вопросы об общей тенденции общественного развития за последние 10–15 лет, о возможности существенных перемен, качественных преобразований в жизни нашего общества в обозримой перспективе. Запрашивалось мнение о вероятности резких, крутых изменений или, напротив, медленных, постепенных. В плане интервью формулировался вопрос о возможности, необходимости перемен к лучшему, причем высказывалась просьба к опрашиваемому пояснить, что он понимает под «лучшим» и (или) «худшим» в данном контексте. Динамика общественного развития конкретизировалась применительно к отдельным сферам, областям, сторонам общественной жизни, которые предлагалось выделить самому опрашиваемому.

Один из вопросов был специально посвящен человеческому фактору перемен: «В каких общественных слоях, группах, типах людей скорее можно встретить заинтересованность, готовность к осуществлению тех или иных общественных преобразований, а в каких — скорее незаинтересованность или даже противодействие?»

Вспоминая эту работу теперь уже 8-летней давности, я вовсе не модернизирую формулировки вопросника. Дело в том, что сами по себе перемены были уже в конце десятой пятилетки еще не вполне осознанной, но настоящей общественной потребностью. Это «предошущение» перемен, их ожидание и давало импульс упомянутой работе...

*А.Н. Алексеев (Из записки в ЦК КПСС, апрель 1986 г.)  
(Ожидали ли перемен? 1991: 259–260).*

### **Текст 3. Открытые вопросы**

Перепечатаывая материал десятилетней давности (Вопросы из пробного варианта плана социологического интервью «Ожидаете ли Вы перемен?») по запросу сотрудника Музея революции, вздрогнул: да что же это?

Вопросы формулировались в конце 1978 г., в 1979–1980 гг. были заданы полусотне людей. Результаты опробования вопросника не воодушевляли. В 1983 г. методика была признана «политически вредной». Но вот два года спустя (1985 г.) бросилось в глаза почти дословное совпадение некоторых ее формулировок с официальными партийными документами. Казалось, ответы на эти вопросы дала сама жизнь. А вопросник, и впрямь, только в музей. И вдруг...

Перечитываю и замечаю, что именно сегодня (вчера закончил свою работу I Съезд народных депутатов СССР) самое время задавать себе и другим эти вопросы.

Ожидают ли люди перемен? Каких именно? В какой последовательности? В какие сроки? После Съезда вопросы обрели новый смысл. Приглашаю читателя ответить на них, внося необходимые хронологические поправки в формулировки самих ответов.

*Июнь 1989 г. А. Алексеев, социолог (Там же: 261).*

### **Текст 4. Реабилитация временем**

...Девять лет назад ленинградский социолог Андрей Алексеев провел (среди своих знакомых) пробный опрос по анкете «Ожидаете ли Вы перемен?». У интервьюируемых (всего 45 человек) запрашивалось мнение о вероятности резких, крутых изменений или, напротив, медленных, постепенных, заставляющих ждать (или, наоборот, не ждать) перемен в нашей жизни. Был, например, вопрос: «Что Вы можете сказать о “человеческом факторе” перемен? Какие общественные слои (группы) и типы людей, по вашему мнению, заинтересованы а) в переменах “к лучшему”; б) в переменах “к худшему”; в) в отсутствии существенных перемен в жизни общества?»

Поразительно, что вопросы, жгуче волнующие нас сегодня, были сформулированы 9 лет назад! Но эта анкета была признана «вредной» и стала первым из обвинений, за которые талантливый ученый был исключен отовсюду, откуда его можно было исключить, — из партии, из Советской социологической ассоциации, из Союза журналистов. Сегодня Алексеева реабилитировало Время...

*Л. Графова. Преодоление пределов // Литературная газета. 1987. № 39, 23 сентября (Там же: 257).*

### **Текст 5. Моменты «перестроечной истины»**

Научная и гражданская инициатива, предпринятая кандидатом философских наук А.Н. Алексеевым в пик застоя советского общества и обозначенная в рукописи как «экспертный опрос рубежа 70–80-гг.», должна быть предана гласности, а ее поучительная история и результаты — стать достоянием широкой общественности.

В чем видится значение подготовленной к печати рукописи?

Прежде всего, в том, что это важный историко-социологический документ. Экспертная методика «Ожидаете ли Вы перемен?» и ответы, полученные от нескольких десятков специалистов, позволяют представить образцы социально-критической мысли, общественных позиций и взглядов представителей советской интеллигенции и наглядно убедиться в том, что, несмотря на жестокую политическую и идеологическую цензуру, эта мысль, эти позиции и взгляды оставались свободными. Наряду с массовым конформизмом и намеренным самоотстранением от государства они — важнейшая характеристика общественного сознания последней фазы так называемого застойного периода. Для истории и для социологии будет небезынтересно иметь свидетельства того, как подобного рода документы создавались, хранились, уберегались (если удавалось?!), от доносов и преследований, как распространялись и становились способом дальнейшего сплочения единомышленников. Все это имеет непреходящее значение, и наш долг сохранить такие документы в назидание ныне здравствующим и тем более грядущим поколениям.

Второй важный момент — политический. Авторы документа (эксперты) не мыслят себя вне отечества и желают видеть его преуспевающим, а народ — подлинно счастливым. Документ позволяет обнаружить глубочайшую пропасть между официальными доктринами советского государства, партийными догмами и тем, как представляются жизнь и судьба общества его рядовым гражданам. Подчеркнем здесь, что в роли экспертов выступали не гении-провидцы, а типичные представители народной интеллигенции. Своим отношением к действительности и социальному строю они передавали умонастроения широких масс людей (исключим здесь понятие «репрезентативности», к которой и не стремились по понятным причинам организаторы экспертного опроса). Приняв этот факт за данность, можно получить еще одно свидетельство кризиса модели «государственного социализма», равно как и кризиса властных структур, заведших страну в тупик.

Момент третий — научный. Многое из того, что сейчас становится понятным прозревающему обществу, содержится в мнениях экспертов, высказанных, повторимся, 10 лет назад. Чтение ответов на вопросы экспертной методики приводит к однозначному выводу, шла ли речь об оценках положения страны, ближних или дальних перспективах ее развития, анализировались ли внутренние процессы или внешние факторы, подвергалась ли переосмыслению роль субъективных факторов, — в каждом из перечисленных случаев эксперты говорили в тех же понятиях, на том же языке, на котором заговорило общество в эпоху перестройки.

Неисповедимы пути движения к истине. Во всяком случае (как свидетельствует история советских диссидентов и рецензируемый нами социологический документ), моменты «перестроечной истины» многократно возникали еще до 1985 г. Другое дело, какие уроки извлекли из этого «верхи» и «низы».

*Б.М. Фирсов (май 1990 г.)*

(Ожидали ли перемен? 1991: 253–254).

Я счел необходимым проиллюстрировать эти поиски на примере целостного воспроизведения одного экспертного интервью проекта А.Н. Алексеева «Ожидаете ли Вы перемен?». Текст этого интервью датируется апрелем 1981 г., принадлежит социологу А.А. Кетегату<sup>8</sup> и был впервые полностью опубликован в 2003 г. (Алексеев 2003: 580–591). Ответы А. Кетегата имеют значение «сбывшегося прогноза» радикальных изменений (что в нашей науке имело место не часто), которые начались три года спустя по инициативе «верха». Предлагаю читателю по достоинству оценить и восхититься глубиной и логикой социологического мышления рабочего-социолога<sup>9</sup>.

## Экспертный лист № 45

### I–II.

**1.** *Исходя из Вашего опыта, с учетом Ваших жизненных наблюдений и размышлений, как бы Вы охарактеризовали общую тенденцию развития известного Вам общества за последние 10–15 лет: считаете ли Вы,*

<sup>8</sup> А. Кетегат был редактором научного издательства, а впоследствии научным сотрудником НИИКСИ Ленинградского государственного университета. В начале 1980-х гг. переехал в Вильнюс. Примерно в то же время, последовав примеру своих коллег-социологов А. Алексеева, С. Розета, Ю. Щеголева, он добровольно сменил профессию и стал работать на Вильнюсском заводе счетных машин слесарем-сборщиком, а затем аппаратчиком станции очистки гальваностокков, не оставляя серьезных занятий социологией (Алексеев 2003, т. 1: 364, 580).

<sup>9</sup> Выражаю свою признательность А. Кетегату за возможность полностью опубликовать его замечательную работу.

*что свойственные данному обществу (как и всякому другому) противоречия в конечном счете преодолеваются, встающие перед ним проблемы разрешаются или, напротив, происходит усугубление противоречий, накопление нерешенных проблем?*

1. Усугубление и накопление (проблем. — А.А.)<sup>10</sup>.

2. *Пожалуйста, поделитесь своими наблюдениями, позволяющими Вам сделать соответствующий вывод.*

2. Воздержусь. Во-первых, изложение наблюдений оказалось бы более объемным и менее упорядоченным, чем я могу себе позволить. Во-вторых, в немалой (может быть, даже достаточной) степени соответствующий материал приведен в ответах на другие вопросы.

«Накопление» кажется здесь словом, обозначающим не только объективную тенденцию, но и установку (вряд ли сознаваемую) нынешнего населения Олимпа, его политический быт. В интересующий интервьюера период интенсивность попыток — пусть неэффективных и даже просто бестолковых — решить насущные общественные проблемы заметно шла на убыль. Курс государственного корабля стабилизировался за счет того, что на капитанском мостике почти уже и не гадают, где рифы (при прежнем капитане хоть гадали). Пожалуй, это недалеко до «после нас хоть потоп». Тем более что «нам» до «после» каких-то «четыре шага».

«Врожденные», изначально обреченные на усугубление противоречия общества, о котором идет речь, помноженные на «приобретенную» инертность руководства по отношению к проблемам, рождаемым этими противоречиями (едва ли не единственное «научение», способность к которому обнаружило руководство обсуждаемого периода), формируют ящик для грядущей Пандоры.

3. *Каким бы ни был Ваш ответ на первый вопрос, как Вы оцениваете нынешнее состояние данного общества с точки зрения его стабильности (устойчивости): считаете ли Вы это состояние устойчивым (равновесным, инерционным) или, напротив, неустойчивым (несущим в себе потенциальную возможность серьезных общественных изменений)?*

4. *Если Вы считаете нынешнее состояние устойчивым при разрешающихся проблемах либо, напротив, неустойчивым при накоплении нерешенных проблем, это не вызывает дополнительных вопросов. Но если Вы нашли, что данное положение сохраняет стабильность, вопреки усугубляющимся противоречиям, то чем в таком случае Вы это объясняете?*

3–4. Пожалуй, для всей предшествующей истории рассматриваемого общества действительна третья из предложенных позиций. Деся-

<sup>10</sup> Автором примечаний к тексту интервью является А.Н. Алексеев.

тилетиями оно демонстрировало свою устойчивость вопреки усугубляющимся противоречиям. Были попытки решить **дочерние** проблемы, чередовались оттепели и заморозки, но принципиально климат не менялся. Исконные, фундаментальные противоречия не разрешались по той простой причине, что их действительное разрешение означало бы для данной социальной системы самоубийство.

Система адаптировалась к ситуации «на грани кризиса». Случалось, она переступала эту грань (например, на рубеже 20–30-х гг.), но кризисы не переходили в агонию, хотя язык не поворачивается назвать сменявшее их состояние выздоровлением.

Так было. Но будет ли?

Мне кажется, процесс усугубления противоречий приближается к точке, превосходящей адаптивные возможности рассматриваемого социального организма. Еще не вечер, но уже сумерки. Нынешняя устойчивость — устойчивость (сохранность) ледника, сползающего с горы.

*5. Усматриваете ли Вы какие-либо кризисные явления в современном общественном состоянии? Если да, то насколько широко они распространены? В случае широкого распространения, можно ли говорить о наступающем (наступившем) кризисе данного общества в целом?*

<...>

*9. Укажите, пожалуйста, те тенденции (обстоятельства, процессы) современной внутренней жизни, которые утверждают Вас в Вашем взгляде на перспективы развития данного общества в обозримый период (каков бы ни был этот взгляд).*

*10. По возможности, систематизируйте сферы, области общественной жизни (выделив их по своему усмотрению в широчайшем диапазоне явлений публичной и частной жизни), в которых протекают указанные Вами процессы. Как бы Вы расставили эти сферы по их значимости с точки зрения усматриваемых Вами перспектив развития данного общества?*

**5, 9, 10. Экономический кризис.** Обнажение его глубинных причин на фоне вялых и бесплодных (не потому, что вялых) попыток создать эффективную систему регулирования и управления народным хозяйством. Появление даже в массовом сознании догадок о том, что суть дела не в недостаточной смелости этих попыток, а в принципиальной несостоятельности самой экономической структуры.

Я употребляю осторожную формулировку — «появление догадок», поскольку массовое сознание находится лишь в начале трудного пути к прозрению. Пока в нем господствует объяснение экономических трудностей с помощью пропагандистских клише («за мир надо платить») и бытовых наблюдений, отчасти также провоцируемых системой пропаганды (плохие исполнители гробят хорошие директивы, «не

хотят работать», «воруют» и т. д.). Ближе к прозрению та — немалая! — часть массы, которая настроена критически по отношению к руководителям страны (персонально) и даже некоторым элементам социальной организации (к засилью партийной бюрократии, к существующей системе привилегий, к бутафорским выборам и проч.).

Окулистом, который снимет с глаз пелену, точнее — подготовит пациента к операции, будет прежде всего прилавок, главным образом продовольственных магазинов. (Впрочем, «час X» наступит до прозрения, просто в результате того, что упомянутая «немалая часть» по мере дальнейшего оголения прилавка станет значительным большинством.)

В прошлом бывали периоды, когда сельское хозяйство страны оказывалось в еще более плачевном состоянии. Но голод — функция не только предложения, но и спроса. В последние годы он обостряется как потому, что «хлеба» становится все меньше (в душевом ли исчислении или даже валовом — не знаю), так и потому, что нормализовался, в сравнении с прошлым, аппетит потребителя. Системе все труднее подсовывать массовому сознанию «уважительные причины» прогрессирующего оскудения рынка продовольственных товаров.

«Нормализация» аппетита — продукт: а) «нормальной» социальной ситуации (мир, а не война); б) просачивания сквозь прорехи, образовавшиеся в железном занавесе в последние два с половиной десятилетия, информации о том, как «люди живут»; в) воздействия установок самой официальной пропаганды («все во имя человека») — с тех пор, как система была вынуждена перейти от пропаганды идеалов жертвенности как платы за вход в грядущее тысячелетнее царство к более уважительному отношению к текущим бытовым потребностям людей. В последнем случае система сталкивается с бумеранговым эффектом собственных усилий. Переориентация пропаганды была вынужденной реакцией компенсаторного свойства на идейное ослабление режима. Но, стимулируя потребление пропагандистскими средствами и не будучи в состоянии обеспечить соответствие реального пропагандируемому, он (*режим.* — А.А.) еще более компрометирует себя.

Итак, с одной стороны, — рост в массах потребительской ориентации, с другой — неспособность системы угнаться за этим процессом. Не нужно богатого воображения, чтобы признать за этими ножицами преимущественное право на комплимент: «Ты хорошо роешь, старый крот!».

Я отдаю экономике приоритет в ряду детерминант кризисной дестабилизации системы не потому, что она всегда — «базис». К этому побуждает состояние общественного сознания, которое ориентировано экономически, и не столько на экономическую структуру общества (такая ориентация была бы уже идеологической), сколько на эффект структуры в сфере потребления.



**Кризис (или канун его) национальных отношений:** а) усиление, в том числе в доминирующем этносе, «тоски» по национально-культурной самобытности; б) рост сепаратистских настроений в коренных, но не доминирующих этносах; в) исход из семьи «народов-братьев» двух национальных меньшинств, для которых в последние годы приоткрыли двери (*имеются в виду евреи и немцы.* — А.А.).

Национальная проблема обострилась во многих странах. Но в той динамике, которую она претерпевает в обществе, являющемся предметом нашего обсуждения, проявляется не столько мировая тенденция, сколько специфичные для него распадные процессы.

**Кризисные явления в идеологии (официальной) и морали (всякой).** В идеологии это прежде всего:

а) Уже обеспеченная победа в массах потребительской ориентации над идеологической.

б) Прогрессирующая аморализация реальных мотивов вступления в партию — не по убеждению, а карьеры ради. Трудности, которые в связи с этим испытывает руководство в своем стремлении (скорее охранительном, чем догматическом) обеспечить партии преимущественно «пролетарский» состав: рабочие не идут в партию, поскольку не делают карьеру.

в) Ставшее приметой времени бегство недавних адептов официальной идеологии в частную жизнь (массово-культурный вариант), в движение протеста или, чаще, социально-культурную активность неофициального толка (элитарно-культурный). Я уж не говорю о бегстве за кордон.

В области «всякой» морали мне кажется важным выделить следующее:

а) Расцвет черного рынка. По своей роли в удовлетворении потребностей населения (не в продуктах питания) он успешно конкурирует с государственной торговлей. Тем более успешно, что именно государственная торговля является его основным поставщиком — как в легальной форме (закупка спекулянтами товаров **через** прилавок), так и в нелегальной (**из-под** прилавка). Существенно, что герои черного рынка — главным образом молодые люди, для которых он не только источник бытового благополучия, но и форма «красивой жизни», социального самоутверждения. б) Коррупция, разъедающая сферу торговли и бытового обслуживания, систему образования, карательную систему. в) Повсеместное распространение взаимного, встречного взяточничества («ты — мне, я — тебе»), ставшего заурядной формой экономического обмена, а подчас и условием выполнения служебных поручений. Человек, который брезгливо отводит руку, когда его пытаются «отблагодарить», скоро станет, если так пойдет дальше, nonsensом (в среде работников торговли и бытового обслуживания, наверное, уже стал).

Я обрываю этот печальный перечень, не исчерпав его. Сказанного достаточно, чтобы показать крах, который система потерпела в том, что было главным и самым притягательным из начертанного на ее знамени: «каждому — по труду». Некогда этот принцип вошел в массовое сознание как гарантия главной для него ипостаси социальной справедливости — в сфере распределения. Широкое распространение названных форм аморального социального действия означает утрату им прежнего морального статуса. На освобождающееся место успешно претендует миф нового «частного предпринимательства». Этот вариант экономической активности мыслится его адептами как естественный («каждый думает о себе») и справедливый («каждому — по способностям»). Система виновна в этом и потому, что «честный труд» оказался плохим кормильцем, и потому, что в ее рамках «бесчестная» предприимчивость — единственно доступная форма инициативного поведения в хозяйственной жизни.

В целом рост аморализма — это, разумеется, не специфичная для данного общества тенденция и вызывается *(она. — А.А.)* не только специфичными для него (системными) причинами.

Не только, но и ими тоже. Укажу лишь на одну из таких причин, не самую, может быть, главную, но реже других отмечаемую, — деморализующий эффект узурпации режимом права выступать от имени морали (всякое инакомыслие аморально). Многие, теряя доверие к режиму, теряют и уважение к нравственным ценностям, зачисляя их по ведомству «пропаганды».

Два характерных эпизода. Молодой рабочий, настроенный критически и одновременно эгоистически-потребительски, после лекции с вызовом спрашивает лектора: «Так, значит, у нас все хорошо?» — «Почему?» — «А вот вы все говорили: мораль, мораль...» О «нас» речи в лекции не было. Сама по себе апелляция к морали воспринята как форма апологетики. Другой молодой рабочий в частной беседе говорит, что «люди уже ни во что не верят» и что «патриотизма нет». Контекст беседы не оставляет сомнений: для него первое равнозначно второму, т. е. патриотизм — это верноподданничество. Резюмируя, я, пожалуй, решусь сказать: наступает кризис общества в целом.

**6.** *Можно ли, по Вашему мнению, ожидать существенных (может быть, коренных?) перемен, сдвигов в жизни известного Вам общества в обозримый период (скажем, не позднее конца XX века)? Если да, то насколько вероятными представляются Вам эти изменения?*

**7.** *В случае положительного ответа на предыдущий вопрос, полагаете ли Вы, что эти перемены будут скорее однонаправленными (тогда — к лучшему или к худшему?) или, напротив, разнонаправленными (например, сначала к одному, потом к другому)? Если последнее, то считаете*

ли Вы возможным определить общее (результатирующее) направление ожидаемых Вами общественных изменений — в конечном итоге к лучшему или к худшему? Желательно при этом пояснить свое понимание «лучшего» и/или «худшего» в данном контексте.

6. Думаю, можно (ожидать перемен. — А.А.). И именно коренных. Наступающий кризис вряд ли будет скоротечным, но в конце концов перейдет-таки в агонию. Все ресурсы системы — экономические, социально-политические, идейно-нравственные — близки к истощению. Она все более теряет способность к воспроизводству условий ее сохранения.

7. Это, пожалуй, самый трудный вопрос (*перемены — «к лучшему» или «к худшему»?* — А.А.). Не столько в смысле трудности прогнозирования (хотя и в нем тоже), сколько в смысле ужасности прогноза, который кажется, как минимум, не менее вероятным, чем его благополучная альтернатива.

Да, темницы рухнут. Но что нас встретит у входа? Не погребут ли обломки и тюремщиков, и заключенных? Не попытаются ли тюремщики (тюремная система) спастись отчаянными шагами, которые приведут к мировой катастрофе?

Вся история этого общества — трагедия. Трагедия национальная и — в силу его до поры небезуспешной идеологической и в еще большей степени политической экспансии — мировая. Мое нравственное сознание рождает надежду на то, что эта трагедия в конечном счете окажется все-таки оптимистической. Но надежда здесь не сестра веры. Она ее дочь.

Я повторю вслед за — не помню кем: моя вера оптимистична, мое знание пессимистично (*это высказывание принадлежит А. Швейцеру. — А.А.*). К сожалению, до сих пор моей вере удавалось одерживать над моим знанием лишь временные победы.

А движение по дороге к неведомому исходу вряд ли будет односторонним.

Мое понимание «лучшего» и «худшего»?

**Лучшее** — переход от идеократии и, соответственно, господства жреческой бюрократии к идеологическому и политическому плюрализму. Это, разумеется, предельный вариант (ликвидация самой системы), но любое принципиальное улучшение в этом обществе может быть только предельным.

**Худшее.** В пределе это уже упоминавшаяся мировая катастрофа (война сверхдержав). Если же говорить о не самом худшем, то — регресс к имевшей место в прошлом наиболее одиозной форме идеократии, расширение и активизация террористической охранительной политики, внутренняя бойня как последняя надежда режима.

Думаю, однако, что «не самое худшее» может быть лишь моментом движения, но не его итогом. Возобладать в конечном счете и просто на сколько-нибудь длительное время ему не суждено. Ибо, повторяю, ресурсы системы истощаются.

**8.** *Если Вы не исключаете возможности существенных перемен в жизни данного общества («к лучшему» или «к худшему», в Вашем понимании), то ожидаете ли Вы скорее резких, крутых общественных изменений или, напротив, медленных, постепенных?*

**8.** *(Ожидая перемен... — А.А.)* резких, крутых. Общества такого типа не обладают эластичностью, необходимой для медленных, постепенных, **существенных**, тем более — **коренных** перемен. «Полусущественные» перемены к лучшему, имевшие место в течение последней четверти века, оказались в значительной мере (к счастью, не вполне) обратимыми именно в силу своей постепенности (ограниченности).

Если говорить о крахе системы, то единственно возможная его форма — катаклизм. История, насколько я знаю, не нашла в прошлом иных путей разрушения обществ, обладающих существенным сходством с рассматриваемым, и вряд ли найдет в будущем.

К сожалению, гораздо меньше оснований для уверенного ответа на вопрос, чем будет этот катаклизм — концом света или, бог даст, лишь концом тьмы.

### III.

**12.** *Какие внешние факторы (обстоятельства, тенденции, процессы) мировой жизни окажут, на Ваш взгляд, существенное влияние на развитие данного общества в обозримый период?*

**13.** *Как бы Вы определили направление и силу (возможно, также формы) влияния указанных Вами внешних факторов на дальнейшее развитие известного Вам общества?*

**12–13.** Бродил по Европе призрак («Коммунистический манифест» К. Маркса и Ф. Энгельса, как известно, начинался словами: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». — А.А.). И обрел призрак плоть. И ужаснулись люди виду его, и отпрянули.

Не всяк отпрянул. Иной думает — недостроена еще плоть, иной — не так строили.

Но побрел по Европе кризис. Кризис того самого. Заметался призрак во плоти своей. А раненый зверь, он опаснее. Что-то будет?

Что-то будет.

Кризис бродит: а) в главной призрачной державе; б) в содружестве призрачных стран; в) в призрачном движении вообще, включая тот его

поток, где призрак так и остался призраком и никаких шансов на материализацию не имеет.

Кто более матери-истории ценен? Что важнее?

Сию минуту — кризис (б), еще **уже** — события в соседней призрачной стране (*в Польше*. — А.А.). В случае успеха в этом бараке поднимутся другие бараки-сателлиты и — не станет лагеря. Дурной пример заразит население главного барака — оплота призрачной плоти, и не станет плоти у призрака. Тут и сказке конец.

Станет ли сказка былью?

Трудно отбирать у себя надежду. Но еще труднее поверить в то, что лагерная администрация уже в ближайшие месяцы (а все решится именно в ближайшие месяцы) настолько ослабеет, что не поднимет кнут, которым до сих пор загоняла заблудших овец в стадо. Она еще поколеблется, еще потянет: опять скандал, да судя по всему — небывалый, не с укоризной только, а с попыткой схватить пастуха за руку... Она еще потянет, но у нее просто не будет иного выхода. А силы еще будут. И как бы тут не пришел конец не одной лишь сказке.

Не только сию минуту, но вообще в обозримой перспективе из двух ипостасей кризиса, которые «внешние факторы», более существенное влияние на развитие рассматриваемого общества окажет первая. Потому что здесь призрак — во плоти. А это — случай, когда плоть сильнее духа. (Множественное число: духи.)

В том же, что касается направления влияния, много проблематичного. Так, упомянутые события в одной из призрачных стран (*Польше*. — А.А.) — превосходный **стимул**, в высшей степени конструктивный, как прецедент — самый опасный для системы. Но ближайшей **реакцией** будет ужесточение лагерного режима в политической и идеологической областях. Правда, в хозяйственной жизни, по-видимому, вынужденно активизируется политика осторожных либеральных проб. Чтобы снять со своего горла костлявую руку народного голода, система, возможно, пойдет на некоторые отступления от своего священного писания, памятуя о спасительном эффекте отступления — «чтобы дальше прыгнуть» — 21-го года (НЭП).

Среди рядовых обитателей «оплота» усилится политическое расслоение. С одной стороны, в массовом сознании этноса-гегемона громче заговорит имперская спесь, дворовая психология («наших бьют»), что на время вытеснит из многих голов претензии к домоуправлению по поводу внутренних дел. С другой стороны, получают новую и весьма калорийную пищу оппозиционные настроения среди «интеллектуалов», а в западных этносах, «воссоединенных» с гегемоном недавно и обладающих травматическим опытом взаимодействия с ним как в призрачные, так и в допризрачные времена, — и в массах.

Обострится и кризис (в). Произойдет дальнейшее — и резкое — падение престижа призрачного движения, усилится противодействие ему.

(Нелишне вспомнить, что в прошлом веке именно события в неспокойной сейчас стране, родственные нынешним, привели к организационному оформлению этого движения в международном масштабе. По словам весьма авторитетного лица, «у колыбели Интернационала стоял польский вопрос». «Пролетарии всех стран соединились», демонстрируя свою поддержку вспыхнувшему в этой колонии восстанию против метрополии.)

О сравнительной силе влияния кризиса (в) на эволюцию общества, о котором речь, я уже говорил. Внелагерный поток все более выходит из-под централизованного контроля, и здесь центр располагает куда меньшими страдательно-непущательными возможностями. Однако этот процесс и не столь болезнен для него, как еретическое движение в лагере. И все же центр вынужден оглядываться на недостижимых бунтарей, что несколько ограничивает свободу его действий «у себя дома».

И наконец, еще об одном внешнем факторе, относящемся к числу первостепенных, — о Великом противостоянии. Миф врага — существеннейший элемент системы идеологического жизнеобеспечения обществ рассматриваемого типа. Манихейские страсти — цемент, употребляемый при строительстве здания «морально-политического единства», и моральный источник санкций к еретикам, которые непременно — «рука дьявола».

Враг нужен, враг полезен. Если бы его не было, его надо было бы выдумать. Но он есть. И полезен лишь до тех пор, пока снисходителен и терпелив, пока на глупейшие песни про то, как «сурово брови мы нахмурим, если враг захочет нас сломать», отвечает здоровым смехом, пока ограничивается **осуждением** экспансионистских акций призрака во плоти.

В самое последнее время появились признаки того, что терпение врага лопнуло. Последствия этого могут быть самыми трагическими, если его контрагент не умерит пыл.

Умерит ли? В том, что касается сохранения империи, — нет. В том, что касается ее расширения, — да.

Трудно сказать, является ли новая ситуация еще одним катализатором внутреннего кризиса. Несомненно, она потребует еще большего напряжения от экономики страны, но и подольет масла в пропагандистский котел: легче будет сваливать на врага ответственность за «затягивание поясов». Таким образом, новый курс врага сработает в направлении экономического и внешнеполитического ослабления системы, но станет фактором ее временной идеологической и — если идеологический выигрыш перевесит экономический ущерб — внутривнутриполитической стабилизации.

**14.** *Существуют различные точки зрения относительно перспектив движения данного общества в мировом «историческом пространстве». Например:*

— *в главном и коренном это общество идет (будет идти) по самостоятельному пути, отличному от всех известных;*

— *данное общество тяготеет (рано или поздно станет тяготеть) к какому-либо известному историческому образцу, варианту, типу развития (западному, восточному, иному);*

— *в исторической перспективе весь мир (или большая его часть) приобретет те же типологические черты, что и данное общество.*

*Возможны и другие взгляды. Какова Ваша собственная точка зрения на этот счет?*

**14.** Мне трудно отвлечься от системы координат, заданной национальному самосознанию экспериментом самодержца первой четверти XVIII века.

Думаю, будущее за западным влиянием. Распространение западного образа жизни в его существующих чертах (индустриализм, верховенство закона, либерализм, индивидуализм и проч.) — устоявшаяся мировая тенденция. Другое дело — как его встречает «местная почва», что из этого получается и насколько он хорош сам по себе.

Я не оспариваю исторически обусловленную «особенную статью» страны. Но даже автор крылатых слов о «статии» все-таки измерил ее, вопреки собственному предостережению, «общим» (западным) аршином:

*Над этой темною толпой  
Непробужденного народа  
Взойдешь ли ты когда, свобода,  
Блеснет ли луч твой золотой?*

В рамках застольной оппозиции, да и в более серьезной среде, этот вопрос звучит немногим чаще, чем скептические ответы на него. Скепсис обычно связывается с «особенной статью». Действительная оппозиция (впрочем, не всякая) самим своим действием показывает, что не считает ее неодолимой.

#### IV.

**15.** *Каков бы ни был Ваш взгляд на ближайшее будущее данного общества, пожалуйста, укажите те общественные силы, которые Вы полагаете заинтересованными: а) в переменах «к лучшему» (в Вашем понимании); б) в сохранении (воспроизведении) нынешнего общественного состояния; в) в переменах «к худшему» (в Вашем понимании). Просим также дать свое толкование «лучшего» и «худшего», если Вы не сделали этого ранее.*

**15.** В переменах «к лучшему» объективно заинтересованы все, кроме властвующей элиты. Но далеко не все из этих «всех» разделались с мнимым интересом, впрягающим их в одну упряжку с элитой.

В сохранении нынешнего состояния заинтересованы социальные импотенты, нуждающиеся в импотентной системе. Они обладают соответствующим их амбициям статусом или считают его достижимым в условиях «статус-кво». Основной ареал этого настроения — партапарат вместе с его идеологическими оруженосцами и тайной полицией.

Заинтересованные в переменах «к худшему» — тоже импотенты, но способные испытывать возбуждение от «сильной руки» харизматического лидера. Социальный ареал — тот же.

**16.** Если Вы считаете вероятными существенные перемены в жизни данного общества в обозримый период, то какие общественные слои (группы) и типы людей, по Вашему мнению, подтолкнут общество к этим переменам, какие — фактически их осуществят, какие — поддержат и закрепят? Каковы возможные конкретные формы их поведения? (Этот и последующие вопросы уместны при любом указанном Вами об­щественном направлении перемен, будь то к лучшему или к худшему.)

**17.** Какие общественные слои (группы) и типы людей, по Вашему мнению, станут активно противодействовать осуществлению ожидаемых Вами общественных изменений, какие — более или менее пассивно препятствовать этому? Вероятные конкретные формы их поведения?

**22.** Может быть, Вы попробуете набросать примерный «сценарий», с большим или меньшим приближением к которому будут, по Вашим ожиданиям, развиваться события, подготавливающие и несущие в себе те или иные существенные перемены в жизни известного Вам общества?

**16, 17, 22.** Подтолкнет (к переменам. — А.А.) — сама общественная ситуация, прежде всего голод в вышеуказанном смысле. Когда же «начнется» (более или менее стихийно), на авансцену выйдут нынешние идеологи и практики протеста, которые пока, как и их далекие предшественники, «страшно далеки от народа». В этом они неповинны, ибо лишены каких бы то ни было организационных и технических возможностей.

Час «Х» пробьет, когда поднимутся — в забастовочном варианте — промышленные и транспортные рабочие. Требования будут экономические, скорее всего прилабочные. Власти попытаются откупиться разовыми подачками. Но и на подачки у них уже будет кишка тонка, и рабочие созреют настолько, что на подачках не успокоятся. К рабочим примкнут другие непривилегированные слои.

«Протестанты» дадут движению лидеров и программу — не максималистскую, в пределах существующих (на бумаге) конституционных норм. Они попытаются удержать бунтарей в рамках законных, нена-



сильственных форм борьбы. Но последуют репрессии, и это самый темный пункт.

Карательные органы сами не справятся. Поскольку на этот раз место действия — метрополия, некому будет осуществить акт «интернациональной помощи». Значит, своя армия? Но речь о ситуации, когда массы созрели. Стрелять в рабочих должны будут рабочие же, сыновья рабочих, «кореш» рабочих, на каких-то два-три года оторванные от своей среды. Подсунуть им байку о «руке дьявола» вряд ли удастся... Они готовы петь «солдатушки — бравы ребята», но не гимн легионеров из романа братьев Стругацких «Обитаемый остров». (Железный наш кулак / сметает все преграды. / Довольны Неизвестные Отцы. / О как рыдает враг! / Но нет ему пощады. / Вперед, легионеры-молодцы!)

Смелое допущение. На кончике пера — «свежо предание...». И все же. Не думаю, чтобы Неизвестные Отцы решились на такие репрессии, которые потребовали бы использования армии. Рискованно. Скорее они прибегнут к обкатанному варианту «козла отпущения» — пожертвуют своим лидером, как уже не раз, с их ведома, делали их марионетки в той или иной беспокойной «братской» стране.

Состоится коронация рыцаря на красном (обязательно красном) коне. Но опять-таки речь о ситуации, когда массы созрели. Рыцарю со товарищи придется, чтобы наладить отношения с неверноподданными подданными, порозоветь, пойти на ограничение «элитодержавия». Это и будет той брешью в идеократической системе, залатать которую уже не удастся. Все выше волна общественной самодеятельности. Процесс станет необратимым.

А может, у идеократов достанет осмотрительности и решимости предупредить массовые выступления — выпустить на арену рыцаря перед последним звонком? А он окажется новым Дубчиком и, поскольку из метрополии, — счастливее своего колониального предшественника? Да, конечно, коридор анонимной власти пропускает лишь анонимов, лишь тех, кто шагает в ногу. Но в критической ситуации даже аноним (разумеется, если он не «безнадежный») может сбиться с ноги и обрести лицо.

Предложенные сценарии тривиальны. Они списаны с прецедентов. Быть может, у меня не хватает социологического воображения. (Похоже, что у Истории воображения тоже «не хватило»! — А.А.) Или, наоборот, оно слишком взвырало?

«Касл вздохнул, поглядел на вечернее небо:

— Дела, дела, дела...

— Как?

— Так мы, боконисты, говорим, — сказал он, — когда чувствуем, что заваривается что-то таинственное» (*Курт Воннегут*. Колыбель для кошки).

Что касается типов людей (личностей), то с «подталкиванием» справятся те, кто обладает более или менее развитым, не серийным (в официальном плане) самосознанием, но не обязательно склонен и способен к социальному творчеству. То есть те, у кого от ежедневного излучения из ставки Неизвестных Отцов болит голова (см. роман Стругацких). Но когда процесс станет движением, обретет лидеров, решающую роль в осуществлении коренных перемен сыграют люди, обладающие помимо «головной боли» конструктивным мышлением и способностью к конструктивному действию.

Ожидаемое различие в типах личностей, которые на разных стадиях процесса будут рекрутироваться им на ведущие роли, связано, таким образом, с предположением, что он (*процесс*. — А.А.) начнется как выступление «против» и лишь позднее обретет качество «за».

Активное противодействие окажут не просто конформисты, но догматики, люди, мышление которых отмечено выраженной ригидностью установки, что помешает им сменить конформное отношение к существующему режиму на конформное отношение к набирающей силу оппозиции. Непременная черта их характера — авторитарность. Иначе говоря, это — «легионеры».

Разумеется, я говорю о полюсах тяготения. Реальная картина будет мозаичнее.

**18.** *Замечаете ли Вы в данном обществе какие-либо нарастающие признаки общественной кристаллизации (направления, течения, оттенки мысли, культурные феномены и т. п.)? Если да, то какие из них наиболее симптоматичны и значимы в свете Вашего представления о возможных переменах?*

**18.** О многом я уже сказал в ответах на вопр. **5, 9, 10.** Могу добавить следующее.

а) Зародышевые акты самодеятельного профсоюзного строительства. Легкость, с которой государство подавило первые попытки, не должна приводить к их недооценке: тут мы имеем дело с лепкой новой (для данного общества) и наиболее конструктивной формы дестабилизирующего поведения масс, а не культурной элиты.

б) На второе место (по симпатичности и значимости) я бы поставил правозащитное движение.

в) Весьма показательна динамика, которую претерпевает недовольство творческой интеллигенции и рядовых потребителей культуры (главным образом молодежи) бюрократическим контролем за культурным производством и потреблением. Недовольство это элитарное, оно — ровесник системы (как, впрочем, и недовольство «слабостью» контроля, «либеральничаньем»). Но даже в период явного его проявления в конце 50-х — начале 60-х гг. дело не доходило до орга-

низованного неподцензурного творчества и потребления культуры. До самовольных публикаций за рубежом. До голосования деятелей культуры против режима «ногами» (как не в обычаях страны голосовать руками). То есть — до кристаллизации недовольства в практику непослушания.

г) Религиозный Ренессанс. Будучи явлением мировоззренческим, он вместе с тем и фактор политической дестабилизации, поскольку, сталкиваясь с государственными репрессиями, сливается с движением протеста в его правозащитном варианте.

**19.** *Какую роль Вы отводите внешним факторам (зарубежным воздействиям, примерам) в формировании и укреплении тех общественных сил, которые, по Вашему мнению, могут стимулировать (или осуществить) соответствующие общественные изменения?*

**19.** На наибольшую роль претендуют два фактора:

а) пример, который сейчас подается пролетариям всех «братских стран» в одной из них (в Польше. — А.А.);

б) протесты мировой общественности против инквизиторских методов борьбы с инакомыслием, перерастание во «вражеских» странах этого общественного движения в государственную политику, а кое-где и в политический курс призрачных партий.

(Абстрактно говоря, «пример» — важнее. Но реакция на него отечественных рабочих, «подхват почина», — дело будущего, в то время как некоторые плоды зарубежной солидарности с отечественным инакомыслием уже налицо.)

Стоит упомянуть также психологическую поддержку, которую еретические силы получают от культурного обмена, пусть контролируемого государством, а также в виде багажа впечатлений, привозимых участниками туристских поездок за рубеж.

## V.

**20.** *Не могли бы Вы хотя бы приблизительно датировать начало предполагаемых Вами общественных изменений (пользуясь обозначениями типа: ближайшие год-два, середина 80-х годов, 90-е годы и т. п.)? Возможно, эти перемены уже начались?*

**20.** То, что началось, — подготовка почвы. Сами же перемены начнутся где-то на исходе нынешнего десятилетия (80-е гг. — А.А.).

Не думаю, чтобы экономических ресурсов хватило на более длительный срок.

Некоторую роль, возможно, сыграет и тот факт, что у власти уже будет новое (персонально) руководство. В условиях вскрывшегося ящика Пандоры ему придется, хотя бы для самоутверждения, на что-то

решаться. Это «что-то» — то ли своей «хорошестью», то ли своей «худшестью» — также может стать импульсом к переменам.

Если не случится самое худшее...

Без псевдонима (А.А. Кетегат. — А.А.), апрель 1981

Представляя текст интервью А. Кетегата в своей итоговой книге «Драматическая социология», А. Алексеев, подтвердив, что ответы на вопросы интервью писались в 1981 г., заметил далее: «Не знаю, сумел ли бы Анри написать — вот так — парой лет ранее. Я, во всяком случае, таким социологическим (историческим?) воображением, не говоря уж о раскрепощенности мысли и слова, в конце 70-х (когда сочинялась методика “Ожидаете ли Вы перемен?” и вынашивалась идея эксперимента социолога-рабочего) **не обладал**» (Алексеев 2003, т. 1: 591).

К этим словам присоединяюсь и я, желая подчеркнуть ограниченность собственного социологического воображения в годы, когда А. Кетегат провидчески оценивал возможность и необходимость социальных перемен.

Не считаю возможным делать заключения к главе, в конце которой торжествуют мысли моего (теперь уже вильнюсского) коллеги, отважившегося принять полноценное участие в нелегальном исследовании А. Алексеева «Ожидаете ли Вы перемен?». Мой атеизм позволяет мне лишь с некоторой оговоркой заимствовать слова из лексикона православия. Но главный автор и организатор этого беспрецедентного проекта советской поры Андрей Алексеев в реальности был и остается борцом-великомучеником. Его отличает уникальная способность противостоять любым вызовам времени, в котором он живет. Я знаю мало людей, которые выходили победителями из сражений с Системой. Социолог Андрей Алексеев один из представителей этой когорты. Честь и слава его мужеству и проницательному уму!

## Очерк 6

# НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ КАК ОПОРА И «КРИСТАЛЛИЗАТОРЫ» СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

### 6.1. К определению научной школы

Для постановки проблемы важно определить наиболее общие правила создания научных школ. Естественно считать, что такая школа объединяет людей, обладающих способностью к научному труду. В этом случае природные, часто наследственные качества, такие как физическая и умственная энергия свыше некоей нормы, здоровье, настойчивость, деловитость, независимость характера, умение переносить успех, удачу и невзгоды, органично дополняются качествами, приобретаемыми под воздействием окружающей научной среды и развивающимися талантом исследователя (Интеллектуальная элита 1993: 9). В этом процессе формирования ученого особенно важны две компоненты, действие которых с наибольшей силой проявляется в атмосфере научной школы.

Одна из них — *собственно элементы научной деятельности* (о другой — *особом духе, которым отличается конкретная научная школа*, — речь пойдет в следующем разделе). Атмосфера среды, стимулирующая продуктивное мышление, технический инструментарий, условия для экспериментов, устоявшийся научный язык, публикации — все это комплексно воздействует на поведение и творческую деятельность ученого. В этой связи позволю себе лишь один пример. В начале 1990-х гг. группа петербургских науковедов провела количественную оценку сообщества ученых-гуманитариев (Интеллектуальная элита 1994: 62–78). В частности, было подсчитано, что число литературоведов, историков литературы, лингвистов в то время составляло 2028 человек. Из них лиц, представлявших группу высокой творческой активности, насчитывалось 66 человек, группу средней творческой активности — 330 человек, группу невысокой творческой активности — 1632 человека, или соответственно 3, 16 и 81%. В свою очередь, группа ученых с высокой творческой активностью имела следующую структуру: ядро элиты, ученые с мировым именем, — 1–2 человека; количество ученых с существенным вкладом в развитие литературоведения, истории литературы, фольклористики — 9–10 человек; количество молодых ученых (науковеды на-

звали их «элитной сменой»), а также ученых, снизивших творческую активность в годы, предшествовавшие исследованию, — 54–56 человек. Анализ показал, что научная биография практически каждого ученого, отнесенного к группе с высокой творческой активностью, связана с пребыванием в составе соответствующих научных школ или в пограничных с ними средах, отмеченных признаками сотрудничества и интеграции.

Научную школу можно определить как особую форму организации науки, где процесс формирования новой области исследований совпадает с интеграцией концептуальных (теоретических и методологических) и методических средств (Интеллектуальная элита 1993: 49). В момент, когда школа зарождается, ученые начинают осознавать, что их идеи перекрывают ранее сложившуюся предметную область и подходы к ее изучению. Они могут стимулировать появление новой исследовательской программы, способной снять известную неопределенность и противоречие ранее полученного знания. Основа школы — некая общность ученых (основатели школы, ближайшие последователи, ученики), в рамках которой исследовательская деятельность и процесс подготовки кадров оказываются непосредственно связанными между собой (Там же: 50).

Существует и другое определение, которое предлагает понимать под школой «четко оформленное самостоятельное научное направление, развиваемое коллективом ученых-единомышленников, объединенных общностью концепций, принципов и методов исследований, которые постоянно совершенствуются и при этом сохраняют определенную преемственность» (Там же). Как правило, научная школа представляет собой суммарное достижение группы ученых и их последователей. Но она может формироваться и вокруг отдельных ученых. В последнем случае говорят о «классической» научной школе. Она представляет собой неформальный научный коллектив, лидером которого является крупный ученый, к тому же обладающий выдающимися педагогическими способностями (Интеллектуальная элита 1994: 38). Однако и в том и в другом вариантах два требования — долговременность существования школы и признание крупного вклада школы в науку — остаются неизменными.

Ряд авторов в своих комментариях подчеркивают важность наличия общепризнанного лидера, яркой и сильной по своим профессиональным и человеческим качествам личности, ролевой статус которой — генерация идей. Другие, исходя из собственного опыта жизни в науке, делают акцент на особенностях школы как гибкого института эффективной внутри- и межнаучной коммуникации, которая (прежде всего неформальная) является предпосылкой, обеспечивающей синтез преемственности знания, его трансляции и кооперации научно-исследовательской деятельности.

Науковеды насчитывают около десятка элементов научной школы. К ним относятся: мотивация, зависящая, прежде всего, от личных интересов и амбициозности самих исследователей, а также от стимулов со стороны государства; информационное обеспечение; наличие организационных структур; гарантии свободы научного творчества; преодоление научного монополизма; системы поддержки; наличие общественного спроса на интеллектуальный продукт; глубина и постоянство научных контактов и связей, особенно международных.

Все сказанное выше сформулировано экспертами. С их представлениями не расходятся и мнения рядовых ученых. Вот, например, какие суждения были высказаны во время проведения одного из исследований в Санкт-Петербурге (Интеллектуальная элита 1994: 42): «Школа — это традиция»; «Научная школа — это крупный ученый, вокруг которого группируются ученики»; «Научная школа — это некий коллектив ученых, на которых можно положиться, которым можно доверять»; «Если в начале века формирование школ шло вокруг научного авторитета, то сейчас школы образуются вокруг института, организации»; «Существует американская форма организации науки, для которой характерны “проточные” коллективы. У нас же другая система: раньше научная школа представляла собой большую патриархальную семью, а сейчас научную школу составляют люди, прошедшие лабораторию, институт»; «Научная школа — это традиция, преемственность, другими словами — сигнальная наследственность»; «В США основа научной школы — это лаборатория в университете, где основной контингент сотрудников работает по контракту»; «Школа — это единство стиля».

Мозаика мнений не опровергает вывода о том, что основные представления о научной школе сводятся к двум вариантам — «классическому», когда главным является отношение «учитель–ученик», и к «деперсонизированному», когда школа складывается в стенах академического института, кафедры, лаборатории, которые выступают в роли хранителей традиций, носителей идей, являются трансляторами стиля и методов исследования (Там же: 42–43).

В послесоветское время возник новый тип научной школы, неизвестный в предыдущие годы: команда, сформированная получателем гранта, новый коллектив, который всю ответственность за решение научной проблемы принимает на себя. Государственное финансирование здесь может отсутствовать или быть минимальным. В то же время снимаются всякого рода внешние ограничения на свободу научного поиска — ведь ученые начинают определять своим поведением систему внешних и внутренних отношений. Выбор между этими альтернативами осуществляется исследователями (Проблемы деятельности ученого 1996: 187–188, 190–193).

Со ссылками на современные работы в области социологии социальных наук (см., например: Becker 2001) можно предложить еще один способ дифференциации научных школ. В мировой науке принято выделять «школы мысли» и «школы действия». В первом случае центральное место отводится идеям, мыслям лидера, основоположника. Когда социолог принадлежит к дюркгеймианской школе, он признает за образец все, что связано с ней: непротиворечивость теории, ее главенствующую роль в исследованиях. Приверженцы школы делают все для сохранения наследия основателя школы и памяти о нем, они же сохраняют дух и букву учения, заботятся об упрочении его судьбы, корректируют ошибки и противоречия в работах учителя. Порождение этого типа школы можно во многом приписать власти внешних обстоятельств — процессу свободного распространения научных идей, их кристаллизации, «оседании» и закреплению в широко понимаемых научных практиках ученых, разделяющих эти идеи и признающих их приоритет по отношению к другим родственным представлениям и концептам. «Школа мысли» часто объединяет ученых, которые никогда не действовали коллективно.

Поскольку часть людей могут действовать сообща, имея не «конгруэнтные» с другими научные взгляды, то возможно появление «школ действия», их главного, «генетического элемента» — самого факта того, что ученые работают вместе над реализацией практических проектов. Для возникновения таких школ на Западе всегда было важно наличие «прибежища» — учебных колледжей и университетов, в стенах которых преподавалась социология. Связь с образовательным процессом — важнейшая предпосылка для возникновения «школ действия». Всемирно известная «колыбель социологии» — Чикагская школа — была и остается «школой действия». Кстати говоря, по этой причине ее главной целью было не создание единого теоретического фронта, а кропотливый повседневный труд по обучению студентов, поиск денег для исследовательских проектов, упрочение профессиональной репутации и сохранение за собой завоеванного права быть и оставаться *Первыми* в развитии образования и науки.

Забегая вперед, скажу, что анализируемые мной советские социологические школы являются, скорее всего, школами активного социологического действия. Это объясняется борьбой за возрождение социологической науки, а также ведомственными перегородками, искусственным разделением науки и образования. Наука возникла первоначально в академической среде. Наведение мостов в сторону архипелага высшего образования заняло не одно десятилетие. Появлению «школ мысли» мешало отсутствие академических свобод.



## 6.2. Роль этического измерения

Я сознательно вынес за скобки предшествующего рассмотрения еще один важный элемент, который там был лишь обозначен, — *особый дух, которым отличается каждая конкретная научная школа, микроклимат, традиции и этические нормы, обуславливающие ее деятельность*. Дух школы определяет, будет ли школа «сплоченной кликой» или, напротив, средой, порождающей и стимулирующей рост талантов и способностей ученых.

Здесь в полной мере вступает в свои права этос науки — система ценностных установок ученых, их прав и обязанностей по отношению к науке и обществу (Интеллектуальная элита 1993: 18). Этос, говоря языком науковедов, закрепляет профессиональное своеобразие науки как особого вида познавательной деятельности; он вычленяет из общей массы дееспособного населения субъектов этой деятельности, интегрирует их и определяет наиболее общие правила регулирования научной жизни. Примером кодификации этико-профессиональных норм может служить Профессиональный кодекс социолога (см. Приложение 5), разработанный группой авторов (М. Лазар, Б. Фирсов, В. Ядов) и принятый ССА в 1987 г. (Лазар и др. 1988). Назначение такого кодекса — содействие формированию профессионального сознания, чувства профессиональной чести и достоинства, утверждению норм высокой исследовательской культуры.

Нравственно-политическая и идеологическая атмосфера, господствовавшая в советском обществе в последний период его истории, особенно серьезно сказалась на обществоведении. Мало сказать, что социология не имела статуса самостоятельной научной дисциплины *de jure*, — командно-административные и бюрократические методы управления наукой постепенно вытравляли нормы и идеалы самой науки. Именно в это время, как справедливо писала Р. Рывкина (Рывкина 1988), сложились три типа социологов: *социологи-идеологи*, озабоченные борьбой с проникновением чуждых советскому обществу идей; *социологи-прагматики*, ориентированные на придание «товарного вида» проведенному исследованию с учетом интересов «заказчика» или «потребителя»; наконец, тонкий слой *социологов-исследователей*, постепенно вытесняемых на второй и третий план в официальной структуре научных подразделений. В итоге социологическая наука в значительной мере самоустранилась от анализа реальных социальных противоречий. Работая «по заказу», обществоведы часто шли на компромиссы, регистрируя норму там, где следовало фиксировать социальную патологию. Теоретически обоснованный взгляд на общественные процессы нередко подменялся легковесными «эмпирическими пасторалами».

Кодекс определил рамки профессиональной грамотности, компетентности, соблюдение которых должно было укреплять авторитет социологии. Еще один важный его аспект — определение этической стороны отношений с респондентами, необходимости гарантии соблюдения анонимности и использования информации исключительно в научных целях. Одновременно решением конференции ССА был учрежден совет по профессиональной этике, который должен был создать соответствующую атмосферу для упреждения возможных нарушений морально-этического свойства. В частности, совету вменили в обязанность стимулировать теоретическую разработку и обсуждение морально-этических проблем социологии и социологических исследований, а также рассматривать обращения членов ССА, касающиеся ущемления их личного и профессионального достоинства со стороны должностных лиц в связи с выполнением социологом его профессионального долга.

В Кодексе нашел отражение принцип, согласно которому социолог был «вправе опираться на поддержку и помощь Советской социологической ассоциации (ССА), ее органов и отделений на местах в создании условий для своей профессиональной деятельности, защите своего профессионального достоинства и чести» (Приложение 5). Не идеализируя этот Кодекс в качестве регулятора профессионального поведения, можно сказать, что, будь он принят вскоре после учреждения ССА, с его помощью ассоциация могла бы вмешаться в судьбу многих своих членов, защищая их от разных форм административного произвола и преследований.

Документ далек от идеала. Тогда, в конце 1980-х гг., в нем сохранял свою формальную силу тезис о партийности социологической науки и необходимости занимать классовую позицию при анализе социальной действительности. Впрочем, чрезмерная отстраненность наук об обществе от социальных интересов и целей была бы невозможной в условиях перестройки, лозунгами которой стали социальное подвижничество и политическая ангажированность. Переживаемое нами время не отменило актуальности нравственной ответственности ученых-обществоведов, требований научной честности, преданности идеалам науки, необходимости сохранения и развития духа высокого профессионализма. Отсюда — возросшая потребность в скрепах для удержания социологического сообщества в рамках требований профессиональной этики.

### **6.3. Новосибирская экономико-социологическая школа**

Буду самокритичен. Большинство событийных, документальных ссылок и воспоминаний, которые составили канву предшествующих очерков, имели подчеркнuto столичное происхождение. Авторами этих

ссылок и воспоминаний оказались по преимуществу москвичи и ленинградцы (петербуржцы), да и сами события научной жизни связывались главным образом с Москвой и Ленинградом (Санкт-Петербургом). В итоге может сложиться неправильное впечатление о существовании серьезных различий между центральной и периферийной социологией, вследствие чего первую из них следовало бы рассматривать как «ведущую», а вторую — как «ведомую», лишенную возможностей для самостоятельного, а в ряде случаев и опережающего развития. На самом деле это не так. Хочу подчеркнуть, что для получения объективной картины необходимо учитывать субъективизм традиции отражения и анализа социологической жизни страны в журналах, книгах, хрониках, личных и официальных документах, из-за которого «провинция» могла предстать послушно следующей в кильватере столичного корабля-флагмана. «Отношения соперничества, конкуренции в науке — естественная вещь. Мы считали (как считает любой периферийный институт), что Москва все тянет к себе и за своими пределами в упор ничего не видит. Собственно, так оно и было, да и сейчас так остается. Москва невероятно эгоцентрична» (Российская социология шестидесятых 1999: 148).

В свете сказанного понятны покушения столицы на лидерство во многих, едва ли не во всех областях социологического знания, как и понятна принципиальная невозможность всевластного распорядительства центра судьбами антитоталитарной науки на местах. Яркий пример тому — Новосибирская экономико-социологическая школа (НЭСШ). По справедливости, ее следует отнести к одному из наиболее влиятельных и самобытных течений в российских науках об обществе 1960–1990-х гг. (Социальная траектория 1999).

*Из воспоминаний Т. Заславской* (Российская социология шестидесятых 1999: 132–155). Сказать себе в 1965 году: «Сформируем-ка мы новосибирскую социологическую (или экономическую) школу» — она не могла. Школа может возникнуть, а может и не возникнуть. Простая аналогия поможет понять это. В начале 60-х гг., подводя итог своим исследованиям, она писала просто работу, книгу, даже мысленно не называя ее диссертацией. И только когда подошла «под крышу» (а в то время, в отличие от нынешнего, докторская была высоким рубежом), решила назвать ее диссертацией. Во-первых, на школу надо смотреть как на нормальный побочный продукт жизнедеятельности большого научного коллектива, если он работает продуктивно. Во-вторых, такой коллектив должен работать в отрыве от других, приобретая какие-то особые черты. В-третьих, важным и необходимым условием формирования научной школы является педагогическая деятельность ученых. «Это в буквальном смысле должно быть школой со своей системой обучения и воспроизводства молодых кадров» (Там же: 142–143).

В качестве первого обобщения опыта и истории НЭСШ можно сказать, что путь к школе лежит через возможность появления устойчивой научной среды, способной порождать нетривиальные результаты и быть привлекательной для тех, кто хотел бы себя идентифицировать с этой средой, ее окружением и ее исследовательским кредо.

Новосибирский Академгородок представлял собой своеобразный «остров свободы». Здесь можно было более открыто, чем в других местах страны, обсуждать острые социальные и политические проблемы. В хрущёвские времена обком не мог «скрутить голову» руководителям Академгородка, а 30-километровая отдаленность от обкома часто спасала от его навязчивой опеки (Социальная траектория 1999: 19).

(Бросаются в глаза различия в ценности московской и провинциальной научной среды. «В брежневское время символами Москвы для нас, — пишет Т. Заславская, — были ЦК КПСС и КГБ, просматривавшие со Старой площади и Лубянки все, что делалось в общественных институтах. Кипучая, но мало эффективная научная жизнь столицы требовала затрат времени, не компенсируемых расширением знаний» (Там же: 91). Быть в Москве значило оказаться в курсе научных событий, поддержать контакты и связи, прочесть новую книгу. Не в пример столице, природные и рабочие условия Академгородка стимулировали научный поиск. После столичной суеты хорошо было возвращаться домой и вновь браться за прерванную научную работу.)

Большое значение имела ранняя институционализация социологии. Институт экономики и организации промышленного производства (ИЭиОПП) Сибирского отделения АН СССР еще за 10 лет до появления ИКСИ АН СССР имел инфраструктуру и кадры для проведения экономико-социологических обследований.

Буквально с первых лет существования ИЭиОПП интегрировал свою деятельность с работой кафедр и факультетов Новосибирского государственного университета (НГУ). Здесь не пришлось ломать «берлинскую» стену между вузовской и академической наукой. Сотрудники преподавали на экономическом отделении НГУ, академические лаборатории изначально служили базой стажировки и дипломных работ студентов, обучавшихся на кафедрах обществоведческого профиля (Там же: 54).

В Академгородке существовал культ повышения научной квалификации и расширения научного и культурного (о нем см. ниже) кругозора сотрудников всех рангов и всех профилей. Для всех, кто не имел математического образования, читались курсы математического анализа и линейного программирования. Особое внимание уделялось иностранным языкам. Ни об одном столичном академическом институте нельзя было в то время сказать, что его сотрудников освобождали от служебных обязанностей, изолировали от рабочих и семейных дел

и побуждали их посвящать себя изучению иностранных языков под руководством специально приглашенных опытных преподавателей.

(Добавлю в этой связи, что для ИЭиОПП была характерна атмосфера постоянного общения с социологами и экономистами из других городов. Р. Рывкина права, когда пишет о том, что здесь сложился «неформальный колледж». С участием приезжих ученых обсуждались общие для страны проблемы, издавались совместные научные труды. Все прекрасно понимали, что в ЦК КПСС не читают социологические работы с целью извлечь уроки и выводы для политики, но потенциальный «социальный заказ» мог быть сформулирован учеными, и именно этот виртуальный феномен стимулировал их желание разобраться в том, «о чем можно было говорить на официальном уровне» (Российская социология шестидесятых 1999: 272).)

Кроме того, делался специальный акцент на поддержке зарубежных контактов. Поездки за рубеж рассматривались дирекцией ИЭиОПП как важный элемент научной деятельности, а сами тесные связи с зарубежной наукой расценивались как определенная гарантия профессионального уровня. Интенсивность поездок была беспрецедентной для академической системы в целом: 14 человек были командированы на Мировой социологический конгресс (Варна, 1970 г.), группа из 20 социологов и экономистов совершила научно-ознакомительную поездку в Польшу, причем половина стоимости поездки была оплачена Институтом.

Одновременно создавались возможности впервые увидеть «живых» иностранцев в стенах ИЭиОПП, послушать их рассказы о социологии Венгрии, Польши, Франции (Там же: 270). Особые впечатления и настроения были порождены чехословацкими событиями. Ранней весной 1968 г. два активных деятеля Пражской весны (П. Махонин, член Пражского горкома Коммунистической партии Чехословакии, директор Института марксизма–ленинизма Карлова университета в Праге, и З. Шафарж) прилетели в Новосибирск. Дом ученых Академгородка не смог вместить всех желающих. Ученые понимали, что в одной из «братских стран социализма» начинаются процессы ненасильственной социал-демократизации, которые могут распространиться на СССР.

Но чехи приехали не с целью пропагандировать свой политический и социальный радикализм. Они предложили идею совместного проекта изучения социальной структуры, будучи абсолютно убежденными в том, что истинная социальная структура выглядит куда сложнее, чем пресловутая официальная советская «трехчленка» (деление общества на рабочих, крестьян и интеллигенцию). Несмотря на то что официоз расценил бы такое намерение как «ревизионистское», следующую встречу назначили на сентябрь того же года в Праге. «Однако советские танки оказались более быстрыми. В конце августа Махонин телеграфировал, что

по «техническим причинам» наша встреча состояться не может. К этому времени он был не только смещен со всех постов. Его исключили из партии и отстранили от каких бы то ни было исследований. Последующие 20 лет он работал бухгалтером совхоза и возвратился в социологию только в 1989 году» (Социальная траектория 1999: 31–32).

Для создания НЭСШ громадное значение имел социально-культурный климат Академгородка. Настоящая академическая наука всегда была тесно связана с культурой и искусством. (Здесь уместно напомнить, что еще в 1930-е гг. физики Ленинграда оказали заметное влияние на интеллектуальную жизнь города. Один из ярких примеров тому — сближение с творческой интеллигенцией «столиц», в частности с ведущими писателями той поры — М. Зощенко, Л. Леоновым, С. Маршаком, Ю. Тыняновым, К. Чуковским. Эти встречи сыграли свою роль в последующем развитии советской литературы (Интеллектуальная элита 1993: 102).) Атмосферу Академгородка в первые годы после его создания отличал культурный плюрализм. В марте 1968 г. ученым городка удалось организовать Первый съезд советских бардов (Социальная траектория 1999: 31). А. Галич, Ю. Ким, Ю. Визбор, Е. Клячкин выступали в школах, клубах, часто пели и в квартирах научных сотрудников. В Доме ученых состоялся концерт для ученых и академических и партийных руководителей. А. Галич в конце первого отделения исполнил песню против тоталитарной системы, после чего зал встал и аплодировал ему несколько минут. Аплодировать «антисоветчине» пришлось и партийным работникам, чего они не забыли и тем более не простили.

Продолжение этой истории в описании Т. Заславской имеет значение документа, и поэтому я приведу его без сокращений.

Ответным ходом явилась известная провокация с подписанием учеными письма в высшие инстанции с просьбой более ясно и убедительно разъяснить вину Даниэля и Синявского. Сборщики подписей говорили ученым, что письмо адресуется руководству КПСС, КГБ и Генеральной прокуратуре СССР, а фактически оно было направлено на радиостанцию «Голос Америки», которая несколько раз протранслировала его текст на Советский Союз с фамилиями и должностями всех участников. Обком КПСС объявил подписание этого письма «предательством Родины» и потребовал от научных коллективов Академгородка стражайшей расправы с виновными. Руководство использовало эту ситуацию для сведения счетов с либерально настроенными учеными. Но здоровые научные коллективы не поддались партийному натиску и вынесли провинившимся «минимальные» наказания. Тем не менее в результате этой кампании обстановка существенно изменилась. Прежде свойственное Академгородку чувство свободы, открытости и взаимного доверия ушло. Сибирским ученым ясно напомнили, в какой стране они живут (Там же: 31–32).

Однако главным фактором, который определял самобытность НЭСШ, были люди. В этой связи следует упомянуть об особой роли академика А. Аганбегяна.

*Из воспоминаний Т. Заславской (Российская социология шестидесятых 1999: 132–155).* На работе в Москве, в Институте экономики АН СССР, — тоска. Про Аганбегяна ходят слухи: необычайно талантлив, собирает неординарных людей для совершения крупного прорыва в науке. А тут он приезжает в столицу, приходит к ней. Предложение было простым — слетать в Новосибирск на субботу и воскресенье, быть его гостем. Она туда слетала вместе с мужем. Это было 29–31 января 1964 г., а уже 8 февраля — стала сотрудником лаборатории Аганбегяна. Так подействовал дух Академгородка. Ей было тогда 36 лет, она ощущала себя человеком зрелым, матерью двух детей и прочее. А тут опять надо было учиться языку, математическим методам, совершать выбор темы. Она намеревалась серьезно заняться проблемой миграции сельского населения как чисто экономической. «Никакой социологии и в голове не имела (хотя бы по причине незнания того, что она существует)» (Там же: 139). Но все же начала, испытывая давление со стороны Аганбегяна, который силой повернул ее в сторону малоизвестной науки. Он буквально гнал всех за границу. «В свои 32 года Аганбегян прекрасно понимал: тесные контакты с западной наукой — определенная гарантия уровня. У него в отношении науки было стратегическое мышление» (Там же: 141).

Позднее, подытоживая свой научный путь, Т. Заславская напишет об академике А. Аганбегяне такие слова: «Мысленно возвращаясь в то время, я пытаюсь оценить этого человека задним числом, чтобы понять, чем обусловлена та серьезная роль, которую ему было суждено сыграть, [как] в развитии экономической науки, так и в жизни многих людей. По-видимому, это объясняется сочетанием нескольких черт, каждая из которых важна сама по себе, в сочетании же с другими дает особый эффект. К таким качествам я отношу: научную одаренность, стремление к лидерству, инновационное мышление, целеустремленность, исключительный дар убеждения, готовность к серьезному риску, редкий организаторский талант, а также способность оценивать и использовать творческий потенциал людей. <...> Инновационный настрой Агела [Аганбегяна] проявлялся и в отношении к социологии. Он сразу понял перспективность этой науки, поддерживал ее развитие в институте. Неоднократно участвовал в международных социологических конференциях, вместе с В.Н. Шубкиным редактировал книгу “Количественные методы в социологии”, вышедшую в 1966 г.» (Заславская 2007: 478–480).

Еще один фактор, который также во многом обусловил своеобразие НЭСШ, — личный вклад в развитие школы и научные заслуги не-

посредственных создателей, особенно ее лидера, академика Т. Заславской. Она была автором многих концепций и идей, которые стяжали научную славу (не побоюсь хоть раз сказать это замечательное слово!) школе. Другим создателем и научным лидером школы являлась доктор экономических наук Р. Рывкина. Существенным был вклад члена-корреспондента АН СССР Г. Пруденского, докторов экономических наук В. Патрушева и В. Шляпентоха, доктора философских наук В. Шубкина и ряда других сотрудников НЭСШ.

В предметном отношении НЭСШ была проэкономической. В данном случае это означало бóльшую конкретность, «близость к земле», реальным процессам. «Проэкономический» подход непосредственно влиял и на предмет исследований, который включал такие проблемы, как дифференциация доходов, качество и образ жизни, трудовые мотивации, текучесть кадров, миграции населения, сельского в первую очередь. Другие школы того времени Заславская называла «философскими» — ведь как минимум на 80 % у советской социологии были «философские» корни. Удаленность от Москвы позволяла быть более свободными в идеологическом плане.

Сама консолидация была длительным, но органичным процессом и велась по нескольким направлениям. Главный из них — формирование общей теоретической платформы, единой системы используемых понятий и научного языка. Благодаря настойчивости лидера удалось превратить в традицию коллективное обсуждение замыслов, результатов частных исследований, обеспечить их высокий научный уровень, соблюдение методических требований. Нормой повседневной научной деятельности стали регулярные заседания методологического семинара, научные дискуссии, подготовка совместных трудов, участие ведущих ученых в редакторской работе. Научный редактор фактически действовал как научный руководитель, поскольку он не только работал с каждым человеком, но и проводил обсуждения. Отсюда — интерпретация механизма функционирования школы как «котла», в котором «варятся» разные люди: у них формируются в чем-то общие взгляды, единые подходы к проблемам, общая система научных ценностей, а также общая система моральных критериев, не отменяющих индивидуальность ученого, но помогающих цементированию группы ученых и их учеников в коллектив. Особую страницу истории НЭСШ представляют социологические экспедиции — хорошо подготовленные в организационном и методическом плане длительные выезды в поселки Северного Приобья, сельские районы Алтая, города Сибири и Дальнего Востока. Традицией были вечерние семинары участников поездки, где обсуждались впечатления дня, методические вопросы, новые идеи, вносились коррективы в содержание экспедиционной работы (Социальная траектория 1999: 36).



Существует и другой механизм формирования школы. Если группа становится коллективом, то она обладает способностью притягивать или отталкивать определенный «человеческий материал». В социологическом отделе ИЭиОПП особой текучести кадров не было, но за четверть века через него прошло много людей, в том числе и тех, кто не сумел прижиться. Всегда существует шанс появления людей недобросовестных, а то и «халтурщиков». Заславская пишет, что некоторые уходили по амбициозным причинам, не желая подчиняться женщине; влияло несходство научных интересов и нежелание работать на основе общей научной платформы; имела также место вертикальная (выдвижение на более высокие должности) и горизонтальная (уход на преподавательскую работу) мобильность.

Дополнительные скрепы для сохранения коллектива и его «конверсии» в школу создает выход за сферу чисто научных занятий в процессе научного поиска. Проиллюстрирую это несколькими примерами.

В момент, когда Заславская, проведя свыше 20 лет в Новосибирске, уезжала в Москву (1988), ее отдел состоял из сотрудников, которые начали работать там еще в студенческие годы. В то же время в отделе работали представители как минимум пяти поколений ученых. На формирование одного поколения ученых уходило 5–7 лет, после чего его представители могли передавать свой научный, исследовательский опыт другим.

Прийти к этой налаженной преемственности и согласованной иерархии поколений было нелегко. Прежде всего, брежневское время не ликвидировало трудности преподавания социологии — науки с «неотмоленным грехом буржуазного происхождения». И тем не менее на экономическом факультете НГУ в конце 1960-х гг. было создано «специальное» отделение, где несколько лет под предлогом подготовки «экономистов-кибернетиков» неофициально, фактически подпольно, преподавались полноценные социологические курсы. Ответственность за это взял на себя академик Аганбегян в момент, когда до «смелого» решения Высшей аттестационной комиссии о введении специальности «прикладная социология» (1974 г.) оставалось еще несколько долгих лет (Социальная траектория 1999: 52).

Благодаря твердой научной и гражданской позиции Аганбегяна, начиная с первого выпуска «экономистов-кибернетиков» НГУ, ИЭиОПП ежегодно пополнялся профессионально подготовленными социологами. Количество студентов, специализировавшихся по социологии, в разные годы менялось (от 5 до 15 человек), поскольку выбор профессии был делом добровольным. Получив на первых трех курсах базовые экономические и математические знания, студенты проходили полноценную специализацию. Заславская, к примеру, вела семинар по методологии социологического исследования (он имел годовую

длительность, начинался в середине четвертого курса и заканчивался в середине пятого). Семинару предшествовали лекционные курсы, в частности знаменитый курс Р. Рывкиной по методологии и методике социологических исследований. Получив теоретическую базу, студенты выбирали тему своего исследования, а затем под руководством преподавателей проводили преддипломные и дипломные исследования, получая всестороннюю помощь и наставления своих менторов. Лучших дипломников оставляли в отделе (как правило, удавалось взять одного–двух выпускников в год). Вторым источником регулярной подпитки лучшими молодыми кадрами была аспирантура. В результате, когда научные сотрудники, находившиеся в верхней части иерархии, уходили, — подтягивались и перемещались вверх занимавшие «нижние» места новые, молодые. В итоге, как заметила в одном из своих выступлений лидер школы Т. Заславская, «через 25 лет сформировалась научная школа».

#### **6.4. Становление советской школы социологии труда**

В отечественной социологии труда и производства выделяют четыре этапа, каждый из которых имеет присущие ему особенности (Социология в России 1998: 211–239). *Первый* этап был связан с изучением социального положения рабочего класса, *второй* — с идеями НОТ; главные акценты *четвертого*, послеперестроечного этапа — маркетинговые исследования, экономическая социология и социальная работа.

*Третий* этап начался в 1950–1960-е гг. с нуля. Его теоретическая сфера базировалась на идеях утопического социализма, но в области методики, частных теоретических открытий и качества эмпирических данных опиралась на международные стандарты. В рамках коммунистической доктрины труду придавалось огромное значение — он выступал средой воспитания нового человека. Поколение профессионалов, составивших отряд пионеров социологической деятельности и отличавшихся склонностью к анализу социальных проблем общества, не могло «обойти стороной» эту категорию и волею исторических обстоятельств стало выполнять роль связующего звена между философами (их полем были идеология и макросоциальная модель общества) и экономистами (которые занимались конкретными проблемами производства). Парадокс состоял в том, что, зажатые между этими полюсами (идеальные представления о социализме и реальные вопросы развития промышленности и сельского хозяйства), социологи обязаны были выполнять двойную задачу: с одной стороны, доказывать преимущества социализма, а с другой — средствами прикладных методов

устранять его недостатки, которые имели эвфемическое название «родимые пятна капитализма».

Однако все это имело место в период хрущёвской «оттепели», а не в эпоху застоя. Синонимом «оттепели» являлись общественные настроения, пропитанные теоретическими иллюзиями и ложным (правильнее сказать, беспочвенным) оптимизмом. «Многие социологи с энтузиазмом изучали процесс превращения труда в первую жизненную потребность» (Социология в России 1998: 219). Об этом В. Ядов позже скажет так: «Действительно, тогда была кампания за “коммунистическое отношение к труду” — именно потому и у нас тема называлась “Отношение рабочего к труду”. Исходной посылкой была проблема отношения к труду как к самоценной деятельности или же как к средству жизни. Это была генеральная гипотеза» (Российская социология шестидесятых 1999: 50).

Те современные методы, которые при этом использовались, отражали стремление правдиво разобраться в ситуации и оказать помощь людям (здесь метод выступал гарантией глубины и серьезности охвата проблемы). Значение работ ведущих теоретиков социологии труда состояло в том, что они рассматривали трудовые отношения в тесной связи с внутренним миром человека (мотивация, удовлетворенность условиями и содержанием труда, ценностные ориентации и производственное поведение). Такой подход был обусловлен гуманистическим стремлением приспособлять работу к человеку (а не наоборот). Сквозь эти результаты просматривалась идея, которая получила подкрепление и обрела более или менее определенный образ в 70–80-е гг., — разнообразен не только мир людей, но и сам мир труда; труд социально неоднороден — виды труда различаются по оплате, условиям, организации, физической и умственной нагрузке, престижу и общественной значимости.

Изыскания в области социологии труда надолго определила книга «Человек и его работа» (1967). Язык марксистских абстракций включал человека в понятие производительных сил наряду с орудиями труда, инфраструктурой. В свете этих дефиниций он становился если не придатком к машине, то деперсонализированным элементом названных сил. Исследование «Человек и его работа» — серьезная попытка увидеть в рабочем личность, это прорыв в непознанный мир трудового человека. Первые открытия были связаны с двумя типами мотиваций: внутренней, стимулирующей саморазвитие и творчество, и внешней, которая побуждает видеть в работе (труде) средство для существования. Здесь не было новизны (по истматовским канонам, труд также являлся средством к существованию и первой же жизненной потребностью), но, отталкиваясь от известного, авторы исследования обнаружили ранее неизведенное: *да, труд есть источник внутреннего удовлетворения, но при условии достаточно богатого его содержания* (по тогдашним понятиям, — совокупность функций и обязанностей на трудовом месте).

И поэтому не всякий труд был «делом чести, доблести и геройства», как утверждала пропаганда. Что касается мотивации, то она теперь предстала зависящей от вида труда. Инструментальная мотивация доминировала в простом труде, и только сложный, квалифицированный труд мог опираться на творческие мотивы (интерес к самой работе, стремление к продвижению по службе).

Книга получила международное признание, была переведена на иностранные языки (США, Польша, ГДР). Американцы назвали ее «основной советской социологической работой» (см.: *Man and His Work* 1969). В ту пору Ф. Херцберг (США) выдвинул идею двухфакторной теории мотивации труда. *Фактор первый* — высшие мотиваторы (по сути, это расширенное толкование содержания труда — не только сама работа, но и достижение, признание, возможность творческого роста, ответственность). Они и только они усиливают удовлетворенность трудом. *Фактор второй* — гигиенические причины (иначе говоря, условия работы — зарплата, политика компании, межличностные отношения). Они действуют в направлении уменьшения степени неудовлетворенности трудом. Советские социологи подтвердили эту теорию, показали, что тип мотивации зависит от вида труда. Кстати, для книги была подготовлена глава, где Здравомыслов и Ядов «осмелились» сопоставить данные о ленинградских рабочих с данными об американцах. Но цензура запретила публиковать этот материал.

Повторное исследование, проведенное также в Ленинграде (1976), показало, что у рабочих формируется более рациональное отношение к труду. Замечу, что в период первого (основного) обследования (1961–1965) только 40 % рабочих были удовлетворены трудом, а позиции 42 % были амбивалентны. Удовлетворенность работой в то время зависела в первую очередь от содержания трудовой деятельности, а во вторую — от зарплаты, что позволило авторам сделать вывод: «Не факт, что чем больше платят, тем лучше отношение к труду». Теперь же можно было утверждать, что трудовой энтузиазм уходит, уступая место инструментальному подходу к работе. Роль материального вознаграждения заметно возросла.

Сейчас можно уже сказать, какова же была судьба пресловутого вопроса о соотношении «материальных» и «духовных» ценностей.

*Из воспоминаний В. Магуна* (Ленинградская социологическая школа 1998: 97–102). Условия научной деятельности, которые были созданы благодаря реформам, позволили в 1990–1991 гг. впервые на общероссийской выборке осуществить исследование трудовых ценностей и сравнить полученные данные с данными других стран. Как и следовало ожидать, лидирующей в этой выборке оказалась ценность высокого заработка, что совпало с картиной в других странах. Ценность интересной работы также получила высокий рейтинг, но оказалась на третьем месте, что

тоже было похоже на ситуацию в других странах. Что касается ценностей активной самоотдачи, трудовых и статусных достижений, ответственности, то они расположились в нижней части списка. Следовательно, реальная оценка трудовых ценностей в России в начале 90-х гг. противоречила социалистическому канону прежних десятилетий, утверждавшему приоритет «духовных» и общественных ценностей перед «материальными» и индивидуальными. Большинство опрошенных россиян рассматривали труд как деятельность, основной целью которой является удовлетворение потребительских нужд самого работника и его семьи. Этот явный приоритет высокого заработка как ценности труда был свойствен не только россиянам, но и респондентам из других стран.

Опуская технические детали, можно сделать следующий вывод. Исследователи построили некий индекс, в который в качестве «плюсовых» значений включили ценности инициативы, достижения и ответственности, а «минусовых» — ценности высокого заработка, гарантий занятости, отпуска, удобного времени, отсутствия чрезмерного давления на работника. В итоге для работающего населения России было получено самое низкое значение этого индекса. Это свидетельствует о том, что россияне ценят более всего возможность максимизации заработка и сокращения трудовых затрат при безразличии к активной самоотдаче, которая приводила бы к социально значимым результатам труда.

Напомню, что в недалеком прошлом официальная формула отношения к труду была противоположной по смыслу: от работника требовали высоких трудовых затрат при низком материальном вознаграждении. Видимо, сегодня основная стратегия сводится к совсем другому императиву — побольше зарабатывать и по возможности минимизировать неприятные трудовые усилия. Посмотрим на это сквозь призму воспоминаний основных авторов книги «Человек и его работа».

*Из воспоминаний А. Здравомыслова (Российская социология шестидесятых 1999: 156–174).* Корни собственного интереса к проблеме — в потребности понять, что такое непосредственная жизнь человека, нельзя принимать на веру ни свои, ни чужие впечатления. Поэтому вполне обоснованными были постоянное самообучение («мы постоянно что-то штудировали»), коллективная разработка методик и сбор эмпирического материала. Идеи черпали из опыта западной социологии. Перевели сами известную в ту пору книгу Гуда и Хатта «Методы социальных исследований» (совет прочесть эту книгу исходил от Кона); познакомились с группой западных социологов «оттуда» и малоизвестной теорией мотивации трудовой деятельности (Ф. Херцберг); размышляли о сравнительных исследованиях — т. е. жили по законам складывающейся профессиональной среды.

Совершенно органично возникла идея соотнести эмпирическую реальность и идеологические представления о ней. Оказалось, что отно-

шение к труду, его динамика, мотивация труда определялись не идеологией (коммунистическое отношение к труду), а реалиями повседневной жизни. Одно из открытий, сделанных тогда, — расчленение самого отношения к труду на три составляющих: отношение к работе, отношение к специальности (профессии) и усвоение значимости труда как некоторой социальной ценности. Содержание труда, закрепляющееся в его разделении, явилось системообразующим моментом.

Кто-то встретил исследование в штывы, пытаясь доказать, что это «отход от марксизма», но после того как академик Константинов назвал его марксистской работой, необходимость в самооправдании отпала. Однако главное в этой работе — ее своеобразная методология, никак не родственная демагогии и абстрактному восприятию человека на базе идеологизированного до беспредельности марксизма.

*Из воспоминаний В. Ядова (Ленинградская социологическая школа 1998: 11–19).* Полезно сказать о том, как он и сотрудники его лаборатории хотели узнать правду об обществе. Им хотелось узнать ее путем верификации, аккуратной проверки существующей социальной философии, т. е. марксистского взгляда на общественное устройство. Кстати, Маркса можно воспринимать по-разному. Можно рассматривать только молодого Маркса, который формировал концепцию живого, активно действующего социального субъекта и концепцию отчуждения человека. Эти части его теории никогда не утратят смысл великих достижений. Но о Марксе можно говорить и упрощенно, видя в нем только и исключительно теоретика экономического детерминизма. Этого, второго Маркса они, конечно, признавали, но ценили гораздо ниже, чем первого.

Так вот, именно их направление социологических разработок ставило перед собой цель связать теорию с эмпирическим материалом. Это означало действовать по строгим правилам, исходить из критериев валидности, достоверности, надежности и точности эмпирического знания. В их социологической лаборатории они изучали западные учебники по методологии и методам эмпирического исследования и старались быть во всем строго пунктуальными — вот концептуальный аппарат, его следует перевести в эмпирические индикаторы, затем найти возможность измерения изучаемого свойства, а после измерения проверить возможность повторяемости измерения. До них никто в нашей стране такой тонкий анализ не делал. Теперь, став взрослым и старым, он многие стадии этой процедуры позволяет себе опускать, но его ученики, если они не лишены добросовестности, только так тщательно готовят свои уроки... Что касается специалистов, прошедших школу идеальных требований, то они обладают способностью схватывать многое сразу, не прибегая к проверкам, потому что знают, что и проверять-то нечего, тут уже многое известно.

Особенность ленинградской школы состояла в том, что исследователи верифицировали то, что подсказывала концептуальная проработка, — а она подчеркивала роль субъекта, индивида, человека. «Например, исследования бюджета времени, текучести кадров. Там

человек появляется на первом плане со всеми своими проблемами, сомнениями. И становилось понятно, что не только оплата труда, но и сам субъект, его внутренний мир играют важную, часто доминирующую роль» (Ленинградская социологическая школа 1998: 14).

Ядов подчеркивает атмосферу, в которой все это происходило, — в одно и то же время драматично и очень забавно. С одной стороны, общество и официальные структуры — партия, министерские и академические власти — утверждали, что все предлагаемое социологами — это буржуазная наука, эмпирическая и позитивистская (слово «позитивистская» было ругательным). Но, с другой стороны, парсонсианская концепция структурно-функционального анализа как нельзя лучше подходила к условиям советского общества. Правда, Парсонса ругали, но его теоретические взгляды вполне вписывались в прагматику тогдашнего политического руководства. Таким образом, вопрос был в использовании имени. Парадоксально, но если имя этого буржуазного автора не называлось, но делалось все, что он предлагал, — это уже не выглядело «буржуазным» и могло считаться нормой.

Попробую обобщить современный взгляд на книгу «Человек и его работа» (1967). Рекомендую эту работу молодой социологической смене, полезно выделить ряд ее очевидных достоинств.

Сказать, что она иллюстрирует нестыдное прошлое, значило бы сказать очень мало, и к тому же ностальгический взгляд малоинформативен, он не позволяет восстановить многое. Один из аспектов, заслуживающих внимания, — *коллективный труд единомышленников*, который привел к высокому научному результату в условиях репрессивного времени, что указывает на надежность источника социологической информации.

Другой, не менее важный аспект — *широкий взгляд на анализ эмпирических данных*. Исследователи, авторы книги, располагая развитым социологическим воображением, могли «домысливать» реальную ситуацию и позволяли себе широкий социально-философский взгляд на изучаемые ими проблемы. Напомню здесь об их дерзкой по тем временам попытке сопоставить показатели отношения к труду и работе молодых советских и американских рабочих. Подобная дерзость была для них вполне естественным делом. Сюда же я могу отнести их сознательное стремление выйти за пределы советского опыта, обогатить себя знанием всех тех богатств, которые выработало мировое социологическое сообщество к тому времени. Эмпирика-социолога всегда должны волновать в первую очередь социально-философские проблемы эпохи, в которой он живет, и книга подтверждает это представление.

Однако наиболее важным, на мой взгляд, является аспект, связанный с *высокой методолого-методической культурой исследования*. Со

ссылкой на оценку этой стороны дела, принадлежащую Ядову, можно сделать вывод, что эта культура была более скрупулезной, чем имеющаяся у профессионалов сегодня. Ядову и его коллегам, которые тогда были еще неопитами, начинающими исследователями, казалось, что надо очень точно и последовательно соблюдать все правила: вот вам гипотеза, вот ее проверка, вот статистический критерий достоверности вывода и т. д. Такой культурой исследований отличались далеко не все школы, но для ведущих школ — Ленинградской, Новосибирской и ряда других — это было правилом. Это приносило пользу сообществу, но, к сожалению, не вошло в жизнь в качестве нормы профессиональной деятельности. Стандарт представления социологических данных так и не утвердился. И по сей день продолжается публикация большого числа работ, в которых способы представления эмпирических данных не соответствуют этому стандарту. Хочу повторить, что об опасности такого рода упрощений и искажений всем исследователям напоминал «Профессиональный кодекс социолога» (см. Приложение 5).

В последнее издание книги «Человек и его работа» (2003)<sup>1</sup> были включены глава о сравнительном исследовании отношения к труду советских и американских рабочих, а также материалы сравнительного изучения молодых рабочих Ленинграда уходящего советского времени и уже петербургских 1990-х гг. Надеюсь, что это образцовое теоретико-прикладное эмпирическое исследование благодарные потомки занесут когда-нибудь в разряд социологической научной классики советских лет. Для полноты ощущения социальной атмосферы, в которой зарождалась и развивалась социология труда, я хочу предложить два исторических сюжета. Один из них позволит современному читателю лучше представить реальные трудности и барьеры, которые приходилось преодолевать социологам, отважившимся заниматься сравнительными международными исследованиями.

### **Почти детективная история первого советско-американского исследования<sup>2</sup> в изложении В. Ядова и А. Здравомыслова**

Чтобы эмпирически проверить, в какой мере на отношение рабочих к труду влияют социально-экономические условия, необходимо было провести сравнительное исследование на капиталистических предприятиях. Но как подступиться к решению такой сложной задачи? Казалось, что

---

<sup>1</sup> Это издание, исправленное и дополненное, теперь имеет название: «Человек и его работа в СССР и после».

<sup>2</sup> См.: Человек и его работа 2003: 421–422.



найти ответ на этот вопрос невозможно по причинам идеологического характера. Однако выход, как свидетельствует история, был найден.

...Предстояло найти партнера по исследованию где-то в «капиталистическом лагере». К тому времени опыта подобного не было. И здесь сработало то, что называется корпоративизмом академического сообщества. Мы совершенно случайно натолкнулись на работы Фредерика Херцберга о панельных исследованиях сдвигов в мотивации труда американских рабочих, достали эту книгу по межбиблиотечному обмену с Хельсинским университетом (мощный канал зарубежной литературы для библиотеки Ленинградского университета в то время) и послали ему письмо, что называется, «на деревню дедушке» — в Western Reserve University (где такой?). Американская почта сработала идеально, и пришел эмоциональный ответ: «Я в восторге установить контакт с советскими коллегами» («I will do the best I can»). Ни он, ни мы понятия не имели о том, как можно было бы осуществить идею сравнительного исследования.

Однако удалось пригласить американского профессора посетить Ленинградский университет и встреча состоялась. Херцберг сразу согласился осуществить, как мы говорим сегодня, проект межстранового исследования и принял без каких-либо возражений наши концептуальные и методологические посылки. Тем более что выделение двух сторон работы — ее содержания и условий труда — вполне укладывалось в предложенную им теорию мотивации труда с выделением наряду с «внутренними», содержательными мотиваторами, «внешних» гигиенических факторов. И конечно, его, как и нас, вдохновляла сама идея пионерского советско-американского исследования. Мы детально обсудили методологию, методики, выборку, и Фредерик отбыл добывать грант на реализацию проекта, каковой он получил от своего университета.

Но дальше произошло то, что не могло не произойти. Исследование в США проведено. Как получить сырые данные? Статью можно было послать почтой (для нынешнего поколения заметим, что ни факсов, ни e-mail тогда и в помине не было), но таблички-табуляграммы — никоим образом! А вдруг там шпионские инструкции?<sup>3</sup>

Случилось так, что я в 1965 году поехал в Вену на некий симпозиум, о чем предупредил Херцберга. И там один из участников встречи передал мне рулон табуляграмм. Мы начали работать.

---

<sup>3</sup> Уже в годы перестройки Ядов, впервые приехавший в США, позвонил из Нью-Йорка Херцбергу, к тому времени почетному профессору в отставке Университета штата Огайо. Херцберг прилетел в Нью-Йорк со всей семьей — женой, сыном и невесткой. Первые его слова были такие: «Я не писал Вам, боялся, что из-за связи с американцем Вы можете попасть в ГУЛАГ». Думается, что только что опубликованная к тому времени на английском языке книга Солженицына вызвала у него сверхтравматические ощущения. Он, пишет Ядов, не очень разбирался в советской истории и соединял воедино 37-й год и XX съезд КПСС (см.: Человек и его работа 2003: 421).

Между тем некто из нас (неизвестный участник венского семинара) донес куда следует. В социологическую лабораторию ЛГУ явились «люди в штатском» и потребовали табуляграммы. Естественно, пришлось их отдать. Правда, к этому времени основные таблицы были расшифрованы и отпечатаны. Увы, оказалось, что наш американский коллега не произвел расчетов индексов различий между общей удовлетворенностью работой и удовлетворенностью данным видом производственной ситуации. Решил[и], что эту операцию мы сами сделаем (его сотрудники работали на компьютере, в чем проблема?). Но исходными данными в табуляграммах мы уже воспользоваться не могли даже с помощью счетно-перфорационных машин. Они сгнули где-то в архивах «Большого дома» на улице Войнова. Вновь запрашивать курьерскую почту из США мы сочли слишком рискованным. Поэтому... прибегли к иному способу сопоставления данных, опираясь на ту информацию, что нашли в табличках Херцберга.

Тем временем американский коллега поспешил опубликовать в «Нью-Йорк Таймс» статью, где писал, что особых различий в отношении к труду советских и американских рабочих нет. Ядов ответил статьей в «Вопросах философии» под лихим названием «Давайте посмотреть фактам в глаза», каковая была перепечатана в той же «Нью-Йорк Таймс» и в которой утверждалось, что различия все же есть и доказаны. Насколько эта полемика, не без явного идеологического давления с двух сторон, была убедительна, можно проверить по Приложениям и комментарию, что следует ниже<sup>4</sup>.

Второй сюжет я бы рискнул назвать притчей, заключающей в себе моральное поучение («премудрость»), — недаром рассказчик (Ядов) назвал ее «Горестным уроком».

Читая написанное в те годы, автор комментария сознает, насколько сильным было идеологическое ослепление тридцатилетнего исследователя, добившегося восстановления в партии после исключения из КПСС в 1952 г. на волне «второго ленинградского дела» и полутора лет работы резьбошлифовальщиком на заводе. Надо признать, что далеко не все, что тогда было написано, диктовалось самоцензурой, оно во многом было искренним: так конструировалась в сознании автора социальная реальность. Пропорция идеологического лукавства и желания понять, чем же отношение к труду в СССР [рабочего], живущего в стране — лидере «всего прогрессивного человечества», отличается от отношения к работе американца, сейчас не восстановишь.

---

<sup>4</sup> Имеется в виду глава третья второй части книги «Человек и его работа в СССР и после» (2003), где авторы смогли без пропагандистской патетики, которой им не удалось избежать при подготовке первого издания книги — «Человек и его работа» (1967), оценить действительные различия отношения к труду советских и американских рабочих.

И в этом урок социологу, который, как заметил Макс Вебер, обязан различать научный и ценностный подходы в своем творчестве. Увы, урок тогда не был воспринят.

*Но хорошо ли мы его освоили сегодня?*

(Человек и его работа 2003: 427–428).

## **6.5. Комплексное исследование «Общественное мнение» («Таганрогский проект», 1967–1974)<sup>5</sup>**

«Таганрогский проект» (см.: Массовая информация 1980; Социология в России 1998: 569–586; Российская социология шестидесятых 1999: 205–228) смело можно назвать самым крупным в истории отечественной социологии уже хотя бы потому, что он опирался на программы 76 самостоятельных исследований, 72 из которых были полностью реализованы. Генератор идей этого проекта и его бессменный научный руководитель Борис Грушин считает, что объяснение особенностей проекта включает в себя пять разделов. Но прежде несколько слов о нем самом.

Грушин — человек холерического, взрывного темперамента, с живыми глазами и цыганской кровью в жилах («Мой дед табор водил!»). Прирожденные качества организатора позволили ему успешно «водить» социологический «табор» на «полигон» в Таганроге («Таганрог должен быть “разрушен”!»). Дар публициста сочетается в нем с очень серьезной подготовкой в области логики, философии, социологии. Грушин — автор ряда работ по логике исторического процесса, им написаны книги «Мнения о мире и мир мнений», «Массовое сознание», по которым учились исследователи процессов массовой коммуникации и общественного мнения.

Теперь вернемся к комментариям, связанным с особенностями проекта. *Первый вопрос* касается *теории и методологии*. Здесь важен синтез нескольких подходов, каждый из которых обозначался в теоретических полях тогдашней социологии, позволяя ей выполнять познавательную функцию (производство нового знания). Этими подходами

---

<sup>5</sup> Это исследование является частью генерального проекта «Таганрог» (1967–1974), в котором помимо социологов участвовали демографы, экономисты, этнографы. Генеральный проект включал в себя несколько связанных между собой самостоятельных проектов: изучение досуга и быта населения (Л. Гордон, Э. Клопов), программу социально-экономических обследований, разработанную группой социологов-экономистов под руководством Н. Римашевской, и, наконец, проект «Функционирование общественного мнения в условиях города и деятельность государственных и общественных институтов» (далее — «Таганрогский проект»).

были «наработки», связанные с функционированием общественного мнения, логикой социального познания, приспособленной к феноменам жизни тогдашнего советского общества, а также результаты освоения западных теорий массовой коммуникации и массовой пропаганды, авторами которых были У. Шрамм, Б. Берелсон, Ж. Элльюль, Г. Лассуэлл. К сожалению, при публикации материалов проекта главный акцент был сделан на эмпирические данные, и поэтому теоретический фундамент исследования современники оставили без надлежащего внимания.

Немало сложностей было связано так или иначе с методологией проекта, если учесть, что схема включала в себя все стадии обращения массовой информации — ее производство на уровне власти и органов, действующих по поручению этой власти; процессы канализации (передачи) информации «вниз», ее прием и переработку сознанием людей; наконец, процессы производства информации самой публикой (аудиторией) и ее передачу «наверх», в обратном направлении, в сторону власти. Важно подчеркнуть, что идея проекта исходила от трех человек, занимавших в то время видные посты в Отделе пропаганды ЦК КПСС. Это А. Яковлев (которого впоследствии назовут «архитектором перестройки»), Г. Смирнов и «офицер по связи» — консультант Отдела Л. Оников, без которого эта махина никогда бы не сдвинулась с места и не дошла до цели. (В своих воспоминаниях Оников заметит, что, будучи человеком контактным и энтузиастом социологии, он втянулся в работу, но был «рискованно неприкрыт».) Ведь предстояло не только выявить настроения людей, но и заглянуть в святая святых — в повседневную деятельность партийного аппарата и увидеть безобразия, ставшие нормой тогдашней внутривластной жизни. Скажем, при Оникове, который находился в этот момент в кабинете, первый секретарь Таганрогского горкома КПСС позвонил судье и продиктовал, не стесняясь, приговор: «Этому негодю меньше трех лет давать нельзя». Сам Оников опубликовал в газете «Правда» статью на немодную тогда тему «Социализм и демократия» и долгое время имел предосудительную и опасную репутацию демократа.

Существует два представления о «Таганрогском проекте». Одно обобщающее, поскольку на примере типичного промышленного советского города, каким являлся Таганрог в то время, первоначально было задумано выявить уровень жизни населения и связать его с фактическим благосостоянием. Этим занялись Центральный экономико-математический институт АН СССР (ЦЭМИ) и Институт международного рабочего движения. Но аппетит приходит во время еды — Отдел пропаганды ЦК КПСС интересовала в необходимых деталях хозяйственная преступность, масштабы которой уже в то время были значительными. Ее изучение было поручено Институту по изучению преступности. Когда позже возник идеологический аспект — появилась потребность связать

все эти явления (образ и уровень жизни, благосостояние, теневая и криминальная экономика) с пропагандой решений партии. Так выбор пал на Грушина и его коллег из Института конкретных социальных исследований, которым прежде всего пришлось выдержать нелегкую борьбу за расширительное понимание объекта исследования, — они считали, что нужно заниматься не узкой пропагандой, а собирать всю информацию, обращающуюся в общественном организме, во всех ее видах и во всех формах контактов населения (в том числе и с властью).

Объектом пристального внимания стали все типы общественных и государственных институтов — средства массовой коммуникации (СМК), средства массовой устной пропаганды, например общество «Знание» (СМУП), письма трудящихся в разные инстанции, собрания общественных организаций, контакты населения с депутатами Советов и органами управления, куда включались партия, комсомол, профсоюзы, органы правосудия, милиция и т. д. Подчеркну, что изучение этих процессов потребовало создания пионерных для страны методов сбора первичной информации. Рискну потрясти воображение читателя количественными характеристиками этой деятельности в целом: в 23 исследованиях применялся анкетный опрос, в 17 — интервью, в 18 — контент-анализ разных текстов. В ходе полевых работ было заполнено 8882 бланка самофотографии, проведено 451 наблюдение, 10 762 интервью, охвачено опросами 16 159 респондентов. Всего в проекте было использовано 85 полевых документов общим объемом 58.7 п. л.

*Второй вопрос — кадры.* Их не было, и поэтому приходилось готовить людей «по дороге». Через проект прошло не менее полусотни штатных сотрудников, которые выступали в самых различных ролях — интервьюеров, контролеров, супервайзеров. Несмотря на увольнения, которые были неизбежны в таком большом деле (если к тому же принять во внимание высочайшую требовательность к себе и подчиненным в том, что касалось профессионального отношения к делу, со стороны Б. Грушина), общий итог был оптимистическим. Было защищено свыше 20 диссертаций, многие сотрудники проекта основательно продвинулись к высотам научного познания. Группа, влившаяся в проект из числа научных сотрудников факультета журналистики МГУ, и по сей день трудится на факультете и не имеет потерь. К сожалению, дружба, существовавшая в течение нескольких лет, распалась. Но на то были особые причины, не зависящие от его членов.

*Третий вопрос — организация работ.* В условиях хронического безденежья и отсутствия техники (много приходилось делать вручную) участники проекта создали выездную лабораторию и построили сетевой график проведения всех этапов исследовательских работ. Особая забота была проявлена об архиве. Первые полевые работы были проведены в декабре 1967 г.

*Четвертый вопрос — общий контекст реализации проекта.* Хотя целью проекта было выявление истинного состояния дел и определение способов усиления информационной деятельности в обществе, объективная картина не устроила «заказчика» — власть. «Заказчик» нервничал по мере поступления «зарисовок действительности», вызывал раздражение, узнав, что депутаты не работают, а СМИ — не функциональны и проявляют активность лишь в период очередной кампании. «Огорчался» «заказчик» и оттого, что население плохо понимало терминологию и язык массовой пропаганды. «Заказчик» хотел другого — получить оптимистические результаты, не требующие изменений. Любые перемены были для «заказчика» сопряжены с риском утраты стабильности в стране и неизбежности собственного существования. Отсюда — ощущение громадной социальной опасности, исходившей от профессиональной социологии. Социология разоблачала миф о совершенстве и гармонии советского общества. Она перечеркивала сервильную социологию, которая называлась «историческим материализмом». «Никогда не забуду, — вспоминал Б. Грушин, — как прибежали люди от Демичева и сказали, что, по нашим данным, — народ неграмотный и не разбирается “кто есть кто” и “что есть что”. Отдел пропаганды был раздражен, когда выяснилось, что только одна треть населения понимает популярные пропагандистские термины... нас все время тащили “на ковер”, потому что информация была неприятной, требовавшей каких-то действий и решений. А они там (в Отделе пропаганды) сидели совершенно для другого. Они хотели не менять, а продлевать то, что имеют. Любые перемены были для них сопряжены с риском» (Российская социология шестидесятых 1999: 221).

*Вопрос пятый — об итогах.* Они оказались безрадостными. Не состоялось внедрение результатов проекта в практику. Грушин и его коллеги написали тогда 29 докладных записок, которые, похоже, в «верхах» не рассматривались. Вот названия некоторых из этих, актуальных и по сей день, документов: «Общая картина передачи информации населением в органы управления», «Гласность в работе местных органов управления», «Общественное мнение в процессе принятия решений местными органами управления», «Отражение проблем в сознании населения и деятельность органов управления». Эти тексты явно были никому не нужны, с горечью заметит руководитель «Таганрогского проекта».

Однако самым большим поражением были издательские неудачи. Подготовленный к печати первый том вышел в свет лишь в 1980 г. (Массовая информация 1980), спустя шесть лет после его написания. Сейчас это библиографическая редкость. В этой книге, как мы уже знаем, рассматривался путь движения массовой информации от струк-

тур власти к населению. Второй том, который завершал композицию исследования, описывал движение информации от населения к властным структурам. Этот том, как тогда говорили, «был зарублен». «Гильотину» опустил Д. Гвишиани — академик и преуспевающий зять А. Косыгина, в ту пору председателя Совета Министров СССР. Парадоксально, что этому академику ничто не угрожало, но требовалось только одно — быть честным. Вот его конъюнктурный и трусливый отзыв: «Работа вряд ли может быть рекомендована к изданию в виде монографии, т. к. не содержит научно-достоверных выводов, обобщений ни относительно методов изучения вопросов, ни относительно существенных механизмов, факторов, процессов, конституирующих данное явление. В рукописи содержится ряд утверждений, публикация которых может дать превратное представление о деятельности советских и партийных органов» (Российская социология шестидесятых 1999: 224).

«Издательский рок» начал преследовать Грушина и его коллег уже в первые годы деятельности научного коллектива. В период разработки программы, начиная с 1967 г., социологи устраивали семинары по пятницам. Таких пятниц было 47. Отсюда и появилось предложение опубликовать 47 выпусков («47 пятниц»), посвященных этим семинарам. Идея состояла в том, чтобы дать начинающим социологам «know-how» — программы исследования, методики и инструкции к ним, а также подготовить курс лекций по теории и организации уникального проекта. Первый такой выпуск (программа проекта в целом) появился в 1969 г., затем — несколько позже — пятый (контент-анализ). К публикации были подготовлены и другие выпуски — со второго по четвертый, но вмешалась цензура, заявив, что эти материалы являются абсолютно секретными — не только их содержательная часть, но и методики. Четвертый выпуск (он был посвящен деятельности советов) напечатали, но тираж тут же уничтожили. Тираж второго выпуска арестовали и запретили к распространению.

Финал проекта, который по своим масштабам и качеству собранной информации мог укрепить престиж советской социологической науки в собственной стране и за рубежом, был печальным. Отдел пропаганды подвел итог реализации партийного заказа (Осипов, Москвичев 2008: 280–297). Бюрократическим холодом веет от документа, написанного с целью уберечь аппаратчиков от «проколов»: основания для победных реляций о состоянии дел в советском социуме отсутствуют, сказать об этом не хватало «большевистской искренности», потому весь критический запал, содержащийся в эмпирических данных, был минимизирован до уровня, гарантировавшего сохранение служебного положения конкретных «заказчиков». Правда жизни среднего промышленного города, каким был Таганрог, осталась покрытой

партийно-государственной тайной. Об этом говорят и издательские поращения авторов проекта (о чем я уже упоминал), а также меры, принятые руководством ИКСИ АН СССР (после увольнения Б. Грушина и ядра его научного коллектива)<sup>6</sup> для того, чтобы закрыть всю первичную информацию Таганрогского проекта, присвоив ей грифы «Для служебного пользования» и «Секретно». Совсем недавно представленные гласности документы наглядно иллюстрируют механизм «защиты» социологической информации проекта «Общественное мнение» от «несанкционированного доступа» (строгие приказы дирекции о наведении порядка в учете, хранении и использовании этих данных, проведение описей, перенос документов в охраняемые помещения, постоянные проверки состояния и хранения документации). Засекречиванию подверглись не только «сырые» данные и взгляды авторов на вещи, но даже техники и процедуры исследований (Там же: 299, 301–302). «Это вообще был огромный минус в нашей работе — изначальное и постоянное ощущение невостребованности, ненужности твоего дела» (Б. Грушин).

---

<sup>6</sup> Изгнание «по собственному желанию» продлилось ни много ни мало тринадцать лет (1974–1987). Рассказ Б. Грушина об этом содержится в его последней прижизненной рукописи — незавершенном предисловии к своей звездной книге «Четыре жизни в зеркале опросов общественного мнения. Жизнь третья. Эпоха Горбачёва» (см.: Открывая Грушина 2010: 465–504). Несмотря на то что местами скитаний ученого были дружественно расположенные к нему среды, даже в этих внешне благополучных случаях заикнуться о зондажах общественного мнения было нельзя. Однако Борис Грушин не сдался и продолжил борьбу за институционализацию изучения общественного мнения в самых активных, наступательных формах, отвечавших его ментальности и темпераменту. Все тринадцать скитальческих лет он занимался пропагандистской деятельностью в доступных ему «верхах», вел напряженную просветительскую работу и продолжал «бомбить» записками институты власти. Апогей борьбы пришелся на время его работы в журнале «Проблемы мира и социализма» (1977–1981). В качестве консультанта журнала (теоретического органа международного коммунистического движения, возглавляемого КПСС) Грушин инициировал дискуссию «Коммунисты и общественное мнение» в форме публикации нескольких материалов на страницах журнала, а также «круглого стола», в котором приняли участие 20 партийных работников и ученых-обществоведов из 12 стран. «В ту пору, когда происходили эти события, лишь немногие из их участников и наблюдателей понимали, что предложенная и успешно реализованная автором (Б. Грушиным. — Б.Ф.) программа разрабатывалась с подспудным замыслом — выявить и широко продемонстрировать картину серьезного и постыдного отставания лидеров КПСС от их “зарубежных соратников по оружию”, причем отставания по всем статьям: уровнем политического мышления, политической культуры и политической практики. Вместе с тем по завершении программы многое из тайного стало явным, и это свидетельствовало о том, что в какой-то мере и в какой-то части замысел можно было считать удавшимся» (Там же: 474–475).



История советских социологических школ показывает, что социология была не только не востребованной общественными условиями. Она была опасной в представлениях партийной власти. (Там же: 280–297 — **Документ 16.1.** *Записка Отдела пропаганды ЦК КПСС «Об основных итогах исследований в г. Таганроге».* Не позднее 21 января 1975; 299 — **Документ 16.2.** *Письмо директора Института социологических исследований АН ССР М.Н. Руткевича в Отдел пропаганды ЦК КПСС о проведении проверки обеспечения сохранения государственной тайны исследований, проводимых в г. Таганроге сектором «Общественное мнение», и организации должного учета всех материалов исследований.* 1 декабря 1975 г.; 301–302 — **Документ 16.4.** *Акт № 1 комиссии по проверке состояния документов и их хранения в секторе «Общественное мнение» Института социологических исследований АН СССР.* 11 декабря 1975).

### **6.6. О реальном значении школ и главном препятствии для их развития**

За годы, прошедшие после опубликования *первого издания книги*, в социологическом сообществе явственно обозначилось новое поколение социологов, которое в те времена, когда автор создавал свой труд, заканчивало среднюю школу или уже обучалось премудростям социологии в российских и зарубежных университетах. Его представители быстро стали на ноги, активно вжились в профессиональную среду. Однако многие из них не чувствуют себя продолжателями советской социологической традиции и в этой связи вполне правомерно ставят вопрос не перед собой, а перед старшим поколением: «В чем состоит не мемориальное, а реальное значение советской послевоенной социологии 1950–1980-х гг. как научной дисциплины?» (Свешникова 2009: 98).

От трех описанных мною школ «пошли» современная экономическая социология, социология труда, социология массовой коммуникации и общественного мнения. Легко просматривается генетическая связь основателей школ с нынешними лидерами этих направлений. Не будет ошибкой сказать, что школы суть корневая система широко понимаемой среды современной российской социологии, которая была создана коллективными усилиями ученых во второй половине минувшего века.

Школы показывают, что советские социологи смогли разработать терминологию, языки и методы для анализа общественной жизни, которые во многом сохранили свое значение и сегодня. Они сумели предложить если не «фундамент для истолкования внешнего мира» (Филиппов), то вполне валидные рабочие схемы и языки для его по-

нимания. Вовсе не идеализируя эти результаты и признавая (со ссылкой на собственный опыт) несовершенство научного аппарата, которым пользовались советские социологи, нельзя не согласиться со словами Б. Докторова: «До них так [общество] никто не описывал, так никто не говорил»<sup>7</sup>. Все три проекта были своеобразными «Мекками», куда круглый год устремлялись «паломники»-одиночки из разных городов страны в целях обогащения собственного исследовательского опыта. Беру на себя смелость сказать, что вокруг этих проектов, ввиду актуальности изучаемых проблем и высоких норм профессиональной деятельности, *могли бы сложиться эффективные сети неформальных отношений между учеными и сформироваться «невидимые колледжи» как современные формы самоорганизации науки.*

Я уже писал о коллапсе попыток создать советский вариант футурологии (1971) — школу социального прогнозирования, отвечающую всем современным требованиям, — и тем существенно расширить горизонты и базу планирования развития советского государства и общества. Движение, объединявшее, без преувеличения, тысячи представителей самых различных профессий и специальностей, корифеев мысли и исполнителей, готовых работать под их началом, было «прихлопнуто» в одночасье. Их кипучая деятельность была внеплановой и протекала без регламента. Позволить это система не могла. «При таком огромном количестве совещаний возможны любые неожиданности, ибо ни партийные, ни государственные органы не в состоянии обеспечить должного контроля их работы» (Социология и власть 2001: 108–111 — **Документ 9.10.** *Записка Комиссии ЦК КПСС к вопросу о грубых нарушениях установленного порядка при создании Всесоюзного общества научного прогнозирования. 5 марта 1971).*

«До дней последних донца» советская система старалась изо всех сил обеспечивать пресловутый «должный контроль», отстаивая регламентированный сверху путь развития науки и сопротивляясь всячески попыткам ее самоорганизации. В конце 1970-х гг. появился весьма интересный партийный документ (см.: Осипов, Москвичев 2008: 348–350 — **Документ 26.4.** *Записка отдела науки и учебных заведений ЦК КПСС «О письме тов. Кивенко В.Д. 6 февраля 1978 г.»).* Авторы записки выступили против концепции «невидимых колледжей» американского науковеда и социолога Дерекы Прайса. По их мнению, концепция является не только антинаучной, но и политически вредной. Она сочувственно воспринимается и поддерживается многими советскими учеными, в чьих выступлениях и статьях преувеличивается роль и значение концепции для судеб науки, откровенно противопо-

<sup>7</sup> См.: [http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Interviews/sveshnikova\\_09.html](http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Interviews/sveshnikova_09.html)

ставляются личные контакты ученых связям и отношениям, складывающимся в процессе их работы в официальных государственных научных учреждениях<sup>8</sup>.

Не ограничиваясь составлением записки — сигнала о брожении умов советских ученых, Отдел науки и учебных заведений ЦК КПСС подготовил протокольно более важный документ (Осипов, Москвичев 2008: 350–354 — **Документ 26.5**. *Справка Отдела науки и учебных заведений ЦК КПСС «О так называемых “невидимых колледжах”*». Не позднее 6 февраля 1978 г.).

Аппарат предпочел выступить за то, чтобы снова отложить на неопределенное время либерализацию научной жизни страны, будучи бессильным отменить основное правило развития науки во всем мире: наука не имеет границ, ученые, занятые разработкой общих проблем со всей необходимостью должны поддерживать между собой контакты, выходя за рамки институциональной и национальной принадлежности. В торможении изменений либерального толка партийный аппарат не имел себе равных, хотя, замечу, средства торможения интенсивно ветшали вместе с одряхлением режима. В нашем случае не нашли ничего лучшего, как опять, в очередной раз, влить старое вино в старые мехи, доказать, что альтернативой «невидимым колледжам» там продолжает оставаться «творческая атмосфера в научном коллективе» здесь.

Концепцию Прайса объявили «ущербной» и «вредной». В идеологическом отношении она якобы ориентировала на сворачивание журналов и принижала роль информационных служб, отдавая явное предпочтение обмену препринтами статей по актуальной для ученых проблематике. Ее представили как апологию господства в обществе узкой группы интеллектуальной элиты и обозначили как потенциально опасную в политическом отношении. Неформальная научная комму-

---

<sup>8</sup> В подтверждение бессмысленности «борьбы» с Прайсом и его концепцией можно заметить, что переложение его «крамолы» имело место в 1967 г. на страницах официальной и подцензурной научной печати, но осталось незамеченным. Так, в одной из открытых публикаций говорилось: «В “невидимом колледже” ученый находит ту академическую свободу и атмосферу творчества, которую он подчас утрачивает в организованном по производственному принципу НИИ. И если сделать этот “колледж” “зримым” для юридического и административного глаза, “легализовать” и “организовать” его, он, видимо, тут же сникнет и превратится в обычный исследовательский институт, у которого есть деньги, штат, план, правила внутреннего распорядка, т. е. как раз тот набор помех, от которых освобождает ученого “невидимый колледж”, где отношения строятся на личной основе добровольности, заинтересованности, даже “одержимости” общим недугом» (Петров, Давидович 1967: 137). Потребовалось 10 лет на то, чтобы на вредоносное понятие обратили внимание бдительный товарищ Кивенко В.Д., который направил свое письмо в КГБ СССР, а следом за ним и работники центрального партийного аппарата.

никация становилась главной формой и средством в развитии научной мысли и таила в себе угрозу перерождения. Лояльные к власти и не имеющие (пока!) политических целей, «невидимые колледжи» давали поводы для спекуляций, в которых сквозило стремление представить их как едва ли не единственную альтернативу нынешней бюрократической организации науки, прообразы «республики ученых» и даже (страшно подумать! — Б.Ф.) организационную форму сопротивления интеллектуальной элиты косности буржуазного общества.

Не обошлось без выпадов в адрес советских ученых, которые некритически отнеслись к проблеме «невидимых колледжей». Вместо поиска путей улучшения и совершенствования работы своих учреждений и превращения каждого из них в подлинный творческий коллектив, эти ученые на первый план выдвигали идею неформальных объединений в структуре научного сообщества. Увлекаясь погоней за сенсационной красочностью, яркостью описаний «незримых колледжей», они в таких случаях представляли формальные коллективы как безнадежно бюрократические учреждения.

Советская действительность (речь о 1970-х гг.) опровергала, по мысли авторов Справки, валидность понятия «невидимый колледж» в том смысле, который вкладывался в него на Западе. В тогдашнем СССР тоже происходило объединение ученых, совместно участвовавших в обсуждении и разработке определенных проблем независимо от места их работы. Называть такое добровольное объединение «невидимым» было бы чистым абсурдом. Подобные коллективы состояли из реальных людей, хорошо знавших друг друга. Все они имели адрес, принадлежали к учреждениям, координировавшим их усилия. Еще один аргумент заслуживает того, чтобы быть воспроизведенным полностью (с сохранением орфографии): «... не подтвердилось и предположение о том, что “невидимость” колледжа, а также неформальность всех имеющих в нем место коммуникаций являются самоцелью или предметом устремлений его участников. Исследования дали прямо противоположные результаты. Участники таких объединений, а особенно члены его ядерной группы, прилагают максимум усилий, чтобы они стали видимыми, т. е. чтобы его деятельность частично (в виде проблемного совета, журнальных рубрик, секции в профессиональной ассоциации и т. д.) или полностью (в виде лаборатории, сектора, а то и института, объединяющего большинство участников) получила институциональное оформление» (Там же: 354).

Не хотели советские ученые жить и трудиться иначе, чем в «научном колхозе». Таков вывод из документа. Теперь становится понятнее, почему громадный потенциал самоорганизации научной среды остался невостребованным в советское время.

## 6.7. Век XXI: изменится ли что-то в судьбе научных школ?

Как было отмечено в одной из статей журнала «Неприкосновенный запас» (Жорнев 1998), в России происходит постепенная и очень болезненная смена моделей отношений людей интеллектуальных профессий и общества. Полное воплощение эти модели получили лишь в истории Китая, но ничто не мешает воспользоваться ими как метафорами, поясняющими суть современной российской проблемной ситуации.

В рамках *«конфуцианской»* модели интеллектуал сыт, прикормлен, находится на общественном содержании и даже причастен в определенной мере к принятию решений. В обмен на это он служит обществу, является частью административно-бюрократического аппарата. Такая модель, повторяю, была реализована в средневековом Китае, где чиновничий аппарат, как правило, совпадал с образованным классом. Очень близко к этой модели подошел Советский Союз. *«Конфуцианской»* моделью (с некоторыми оговорками и ограничениями) пользовались США в период создания атомной бомбы, а также другие развитые страны.

В рамках *«даосской»* модели представитель образованного класса не получает целенаправленной поддержки общества, его связи с обществом случайны и уж, во всяком случае, не имеют никакого отношения к избранному им самим статусу *«свободного интеллектуала»*. Как следствие, для физического выживания этому интеллектуалу не приходится ждать милостей от государства. Взамен он вынужден искать побочные заработки, обращаться за помощью к частным лицам (меценатам). Ради выживания такие интеллектуалы-абсентеисты могут прибегать к социальной самоорганизации, объединяясь на основе замкнутых сообществ или коммун по типу даосских или дзен-буддистских монастырей. Интеллектуал в подобных случаях живет исключительно на свой страх и риск, поскольку находится *«по ту сторону»* общественного добра и зла.

На основании изложенного выше можно с большой долей вероятности утверждать, что ранее господствовавшая в России *«конфуцианская»* модель сейчас заменяется элементами *«даосской»*. В любом случае социально-экономический, да и социально-политический контекст функционирования науки и образования как важнейших социальных институтов общества радикально изменился, вследствие чего образовательное и особенно научное сообщества оказались как бы подвешенными в социальном вакууме и брошенными на произвол судьбы. По ряду признаков положение выглядело близким к состоянию социальной катастрофы — с такой силой действовал фактор

невостребованности науки (о существовании которого мы не могли догадываться еще каких-то два десятка лет назад) со стороны реформируемого общества и государства.

Но есть и другая точка зрения, которая не игнорирует реальные трудности, но призывает увидеть шанс на спасение. Наша многострадальная страна (я говорю, прежде всего, о России) является не только социальным пространством, где происходит очередной и неизбежный для ее судьбы катаклизм, но и «строительным полигоном» современной истории, где живут и трудятся люди, чья ментальность позволяет встать над обстоятельствами и подчинить их себе. «Даосская» модель — вещь серьезная. При такой модели развития общества человек интеллектуального труда вынужден принять за аксиому, что общество пренебрегает им, но взамен этого он получает духовную свободу. Именно духовную свободу, а не судьбу буддийского монаха я вычленяю из «даосской» модели, и тогда сквозь хаос «беспредела» и «разборок» открывается некий альтернативный путь. «Интеллектуал на некоторое время оказался без навязчивой опеки социума, но он же одновременно получил вполне реальную возможность найти такие формы существования, которые больше соответствуют его природе и станут ему опорой в будущем, когда социум вновь призовет его к сотрудничеству» (Корнев 1998: 20). В этой изменившейся ситуации уже интеллектуал будет диктовать условия для возрождаемого партнерства.

Здесь, по замечанию английского историка А. Тойнби, действует модель Ухода и Возврата: «Творческая личность, уходя и выпадая из своего социального окружения, преображается, возвращается затем в то же самое окружение; возвращается, наделенная новыми способностями и творческими силами. Уход позволяет личности реализовать свои потенции, которые не могли бы найти выражения, подавленные прессом социальных обязательств, неизбежных в обществе» (Тойнби 1991: 267). Духовная свобода, суверенность становятся главным в жизни интеллектуалов. Оговорюсь специально, что я не отождествляю эту духовную свободу с эскапизмом и самоизоляцией. Речь идет о нравственной дилемме. Интеллектуал может быть аутсайдером или человеком, отстраненным от реальности, но при этом он будет говорить правду власти. Его сознание может быть наполнено скепсисом, но останется неослабно и постоянно связанным с рациональным исследованием и моральными суждениями (Бьорлинг 1999)<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Борис Пастернак был писателем, и в этом случае язык являлся его политической ареной. Щепетильность, с которой он относился к языку, парадоксально, но против воли помещала его в центр событий. Роман «Доктор Живаго» сделал его диссидентом из диссидентов! Конечно, он старался сделать выбор и потому иной раз даже тяготился званием советского художника. Но для него не было дилеммы «говорить

Сошлюсь в качестве оптимистического примера на атмосферу Европейского университета в Санкт-Петербурге. Короткая, но поучительная история этого Университета, учрежденного в ноябре 1994 г., вот уже более чем полтора десятка лет наглядно демонстрирует анахронизм «конфуцианской» модели. Как и ранее, когда готовилось первое издание этой книги, так и теперь я могу сказать, что Университет является прообразом новой интеллектуальной среды. Эта среда, не игнорируя внешних социальных связей своих членов, дает шанс сформировать некое новое, самостоятельное сообщество, которое будет жить по своим законам и правилам<sup>10</sup>. Полностью разомкнуть его внешние социальные связи не представляется возможным и необходимым: с одной стороны, сохраняется наемный труд для большого числа работников умственного труда; с другой стороны, возникающий гражданский социум должен опираться на поддержку своих сограждан.

Автономия законов и правил научно-образовательного сообщества, каким является Университет, представляется вполне легитимной. Заглядывая в ближайшее будущее, я не вижу препятствий к тому, чтобы он стал гильдией молодых преподавателей и ученых со своими субкультурными нормами, профессиональным кодексом и кодексом чести, объединяющими людей, которые поставили перед собой цель завоевать достойную репутацию в глазах социума. Движение в сторону конструктивной автономии и самостоятельности и упорная, нелегкая борьба за нее, стремление преодолеть пресс социальных обстоятельств и дать возможность для проявления личной инициативы могут обернуться большой общественной выгодой<sup>11</sup>. Уместно вспомнить слова

---

или не говорить» («to speak or not to speak»). Речь, скорее всего, шла о том, каким языком говорить — языком честности или твердить скороговоркой санкционированные клише и пошлости (Бьорлинг 1999: 100).

<sup>10</sup> Помимо ЕУСПб, здесь должны быть названы Московская высшая школа социальных и экономических наук, ныне трансформируемый Смольный институт свободных искусств и наук (Санкт-Петербург), Московский философский колледж, Центр независимых социологических исследований (Санкт-Петербург), Институт гуманитарных и теоретических исследований ВШЭ (Москва), Издательский дом «Новое литературное обозрение» (НЛО), Издательский дом ВШЭ, Издательство «Территория будущего», «Новое издательство», внеакадемические журналы («Логос», «Лаборатория» и др.). В профессиональном сознании и на страницах демократической прессы эти учреждения ассоциируются с «архипелагом интеллектуальной безопасности» (см.: <http://www.liberty.ru/columns/vsio-moglo-by-byt-i-inache-derzhat-sya-za-vozduh-nauchnye-rabotniki-protiv-intellektualov> — 30.09.10).

<sup>11</sup> Хотел бы напомнить читателям, что университеты во многих случаях (например, университеты Болоньи, ряда немецких городов) появились задолго до создания национальных государств. Их питательной средой, если можно так выразиться, была космополитическая диаспора латиноязычного академического мира. Россия — одно

К. Поппера, характеризующие открытое общество: «Здесь уже нет места едва ли не абсолютному моральному авторитету государства, которое подавляет всякую личность, и всякую личную мораль, и всякую совесть» (Поппер 1992: 41). В итоге возникает принципиально иная, альтернативная, высокодинамичная среда. Она опирается на динамику рожденных временем *новых социальных практик, которые сумели предложить нашему обществу негосударственные учреждения науки, образования и культуры.*

---

из немногих исключений, здесь сначала возникла абсолютистская власть, а следом — университеты как детище абсолютистского государства. Возможно, что именно по этой причине у них было мало опыта автономной жизни. Во всяком случае, мера автономии всегда декретировалась сверху «высочайшими повелениями», исходившими от правителей России (императоры, партийные вожди, в наши дни — президенты), и была подвержена сильным колебаниям в зависимости от ситуации в стране. Стереотип таков, что университет (вуз) и по сей день в массовом, да и в профессиональном сознании воспринимается как часть государства. В соответствии с этим стереотипом, все государственное продолжает казаться многим людям более прочным и надежным, чем негосударственное, частное. Отношение к независимым институциям во многих случаях оказывается настороженным, в силу чего их положительные качества не замечаются. Виной тому психологическая неготовность создавать негосударственные (частные) структуры и, конечно же, сохраняющееся чувство полной зависимости от государства, вера в то, что только оно может указать путь движения вперед. В итоге сохраняется далеко не сладостный плен государственной опеки.



# Очерк 7

## КАК НАВОДИЛИСЬ МОСТЫ МЕЖДУ СОВЕТСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СОЦИОЛОГИЕЙ, ИЛИ «SELF-MADE SOCIOLOGISTS»<sup>1</sup>

### 7.1. Вступительное замечание

Плюрализм мотивов социологической деятельности, о котором шла речь выше, не является единственным показателем неоднородности социологического сообщества. Новая социологическая наука была интеллектуально и идеологически неоднородной, заметил И.С. Кон в своей книге «80 лет одиночества» (Кон 2008). Философы, составившие ядро первопроходцев, явно тяготели к общетеоретическим вопросам и обобщениям, а экономисты, к которым позднее присоединились технари, были склонны к исследованиям эмпирического толка, особым образом доверяя числу и измерению. Однако их общим свойством было отсутствие профессиональной социологической подготовки, что было едва ли не главной проблемой тех, кто создавал новую науку.

*Из воспоминаний В. Ядова.* «Мы все — самоучки в социологии. В английской “Times” было опубликовано интервью с Ядовым под заголовком: “Self-made sociologist”. Сначала я решил, что это обидно — “самоучка

---

<sup>1</sup> Написание этого очерка было стимулировано моими намерениями оставить как можно меньше белых пятен на карте нашего знания истории советской социологии и ответить на критику российских и зарубежных читателей первого издания книги (Фирсов 2001), в которой я обошел молчанием вопрос о связи советской и тогдашней зарубежной социологии. Я постарался представить мозаику профессиональных контактов и связей, которые помогали индоктринированной социальной дисциплине, какой была советская социология на первых этапах ее послевоенного возрождения, стать частью общемировой социологической науки. Одно из замечаний (на котором весьма энергично настаивал уже упоминавшийся мной в начале книги австрийский профессор М. Фюельзак) было связано с желанием увидеть признаки того, как под влиянием реалий советского общества угасало пламя революционных преобразований страны и происходило «отрезвление» социологов от слепой веры в утопии и идеологию доктринального марксизма. Мне кажется, что ответом на это замечание является содержание всей книги.

в социологии". А потом вник в семантику английского и понял, что это скорее комплимент и речь идет о человеке, который сам себя сделал таким, какой есть. Значит, наше поколение не должно стыдиться своей недообразованности. Нас не образовывали в своей профессии» (Российская социология шестидесятых 1999: 61).

Вывод Кона более широкий, а суждения более радикальные. Все советские социологи были самоучками, все до единого, западной социологии они не знали, а те, кто знал больше, никаких эмпирических исследований не вели; кроме того, они были должны отличаться от нее (от западной социологии. — Б.Ф.), доказывая, что они самые лучшие в мире (некоторые из общей массы еще отличались тем, что верили в это) (Кон 2008: 89). Незадолго до выхода в свет своей книги И. Кон попал на форум Фонда «Общественное мнение», участники которого обсуждали книгу Б. Докторова. И кто-то спросил: отчего, мол, старое поколение социологов так много говорит об институционализации науки, а где ее результаты? Почему в серьезных западных работах нет обстоятельных ссылок на советских социологов и их труды? Ведь на советских семиотиков, к примеру, ссылаются, а на социологов — нет.

Полемическая реакция Кона была однозначной: «Ребята, побойтесь бога!». Социология возникла в середине 1960-х. И едва ли не сразу вступила в оборонительные бои с недоброжелателями. Но дело как-то двигалось. В 1972 году процесс развития остановился<sup>2</sup>. На пустом месте солидные школы, традиции, международная известность и при-

---

<sup>2</sup> Речь идет о «разгоне» ИКСИ АН СССР. В 2008 году Л. Гудков напишет об этом времени: «Тот удар по формирующейся социологии был настолько силен и значителен по своим последствиям, были приложены такие систематические усилия по уничтожению, искоренению из практики исследований и обучения всякого живого чувства и мысли, что она (социология. — Б.Ф.) будет в таком состоянии, как минимум, еще одно поколение. С Михаилом Руткевичем пришли люди, которые начисто стерилизовали социологическую науку» (Гудков 2008).

Целиком присоединяясь к выводу Гудкова, подчеркну, что от подобных опасностей и угроз не была застрахована ни одна из советских наук. В частности, семиотика была в той же мере поднадзорной, как и социология. Произвол таинственным образом уравновешивался проявлениями случайности. Но под подозрением и наблюдением находились все ученые, и повсеместно. Профессор Б.Ф. Егоров в своих уникальных воспоминаниях о Тартуской школе семиотики, возглавляемой Ю.М. Лотманом, пишет о том, как однажды в дом Лотманов нагрянули «добрые молодцы» с многочасовым обыском. Работали старательно, «перебрали по страничке каждую книгу из громаднейшей библиотеки, ничего не нашли: большая связка крайольнейшего самиздата лежала на верху голландской печки, агенты копались, стоя на стремянке, на книжном стеллаже, в двух шагах от пакета, но не додумались подняться еще на полметра и заглянуть на печку!» (Егоров 2004: 263).

знание возникнуть не могут. К тому же семиотики имели превосходное филологическое образование и четко вписывались по своему духу в западные (родственные) школы и течения. Да, Тартускую школу Лотмана травили, но только потому, что ее идеи казались непонятными; далекая от политики, эта школа отсекала непосвященных своим особым языком. Социология (по контрасту) занималась реальными проблемами, здесь надзор был существенно строже, практически любой начальник мог выступить в роли контролера-надзирателя. Социологи были обречены на то, чтобы демонстрировать лояльность, доказывать практическую эффективность и полезность своих действий и вообще постоянно находиться в строю и казармах для боевых помощников партии.

Семиотики знали иностранные языки, их переводили западные коллеги. Что до новой советской социологии, то ею на первых порах интересовались только советологи, к тому же основательно погруженные в идеологическую конфронтацию и соперничество двух социальных систем. Доклады, с которыми советские социологи выступали на Конгрессах МСА, были значительно хуже тех, что публиковались дома. Тайной было все! Об этом позаботился Главлит СССР и его многочисленные отделения на местах. Кроме того, и это было наиболее существенным, год от года крепчали идеологический контроль, власть канонов марксистской теории. Ярлыки навешивались без предупреждения. Одна невзначай брошенная фраза могла поставить под сомнение не только конкретный труд (статья, книга), но и профессиональную карьеру, радикально изменить в худшую сторону жизнь обществоведа, исследователя общества.

*Из интервью В.Ж. Келле Б.М. Фирсову.* «Мы считали себя людьми науки, а критики вели себя, как идеологи, и от нас ожидали того же. Поскольку то, что мы писали, полностью не укладывалось в принятые идеологические догмы, мы становились чужаками. Нас били, как чужаков в этой среде. Понимаете? Мы были чужие, не свои для них. Во время выступления Е.Г. Плимака на обсуждении книги<sup>3</sup> Ф.В. Константинов спросил меня: "Вы знаете, что Ленин сказал о Троцком?" И сам ответил: "С нами, но не наш!" Вот это и есть главное: "С нами, но не наши"!» (Интервью 2008: 310).

Под знаком этой фразы почтенного советского академика я представляю на суд читателя несколько сюжетов, посвященных «наведению мостов» между советской и западной социологией.

---

<sup>3</sup> «Ленинизм и диалектика общественного развития», готовившаяся к 100-летию со дня рождения Ленина в 1970 г.

## 7.2. Сначала было печатное слово...

Путь самоучек в профессиональную социологию зависел от стихии счастливого случая. Про один из таких случаев я с удовольствием расскажу, поскольку он имел едва ли не судьбоносное значение для отечественной социологии. Доктор наук Игорь Кон имел право выписывать себе через книжный отдел Библиотеки Академии наук СССР несколько иностранных книг в год. Валюты давали мало, книги стоили очень дорого. Однако можно было по умолчанию использовать лимит других профессоров, которые заморских книг не читали, но уступали свою профессорскую привилегию ученым-полиглотам. Кон, обладавший особым чутьем на новое, в числе других книг заказал написанный американцами У. Гудом и П. Хаттом (Goode, Hutt 1952), учебник «Методы социального исследования», который показался ему наилучшим.

Важно отметить, что Кон был не единственным среди ученых-обществоведов, философов, которых научная судьба властно толкала в сторону социологии. С одной стороны, это было непосредственным, я бы добавил, естественным продолжением работы эрудированного ученого по истории социальной философии и философии истории, на базе которых, строго говоря, возникла в XIX в. социология как новая отрасль социального знания. С другой стороны, такие повороты были связаны с появлением в СССР эмпирических социальных исследований. «Это название появилось, — пишет Кон, — чтобы не дразнить гусей возрождением “буржуазной лженауки” и не посягать на теоретическую монополию истмата и так называемого научного коммунизма» (Кон 2008: 210). Любопытно, что сам Кон находился в это время под влиянием статьи в журнале «Коммунист», написанной Г.А. Пруденским и посвященной эмпирическому изучению свободного времени. Нельзя не вспомнить еще об одном обстоятельстве. К названному периоду относится важное событие: декан философского факультета ЛГУ В.П. Рожин сумел «пробить» разрешение властей на открытие социологической лаборатории при факультете и уговорил В. Ядова возглавить ее. Став «завлабом», Ядов резко изменил свою «чисто философскую ориентацию».

Заморский учебник по методам социального исследования пришел на имя Кона как раз к открытию ядовской лаборатории. Ядовцы приступили к его немедленному освоению. А. Здравомыслов самолично перевел учебник на русский язык. «Каждую из глав (перевода. — Б.Ф.) мы обсуждали на семинарах. Особенно много внимания уделяли вопросам выборки и проверке достоверности ответов респондентов... Все у нас было открыто для всех. А лаборатория, располагавшаяся в одной из комнат Меншиковского дворца, была центром паломничества. Откуда только ни приезжали к нам коллеги — из Москвы и Перми, Софии

и Варшавы, Лодзи и Нью-Йорка, Парижа и Праги, Новосибирска и Тбилиси» (Здравомыслов 2008б: 357–358). Книга, написанная американцами, существенно облегчила старт ядовской лаборатории. «Мы начали штудировать Гуда и Хата буквально... постигали элементарные вещи, методы, технику. Провели первое исследование по бюджетам времени на Кировском заводе. Что такое выборка, мы уже понимали. Была гомогенная выборка только рабочих (100 человек), было жесткое деление — 50 мужчин, 50 женщин и две группировки по возрасту: молодые и постарше. Появилась первая социологическая публикация в «Вестнике Ленинградского университета». А потом стали потихоньку приходиться к проблеме «Человек и его работа»» (Российская социология шестидесятых 1999: 49). Первое издание своего пособия по методам социологического исследования Ядов испещрил ссылками на книгу американцев.

Случай (я вновь возвращаюсь к роли случая) помог сдвинуть с мертвой точки серьезное дело. Один ученый (Кон) ранее других осознал необходимость эмпирических исследований, выписал хорошую книгу и отдал ее тем, кому она была нужнее. Позже, когда завязались связи с американцами, заработал конвейер получения зарубежной научной литературы. Процесс самостоятельного освоения опыта западной социологии происходил повсеместно и везде с переменным успехом. Его качество (результативность) зависело от нормативных требований советской научной среды. Наиболее продвинутые научные коллективы Ленинграда, Москвы, Новосибирска, Эстонии добивались того, что студенты, аспиранты и научные сотрудники «толком читали» зарубежную литературу, изживая губительную привычку ленивого ума — искать интересующие понятия по предметным указателям. Что касается И. Кона, то он до конца своей жизни хранил у себя оттиск первой коллективной статьи ядовской лаборатории с дарственной надписью Ядова и Здравомыслова: «Игорю Семеновичу — покровителю эмпирической социологии ЛГУ».

Никакая наука не может развиваться, не зная собственной истории. К чести первого поколения социологов, они сумели обратить на это особое внимание. Лечение исторической памяти профессионального сообщества от амнезии началось с появления книги И. Кона «Позитивизм в социологии» (Кон 1964). Словно бы угадав принципиальное значение этой работы для самообразования социологов, на нее незамедлительно откликнулась научная периодика. Недвусмысленная реакция журналов носила характер настоятельного совета социологам обстоятельно проштудировать эту монографию. Написанная в жанре исторического очерка, она в свободной и убеждающей манере описывала генезис развития социологического знания от ранних сочинений О. Конта, позитивиста-классика, к неопозитивистским концепциям науки, создатели которых называли себя представителями естественнонаучных течений

в социологии. Автор умело нашел в ней место для биолого-эволюционной социологии Г. Спенсера конца XIX в., психологической социологии конца XIX–начала XX в., социологизма Э. Дюркгейма и антипозитивистских реакций, на волне которых возникло учение М. Вебера, утверждавшее, что предметом социологии может быть только осмысленное поведение людей. Построенная на глубоком изучении большого числа зарубежных и отечественных источников, книга *de facto* стала одним из первых учебников по курсу истории социологии. В 1967 году она была переведена на венгерский, а в 1979-м — на финский язык. За этим последовали два издания на немецком языке — в ГДР (1968) и Западном Берлине (1973).

Для полноты описания судьбы книги Кона важно сказать, что оба немецких издания были расширены. Туда вошли самостоятельные главы, посвященные Максус Веберу, возникновению эмпирической социологии в США, философским спорам между неопозитивистами и сторонниками понимающей социологии, структурному функционализму и американской «критической социологии». Не премину заметить, что в этих расширениях нуждались в первую очередь советские социологи. Однако признать эти потребности государственные издательства и научные журналы не торопились, их более всего занимали мнимые опасности, вызванные влиянием «растленной» буржуазной науки. Чтобы сказать о буржуазной теории нейтральное слово (произнесение добрых, похвальных слов считалось едва ли не кощунством и осквернением святой марксистской веры), авторы, писавшие о западной социологии, были вынуждены заниматься поиском хотя бы минимальной совместимости западных теорий с единственно правильным и непобедимым учением. Поскольку обнаружение этой пресловутой совместимости было делом неосуществимым, то авторам приходилось облачаться в одежды критиков буржуазной науки и под видом критики излагать целостные куски положительного и полезного для социологической профессии знания.

В 1968 году И. Кон создал сначала сектор истории социологии (преобразованный затем в отдел) в составе ИКСИ АН СССР, а через два года, на Всемирном социологическом конгрессе в Варне (Болгария), — Исследовательский комитет по истории социологии Международной социологической ассоциации. В состав этого Комитета вошли крупнейшие социологи мира, начиная с Парсонса и Мертонса. И. Кон на протяжении 1970–1982 гг. был вначале его президентом, а затем — вице-президентом. Советские компетентные органы *ни разу* за это время не выпустили Кона за границу для непосредственного участия в работе и деловых личных встречах с коллегами. По этой причине его выборы в состав Комитета осуществлялись заочно. Тем не менее Кон продолжал руководить деятельностью Комитета, поддерживал интенсивную пере-

писку с ведущими западными социологами и «имел репутацию единственного советского социолога, который всегда отвечает на письма (это была лишняя работа и некоторая степень риска)» (Кон 2008: 215).

Сюжет «невъездной Кон» имеет интересную документальную иллюстрацию. Сохранилась записка вице-президента АН СССР П.Н. Федосеева «в инстанцию» (так тогда почтительно называли ЦК КПСС в своих разговорах бюрократы высокого уровня). Письмо, как водится секретное, в нем «инстанция» извещается об избрании в состав Исследовательских комитетов МСА группы советских ученых. АН СССР просит ЦК КПСС «принять» (согласиться, утвердить, одобрить) это избрание, поскольку оно соответствует высоким целям советской социологической науки: «Участие в комитетах МСА позволит получать новейшую информацию об исследованиях за рубежом, а также влиять на направление исследований комитета с позиций советской науки». Кроме того, АН СССР просит «разрешить вступить в рабочие органы МСА» группе из пяти ученых, в числе которых назван Кон Игорь Семенович, доктор философских наук, старший научный сотрудник Института этнографии АН СССР им. Н.Н. Миклухо-Маклая (Ленинградское отделение), г. Ленинград, избран вице-президентом Комитета № 8 «История социологии», с «выплатой ежегодного взноса в сумме 5 ам. долларов» (Осипов, Москвичев 2008: 305–306 — **Документ 17.0**. *Записка вице-президента АН СССР П.Н. Федосеева и и.о. главного ученого секретаря Президиума АН СССР Г.К. Скрябина «О вступлении советских ученых в рабочие органы Международной социологической ассоциации». 4 февраля 1976 г.*).

Две недели спустя «инстанция» положительно ответила на просьбу вице-президента АН СССР. Избрание было благосклонно принято, а ученым — разрешено числить себя вступившими в соответствующие органы МСА. Формально всю эту машинерию объясняли ужесточением правил расходования валютных средств из государственного бюджета. «Царственный» жест — разрешение оплатить из бюджета АН СССР скорее символический взнос за членство в МСА — ничего не менял в правилах политического надзора за деятельностью ученых. Система продолжала делить своих граждан на «выездных» («наших») и «невъездных» («не наших»), на тех, кому она верит, и тех, кого она лишает своего доверия. «Не нашим» оставался Игорь Кон, заочно «приговоренный» компетентными органами к проживанию в пределах установленной для него «черты оседлости».

Отдел истории социологии, руководимый Коном, являл собой удачное, но не столь распространенное сочетание сложившихся ученых и научной молодежи. Работа опиралась на новые схемы и протекала весьма интенсивно. Подготовленная отделом «История буржуазной социологии конца XIX–начала XX веков» (1979) стала первым крупным отечественным историко-социологическим исследованием

и учебным пособием по этому предмету. Тогда же ее перевели на чешский и китайский языки. Десять лет спустя книга, к тому времени обновленная и расширенная, была переведена на английский и испанский языки. Для полноты истории этого труда полезно напомнить, что в 1999 г. некоторые его разделы, включая и те, что были написаны Коном, без разрешения авторов и указания первоисточников появились в вузовском учебнике по истории социологии под редакцией Г.В. Осипова. «Видимо, они были не так уж плохи, если их можно было перепечатать через двадцать лет» (Кон 2008: 218).

Больше всего И. Кон гордился тем, что его аспиранты и молодые ученые, работавшие под его руководством в отделе ИКСИ (ИСИ) АН СССР, смогли развить в себе недюжинные исследовательские дарования и стать солидными учеными с мировыми именами. Не откажу себе в удовольствии назвать их: Игорь Голосенко, Римма Шпакова, Александр Гофман, Леонид Ионин, Дмитрий Шалин.

### **7.3. Как Роберт Мертон пришел на помощь советской социологии**

Наряду с освоением методов современных социологических исследований и изучением истории социологии, уже в 1960-е гг. начался активный поиск «безопасных проходов в минных полях» буржуазных теоретических концепций, по которым вслед за «саперами» должна была двинуться социологическая «пехота». Один из таких отважных саперов, профессиональный философ, но социолог-самоучка В.Ж. Келле сравнительно недавно писал: «Я прекрасно понимал, что если теоретические исследования будут проводиться не на теоретической базе марксизма, то им развиваться не дадут, их задушат... Доступными мне средствами я пытался защитить и уберечь то новое, что появилось в нашей научной жизни. В данном случае — эмпирическую социологию, упоминание о которой незадолго до этого неизменно сопровождалось эпитетом “буржуазная”. И надо сказать, что тактика сработала: официоз принял эту точку зрения» (Беседа с В.Ж. Келле 2001: 87). Путь к изучению «реальных проблем» был открыт.

*В интервью, взятом специально у В.Ж. Келле для книги «Разномыслие в СССР» (Фирсов 2008), он, в частности, рассказал:*

Как вы знаете, в Институте философии в начале 60-х гг. был создан Сектор исследований новых форм труда и быта во главе с Г.В. Осиповым — первое социологическое подразделение в системе АН СССР, а может быть и в стране. В этот сектор перешли Ю.А. Левада и Б.А. Грушин, которые какое-то время работали в нашем отделе. Я начал непосред-



ственно интересоваться социологией и читать социологическую литературу в середине 60-х гг. Я считал, что в наших условиях мост между теоретической социологией и историческим материализмом можно и нужно было перекинуть. Так оно и получилось. Следом за моими товарищами и меня подвинуло заняться также конкретной социологией. Ведь у меня было сильное желание выйти на изучение самой реальности нашего общества. Диалог с реальностью был необходим всем обществоведам. Такую возможность открывала социология. <...>

Слабость философских работ о нашем обществе состояла в том, что категории выдавались за реальность и тем самым последняя идеализировалась. А к самой реальности никак выйти не могли. Социология же давала этот выход к реальности. Это меня заставило заняться изучением не только теоретической социологии, но и чтением работ по конкретным социологическим исследованиям. Даже начал изучать польский язык. Польша была тогда центром развития социологии в Восточной Европе.

Потом началась подготовка к поездке в Эвиан, город во Франции, где должен был состояться очередной конгресс Международной социологической ассоциации. Руководителем нашей делегации на конгрессе назначили Константинова. Я у него был заместителем и в этой роли отвечал за выпуск на французском и на русском языках двух томов докладов на конгрессе. Эту работу я завершил, но в самый последний момент меня с заместительства сняли. Дело в том, что на одно освободившееся место я включил моего коллегу и друга М.Я. Ковальзона. На другой день меня вызывает П.Н. Федосеев и начинает пробираться: «Вы самоуправством занимаетесь!» Я отвечаю: «Место было свободное. Как можно терять целое место?» Короче говоря, делегация улетела, я остался в Москве. Но я пошел в ЦК. Там мне сказали: «Ну, ладно, постараемся тебя отправить». И меня дополнительно отправили в составе туристической группы. Я попал на конгресс на второй или третий день уже после открытия. Возвратившись с конгресса, я решил заняться социологическими исследованиями научной деятельности. Дирекция пошла мне навстречу. Мне дали деньги, выделили дополнительные ставки. Я взял несколько молодых ребят и организовал группу по социологии науки. Дело в том, что, если я не ошибаюсь, в 1968 или в 1969 г. был советско-польский симпозиум по науковедению с участием Б.М. Кедрова, Г.М. Доброва, С.Р. Микулинского. Симпозиум проходил во Львове и Ужгороде. Микулинский мне предложил: «Напиши тезисы доклада, и поедем туда вместе». Я подготовил тезисы доклада по социологии науки, попытался определить предмет этой отрасли социологии, ведь у меня кое-что было начитано. После этого и была создана группа, о которой я уже сказал. Планов было много, один из них состоял в том, чтобы обследовать всю Академию наук, изучить удовлетворенность ученых своей работой, адекватность методов оценки работы, и т. п. Одна из самых больших проблем состояла в том, чтобы создать систему оценок научного труда. Наши сотрудники ездили на Кольский полуостров, на Урал, в Питер, обследовали академические институты в Москве. Вот

так я вошел в социологию. Конечно, я также занимался теоретическими вопросами. Меня тогда избрали вице-президентом Советской социологической ассоциации.

На одном обсуждении проблем социологии в Академии общественных наук, где философское начальство в очередной раз осуждало социологов за отступления от марксизма, выступил Б. Грушин и, обратившись к президиуму, произнес памятные слова: «Время покажет, кто прав, вы же не стоите, вы лежите на позициях марксизма, причем поперек дороги». Дело в том, что Ф.В. Константинов и другие, кого имел в виду Борис Андреевич, понимали под социологией только исторический материализм. Для них результаты конкретных исследований — материал для иллюстрации и подтверждения положений исторического материализма. Потому надо было спасти конкретную социологию. Было ясно, что в наших условиях только включение марксизма в качестве теоретической базы всей социологии делает легитимными социологические исследования. Если этого не сделать, то социологию загубят. Я воспользовался идеей иерархического трехуровневого построения социологии как науки, чтобы предложить выход из создавшегося положения. Исторический материализм не открывал прямой путь к непосредственному изучению различных сфер жизнедеятельности общества, таких как труд, семья, досуг и др. Требовались «теории среднего уровня», как их называл Р. Мертон, позволяющие представить функционирование и развитие каждой из этих конкретных сфер. Таким образом, выстраивалась теоретическая схема, согласно которой в структуре марксистской социологии выделялись три уровня: общесоциологическая теория, в роли которой выступал исторический материализм, теории среднего уровня и, наконец, собственно эмпирические исследования.

Сама идея не была моей, ее уже высказали как компромиссную. В статье Г.М. Андреевой и Е.П. Никитина «Метод объяснения в социологии», опубликованной в первом томе двухтомника «Социология в СССР» (1965), высказана мысль об иерархической структуре социологической теории и рассматривается идея Р. Мертона о «теориях среднего ранга». Но идею, как говорят теперь, следовало раскрутить. Я ее раскрутил — написал ставшую знаменитой статью в журнале «Коммунист», поскольку к ней присоединились Н.В. Пилипенко и Г.Е. Глезерман, как бы для придания статье официального характера. Пилипенко был куратором социологии в ЦК КПСС, а Глезерман выступал от имени официальных философов. Пилипенко ничего к моему тексту не добавил, а Глезерман что-то вписал. После добавления двух названных подписей статья стала программной. Статья развязала руки социологам, укрепила их позиции. Действительно, с одной стороны, она как бы успокоила всех стражей в том, что наша социология развивается на марксистской основе. Исторический материализм выступает в роли социологической теории. С другой стороны, был открыт простор для развития теорий среднего уровня и эмпирических исследований. Я не знаю, как и насколько теоретически справедлива такая схема, но придти к ней было политически и практически необходимо.

В результате официоз принял эту точку зрения. Они, я думаю, поняли, что социология получила широкий размах. Против нее стало трудно выступать, не было причин возражать против того, чтобы она и далее развивалась. Промышленность оказалась в фокусе социологического внимания, начались исследования общественного мнения. Потом они поняли, что эмпирические исследования полезны, они нужны. Ведь каждая наука что-то исследует. Если экономисты изучают конкретику, то почему социологи не могут делать то же самое в своей предметной области. Не поэтому ли академик Федосеев в последние годы едва ли не всю американскую социологию, не говоря уже о советской, начал признавать.

Да, на той стадии развития социологии статья и ее идеи сыграли определенную позитивную роль, но сейчас она уже недостаточна. Мало заявить, что исторический материализм больше не является общесоциологической теорией. Такого рода действия я считаю односторонними. Не менее важно показать связь искомой общесоциологической теории с историческим развитием общества. Да и вообще, вопрос о том, что же является общесоциологической теорией, остался во многом открытым. Над этими проблемами сейчас мало кто думает. У нас отбросили исторический материализм, но полноценной замены пока нет (Келле 2008: 311–313).

Для полноты рассказа от себя добавлю следующее. Социологи сумели найти выход из познавательного тупика, когда абстрактная теория не могла быть руководством для изучения различных сторон общественной жизни, но саму теорию, по тогдашним канонам, нельзя было игнорировать. Концепция трехуровневой структуры социологического знания: общесоциологическая теория (исторический материализм) — частные социологические теории (теории среднего уровня, по Р. Мертону) — эмпирический базис (собственно эмпирические исследования) была хотя и вынужденным, но своевременным компромиссом (Социология в России 1998: 11). Будучи включенной в преамбулу Устава ССА, эта концепция легитимизировала эмпирические исследования в рамках нескольких десятков частных социологических теорий, опосредующих осмысление данных на общетеоретическом уровне.

К тому же, как свидетельствует В. Ядов, марксизм «отраслевых» (среднеуровневых) социологий примечательным образом «совмещался» с еще одним мощным познавательным средством — структурным функционализмом Т. Парсонса, который, как известно, утверждал идеи стабилизации общественной жизни и общества, исходил из рациональности функций его институтов. Пафос гомеостазиса был близким по духу идеям управляемости, планируемости, иллюзиями которых питалось сознание боязливых руководителей страны. Сквозь призму этих иллюзий социальная ситуация в стране рисовалась им подвластной, контролируемой сверху. В таких случаях власть не только не вмешивалась в исследовательский процесс, но и в отдельных случаях по-

ощряла его. Существенно, что терминологический язык парсоновского функционализма «мягко» переводился с английского языка на русский: социальные страты именовались социальными слоями, а воспитание советского человека постепенно, шаг за шагом, превращалось в фактор социализации личности.

Еще один серьезный прорыв к познанию социальной реальности произошел на базе широкого применения аппарата и языка системного анализа. В итоге, невзирая на спазмы и конвульсии политико-идеологического контроля, дело двигалось вперед, постепенно раскрепощая социологию от оков «единственно правильного и всеобъемлющего учения». Это фронтальное раскрепощение социологической мысли не смогли остановить никакие преследования «неуправляемых» интеллигентов-социологов.

#### **7.4. Три этапа освоения парсоновства<sup>4</sup>**

Мое знакомство с Талкоттом Парсонсом, писал А. Здравомыслов, началось со штудирования его работ, с изучения способов его мышления. С работами Парсонса я стал знакомиться с 1958 г. Я тогда был аспирантом философского факультета Ленинградского университета. Летом этого года университет посетила небольшая группа американских аспирантов и преподавателей. Во время встречи с ними я спросил о наиболее известных американских социологах. Они назвали Дэвида Рисмэна — о котором я уже был наслышан — и Талкотта Парсонса (это было новое для меня имя), отметив при этом, что Парсонса очень трудно понимать.

Это последнее обстоятельство привлекло мое внимание. Я решил преодолеть эти трудности. Прежде всего, я посмотрел, какие работы Парсонса имеются в двух ленинградских библиотеках, которыми я пользовался, и натолкнулся на целый ряд книг, в том числе и на «Структуру социального действия» (1937). С тех пор я старался освоить этот пласт довольно сложных теоретических построений.

Важным стимулом для дальнейшего освоения парсоновства стало несколько позже состоявшееся личное знакомство с ним. Однажды, это было, по-видимому, в 1964 г., раздался телефонный звонок в нашей коммунальной квартире на Зверинской улице. Я поднимаю трубку

---

<sup>4</sup> Авторство этой части очерка целиком принадлежит А.Г. Здравомыслову (Здравомыслов 1999а: 255–264), который в мае 2009 г. разрешил мне публикацию отрывка из своего труда, посвященного памяти Т. Парсонса, и согласился на ряд небольших сокращений оригинального текста, носящих чисто редакторский характер. Внезапная кончина А.Г. в июне 2009 г. помешала ему просмотреть предлагаемый вариант этого текста.

и слышу хрипловатый голос, который спрашивает меня на американском английском и представляется: «Это говорит профессор Парсонс». Я очень удивился. Он спросил: «Хотите ли вы со мной увидеться?» Я говорю: «Я был бы крайне счастлив». Он сразу же пригласил меня в гостиницу, в которой они остановились со своей супругой (он всегда ездил со своей супругой Элен Парсонс). Они удивительно подходили друг другу по своей внешности, комплекции, взаимопониманию. Потом он пригласил меня на прием, который давало американское консульство в честь его пребывания в Ленинграде, где я имел возможность убедиться в том, с каким почтением относятся чиновники различного ранга к профессору Гарвардского университета.

Т. Парсонс производил впечатление человека, не очень сильно заботящегося о своем престиже, он был весьма простоват в манере поведения. И в этом отношении Парсонс не был похож на многих других американских профессоров, которые всегда своей внешностью подчеркивают свой статус, положение и т. д. Он не строил беседу на почве каких-то очень абстрактных вещей. Мы говорили скорее о каких-то повседневных делах, с которыми он сталкивался, которые он видел. Иногда мы выходили на какие-то теоретические проблемы и обсуждали их.

Он всегда привозил с собой свои последние книги и целый пакет публикаций и щедро одаривал меня своими книжками с автографами. У меня дома есть несколько таких книг. Иногда он предлагал что-то на выбор. Скажем, сборник статей или монографию. Я, конечно, предпочитал монографию.

Мне кажется, что у него не было иных интересов, кроме теоретической и преподавательской работы. Естественно, в сфере его интересов было понимание мира, понимание Советского Союза, было желание больше понять, что происходит в этом мире.

### **Этапы освоения парсонизма**

Первая работа Парсонса, которую я постарался освоить, была «Структура социального действия», впервые опубликованная в 1937 г. Что для меня — выпускника философского факультета образца 1953 г. — оказалось наиболее сложным в этой книге? Во-первых, как я уяснил себе, эта книга представляла определенную версию истории социологии как науки. Версия эта основывалась на интерпретации понятия «социальное действие», введенного в оборот М. Вебером. Главная трудность состояла в том, что в марксистском словаре того времени такого понятия не существовало, как не существовало и социологии как самостоятельной дисциплины. Были понятия практики, революции, реформы, которые могли быть соотнесены с социальным действием, но в несколько

иной интерпретации в отличие от веберовской традиции. У М. Вебера социальность действия была связана со смысловой *нагрузкой* действия, исходящей от субъекта этого действия. В марксистском лексиконе — с *массовидностью* процесса, с участием в событиях значительного числа людей, действующих спонтанно на основе своих интересов.

Иначе говоря, изучая Т. Парсонса, я попадал в мир иных понятий, нежели те, которые были включены в систему образования. Осознав это, можно было двигаться двумя путями: закрыть для себя всю эту литературу, сказав, что она не имеет отношения к «истинной науке», или же продолжить разбирать и дальше не вполне понятные теоретические построения, основываясь на предпосылке: авторитет ученого не может строиться на пустом месте, что-то в его рассуждениях есть — весьма важное для его общества, — раз он в этом обществе получил признание. Для себя я избрал второй путь.

В дальнейшем при работе над этой книгой мое внимание привлекла мысль, высказанная в Предисловии 1968 г.: «Для истории этой книги важно, что в ней рассматривались наиболее широкие вопросы природы современного индустриального общества — в особенности природы капитализма. Более того, это осуществлялось в то время, когда Русская Революция, Великая Депрессия, фашистские движения и приближение Второй мировой войны стали событиями, поднимавшими многие фундаментальные вопросы. В теоретическом плане книга концентрировалась на проблемах пределов и ограничений экономической теории. Это выполнялось с позиций, отличавшихся от двух общепринятых точек зрения по этому вопросу, как от теории “экономического индивидуализма”, так и от теории социализма, даже в вариантах британских демократических социалистов, не говоря уже о марксистах» (Parsons 1968: VI).

В этом положении была высказана мысль о «связи с практикой», которую можно было отыскать ценой огромных усилий.

Освоение довольно сложных теоретических конструкций Т. Парсонса у меня проходило в несколько этапов. *Первый этап* — это работа над кандидатской диссертацией (1959) и первой моей книгой «Проблема интереса социологической теории», которая была написана на основе кандидатской диссертации (1964). Как видно из названия, мне хотелось разобраться в том, как побудительные силы человеческого поведения превращаются в причины социальных изменений и почему любые политические структуры прежде всего заявляют о том, что они защищают интересы народа, общества, прогресса, социальных групп, наций и классов. Я не уверен, что мне удалось решить эту задачу. Но кое в чем мне удалось продвинуться, обращаясь к истории социальной мысли и к современной социологической литературе. Из современных авторов мое внимание привлекли Р. Мак-Ивер, который

был автором статьи «Интересы» в американской «Энциклопедии социальных наук», и Т. Парсонс. Раздел о взглядах последнего на интересы содержался уже в кандидатской диссертации. Для книги я подготовил специальный параграф, который называется «Теория социального действия и ориентация». Она основана на штудировании ряда работ Парсонса, а именно «К общей теории социального действия», «Структура социального действия», «Социальная система», «Очерки по социологической теории», а также вводных статей Парсонса к обстоятельному двухтомнику «Теории общества». Это были те источники, на которые я опирался в то время. <...>

При подготовке книги о проблеме интереса в социологической теории мое внимание привлекла статья Парсонса «Мотивация экономической деятельности». Основной пафос этой статьи заключается в критике утилитаристского подхода, используемого для объяснения человеческого поведения. Утилитаризм (теория мотивации через «пользу», то есть через грубо понятый интерес) недооценивает, с одной стороны, значение инстинктов и традиций, а с другой стороны, морального и эмоционального компонентов в мотивации действия. Парсонс же исходит из идеи многообразия мотивов поведения людей и заявляет, что *«экономическая мотивация не является вообще категорией мотивации при более глубоком уровне рассмотрения проблемы, скорее это некоторый пункт, в котором могут перекрещиваться весьма разнообразные мотивы при ситуациях определенного типа. Их заметная устойчивость и всеобщность не являются результатом единообразия “человеческой природы”, проявляющейся в эгоизме или гедонизме. Это результат определенных черт структуры социальных систем действия, которые, однако, не являются константами. Они подвержены институциональным изменениям»* (Parsons 1964).

Такая постановка вопроса заставляла задуматься над проблемой экономических или материальных интересов, а более конкретно — над структурой стимулов трудовой деятельности. Как раз это было главной проблемой исследования отношения к труду, которое было организовано лабораторией социологических исследований Ленинградского университета (1960–1968 годы).

При изложении позиций Парсонса я уделил большое внимание понятиям социальной роли, институтов, нормативных ожиданий. Затрагивалось и содержание теории социальных изменений, равно как и проблема «движущих сил», «теории преобладающего фактора» и т. д. В целом моя работа строилась на основе марксистской методологии. И по всем существенным вопросам я сопоставлял, точнее сказать, противопоставлял позиции Парсонса и позиции марксистской социологии, насколько я их понимал сам в это время. Там, где противопоставление

было затруднено в связи с неразработанностью проблематики в марксистской литературе, я пытался изобрести что-то свое. <...>

В том разделе книги, который был посвящен полемике с Парсонсом, я считал своей обязанностью не столько «опровергнуть» Парсонса, сколько воспроизвести достаточно подробно его теоретическую концепцию и систему аргументации. По сути дела, в названном выше параграфе рассматривались основные категории, с помощью которых создавалось определенное взаимопонимание человека и общества. Это было очень важно, так как ориентировало на осмысление сложности социальных проблем.

После того как книга была опубликована, она оказалась в руках Парсонса. В апреле 1965 г. Парсонс написал мне первое письмо, в котором он высказал свое мнение о моей работе. Оригинал письма у меня сохранился, и я приведу этот текст. Письмо на бланке Гарвардского университета, Департамента социальных отношений. Датировано 13 апреля 1965 г., напечатано на машинке самим Парсонсом. Текст следующий:

Дорогой доктор Здравомыслов!

Я давно хотел поблагодарить Вас за то, что Вы прислали мне книжку «Проблемы интереса в социологической теории». Однако прежде чем Вам ответить, я дождался того момента, когда раздел, касающийся моей работы, будет переведен. Кроме того, я также обсуждал текст какое-то время с профессором Джорджем Фишером.

Я полагаю, что Вы понимаете, что в трактовке этих проблем между нами большие различия (a good many differences). Однако я полагаю, что Ваша позиция, насколько я могу судить по переводу, интересна и полезна. Я думаю, что наиболее важное различие состоит в том, что я не стремлюсь принять дихотомию между объективными структурными условиями общества и теми аспектами, к которым можно подойти через ориентации индивидуальных членов общества. Я с уверенностью признаю важность того и другого и вижу в качестве центральной задачи теоретика-социолога установление отношений между этими двумя сторонами. Вместе с тем у меня сложилось впечатление, что Ваше исследование является наиболее конструктивным вкладом с точки зрения продвижения разумного обсуждения названных проблем в тех советских источниках, которые мне известны. Я лишь хочу, чтобы была возможность продолжать дискуссию при личной встрече, и, может быть, такая возможность вскоре представится (Из [моего] личного архива).

Парсонс имел в виду возможность приезда группы ученых, представляющих Советскую социологическую ассоциацию, в США, поскольку в тот период, еще сохранявший следы хрущёвской оттепели, он возглавлял Комитет Американской социологической ассоциации по контактам



с США. В этом качестве он сделал очень много для углубления контактов, но предложенный им визит не состоялся.

*Второй этап* освоения парсонизма был связан с подготовкой и редактированием книги о структурно-функциональном анализе (Структурно-функциональный анализ 1968). Эта работа делалась в ИКСИ АН, где я работал в качестве старшего научного сотрудника в секторе методологии, которым руководил Ю.А. Левада. Я редактировал весь перевод с английского на русский, переписывал этот перевод, делал его более адекватным и профессиональным. Бюллетень этот сейчас представляет библиографическую редкость. В него вошли 6 статей, в том числе три статьи Парсонса: «Современное состояние и перспективы систематической теории в социологии» (1945), «Система координат действия и общая теория систем действия» из книги «Социальная система» (1956) и «Новые тенденции в структурно-функциональной теории» (1964). Кроме того, в сборник вошла известная статья Р. Мертон «Явные и латентные функции» (в переводе Ю.А. Асеева). Эти четыре работы составили первую книжку сборника.

Во вторую книжку вошли как представители структурно-функционального направления — Ч. и З. Лумисы, К. Дэвис и У. Мур, А. Гоулднер, Дж. Хоманс, так и критики этого направления — Я. Уайткер, П. ван ден Берге, А. Франк, Д. Мартиндейл, Дж. Рекс, Э. Нагель, Ч.Р. Миллс. К этому изданию мною было написано небольшое Предисловие, имеющее в виду подготовить идеологически ангажированного читателя к восприятию текстов, включенных в сборник.

Благодаря этому изданию социологическая общественность в нашей стране получила возможность ознакомиться с состоянием теоретической социологии в США, и прежде всего со взглядами Т. Парсонса и Р. Мертона. Нужно сказать, что это была одна из немногих публикаций, в которой мысли авторов представлены не через призму критического восприятия, а аутентично, насколько это позволяло знание языка. Просматривая сборник сейчас, я лишь удивляюсь той огромной работе, которая была проделана в секторе Ю.А. Левады, и еще раз высказываю убеждение в том, что переиздание этого сборника лучших теоретических работ конца 60-х годов было бы весьма полезно для развития социологии в России. <...>

*Третий этап* освоения парсонизма связан в моей научной биографии с работой над докторской диссертацией (1969). В этой работе, оставшейся неопубликованной, я стремился обобщить собственный исследовательский опыт (см.: Здравомыслов 1969).

Раздел о Парсонсе был расширен за счет включения в диссертацию книги «Экономика и общество», написанной Т. Парсонсом совместно с Н. Смелсером. Главная проблема, которая здесь решалась, состояла в том, чтобы выявить переход от теории действия к системному виде-

нию общества. И сейчас эта проблема остается камнем преткновения для многих исследователей Парсонса. Как мне представлялось в те времена, переход этот был осуществлен благодаря разработке теории стандартных переменных (*pattern-variables*), которая, с одной стороны, сохраняет идею смыслообразования, присущую теории действия, а с другой стороны, предлагает определенное упорядочение смыслов, становящееся основанием конструкции социальной системы.

Можно сказать, что для меня этот этап закончился не только защитой докторской диссертации, но и еще одной встречей с Парсонсом и знакомством с его учеником Н. Смелсером в 1970 г. на Варнинском Всемирном социологическом конгрессе (Болгария). На этот конгресс (на секцию, которой руководил Парсонс. — Б.Ф.) я представил доклад «Взаимодействие между экономикой и социологией в свете двух противоположных традиций социологического мышления». На этом же конгрессе я познакомился и со шведским социологом Ульфом Химмельс-трандом, представлявшим неомарксистскую версию социологии. Он вскоре стал Президентом МСА (1978–1982).

70-е годы в социологии были отмечены снижением интереса к парсонизму. <..> Однако для меня лично Т. Парсонс продолжал оставаться значимой фигурой. Более того, возникла потребность объяснить, почему — несмотря на сложность языка и известный схематизм и вопреки критике преимущественно с более радикальных («левых») позиций — Т. Парсонс остался среди классиков социологии.

## 7.5. «Профессор Сорокин? Откуда он там взялся?»

Прозрение советских социологов в отношении подлинной истории и современного состояния социологической науки было явлением массовым и перманентным. В подтверждение этого сошлюсь на *воспоминания В. Шубкина*, относящиеся к середине 1960-х гг. и связанные с посещением одного научного центра в Париже, где его познакомили с историей социологических исследований во Франции.

Мы двигались по залу, увешанному портретами выдающихся ученых.

— Мы надеемся, что вам это было интересно, поскольку в России нет социологических традиций, — завершил свой обзор французский коллега.

Его разъяснения были полезны и любопытны для меня. Но в них, особенно после завершения обзора, прорывалась какая-то раздраженная снисходительность.

— Простите, я не расслышал фамилию этого господина, — указал я на портрет, открывавший выставку.

- Это основатель нашего центра профессор Гурвич.
- А не скажете ли Вы, откуда он?
- Он приехал из России и создал этот социологический центр.
- Кстати, — продолжил я, когда мы, покинув музей, шли к исследовательским лабораториям, — кто сейчас президент Американской социологической ассоциации?
- Профессор Питирим Сорокин.
- Откуда он там взялся?
- Как откуда — из России, — сказал мой коллега. Потом он остановился и смущенно улыбнулся. — Да, к сожалению, мы плохо знаем историю русской социологии (Шубкин 1996: 136–137).

Комментируя это событие, Шубкин не щадил себя и писал с полной откровенностью. «Ползучий эмпирик», много лет отдавший конкретным социологическим исследованиям, он, по существу, ничего не знал о работах Сорокина. В этом отношении, признавался Шубкин, по уровню знаний он едва ли отличался от уровня окружавших его обществоведов. Исключение из правила составляли небольшое число специалистов, занимавшихся в те годы критикой буржуазной социологии. Они-то не могли не слышать о Сорокине уже лишь потому, что в своей статье «Ценные признания Питирима Сорокина» его сурово критиковал сам Ленин. Только в 1966 г., когда на VI Всемирном социологическом конгрессе в Эвиане, во Франции, в качестве главного был объявлен доклад Питирима Сорокина, Шубкину стало ясно, что наш соотечественник является одним из лидеров мировой социологии.

Относительно нетрудно назвать причины «провалов» в индивидуальных и коллективных представлениях в картинах мира социологического сообщества. Мало сказать, что Сорокин и Гурвич носили на себе клеймо буржуазных исследователей, они были представителями русской эмиграции и в этом качестве, по мнению официоза, имели статус лиц «особо опасных» в идеологическом и политическом отношении. Многолетними усилиями партийных чиновников и цензуры их имена, а следом и труды, были принудительно изъяты на многие годы из национальной культурной памяти. В. Шубкин — одна из многочисленных жертв этого произвола коммунистической власти.

Адресуя читателя к теперь уже богатой литературе о П.А. Сорокине и к большинству его социологических работ, изданных в условиях новой России на русском языке, выскажу одно общее суждение. Отгородившись по воле своих вождей от остальной части планеты «железным занавесом», советская страна жила в состоянии изоляции, и потому едва ли не все произносимое *«извне»* по поводу нашего неодолимого движения к коммунизму *«изнутри»* чаще всего расценивалось не иначе как очередное (дежурное) проявление антисоветизма. Не могу сказать, что эти оценки, как правило, предлагавшиеся «сверху»,

наталкивались на серьезное сопротивление «снизу». Хотя, к чести мирового сообщества, *органической частью которого стала русская эмиграция* (подчеркну это особо, хотя и по прошествии многих лет), оно не один десяток лет прозорливо поднимало вопросы огромной важности, затрагивавшие коренные особенности развития советской социальной системы и требовавшие рефлексии на всех ее уровнях. Если очистить проблему от набивших оскомину идеологических споров, то придется признать, что зарубежная социальная (социологическая, политическая, историческая) мысль обладала одним решающим преимуществом в дискуссии с марксизмом, возведенным в ранг государственной общественной теории. Она была свободной!

Кстати, в этом качестве она во многом сформировала если не теорию, то понятийный язык описания и анализа советской системы, неуклонно двигавшейся к своему историческому финалу. Критика и преодоление *культы личности* не равноценны искоренению *сталинизма* и уничтожению почвы, на которой он произрастает. Сознаемся в том, что о сталинизме первым заговорил Запад, призывая нас называть вещи своими именами. Одна из самых важных по своему значению и трагических по своему содержанию книг «Архипелаг ГУЛАГ» была написана в начале 1970-х гг. Однако главная солженицынская тема начала звучать за рубежом уже в довоенные годы в мемуарах, воспоминаниях людей, которым чудом удалось бежать из лагерного плена, а также в работах деятелей русской эмиграции, представлявших в прошлом оппозиционные по отношению к большевикам партии.

Оттуда же в 1960-е пришло слово «*диссидент*», как обозначение движения против тоталитарного режима в социалистических странах. Это слово впервые вошло в очередное издание отечественного «Краткого политического словаря» в 1978 г. Империалистическая пропаганда, говорилось там, обозначает этим термином «отдельных “отщепенцев”, которые становятся на путь антисоветской деятельности, нарушают законы и, не имея опоры внутри страны, обращаются за поддержкой за границу, к империалистическим подрывным (разведывательным и пропагандистским) центрам». Чтобы убедить читателей в своей правоте, автор упомянутого словаря решил прибегнуть к авторитету Л. Брежнева, который, в свою очередь, решил сослаться на высший авторитет: «Наш народ требует, чтобы с такими, с позволения сказать, деятелями обращались как с противниками социализма... пособниками, а то и агентами империализма. Естественно, что мы принимаем и будем принимать в отношении их меры, предусмотренные законом». В своем ключе высказался и Ю. Андропов, один из создателей «карательной психиатрии» — принудительного лечения разно- и инакомыслия. Для него диссидентами были люди, побуждаемые политическими идейными заблуждениями, религиозным фанатизмом,

национальными вывихами, личными обидами и неудачами... наконец, в ряде случаев, психической неустойчивостью (Геллер, Некрич 1995, кн. 2: 243–244).

Выражение «железный занавес» тоже несветского происхождения. В своей фултонской речи У. Черчилль, констатируя в 1946 г. начало «холодной войны» и объявляя о «железном занавесе», стал невольным плагиатором и опоздал ровно на 20 лет. Василий Розанов написал вовремя: «С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею “железный занавес”» (см.: Вайль 2007: 108–109).

Вот почему в назидание, прежде всего, себе, моим коллегам по социологическому сообществу, а следом и читателям книги я завершу текущий сюжет коротким рассказом с документальными ссылками, которые помогут ощутить атмосферу советской системы. Рассказ называется «Обыкновенная советская история, или почему Питирим Сорокин не смог увидеть Россию на склоне своих лет»<sup>5</sup>.

### Начало истории

*Вспоминает В.С. Семенов:* «...когда в 1962 году в Вашингтоне проходил V Всемирный социологический конгресс, мне довелось впервые встретиться с Питиримом Сорокиным. Он проявил живой интерес к советским ученым, беседовали мы обычно на русском языке. Меня он поразил тем, что, оказывается, был знаком с моими публикациями в журнале “Вопросы философии”. Начиная с 1955 года я практически ежегодно публиковал там статьи с анализом и критикой наиболее распространенных тенденций развития социологического знания в Америке (в то время я готовил кандидатскую диссертацию на эту тему). Питирим Сорокин был согласен с моей критической оценкой превалирования эмпирической тенденции в развитии американской социологии. В его докладе “Разнообразии и единстве в социологии”, на следующем конгрессе в Эвиане, говорилось о мизерных результатах эмпирической социологии из-за отсутствия компетентной теории. Ведь Питирим Сорокин был талантливым теоретиком в области социокультуры, прекрасным аналитиком, и его раздражала господствующая тенденция сбора нужных и ненужных фактов без их дальнейшего обобщения и осмысления.

Так вот, на конгрессе в Вашингтоне американская делегация устроила прием в честь советской делегации в уютном “Космос клуб”. Открывая его, Питирим Сорокин сказал, что хочет обратиться к советским ученым на русском языке, а чтобы его слова поняли американские социологи, он просил Вадима Семенова переводить их на английский. Что я и сделал. Это была теплая речь, с выражением удовлетворенно-

---

<sup>5</sup> История опубликована во Франции (см.: Firsov 2000: 211–219).

сти совместной работой и пожеланиями развивать наши творческие и человеческие контакты. Он сказал о своем желании посетить СССР. К сожалению, это ему не удалось...» (Российская социология шестидесятых 1999: 428–429).

### Продолжение истории

После этой встречи связи П. Сорокина с советскими обществоведами, социологами в первую очередь, становятся весьма оживленными. В стране имеет место ренессанс научной социологии, уничтожение которой можно с большим основанием датировать 1922 годом, когда за границу были высланы выдающиеся российские ученые, в том числе П. Сорокин, Н. Бердяев, С. Франк, П. Струве и другие (Социология в России 1998: 23). Известно, что в 1950–1960-е гг. П. Сорокин активно выступал против милитаризации нашей планеты, настаивал на сближении США и СССР, мучительно обдумывал проблемы судеб мира и мировой культуры. Особенно важно, что он внимательно следил за состоянием социологии в СССР, искренно радовался ее возрождению в послесталинский период и даже намеревался написать об этом книгу (Голосенко 1992: 7–8).

### Неожиданный поворот и развязка

Казалось бы, «лед тронулся». Но не будем спешить с выводами. Весной 1967 г. при контроле литературы, поступавшей в Советский Союз из-за рубежа, Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР задержало книгу проживавшего в США социолога-эмигранта П. Сорокина «Пути проявления любви и сила ее воздействия», которая была выпущена на английском языке американским издательством. Книга, как установили бдительные цензоры, послалась автором с дарственной надписью профессору И. Кону. Книгу конфисковали, и адресат ее не получил (Социология и власть 1997: 97–98). Заключение цензуры («книга является свидетельством антисоветской настроенности автора, помещенные в ней материалы носят враждебный характер») можно было бы расценить как вынесение политического приговора ее автору, живи он в СССР (см.: Там же: 97–98 — **Документ 18.0.** *Записка главного управления по охране государственных тайн о задержании книги П. Сорокина «Пути проявления любви и сила ее воздействия». 15 мая 1967 г.*).

В справедливости такого вывода убеждает еще одно документированное событие. Незадолго до событий, связанных с задержанием книги, П. Сорокин выразил желание «до своей кончины посетить свою родину» и направил по этому поводу письмо в АН СССР. Партийные

власти, куда за соответствующим разрешением обратился академик П. Юдин, Председатель Научного совета АН СССР по истории мировой культуры, не только не сочли нужным приглашать в страну всемирно признанного к тому времени классика социологической мысли, но и не дали никаких разъяснений по данному поводу (Там же: 91–93 — **Документ 16.0**. *Записка научного совета АН СССР по истории мировой культуры о приглашении в СССР президента Американского социологического общества П.А. Сорокина. 3 февраля 1967 г., с приложениями 1 и 2*).

Только теперь становится понятным, что «таинственные» причины отказа П. Сорокину в разрешении побывать в СССР и «сослужить службу русским ученым» (Там же: 13) были связаны с конфискацией его книги сверхбдительной советской цензурой. Не удивительно, что возродившиеся было контакты и заметно растущий интерес советских социологов к научному наследию мэтра не привели тогда, в 1960-е гг., к официальному возвращению советскому читателю классических социологических трудов П.А. Сорокина, написанных им до насильственной депортации с его исторической родины и после нее, уже в бытность профессором Гарвардского университета США.

Лишь в 1974 г. в СССР впервые издали сборник зарубежных переводов и статей по проблемам социальной мобильности (Социология в России 1998: 113). Автором одной из переведенных с английского языка работ был наш знаменитый соотечественник. Но даже и этот безобидный труд «небезызвестного буржуазного теоретика», как тогда именовали в советских публикациях ученого с мировым именем, оказался малодоступным. Упомянутый сборник вышел в свет с грифом «Для служебного пользования». До перестройки его могли читать только в библиотеках научных учреждений, а в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина (ныне — Российская государственная библиотека) — лишь по специальному письму-ходатайству, подтверждавшему, что интересующийся сборником читатель библиотеки работал над проблемами социальной структуры.

## **7.6. Польская социология: Восток — на Западе и Запад — на Востоке?**

Мосты, соединяющие отечественных социологов с зарубежными коллегами, возводились в разные стороны света — не только на запад, но и на восток Европы, где располагались дружественные СССР государства. Один из них соединил советских социологов с поляками. К началу 1960-х гг. польская социология успешно прошла путь своего становления и организации. Она была более продвинутой с многих точек зрения. Тому есть несколько причин.

Основная причина состоит в том, что в истории Польши так называемый советский период был короче, чем в истории нашей страны. Кроме того, запретов на социологию польское общество не знало. Это очень существенно. Поэтому сразу после победы над фашизмом поляки продолжили развитие своей национальной социологии, возникшей в 1920–1930-е гг. Этот процесс трудно назвать возрождением. Был перерыв, вызванный Второй мировой войной, годами политической неразберихи в Польше. Но поскольку были сохранены все связи, сложившиеся внутри социологического сообщества, а они сложились еще до начала войны, то имела место быстрая регенерация этих связей, несмотря на гибель многих исследователей вследствие войны и нацистского террора. Часть оставшихся в живых польских социологов второй половины XX в. — люди с довоенным профессиональным опытом.

Среди советских социологов таких людей не было. Ибо после того как в 1930 г. эту «буржуазную науку» запретил Сталин, она прекратила свое существование на целую четверть века. Она претерпела, как говорят математики, длительный разрыв непрерывности. У поляков период приостановки развития социологии был более коротким — 1939–1945 гг. плюс еще несколько трудных для всей страны лет. После того как поляки восстановили свою горячо любимую Варшаву и другие города страны (например, Краков, где еще в 1364 г. был основан Ягеллонский университет), они с энтузиазмом занялись мирными делами, прерванными войной. Это собрание культурных и научных сил стоило им относительно недорого в сравнении с нами.

Преодолеть последствия упомянутого «разрыва непрерывности» и стать полноценной, полифункциональной, высокопрофессиональной научной дисциплиной означало для советской социологии прохождение через три стадии (о них шла речь во втором очерке). Первая стадия (напомню, что ее называют теоретико-методологической) — это особый период выделения новой науки из среды других родственных социальных дисциплин. Советской послевоенной социологии нужно было пройти едва ли не заново весь этот период, а польская социология сложилась в довоенное время, и ее никто не «отменял». Принудительный монизм марксистской точки зрения, провозглашенный при образовании социалистической Польши, не разрушил довоенные традиции социологического мышления, сложившиеся под влиянием европейской науки и культуры.

Вторая стадия становления любой дисциплины — ее институционализация. Науки нет, если нет научных центров, системы подготовки кадров (университетов), научных журналов, издательств, которые выпускают книги. Всё это польские социологи довольно быстро реанимировали после Победы над фашизмом. Здесь следует напомнить, что Вторая мировая война приостановила развитие социологической



мысли едва ли не во всех странах. Европейская социология на какое-то время вовсе перестала существовать (И. Голосенко). В годы войны резко упал уровень исследовательской деятельности. Одна из немногих классических работ этой трудной для всего человечества поры — книга «Американский солдат», посвященная изучению боевого духа армии США. Ее авторы — американские ученые, мобилизованные для службы в войсках, сражавшихся против гитлеровцев. Польша находилась под фашистской пятой. Понятно, что тогда было не до социологии. Однако уже в 1950-е гг. механизм воспроизводства социологического знания действовал вполне успешно. В частности, возобновилось преподавание социологии в университетах страны, началась интенсивная публикация социологической литературы без ограничений на зарубежную классику. Поляки в числе первых установили деловые и прямые контакты с Международной социологической ассоциацией, приняли самое деятельное участие в ее конгрессах, считая свою национальную социологию частью мировой. По фазе институционализация советской социологии сильно отставала от польской. К чести поляков, они никогда не подчеркивали своих преимуществ и достижений, хорошо понимая трудности становления советской социологии в условиях послесталинского СССР.

Третья стадия связана с наличием развитой эмпирической базы. Полякам не пришлось заново обучаться теории и методам организации социологических исследований и кустарно переводить книгу Гуда и Хатта. Высокая культура проведения этих исследований была заложена еще в довоенное время. Польский исследовательский опыт был по достоинству оценен моими соотечественниками-социологами. С поляками было не только интересно, но и полезно работать. Сотрудничество с ними обогащало нас.

Говоря иначе, в 1960-е гг. состояние польской социологии отвечало едва ли не всем науковедческим критериям, а в СССР еще не решались назвать «кошку кошкой». Социология числилась у нас под именем «конкретные социологические исследования». Да и первый *de facto* социологический академический институт был назван ИКСИ АН СССР — Институт конкретных социальных исследований. А слово «социология» на партийном языке ассоциировалось с буржуазной наукой. Чувствуете разницу? Я усилю ее ссылкой еще на одно обстоятельство. Заболевание части польских социологов доктринальным марксизмом–ленинизмом было не очень сильным. Хотя среди них было много теоретически подготовленных марксистов, которые сознательно разделяли учение Маркса, принимали его на вооружение, честно пытались найти ему подтверждение в практике строительства новой Польши. Многие из них и в социализм по-настоящему верили, так же как и мы в то время. Во всей стране было достаточно большое количество людей, настроенных просоциа-

листически. Но степень раболепия перед непобедимым учением была ниже советской.

Между нами были равноправные деловые и человеческие контакты. Складывание общей точки зрения проходило безболезненно, одни, как бы исподволь, учили других на основе перекачки опыта каждой из сторон. Отмечу теплоту этих отношений, подлинно дружескую атмосферу, основанную на общем интересе к социологической науке, сотрудничестве в самых разнообразных формах, личных связях и симпатиях, радушии, гостеприимстве, которое, как правило, не обходилось без застолья.

После того как контакты двух социологических миров — советского и польского — были установлены, мы начали их догонять, правда, со своей скоростью. Но все равно, общие условия развития социологической науки у них были более благоприятными. Польские социологи не испытывали давления цензуры в той степени, какая была характерна для последних десятилетий СССР. Мы поневоле и прочно сидели в плену монистического взгляда на историю и общество, как сказал бы Г. Плеханов. Взгляды поляков были более гибкими, пластичными, диверсифицированными, несли на себе следы естественного для их национальной традиции плюрализма. Потому что, повторяюсь, период советизации у них был короче, и их мозги не так пострадали, как наши. Тем не менее это не приводило к какому-то противостоянию. Сложилась примерно равноценная когорты, и ни с кем больше советские социологи так интенсивно не общались в 1960–1970-е гг., как с поляками. С ними были самые прочные отношения, и, я думаю, даже самые откровенные, искренние. Столько, сколько мы друг другу рассказывали, мы не рассказывали никому. Мне лично тогда казалось, что первые по близости люди в славянском и социалистическом мире это — поляки. А потом остальные, не в обиду им будь сказано.

Весьма любопытно, что в Польше не было головного в советском понимании института социологии. Центральным обществоведческим учреждением был Институт философии и социологии (ИФИС) Польской академии наук. В отличие от советских философов, их польские коллеги в своей массе были весьма либерально настроены. И если мы не питались идеями наших официальных философов, то только в силу их ортодоксальности. В отличие от нас, польские социологи равнялись в большей степени на своих философов. Ценили их свободный и глубокий ум, высокую образованность. Если бы советским социологам предложили влиться в Институт философии, они бы закричали: «Ка-раул!». А здесь, в стенах ИФИС философы и социологи гармонично сосуществовали, разделив сферы познания в соответствии с предметом каждой науки. Больше того, ИФИС как центр сосредоточения философов и социологов ни разу не подвергался никаким гонениям. Полити-

ческая история польской социологии в этом смысле более спокойная, там не было таких разгромов и вмешательств по указаниям партии, какие имели место у нас. Философы и социологи ПНР постоянно ездили в Европу и США, приобретали утраченный было международный лоск, одновременно искали путь к самостоятельным представлениям, отчетливо понимая, что, рано или поздно, сохранив с нами отношения, они будут сами по себе, а мы — сами по себе. Хотя, кстати, такое будущее очень редко обсуждалось, с ним соглашались по умолчанию. Вот это тоже очень существенно.

И они дальше нас ушли в процессе институционализации. Если обратиться ко второй половине 1960-х гг. (пик «шестидесятничества»), то в это время мы продолжали сочинять инициативные записки в ЦК КПСС со ссылками на богатый опыт и достижения зарубежной, в частности польской, социологии. Я был в Англии стажером на Би-би-си и по возвращении домой написал обстоятельную бумагу на тему о том, что надо изучать аудиторию, надо знать, что люди думают о телевидении, что само телевидение должно быть человекоцентричным, опираться на потребности людей, а не на директивы и команды сверху. Обращение в «инстанцию» не привело к конкретным результатам.

А польские социологи поступили иначе. Они создали при польском радио и телевидении в 1970-е гг. профессиональный центр изучения общественного мнения и начали очень методично, день за днем опрашивать радиотелевизионную аудиторию страны: «Что вы вчера смотрели, что позавчера смотрели, как вам это понравилось? Сколько времени затрачиваете на просмотр телепрограмм?..» Коммуникатор должен знать общую ситуацию, кто и сколько смотрит телевидение (слушает радио), какие программы и по каким причинам выбирает. Важна информация о доступности телевидения и радио в разное время суток, в разные дни недели, построенная на кривых «засыпания страны» и подсчетах доли бодрствующих зрителей по отношению ко всей потенциально возможной аудитории. Коммуникатор обязан знать, сколько людей, находящихся дома в данный момент времени, могут смотреть телевизор и сколько из них фактически его смотрят. Это все азбука радио-телевизионной программной политики.

Вся эта система у поляков работала слаженно. Они не очень этим хвастались, не бравировали. Результаты опросов были доступны всем желающим, издавались на польском языке, пожалуйста, покупайте, читайте. Поляки на этом не остановились и приступили к изучению общественного мнения населения страны. Так социология в этой социалистической стране стала востребованной не только властью, но и обществом. Другое дело, что поляки не могли с помощью этих исследований изучать отношение к Советскому Союзу, социализму и его ценностям, но тем не менее они научились (даже при условии назван-

ных ограничений) держать руку на пульсе своей страны. В СССР Всесоюзный центр общественного мнения (Заславская, Грушин, Левада) возник лишь в 1988 г.

Общей тенденции развития социологии отвечает создание в Кракове Печатоведческого центра «на зависть» всей журналистике социалистических стран с интересной программой (история польской прессы, анализ ее функционирования в условиях социалистической Польши). Благодаря этому польские социологи видели, в каком направлении развивается процесс массовой пропаганды. У нас такого обстоятельного и многолетнего мониторинга не было.

Обозначу еще один ресурс развития социологического знания и мышления. Среди поляков, в частности среди польской интеллигенции, было много людей, знавших европейские языки — такие как английский, французский, немецкий. Многоязычие — характерная черта многих относительно небольших стран. Отсюда и более высокий уровень космополитизма широко понимаемой польской культуры. У нас в 1950-е гг. космополитизм преследовался, его «выжигали каленым железом» уполномоченные на то органы государственной безопасности, а поляки продолжали жить в поликультурном поле, созданном в процессе их многовековой истории. По этим причинам зарубежная социологическая мысль никогда не изгонялась из умов жителей этой страны. Труды Конта, Спенсера, Вебера, Дюркгейма, Мангейма, Знанецкого и многих других классиков мировой и европейской социологии постоянно переводились, переиздавались, они пользовались спросом и никогда не заносились в проскрипционные списки книг, предназначенных для изъятия из хранилищ библиотек, читален, с книжного рынка или уничтожения «по акту», как это десятилетиями делалось у нас под руководством Главлита и вездесущих представителей ВЧК–ОГПУ–НКВД. Гражданин Польской народной республики имел больше шансов прочесть на своем родном (или на зарубежном) наречии многое из того, что запрещалось читать советскому гражданину.

Польский книжно-журнальный рынок в 1970-е гг. стал источником информации, которую Главлит СССР в то время относил к разряду сведений, предназначенных «для научных библиотек» или «для служебного пользования», а то и вовсе запрещал. На этом рынке имели свободное хождение тексты «самиздата» и «тамиздата». Вот еще одна из причин, в силу которой поляки были более раскованными, чем мы. Знать польский язык — значило получить доступ к источнику запрещенной в СССР информации. Многие мои коллеги-социологи так и делали: учили польский язык и сразу попадали в более свободное информационно-культурное пространство. В те годы возник особый стиль, характерный не только для социологов, но и, вообще говоря, для читающей советской публики. Носители этого стиля в Ленинграде регу-

лярно навевались в магазин книг стран народной демократии на углу улицы Герцена (ныне Большая Морская) и Невского проспекта и «выгребали» оттуда всё польское, читали с увлечением и щедро делились своими открытиями в дружеском кругу.

Я все время подчеркиваю, что, может быть, человеческие отношения были равные, а в профессиональном отношении мы во многих смыслах им уступали. Но никого из нас это не обижало. Мы, глядя на них, понимали, в чем они более продвинуты по сравнению с нами. Учить молодых людей социологии, направлять их в Европу или США для получения университетского социологического образования стало возможным лишь в предзакатную пору советской власти. Что касается наших польских партнеров, то у них ядро социологически образованных людей обозначилось гораздо раньше, чем у нас.

Закономерно, что книгу «Элементарные понятия социологии» (она вышла в свет в Польше в 1966 г., а ее перевод на русский язык был опубликована в СССР в 1969 г.) написал академик Я. Щепаньский, в то время директор ИФИС, вице-президент Польской академии наук по общественным наукам, президент Международной социологической ассоциации. Он был европейски образованным ученым. По свидетельству советского академика А.М. Румянцева, директора ИКСИ АН СССР, он великолепно знал многоязычную социологическую литературу, в равной мере новейшую и старую, прекрасно и безошибочно ориентировался в неисчислимом обилии социологических, философских, социально-психологических, исторических, демографических школ, течений и направлений, обладал редкостным умением находить «рациональное зерно» и давать точную оценку как самым абстрактным теоретическим направлениям, так и сугубо конкретным выводам. Эта книга — базовый учебник для социологов всех социалистических стран. С ее страниц молодая для нас дисциплина впервые за многие годы заговорила на языке мировой социологии, она опиралась на научную терминологию, а не на советский идеологический «новояз». Хорошую профессиональную подготовку имели практически все лидеры основных направлений польской социологии, в частности В. Веселовский, Я. Жигульский, М. Клоковска, С. Новак, В. Писарек. Я называю только тех, с кем я был лично знаком и поддерживал постоянные контакты.

В Польше я впервые побывал в самом начале 1980-х гг. До этого я принимал участие в социологических «тусовках», проводившихся совместно с польскими коллегами на родной земле. Моим знакомством с польскими социологами очень способствовал В. Ядов. Он был contact-man из первого эшелона советских социологов, а я представлял второй эшелон. Ядов знакомил меня со своими польскими коллегами и говорил: «Вот хороший мужик, Борис Фирсов, познакомьтесь». Целью первой поездки, возвращаясь к ней, была стажировка в ИФИС

и в Краковском печатоведческом центре. Еще раз я побывал в Польше в 1982 г. Тогда в Варшаве проходил очередной семинар Международной ассоциации по изучению массовой коммуникации. Сверх того, у меня были тесные связи с сотрудниками Центра исследований общественного мнения при Польском комитете по радиовещанию и телевидению. В изданиях этого центра вышло несколько моих статей.

Этими примерами я хочу подчеркнуть, что сфера нашего профессионального общения была теснее всего связана с научными направлениями, которые мы и они, поляки, представляли. Политизация советской социологии и советских социологов произошла в период перестройки, а до этого мы ездили и встречались по своим академическим делам. Я хотел познакомиться с помощью Яна Щепаньского с исследованиями ИФИС в сфере массовой культуры (поляки тогда в этой области лидировали). Поэтому именно к нему я и поехал.

«Солидарностью», возникшей, как известно, в 1980 г., занимались тогда сотрудники из Института международного рабочего движения в Москве, а также дипломаты и политики. Политологии в современном понимании в Советском Союзе тогда еще не было. По этой причине прямые контакты советских исследователей с деятелями, активистами «Солидарности» отсутствовали. Мы больше о них читали, слушали зарубежное радио, но непосредственных контактов не имели.

Было совершенно понятно, что появилась новая общественная сила и традиционная структура общества меняется, возникает альтернатива, появляются оппоненты социалистическому строю, возникают не только центристские, но и центробежные силы. Чем это все кончится? Будет ли это у нас и в какой форме? Такие вопросы не могли не приходиться в голову. Нет, я не пытался прогнозировать, но сравнения были неизбежны. К тому же общность судьбы СССР и Польши тогда представлялась несомненной. Наверное, по этой же причине более ранние события — 1956 г., произошедшие в Польше, не заострили моего внимания. Понять тогда и даже в самом начале 1980-х гг., что начинается обрушение тоталитарной системы восточно-европейского социализма, я сумел лишь много позже.

«Размораживание» моего сознания относится к перестроечному периоду. Именно тогда началось общее движение к финалу советской истории. При этом развитию воображения содействовали не столько польские сюжеты, сколько беды советской истории. Было ясно, что у нас произойдет что-то свое. Размышляя о Польше, я допускал, что события вокруг «Солидарности» могут закончиться серьезной вооруженной борьбой. Но поляки сделали все возможное, чтобы избежать кровопролития, и я, если не восхищался, то, во всяком случае, оценил, что им удалось найти мирный путь разрешения конфликта. Мудрость польского народа здесь восторжествовала. Возможно, что поляки

лучше, чем мы, усвоили уроки собственной истории. Были аресты, и далеко не единичные, но это дело привычное для социалистического лагеря. А кровь не пролилась.

Подводя итог польскому влиянию на советскую социологию, отвечу афористическими, но очень точными словами, вынесенными в заголовок этого раздела: Польша была Востоком на Западе и Западом на Востоке. Это была страна, где имелось более сильное фактическое западное влияние, с высокой степенью либерализма, свободы слова и гласности. Польские юмористические журналы имели самую высокую популярность в нашей стране, ибо эти журналы открыто демонстрировали свое свободомыслие. Результирующее воздействие Польши было в каком-то смысле просветительским, но не без общеполитических последствий. Поляки заставляли нас задумываться над тем, насколько правильно и справедливо устроена наша советская жизнь.

### **7.7. Возрождающаяся советская социология глазами западных социологов**

Факт возрождения социологии в СССР не прошел мимо внимания западных, прежде всего американских, ученых<sup>6</sup>. В целом их работы, посвященные «новой науке», объединяла тема «Интеллектуал в социалистических обществах». Важно, что они несли на себе печать непредвзятости, демонстрируя политическое здравомыслие. Полный обзор и анализ этих публикаций не входит в мои задачи, но все же я сошлюсь на четыре из них, авторы которых, подобно пилигримам-путешественникам, открывали для себя и своих коллег terra incognita марксистско-ленинской социологии.

Первый визит американских социологов состоялся в итоге двухлетних переговоров между Национальной академией наук США и АН СССР. В мае 1961 г. нашу страну посетила делегация ученых-бихевиористов, в состав которой вошли шесть психологов, один психиатр, один антрополог и два социолога — Р. Мертон (Колумбийский университет) и Г. Рикен (Национальный научный фонд), на чью работу я далее буду ссылаться (Merton, Riecken 1962). Визит был успешным. Американцы получили полную возможность встретиться с теми учеными, которых они хотели видеть, и посетить все места, в которых они хотели побывать. Важна одна деталь, о которой пишут авторы статьи: большинство членов «официальной миссии» вернулись домой с нелегким

---

<sup>6</sup> См.: Merton, Riecken 1962; Fisher 1964; Weinberg 1964, 1974; Hollander 1965; Parsons 1965: 121–125; Lane 1970: 43–51; Gouldner 1970; Shalin 1978: 171–191; Beliaev, Butorin 1982: 418–435; Гоулднер 2003: 504–536; Фишер 2008.

ощущением того, что им навряд ли удалось бы отплатить «великодушное гостеприимство» хозяев, случись советской делегации приехать в США.

Время визита совпало с решительными шагами по расширению масштаба и спектра социологических исследований в СССР, что в конечном счете более всего интересовало гостей. Прежде всего, им бросилось в глаза, что исследования ведутся в стенах научных учреждений, в отличие от США, где основной базой для развития науки являются университеты. В частности, призванная на службу делу социализма социология нашла временный «приют» в Институте философии АН СССР, что не исключало возможности создания для нее отдельной академической структуры.

Главное, однако, состояло в другом. Мертон и Рикен уловили центральную проблему развития социологических исследований, связанную с дискуссией о связи между возрождающейся социологией и историческим материализмом, официально считавшимся ее философской базой. Было понятно, что генеральная марксистская доктрина не может обеспечить политиков и ученых нужными эмпирическими результатами. Эта насущная и актуальная потребность могла быть удовлетворена лишь с помощью «конкретных социологических исследований» — нового для общественных наук понятия, которое буквально на глазах набирало силу и входило в постоянный научный оборот. Американцы стали свидетелями необычайно высокого, бросающегося в глаза интереса к развитию эмпирической социологии и созданию исследовательских центров в крупных городах нашей страны (Москва, Ленинград, Киев, Тбилиси и др.). Советскую ориентацию на эмпирическое познание общества Мертон и его коллега определили как «практический эмпиризм» (тип исследований, который обеспечивает получение обоснованной информации для принятия политических решений и разработки мер практического свойства и направленности).

Американцы отмечали, что конкретные социологические исследования стали играть в развитии социальных наук большую роль, чем традиционные попытки превращать эти дисциплины в источник философского знания. Недаром основные идеи и цели первых социологических «штудий» вытекали из вполне очевидного факта, согласно которому Маркс, Энгельс и даже Ленин не могли предвидеть многое из того, что составляет суть социализма, тем более — предусмотреть все детали строительства новой жизни. Отсюда миссия социологии — обнаружить эти «детали» и создать в итоге более подробные «чертежи» для реализации коммунистического проекта. Наиболее серьезные направления социологической деятельности — изучение отношения к труду, семье, бюджетов рабочего и свободного времени.

Общая оценка состояния новой дисциплины была весьма сдержанной: «Возможность детального анализа социальных проблем [в СССР]



настолько сжата со всех сторон официальной доктриной, ценностными ориентациями и сложившимися убеждениями, что это едва осознается самими исследователями. В известной степени это влияет на используемые методы изучения эмпирических данных. Многовариантный анализ становится, попросту говоря, ненужным, когда “практический эмпиризм” требует лишь отождествления широких масс людей, которые ведут себя различающимся образом, когда социологическое исследование рассматривается в качестве служанки запрограммированного социального действия. И все же, не пытаясь брать на себя сомнительную роль пророков, мы склонны верить, повторяем, что по мере развития эмпирических исследований в советской социологии будет иметь место все большее сближение, по меньшей мере, методов, применяемых в СССР и США» (Merton, Riecken 1962: 14).

Оптимистичными были выводы, к которым пришел американский политолог и социолог *Дж. Фишер*<sup>7</sup> после серии своих поездок в после-сталинский Советский Союз (Fisher 1964). Установив знакомства с молодыми учеными, вовлеченными в процесс создания новой науки, Фишер высоко оценил их энтузиазм и серьезность намерений. Он обратил особое внимание на практическую ориентацию всего корпуса советских наук, будь то естественные, социальные или гуманитарные дисциплины, включая искусства, твердо стоявшие на платформе социалисти-

---

<sup>7</sup> *Джордж (Юрий) Фишер* — политолог и социолог, многими нитями связанный с Россией и российской эмиграцией. Он родился в 1923 г. в Берлине в семье американского журналиста и писателя Луи Фишера и переводчицы советского посольства в Германии Берты Марк. В 1927 году семья Фишеров переехала из Берлина в Москву, куда отец был направлен работать корреспондентом газет «Nation» и «Sun». В Москве Джордж, уже Юра, быстро увлекся городом, страной и перешел на русский язык. Репрессии 1930-х гг. многое изменили в его безмятежной комсомольской юности. Его отец (Луи Фишер) надолго покинул семью и уехал в Испанию, где сыграл очень большую роль. Тем временем его мать, опасавшаяся разгула сталинского террора, сумела, вопреки желанию сына, вывезти Юрия в Нью-Йорк, в чем ей основательно помогла Элеонора Рузвельт. Окончив школу, Юрий поступил в Висконсинский университет, но вскоре был призван в армию. Окончание войны Фишер встретил капитаном американской армии, работая в ставке Эйзенхауэра. Позже, став докторантом Колумбийского университета (1948–1952), Фишер инициировал широкомасштабный проект исследований послевоенной советской эмиграции. В 1952 году он защитил докторскую диссертацию «Советское противостояние Сталину во Второй мировой войне». Отойдя вскоре от эмигрантской проблематики, он увлекся русским либерализмом и идейными исканиями русской интеллигенции начала XX в. В начале 1960-х гг. Фишер часто бывал в Москве, встречался с довоенными московскими друзьями и молодыми социологами. Результатом этих поездок стала его книга «Наука и политика: новая социология в СССР», изданная Корнельским университетом в 1964 г. Его последняя книга о Советском Союзе («Советская система и современное общество») была напечатана в 1969 г. Умер Дж. Фишер в 2005 г. в Филадельфии (см.: Попов 2005).

ческого реализма. Один из сквозных тезисов Фишера — интенсивная кристаллизация науки, которую в 1961 г. не смогли в полной мере установить Мертон и Рикен. Он связал этот феномен с уточнением советского представления о социологии (в равной степени научного и официального); с заметным ростом числа ученых, активно участвующих в разработке проекта советской социологии; с интенсивным ростом публикаций на базе социологических исследований; с развитием всеобщей связи между государством и вновь возникающей отраслью научного знания, которая, по его представлениям, не имеет прецедентов в анналах современной науки, хотя зарубежным ученым приходится сомневаться в том, что эта «интимная связь» вообще сможет принести какие-либо научные плоды (Фишер 2008: 350).

Еще одно замечание касалось изменения отношения к работам американских социологов. Краткие резюме и комментарии к их трудам уступили место переводам книг. Издательство иностранной литературы выпустило книгу Ч.Р. Миллса «Властвующая элита» (1959) (Ch. Wright Mills. «Power Elite»). В 1961 году то же издательство опубликовало перевод хрестоматии, вышедшей в 1954 г. (ред. Г. Беккер и А. Боскофф) под названием «Современная социологическая теория в ее преемственности и изменении»<sup>8</sup> (Там же: 374).

В другом ключе изложил свои впечатления от визита в СССР Т. Парсонс (Parsons 1965). Мандата изучать состояние социологии у Парсонса не было, но все же он отметил существенный прогресс тех направлений, которые наблюдали Мертон и Рикен, и подчеркнул основательность планов создания новой науки (акцент на технике и методах исследований, нацеленность на достижение высоких стандартов научной деятельности). Парсонса более всего интересовали вопросы теории, и он сосредоточился на дискуссиях с различными группами советских социологов (Ibid.: 123–124). Первой темой для Парсонса стало возрождение интереса в США к проблемам социальных изменений. Парсонс защищал принцип непрерывности естественной и социокультурной эволюции как альтернативу детерминизму исторического процесса. Тема вторая — роль социальной психологии, субъективных факторов в отличие от акцента марксистов на объективные структуры социальных систем. Тема третья — обратная связь, которой дополняется социальный контроль, проистекающий из иерархического представления об устройстве общества.

Парсонс делает для себя важное открытие. Социологи, по своим воззрениям — антиподы родоначальнику функционализма, с готовно-

---

<sup>8</sup> Becker H., Boskoff A. (eds.). *Modern Sociological Theory in Continuity and Change*. New York, 1954.

стью обсуждают «горячие» темы, демонстрируют при этом эрудицию, знание английского языка, знакомство с канонами функционализма и намечают области для диалога и сближения картин мира в профессиональном сознании представителей каждой из сторон. Сходимость взглядов, которую он наблюдал, говорила не столько об идеологических уступках, сколько о проявлениях здравого смысла перед явью реальных фактов развития мира. Обе стороны соглашались с тем, что тотальный детерминизм противоречит аналитической (теоретической) концептуализации развития капиталистического и социалистического общества. Внимание к установкам является не только необходимым, но и неизбежным. Субъективные установки определяют социальное действие, которое для марксистов выступает в роли объективной реальности. Сквозь призму «кибернетического контроля» проступают черты самоорганизации, в которой нуждается любой тип современного общества.

Различия идеологий и ценностей очевидны, однако ничто не говорило о том, что их со временем нельзя уменьшить. Теоретический подход советских социологов (который неотличим от идеологии) и эмпирический подход американцев обозначают полюса в позициях сторон. Между ними находится много проблем, которые могли бы обсуждаться и успешно решаться путем развития профессиональных контактов, обмена публикациями, сотрудниками. Советская сторона заявила о желании перевести ряд американских работ на русский язык.

Марксистская теория всегда несла на себе следы политического активизма, писал Парсонс. Исторический путь, по мнению советских социологов, зависит от решений, принимаемых людьми, и потому, если эти решения не будут подтверждены эмпирически и осмыслены философски, процесс может пойти в неверном направлении. Проблемы перехода к коммунизму «нависают», требуя принятия мер, но наиболее сложная и неотложная состоит в минимизации принуждения, на которое привычно опиралась советская система при Сталине. Однако цель советской социологии состоит в том, чтобы содействовать социальной реконструкции общества, но обойтись без внушения населению мысли о том, что для этого оно должно было быть свободным (Parsons 1965: 123). Социологическое воображение и зоркая наблюдательность здесь Парсонсу не изменили.

Особенно важной для данного очерка мне показалась работа американского социолога А. Гоулднера<sup>9</sup> (Gouldner 1970; Гоулднер 2003).

---

<sup>9</sup> Алвин Гоулднер (1920–1980) – видный американский социолог, Макс Вебер-профессор социологии Вашингтонского университета (с 1967 г.), Амстердамского университета (1972–1976). Прожив сравнительно недолгую жизнь, он оставил работы, не теряющие своей актуальности и сегодня. Книга, на которую я подробно

В своей книге он сумел представить близкую к реальности картину развития социологии в восточноевропейских странах, используя факты и впечатления, полученные им во время двух ознакомительных поездок — в 1965 г. (Польша и Югославия) и в 1966 г. (Советский Союз). Предложу читателю выводы, подводящие итог становлению новой социальной науки за «железным занавесом», разделявшим тогдашний мир на две части.

*Вывод первый.* «Кажется бесспорным, — писал Гоулднер, — что в этих странах существует, развивается и делается все более автономным некое образование, состоящее из явно социологической по своему характеру теории и конкретных исследований. Это не возрождение марксизма и не новый всплеск в его развитии. По своему составу, организации и содержанию оно отличается, и отличается намеренно от традиционного марксизма. Оно и не “неомарксизм”. Ему предназначено стать чем-то новым, это — “академическая” социология. Кое-где ее и в самом деле определяют как результат ассимиляции “западной” социологии. В Советском Союзе самые глубокие ее корни уходят в Ленинград, Москву и Новосибирск и оценивают ее по критериям, которые весьма отличаются от критериев традиционного марксизма. Новые исследовательские институты создаются благодаря ей. Растет число издаваемых переводов американских теоретических трудов, включая чисто функционалистскую “Социологию сегодня” («Sociology Today», сборник статей)<sup>10</sup>, и хотя часто интерес проявляется к чисто техническим разработкам исследовательских методов, но он отнюдь этим не ограничивается...» (Гоулднер 2003: 517).

*Вывод второй* будет не менее интересным. «Развитие отдельных социологических специальностей в Восточной Европе не надо понимать как подтверждение “антисоциалистических” или “антипартийных” взглядов старой университетской интеллигенции старшего поколения. Во-первых, настоящая жизнестойкость восточноевропейской социологии часто проявляется среди молодых людей. Во-вторых, что

---

ссылаюсь (Gouldner 1970), была написана в 1970 г. и принесла автору всемирную известность. Ее значительная часть посвящена критике структурного функционализма Т. Парсонса, современной социологии и социологического знания, во многом зависящего от контекста эпохи и носящего субъективный характер. Критикуя все существующие социологические подходы, в том числе и марксистский, за идеологичность, Гоулднер попытался освободить от нее свою «критически-рефлексивную» (альтернативную) социологию. На формирование взглядов Гоулднера существенное влияние оказали идеи Маркса, неомарксизма, Франкфуртской школы и других левых идеологических течений того времени.

<sup>10</sup> Имеется в виду книга Р. Мертона «Sociology Today» (Merton 1960), позже переведенная на русский язык для самообразования социологического сообщества (см.: Мертон 1965).

еще более важно, новую социологию сегодня возглавляют люди, занимающие ответственные посты в коммунистических партиях своих стран и бесспорно им преданные. В самом деле, насколько я могу судить, лучшее в социологии — наиболее теоретически изощренная и эмпирически точная социология, даже по американским критериям, — создается членами коммунистической партии» (Гоулднер 2003: 520).

Новый интерес к социологии, возникший в послесталинских социалистических обществах и государствах Восточной Европы, отражал их потребность прежде всего в достоверной и реалистической картине окружающего мира. Корни этой потребности были связаны с кризисом доверия по отношению к средствам массовой коммунистической пропаганды, что в итоге стимулировало общественный запрос на «описания жизни, которые не были опорочены связью с официальными источниками сталинской эпохи» (Гоулднер 2003). Такого рода запрос был элементарным, не требовавшим от новой науки демонстрировать многообразие ролей, в которых в принципе она могла бы выступать.

С учетом последнего тезиса роль советской социологии на стадии ее становления Гоулднер определил как «академический журнализм», к сообщениям которого общество в лице различных субъектов (население в целом, отдельные социальные группы, представители власти) уже тогда начало испытывать определенное доверие. Момент установления такого доверия был подкреплён и тем, что первые поколения советских социологов никогда не рассматривали свою миссию как работу по реставрации сталинизма. Риторика интеграции советского общества и лучшей его организации, стремление к ликвидации диспропорций развития (цели, о которых говорили советские социологи в беседах с Гоулднером. — Б.Ф.) свидетельствовали об одном: новая наука воспринимала многие стороны социального мира как данность и видела свою задачу в том, чтобы сделать их взаимодействие более уравновешенным (Там же: 523–524).

При всей важности сделанных выводов их можно считать частными по отношению к общим задачам, которые поставил перед собой Гоулднер как исследователь развития социологической дисциплины, сознательно выведя ее за пределы национальных границ. В этом качестве он выступил в роли критика современной ему западной социологии и особенно структурного функционализма Парсонса, на который она опиралась. В сферу его критической рефлексии вошли марксистская парадигма и учение Маркса — фундамент повторно провозглашенной марксистско-ленинской социологии, которую Гоулднер признал «легитимной» и включил в контуры и поля мировой социологической науки. Для себя я назвал эту часть его теоретических построений первыми этюдами *социологии* советской социологии. Они существенно рас-

ширяют панораму нашей дисциплины, которая открывается с выбранных Гоулднером «точек наблюдения».

(1). Социология как дисциплина, рассуждал Гоулднер, не может быть монолитной ни в научном, ни в политическом отношении<sup>11</sup>. *Административная* ветвь ее рассматривает мир с точки зрения ценностей и потребностей управленческого сектора государства. Если она при этом поддерживает новую политику, то делает это только в тех пределах, которые соответствуют целям защиты и укрепления институтов власти. Изучение тех же институтов как источников порождения присущих обществу противоречий и конфликтов остается за пределами ее научных программ. Признавая наличие проблем, связанных с поддержанием статус-кво, она считает их преодолимыми в рамках деятельности основных институтов общества и тем избегает постановки вопроса о необходимости их существенных изменений. Отсюда решения, которые административная социология ищет, предлагает, делает предметом анализа и оценивает, сводятся к решениям, не противоречащим «положению вещей» на данный момент. Представители административной социологии мыслят скорее бюрократически, чем политически, ибо игнорируют возможность такого развития политических процессов, в ходе которого одна альтернатива должна была бы побеждать другую. В сущности, в своих объяснениях они не затрагивают, обходят власть, как бы «игнорируют» ее, не замечая и не чувствуя, что являются продолжением власти и, по сути дела, слиты с ней.

Антиподом административной социологии является *академическая* социология. В представлениях Гоулднера ее отличают «критический дух», сомнения в незыблемости статус-кво, меньшая связь с руководящим государственным аппаратом, сочувствие идеям либерализма. В отличие от административной социологии, не знающей сомнений в своей апологии власти, академическая социология принимает на себя груз противоречий между обществом и властью. Основной конфликт внутри нее происходит между теми, кто понимает и поддерживает ее прежде всего как инструментальное орудие (поскольку она может оказывать и оказывает технологическую поддержку институтам руководства и управления государством и обществом), и теми, кто видит в академической социологии идеологический источник собственных либеральных побуждений и кто хочет, чтобы она развивалась в направлении защиты прав и свобод человека.

---

<sup>11</sup> Работа Гоулднера несет на себе печать политической корректности. В ряде случаев он говорил не о том, что есть, сколько о том, что с большой вероятностью произойдет. В этом смысле его тезисы об особенностях академической и административной социологии носят характер предупреждения о возможности бифуркации того пути, который в реальности прошла советская социология.

Сценарии развития социологии, написанные Гоулднером в конце 1960-х гг., оказались весьма близкими к тому, что имело место в реальности и что ретроспективно отразило профессиональное сознание советских социологов в конце 1990-х. Сошлюсь в этой связи на воспоминания В.Н. Шубкина: «После XX съезда партии было трудно обрушиваться с репрессиями. Потому и началось, хотя и медленное, но неуклонное “восхождение на Голгофу” двумя отрядами — апологетическим и социально-критическим. Первый из них всегда будет игнорировать глубинные пласты реальных процессов и явлений, сохранит на себе власть догм и схем, освоенных в молодости. Второй сделает много для раскрытия картин общественной жизни...» (Фирсов 2001: 79).

(2). В своем постижении феномена советской социологии Гоулднер не прошел мимо марксистского учения, под знаменем которого она возродилась. Подобно многим университетским образованным профессиональным социологам на Западе<sup>12</sup>, он не отрицал его значения и роли как одной из научных доктрин XX в., повлиявших на формирование социальной мысли и на ход человеческой истории. Его задача состояла в том, чтобы привлечь внимание к кризису марксизма как объяснительной теории общественного развития и указать на возможность использования других теорий для сохранения и развития познавательного потенциала социологической науки.

Одновременно он признавал факт исторически сложившегося разделения мировой социологической науки на два лагеря, каждому из которых были присущи свои интеллектуальные традиции и познавательные парадигмы. Фактом следовало считать взаимную изоляцию лагерей и отношение друг к другу (мягко говоря) с взаимным пренебрежением. В недрах первого лагеря обозначилась и сложилась академическая социология — университетская социология капиталистического среднего класса с ее ядром — американской социологией; в недрах вто-

---

<sup>12</sup> «А сейчас дело доходит до анекдотов. Мне сдавал экзамен один аспирант, выпускник социологического факультета нашего университета. Я у него стал спрашивать о Марксе, а он заявил, что Маркса вообще не читал. Это выпускник университета! Он для себя этого классика вычеркнул. Я говорю: “Парень, если бы ты сдавал экзамен в западном университете, не зная Маркса, ты бы его не сдал”. Мы ему поставили “удовлетворительно”, якобы он нас “удовлетворил” познанием всяких там мелких букашек социологических. А Маркса не читал! И теперь образование такого сорта. Студенты очень избирательно читают. Я беседую со многими молодыми преподавателями социологии, каждый читает, исходя из своего багажа знаний, и багажи их скудны. Калечат молодежь! С другой стороны, с теорией непонятная ситуация. У нас есть и кондовые марксисты, и неомарксисты, функционалисты и неофункционалисты, сторонники феноменологии. Это хорошо, потому что диктат одной теории губит. Все методы идут навстречу друг другу, но надо обладать потрясающим умом, чтобы этой возможностью воспользоваться» (Голосенко 1997).

рого — партийная социология интеллигентов, ориентировавшихся на учение К. Маркса и пролетариат, которая достигла наибольшего успеха в Восточной Европе.

Как результат, в начале XX в. возникли два течения социологической мысли. Одно из них понимало общество как естественно движущееся к стабильности и порядку. Здесь социология и идеология узаконили быстрый прорыв к индустриализации относительно бескровным путем. Другое трактовало общество как все еще содержащее в себе «семена своего собственного уничтожения» и потому требующее принудительного изменения структур собственности и власти; его отличал разрыв со всеми предшествующими социальными теориями. Это была социология классов, стремившихся к благам, в которых историей им было отказано. В первом случае социология стала основным карьерным занятием пользующихся влиянием университетских профессоров; во втором случае социологическая деятельность связывалась не только с исследовательскими практиками, но и с социальным реформаторством в форме особого профессионального призвания — обязанности непосредственно участвовать в строительстве социалистического общества (Гоулднер 2003: 170).

Американская социология, составившая ядро первого течения, стала во второй половине XX в. синонимом социальной науки для большей части мира. Таков результат ее включенности в создание культуры своего общества, которое могло обеспечить исследование, регулирование и контроль за изменяющейся (обновляющейся) и широко понимаемой социальной средой. Не в пример этому, второе течение социологической мысли не смогло предложить миру образцов социологической деятельности, достойных для подражания. Более того, после упрочения сталинизма интеллектуальное развитие марксизма прекратилось (Там же: 47), а с ним было остановлено и развитие социологии.

Уже в середине XX в., писал А. Гоулднер, у марксизма возникли непреодолимые трудности с объяснениями «метаморфоз» обнищания пролетариата и с доказательствами тезиса об усиливающейся пропасти между трудом и капиталом. Если не окончательно, то вполне ощутимо марксизм «сломался» на конфликтах и проблемах социалистического общества, которые был не способен разрешить, и потому искал путь их принудительного и едва ли не вечного непризнания. К тому же доктринальный, советизированный марксизм не мог перенести диверсификацию способов строительства социализма в странах социалистического содружества (Венгрия, Польша, Китай, Куба, Югославия). Наблюдая за жизнью социалистических стран, Запад видел, как в их развитии наступает период «предупреждения революционных ударов по власти». Становилась все более понятной консервативная роль марксизма-ленинизма, узурпировавшего право выступать в качестве государствен-



ной теории строительства социалистического (коммунистического) общества<sup>13</sup>. Главный просчет этой теории состоял в том, что она предлагала единственный путь развития, в то время как на самом деле их будет множество.

Во времена, когда Гоулднер наблюдал и анализировал процесс возрождения советской социологии, сама мысль о кризисе учения Маркса в нашей стране считалась бы «святотатством», крамолой. Будем правдивы, советские обществоведы не имели полномочий обсуждать и подвергать сомнениям каноны «всепобеждающего учения»<sup>14</sup>. Идеологическая машина работала на полную мощность; в вузовских аудиториях читались лекции по основам марксизма–ленинизма, а рабочие и служащие, включая служивую интеллигенцию, сдавали «ленинский зачет», занимаясь во всеохватной системе партийного просвещения. Наиболее добросовестные из числа слушателей получали от парткомов премию — пятитомник Л. Брежнева «Ленинский курсом». Изданный громадным тиражом, этот «шедевр» партийно-политической мысли середины 1970-х гг. долгое время пылился на затоваренных книжных складах, пока не был изобретен освященный правилами «партийной религии» этот «гениальный способ» продвижения пятитомника в массы граждан, интересующихся «современными вопросами теории и практики строительства развитого социализма». Избавиться от подарка

---

<sup>13</sup> Гоулднер напомнил, что пионером ослабления «взрывной силы марксизма» выступил Сталин. Затянутую им лично в 1950-е гг. полемику с академиком Марром Сталин (который умел каждый свой шаг иезуитски просчитывать наперед, упреждая многие возможные последствия) использовал для того, чтобы отказать сначала языку, а следом и советскому обществу в возможности быстрых и внезапных изменений. Там, где нет враждебных классов, там не нужны «взрывы». Подлинный марксизм, провозглашавший революцию повивальной бабкой истории, стал политически опасным для руководителя страны.

<sup>14</sup> Здесь уместно напомнить дело Л.В. Карпинского (Пресса в обществе 2000: 558–562), исключенного из партии особым постановлением Комитета партийного контроля при ЦК КПСС (1975) «за взгляды, несовместимые со званием коммуниста, и попытку организации нелегальной деятельности». Непосредственным поводом для его исключения из партийных рядов послужила рукопись работы «Слово и дело», где, в частности, он предлагал провести «общую очистительную дискуссию» с целью проложить путь к радикальным переменам как в жизни страны, так и в политике партии. Дискуссию он понимал как прообраз того общественного состояния, которое впоследствии составило бы обстановку в партии и стране в виде демократической нормы. «Задачи в дискуссии состояли бы в непрерывном расширении и углублении в сторону все более последовательных социалистических выводов; в содействии *полному* разгрому и окончательному захоронению сталинских концепций в общественных науках и массовом сознании; в решительной борьбе с малейшими антисоциалистическими или просто антиобщественными отклонениями» (Там же: 572).

было нельзя. Хотя в стране полным ходом шел сбор бумажной макулатуры, в обмен на которую можно было «достать» дефицитную художественную и приключенческую литературу, принимать пятитомник как «вторичное сырье», по весу, было строжайше запрещено.

Прозорливость западных ученых в том, что касается констатации кризиса марксизма (и его советизированной версии), была не сразу замечена в Советском Союзе. Более того, опираясь на собственный опыт, скажу, что она была по разным субъективным и объективным причинам проигнорирована и отложена до поры всеобщей гласности.

Вера в неисчерпаемый познавательный потенциал марксизма (которая наблюдалась на первых порах создания социологии) — одна из причин того, что новая наука слишком поздно обратила внимание на альтернативы марксистскому (монистическому) пониманию мира. Монизм здесь выступал синонимом определенной теоретической узколобости (*narrow-minded scholars*). Именно он помешал увидеть кризис единственно правильного и непобедимого учения и сделать его предметом широкой научной дискуссии и постоянной темой обсуждения теоретических проблем и разделов социологической науки. Более того, дискурс современных социологических теорий был до минимума сведен в наших контактах с социологами зарубежных стран. Официальные источники, призванные поддерживать этот процесс, — книги, бюллетени Советской социологической Ассоциации, обзоры Института общественных наук АН СССР, теоретические разделы единственного в стране профессионального журнала «Социологические исследования», основанного лишь в 1974 г., — не могли восполнить дефицит общетеоретических представлений в сознании социологического сообщества. Отдам должное нашим западным коллегам. Они избегали открытой полемики по вопросам научного мировоззрения, зная к тому же, что официальными правилами для установления контактов с зарубежными учеными нам предписывалось «давать отпор представителям буржуазной науки».

В силу названных причин теория функционализма (многолетний оппонент марксизма) с большими задержками во времени «пришла» на Восток. Я далеко не парсонсианец, однако могу выразить сожаление, что слишком поздно понял ряд важных сторон теоретических построений Парсонса, которыми он подчеркивает такие свойства социальных систем, какими являются их самоуправляемость, саморегулируемость, самоконтролируемость и самосохраняемость. Вместо этого мы долгое время разглядывали Парсонса со всех сторон, желая убедиться в безопасности приложения теории функционализма к нашему обществу<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> А в это время, западная академическая социология находилась совсем в иной фазе, она проходила через *кризис* своего теоретического наследия. В среде многочисленной когорты молодых социологов США доминировало чувство отчуждения по

Идеи равновесия, баланса общественных сил формально работали на мельницу настроений «застойного периода». По этой причине «советских парсонянцев» не подвергали остракизму и преследованиям. Доходить до понимания того, что само зарождение функционализма является реакцией на неосуществимость тех способов развития, которые (с одержимостью, достойной лучшего применения) длительное время предлагали марксисты, у нас не захотели. Также не захотели понять, что теория социального порядка и ограничения может быть средством самозащиты от рецидивов brutального сталинизма. Здесь, однако, следует пояснить, что Парсонс на определенном этапе развития своих воззрений подчеркивал либеральную сторону теории социального порядка, утверждая, что спонтанные и самосохраняющиеся механизмы социального контроля обладают преимуществами перед государственным регулированием и контролем. Но это было время, когда «очарование» от всеобъемлющего централизованного планирования не прошло, и потому рыночные идеи были далеко не в цене. Их, попросту говоря, отвергали.

Я хочу подчеркнуть, что целостный подход к западной социологии у нас отсутствовал. При несомненном интересе к ее достижениям и результатам особое внимание обращалось на развитие связей и сотрудничества, а также освоение богатого арсенала методических средств, с помощью которых наши коллеги изучали разные сферы жизнедеятельности общества. Наверное, мешали не слишком хорошая теоретическая подготовка, отсутствие упоминания «социологических университетов» в наших *curriculum vitae*. Жизнь в социологической науке проходила по правилам «догоняющей модернизации».

## 7.8. Подводя итоги...

Старое общество, которое мы хотим изменить, писал Гоулднер, опирается еще и на такой источник, как теория и идеология: «...невозможно ни освободить людей от власти старого общества, ни построить новое гуманное общество, не приступая здесь и теперь к созданию контр-культуры, включающей новые социальные теории. Это невозможно сделать

---

отношению к функционализму, которое приняло коллективные и организованные формы. Методологическая критика функционализма стала повсеместной, затронув многие слои социологического сообщества. Самая главная подробность состоит в том, что от негативной критики сообщество приступило к разработке позитивных и альтернативных теорий, таких как теории Гофмана, Гарфинкеля, Хоманса и др. Их базовые предпосылки существенно отличались от тех, что составляли основу функционалистских моделей (Гоулднер 2003: 464–465).

без критики старых теорий» (Гоулднер 2003: 28). Не могу утверждать, что это аксиоматическое правило распространялось на отношение советских социологов к марксизму. Находясь в цепком плену партийной идеологии, мы обычно и привычно только «*применяли*», но практически никогда «*не углубляли*» марксистскую теорию.

Гоулднер в своих размышлениях шел гораздо дальше. Социология, утверждал он, имеет диалектический характер, и в этом качестве она обладает как репрессивными, так и освободительными тенденциями. Избавление освободительного потенциала современной академической социологии от тенет сдерживающей ее консервативной структуры является задачей современного культурного критицизма, пустившего весьма слабые корни в советской общественной системе. Недаром правящая партия и ее аппарат непрерывно подавляли любые попытки радикально мыслящих и диссидентски настроенных интеллектуалов освобождать советский марксизм от бюрократических и тоталитарных тенденций, которым он был в сильнейшей степени подвержен и излечивался от них весьма медленно (Там же: 37)<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Раскрепощающая советских людей сила социологии была невысокой, хотя следует помнить, что в этом случае дело не сводилось к исследованиям (познавательной деятельности). Не менее важные компоненты — действия, критическое отношение и сами усилия по изменению социального мира и социальной науки, которые следует считать глубоко связанными уже потому, что социальная наука является *частью* социального мира и *частью* концепции этого мира (Гоулднер 2003: 38).

# Очерк 8

## СОВЕТСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЕЧНЫХ ПЕРЕМЕН

### 8.1. Послесловие к брежневскому времени и предперестроечным годам

Во времена правления Брежнева из советской системы постепенно начала уходить жизнь, но властный партийно-государственный механизм продолжал функционировать. Политическое руководство страны становилось беспомощным, но по-прежнему продолжало «закручивать гайки». Служение целям и интересам партии деформировало социологию, уводило ее в сторону от деятельности, связанной с изучением реалий общественной жизни. Науку пытались превратить в средство удержания людей в канонах конформизма, всеобщего послушания, боязни, а зачастую и страха перед капитализмом. Подчеркну, что основное ядро профессиональных социологов не опускалось до уровня примитивного манипулирования массовым сознанием, но все же и представителей этого ядра партия принудительно тянула в сторону компромиссов с властью и примирительного отношения к установленному социальному порядку.

Большая часть социологической информации направлялась «наверх», ее адресатами были директивные органы, как тогда было принято называть симбиоз партийных и государственных структур. Известно, что иные медики в гуманных целях считают нужным скрывать серьезные диагнозы от своих пациентов. Следуя этому правилу, «врачи-социологи» ставили свои диагнозы социуму в узком кругу допущенных к «телу больного» экспертов. Тайные консилиумы имели специальные средства защиты от утечки диагностической информации. К тому же и сами диагнозы редко бывали исчерпывающими. Не вдаваясь в детали и признавая ошибочность такого поведения, сделаю вывод: врачую общество в недавнем, доперестроечном прошлом, социологи редко испытывали радость от его спасения. Исцеление «больного» началось в горбачёвскую пору.

Один из «исторических грехов» общественных наук брежневского периода, включая социологию, — ослепление образом государства (Фирсов 1997: 11–12). Его иллюзорные добродетели и фальшивое че-

ловеколюбие часто служили щитом для маскировки абсолютной и жестокой власти. Для того чтобы объяснить этот гипноз, стоит мысленно вернуться к гипертрофированной роли коммунистической идеологии в жизни общества. Именно с ее помощью был построен ирреальный мир, в который «погрузилось» общество, мысленно порвав свои связи с реальным историческим пространством и временем. В этом «зазеркалье» возникли иррациональная экономика, иррациональные общественные отношения и иррациональная власть партии, присвоившей себе право распоряжаться судьбой народа. Независимость научного мышления под воздействием идеологии была утрачена, а вместе с ней — и способность думать и жить, исходя из реалий бытия. Место истин заняли мифы. Как следствие — не только обыденное, но и научное сознание стало мифологизированным, поверившим в достижимость целей, провозглашаемых в партийных программах. Подчеркну, что советские ценности — такие как преимущества планового хозяйства и общественной собственности на средства производства, моральное и культурное превосходство СССР, интернационализм внешней политики страны — вполне сознательно поддерживало и разделяло большинство населения страны.

Беру собственную книгу, написанную в 1977 г. и посвященную проблемам развития средств массовой коммуникации в век прогресса науки и техники (Фирсов 1977). Однако и там нахожу следы «вечных истин»: «Социализм приближает время, когда общество обретет способность реализовать потребности людей, по верному замечанию К. Маркса, во всей полноте человеческих проявлений жизни». И далее через несколько строк: «Подтверждением сказанного являются социальные задачи советского общества. Резко ускорить темпы роста производительности труда; увеличить масштабы и сократить время внедрения научных достижений во все сферы общественного производства; обеспечить расширенные и одинаковые возможности для получения образования и для доступа к достижениям культуры всем слоям населения; выровнять стандарты городского и сельского быта; ускорить процесс преодоления различий между физическим и умственным трудом; устранить противоположность между рабочим и свободным временем, между трудом и потреблением, объединив их как различные сферы жизнедеятельности человека и развития его способностей, воплощение которых стало возможным лишь на определенной, достаточно высокой ступени прогресса» (Там же: 34).

Пристальный взгляд в недавнее прошлое и мой собственный опыт свидетельствуют о том, что любые, пусть даже самые благие намерения увести общественные дисциплины от их канонов оборачивались трудно восполнимыми потерями. Только что процитированная книга дает представление об усилиях, которые были направлены на своеобразную трансформацию социологии из науки познавательной в учение о соци-

альных надеждах. Однако едва социология входила в эту не свойственную ей роль и начинала изъясняться в категориях долженствования, как она попадала в цепкий плен социально-нормативных требований, а затем оказывалась в ловушке порожденных ею же самой умозрительных соблазнов. Полученное, казалось бы, строгими научными методами социальное знание достаточно быстро разрушалось и превращалось в очередную иллюзию всякий раз, когда социологи пытались делать благонамеренные выводы, полные мечтаний о близком и счастливом будущем. С большими или меньшими стараниями этим мечтаниям предавались едва ли не все обществоведы, составлявшие корпус социальных наук.

Брежневский период впоследствии назовут периодом стагнации. Здесь важно сказать (не столько с целью критики прошлого опыта, сколько в назидание грядущим поколениям российских социологов) о последствиях влияния социального затишья, не говоря уже о стагнации, на научные дисциплины, которые исследуют разные стороны жизни социума. А. Алексеев справедливо пишет о том, что во времена такого затишья возрастает общественное самодовольство, конъюнктурность, возникает склонность к «псевдопреобразованиям» и опасность «псевдоотражения» (Алексеев 1997: 195).

Я хорошо помню то время, когда социологи были вынуждены имитировать научную деятельность, что было обусловлено насильственным внедрением планов социального развития (ПСР) трудовых коллективов (конец 1970–начало 1980-х гг.). Суть социологической деятельности в тот период состояла не в анализе социальной ситуации, а в разработке бесконечных текстов (социальные паспорта, карты социального фона), призванных доказать осуществимость невозможного — гармонии в отношениях человека и агонизирующего общества. ПСР считались важнейшим инструментом социальной политики — они составлялись в директивном порядке; их идеология базировалась на сочетании положений научного коммунизма и западной школы «человеческих отношений» (Социология в России 1998: 228). Собственно научное познание уходило на второй и третий планы<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Подчеркну, что первоначально социальное планирование сыграло важную роль в развитии самостоятельности производственной жизни первичных трудовых коллективов. Это движение работников науки и производства было настолько мощным, действенным и необходимым, что получило закрепление в тексте «брежневской» Конституции (1978). Тем самым обязанность составлять планы экономического и социального развития на всех уровнях социально-экономической организации общества была возведена в ранг требования Основного Закона. «К сожалению, такая директивность сыграла плохую шутку — планы стали составлять для отчета, для проверяющих комиссий, а не как инструмент для реальных дел. Инициатива, которая шла снизу, была во многом задавлена бюрократическим рвением» (Тощенко 2008: 62).

Основа этих и других ударных проектов состояла в том, что они в полной мере опирались на социальную философию государства. Вместо того чтобы помогать людям (конкретному человеку) понять собственное своеобразие и неповторимость в толпе предшественников и современников, социология делала все от нее зависящее, чтобы затушевать смысл индивидуального существования. Наперекор всему она пыталась погрузить человека в поля коллективных переживаний, в глубины общего и недифференцированного опыта, «вталкивала» людей в потоки общего согласия, единодушия, внушала необходимость стремления к однородности, униформизму, пыталась приучить к стабильности как норме повседневного существования.

Здесь лежат корни принципиальных, можно сказать генетических, несовершенств методов и техники многих, в первую очередь «заказных», социологических исследований 70–80-х гг. — отрыв методик от реальных жизненных проблем и представлений людей, утрата целостного человека в качестве объекта исследования, математический фетишизм как демонстрация псевдоточности на недостаточной фактической и содержательной основе, своеобразный культ формальных методов в ущерб содержательному анализу, «приправленный» прагматическими обещаниями (как форма сопротивления идеологизации «сверху») (Алексеев 1997: 195, 197).

Поставленная Алексеевым проблема волновала многих членов социологического сообщества.

*Из воспоминаний О. Яницкого (Пресса в обществе 2000: 243–244).* При оценке прессы и социологии 1972–1985 гг. у него возникало ощущение, что социологи в значительной своей части не любят людей. Если говорить в более мягкой форме — индивиды их не очень интересуют. Их интересуют типология, идеальные типы, таксономии, репрезентативные выборки, кластеры и другие ментальные конструкции. Есть множество высококлассных специалистов, но большинство из них занимается социальными фактами, будь то структура общественного мнения или социальная структура. Им были выписаны имена журналистов тех лет. Лучшие из них — А. Плутник, В. Выжutowич, Э. Максимова, Ю. Рост, А. Рубинов и другие; все они интересовались судьбами людей. В то время как социолог «изучал», журналист «вел расследование». И это всегда было и для самого человека, и для читателя гораздо важнее. Социолог очинял предмет своего анализа от неточностей, а журналист, подобно детективу, копался в деталях, подробностях, «в грязи». Социолог всегда выбирал для своего исследования сначала проблему и только затем смотрел, какие индивиды попадут в поле его зрения. А журналисты того времени, которых он вовсе не идеализировал, изучали конкретный случай, критическую ситуацию, но всегда — через призму человеческих судеб и характеров.



Антитезой этой позиции являются действия журналистов. По словам А. Борина, в период застоя отдел «Литературной газеты», где он работал, яростно защищал невинных: «Главная заслуга этого отдела коммунистического воспитания была в том, что за несколько лет мы вытащили из тюрьмы 37 человек. В основном хозяйственников» (Пресса в обществе 2000: 192).

Наблюдения О. Яницкого полезны еще по одной причине (Там же: 242–243). Общество, по его справедливому замечанию, даже тогда продолжало аккумулировать огромный человеческий потенциал. Ведь мы действительно были «самой читающей нацией» и смогли накопить немалый профессиональный опыт, который постепенно «конвертировался» в жизненный опыт, в энергию, искавшую и находившую выход в самовыражении, в возможности заниматься тем, что «душа просит». Пресса угадала это умонастроение, поддержала многие «чисто советские» начинания (например, создание местных клубов или музеев). Власть умильно приветствовала творчество народа в конкретных сферах повседневной деятельности, запрещая простому человеку, как и «встарь», публично обсуждать кардинальные проблемы общественного устройства.

Но процесс уже нельзя было остановить. Избитые, казалось бы, сюжеты о самодеятельности «в низах» приобретали социальное звучание, вызывали публичный резонанс, пробуждали сограждан. Проект защиты малых рек позволил поднять вопрос о реках больших и заговорить совсем о других проблемах — о том, что в результате строительства на Волге каскада гидротехнических сооружений ушла под воду часть российской истории; о том, что тысячи семей были согнаны с насиженных мест. В итоге, пишет О. Яницкий, была подвергнута гласной критике едва ли не вся послевоенная политика социалистической индустриализации. «Журналистика, печать сделали то, чего не могла сделать социология. Они сделали гражданские инициативы публичными и тем самым их легитимизировали» (Там же: 243).

Опыт коллективного защитника этих инициатив в период безвременья только бы укрепил общественную репутацию, авторитет социологии. Однако эта наука поддерживала идеи самоорганизации «снизу» лишь с помощью героических усилий отдельных ученых. Значительная часть профессиональных исследователей, по верному наблюдению Г. Батыгина, сознательно отстранялись от возможности занять политически активную позицию, отдавая предпочтение самодостаточным научным ценностям (Социология в России 1998: 36). Сравнение уровней активизма социологии и прессы тех лет позволяет нам сделать вывод об определенном общественном «одиночестве» социологии в последние годы «эпохи безвременья».

К концу брежневского правления масштабы мифотворчества (пик которых пришелся на середину 70-х гг.) начали заметно снижаться.

Преодоление власти мифов наблюдалось прежде всего в образованных слоях, в сознании интеллигенции. Показательны ситуация и отношение к государственной лжи внутри самой партии. По мере ослабления власти официальные идеологические структуры уже не могли так жестко контролировать опровержения мифов со стороны ученых. «К тому же партийные руководители, будучи такими же людьми, как все, тоже уставали жить в виртуальном мире и лгать себе и другим. Хотя их систематически накачивали сверху, требуя показательных расправ с ревизионистами, выполнялись эти указания, как правило, формально и неохотно» (Социальная траектория 1999: 73).

Еще один пример на ту же тему привел В. Шляпентох, возвращая нас к особому советскому феномену — передовым статьям газеты «Правда». Они выполняли роль инструкций едва ли не для всей страны, были мощным цементирующим фактором системы. Однако, как свидетельствуют результаты обследования этой газеты, проведенного в конце 60-х гг., ситуация уже тогда была амбивалентной. «Сами журналисты “Правды” презирали эти передовые. Во всех газетах презирали партийный идеологический материал и считали, что так же к нему относятся и читатели... Ну, сколько процентов читает передовую: пять, десять — больше никто в нашем экспертном журналистском опросе не называл» (Пресса в обществе 2000: 113). В реальности же полностью или частично передовицы читали около 80 % читателей «Правды», думая, что она передает «дух» руководства страны на текущий момент.

Альтернативой мифотворчеству стал скрытый и «дремавший» до поры до времени процесс разномыслия, начавшегося еще в добрежневские времена, который вышел на поверхность общественной жизни не сразу. Причиной тому, с одной стороны, была инерция отчуждения, которое сталинский террор внес в слои духовной элиты, в культуру вообще, в среду людей, способных не только иметь, но выражать собственные суждения (Ахиезер 1997: 605). С другой стороны, потребовалось время, чтобы существовавший при Брежневе миропорядок начал ощутимо расходиться со здравым смыслом и утрачивать нравственные основания. В итоге разномыслие общества стало заметным и приобрело самые различные формы — от диссидентства до массового дискомфорта, интуитивного, но крепнущего внутреннего несогласия с положением дел в стране.

Как известно, диссидентов было немного. К тому же они вызывали раздражение (и не только среди власть имущих), а иногда и вспышки ненависти, поскольку становились источником нравственного беспокойства. «Когда диссиденты стали собирать деньги для поддержки семей политзаключенных, — свидетельствовал А. Ахиезер, — я обнаружил, что среди моего окружения оказалось крайне мало людей, к которым можно было обратиться с подобной просьбой. Некоторые выражали

беспокойство по поводу бесконтрольности движения этих денег — не скрывается ли под благородным предлогом чистое мошенничество... Мы постоянно жили не в себе, в страхе, что мы окажемся жертвами собственного простодушия и чьих-то козней» (Ахиезер 1997: 606).

Диссиденты были лишены этого страха. Само их появление в обществе можно сопоставить с набатом. Во-первых, они восставали против преследования других, конкретных людей, выразивших не общепринятые взгляды и нравственные позиции. Во-вторых, они в открытой форме отстаивали само право на свободную мысль. Наконец, они говорили о том, что в советском обществе человек уничтожается во имя все менее понятных, абстрактных, сменяющих друг друга идей (Социальная траектория 1999: 607). В своей основе диссидентское движение опиралось на неодолимую силу нравственных законов.

Социологический дискурс как отражение разномыслия, свойственного обществоведам в конце 1970-х гг., был не столь радикальным, носил умеренный характер. Доминантой настроений здесь было крепнущее убеждение, что «так жить нельзя». Однако представление о том, как следует жить, оставалось весьма расплывчатым, «расфокусированным». Не берусь, да и не хочу осуждать эту умеренность порывов моих коллег, как, впрочем, и собственных побуждений. Гораздо важнее сказать о том, что разномыслие усиливалось, оно получало подкрепление внутри социологического сообщества и находило отклик за его пределами в тех случаях, когда отдельные исследователи пытались искать пути решения серьезных социальных проблем, возникших перед страной. Читателей, желающих убедиться в справедливости сказанного, я с чистой совестью адресую к работе ленинградского социолога А. Алексеева «Ожидали ли перемен?», о которой речь уже шла (Ожидали ли перемен? 1991).

Для тогдашнего состояния социологии были характерны известная разобщенность действий и, как следствие, падение профессионального единства и сплоченности, «работа в меру своих сил и возможностей» (Социология в России 1998: 38). Иначе нельзя объяснить свертывание социологических программ в центре и на местах — двукратное снижение общего количества эмпирических исследований к началу 1980-х гг., а также падение в 1983 г. числа завершенных исследований по всей стране до 99 (Там же).

В постбрежневский период (1982–1985) также можно обнаружить серьезное влияние политического фактора на содержание и качество социологических исследований, стремление удержать «неуправляемых интеллигентов» в границах послушания (Shlapentokh 1987: 251–253; Социология в России 1998: 11–12). Начало периода ознаменовалось попытками Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. Андропова стимулировать радикальные изменения. Хотя, как отмечает Л. Степанов, в ту

пору консультант ЦК КПСС, никакой продуманной программы переустройства общества у Андропова не было, «но некая воля к действию от него исходила» (Пресса в обществе 2000: 223). «Мы не знаем, где очутились. Мы не знаем общества, в котором мы живем», — писал новый Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1983 г. на страницах журнала «Коммунист» в своей статье «Карл Маркс и некоторые вопросы коммунистического строительства в СССР». Именно там он отметил разрыв слова и дела, замену реальных дел лозунгами и в качестве главного порока предыдущего режима назвал его деятельное участие в создании мифологической реальности.

Но и тогда, в период короткого андроповского правления (1982–1984), дело ограничилось лишь словесными заявлениями нового лидера о необходимости видеть общество в реальной динамике, со всеми его возможностями и нуждами.

В этот период даже решения партийных форумов принародно утрачивали свою силу. Доклад К. Черненко на июньском пленуме ЦК КПСС (1983), посвященный вопросам идеологической работы партии, включил в себя долгожданное признание в том, что «в современных условиях назрела необходимость создания специализированной системы изучения потребностей, мнений и настроений трудящихся масс, опирающейся на специфические методы выявления и анализа общественного мнения и позволяющей получать по любому вопросу, в любой момент представительную и в масштабах всей страны информацию». Более того, Пленум признал необходимым создать Всесоюзный центр изучения общественного мнения и поручил Академии наук СССР и Академии общественных наук при ЦК КПСС внести предложения по организации этого центра (Материалы Пленума ЦК КПСС 1983: 79). В реальности политической воли и желания создавать новую демократическую институцию у лидеров партии не было<sup>2</sup>. 8 сентября в ЦК КПСС были приглашены шесть ведущих социологов страны: Б. Грушин, Ю. Замошкин, Э. Клопов, Н. Лапин, В. Шубкин, В. Ядов. Перед ними была поставлена задача: подготовить до конца месяца проект постановления Секретариата ЦК КПСС о создании ВЦИОМа. Работали как каторжные в стенах Отдела науки ЦК и под «присмотром»

---

<sup>2</sup> «Сегодня прочел 45 страниц доклада Черненко для пленума. Полное разочарование. Все там есть помаленьку. Всех похвалил, пожурил. И оказывается, что речь уже идет не о перестройке идеологической работы, как было записано в специальном постановлении ЦК 1979 г., а всего лишь об «улучшении». Словом, эра еще не началась как следует, еще серьезного шага вперед не сделано, а уже готовимся к двум шагам назад. Из доклада совсем не видно, что идеологическая ситуация (если брать ее всерьез, по-ленински) в обществе аховая. Доклад охранительный, а не новаторский» (Черняев 2008: 535–536). Так что «холостой выстрел» был запрограммирован.

работников Отдела. 27 сентября группа завершила свой труд. Авторов вежливо поблагодарили за работу, отметили ее высокое качество и выразили ритуальное пожелание, чтобы социологи завершили свой труд на заключительном этапе подготовки партийного документа (Открытая Грушина 2010: 477–479, 482).

Открытие ВЦИОМа от «холостого выстрела» 1983 г. отделяли целых 4 года.

В действительности же даже сложившийся к тому времени законопослушный социологический истеблишмент не получил никаких намеков о начале действий в направлении демифологизации, не говоря уже о прямых указаниях. По этой причине многие публикации продолжали «обслуживать» миф, сохраняя апологетический стиль брежневской эпохи. (Весьма показательна в этом смысле книга «Советский рабочий: социальный и духовный облик», вышедшая в Минске в 1983 г. под редакцией одного из тогдашних белорусских лидеров-обществоведов Е. Бабосова.) Что касается самих исследователей, то они в своей массе оставались поделенными на тех, кто был готов взять на себя риск и сделать шаг в сторону более честного, непредвзятого анализа жизни страны, и тех, кого брежневские порядки устраивали.

Первыми ласточками начала освобождения от мифа были книги Н. Аитова «Работники хорошие и плохие» (1983) и С. Голода «Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты» (1984). Затем появилось несколько статей в журнале «Социологические исследования», содержание которых свидетельствовало о решении журнала ослабить внутреннюю цензуру социологической мысли. Критические материалы об отношении рабочих к труду, которые ранее не могли появиться в открытой печати, опубликовал В. Ядов (Ядов 1983). Примером новой объективности может служить статья И. Левыкина об индикаторах качества жизни (Левыкин 1984).

Принято считать, что «воцарившийся на власть» К. Черненко серьезно усомнился в истинности слов, произнесенных его предшественником, вследствие чего оказались отложенными на неопределенный срок церемония подъема «вымпелов обновления жизни» или хотя бы приспускание «старых знамен», призывавших к восхвалению социалистической действительности. Уже упомянутый нами Л. Степанов по долгу службы привлекался к работе по насыщению «ценными мыслями» выступлений Черненко с трибуны и на страницах печати. Лишь теперь стало известно, что Черненко пошел дальше Андропова в стремлении словесно пробудить жизненные силы советского общества. Он делал установку на преобразования, которые могли быть успешными только при условии «перестройки экономического мышления»: «Горбачёву понадобится потом полгода, чтобы добраться от “ускорения” до “перестройки”, хотя уже в текстах за подписью Черненко именно это

словечко использовалось при описании того, что надо делать, двигаясь «по пути совершенствования развитого социализма» (Пресса в обществе 2000: 223–224).

К этому времени уже и слова лидера партии утрачивали былую власть над людьми. Но воспользоваться безволием и бездействием власти социология тогда не смогла, будучи прочно удерживаемой от своевольных поступков тремя «якорями» — верой в «социализм с человеческим лицом», отсутствием свободы научного творчества и поиска, контролем со стороны партии и государства. «Выбирать» эти «якоря» оказалось делом не простым, требующим времени, особых усилий и, конечно же, благоприятных социальных условий. Однако их наступление откладывалось, ибо сущность власти оставалась неизменной. «Относительно спокойный период застойного времени в 70-е годы сменился фазой явного кризиса после начала афганской войны. На данной стадии выявилась едва ли не самая главная слабость социально-политической системы, достигшей апогея своего развития, — ее невоспроизводимость. Неспособный к обновлению режим дряхлел вместе со своими лидерами» (Левада и др. 1991: 30). Но все же времена и нравы менялись.

## 8.2. Новосибирский манифест

В начале апреля 1983 г. авторский коллектив проекта ИЭиОПП «Социальный механизм развития социалистической экономики на примере аграрного сектора» — работы принципиальной, направленной на системный анализ социальной динамики, — обратился с просьбой к большому числу ученых принять участие в обсуждении идей проекта на междисциплинарном семинаре в новосибирском Академгородке (Социальная траектория 1999: 85–89). С этой целью был подготовлен доклад «О совершенствовании социалистических производственных отношений и задачах экономической социологии», который стал без преувеличения наиболее отважной и радикальной научной работой, написанной социологами СССР когда-либо ранее. Кратко изложу содержание доклада (см.: Заславская 1997: 12–33).

Наблюдаемый спад производства, говорилось в докладе, указывает на неспособность системы обеспечить полное и достаточно эффективное использование трудового и интеллектуального потенциала общества. Административные методы управления хозяйством преобладают над экономическими. Итог печален — производственные отношения отстают от развития производительных сил, в частности они не могут обеспечить нужные способы поведения трудящихся в социально-экономической сфере. Регламентируя ключевые аспекты со-

циально-экономической деятельности трудящихся, система ограничивает также возможности проявления их личного поведения. Идеология утверждает простоту развития производственных отношений и априорную возможность согласования интересов (поскольку они не являются антагонистическими).

Все реформы управления порождают конфликты, рассогласование прав и обязанностей разных звеньев управления. Отстает наука, не имеющая разрешения предложить сколько-нибудь законченную модель управления экономикой. Для этой модели нет полноценной базы информации. Диалог между государством и производителями отсутствует. Организация производства не учитывает исторически сложившиеся социальные типы работников. Социальный механизм развития экономики направлен на «зажим» полезной экономической деятельности, а вовсе не на ее активизацию. Пользуются поддержкой «послупные» и исполнительные руководители, а не смелые и талантливые. Расцветает «теневая» экономика. Науке следовало бы изучить экономическую структуру общества, сознание и поведение экономических групп, формы взаимодействия руководящих звеньев с этими группами, предложить способы интеграции интересов экономических групп, а также модель целостного социального механизма развития экономики. Основной удар доклада пришелся по бюрократии — главному противнику и препятствию на пути изменений советского общества. Этот тезис стал вскоре центральным моментом в идеологии Горбачёва.

Доклад предполагалось размножить и раздать участникам, но вмешалась цензура, испугавшаяся слишком радикального характера документа. Было предложено (и с этим согласился Президиум Сибирского отделения АН СССР) исключить из доклада спорные места, однако, по мнению авторов, именно они были самыми главными положениями. (Напомню, что дело происходило в 1983 г., и, видимо, по этой причине авторы уже могли сопротивляться.) Доклад был опубликован с грифом «Для служебного пользования» и под личную ответственность академика А. Аганбегяна. В Новосибирск приехало свыше 100 обществоведов. Стало ясно, что идеи доклада близки реформаторски настроенному сообществу ученых, что само сообщество достаточно велико и представляет значительную интеллектуальную силу.

Но конец этой истории был типично советским. Куда-то пропали два экземпляра текста доклада, что поставило на ноги бдительный КГБ. Подчеркну: обыск имел место во всех отделах института, перетряхивали содержимое столов и стеллажей. Этого показалось мало — и сыск перекинулся на места работы иногородних участников семинара. Изымали не только все экземпляры доклада, но и подготовительные материалы к нему. Раздражение властей и сыщиков, действовавших по наущению властей, было подогрето тем, что доклад под

названием «Новосибирский манифест» попал на Запад. Его напечатала газета «Washington Post», а следом — многие европейские газеты. Доклад неоднократно передавали западноевропейские радиостанции, вещавшие на Советский Союз. (Т. Заславская увидела текст через семь лет(!) в Лондоне, на Би-би-си.)

Существенно, что власть опасалась не столько критических настроений, сколько того, что сведения об этих настроениях и их причинах «просочатся» в каналы зарубежных средств массовой информации. Когда такое случалось — следовали партийные «окрики» и преследования виновных. Скандал, вызванный пропажей нескольких экземпляров текста доклада, не мог остаться без последствий. Т. Заславская и А. Аганбегян получили по административному и партийному выговору (на этот раз за безответственное хранение документов). Но манифест сделал свое дело. Он свидетельствовал о наличии идейных и социальных сдвигов в СССР и стал провозвестником еще одной «весны», на сей раз перестроечной.

История Новосибирского манифеста заслуживает особого комментария, который я предлагаю вниманию читателя, ссылаясь на слова героини моего дальнейшего повествования, Т.И. Заславской. В своих воспоминаниях, относящихся к хрущёвской «оттепели», она написала, что еще со времени XX съезда КПСС у нее появилась глубочайшая внутренняя потребность разобраться в социальной природе советского общества. Заславская отчетливо осознавала, что для этого, прежде всего, следовало преодолеть цепкую власть ложных представлений, внушаемых мыслящей молодежи на всех ступенях советского образования. Ей самой, как и ее ровесникам, предстояло пройти долгий путь интеллектуальных исканий. Без колебаний, движимая стремлением найти ответ на мучившие ее вопросы, Заславская приняла единственно возможное, самое «безопасное» в тех условиях решение — безгранично доверилась личному дневнику, тщательно сохраняемому в тайнике. «Катакомбное» разномыслие было в 1960 г. опасным занятием — заниматься им можно было только дома. В итоге появился личный документ, который увидел свет спустя 40 с лишним лет (Заславская 2007а: 443–444).

*Причины кризисного развития советского общества*  
(план трактата Т. Заславской, адресованного самой себе)

1. Признаки общественного надлома советской системы на переломе 1950–1960-х годов: замедляющийся рост производства, падение благосостояния населения, инфляция, безработица, отсутствие материальных стимулов к труду, растущая преступность, особенно молодежи.

2. Равнодушие к человеку, низкая цена его жизни, отсутствие реального технического прогресса — как свидетельство неэффективности социального строя.



3. Недостатки общественных отношений: некомпетентное и чрезмерно детальное планирование производства, скованность местной инициативы, погоня за количеством продукции в ущерб ее качеству, коррупция аппарата управления.

4. Противоречие между мощными производительными силами, созданными на местах, и реакционно-бюрократической системой управления производством в центре, подавляющей инициативу мест.

5. Эксплуатация одних общественных классов другими. Крестьянство как самый эксплуатируемый класс общества. Современное «крепостное право» — лишение сельских жителей паспортов. Деградация и вымирание колхозного села.

6. Тяжелое жилищное и материальное положение рабочих и служащих. «Закрепощение» работников государственного сектора в 1940–1950 гг. Резкое снижение уровня жизни населения. Рабочие демонстрации протеста.

7. Корни политической и экономической «глухоты» партийного руководства к проблемам общества. Политический переворот 30-х годов и формирование нового правящего класса. Его отношение к средствам производства, способы присвоения общественного прибавочного продукта, примерный профессиональный состав.

8. Отсутствие реального морально-политического единства советского народа, противоположность интересов социальных классов и групп. Лживость и апологетический характер обещаний власти, пропаганды и общественной науки.

9. Подлинный социальный строй СССР. Строим ли мы социализм или живем при государственном капитализме, о необходимости и неизбежности которого как этапа на пути к социализму предупреждал Ленин?

10. Можно ли планомерно переориентировать многомиллионное общество с неэффективного пути на более эффективный? Какие политические силы существуют в СССР? Насколько реальны перспективы революции «сверху» или «снизу»?

По справедливому замечанию Т. Заславской, политическое прозрение ее поколения не могло быть одноментным. То же самое можно сказать и о ней самой: без набросков трактата оттепельной поры (1960-е гг.) не было бы Новосибирского манифеста (1986).

### **8.3. Одиссея помощников партии<sup>3</sup>**

С начала 1970-х гг. вплоть до 1984 г. вместе с Б. Докторовым и другими сотрудниками сектора (входившего в состав ИКСИ АН СССР, а затем в ИСЭП АН СССР) я занимался изучением общественного мнения

---

<sup>3</sup> Раздел написан с использованием публикации «Почти сорок лет спустя» (2009).

рабочих и служащих Ленинграда под эгидой местного обкома КПСС и при его немалой поддержке (Записка заведующего сектором 2008). Тогда этот факт был известен относительно небольшому числу социологов в стране, и самые общие сведения о том, как все делалось, были скупо изложены в журнале «Социологические исследования» (Алексеев и др. 1979; 1981)<sup>4</sup>. История нашего пребывания в роли «помощников партии» заслуживает того, чтобы о ней рассказать и тем подвести итог содержанию первой половины очерка.

В начале 1970-х гг. областные партийные организации стали обрести автономным информационным хозяйством. Создать свою информационную систему в числе первых в стране решил и Ленинградский обком. Идея красивая, у других таких систем нет. Обком заметно выделялся на фоне родственных структур своими починами. Вот и записали пункт об информационной системе в решение очередного пленума в 1969 г., но записали с оговорками, что на воплощение идеи потребуется время. Что это такое, тогда мало кто знал. С этим решением оказался связанным еще один важный фактор, развитие так называемой партийной социологии. Нашей дисциплине тоже искали место в широко понимаемой партийной работе, учили социологическим методам слушателей высших партийных школ, пытались собирать нужные сведения на основе социологических исследований.

Заместителем заведующего организационно-партийным отделом обкома КПСС в ту пору был Борис Алексеев, которому поручили воплотить в жизнь идею информационной системы. В недавнем прошлом секретарь Ждановского райкома комсомола, а затем один из секретарей Ждановского РК КПСС гор. Ленинграда, он был инициативным

---

<sup>4</sup> Описанный в этих документах опыт получил развитие в ряде городов и республик страны в начале 1980-х гг. Первоочередного упоминания заслуживают Центр изучения общественного мнения в Тбилиси, действовавший на правах отдела ЦК Компартии Грузии (руководитель центра Т. Джафарли), социологическая лаборатория Уральского университета в Свердловске (во главе с Л. Коганом), социологическая структура при Высшей комсомольской школе ЦК ВЛКСМ (во главе с Ф. Шереги, одним из первых отечественных полстеров). Б. Грушин был прав, считая, что большие и малые *региональные* службы опросов населения подготовили создание ВЦИОМа. «Наиболее квалифицированные из них, — писал он, — весьма убедительно демонстрировали многие плюсы подобного рода информационного обеспечения управленческой деятельности органов власти, и, естественно, можно было ожидать, что рано или поздно к осознанию необходимости такой службы, действующей в масштабах всей страны, придут и высшего уровня руководители партии и государства» (Открывая Грушина 2010: 477). Предлагаемая далее история делает далеко не однозначными эти ожидания. Ибо произвол высших эшелонов партийной власти в СССР не подлежал регламентации. Вседозволенность была ее высшим проявлением.

и думающим человеком, любил все делать не только четко, но и хорошо. Размахнуться ему давали. Он начал приглашать к себе разных людей, кому мог доверять, и спрашивал, как им видится такая система, как ее лучше сделать. Одним из таких собеседников оказался я. Помню, как я сказал ему, что система должна ориентироваться на использование современной вычислительной и множительной техники, символами которой тогда были ЭВМ и ксероксы. Анализ всех массивов информации должен опираться на современные методы ее сбора, хранения и обработки. Иначе, зачем «попу гармонь»? На вопрос Алексева, какая из наук ближе всего стоит к целям и задачам системы, я безапелляционно ответил: «Социология!».

Алексеев попросил подготовить записку на его имя как заместителя заведующего отделом обкома. Я написал, развив несколько положений: разработка и эксплуатация системы должна опираться на потенциал академических и проектных институтов; изучение общественного мнения населения Ленинграда может быть одной из внешних задач системы, и ряд других. Записку мы с ним обсуждали несколько раз, внося в нее коррективы. Вопросов о ее судьбе я никогда не задавал до поры, когда мне стало известно, что проект всей системы будет разрабатываться специальной организацией, а я стану одним из его исполнителей, представляя академическую науку.

Уже в апреле 1970 г. было проведено исследование по участию рабочих в управлении делами коллективов (я пользуюсь терминологией того времени), которое разрабатывалось Леонидом Бляхманом, Андреем Здравомысловым, Всеим Шкаратаном, Владимиром Ядовым и мной. Борис Докторов отвечал за математическую обработку этого массива. Это было «обкаткой» идеи системы и ее социологической части. Чтобы включить социологию в свою орбиту, «заказчику» были нужны социологические аргументы и факты. Потому и позвали моих коллег что-то сказать. Все они тогда имели отношение к труду, к изучению рабочих. Алексеев спросил меня, можно ли что-то сделать «в стиле изучения общественного мнения», он хотел убедиться в том, что я что-то умею делать.

Осенью того же года у меня состоялась беседа в обкоме о создании специализированной системы (СС) по изучению общественного мнения. Там обсуждались в общих чертах вопросы разработки документа — я его назвал Аванпроектом, — обосновывающего цели и технологию изучения общественного мнения рабочих и служащих Ленинграда, а также описывающего методы, процедуру сбора первичной информации и возможные варианты оперативной обработки собранных данных. Реализуемость идей Аванпроекта было решено проверить с помощью специального опроса, связанного с главным политическим и идеологическим событием следующего года — XXIV съездом КПСС (30 марта — 9 апреля

1971 г.). Сейчас мы знаем, что результаты нашей работы никому нужны не были: мы не имели права их публиковать, и, судя по всему, даже партийный актив города не знакомили с результатами опроса.

Вспоминая вместе со мной то время, Докторов сказал, что этот опрос можно было провести, только имея кураж, огромное желание выложиться и доказать, что мы не просто «мечтатели», строители «воздушных замков». Проводился опрос под шапкой Ленинградского отделения Советской социологической ассоциации, сбор данных проходил в последний день съезда, а результаты обработки мы имели на следующее утро.

По той же самой программе и с использованием аналогичной выборки 18 мая 1971 г. был проведен повторный опрос, в котором все без исключения результаты, полученные в первом зондаже, повторились. В обоих случаях применялся оперативный режим сбора, обработки и выдачи экспресс-отчета. Расчетный норматив времени для этого режима — 24 часа, кажущийся и сейчас фантастическим, — был выдержан. Мы доказали, что социологи действительно способны весьма оперативно «снять» картину мнений.

Первые опыты были восприняты руководством обкома и ИКСИ АН СССР положительно. Было решено создать в структуре ИКСИ подразделение для работы в интересах обкома КПСС, а именно подготовку проекта специализированной системы изучения общественного мнения, а затем и ее эксплуатацию. После этого мы получили комнату в Смольном и стали разрабатывать свою часть Информационной системы обкома КПСС. Организационных решений по данному поводу не принималось. Все держалось на договоренности сторон.

На роль руководителя проекта меня выбрал Алексеев, который, вероятно, сказал недавно сменившемуся партийному руководителю Ленинграда и области, Г. Романову, что он других кандидатур не видит. С Романовым мы тогда были хорошо знакомы. В пору, когда я работал первым секретарем Дзержинского РК КПСС, он занимал более скромное место в партийной иерархии — выполнял обязанности второго секретаря Кировского РК КПСС. Угрызений совести по поводу моих «ошибок» (до вступления на социологическую тропу я работал директором Ленинградской студии телевидения и был освобожден от работы за «ослабление контроля» за содержанием телепередач, предназначенных для Центрального телевидения СССР) я никогда не испытывал. Наверное, Алексеев «выхлопотал» мне индульгенцию. Может быть, в обсуждаемом случае преобладала прагматика — нужны были люди, способные руководить созданием нового дела. Так было всегда, иначе бы не появились «шарашки»! Работали мы с увлечением, проводили опросы, связанные с отношением к съездам КПСС того времени, к итогам и планам 9-й и 10-й пятилеток, к проекту «брежневской» Конститу-

ции (1976). Обслуживание дежурных целей не мешало основательной разработке методологии и методов изучения общественного мнения. Нас не оставляла мечта, что рано или поздно и в СССР появится центр по изучению общественного мнения. Общественно-политические условия «застойного времени» чувствовались буквально во всем. Гарантий свободного выражения не было, действовали партийные регламенты, идеологические табу и запреты. Чего стоят одни «Перечни сведений, запрещенных к публикации в открытой печати», «талмуды» Главлита СССР, где постоянно обуздывалась сфера прилюдно произносимого вслух и публично выражаемого с помощью печатного слова. Единственно до чего не додумались ребята из Главлита, пуповиной связанного с «компетентными советскими органами», так это начать публикацию перечней того, о чем нельзя было думать наедине с самим собой. У меня даже есть игривое название для «Перечня...»: «Ни-ни!». Итак, один замедлитель, морозильная камера для выражения общественного мнения, — социально-политические условия жизни страны, цензура мыслей и поведения. Люди-то на самом деле думали обо всем на свете, но рассуждать вслух и боялись, и не соглашались, и не хотели «колоться», не зная истинных целей и не понимая назначения опросов. Второй замедлитель — сама социологическая наука, ментально не готовая к тому, чтобы спрашивать всех и каждого *обо всем на свете*. Не забуду, как мы мучительно сочиняли первые методики опросов об отношении к съездам КПСС брежневской эпохи и планам пятилеток. Язык методик был натруженным, напряженным, пропитанным новоязом, далекий от естественного диалога с людьми. Самоцензура сильнейшая! Третий фактор-замедлитель — закрытость получаемых нами результатов. Респондент, только что ответивший на вопросы, фактически был лишен права на следующий день узнать из газет или телевидения, как на те же вопросы ответили все участники исследования или отдельные группы. Он был лишен возможности найти себя, свое место в мире мнений других людей, понять, находится ли он среди большинства опрошенных или представляет точку зрения меньшинства. Грушин в его блистательном анализе массового сознания 60–70-х гг., я имею в виду его эпохальные книги «Четыре жизни России» (см.: Грушин 2001, 2003, 2006), тоже разговорился не вдруг, а слышали его современники и сограждане хрущёвской и брежневской поры лишь в XXI веке. Да и наши скромные этюды на темы общественного мнения были лишь по моему настоянию рассекречены несколько лет тому назад. Они еще ждут предания гласности.

И последнее: за многие годы советской власти все было сделано для того, чтобы лишить общественное мнение главной социальной роли — быть одной из ветвей, институтом народовластия в обществе. Политическую культуру населения осознанно держали на очень низком уровне. Напомню, многие рабочие и служащие Ленинграда, в 1970-х го-

дах числившегося по историческому реестру «колыбелью революции», не понимали важности и не принимали ряда политических прав и свобод, декоративно вписанных в «брежневскую» Конституцию. Вот где беда! Им представлялись достаточными привычные права на труд, отдых, образование, медицинское обслуживание и пенсионное обеспечение в старости.

В 1980-е годы работа расширилась. Мы обратились к анализу писем от населения в партийные инстанции. Сюжеты с письмами, назову их московскими, возникли после того, как Алексеев получил повышение и стал работать в качестве заместителя заведующего общим отделом ЦК КПСС. Мне кажется, что он и был переведен туда с условием, что свой ленинградский опыт он внедрит в столице. Говоря иначе, с его участием было принято решение о создании на базе ЭВМ информационной системы ЦК КПСС, одна из задач которой состояла в машинной обработке и анализе писем трудящихся в ЦК КПСС, а также в Правительство, печатные органы партии и наиболее массовые газеты. К реализации этого масштабного проекта были привлечены организации и конкретные разработчики проекта Ленинградской системы, включая и нас. Этот «взлет» стал началом нашего «падения». В течение всего периода изучения нами общественного мнения в интересах обкома наш «заказчик» осторожничал, прибегал к самоцензуре, дул на воду, «ни разу не обжегшись на молоке», боялся обнаружить в высказываниях и оценках людей критику или недовольство положением дел в стране, области, городе. Не случайно Г. Романов после избрания его в 1976 г. в состав Политбюро ЦК КПСС, ввел специальную должность инструктора отдела агитации и пропаганды обкома КПСС, который обязан был отслеживать прессу, центральную и местную, следить за благочинием и стерильностью информации о Ленинграде. Корреспондентов центральных газет по Ленинграду, газета «Правда» здесь не была исключением, по сути, назначал и смещал обком КПСС. Вырезки из газет и обзоры на тему «СМИ о Ленинграде — городе технического прогресса и колыбели пролетарской революции» ежедневно вкладывались в рабочую папку Романова. Любой выход за контуры «священного» для всей страны образа города был причиной разбирательств и расследований. Корреспондент, взявший неверную ноту в песнях о Ленинграде, становился персоной «non grata». Весь путь Романова от особняка в пригороде Осиновая Роща, где он жил, до обкома был декорирован лозунгами-растяжками оптимистического содержания. Например, выезжая на магистраль из своего «закоулка», он мог прочесть на кумаче: «Ленинскую политику КПСС одобряем!». Семантика этой фразы не оставляет сомнений, что ему был по душе этот «message», как бы исторгавшийся из глубин народного сознания в виде благодарности партии и ему, как одному из видных лидеров, за заботу о советском человеке и сохранении образцовости Ленинграда.

Этот надуманный и весьма чванливый фон, точнее сказать, постоянная жажда лести и похвалы, пусть не себе, а городу, доверенному ему, Романову, партией, и есть причина того, что нашей бурной деятельности в качестве «боевых помощников КПСС» был положен конец.

Так вот, произошло следующее. Новый Генсек ЦК КПСС, Юрий Андропов, был человеком больным. Неудивительно, что, придя в 1982 году к власти, он поставил перед собой цель — улучшить систему здравоохранения, поднять медицину. С этой целью он поручил своим референтам собрать как можно больше убедительной информации из разных источников, которая говорила бы в пользу неотложного и радикального реформирования медицины. Один из аппаратчиков (через своего друга, заместителя директора ИСЭП АН СССР Н. Толоконцева) знал о нашей системе изучения общественного мнения. Во время командировки этого работника ЦК КПСС в Ленинград Толоконцев познакомил его с нашими материалами, отчетами об исследованиях, копии которых хранились в институтском спецотделе. Хотя, сделаю оговорку, исходя из условий режимности, это было нарушением правил «партийных игр в секретность». Толоконцев обязан был отметить в журнале, что он показывал документы посетителю (имя рек). Ранг этого посетителя значения не имел. Наверное, что-то запало столичному гостю в память. И он вспомнил и сообщил референтам, что в Ленинграде есть данные, которые могут оказаться полезными для Генсека ЦК КПСС.

Тогда я часто бывал в Москве в здании на Старой площади, поскольку был привлечен к разработке методов и задач машинного анализа писем в ЦК КПСС. В конце 1983 года высокопоставленный друг Толоконцева пригласил меня к себе, мы были знакомы, и спросил, есть ли в наших отчетах материалы и факты, нужные Андропову. Я ответил, что есть, но я не имею права их кому бы то ни было показывать без ведома «хозяев» информации. Я попросил моего собеседника позвонить в обком и запросить эти сведения официально. Звонок последовал незамедлительно, но реакция обкома, как «низового» по отношению к ЦК КПСС звена, была более чем странной, по крайней мере, для меня, человека, признававшего демократический централизм важным принципом партийной жизни. Первый вопрос состоял не в уточнении того, что так необходимо Первому лицу в нашей партии, а в том, откуда факт наличия запрашиваемой информации стал известен в ЦК КПСС. Друг Толоконцева, хитрый лис, не сказал о том, что он читал наши бумаги «нелегально», с разрешения «болтуна» Толоконцева. «Хитрый лис» сослался на меня. Выполнение просьбы отложили до моего возвращения в Ленинград, где никто и не думал о поручении Андропова, кстати сказать, поручения государственной важности, ведь речь шла о радикальном пересмотре отношения к здравоохранению в стране. Обком, с подачи Романова, которому немедленно доложили

об утечке «наверх» информации из Ленинграда, интересовал единственный вопрос — кто сообщил в ЦК КПСС о том, какими данными об общественном мнении располагает обком КПСС. От меня потребовали письменное объяснение, в котором я лаконично написал, что я не видел никаких причин для того, чтобы, находясь в стенах ЦК КПСС, скрывать факт наличия этих сведений.

Мои объяснения никого не удовлетворили. Ленинград стал к тому времени партийной вотчиной Романова, где принцип демократического централизма утратил свою силу и легитимность. По этой причине было решено, продолжая борьбу со всякими утечками информации, просьбу Андропова, косвенно адресованную в обком КПСС, не выполнять! Но этим не ограничились. Романов знал, что мы являемся разработчиками проекта для ЦК КПСС и что для отработки методов машинного анализа писем мы намеревались использовать письма в ленинградский обком КПСС как некие образцы текстов, с которыми «низы» обращаются в партийные «верхи». Но теперь Романов усмотрел в наших намерениях, не преследовавших никаких интересов, кроме чисто научных, еще одну, более серьезную предпосылку для «утечки» информации о положении дел на местах. Он отдал распоряжение: участию Ленинграда в разработке информационной системы ЦК КПСС положить конец и отказаться от научных услуг сектора ИСЭП АН СССР, возглавляемого Фирсовым. В тот же день от нас были отобраны пропуска в Смольный, а все наши разработки, включая материалы об опросах общественного мнения рабочих и служащих Ленинграда в интересах обкома КПСС, реквизирует прибывший в институт порученец.

Впрочем, могла ли быть иной судьба дела, возложенного на крепостную науку? Ответу без эмоций, хотя тогда их не могло не быть. Я не забыл, что по капризу, по самодурству «первого лица», руководителя Ленинградского обкома КПСС, на нашу интенсивную и высокопрофессиональную деятельность, связанную с исследованиями общественного мнения в интересах партийных органов, был наложен секвестр. Урок для альтруистов и романтиков-шестидесятников весьма поучительный! Не вышло из нас Гэллапов, ибо они партии были не нужны! Потому и выкинули нас с крыльца Смольного на академический двор, сопроводив депортацию крепкими подзатыльниками. Что до партии (в лице Ленинградского обкома КПСС), то она осталась верна многократно проверенным источникам информации о настроениях подвластного ей народонаселения — донесениям «компетентных органов» об антипартийных и антисоветских настроениях, дестабилизирующих режим, и сообщениям о поддержке политики руководства страны, укрепляющих режим. Так и дожил обком КПСС до августовского путча 1991 г., борясь со служебными «проколами» и опираясь во многом на синкретизм откровенного доноительства и лживого славословия.



История, рассказанная мною, на этом не закончилась. Ее эхо прозвучало, когда до начала перестройки оставались считанные месяцы. Естественно, что все события были связанными, но новая история уходит в отношении КПСС к зарубежным связям социологической науки и к ее страхам «утечки» информации. Партийная власть всячески сохраняла к тому времени давно поржавевший «железный занавес».

Поскольку мы долго и в целом успешно работали на обком КПСС, то директор ИСЭП АН СССР И. Сигов, мало что понимавший в социологии и постоянно «боровшийся» у себя в институте с социологами, ничего поделать с нашим сектором не мог. Избавиться от нас можно было единственным способом — дискредитировать перед Ленинградским обкомом партии и тем самым лишить нас неприкосновенности, партийного покровительства.

С начала 1980-х гг. наш сектор сотрудничал с финскими исследователями массовой коммуникации из Университета Тампере. Это была очень сильная команда во главе с профессором Каарле Норденстренгом, автором многих книг по массовой коммуникации, в то время Президентом Международного союза журналистов; в нее входили европейской известности профессора Тапио Варис, Юри Литтунен и ряд молодых, но уже опытных ученых. Мы готовили очередной советско-финляндский семинар, который должен был состояться в Ленинграде. Были написаны абсолютно стерильные, отвечавшие тому времени доклады о современном советском образе жизни; своеобразные подтекстовки — обо всем и ни о чем. Тексты прошли цензуру, было получено разрешение Главлита в Москве на публикацию в открытой печати, это значит, и на вывоз за границу. Ксероксов у нас тогда не было, размножать бумаги было трудно, а у финнов были, и мы договорились с нашими партнерами о следующем. Мы высылаем эти доклады или передаем их каким-либо другим официальным путем, они размножат тексты и высылают нам тираж для распространения среди участников семинара. Времени было мало, и потому мы решили передать оригиналы докладов одному финскому коллеге, приехавшему в Таллинн, и просить его переправить их в Тампере. Этот финн повез документы в Финляндию. Провожавший его эстонский социолог (иностранцы не должны были знать, что такие документы существуют) предъявил разрешение на вывоз материалов за рубеж, которое я ему заблаговременно передал. Однако пограничник не смог проверить, что в портфеле финского коллеги находились именно разрешенные к вывозу документы. Финн был дипломатом, и его вещи не подлежали досмотру. Мы этого не знали.

Возникло целое дело. 16 октября 1984 г. состоялось заседание бюро обкома КПСС, на котором обсуждался вопрос «О серьезных недостатках в работе ИСЭП АН СССР». Проект решения предусматривал мое исключение из партии за грубые нарушения установлен-

ного порядка работы со служебными документами и для оправдания кары — за серьезные недостатки в научной деятельности, о которых я узнал впервые только на этом заседании(!). Потом, в конце «разборки», как бы вспомнив мои «революционные заслуги», меня пощадили, объявили мне строгий выговор с занесением в учетную карточку. На заседании было заявлено, что я в идеологическом отношении ненадежный человек и не могу работать в идеологически-стерильном институте, каким является или должен стать в итоге партийных забот ИСЭП АН СССР. Так я оказался в октябре 1984 г. в ленинградской части Института этнографии АН СССР. Вкус к социологии на какое-то время был отбит...

#### **8.4. Борьба за возвращение первородного имени**

Два первых года правления М. Горбачёва (1985–1986) ознаменовались заметным обновлением политического климата страны (Shlapentokh 1987: 253–258; Shalin 1990; Социология в России 1998: 39–42). Правда, социологи по-прежнему были практически лишены возможности непосредственно влиять на этот климат. По примеру «оттепели» 1960-х гг. темп и содержание изменений задавал «верх». Но вместе с другими свободомыслящими людьми социологи в своей массе положительно отнеслись к заявлению Горбачёва на XXVII съезде КПСС (февраль–март 1986 г.) о намерениях омолодить страну путем ускорения социально-экономического развития.

Провозглашение партией идей открытости, а затем речь Горбачёва на январском (1987) пленуме ЦК КПСС, где он назвал демократизацию советского общества важнейшей целью партийной политики, возродили надежды на то, что и социология будет в полной мере востребована, получит все необходимые права на свободное изучение и предание гласности реальных запросов и чаяний населения. В печати стали появляться настойчивые требования приступить к регулярным опросам общественного мнения, для того чтобы воплотить в жизнь новую политику КПСС. Такие газеты, как «Известия», «Советская культура», «Литературная газета», в числе первых приступили к публикации статей критического характера с обстоятельными ссылками на данные социологических исследований. В 1986 году к ним присоединились и быстро вошли в роль «флагманов гласности» газета «Московские новости» и журнал «Огонёк». Способствовали повышению интереса к социологической литературе и книжные издательства.

Новый режим произвел оценку брежневского наследия и назвал время правления Л. Брежнева периодом стагнации всех сфер общественной жизни. Сам Брежнев был признан ответственным за сдерживание

процесса демократизации советского общества, начатого во времена Хрущёва. Но самое главное — Горбачёв, не в пример Хрущёву, открыто взял в союзники интеллигенцию. Теперь уже власть не выражала свой гнев по поводу критики «снизу». Более того, ввиду общности идеалов и целей — поддерживала ее. Как и в период «оттепели», серьезный вызов государству и обществу последовал со стороны литературы (В. Астафьев, Ч. Айтматов, В. Распутин) и театрального искусства (О. Ефремов, М. Захаров, В. Фокин). Произведения этих художников, их книги и спектакли отражали советскую жизнь в новой манере, которая не имела ничего общего с прежними расхожими и идеологизированными представлениями о ней.

Однако — и это необходимо подчеркнуть — острота критических порывов социологов, экономистов, историков, философов и их бескомпромиссность в том, что касалось предания гласности и анализа отрицательных сторон прошлого, проявлялись в существенно меньшей степени, чем активная гражданская позиция журналистов, публицистов, деятелей искусства. Можно сказать жестче: до 1988 г. воздействие горбачёвских политических реформ на социологию (более широко — обществоведение, социальные науки) было незначительным. Оно проявлялось скорее в «квазидемократической фразеологии и осторожном нарастании экзальтации в печати» (Социология в России 1998: 39).

Обществоведы, опираясь на опыт жизни в советском обществе, имели право на поиск путей адаптации к изменяющимся социальным условиям. Требовалось время, для того чтобы убедиться в необратимости эволюции правящей верхушки и получить гарантии стабильности новых правил игры. Ведь то же положение о развитии гласности, включенное в доклад Горбачёва на XXVII съезде, было одним из немногих «свежих мест». А в остальном партия, включая ее лидеров, оставалась «пропитанной» цепкими заблуждениями. Отсюда и определение новой редакции Программы КПСС как программы «планового и всестороннего совершенствования социализма, дальнейшего продвижения общества к коммунизму на основе ускорения социально-экономического развития страны» (Яковлев 2001: 325).

Возвращаясь к социологам, хочу пояснить: в основе их осторожного поведения лежала чисто научная причина — инерция науки, вследствие которой «начатые исследования держат ученого в плену, требуя своего завершения» (Социальная траектория 1999: 91). Нужно было время, для того чтобы появились журнальные и книжные публикации социологов, ощутимо отмеченные духом новых настроений общества и его граждан. Это хорошо видно на примере журнала «Социологические исследования». Два первых номера 1985 г. вышли без намеков на какие-либо либеральные изменения. Достоинство этих номеров можно усмотреть лишь в том, что они являются последними «социологиче-

скими памятниками» периода застоя. Контуры новых научных истин и идей обозначились только в конце 1985–середине 1986 г. В статье Г. Шмелёва был поставлен вопрос о законодательном признании новых форм собственности при социализме (Шмелёв 1985), статья А. Ципко была голосом в защиту кооперативов (Ципко 1986).

Здесь уместно напомнить, что в этот период Горбачёв неоднократно говорил в своих выступлениях о сопротивлении противников перестройки курсу на радикальные перемены. Скрытая или явная оппозиция горбачёвским реформам, убежденность в том, что перемены носят временный характер и что рано или поздно все вернется на круги своя, были далеко не редким явлением в среде обществоведов. Многие преподаватели исторического материализма, научного коммунизма, политической экономии сразу, не раздумывая, отвергали идеи перестройки, считая их проявлением ревизионизма, и, подобно Нине Андреевой, открыто отказывались «поступаться принципами» (Социальная траектория 1999: 91). Значительная часть оппозиционеров входила в состав социологического истеблишмента в центре и на местах и поэтому могла успешно противодействовать попыткам либерализации социологического мышления. Именно эти люди на словах почтительно восхваляли нового советского руководителя и его программу экономического ускорения, оставаясь на деле неизменными поборниками партийного духа, классового подхода при анализе явлений общественной жизни и идеологической чистоты.

К чести профессионального социологического сообщества, его ядро считало и думало совсем иначе. Здесь мне хотелось бы выделить особо академика Т. Заславскую — бесспорного и авторитетного лидера этого ядра.

Как уже отмечалось, первоначально социологи не слишком бурно отреагировали на изменения в стране. Ситуация изменилась лишь в ноябре 1986 г., когда с докладом на отчетно-выборной конференции ССА выступила Заславская, которая убедительно доказала, что социология хотя и является самостоятельной отраслью знания об обществе, тем не менее остается наукой без социологов (Заславская 1997: 84–103). Согласно сделанным ею выводам, социологи мало содействуют реформаторским усилиям Горбачёва. Социальные науки остаются неадекватными ситуации в стране. *Но главное — социология должна стать инструментом перестройки.*

Следующее по важности событие — публикация основных положений доклада Заславской в газете «Правда» 10 февраля 1987 г. Это дало повод для возникновения новой волны надежд на то, что социология освободит себя от пут нормативного марксизма и получит возможность увидеть и показать советское общество таким, каким оно является в реальности, со всеми его противоречиями и аномалиями.

Какое-то время эти надежды оправдывали себя. Социологический ренессанс был замечен на Западе (Shalin 1990: 1020), хотя новые тенденции в социологических исследованиях не вызвали того интереса, которого они заслуживали, поскольку их оттеснило драматическое развитие событий в России.

В начале 1987 г. произошли изменения в редакторской политике журнала «Социологические исследования». Журнал тоже начал «перестраиваться» — в нем реже цитировались ленинские работы; отобранные цитаты теперь подчеркивали роль критики и дискуссий как средств, без которых пролетариат не сможет достичь единства в своих действиях (Shalin 1990: 1021). 19 декабря 1987 г. газета «Советская культура» опубликовала письмо, подписанное академиками О. Богомоловым, Т. Заславской и А. Румянцевым вместе с Ф. Бурлацким, Б. Грушиным, Ю. Замошкиным, И. Коном, В. Шубкиным, В. Ядовым. В письме содержался протест против выдвижения М. Руткевича кандидатом в действительные члены АН СССР (на этот шаг пошло отделение философии и права АН СССР, проголосовав за избрание кандидата семью голосами против одного).

В соответствии с процедурой тех лет, голосованию на общем собрании АН СССР предшествовало заседание партийной группы Академии. Так было заведено еще в сталинские времена. На заседании Заславская выступила с отводом Руткевича как «человека крайне реакционных взглядов и душителя социологии в СССР». В своем ответном выступлении кандидат описал свои большие научные заслуги, а выступление Заславской назвал, как водится, клеветническим. Вечер этого дня Заславская провела в напряженной работе, добывая неопровержимые факты, уличавшие Руткевича во лжи. Текст своей речи она переписывала шесть раз. Ее выступление на общем собрании АН СССР прошло блестяще. Кандидатуру Руткевича отклонили три четверти академиков. При подсчете голосов бюллетеней «против» оказалось 163, бюллетеней «за» — 62. Такого случая в истории Академии еще не было, скажет впоследствии Заславская, подводя итог этой перестроечной истории (Заславская 2007а: 588, 591–592). Письмо и результаты голосования имели большое общественное значение. Они были предупреждением консерваторам о том, что никто из лиц, получивших мандаты от прошлой власти, не застрахован от публичной критики.

Критическая полоса расширялась. Р. Рывкина предложила различать три типа социальных исследователей, рожденных периодом стагнации, — идеологистов, прагматиков и истинных исследователей, вытесненных на периферию науки первыми двумя типами (Рывкина 1988). Л. Джрнзян опубликовал результаты анализа 160 стихотворений 1930–1940-х гг. о Сталине (на армянском языке), с помощью которых создавался образ «богочеловека» (Джрнзян 1988). Л. Ионин обосно-

вал тезис о том, что сталинизм есть не только способ реализации власти, но и состояние ума, которое продолжает существовать и после того, как почва для сталинизма стала разрушаться (Ионин 1987).

Для объективности замечу, что к этому времени стали менее жесткими цензурные ограничения на научные публикации, а позже их и вовсе сняли. Теперь вопрос о публикации решали два человека — автор и руководитель печатного органа, хотя все время имели место рецидивы старых порядков и настроений. В своей книге «Омут памяти» А. Яковлев пишет о бурных вспышках нетерпимости на Политбюро и пленумах ЦК КПСС в отношении демократической прессы (Яковлев 2001). Особенно доставалось «флагманам гласности». «Московские новости» и «Огонёк» были постоянными «именинниками» на партийных пленумах, различных собраниях, в «организованных» письмах, «поступавших» от «негодующих» трудящихся. Если пользоваться служебной лексикой советского времени, то можно сказать, что должности главных редакторов этих изданий, которые занимали Е. Яковлев и В. Коротич, «постоянно “дымились” в штатном расписании», поскольку периодически возникал вопрос о снятии их с занимаемых постов (Там же: 259, 263). Демократическое поле, замечал А. Яковлев, завоевывалось по кусочкам и путем довольно жесткой борьбы, в равной мере требовавшей и мужества, и гибкости.

17 июля 1987 г. ЦК КПСС, Совет Министров СССР и ВЦСПС приняли Постановление № 825 «Об усилении работы по реализации активной социальной политики и повышении роли Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам». В одном из пунктов этого постановления признавалась целесообразность создания Всесоюзного центра изучения общественного мнения по социальным вопросам при ВЦСПС и Госкомтруда СССР. 17 декабря 1987 г. оба названных учреждения, исполняя волю инстанций, образовали Всесоюзный центр изучения общественного мнения по социально-экономическим вопросам в г. Москве с 25 опорными пунктами, расположенными во всех столицах союзных республик и ряде других городов страны. Идея, которая долго витала в духовной атмосфере советского общества, наконец-то была реализована, обрела плоть. Первым директором ВЦИОМа стала Т. Заславская, а ее заместителями — Б. Грушин и Ю. Левада. Потребовалось совсем немного времени, для того чтобы ВЦИОМ был признан прочно и на многие годы вперед бесспорным лидером в массовых опросах населения страны.

Однако его роды были трудными. Президиум ВЦСПС встретил в штыки предложение «верха» приписать научную структуру к «школе коммунизма», каковой, по партийным канонам, являлись советские профсоюзы. При стартовых обсуждениях положения о ВЦИОМе члены секретариата ВЦСПС проявили полное и абсолютное невежество не

только в вопросах изучения общественного мнения, но и в отношении собственных решений, «забыв» на время собственную резолюцию в поддержку ВЦИОМа, принятую в ответ на решения июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС (Заславская 2007а: 595). Главным препятствием на пути создания ВЦИОМа была заложенная в проект открытость, гласность его деятельности. По мнению профсоюзных «хозяев», все материалы ВЦИОМ должен был представлять только им, с тем, чтобы они, и только они, решали, что посылать в директивные органы, а чему — закрывать дорогу куда бы то ни было. Даже в ЦК КПСС, чьей волей создавался всесоюзный механизм исследований общественного мнения, ВЦИОМ не мог выходить самостоятельно. Конец истории благополучный, ВЦИОМ пробился к народу. Однако я поступлю против научной и гражданской совести, если не скажу о муках сотворения нового дела. Заславская писала: «При обсуждении положения издевались над Грушиным... били его и в зубы, и в живот, хотя знали, что *конечной победы им не видать* (курсив мой. — Б.Ф.)» (Там же: 596).

Приведу еще один факт. Аппарат ЦК КПСС не сразу примирился с мыслью о том, что монополии партии на сбор информации, касающейся настроений и мнений советских граждан, приходит конец. Год спустя после создания ВЦИОМа был поднят вопрос об организации Центра изучения общественного мнения при ЦК КПСС. Однако ведущим социологам (Заславская, Римашевская, Ядов) удалось доказать, что идея параллельного и к тому же закрытого центра подрывает основы гласности. Сошлись на том, что при необходимости ЦК сможет выступать заказчиком отдельных исследований, исходя из интересов своей деятельности.

В июне 1988 г. (после 16 месяцев, потраченных на согласование проекта с различными ведомствами и обсуждение поправок к проекту) Политбюро ЦК КПСС приняло программное постановление «О повышении роли марксистско-ленинской социологии в решении ключевых проблем советского общества». Этим постановлением социология была отделена от философских и экономических наук и получила долгожданное, годами выстраданное право на самостоятельное место в официальной структуре научных специальностей. В результате этого решения ИСИ АН СССР стал называться Институтом социологии АН СССР (ИС АН СССР), а социологи получили право защищать кандидатские и докторские диссертации по социологическим наукам. В Постановлении была подчеркнута необходимость организации в университетах социологических факультетов и кафедр. Подготовка социологических кадров включалась теперь в систему государственного планирования и распределения. Особый раздел Постановления был посвящен развитию заводской социологии, которая была объявлена важным элементом управления предприятиями. Замечу, что весь этот цикл с благо-

получным эпилогом занял около 60 лет — если вести отсчет с конца двадцатых годов. В другом измерении это составило свыше 30 лет, если считать от дней работы XX съезда КПСС.

Постановление возложило на Президиум АН СССР ответственность за создание общесоюзной сети социологических институтов и центров. В июне 1989 г. Президиум АН СССР, под давлением вновь назначенного директора-организатора ИС АН СССР В. Ядова, принял решение открыть Ленинградский филиал ИС АН СССР. Еще через два месяца 39 социологов — представителей ленинградской социологической школы — вышли «с оркестром и развернутыми знаменами» из ворот Института социально-экономических проблем АН СССР, где они принудительно «содержались под присмотром» бдительных ортодоксальных экономистов.

Однако весь «заряд», заложенный в решение Политбюро ЦК КПСС, «не выстрелил». Уже в это время появились разногласия между общественными науками и властью. М. Горбачёв начал утрачивать свою харизму, а сама власть стала выражать недовольство результатами исследований, не отвечавшими их ожиданиям. Ни М. Горбачёв, ни впоследствии Б. Ельцин (а следом за ними и их окружение) в реальности не испытывали потребности в советах, исходивших от представителей социальных наук. Более того, часто они поступали вопреки этим советам. Например, нелепая и масштабная антиалкогольная кампания была инициирована Горбачёвым, несмотря на серьезные и единодушные возражения социологов, экономистов и других специалистов. Кампания нанесла непоправимый урон государственному бюджету и стимулировала первую волну организованной преступности. (Несколько лет спустя, принимая фатальное решение о чеченской войне, Ельцин также полностью игнорировал позиции и мнения профессионалов-ученых.) Естественно, что эти факты не способствовали сглаживанию отношений социальных наук с режимом и, более того, побуждали социологов занимать во многих случаях резко критическую позицию по отношению к власти.

Повторю: речь идет об отношении к социологам как независимым экспертам и социологии как институту, порождающему объективное научное знание. Последнее редко включалось в контуры государственного управления и не становилось органической частью информации, используемой при формировании социальной политики государства и принятии общественно значимых решений. Это не означает, что представители общественных наук не допускались до работы в президентской администрации и/или иных властных структурах в качестве советников, консультантов, членов комиссий и советов, создаваемых по предложению или с согласия руководителей страны. Думаю, что статистические данные, относящиеся к этой проблеме (если бы можно было



их увидеть), только бы подтвердили отсутствие какой-либо дискриминации в отношении представительниц социологической профессии и даже засвидетельствовали определенные признаки пиетета.

Однако и в этом случае *вера* в установленный социальный порядок оставалась незабываемой. Будучи слепой, она не опиралась на научное знание. Более того, невостребованность такого рода знания была одной из фундаментальных характеристик советского общества (Российская социологическая традиция 1994: 38). Автор этого вывода, Б. Грушин, писал, комментируя свою позицию, что «это общество было, остается и долго еще будет обществом антиинформационным», поскольку процесс принятия решений осуществляется так, как он осуществлялся во времена Салтыкова-Щедрина по предложенной русским сатириком блистательной формуле «начальство знает все». За месяц до развала Советского Союза в одной из доверительных бесед М. Горбачёв сказал Б. Грушину: «Что Вы, Борис Андреевич, какие там опросы, вот мой шофер только что приехал из Киева, и он мне говорит, что там видел, — никакой Союз никогда не развалится... Украина никогда в жизни от России не отойдет. Ну что Вы, Борис Андреевич» (Там же: 38–39).

## **8.5. Социологическая наука в поисках себя и места в изменяющемся обществе**

Говоря о последних годах советской социологии, я намеренно ухожу от традиционного описания научных достижений этого времени. Для меня является аксиомой, что атмосфера гласности и постепенное снятие запретов на свободу профессиональных занятий не могли не стимулировать научный поиск. Были ли при этом совершены открытия — сказать трудно, как и пытаться отделить академические успехи от неудач. Предоставим заняться этим историкам российского обществоведения. Мое повествование — не более чем попытка рассказать об атмосфере внутри сообщества. Мне хотелось бы сделать особый акцент на том, что это сообщество объединяло, — на силах сцепления, которые продолжали действовать до момента, когда развал Советского Союза привел сначала к расселению по «национальным территориям», а затем, в пределах каждой «национальной территории», — к выходу из социологических «коллективных хозяйств» и к переселению на социологические «хутора».

Прежде всего, заслуживает внимания профессиональная солидарность сообщества. Дух, пронизывавший социологию, был со всей очевидностью нагружен этикой и саморефлексией. Это нашло свое отражение в решении VI Всесоюзной конференции ССА АН СССР (март

1987 г.) одобрить «Профессиональный кодекс социолога» (Приложение 5) и создать специальный комитет по профессиональной этике. В комитет вошли наиболее авторитетные социологи, многие из которых в свое время подверглись всякого рода идеологическим гонениям и преследованиям. Создание Кодекса было реакцией на «вытравливание» из науки норм и идеалов самой науки, принудительно поставленной перед необходимостью служить партийной идеологии.

Утверждению Кодекса предшествовала работа по его составлению (Лазар и др. 1988). В своих комментариях к этому документу его авторы писали, что потребность в Кодексе вызвана необходимостью иметь систему гарантий от всякого рода профессиональных злоупотреблений в будущем. В социальной атмосфере стагнации социология была лишней наукой. Ее считали опасным источником утечки информации о слабостях общества, вместо того чтобы рассматривать ее в качестве средства, позволяющего вносить разумные коррективы в процессы социального развития. Урон, нанесенный социологии, очевиден. И он только укрепляет в мысли о необходимости прививать исследователям такие качества, как чувство справедливости, гражданская смелость, профессионализм, которые в значительной мере подверглись коррозии в брежневскую эру.

Выдержка из комментариев позволяет передать настроение, характерное для атмосферы того времени внутри социологической науки: «Административные запреты и команды не наталкивались, к сожалению, на организованный отпор общественности, во многом не только отстраненной, но и отстранившейся от участия в решении судьбы многих важнейших направлений, а в ряде случаев — и судьбы отдельных ученых, ставших жертвами озлобленных, завистливых и бездарных руководителей. *Глядя на перемены в творческих союзах — кинематографистов, театральных деятелей РСФСР и СССР, на их решительные действия против попыток бюрократизации творчества, хочется получить у них социальной смелости и активности* (курсив мой. — Б.Ф.)» (Там же: 101).

Кодекс призывал социологов культивировать чувство уважения и терпимость в отношениях к другим идеям и людям — авторам и сторонниками этих идей. Он объявлял критику и полемику несовместимыми с навешиванием идеологических ярлыков, считал недопустимым сведение счетов и расправу с оппонентами. Отдельный раздел Кодекса посвящался взаимоотношениям с респондентами (обследуемыми). Социолог должен был строго соблюдать гарантии конфиденциальности, неразглашения сообщенных респондентом сведений. Законом социологической деятельности объявлялось правило: не допускать использования методов, техники, процедур, ущемляющих достоинство личности респондентов и их интересы.

Правда, социолог науки и науковед, писал в своей аналитической статье Д. Шалин, могли бы обнаружить определенное противоречие между двумя точками зрения, которые были системообразующими в парадигме тогдашней советской социологии (Shalin 1990: 1023–1024). С одной стороны, — это резкое неприятие «этоса идеологии», с его нетерпимостью к критике, стремлением подавить свободу исследований, раболепием перед властью, и одновременно невосприимчивость ценностей универсализма, беспристрастности, права на сомнение и пересмотр позиции (понятия, которые, по Мертону, входят в «этос науки»). С другой стороны, — это сознательная и добровольная попытка превратить социологию в инструмент перестройки, средство реформирования и радикального изменения советского общества, ресурс реализации политики тогдашней партии.

Время показало, что советские социологи в итоге не сумели найти некое «среднее» между «Сциллой и Харибдой» — между политической ангажированностью и научным отстранением. «На самом деле, все пришло в движение — но уже потом, в 1987–1988 годах, когда Горбачёв наконец-то убедил интеллигенцию, что действительно что-то хочет сделать в области политики, идеологии и т. д.» (Пресса в обществе 2000: 121). До этого, как уже было отмечено, наблюдалась «осторожная экзальтация» и «квазидемократическая идеология» — умонастроения, которые не выходили за пределы строго дозированного, весьма осторожного либерализма.

Как непосредственный свидетель и участник событий этих лет, скажу, что импульс перестроечной активности совпал с публикацией романов А. Рыбакова «Дети Арбата» (1987) и В. Гроссмана «Жизнь и судьба» (1988), а также выходом на экран фильма Т. Абуладзе «Покаяние» (1988). Сам факт открытого предъявления этих произведений широкой публике становился своеобразной гарантией серьезности намерений власти, связанных с переустройством общества. Именно в этот период возникли фигуры, позже названные «прорабами перестройки» и олицетворявшие волю народа к решительному обновлению жизни, и поднялись волны демократических движений. Депутатами нового Верховного Совета СССР стали социологи Т. Заславская от России, Г. Старовойтова и Л. Арутюнян от Армении, М. Лауристин и Ю. Вооглайд от Эстонии. Показательно, что все они вошли в состав так называемой Межрегиональной депутатской группы, лидером которой стал академик Андрей Сахаров.

Повсеместно можно было наблюдать массовую активность, которая проявлялась в самых различных формах. Например, социологи, и это является их гражданской заслугой, поддержали общественные движения, выступавшие за перестройку. В этой связи нельзя не упомянуть об уникальном опыте молодых социологов (Е. Здравомысло-

вой и других), которые имели возможность наблюдать эту «перестроенную» активность «изнутри» (Социология в России 1998: 548–549). По их свидетельству, неформальный, дружеский характер формирующихся новых социальных образований и сообществ создавал особую атмосферу, вследствие чего социологи, изучавшие движения, становились их рефлексировающей частью, принимая на себя роли консультантов, экспертов и идеологов.

Участники разных движений неоднозначно относились к социологам, что отражало двойственный статус самой социологии в общественном мнении. Представителями групп умеренно реформистской направленности (различного рода Народные Фронты, клубы «Демократическая перестройка», «Перестройка») социология воспринималась как инструмент демократического переустройства общества. Взаимодействие здесь было вполне обеспечено. Правда, антикоммунистически настроенные участники движений проявляли осторожность, демонстрировали избирательность отношения к отдельным социологам. Наиболее радикально настроенные представители «Демократического союза» рассматривали, расценивали социологию как идеологизированное псевдосознание, поставленное на службу тоталитарного режима. Такие группы искали «своих» социологов, создавали собственные исследовательские группы. Участники националистических и коммунистических групп не допускали социологов по другой причине. Вред социологии они видели в том, что изначально она идентифицировала себя с западными научными теориями и демократами.

Как показал анализ, радикализация движений была связана с вовлеченностью социологов в их деятельность одной весьма важной зависимостью. Вовлеченность заметно падала, по мере того как стали обозначаться полюса отношения к горбачёвским реформам. Нечто подобное происходило и с обществоведами — депутатами Верховного Совета и делегатами Съезда народных депутатов. Радикализация политических настроений и платформ внутри этих органов власти поставила их перед выбором между политикой и наукой. Когда этот выбор был сделан — одни социологи ушли во властные структуры, а другие вернулись «в лоно науки», ощутив свою «неуместность» в политике.

В этой связи интересно признание, сделанное Т. Заславской и преданное гласности в 2000 г. Став депутатом Верховного Совета, она с особой остротой осознала свою общественную функцию: «...я очень быстро почувствовала себя не на своем месте уже на I Съезде народных депутатов. Поняла, что попытка непосредственно включиться в политическую жизнь и борьбу была с моей стороны ошибкой. Для меня это совершенно чуждый и неприятный вид деятельности» (Социальная траектория 1999: 338). Показателен в этом смысле и пример из ельцинского времени. В Президентский совет были включены «от со-

циологии» Б. Грушин и Г. Сатаров; последний работал одно время научным сотрудником ИС РАН. Оба они вышли из совета, когда стала ясной «семейная политика» Ельцина.

Нельзя обойти вниманием и собственно исследовательскую деятельность в период перестройки. Ее вектор в значительной мере определялся выбором между политической ангажированностью и научным отстранением.

Новый общественный климат в стране позволил социологам собрать большое количество исключительно важных данных, которые способствовали продвижению горбачёвских реформ. Достоянием самых разных слоев общественности стали запрещенные ранее сведения о распространении в стране проституции, преступности, самоубийствах, наркотиках и наркомании. Начались интенсивные и репрезентативные исследования по самому широкому кругу социальных проблем (отношение к перестройке и реформам, частная собственность на землю, социальная справедливость, проблемы общественных движений, выборность директоров на государственных предприятиях, брачные сексуальные отношения, война и мир глазами армянских детей, коррупция в различных сферах жизнедеятельности, рок-н-ролл и молодежная субкультура, отношение студентов к преподаванию общественных наук, и др.).

Подчеркну демократическую направленность этих исследований. Ведь часто одна из основных целей их проведения состояла в том, чтобы информировать население о существовании процессов, имеющих место в обществе. Иное дело, какое влияние эти исследования, а также другие работы перестроечной поры оказали на политический процесс в стране. Точных данных, относящихся к этой теме, нет. Но все же какая-то часть такой информации оказалась полезной для деятельности партийных и государственных органов. При этом, конечно, имели место определенные концептуальные продвижения в анализе таких проблем, как отчуждение от труда, природа советской политической системы, бюрократизация при социализме, протестные движения и забастовки, карабахский конфликт, рабочее самоуправление, история развития номенклатуры, критика бюрократии, динамика развития и изменений социальной структуры, становление общественных движений<sup>5</sup>.

Свидетельством перестроечной активности социологов является «взрыв» исследований общественного мнения, позволивший проиллюстрировать основные процессы и события перестроечного периода реакциями населения в целом и его отдельных слоев. Впечатляющий

---

<sup>5</sup> Достаточно полный список работ, касающихся всех перечисленных выше направлений социологического познания, был впервые опубликован в работе Д. Шалина (Shalin 1990).

сюжет — программа группы «Марафон», которая осуществлялась совместно исследовательскими коллективами ВЦИОМ и ИС АН СССР на I Съезде народных депутатов СССР (29 мая–9 июня 1989 г.) (Социология в России 1998: 580–581). В течение всего периода работы съезда проводились ежедневные опросы граждан в разных точках Советского Союза. Центральной темой опросов было отношение советских людей к событиям, происходившим на съезде. «Впервые в мировой практике работа высшего органа представительной власти отражалась в опросах населения, а депутаты имели возможность соотносить свою реакцию с оценками избирателей» (Там же: 581).

Результаты обрабатывались в оперативном режиме и, что еще более важно, не только регулярно рассылались всем депутатам, но и попадали на страницы печати (газеты «Известия» и «Вечерняя Москва»), а также на радио и телевидение. ИС АН СССР проводил опросы в шести крупнейших городах страны (Москва, Ленинград, Киев, Таллин, Тбилиси, Алма-Ата), используя метод интервью по телефону. Сотрудники ВЦИОМ работали в Алма-Ата, Вильнюсе, Горьком, Днепропетровске, Ереване, Киеве, Красноярске, Ленинграде, Львове, Новосибирске, Перми, Риге, Таллине, проводя интервью «лицом к лицу» по месту работы респондентов, на улицах и дома. В итоге научно достоверными методами (с высокой степенью контроля качества первичной информации) была зафиксирована «уникальная историческая ситуация» в восприятии ее представительными группами городского населения страны.

Однако не обошлось без рецидива со стороны ЦК КПСС: он вновь вмешался в действия социологов. Аппарат ЦК пытался контролировать как ход съезда, так и реакции населения на особенно острые, порой драматические события, которые возникали в зале заседаний съезда. Напомню, что речь академика Сахарова, в которой он предлагал незамедлительно вывести советские войска из Афганистана, была неодобрительно встречена прокоммунистическим большинством депутатов. Вопросы о том, как относится к этой проблеме население страны, группа «Марафон» включила в опросный лист, преодолев сопротивление партийного «куратора», назначенного для «присмотра» за социологами, а также для тщательной цензуры итогов опросов. При рассылке бюллетеней опросов депутатам высшего, всенародно избранного органа из них изымалась часть достоверной информации. Так, партийный аппарат попытался утаить тот факт, что большинство избирателей поддержали академика Сахарова — в отличие от консервативно настроенного ядра депутатов (Там же: 581). Полную картину выявленных мнений удалось представить обществу уже после закрытия съезда.

Особые сюжеты истории социологии тех лет — создание большого числа новых исследовательских центров, включая центры со статусом независимых учреждений, небывалый ранее рост количества

и качества международных контактов и обменов после отмены барьеров и ограничений на выезд за рубеж и приглашение иностранных ученых. Внутри академической социологии имел место сознательный отказ от многих элементов административного планирования и управления, ослабление влияния административной структуры и служебной иерархии. Научные сотрудники ИС АН СССР, а также его ленинградского филиала получили свободу в выборе тематики и проблематики исследований (научных проектов) (Социология в России 1998: 39–40). Другое дело, как воспользовалось академическое сообщество освобождением от административно-командных требований. Но это уже феномен функционирования российской социологии, новая эра которой началась в декабре 1991 г.

### **8.6. Финал: два события из летописи советской социологии**

Излагая свою версию истории социологии в первом издании книги, я прошел мимо двух важных сюжетов и связанных с ними фактов. Теперь я могу исправить этот недостаток.

(1). Внешние деления социологии были и остались более заметными, чем внутринаучные. Взгляд на роль социологии в эпоху перестройки (чему были посвящены разделы 8.4 и 8.5) зависит от того, в какой точке находится наблюдатель, с какой командной высоты он обозревает события перестроечного времени. Мой наблюдательный пункт мысленно размещался в Институте социологии АН СССР (ИС РАН) — ведущего социологического учреждения в период 1968–1991 гг., который сохранил, как мне кажется, этот статус в условиях обновленной России. В марте 1991 г. из его состава отпочковалась группа секторов и отделов во главе с членом-корреспондентом АН СССР, профессором Г. Осиповым. В итоге возник новый академический центр — Институт социально-политических исследований АН СССР (ИСПИ РАН).

Версии, объясняющие причины выделения «хутора Осипова» из «деревни Ядова», различаются. Приведу версию Ядова: «В Постановлении Президиума АН СССР о создании Института социологии говорилось, что институт должен заниматься исследованием *фундаментальных* проблем советского общества. Ученому совету предстояло определить эти проблемы. Получилось то, что, как теперь ясно, и должно было произойти. Коллектив раскололся надвое: одни сотрудники сгруппировались на основе научной программы Г.В. Осипова, другие (большинство) на основе программы директора. Наша программа была нацелена на содействие перестройке, а программа моего коллеги была несколько консервативной. Развело эти точки зрения

образование двух социологических институтов» (Полвека борьбы и свершений 2008: 155).

Версия Осипова выдержана в несколько иных тонах. Формальной причиной «бифуркации» ИС РАН он считал появление двух концепций перестройки и реформирования СССР и России. «Первая концепция исходила из необходимости полного разрушения всего того, что было создано в период руководства КПСС страной, всемерного расшатывания социальной стабильности и социального порядка. Эта концепция имела реальные основания, так как замедление темпов разрушения системы управления советским обществом несло потенциальную угрозу партократического реванша. Однако эта концепция имела и другую сторону. Форсированное разрушение было чревато непредсказуемыми последствиями для общества, государства и человека, что и подтвердилось впоследствии» (Там же: 42–43).

Вторая концепция, ее сторонником был Г. Осипов, во главу угла ставила человеческое измерение. «Согласно этой концепции, все реформы реакционны, если при их осуществлении социально, морально и физически деградирует человек и распадаются социальные связи. Именно поэтому должно опираться на четкие правовые основы, любая реформа должна оцениваться с точки зрения социальных последствий для человека и общества» (Там же: 43).

В качестве рефери выступила партийная организация ИС РАН, опираясь на дарованное ей брежневской Конституцией право контроля за хозяйственной деятельностью администрации Института. Партбюро, обсудив обе программы, поддержало директора В. Ядова, сказавшего, что Институт под его руководством будет работать на М. Горбачёва. С этим решением Г. Осипов категорически не согласился. «Институт должен работать на науку, а наука на процветание российского общества» — такова была его, Осипова, точка зрения.

Конфликт разрешил президент АН СССР, академик Г. Марчук. Однако, разводя участников спора по разным «академическим квартирам», президент вряд ли выразил согласие с тем, что настало время для борьбы с реакционностью реформ тогдашнего партийного руководства страны. В марте 1991 г. Академия оставалась учреждением, послушным воле и решениям ЦК КПСС, партия для нее по-прежнему была Рулевым. Спор, который, на самом деле, отражал конфронтацию проперестроечной и антиперестроечной позиций, тогда не мог выйти на поверхность. Осипов был для руководства АН СССР ученым не менее ценным, чем его оппонент. Недаром в том же 1991 г. Г. Осипова избрали членом-корреспондентом АН СССР. Руководимый им коллектив программы «Социальное развитие советского общества: показатели и индикаторы», проблематика которой изначально не содержала в себе никакой скрытой и тем более явной оппозиции перестройке, был



сначала выделен в самостоятельное отделение ИС РАН. Затем отделение преобразовали в ИСПИ СССР (РАН).

Позднее, не в момент принятия решения о создании ИСПИ РАН, а в условиях новой России, Осипов отождествит ИС РАН и ИСПИ РАН соответственно с двумя направлениями (школами российской социологии), различными по характеру, содержанию и видению российских реалий (Полвека борьбы и свершений 2008: 44).

Предоставляю слово третьей стороне — новому поколению отечественных социологов. Политическая ангажированность, под знаком которой проходило становление дисциплины в начале XX века и ее возрождение после смерти Сталина, сохраняет свое значение в наше время. Плюрализм перестроечной поры политически и институционально разделил «активных сторонников преобразований» и «оппозицию радикализму государственных реформ» (Бикбов, Гавриленко 2002: 14)<sup>6</sup>. Две крупные части социологического сообщества вышли из развалин Советского Союза двумя колоннами. Лидеры первой колонны и их сторонники шли под лозунгами: гражданское общество, либеральные реформы, демократическая экономика. Лидеры второй колонны и их сторонники пошли под знаменами духовности, народовластия, державности (Там же: 15). Соглашусь с авторами, на которых я ссылаюсь, в том, что лозунги обеих колонн воспроизводят риторику начала–середины 1990-х. Однако своим рождением они, как я думаю, обязаны событиям, которые восходят к концу 1950-х гг. и отражают не столько политическую принадлежность, сколько общественные настроения, возникшие вследствие расшатывания и кризиса коммунистической идеологии и раскачавшие в конечном счете корабль советской системы. Но к этому и к сохраняющейся власти идеологий я вернусь в заключительном, девятом очерке.

---

<sup>6</sup> Наверное, по этой причине трудно согласиться с утверждением академика Г. Осипова, что ИС РАН и ИСПИ РАН в одинаковой степени являются правопреемниками ИКСИ АН СССР, от которого берет свое начало советская социология 1950–1980-х гг. (Осипов 2008). Опыт полувекowego противоборства социологов-«шестидесятников» и власти, который мы привычно и не одно десятилетие отождествляли с деятельностью первого академического социологического института, был по прямой линии унаследован ИС РАН в границах последних лет советской истории и первого пятнадцатилетия российской. Вопрос о новых правопреемниках должно решать социологическое сообщество путем свободного выражения мнений. Впрочем, у сообщества не так давно был повод сплотиться вокруг Российского общества социологов в ответ на странную инициативу академиков-генералов создать Союз социологов России (сокращенно — ССР). На дворе уже третье тысячелетие, но академики-иерархи считают, что путь к величию страны единственный и состоит он «в достижении такого состояния, когда страна будет восприниматься как Солидарная Суверенная Справедливая Россия. Это и будет СССР в том виде, в котором Россию привыкли уважать, а с ее интересами — считаться» (Полвека борьбы и свершений 2008: 120).

(2). Еще один сюжет — официальное освобождение дисциплины от власти идеологических доктрин. Весной 1990 г. Владимир Ядов, тогда директор головного академического учреждения, ИС РАН СССР, опубликовал принципиально важную статью в журнале «Социологические исследования» (Ядов 1990). «Любая социологическая концепция, — писал Ядов, — так или иначе катализируется некоторым философским мировоззрением. И коль скоро наша социология прямо связана с диалектико-материалистическим мировоззрением, марксистской философией, она имеет основания называться марксистско-ленинской» (Там же: 6). Затем он продолжил свою мысль, отчетливо осознавая приближение финала советской истории, равно как и все связанные с этим эпохальные (иначе не назовешь) изменения, участником и свидетелем которых был каждый профессиональный социолог. Он заявил о необходимости покончить с изоляцией социологической науки путем ее присоединения к мировому научному сообществу: «Пора покончить с иллюзией самодостаточности социологии потому только, что она опирается на научное диалектико-материалистическое мировоззрение. Развитие нашей социологии будет успешным, если преодолеть отрыв от мировой социологической науки путем освоения всего ценного, что достигнуто за два века ее существования» (Там же: 15–16).

Следующий важный официальный шаг состоял в публичном отказе от признания гегемонических притязаний марксизма в области теории и идеологии. Однако он стал возможным лишь после образования Российской Федерации и закрепления гарантий политических свобод в тексте Конституции нового государства. «Именно доктринерский стиль “коммунистической” политики и идеологии отвергается мировым социологическим сообществом. Что же касается фундаментальных идей Маркса в области социальной философии, то как раз эти идеи, особенно концепция активности социального субъекта, не только остаются животворными, но, пожалуй, вновь становятся центром притяжения в конструировании современной общественной теории» (Интервью 1992: 34–35).

Опираясь на собственные впечатления от первых лет жизни новой России, добавлю, что отказ от власти доктринального марксизма прошел безболезненно и для большинства членов социологического сообщества. Именно здесь я и поставлю точку в истории советской социологии 1950–1980-х гг. Крах государства, целям которого она служила, помог ей обрести черты полноценной и свободной, нормальной науки...

# Очерк 9

## О СОВЕТСКОЙ СОЦИОЛОГИИ ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ

### 9.1. Максима Бориса Грушина

Одно дело — резюмировать повествование и предложить вариант со «счастливым концом», ведь социологическая наука сохранила способность к неуклонной эволюции и даже смогла в значительной степени восстановить нанесенный ей советским временем ущерб. Другое дело — бескомпромиссная экспертная оценка состояния социологического знания, соотнесенная с реалиями жизни страны в изучаемый период.

В качестве первого эксперта привлеку А. Алексеева. Современной советской социологии, писал он в 1980 г., около 25 лет (Алексеев 1997: 191–194). До середины 1950-х гг. она благополучно размещалась в лоне Идеологии. «Родовые схватки» в конце 1950-х высвободили ее из чрева. Устремление к Реальности и первые опыты ее непосредственного восприятия составили содержание младенческого, «донаучного» периода жизни социологии в послесталинское время (схема 1, *стрелка 1*). Последующий период (1960-е гг.) — научный (схема 1, *стрелка 2*). Он был самым плодотворным для развития социологической мысли, которая в этот момент, более всего за упомянутые четверть века, выражала свою сущность — была наукой о социальных процессах и явлениях. Но так длилось до поры, «пока она не успела “онаучиться” настолько, что реальность стала рассматриваться социологами сквозь некие телескопические линзы, а сама действительность не заместила движущимися в этих линзах изображениями» (Там же: 192).

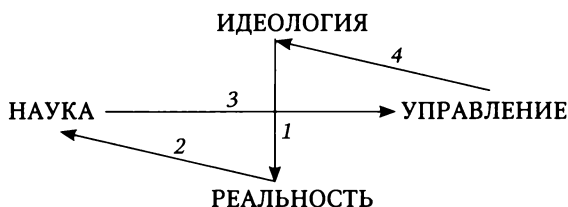


Схема 1. Смена базовых ориентаций социологической деятельности.

На этот период пришлось институционализация, а следом обозначилось движение в сторону Управления (схема 1, *стрелка 3*). Здесь также не обошлось без виртуализации.

Желание включить социологическую информацию в контуры партийного и государственного управления было делом вполне естественным для профессиональных социологов. Однако власть, вместо того чтобы использовать данные социологического анализа для принятия решений, канализировала социологическую энергию в область «управления» образом жизни (объектом, не поддающимся непосредственному управляющему воздействию), а также в такую мистифицированную область, как социальное планирование, где главную роль играло «жонглирование» социальными показателями. Этим не зачеркивается полезная деятельность возникшей в 1970-е гг. «заводской» и «хоздоговорной» социологии. Речь идет о другом. Научно-обоснованное управление обществом с помощью социологических данных не являлось целью власти. Она больше всего боялась болезненности соприкосновений с реальностью. Уберечь себя от необходимости изменять status quo — значило призвать на помощь все ту же Идеологию, которая в этой ситуации, как образно пишет А. Алексеев, предъявила на Социологию свои законные «родительские» права: попрыгала, доченька, — давай обратно в «лоно»! (Там же: 193). Движение в сторону Идеологии (схема 1, *стрелка 4*) знаменует собой последнюю фазу развития социологии.

В итоге прорыв социологического сообщества к реальности, который только и мог обеспечить нормальные условия функционирования и развития социологической науки, не состоялся. В начале 1980-х гг. сложилась следующая картина: «...академические ученые остаются с убеждением, что они еще имеют дело с Реальностью; социальные планировщики тшатася считать себя Учеными; идеологические пустобрехи мнят себя управителями общественных процессов; кто-то и впрямь ближе к Науке, чем к Управлению, кто-то ближе к Управлению, чем к Идеологии, только к Реальности уже никто не ближе, чем к чему-либо другому...» (Алексеев 1997: 193–194).

Я уже писал об историческом зле, каким было ослепление перед внушаемым могуществом государства. По этой причине в качестве второго эксперта я тогда выбрал Б. Грушина. Ту же мысль он выразил так: «С помощью плотнейшей и всепроницающей системы мифов и лжи фантазмагорический Левиафан, именовавший себя первым в мире государством рабочих и крестьян, сумел-таки скрыть от всего мира, не говоря уже о нем самом, подлинную личину и нутро. Не 5 и не 10 лет, а на протяжении многих десятилетий он удерживал в сплошном неведении относительно себя не только десятки миллионов собственных граждан, но и несметные разноплеменные массы иностранцев, включая умнейших людей планеты» (Грушин 2000).

В заключение Грушин предложил максимум, логический принцип, весьма близкий к афоризму, который, однако, может выступать в роли надежной гипотезы: *главной формой знания о современной России является скорее незнание о ней* (Грушин 2000).

Человек пытливым и хороший логик, Грушин отказался от того, чтобы в данном случае привычно опираться на тютчевские строки «Умом Россию не понять...». Он решил найти причины, порождающие это «непонимание», и построил схему-классификацию «Основания ошибочных суждений о современной России» (схема 2).

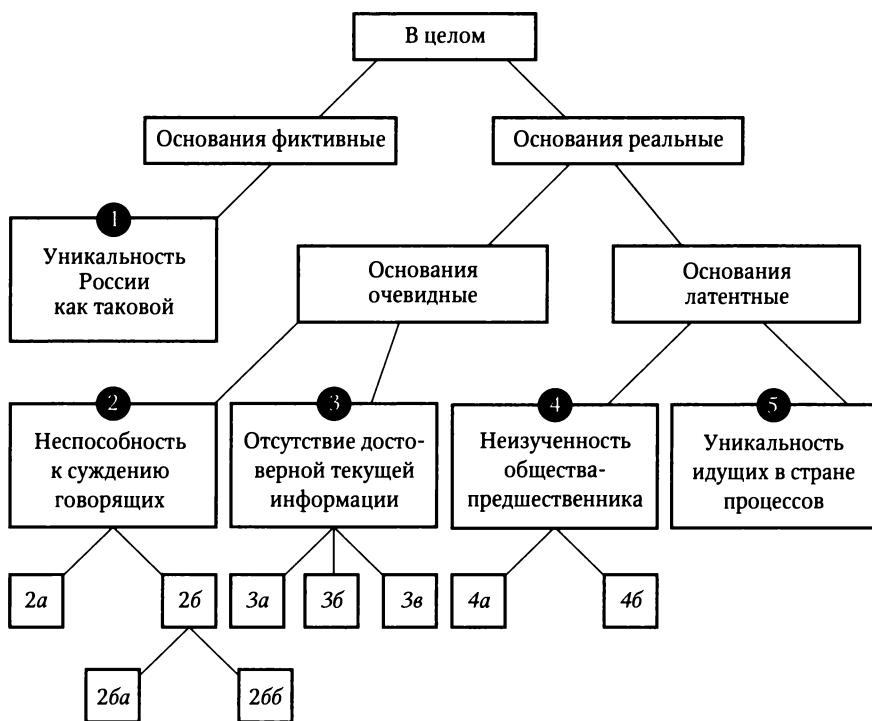


Схема 2. Классификация оснований ошибочных суждений о современной России (по: Грушин 2000).

2a – непрофессионалы; 2б – профессионалы; 2ба – необъективность суждений (в силу включенности в идущие процессы); 2бб – отсутствие новых исследовательских методов и технологий; 3a – статистика; 3б – журналистика; 3в – нака; 4a – традиционное (дооктябрьское) общество; 4б – советский тоталитаризм.

Схема обладает свойством инвариантности, и поэтому ее можно перенести на Советский Союз 1950–1980-х гг. и на социальные дисциплины, включая социологическую науку того периода.

В схеме четко выделены как минимум три сферы приложения сил профессионалов-социологов, в границах которых они прежде всего *должны были и могли бы* развернуть свои действия с целью развития общественного самосознания. Четвертую сферу (преодоление неизученности предшествующих периодов советского общества, дефицит исторического подхода и объяснения, таксон классификации 4 – 4а, 4б) мы рассматривать не будем, считая ее в значительной степени зависящей от действий историков. Три отобранные сферы (в языке эксперта – автора схемы) являются:

1) внесение социологической составляющей в теоретический анализ социальных процессов, наиболее точно отражавших социальную сущность советской общественной системы (таксон классификации 2 – 2ба);

2) разработка методов и техник, исследовательского инструментария для сбора и интерпретации эмпирических данных, адекватных изучаемой социальной реальности (таксон классификации 2 – 2бб);

3) расширенное воспроизводство достоверной социологической информации о жизни советского общества в прошлом и настоящем с целью преодоления дефицита знания о самом себе (таксон классификации 3 – 3в).

Выделим факторы, которые в каждой сфере содействовали порождению и устойчивому преобладанию ошибочных суждений о советском обществе.

**Сфера 1.** Здесь обращает на себя внимание тот факт, что социальные науки не смогли преодолеть «лакировочных тенденций» и теоретически строго представить, концептуализировать основные стороны реального функционирования и развития советской общественной системы, фактическое содержание социальных отношений. Профессиональное сознание в итоге признало кризис концептуальности, дефицит проблемности, описательный эклектизм многих теоретических построений, узость и ограниченность исторического подхода в социологическом анализе (Яковлев 2001: 197). Более того, первые годы перестройки привели к осознанию теоретических тупиков, бесплодности коллективного увлечения идеями всеобщей переделки, «перекройки» мира, общества и человека. Однако катарсис, очищение, а следом за ним и открытое критическое осмысление жизни советского социума начались лишь в момент, когда этот социум фактически перестал существовать.

**Сфера 2.** В этом случае «незнание советского общества» проистекало от несовершенства методической стороны дела. Например, отечественные социологи позже своих западных партнеров усомнились

в универсальных возможностях так называемых жестких методов с их заранее сформулированными гипотезами и способами контроля над процедурами сбора первичных данных. Одновременно им начал сильно мешать преднамеренный операционализм, суровую школу которого все они, как правило, многократно проходили начиная с конца 1960-х гг. Не буду также углубляться в проблему становления качественных методов и борьбу школы количественных методов за сохранение своей гегемонии. Важно другое. Советская социология, традиционно и длительное время опиравшаяся на количественные методы, выглядела часто бес-субъектной; уходила от жизненных реалий, индивидоцентричных (человекоцентричных) контекстов. В таких случаях от опасности нежизненных представлений, основательно деформировавших субъект, не спасало даже такое испытанное средство «в боях» за обоснованность социологической информации, каким была на взлете советской социологии объективно-логическая репрезентативность (Алексеев 1997: 28–29).

Сегодня внутреннее доверие к количественным методам пока сохраняется, однако качественные методы кажутся более привлекательными. К тому же, как это не раз подчеркивалось в апологиях качественных методов, количественная социология предлагает результаты измерений, выраженные на искусственных (формализованных) языках, а качественная — результаты наблюдений, записанные с помощью естественного языка. При этом одна часть социологов, пытаясь достичь убедительности, стремилась войти в жизненные миры индивидов, а другая часть старалась обойтись без этого, считая себя прикрытой броней из чисел и потому неуязвимой. В итоге возникло противостояние числа («позитивной науки») и естественного языка (актора). Однако представляется, что качественные методы ближе к дыханию жизни социума, к возможности понять его настроение, структуру и особенности повседневной деятельности индивидов. Историческое время, которое лишало людей права на сомнение, уходит, и потому наблюдаемая девальвация как идеологизированных, так и кажущихся безошибочными позитивистских конструкций реальности является делом закономерным. Так с опозданием, постепенно, восстанавливается в правах доверие к «понимающей» социологии (Интервью 1999: 20).

**Сфера 3.** Основное препятствие для получения достоверной текущей информации картины жизни общества — длительное господство «этоса идеологии», оттеснившего «этос науки». Академику Т. Заславской принадлежат суровые, но справедливые слова о том, что социальные дисциплины в нашей стране долгое время оставались в арьергарде общественной жизни. Замечание это в полной мере относится и к социологии. Основной профессиональный канон этой науки — олицетворять истину и мужественную совесть общества — не удалось полноценно реализовать после того, как партийными декретами послесталинской поры

было «высочайше» разрешено заниматься конкретными социальными исследованиями.

Один немецкий историк, посетивший нашу страну на заре советской цивилизации, вынес из своего визита впечатление, которое оправдывает акцент моей книги на взаимоотношениях социологии и власти: «Большевики организовали народное образование (читай: и науку об обществе. — Б.Ф.) так, чтобы никто не мог выйти за пределы официально разрешенного уровня знаний и образования, дабы не возникла для пролетарского государства опасность приобретения гражданами излишнего объема знаний, что превратило бы их в “подрывной” элемент» (Fulop-Miller 1927: 243). Этот вывод сохранял свою силу до ее предзакатной поры.

## **9.2. Амбивалентность социальных ролей советских обществоведов**

Исторический контекст развития России побуждает искать постоянные сопряжения и оппозиции двух терминов: интеллигенция и интеллектуалы. Только в обыденной речи они близки по смыслу. Массовое сознание, как правило, ставит здесь знак равенства. Для него интеллектуалы и интеллигенция — прежде всего люди с достаточно высоким образованием, не лишённые к тому же творческого дара. Однако научное сознание не считает эти термины тождественными.

Понятие «интеллигент» связывается не столько с местом в социальной структуре (с принадлежностью к образовательному классу), сколько с известной социальной ролью. Так уж сложилось, что быть интеллигентом означает выполнять определенную историческую миссию, выступать нравственным образцом для других членов общества, участвовать в просвещении народа. «Всегда считалось, что хотя у интеллигенции нет устава, у нее есть неписанный кодекс чести, свои нравственные правила, которые она не может перейти ни при каких условиях: не лгать, не предавать, не интриговать, ни в коем случае не оскорблять человеческого достоинства, уважать чужую свободу как свою, не сотрудничать ни с палачами, ни с помощниками палачей» (Андреев 1995: 212). Интеллигент — человек высокой идеи, посвятивший себя заботам об общем благе, служению правде, истине, справедливости. Существует давняя традиция считать интеллигенцию исключительно русским феноменом. Макс Вебер писал на заре прошлого века, что данное понятие неприемлемо в западных странах, «это — ситуация в самой России» (Давыдов 1994: 244).

Однако XX век показал, что представление об исключительно русской природе интеллигенции неверно, ее феномен присущ всем модер-



низирующимся обществам, связан с определенным концентрированным мировосприятием, поскольку интеллигенция выступает важным фактором модернизации (Левада 1994: 209). Более определенно: интеллигенция должна считаться идеологическим ресурсом модернизации для преодоления сопротивления реформам, которые осуществляются в рамках общественных преобразований. Историческое время интеллигенции — конечно, оно ограничено периодом, в течение которого актуализируются потребности реформирования недемократического государства и общества. Именно в этот период действует специфический «Закон сохранения интеллигентности» (Кордонский 1995: 87), который состоит в том, что интеллигенция выделяется из образованного сословия и добровольно принимает на себя роль наставника, поводыря «незрелого» народа, учителя жизни. Одновременно, как показывает история, в эти периоды интеллигенция начинает участвовать в деятельности властных структур, поскольку пробуждение властных амбиций в подобных случаях является неизбежным.

Переход к рынку и демократии отменяет необходимость «учить народ» и вести его за собой. Отменяется нужда в высокой политической ангажированности интеллигенции (когда она берется за конструирование утопий и навязывает свое видение мира). Эта ангажированность свидетельствует одновременно о слабости государства, не способного в переломные моменты своей истории эффективно решать задачи общественного развития.

Есть более критическая точка зрения, согласно которой фактическое существование интеллигенции ограничено лишь рамками периода, начинающегося в 60-е гг. XIX в. и заканчивающегося в 20-е гг. XX в. В этот период имели место взлет интеллигенции, ее раскол по идейным основаниям в преддверии Октябрьской революции, подготовка к уничтожению интеллигенции после прихода к власти большевиков. Реальный период сменился фантомным, когда интеллигенцию заменил гонимый властью дух (Левада 1993: 157–158).

В таком рассуждении нет мистики, если принять во внимание, что фактический выбор, предложенный интеллигенции советской властью, был ограниченным. Наиболее вероятными вариантами этого выбора оказались физическая гибель, репрессии, депортация, вынужденная эмиграция. Альтернативы для меньшинства, которому удалось избежать участи гонимых и преследуемых властью, были немногочисленными.

Главная среди них, которую вынужденно приняли российские интеллигенты, состояла в получении статуса государственных служащих, что сделало их (и шире — образованные слои советского общества) частью государственной бюрократии. Этатизация, или огосударствление, была всеобщей и распространялась на всю интеллигенцию — научно-техническую, творческую, гуманитарную, художественную. Фактиче-

ски каждый интеллигент стал чиновником, то есть принадлежал к сфере социальных отношений, где любой вид деятельности был одновременно, и прежде всего, государственной службой. Кроме государства, в лице его институтов, других работодателей не было, и даже занятия так называемыми свободными профессиями требовали актов государственной регистрации. Статистика свидетельствует, что если до революции на «государевой службе» состояло менее четверти всех представителей интеллектуального труда России, то уже в первые годы после нее — подавляющее большинство («кто не работает, тот не ест»), а к концу 1920-х гг. — практически 100%.

Разные грани процесса этатизации прослеживаются на примере Академии наук, которая в считанные годы попала в тотальную финансовую и политическую зависимость от государства, утратив если не все, то подавляющее большинство академических свобод, в том числе главную — свободу творчества. Содержание ее деятельности стало во многом отвечать функциям подконтрольного власти Министерства науки. Творчество и интеллектуализм могли в таких условиях развиваться лишь в «разрешенных» коммунистической партией и советским правительством направлениях. Аналогичным образом сложилась судьба творческих союзов — писателей, художников, композиторов. Уже перед Отечественной войной они были интегрированы в громоздкую машину коммунистической пропаганды и стали обслуживать ее цели. Общеизвестное высказывание Сталина, назвавшего писателей «инженерами человеческих душ», лишено комплиментарного смысла. Оно точно выражает стремление власти к установлению контроля над человеком с помощью законопослушного искусства (читай: культуры, науки, институтов образования).

Итак, подведем первые итоги. В условиях России конца XIX—начала XX в. интеллигенция заявила о себе как о специфическом слое общества, который выполнял двойную функцию: выступал в роли социального критика и олицетворял совесть общества. Здесь полезно вспомнить емкие слова А. Солженицына, определившего интеллигенцию как ядро нации (народа), «воспитанное не столько в библиотеках, сколько в душевных испытаниях» (Солженицын 1991: 43). Этатизация образованных слоев общества, просуществовавшая вплоть до развала СССР, табуировала эту функцию, наложила на нее запрет. Служебным долгом советских интеллигентов «всех мастей» стало воспевание советской действительности.

Советская интеллигенция появилась на рубеже двадцатых-тридцатых годов в качестве искусственно созданного слоя (выдвиженцы, партийный аппарат и т. д.), который официально рассматривался как альтернатива старой и, конечно же, насквозь буржуазной русской интеллигенции. Журнал «Неприкосновенный запас» приводит интерес-

нейшую выдержку из Толкового словаря русского языка, изданного в 1935 г. (под ред. Ушакова). Согласно словарю, интеллигентом тогда назывался человек, принадлежащий к интеллигенции, социальное поведение которого, характеризовалось безволием, колебаниями, сомнениями. В словаре содержался намек на то, что в обиходе, в повседневном употреблении слово интеллигент могло звучать как презрительная кличка. И дабы убедить читателя в возможности такого толкования слова, редактор (кстати, тоже интеллигент!) приводил ленинское высказывание: «Вот она, психология российского интеллигента: на словах он храбрый радикал, на деле он подленький чиновник» (Живов 1999: 51). Поэтому естественным делом партии было избавить новую интеллигенцию от старых болезней. Для этого ее держали на коротком поводке. После смерти Сталина поводок остался. Длина его не изменилась, но зато он стал мягким. Противостояние было исключено, а послушание по-прежнему ценилось более всего.

В итоге как минимум три поколения советских интеллигентов делали в основном не то, что надо было, и не так, как надо было, израсходовали впустую массу сил, потеряли миллионы жизней и в конце концов надорвались. Здание, которое потом с таким грохотом обвалилось на наших глазах, никогда не могло быть построено без участия советской интеллигенции (Шмелев 1998: 40)<sup>1</sup>. Жертвы и потери могли быть существенно меньше, если бы не вирус болезни самоистребления, занесенный российскими интеллигентами в общественный организм в начале XX в.!

Разбирая фатальную роль этатизации в судьбах советской научной, прежде всего социальной, мысли, полезно поставить более общий вопрос о нормах и формулах отношения советского государства к слоям-носителям этой мысли, которые отграничиваются не столько с помощью формальных координат в социальной структуре, сколько по способности к высшим формам умственной деятельности (Кириллов 1995: 143).

---

<sup>1</sup> Крах советской системы был предопределен деградацией верхнего эшелона власти. Хотя правы те, кто считает, что он наступил из-за истощения культурных, идеологических, человеческих ресурсов (Гудков 1999). Задача советской интеллигенции состояла в легитимации советской власти и обеспечении поддержки режима. Последнее достигалось с помощью образования, готовившего прежде всего функционеров. Унифицированные модели этого образования исключали возможности для индивидуального разнообразия, вариативности, выбора, конкуренции, личного достижения. Культурные ресурсы социальной системы исчерпались довольно быстро. Их хватило на первичную индустриализацию, военную модернизацию и ликвидацию (с громадным напряжением) ущерба и разрушений, вызванных Второй мировой войной. Дела двигались до той поры, пока была догоняющая индустриализация. Но едва начался период постиндустриализма, рассчитанный на преобладающую роль науки и воспроизводство знаний, страна остановилась. Начался склероз внутреннего развития образованного общества.

Эти слои элитарны по своей природе. А ргіогі их образует меньшинство, способное делать то, что недоступно большинству. В таком качестве интеллектуальные слои выступают оппонентами «простому советскому человеку», чей культ составлял основу советской идеологии, отрицавшей не только возможность каких бы то ни было проявлений элитарности, но и само понятие элиты как чуждой государству и обществу всеобщего равенства и братства. Коммунистическая доктрина не видела перспектив для автономии интеллектуального слоя, поскольку в основание советской системы закладывалась идеологема, вернее сказать, мифологема социальной однородности. Лозунгом партии было превращение всех людей в интеллигентов. При этом отрицалась особость, специфика и необходимость поддержки «думающего слоя», от которого в реальности зависел прогресс страны, ее место в общецивилизационном процессе.

Важно, что парадигма социальной однородности опиралась на ряд механизмов ее реализации. Один из них — избыточное, демпинговое воспроизводство интеллектуальной прослойки, лишенной, однако, претензий на элитарность. Связанные с этим «большие скачки» начались в 1930-е гг. (форсированные кампании по набору студентов пролетарского происхождения, открытие рабочих факультетов, массовые назначения «выдвиженцев» на должности, требующие высокопрофессионального образования, гипертрофированный рост высших учебных заведений на периферии страны, и др.). Я бы рискнул назвать этот процесс *десакрализацией интеллектуальных профессий и интеллектуального труда*. Итогом «больших скачков» сначала явилось усреднение, а затем и резкое снижение гуманитарного стандарта высшего и среднего образования, лишение его гуманитарной основы, сокращение академических форм обучения в пользу торжествующей прагматики народнохозяйственных планов. Если наложить на этот процесс искусственное насаждение «партийных дисциплин» при одновременном изгнании из стен вузов предметов, определяющих уровень общей культуры, то можно говорить о многолетней сознательной деятельности государства и партии, которая вела к постепенной деградации интеллектуальных слоев. Ведь этим слоям, согласно доктрине социальной однородности, предстояло слияние с рабочим классом и крестьянством.

Насильственному установлению социальной однородности помогала система оплаты интеллектуального труда (анализ этой темы стал возможным лишь в постсоветское время). Историческая динамика свидетельствует о следующем.

В условиях царской России материальное обеспечение образованной части общества было удовлетворительным (по данным 1913 г.). Оно отражало высокий социальный статус интеллектуальных профессий и занятий: при среднем заработке российского рабочего 265 рублей

в год заработок людей, относимых к интеллигенции, составлял 1058 рублей (для инженеров он был выше — 1426 рублей). Однако в 1920-е гг. произошел перелом: средняя заработная плата работников интеллектуального труда сравнялась с заработками рабочих, а в некоторых случаях стала ниже. Последовавшая затем интенсивная пролетаризация интеллектуалов завершила процесс их относительного и абсолютного обнищания, как мог бы сказать в этом случае Карл Маркс (уровень материального благосостояния работников интеллектуальных профессий в бывшем СССР уменьшился в 10 раз в сопоставлении с дореволюционным временем) (Кириллов 1995: 155–157).

Данный тренд сохранился в период перестройки и последовавших затем реформ первых лет новейшей российской истории. Государство по-прежнему ценит физический труд выше интеллектуального, делая исключение лишь для служащих государственного аппарата. Не случайно поэтому многие институты власти формируются по политическим признакам. Личные дарования и интеллектуальные способности учитываются во вторую очередь. В частном секторе оплата интеллектуального труда более адекватна, но связана лишь с участием в малом и среднем бизнесе, новых консалтинговых и юридических фирмах, внешнеэкономических службах, банковском и страховом деле, в разработке программ политических партий и движений, стратегий национализма и сепаратизма. Интеллектуалы выталкиваются в такие сферы жизнедеятельности, где скорее амортизируются результаты науки, чем создается новое знание.

Слово «интеллектуалы» вошло в словарь французского языка в 90-е гг. позапрошлого века. Интеллектуалы в полной мере определены своим профессиональным составом (Gagnon 1989: 6), они практически не спаяны между собой. В то же время интеллектуалы определяют процесс производства идей и манипуляции культурными символами. Многие исследователи даруют им свободу от бремени общественных обязанностей как людям, чья гиперфункция состоит в создании широко понимаемой культуры. Наконец, интеллектуалы (в отличие от интеллигентов) могут быть в разных фазах отношений с обществом (отчуждение от него, отстранение, заинтересованный или конструктивный критицизм, когда критика становится нормой поведения; допускается также, что поведение интеллектуала может нести в себе следы политической или социальной ангажированности). Отсюда наиболее интересная проблема связана не с деталями или уточнениями этих дефиниций, а с идеей конверсии интеллигенции в интеллектуалов.

Возможность такой конверсии связывается, прежде всего, с гарантиями высокой степени независимости интеллектуалов от государства. Эти гарантии тем выше, чем большей властью обладает капитал произведенного интеллектуалами знания. Следующее условие: профессио-

нализм и отказ от чисто просветительских и воспитательных функций по отношению к «незрелому» народу вследствие переориентации общества на индивидуальную ответственность как альтернативу патернализму (Левада 1994: 213). Наконец, важна материальная возможность существовать за счет интеллектуального труда в качестве самостоятельного работника. Это связывается с появлением определенной культурной аудитории, к которой интеллектуалы могут апеллировать и в среде которой могут найти необходимую моральную и материальную поддержку, а также с наличием развитых систем коммуникации, которые обеспечивают циркуляцию результатов мыслительной деятельности и животворный обмен мнениями, охватывающий при необходимости все элементы социума (Кон 1999: 361).

Как свидетельствует мировой опыт, поведение всех видов элит в переходный период в значительной мере определено тем, с какой скоростью и с какими издержками происходит процесс конверсии интеллигенции в интеллектуалов — новый класс, миссия которого видится в замене власти денег властью доверительного отношения общества и государства к науке, технике, культуре и образованию и созданию на этой основе обновленных форм существования интеллектуальных элит.

В одной из своих работ И. Селеньи показал, что длительный спор анархистов с К. Марксом был одновременно первой попыткой поставить вопрос о роли интеллектуалов в рабочем движении и борьбе за социализм (Szelenyi, Martin 1991). Например, отец русского анархизма М. Бакунин утверждал, что сложность управления государством и экономикой со стороны государства неизбежно приведет к власти ученых и интеллектуалов (Ibid. 1991: 20). Уже тогда виделось, что интеллектуалы вовсе не обречены на вечную роль выразителей мнений пролетариата, напротив, они могут и будут преследовать собственные интересы.

Технократические классовые теории первой половины XX в. возвели во власть технократическую бюрократию. Согласно этим теориям, СССР называли государством, где правил бюрократический коллективизм и где власть принадлежала, конечно же, не трудящимся, а классу партийно-государственной бюрократии — истинному распорядителю и хозяину всенародной собственности (социализм на базе государственно-партийной монополии). Немного позже Д. Гэлбрайт выделил особую роль инженеров в новом индустриальном государстве. Следом за ним, уже в 1970-е гг., Д. Белл объявил о наступлении эпохи постиндустриального общества, доказывая, что в таком общественном устройстве власть будет принадлежать ученым. Он особо подчеркнул полную зависимость экономического роста от научно-технических знаний.

Универсальное понимание высокообразованных людей как «нового класса» в постиндустриальную эру предложил А. Гоулднер (Gouldner 1976, 1979). По его мнению, левореволюционная и радикальная

интеллигенция вместе с технократами могла при определенных условиях стать самостоятельной исторической силой. Средством для достижения этой цели выступала *культура критического дискурса* (culture of critical discourse) — знания, которыми обладают высокообразованные люди, или их культурный капитал, который позволяет узурпировать власть, отобрать ее от прежних владельцев, будь то закованные партбюрократы (в странах социализма) или частные собственники, владельцы денежного капитала (в капиталистических странах) (Gouldner 1979: 19)<sup>2</sup>.

*Советские и постсоветские интеллигенты в своей массе не стали интеллектуалами.* Предлагаю этот вывод, я исхожу из двух целей. Первая цель — связать вполне определенный комплекс социальных надежд, которые все чаще и чаще мировое научное сознание связывает с современными представлениями об интеллектуализме как ведущей черте современной цивилизации и интеллектуалах, являющихся в идеале носителями этой черты. Цель вторая — предпринять попытку антиинтеллигентского дискурса, для того чтобы понять, почему западная модель интеллектуалов при ее переносе (пересадки, трансплантации) в российский социум подвергается транскультурному переводу. В итоге сам концепт интеллектуала смещается из сферы чисто интеллектуальной в сферу нравственную, что и делает интеллигенцию непохожей на западную интеллектуальную элиту (Лотман 1999: 127–128).

Одно наблюдение поможет понять искажения этого транскультурного перевода. Оно относится к началу XX в. и принадлежит лидеру российского либерализма П. Струве. Он полагал, что «русская интеллигенция, как особая культурная категория, есть порождение взаимодействия западного социализма с особенными условиями нашего культурного, экономического и политического развития. До рецепции социализма в России русской интеллигенции не существовало, был только “образованный класс” и разные в нем направления» (Вехи 1990: 173). Внутреннее побуждение быть прежде всего социалистом взяло верх над органической потребностью образованного человека путем проб и ошибок приходить к пониманию социальной реальности, преодолевая при этом возможное влияние классовых привязанностей и симпатий. Гипертрофия оппозиционности и революционности сфор-

---

<sup>2</sup> Позднее, уже в наше время, идею культуры критического дискурса разовьет Ю. Хабермас. Интеллектуалы, заявил он, являются частью «мира, в котором политика не исчерпывается деятельностью государства, их мир — *политическая культура возражения*» (курсив мой. — Б.Ф.); идеальный тип такой культуры демонстрирует умение нащупывать важные темы, выдвигает плодотворные тезисы, расширяет спектр релевантных документов с целью «повысить печально низкий уровень дискуссионности в обществе» (Хабермас 2006: 8).

мировала сдвинутое сознание интеллигенции. Она должна была оставаться культурной элитой и никогда не должна была входить в состав властных элит.

Здесь будет нелишне напомнить, что уже Мандельштам в первые годы советской власти не гордился, а тяготился интеллигентской оппозиционностью (Гаспаров 1999: 25). Он считал для интеллигента наиболее естественной роль хранителя и распорядителя культуры при наличии власти, которая понимала бы и ценила культуру. Будучи более образованной, более динамичной, она могла бы играть особую сдерживающую роль в критических ситуациях. Говоря иначе, не борьба одних против других на баррикадах, а разведка, поиск решений по разным направлениям, гуманные эксперименты должны были стать программным видом деятельности интеллигенции, конвертирующейся в интеллектуалов. Возможно, что в этом случае удалось бы отказаться от революций как единственного способа решения проблем общества. Полезно вспомнить кем-то оброненную фразу: «Величайшим событием XIX века была пролетарская революция, которая не произошла в Англии» (см.: Там же: 27).

Советская элита, включая значительную часть научной интеллигенции (социологи здесь не составляют исключения!), лишь после августа 1991 г. с громадным внутренним сопротивлением отказалась от идеи удерживать массы в руках. О таком отказе тем более не помышляли ее представители в 1930-е гг. и в послесталинскую пору, *испытывая едва ли не пожизненные сомнения перед вечной дилеммой советской эпохи — быть или не быть «расширению возможного и сужению запретного»*. В итоге культура и социальные науки как ее органическая часть уступили свое наследственное место оруэлловскому «министерству правды» — институтам коммунистической пропаганды. «Лингвистическая победа», одержанная под влиянием критического дискурса в эпоху перестройки, имела своим следствием реабилитацию рынка, диссидентов, появление картин изменяющегося общества. Процесс этот оказался далеким от завершения.

По справедливому замечанию Мишеля Фуко, кризис никогда не бывает чисто внешним, полностью независимым от критического дискурса. Акцент на развенчании старой власти и советских порядков не укрепил позиции новых политических сил. Массовое сознание, оставшись без средств интерпретации прошлого, сначала оказалось в состоянии дезориентированности, а затем повернуло в сторону знакомого прошлого. Как следствие, большинство российских граждан и по сей день не имеют «под рукой» категорий, подходящих для описания и осмысления общества, в котором они живут: *социально-культурные тексты, которые тиражируются в обществе властью, СМИ, средствами научного дискурса, для большинства неспециалистов остаются, по*



образному выражению российского лингвиста Р. Фрумкиной, «семантически опустошенными» (Фрумкина 2002: 16, 34).

«Способность почуять нечто важное», «начать волноваться, когда остальные продолжают заниматься своими повседневными делами», — в этом состоят (по Хабермасу) отличительные свойства современного интеллектуала<sup>3</sup>. Очень важную мысль немецкого философа и социолога я адресую не только советским социологам, но в равной мере их правопреемникам — поколениям молодых социальных исследователей, начавших свою деятельность «с чистого листа» в условиях обновленной России.

### 9.3. Социологическое сообщество в зеркале поколенческого анализа

Поколенческий анализ принят на вооружение отечественной социологии только в последние годы в связи с развитием идей исторической социологии и возросшей ролью исследований общественного мнения в анализе трансформации современной России. Назову работы зарубежных (Мангейм 1998; Нора 1998) и отечественных (Чудакова 1998; Левада 2001; Семенова 2002) авторов, без которых успешная имплантация поколенческого видения жизни в российскую научную почву была бы невозможной. Особое место здесь должно быть отведено книге (Отцы и дети 2005), ставшей для меня настольной<sup>4</sup>.

Исследователи проблем поколений придают особое значение историческим событиям, оказавшим воздействие на судьбу социальной

---

<sup>3</sup> «Чуткость к нарушениям нормативной инфраструктуры общественного организма, склонность к предвосхищению опасностей, грозящих интеллектуальной оснастке политических форм жизни общества, умение увидеть то, чего не хватает и что “могло бы быть иначе”, немного фантазии для разработки инициатив, немного отваги, чтобы инициировать поляризацию позиций, выступить со скандальным заявлением, опубликовать памфлет», — вот перечень далеко не героических качеств и добродетелей, которыми наделяет Ю. Хабермас современного интеллектуала (Хабермас 2006: 11).

<sup>4</sup> В этой книге Шанин провидчески заметил, что наряду с социальной или экономической причинностью есть еще *наддетерминизм*, некий фактор, который хотя и порожден макрообстоятельствами социального и экономического порядка, в чистом виде их «дериватов» (составляющих) не содержит. Таким фактором является, по его мнению, *поколенческая причинность* (Отцы и дети 2005: 35–37). Ее экстерриториальность, как и потенциал влияния, налицо. Она наделяет поколения непредсказуемой исторической силой, постоянно предлагая социуму многочисленные и неожиданные сюрпризы, выступает как источник социальных потрясений, меняет качества людей.

общности, определившим «дух времени», в котором раскрылись черты и особенности того или иного поколения. Еще одним фокусом их внимания является групповое и индивидуальное самосознание людей, родившихся в одно и то же время и имеющих общий опыт, общие взгляды и общие интересы. На основе синтеза этих подходов Ю. Левада предложил идею *переломных периодов* XX в., определив их как временные рамки формирования определенных возрастных групп, которые приходятся на особенно значимые события в процессе отечественной истории. Таких периодов (и, следовательно, *значимых* поколений) в российском XX в. было шесть (Там же: 41–44).

По понятным причинам к теме книги и предмету заключительного очерка имеют отношение, прежде всего, «переломы» второй половины этого века. Один из них пришелся на «оттепель» (1953–1964). Ядро его свидетелей и участников составляют люди 1929–1943 гг. рождения; это — первое поколение, свободное от массового страха сталинских лет. Доля его представителей во взрослом населении — 21 %<sup>5</sup>. Еще один (к слову сказать, самый длительный) период — «застой» (1964–1985). Людей этого периода, родившихся в 1944–1968 гг., насчитывается в выборке более всего — 39 %. Затем следует переломное время перестройки и реформ (1985–1999), когда в активную жизнь страны вошла новая генерация людей (годы рождения 1969-й и позднее), не знавших метаний и исканий предшествующих лет. Их доля в выборке взрослого населения составила 28 %.

Мое предположение состоит в том, что особенности мировосприятия в переломные периоды, характерные для разных поколений взрослого населения страны, с очень большой вероятностью можно было бы обнаружить в соответствующих когортах научной интеллигенции, существуя возможность создать представительную (общенациональную) выборку ученого сословия (включая социологов) и распределить респондентов по периодам исторических переломов. Оговорюсь, что речь идет не об абсолютном совпадении всех результатов в этом гипотетическом случае, но о вполне определенном совпадении *в тенденциях самосознания*<sup>6</sup>. Таково результирующее действие социетальных сдвигов и изменений в каждый переломный период, когда и «массовая жизнь», и жизнь отдельных сообществ (групп) развивались по сходным законам и рефлексировались сходным образом.

Сквозь оптику исследований общественного мнения можно увидеть, как переломные моменты проводят отчетливые водоразделы

---

<sup>5</sup> По данным результатов опросов «Левада-Центра», проводившихся в 1999–2001 гг.

<sup>6</sup> Это дает право говорить о том, что сознание отдельных групп, из которых состоит поколение, *изоморфно* сознанию поколенческой общности в целом.

между поколениями разных возрастов. По данным ВЦИОМ, сколько-нибудь активное отношение к жизни свойственно только двум наиболее молодым поколениям (охватывающим, правда, почти все работающее население). Причем «повышающая» активность («новые возможности») почти полностью сосредоточена преимущественно в средневозрастных группах. Чаще всего приходится вертеться, подрабатывать и пр. («понижающая адаптация») старшим возрастным группам работающего населения, которые сформировались в годы стабилизационной стагнации. Для детей периода «оттепели» (ныне это — ветераны труда, пенсионеры) наиболее характерные позиции — «привык ограничивать себя» (около половины опрошенных) и «не могу приспособиться» (около четверти)» (Отцы и дети 2005: 46). Я не вижу оснований считать, что ответы представителей разных поколений научного сообщества могли бы составить картину устройства своей жизни в современных условиях, отличную от приведенной.

Каждое поколение идентифицирует себя и сверстников с определенным («своим») социальным временем, имеющим историческое (речь о переживании наиболее значимых общественных событий) и личностное измерения (речь о собственном времени жизненного пути индивида). Анализируя общую матрицу самопрезентации поколений российского общества, исследователи Института социологии РАН сумели поставить своеобразные и точные диагнозы самосознанию каждого из них. Например, в ответах околовоенного поколения (возраст респондентов 60–80 лет) они выявили жесткую привязанность самосознания респондентов к морали, основанной на долге перед другими (Там же: 92, 94). В ответах доперестроечного поколения (возраст респондентов 40–60 лет) четко просматривается не востребованность обществом («лишние люди»), осознание своей нереализованности (Там же: 99). В границах послеперестроечной генерации (возраст от 20 до 30 лет) выделяются носители двух синдромов. Одни респонденты демонстрируют созидательную активность, направленную на самостоятельное достижение личного успеха; другие — гедонизм и «пофигизм», ориентацию на получение удовольствия в ущерб чувству долга (Там же: 104–105).

Два понятия — поколенческая причинность и изоморфизм группового сознания поколенческих групп — позволяют поставить диагноз социологическому сообществу.

Общественная отзывчивость поколения, прошедшего через переломный «оттепельный» период, оказала сильное воздействие на научную среду, где вынашивались идеи возрождения социологии. Она была «конвертирована» в такое забытое ныне свойство, как профессиональная солидарность ученых, сплотившее социологическое сообщество в перестроечную пору. Это нашло свое прямое отражение в факте, уже известном читателю. Я имею в виду единодушно принятое реше-

ние VI Всесоюзной конференции Советской социологической ассоциации АН СССР (март 1987 г.) одобрить «Профессиональный кодекс советского социолога».

С тех пор прошло более двух десятков лет. Однако о многих явлениях внутри российских социальных наук в сегодняшних условиях можно писать и говорить буквально на языке того времени. «...Мы должны признать, что не проявили желаний и умения объединяться для решения крупных проблем, подчинять свои личные интересы общественным» (Заславская 1997: 90). Слова эти, произнесенные в самый разгар перестроечных споров о будущем социологической науки, и теперь не утратили актуальности для дисциплины, которая, казалось, прошла точку невозврата в советское прошлое.

В то же время назрели новые проблемы саморегулирования развития науки. По справедливому утверждению Л. Гудкова, нынешнего директора «Левада-Центра», многие ученые сохраняют инерцию государственного отношения к науке, стремясь, как и прежде, первоочередно обслуживать интересы властных структур, что сильно влияет на отбор проблем для исследований и их интерпретацию. Для того чтобы эти проблемы получили нужную дискурсивную форму и ранг «научности», их приходится переводить на язык «озабоченной государственной власти». Рассматривая те же вопросы «изнутри» науки, легко убедиться, что независимо от предметной сферы исследований подавлены или бездействуют такие механизмы автономной самоорганизации науки, как имманентная (теоретическая и методологическая) критика, самоанализ ценностных оснований познавательной деятельности, профессиональная полемика, саморецензирование, конкуренция за признание качеств научной работы, моральное вознаграждение научной среды за авторитетность и порядочность ученого и исследователя (Гудков 2006: 35–36).

Есть много причин для обращения к проблемам исчезнувшей солидарности социологического сообщества и к проблемам его сплочения на основе добровольно принятых норм научной этики (профессиональных кодексов). Потому я намеренно делаю акцент на том, что ранее объединяло разные поколения социологов, — на механизмах интеграции профессионального сообщества, которые продолжали действовать до момента, когда развал Советского Союза привел сначала к расселению по «национальным территориям», а затем, в пределах каждой «национальной территории», — к выходу из социологических коллективных хозяйств и к переселению на социологические хутора (но об этом речь пойдет далее).

Привязка к возрасту, не столько в демографическом, сколько в социальном смысле, позволяет приблизиться к пониманию стадий (циклов) внутренней жизни когорт научного сообщества, реалиям

повседневности, индивидуальным устремлениям, выборам профессиональных путей, карьерным продвижениям, модусам выживания в научной среде и социуме; обнаружить дихотомию поколений, одна часть которых проходила социализацию (воспитание, образование) в советское время, а вторая — в условиях нарождавшейся новой России.

Разница мироощущения представителей различных поколений социологов налицо, утверждает Б. Дубин в своей работе «Поколение: смысл и границы понятия» (Отцы и дети 2005: 61–79). Порождена эта разница дисгармонией отношений внутри сообщества, особенностями и традициями внутринаучного развития.

В среде ученых по-прежнему, как и «встарь» (в советскую эпоху), сохраняют значение несменяемые (*и властвующие!*) элиты, чей состав обновляется медленно, на основе специфических, если не закрытых, правил, что не только «запирает» все виды профессиональной мобильности ученых, но и ухудшает внутринаучный климат. Рудименты этой бюрократизации особенно остро переживаются ветеранами отечественной социологии. Современную социологическую науку нельзя представить иначе как сообщество, где фактическое неформальное лидерство изначально определялось и продолжает определяться научными заслугами, профессиональной и человеческой репутацией ученых. Избрание в АН СССР давно перестало быть фактором, однозначно определяющим место социолога в табели об академических рангах. Этот факт получил закрепление в языке: крылатое выражение «встреча ученых с академиками» — далеко не безобидная шутка. Глубоко сожалею и считаю несправедливым, что Ю.А. Левада, Б.А. Грушин и И.С. Кон ушли из жизни, а В.А. Ядов совсем недавно отметил свое восьмидесятилетие, не будучи избранными в Российскую академию наук. Не ставя под сомнение вклад в науку ныне здравствующих социологов-академиков и социологов-членов-корреспондентов, я думаю, что общественные науки проиграли оттого, что названные мной ученые не вошли в состав РАН.

Одновременно авторитет ученых, стоящих на самых верхних ступенях иерархических (прежде всего, академических) лестниц, падает, к чему научное сообщество давно привыкло, но не пытается ни «снизу», ни тем более «сверху» как-то изменить этот порядок вещей. Как заметил Б. Дубин, имеет место «периодическое накопление нереализовавшегося потенциала нескольких поколений, принудительно оказывающихся в одном времени, которое они, тем не менее, не могут назвать “своим”» (Отцы и дети 2005: 74). В итоге временные дистанции между старшими и младшими «слипаются», и оказывается, что им нечего передавать друг другу.

Изменившиеся социальные условия сделали заметным влияние поколенческой причинности, о которой речь шла в начале раздела. Исследования общественного мнения позволили говорить о том, что

активной силой в массах российского населения становятся люди, родившиеся в 1975–1980 гг. Именно их Ю. Левада назвал первым поколением прагматиков, лишенных социальной памяти. Ведущее качество этой значимой группы — готовность принимать не только символику прошлого, но и авторитарный стиль нынешней власти. Рядом с ними уже нет поколения перемен. Оно перестало быть различимым на фоне имитации перемен, составляющих основу сегодняшнего повседневного существования. В сознании прагматиков явственно угадывается поколение стабилизации.

Кажется, что и этот вывод, вытекающий из опросов населения, вполне приложим к части среднего поколения научного сообщества. В нашей среде четко обозначились «хваткие ребята», нацеленные на обслуживание интересов бизнеса и власти. Приведу высказывание В. Ядова: «Это люди, не имеющие жизненных принципов, кроме одного — действовать с выгодой для себя и тех, кого они полагают “своими”. Так называемое переходное состояние общества дает прагматикам наилучшие возможности реализовать свою инициативу, поскольку социальные институты разбалансированы, нормы и практики социальных отношений гибридные. <...> Поэтому доминирует прагматизм принятия решений по “ситуации”» (Там же: 258).

Большой притягательной силой обладает (в той же возрастной категории) группа социологов прозападной ориентации. На их стороне масса преимуществ: прекрасное профессиональное образование, глубокая осведомленность о состоянии и развитии современных социальных наук, контакты с мировым социологическим сообществом, настойчивость в достижении поставленных целей, гражданское самосознание при высокоразвитом чувстве свободы и независимости, сознательная ориентация на личный успех. Профессиональная и общественная репутация этой группы зависит не столько от ее внутренних интеллектуальных потенциалов (высокий уровень которых не вызывает сомнений), сколько от того, как поведет она себя в составе российских научных элит. Элиты в России, напоминает нам Б. Дубин, были всегда элитами постов, кланов и корпораций. Честолюбию, соревновательству, соперничеству талантов и способностей не уделялось должного внимания. Ведь элиты, во-первых, видели опору в людях, лишенных творческой одаренности, способных лишь повторять заученные, отжившие идеи; во-вторых, они стремились опираться на «своих». Ценились сервильность, лукавство, а вовсе не талант. Открытой состязательности не находилось (и не находится) места ради более длительного удержания за собой уже имеющихся позиций, карьеры и связанных с ней привилегий и благополучия на «всю оставшуюся жизнь». В итоге доминировала поддержанная канонами официальной культуры советского государства «ценностная непризнанность, неоправданность личного,

индивидуального успеха» (Отцы и дети 2005: 74). Молодые ученые, которым удастся сломать этот стереотип, могут рассчитывать на многолетнее лидерство в научной среде.

Доминирующая в активных поколениях российских сограждан демонстративная установка на собственные силы («благосостояние зависит от самого человека!») — важная характеристика этих групп, отделяющая их от старших поколений всей страны (Там же: 48). За нею видятся черты разгосударствленного человека, появление которого хотя и является несомненным признаком современной научной среды, но было по-разному воспринято поколениями с разными хроно-границами. Чтобы вектор поколенческой причинности действовал в направлении, раскрепощающем творческие силы граждан России (в нашем случае социальных ученых), следует преодолеть власть идеологических течений, в цепком плену которых и по сей день пребывает наше общество. Как пронизательно пишет Л. Клейн, «...ни одно поколение не было единым, в каждом было минимум два совершенно разных слоя (а чаще больше), чуждых друг другу гораздо больше, чем разные поколения. Это и во всем обществе, и в науке. Нет смысла говорить о преемственности между поколениями вообще — такой нет. Но вполне реальна преемственность между частями поколений единого духовного настроения. Скажем, есть несомненная преемственность между шестидесятниками “оттепели” и позднейшими диссидентами и правозащитниками, от них прямую линию можно провести к демократам 1990-х, а от тех — к правозащитникам и демократическим политикам нашего времени. Это имеет отражение в соответствующем крыле социальных и гуманитарных дисциплин. В то же время есть параллельная преемственность от государственников и “партии власти” советского времени через ГКЧП и затем попытку мятежа верхушки Верховного Совета к путинской державности, автократии и новой “партии власти”. Соответствующие идеи можно найти в массе сочинений ангажированных историков, социологов, политологов и т. д. Близка к этим кругам и верхушка Академии наук. Можно проследить и преемственность в националистической традиции — от “Памяти” и писателей-почвенников к дугинской евразийской затее и разным партиям, оседлавшим раздражение против мигрантов и инородцев» (Поколения в науке 2009: 62).

#### **9.4. «Бермудский треугольник» идеологий**

Не так давно мне пришлось отвечать на вопросы журнала «Антропологический форум», один из которых касался оценки степени конфликтности научных взглядов разных поколений (Поколения в науке 2009). Мой ответ может показаться парадоксальным: споры и конф-

ликты по научным вопросам (теория, методология, качество научного труда и т. д.) среди разных поколений современного социологического сообщества, если они и есть, являются безопасными в «сейсмическом» отношении. Существой для них специально разработанная шкала Рихтера, уровень внутринаучных «землетрясений» едва превысил бы десятые доли балла по девятибалльной шкале. Открытие это принадлежит не мне, его авторы — молодые петербургские ученые, социологи науки, выступившие не так давно во главе с М. Соколовым с весьма интересной статьей (см.: Погорелов, Соколов 2005: 79–84).

Проведенный ими опрос позволил выделить сегмент, ориентированный на интернациональные научные институты, представители которого специализируются на получении грантов от зарубежных фондов, а также на совместных исследованиях с западными академическими учреждениями. Поколения второго сегмента ориентированы на институты РАН (часть представителей этого сегмента ассоциируются с сотрудниками академических институтов и поддерживают с ними интеллектуальные связи). Третий сегмент ориентирован на отечественные образовательные учреждения (факультеты и кафедры государственных, по преимуществу, университетов, разбросанных по городу). Принадлежность к этим сегментам основательно коррелирует с выбором исследовательской традиции, к которой респондент (социолог) мог бы себя причислить, а также методологии, которой он старается придерживаться.

Опуская многие другие характеристики социологов, вытекающие из факта принадлежности к одному из трех сегментов, привлеку внимание к заключительному замечанию авторов исследования. Сегменты профессионального сообщества специализировались на разных рынках, и ныне каждый из них обладает достаточным автономным преимуществом, для того чтобы не тревожиться по поводу покушений на них со стороны потенциальных конкурентов. В настоящее время контакты между ними сведены до минимума. Так, социологи и политологи — выпускники Европейского университета в Санкт-Петербурге, ориентированные на интернациональные академические рынки, соприкасаются с организациями, входящими в другие сегменты, лишь в период подготовки к защитах своих кандидатских диссертаций. Принятый способ «мирного сосуществования» до последнего времени исключал возможность возникновения конфликтных ситуаций по научным поводам (конфликтов внутри сегмента я не касаюсь, это специальная тема, требующая особого внимания).

Обнаруженная автономия различных сегментов социологического сообщества налицо, но она требует объяснения.

Проявляя заботу о молодом читателе, попытаюсь приблизить его к некоторым событиям и фактам второй половины минувшего века.



Наш соотечественник, социолог Н. Тимашев, разделивший эмигрантскую судьбу вместе с П. Сорокиным, одну из своих последних работ посвятил кризису советской идеологии в послесталинское время (Тимашев 1958). Он предложил использовать понятие идеологии для обозначения системы прочно сложившихся и широко распространенных взглядов на должное и желательное в жизни общества. В указанном смысле идеология могла быть консервативной, реакционной, прогрессивной или революционной. Естественным было считать, что в данной стране может господствовать одна идеология или же что их может быть несколько.

По мнению Н. Тимашева, в конце 50-х гг. прошлого века Соединенные Штаты Америки представляли образец добровольной монолитности идеологии: все, или почти все, разделяли «американскую веру» в политическую демократию, верили в превосходство частного хозяйства по сравнению с государственным и поддерживали культурный плюрализм, где главная роль отводилась англосаксонской культуре. Весьма любопытно выглядела Франция тех лет. Н. Тимашев пишет, что там наблюдался почти безвыходный конфликт между шестью идеологиями: коммунистической, социалистической, католической, консервативной (на платформе радикализма), еще одной консервативной (представляющей эгоистические интересы мелкой буржуазии) и полуфашистской (Там же: 209). Ядро советской моноидеологии составляла преданность делу партии и вера в правоту единственно правильного непобедимого учения. Отсюда и утилитаризм всей идеологической платформы с ее центральным требованием к человеку — энергично функционировать во имя торжества коммунистической идеи, которое, в свою очередь, было эквивалентом общенациональной идеи для СССР и играло роль несущей конструкции для советской ментальности.

Однако у официальной идеологии в реалиях 50-х гг. обозначается серьезный неофициальный оппонент в лице так называемой *вольной идеологии*, контуры которой весьма четко прорисовал Н. Тимашев, используя ряд доступных ему в ту пору (1953–1958) источников. Первый источник — материалы советской прессы и выступления советского официоза, которые содержали нападки на «внутренних врагов». Второй источник — документы советского правительства о мерах, предпринятых с целью «умиротворения народного недовольствия». Третий источник — «еретические» мысли, проскальзывавшие преимущественно в советской литературе. Ряд идей был извлечен «из серьезных обследований царящих в СССР настроений на основе показаний лиц, недавно оттуда выбравшихся» (Тимашев 1958: 216). Партийные догмы при этом не отбрасывались, но в головах большинства людей они подвергались прагматической переработке. В итоге «вольная идеология» не имела философских обоснований, она не излагалась

в виде законченной системы взглядов, но в любом случае выступала как форма отрицания ряда положений официальной идеологии и того, что во имя нее совершалось.

Тимашев реконструировал угаданный им феномен, представив его в виде пяти основных элементов. Первый элемент — широко разлитое отвержение коллективизации сельского хозяйства и реализация права частной собственности на землю. Второй — возврат к частному предпринимательству в розничной торговле и мелкой промышленности. Третий элемент вытекал из всеобщей ненависти к системе террора и связанного с ней отсутствия правовых гарантий для личности. Четвертый элемент — требование ограждения человека, граждан страны от произвольных актов власти. Сюда же входило требование свободы научного, литературного, музыкального и художественного творчества. Пятым и последним пунктом можно было обоснованно поставить религиозную терпимость (Там же: 217–219).

Случись этим пунктам быть выставленными в качестве политической программы, они сводились бы к требованиям заменить чисто государственное хозяйство смешанным и даровать некоторые свободы, провозглашенные Конституцией страны. Это была прагматическая идеология, но желать большего было трудно, если принять во внимание характер господствовавшей власти и атомизированность человеческой массы. По своему содержанию она была во многом тождественна настроениям социально-критического крыла возрождавшейся социологической науки и в этом качестве противостояла официальному догматическому сознанию и мировоззрению. От «вольной идеологии» берет свое начало умеренный радикализм «шестидесятников», пытавшихся построить социализм с человеческим лицом, но не только он.

4 июля 1969 г. никому тогда не известный Андрей Амальрик передал свою книгу «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» за границу. Он не преувеличивал значение своего труда, называл книгу статьей и говорил с юмором, что она представляет для западных советологов уже тот интерес, который для ихтиологов представляла бы вдруг заговорившая рыба. Амальрик первым сказал, что у власти нет идеологии, «по-видимому, мы уже достигли мертвой точки, когда понятие власти уже не соотносится ни с доктриной, ни с личностью вождя, ни с традицией, а только с властью как таковой». Далее Амальрик писал о том, что демократическое движение включило в себя представителей трех идеологий, кристаллизовавшихся в послесталинское время в виде триады альтернативных программ: «подлинного марксизма-ленинизма», «либерализма» и «христианской идеологии» (Амальрик 1969: 11–12; Геллер, Некрич 1995, кн. 2: 194).

Первая из альтернативных программ исходила из того, что Сталин искажил марксистско-ленинскую идеологию, а возвращение к ней позволит оздоровить общество. Вторая программа полагала возможным постепенный переход к демократиям западного типа с сохранением принципа общественной и государственной собственности. Третья программа предлагала в качестве основы общественной жизни христианские (православные) нравственные ценности и, следуя традициям русофилов, подчеркивала особый характер России.

В начале 1970-х гг., одновременно с обособлением трех названных оппозиционных течений, произошла их персонификация. С того времени каждая из этих программ стала отождествляться с личностью, наиболее ярко ее выражающей. Рой Медведев стал глашатаем «подлинного марксизма–ленинизма»; академик Андрей Сахаров воспринимался как воплощение либерально-демократической оппозиции; Александр Солженицын превратился в символ «христианской идеологии» (Smith 1976; 1991; Геллер, Некрич 1995, кн. 2: 152–168, 188–198).

Протесты Медведева во многом были формой обращения к умеренному крылу партийного аппарата. Он предлагал очистить марксизм–ленинизм от вредных искажений и извращений сталинизма и неосталинизма. Иные диссиденты говорили, что братья Медведевы были единственными правоверными левыми, кто верил в коммунизм с человеческим лицом. Но эта ирония не дает права свести к нулю их диссидентские усилия. Книга Р. Медведева «Пусть история рассудит» была обвинением полицейского государства Сталина и появилась за два года до выхода в свет книги «Архипелаг ГУЛАГ». Именно он написал книгу «О социалистической демократии», которая является наиболее выдержанной политической критикой СССР и содержит предложения по реформированию советского государства и общества.

Еще во времена Хрущёва Сахаров высказался против испытаний атомной бомбы в 100 мегатонн, не считая их технически необходимыми. Но это не было публичным выступлением. Сахаров стал известен миру после публикации на Западе меморандума «Прогресс, мирное существование и интеллектуальная свобода» (1968), где отстаивались идеи конвергенции двух систем. В конце 1960-х гг. он сказал, что детант (разрядка) без демократизации является фикцией.

«Еретические» взгляды Сахарова ставили под сомнение монополию партии на социальную мысль и мышление, подрывали сами основы советской системы. С годами радикализм позиций рос, отражая растущее отчаяние Сахарова относительно невозможности реформировать советскую систему. Сначала его критика репрессивности советской системы была сбалансирована с критикой капитализма и американской политики и опиралась на общую «просоциалистическую» позицию. «Я скептик в отношении социализма», — заявил он позднее, в 1973 г.,

в интервью шведскому радио. Причина тому — проблемы, сходные с капитализмом, — отчуждение и рост преступности, а также проблемы социалистического происхождения: минимум свободы, максимум идеологической ригидности, но и максимум претензий на право быть самым лучшим общественным устройством. Далее последовали выступления в защиту демократии и ее институтов, децентрализации контроля над экономикой, развития сферы обслуживания на основе частной собственности, отмены партийного контроля при выдвижении людей на государственные посты, отмены привилегий, милитаризации экономики. Поздний Сахаров не отрицал общности многих своих взглядов со взглядами Солженицына — не принимал марксизм, не верил, что СССР оставит в покое Восточную Европу, отстаивал идеи культурной и интеллектуальной свободы. Но выброс солженицынской русофилии Сахаров считал эхом имперского подхода.

Уже к середине 1970-х гг. мир освободился от чар Солженицына — еще совсем недавно героя-диссидента. В своем манифесте («Письмо советским вождям») он предложил мистическую версию прошлого-будущего, мечту о священной России, воскрешаемой путем самопогружения в себя и уходящей в сторону от XX в. Запад здесь представлял как импорт дьявола, смерч темной, нерусской марксистской идеологии, Америка была местом разгула демократии и деградирующей культуры. Россия (не Советский Союз) могла найти спасение в преодолении власти марксизма, в отказе от своей восточноевропейской империи, в движении от Европы в сторону развития русского «интерьера» на северо-востоке континента и, конечно же, в укреплении православной веры<sup>7</sup>.

Солженицын не был одинок. Ведь он поместил себя в *mainstream* классического русского славянофильства, а оно, будучи частью русской ментальности, подозрительно относилось к попыткам имитировать западные идеи и тем более преклоняться перед ними. Призыв к изоляционизму был услышан и получил в 1970-е гг. поддержку в народных массах и со стороны официальных властей. Журнал «Иностранная литература» выступил с программой защиты русского языка от иноязы-

---

<sup>7</sup> Православие является «кораблем», носителем русской культуры, нитью, связующей с культурным наследием и прошлым. Тогдашняя дилемма партии состояла не столько в репрессиях против диссидентов-русофилов, которые открыто нападали на атеистов и осуждали церковь за покорность перед властью партии и органов КГБ, сколько в попытках найти способы «вялого» управления процессом проникновения русофилии и национализма в сознание «истеблишмента». Нынешняя власть пошла гораздо дальше, официально признав, что лояльность церкви помогает удержанию власти и выступает в роли важнейших скрепов российской государственности.

чия. Даже «Комсомольская правда» гневно высказалась против того, что дети не знают старинную русскую игру лапту, но зато хорошо осведомлены о бейсболе.

Эти три оппозиционные идеологии в полной мере отражают варианты исторического выбора, над которыми продолжает думать население современной России. Под знаком старой России возникали определенные исторические надежды разных поколений, под ее же знаком они потерпели крушение, но остались в сознании народа в форме идеологии особого пути. Ушедший век был крахом идеи «строительства» социализма–коммунизма, на алтарь которой были положены силы нескольких поколений социальных исследователей. И хотя ортодоксальный революционизм стал достоянием прошлого, свет от погасшей звезды социализма продолжает идти, порождая иллюзию сохранения советского государства в гуманизированной форме. Ведь даже «шестидесятники» не предлагали выбор, а исповедовали идею социализма с человеческим лицом. В обществе сформировался западнический сегмент, который ныне связывает желательный вариант государственного и общественного устройства с демократией и рынком. Однако решающего перевеса над самобытностью либеральная идея не получила. В итоге *Россия осталась «Миром Миров»* (М. Гефтер).

«Миром миров» является (не может не быть в этих условиях) и социология. Подолью «масла в огонь» еще одной ссылкой, которая иллюстрирует автономию повседневного существования интернационального (негосударственного), университетского и академического сегментов петербургской социологии (см.: Погорелов, Соколов 2005: 79–84). Согласно этой работе, первый из сегментов ориентируется на веберианские, феноменологические, интеракционистские и феминистские подходы, развитие которых в советское время блокировалось. Академический сектор демонстрирует предпочтение структуралистским, функционалистским и позитивистским взглядам, на которые режим смотрел сквозь пальцы. Что касается университетского сегмента, то его ориентации менее определены и связаны с «социальным заказом», с политической конъюнктурой, с тем, что именно государственные органы, финансирующие высшую школу, полагают актуальным и необходимым (проблемы государственного управления, глобализация, история русской общественной мысли и социологии). Среди представителей этого сегмента оказалось более всего социологов, считающих, что следует прилагать усилия для сохранения и возрождения национальной школы в социологии. Какая-то часть из них, по «доброй советской традиции», пытается решать научные проблемы на базе идеологических споров, путем наскоков на западную социологию, якобы препятствующую поискам путей самобытного развития России.

Негосударственная, университетская и академическая социологии живут каждая по своим правилам. Силы сцепления между этими сегментами отсутствуют, как и отсутствуют реальные лозунги для интеграции социологического сообщества, объединенного формальной принадлежностью к одному профессиональному цеху, но разъединенного различием интересов и устремлений его сегментов (частей). Какая из сил (центробежная или центростремительная) при этом возобладает — вопрос для меня открытый, но не лишенный остроты и актуальности по причине, которая корнями уходит в долговременные структуры российской ментальности и в советское прошлое. Триада идеологий, открытых А. Амальриком, привела к появлению триады социологий. Сомневаться в этом не приходится.

## Эпилог

Осталось написать слова, завершающие напряженное повествование. Издавна известно, что именно они формируют представление о прочитанном в умах и памяти читателей. Мой эпилог (так в соответствии с культурной традицией, восходящей к эллинам, принято называть заключительную часть произведения, в которой автору дается последняя возможность разъяснить свой замысел) будет кратким. Дополнительные разъяснения сочту излишними в надежде, что читателя убедил мой вариант изложения истории и развития советской социологии, однако приведу несколько высказываний моих коллег по социологическому сообществу: «Мы все — самоучки в социологии» (Владимир Ядов); «Эпоху не выбирают» (Игорь Кон); «Нам очень хотелось создать настоящую науку» (Татьяна Заславская); «Были мы ранними» (Вадим Ольшанский); «Работали свободно — и хорошо работали» (Лен Карпинский); «Всегда побеждало желание заняться чем-то новым» (Николай Лапин); «Мы жили наукой» (Геннадий Осипов); «Тогда казалось, что кое-что удавалось» (Эдвард Араб-Оглы); «Горький вкус невестребованности» (Борис Грушин); «Я выполнял свой человеческий и партийный долг» (Леон Оников); «Без осмысления того, что сделали мы, социологии нет» (Андрей Здравомыслов).

Мне хотелось бы, чтобы читатель почувствовал интонации этих высказываний и поверил в их искренность и чистоту. Ведь интонация в русском языке очень точно передает отношение говорящего к предмету речи.

**Б.М. Фирсов, д. ф. н.**

## КАК СОЗДАВАЛСЯ КУРС ПО ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 50–80-х гг. (РАССКАЗ В ДОКУМЕНТАХ)<sup>1</sup>

### Исходный документ (письмо экспертам)

В третьей декаде марта 1999 г. я организовал опрос экспертов, направив своим адресатам следующее письмо.

*Дорогой адресат!*

По предложению моих коллег с факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге я начал разработку спецкурса, посвященного истории советской социологии периода 50–80-х гг. XX в. Курс предполагается прочесть в зимнем семестре 1999/2000 учебного года. В связи с этим я хотел бы получить Ваш совет относительно композиции курса. Согласно *первому варианту*, следует после краткого исторического обзора рассказать об изучении проблем социальной дифференциации, социальных проблем экономики, производства, об исследованиях проблем духовной жизни населения, социально-политических процессов и т. д.

*Второй вариант* близок к первому, но опирается на попытку представить каждое из отобранных основных направлений исследований с помощью case study (детальный разбор наиболее представительных, классических работ советского периода, сфокусированный на их теоретических предпосылках, методологии, технике сбора данных и полученных результатах). *Третий вариант* мог бы показать «восхождение на Голгофу» социологического знания в условиях советского государства — раскрыть отношения между социологией и властью, показать процесс становления теоретико-концептуальных взглядов, развития методологии и методов исследований, этапы развития социологического знания в сопоставлении с развитием мировой социологической науки, раскрыть мотивы представителей советского социологического сообщества, отношения социологии с другими дисциплинами, влияние социологии на жизнь социума, и т. д. *Какой вариант могли бы предложить Вы, исходя из своего профессионального (исследовательского, преподавательского)*

---

<sup>1</sup> См.: Фирсов 2000: 154–169. В настоящем издании приведен не весь текст публикации, а только исходный документ и письма-ответы экспертов, которым он был направлен.



*опыта, а также принимая во внимание, что слушать лекции и посещать семинары будут молодые люди, получившие паспорт, когда СССР уже прекратил свое существование?*

Мне кажется, что разработка и чтение курса по истории советской социологии в стенах ЕУСПб могут и должны опираться на поддержку социологического сообщества. Люди, которым отправлено настоящее письмо, могли бы объединиться и создать небольшое, но авторитетное профессиональное сообщество — Международную ассоциацию исследователей советской социологии (для начала при ЕУСПб). Члены этой Ассоциации могли бы патронировать курс, принимать участие в чтении отдельных лекций и проведении семинаров, а также ежегодно проводить в стенах ЕУСПб публичные научные чтения, посвященные истории советской социологии (с последующей публикацией материалов). Я рискую предложить Вам принять участие в первой такой встрече в мае–июне 2000 г. и попытаюсь обеспечить финансовую поддержку этого чрезвычайно важного мероприятия. Разумеется, что и по этому поводу я хотел бы знать Ваше мнение.

*Позволю себе в заключение лирическую ноту. Мы прожили вместе не один десяток лет уходящего века, и было бы непростительной ошибкой не сохранить наши человеческие и научные связи в наступающем тысячелетии.*

Я надеюсь получить ответ от Вас в самое ближайшее время.

*Б. Фирсов*

Адресатами этого письма стали:

1. *Геннадий Семенович Батыгин* (доктор философских наук, профессор, главный редактор «Социологического журнала»);

2. *Борис Зусманович Докторов* (доктор философских наук, Фостер-Сити, штат Калифорния);

3. *Татьяна Ивановна Заславская* (академик РАН, сопредседатель Интерцентра, Московская высшая школа социальных и экономических наук);

4. *Андрей Григорьевич Здравомыслов* (доктор философских наук, профессор, Российский независимый институт социальных и национальных проблем);

5. *Игорь Семенович Кон* (доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт этнологии и антропологии РАН);

6. *Самуил Аронович Кугель* (доктор философских наук, профессор, Институт истории естествознания и техники, Санкт-Петербургское отделение);

7. *Мэри Маколи* (Ph.D., Московское отделение фонда Форда, директор);

8. *Блейр Рубл* (Ph.D., Институт Кеннана, Вашингтон, директор);

9. *Пал Тамаш* (Ph.D., Институт социологии Венгерской академии наук, директор);

10. *Дмитрий Шалин* (профессор, Университет штата Невада);

11. *Теодор Шанин* (профессор, ректор, Московская высшая школа социальных и экономических наук);

12. *Франц Эдмундович Шереги* (кандидат философских наук, руководитель исследовательского центра, Российский независимый институт социальных и национальных проблем);

13. *Овсей Ирмович Шкаратан* (доктор исторических наук, профессор, ГУ-ВШЭ);

14. *Владимир Шляпентох* (профессор, Университет штата Мичиган);

15. *Владимир Николаевич Шубкин* (доктор философских наук, профессор, зав. сектором, Институт социологии РАН);

16. *Владимир Александрович Ядов* (доктор философских наук, профессор, директор, Институт социологии РАН).

К 20 мая письменно ответили 14 человек, устно, по телефону, — один человек (профессор О.И. Шкаратан, который в то время находился на лечении). Доктор М. Маколи в Москве отсутствовала во время опроса.

## Документы № 1–15 (ответы экспертов)

### 1. Геннадий Семенович Батыгин

*Глубокоуважаемый Борис Максимович!*

Позвольте поблагодарить Вас за идею курса по истории советской социологии и предложить Вашему вниманию мои соображения. Недостаток первого варианта состоит в том, что курс превращается в обзор отраслей социологии (стратификации, духовной жизни и т. п.). В 50-е и 60-е годы тематический репертуар социологии дифференцировался по иным критериям, и в данном случае преподавателю будет нелегко выстроить логику изложения, чтобы это выглядело повествовательно, как и должна выглядеть история. Второй вариант действительно дополняет первый, но имеет самостоятельное значение, поскольку разбор конкретных исследований даст студентам ощущение контекста исследовательской работы того периода. Я бы построил курс рутинно — по периодам, начиная с 20-х годов. Периодизация истории общественной науки в значительной степени совпадает с периодизацией политической истории страны, поэтому в центре внимания будет социальная история науки (отношения с властью, внутренние конфликты, воспроизводство идеологического дискурса). Я бы не стал форсировать вопрос о «восхождении на Голгофу», а, скорее, рассмотрел бы роль интеллектуалов в легитимации и реформировании тоталитарного режима. Такое расширение темы даст возможность сделать курс не просто изложением исторических реалий, а курсом по исторической социологии и социологии знания. Кроме того, я бы посоветовал включить в курс помимо разбора чисто социологических работ анализ литературного дискурса эпохи.

Вряд ли можно понять движение 50-х и 60-х годов без «Нового мира», кинофильма «Иду на грозу», повседневно мифа о Че Геваре и, может быть, представлений о голубых коммунистических городах. Проблема здесь лишь в том, что при этом курс сильно расширится. Вы совершенно верно отмечаете, что слушать курс будут молодые люди, выросшие после гибели СССР. Думаю, им будет очень важно понять, что социология была не просто академической дисциплиной, а самосознанием эпохи. Разумеется, я сделаю все возможное,

чтобы быть полезным Вам, и надеюсь оправдать Ваше доверие ко мне, которым я горжусь.

Искренне Ваш,

*Г.С. Батыгин*  
*Москва, 6 апреля 1999 г.*

## **2. Борис Зусланович Докторов**

*Дорогой Б.М.!*

Прежде всего, я хотел бы сказать, что история советской социологии — это тот самый важный курс, который должны читать сегодня социологи, начавшие свою карьеру в 60-х и ранее. Сейчас никто не сделает этого лучше вас. Возможно, я ошибаюсь, поскольку уже пять лет не вылезал из моей американской «деревни», но, по моим наблюдениям, для многих молодых социологов — в частности твоих студентов — характерно негативное отношение к советской социологии как таковой. И этот ложный стереотип может быть (если?) разрушен только теми, кто делал эту социологию. И то не всеми. Но ты мог бы.

Из предложенных общих подходов к строению курса лучшим мне представляется второй вариант, так как следование принципам case study оставляет свободу и для планирования тематики, и для выбора системы координат, в рамках которой будут рассматриваться отобранные единицы анализа. Рискну предложить свой список исследований (можно сказать, исследователей), которые студентам необходимо знать, и обозначу идею выбора подобных координатных осей. Я назову только теоретико-эмпирические исследования и не буду маскировать субъективности моего выбора.

Есть два проекта, знание содержания и судеб которых, на мой взгляд, обязательно для будущих российских социологов, это — ядовитые диспозиции и грушинский «Таганрог», хотя я больше люблю его «Мир мнений...». Третий проект — это, конечно же, «Человек и его работа». В принципе, уже этого было бы достаточно, чтобы показать глубину лучших советских социологических штудий. Но назову и другие заслуживающие внимания «древние» исследования: «Человек после работы» Гордона и Клопова, а также материалы Римашевской и то, что делал Шубкин. Будет прекрасно, если Татьяна Ивановна [Т. Заславская] пришлет тебе копию ее известного доклада. Говоря о более «свежих» проектах, я бы без лишней скромности рассмотрел наш советско-эстонско-литовско-венгерский (так мы его называли еще в советские времена) экологический проект и включил бы «Ожидали ли Вы перемен?» Андрея Алексеева.

Во всех этих исследованиях центральной является тема советского человека, его сознания и поведения в различных социальных обстоятельствах и средах.

Многообразие тематических срезов, представленных в названных исследованиях, множественность рассмотренных в них уровней социальных отношений, многочисленность использованных эмпирических методов и,

наконец, несхожесть жизненных путей названных социологов образуют широчайшее поле для твоих «чисто» научных, а также социокультурных и социально-политических интерпретаций советской социологии. Эта феноменологическая неоднородность и множественность участников процесса создания советской социологии автоматически определяют систему координат, не лимитирующую логику твоего анализа истории советской социологии и тон обсуждений прошлого со студентами.

Такой курс можно было бы рассматривать как поиск ответа всего на один вопрос: «Каким же был советский человек?». Левада сказал — простым. Не уверен.

Сегодня День космонавтики, и потому завершаю известным «Поехали!».

*Борис*

*Фостер-Сити, 12 апреля 1999 г.*

### **3. Татьяна Ивановна Заславская**

*Глубокоуважаемый Борис Максимович!*

Немедленно отвечаю на Ваше письмо. Полностью поддерживаю идею чтения спецкурса, который со временем перерастет не только в книгу, но и в целое научное направление. Сердечно благодарю за включение меня в состав Ваших адресатов, было бы очень приятно время от времени встречаться в такой избранной компании.

По существу вопроса могу сказать следующее. Из трех предложенных Вами вариантов, с моей точки зрения, бесспорное преимущество имеет третий. Не думаю, чтобы это надо было бы аргументировать — это факт очевидный.

Реализация этого варианта намного сложнее, чем предыдущих, но это плата за «высший класс».

Идею сообщества я бы приветствовала, но насколько она реальна в условиях нашей повседневной бедности? Профессиональная социологическая ассоциация Здравомыслова, кажется, приказала долго жить, поскольку у большинства ученых нет денег на командировки.

Наконец, хочу сообщить Вам, что в мае с.г. в Новосибирске («Наука») выйдет солидная (на 45–50 п. л.) коллективная монография, точного названия которой не помню, а примерное «Социальная траектория реформируемой России. Труды Новосибирской экономико-социологической школы». Первый раздел этой книги, посвященный истории НЭСШ, состоит из 7 глав, первые пять из которых (1960–1988 гг.) написаны мною, а последующие две — З.И. Калугиной, О.Э. Бессоновой и М.А. Шабановой. Так что в отношении Новосибирска Вы будете обеспечены некоторым материалом. В процессе написания своих глав я, как и Вы, столкнулась с необходимостью выбрать тот или иной жанр изложения. И выбрала третий. Мне кажется, что оторвать развитие советской социологии от истории нашего общества не то что жаль, а попросту невозможно. В связи с этим я поступила так (причем не сразу, а в процессе множества переделок и поисков).

Весь период, за который я отвечала, разделила на пять частей:

- 1) 1959–1966 гг. — директор Института экономики и организации промышленного производства Г.А. Пруденский, исследования носят социально-экономический характер, слово «социология» не произносится;
- 2) 1967–1973 гг. — возникновение и становление экономико-социологического коллектива, учеба, первые крупные исследования;
- 3) 1973–1980 гг. — освоение системной методологии;
- 4) 1980–1985 гг. — исследование социального механизма развития экономики (включая знаменитый семинар 1983 г.);
- 5) 1985 г. и далее — разработка концепций экономической социологии как особого научного направления.

Первоначально эти этапы выглядели как простая последовательность во времени, и было трудно дать им содержательные или методологические названия. Но в процессе работы все более ясными становились качественные этапы в развитии коллектива. И совершенно невозможно было уйти от ярких событий, без которых получилась бы трудно угрызаемая сухомятка. Желаю Вам успешного исполнения задуманного.

С сердечным приветом,

*Т.И. Заславская*  
*Москва, 30 марта 1999 г.*

#### **4. Андрей Григорьевич Здравомыслов**

*Дорогой Борис Максимович!*

Большое спасибо за письмо и приглашение в СПб в 2000 г.! Относительно спецкурса по истории советской социологии. Мне представляется, что наиболее подходящим является вариант 2. Все-таки предполагается, что слушатель будет держать в руках некоторые тексты, которые он сам может оценить и принять участие в их обсуждении.

По поводу Международной ассоциации исследователей советской социологии. Эта мысль очень хорошая. Я поддерживаю. Кроме того, я озабочен сейчас будущим Профессиональной социологической ассоциации. Может быть, не создавать новой ассоциации, а ограничиться передачей дел, изменением устава и пр. Принять участие во встрече в мае–июне 2000 года буду рад.

С самыми лучшими пожеланиями,

*А. Здравомыслов*  
*Москва, 2 апреля 1999 г.*

#### **5. Игорь Семенович Кон**

*Дорогой Борис!*

Я убежден, что тебе следовало бы остановиться на третьей версии программы в качестве базовой. В противном случае курс [лекций] может оказаться бесполезным для молодых людей. Социальный контекст — обязательный момент

в истории советской социологии. Я, конечно же, согласен и с другими твоими предложениями, но ведь до следующего года еще так далеко. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я думаю.

Дела мои обстоят нормально, и я тружусь, невзирая ни на что. Постарайся разыскать том моих избранных работ под названием «Социологическая психология», только что вышедший в серии «Психологи отечества» (И.С. Кон. Социологическая психология. М.: Московский психосоциальный институт; Воронеж: издательство НПО МОДЭК, 1999. 560 с. — Б.Ф.). Книга эта может быть полезна для твоих планов. Здесь ее достать невозможно.

Искренне,

*Игорь  
Буданешт, 4 апреля 1999 г.*

P.S. Буквально вот-вот я намереваюсь обновить — вместе с Ядовым — свою статью о советской социологии для Социологической энциклопедии (под редакцией Borgatta). Работа эта весьма трудная и не очень приятная.

## **6. Самуил Аронович Кугель**

*Дорогой Борис Максимович!*

С большим интересом ознакомился с твоим предложением о фундаментальном изучении истории нашей социологии и прочтении соответствующего курса.

Конечно, поддерживаю твою инициативу и готов войти в Ассоциацию.

Единственное разногласие (или, скорее, мое непонимание) состоит в том, что, с моей точки зрения, варианты не альтернативны, а являются составными частями одного комплексного курса (если позволяет время). Ведь нужны и обзор, и анализ лучших работ, и характеристики взаимоотношения социологии с властью.

Центральным я бы сделал то, что ты называешь «вторым вариантом». Дальнейшее обсуждение и опыт чтения курса выявят лучший вариант.

С наилучшими пожеланиями и готовностью сотрудничать,

*С.А. Кугель  
Санкт-Петербург, апрель 1999 г.*

## **7. Блэйр Рубл**

*Dear Boris:*

It was a wonderful surprise to hear from you, and to receive your interesting thoughts on a course on the history of Soviet sociology. The idea is a good one.

I would be inclined to pursue the third strategy, and use the course as an opportunity to explore both the achievements of sociology under the Soviet state and the nature of Soviet power. I would argue that the most powerful lessons to be drawn from such a course would concern the relationship between state power and

intellectual thought. The course could then head off into some of the comparative literature on these issues at the end. More importantly, I really don't think the body of Soviet sociological research can make sense to people who never held a Soviet passport without an exploration of the nature of Soviet power. Soviet sociology, as you know far better than I, was a rare and fragile flower nurtured in an extraordinary hothouse environment. The course has to explore that environment even while talking about the beauty of the plant itself.

Concerning my possible role, I don't know what to say. I am not sure that I have a great deal to contribute and, perhaps more importantly, find it impossible to figure out when I will next be able to make it to St. Petersburg. I don't have a great deal written on this subject. Most of what I did write found its way into the Leningrad book, which you already have.

Perhaps an easier way to see what you might want would be to append a list of my publications and you can let me know what might be of most interest. I will then figure out a way to get it to you...

Cheers!

*Blair*

*Washington, DC, 31.03.99*

## 8. Пал Тамаш

*Дорогой Борис!*

Благодарю за последнее письмо. Концепция курса интересна, но думаю, что из того богатого материала, которым ты располагаешь, можно построить два курса, причем очень разных.

Вариант 1. Социальная история (или историческая социология) советского общества в зеркале социологии 50–80-х гг. В рамках этого подхода социологические тексты, главным образом эмпирические материалы, будут использоваться для представления и интерпретации каких-либо вполне определенных конструктов советского общества упомянутого периода. Подчеркну еще раз, что это будет не курс социологии, а курс о реликтах советского общества.

Вариант 2. Собственно говоря, это твой третий вариант. Здесь речь пойдет о социологии советской социологии. У меня довольно много материалов о социологии других стран в названном ключе, и я с удовольствием снабжу тебя такими материалами...

С искренними дружескими приветами,

*Пал Тамаш*

*Будапешт, 7 апреля 1999 г.*

## 9. Дмитрий Шалин

*Dear Boris Maximovich,*

I got your message and an inquiry regarding your planned course. I think it is an imminently worthy venture and I would be glad to assist you in every way possible. I'll send you a few of my writings on the history of Soviet sociology which might be

of some help. Make sure to solicit the relevant works from Vladimir Shlapentokh, who wrote on this subject more extensively than I.

As to how you can best unpack the subject for your students, there is more than one way to skin a cat. The strategies you outlined in your note are not necessarily mutually exclusive. You can mix them in various parts of the course. Thus, you can start with the discipline's historical origins, trace its roots in the Russian pro-revolutionary scholarship, explain its place in the Marxist project, review its relationship to other social sciences, explore the tension between the speculative/philosophical and empirical/practical aspects of Marxist sociology, describe the early efforts to gather sociological data about Soviet society, clarify the political context which interrupted the growth of sociology in Soviet Russia, then show how the changing political climate in the late 50's revived the discipline and helped institutionalize the field. After that historical overview, you can focus on the major trends in Soviet sociology, areas of strength and weaknesses, etc. And then, you can single out a few exemplary works and use them as case studies.

This is just one way of approaching the subject. I am sure you will work out a good plan. I can't think of a better person than you to take up this project. Wish you the best in your undertaking.

Sincerely,

*Dmitri Shalin*  
*Las Vegas, 31.03.99*

## 10. Теодор Шанин

*Глубокоуважаемый Борис!*

Идея разработать спецкурс, посвященный истории советской социологии, интересна. Из трех вариантов, определенных в Вашем письме, мне кажется самым интересным в аналитическом смысле третий вариант. В то же время я не уверен, что с точки зрения преподавательского процесса это лучший подход для студентов, которые не очень хорошо знают историю советского и постсоветского российского государства. С точки зрения сугубо преподавательской, без серьезного предварительного курса по истории российского государства для студентов, мне кажется более эффективным второй вариант.

Содержательно и глазами западного социолога, близкого к российским коллегам, мне видится, что развитие социологии в период, нас интересующий, укладывается в модель «расширяющегося потока». «Закрытие» социологии на определенном этапе развития СССР (кажется, связанное с уничтожением Бухарина, который приложил усилия к созданию марксистской социологии в России, — это стоило бы проверить) привело к тому, что элементы социологии были переняты другими дисциплинами. Этнология расцвела за счет социологии этнических групп. В историю попали элементы социологической теории и исторической социологии, в экономику — экономическая социология, в марксистскую философию — все остальное. Как у вас говорят, «свято место пусто не бывает». Возвращение социологии было в большой мере процессом поэтапного расширения социологического потока с точки зрения дисципли-



нарного разреза. Для начала в центр попали опросы общественного мнения, которые стали синонимом социологии. (Особая молодежная тема тоже появилась там.) Только теперь поэтапно социология начала выходить на те территории, где она давно находилась в западном мире (начиная, по-видимому, с экономической социологии новосибирцев и т. д.). С точки зрения перспектив, мне кажется, что следует ожидать подъема социологического знания (где в основном находится культурология), исторической социологии (где еще сравнительно мало делают историки), социологии пространства, социологии регионов, гендерной социологии и других направлений.

К сказанному на уровне содержания можно добавить то, что «расширенный поток» действует также в методиках, где он отражается в движении от статистического анализа анкет в духе позитивизма в сторону нового интереса к качественным исследованиям и (что кажется мне более интересным) в сторону комбинаций количественного и качественного анализа.

С наилучшими пожеланиями,

*Теодор*

*Москва, 9 апреля 1999 г.*

## 11. Франц Эдмундович Шереги

*Уважаемый Борис Максимович!*

В ответ на Ваш факс сообщаю, что я считаю более целесообразным третий вариант подготовки курса по следующим причинам:

во-первых, тематический подход нивелирует персоналии и, таким образом, лишит курс временной динамики и историчности; история советской социологии, по сути, станет безликой;

во-вторых, концептуальные построения сохраняют все теоретические погрешности, которыми изобиловали материалы многих социологов, либо будут основаны на компилятивном плагиате работ иностранных авторов, который вряд ли стоит повторять.

Поэтому предпочтительней писать курс в форме истории российской и советской социологической мысли, показав двойственное заимствование: с одной стороны — продолжение традиций российской социологии конца 90-х гг. прошлого века и советской социологии 20-х гг. этого века, с другой стороны — стремление заимствовать опыт зарубежной социологии, преимущественно США.

Далее следует показать трудности становления советской социологии:

- 1) в борьбе с консервативной идеологией;
- 2) в борьбе с консервативной наукой (научный коммунизм, истмат и т. д.);
- 3) в условиях отсутствия социологического образования и пособий;
- 4) в условиях отсутствия независимых исследовательских центров;
- 5) в условиях отсутствия независимого заказчика;
- 6) в условиях широкого социологического дилетантизма в связи с притоком в новую отрасль специалистов всяких «мастей», в том числе вызванным

засильем партийных учебных заведений в подготовке кадров по «прикладной социологии»;

7) в условиях замкнутого корпоративизма в академической науке, в том числе и в социологии.

Это мое личное мнение. Я готов участвовать в подготовке каких-то материалов, если советская социологическая общественность не испугается меня, ибо до сего времени практически все стараются меня избегать, хотя я никому в глаза не привык говорить о дилетантизме, но рано или поздно придется.

Готов оказать Вам всяческую помощь. С благодарностью за приглашение. До встречи.

С уважением,

*Франц Шереги  
Москва, 13 апреля 1999 г.*

## **12. Овсей Ирмович Шкаратан**

В телефонном разговоре О. Шкаратан одобрил идею курса и предложил в лекциях обратить особое внимание на создание и описание устойчивых «паттернов» (образцов) исследовательской деятельности и образов самих исследователей, взятых с точки зрения общего и особенного, профессионального и личного.

Разговор состоялся в начале мая 1999 г.

## **13. Владимир Шляпентох**

*Dear Boris!*

Thanks for the message and your desire to involve me in this remarkable project. I definitely vote for the third option with the strong historical approach. In my opinion, only in debating Soviet sociology as it was influenced by the political processes in the country it is possible to make an interesting and plausible picture of the life of Soviet sociologists and their works.

Of course, eбj (or «если будем живы», in Russian language, the famous Tolstoy's abbreviation) I am ready to participate in this historical meeting.

*Volodia  
East-Lansing, 20.04.99*

## **14. Владимир Николаевич Шубкин**

*Дорогой Борис!*

Я дико извиняюсь, но я ответил тебе не сразу. Были объективные причины: я спикировал в больницу, что-то у меня на почве высокого давления с головой было не в порядке. Но в настоящий момент я уже функционирую, тем более что завтра прилетает наш общий друг из университета штата Мичиган...

Тем не менее я тебе хотел бы доложить, что во второй половине июня я предполагаю посетить на несколько дней нашу северную столицу и, если ты будешь в это время там, то встретиться и с тобой. Мне кажется, что те профессиональные вопросы, которые ты ставишь передо мной в своем письме, мы могли бы более детально обсудить при встрече.

Твое предложение о разработке спецкурса, посвященного истории советской социологии периода 50–80-х гг., я от души приветствую и готов в меру своих скромных сил принять участие в этом предприятии. Соответственно, я готов участвовать и в Международной ассоциации исследователей советской социологии, и прочесть несколько лекций, и, как ты выражаешься, «патронировать» этот курс...

Спасибо за память и любовь, и, как говорят, привет семье.

*Твой Владимир Шубкин  
Москва, 18 мая 1999 г.*

### **15. Владимир Александрович Ядов**

*Дорогой Борис!*

Разработка курса по отечественной социологии советского периода — отличная идея. Не менее важно, что ты хочешь создать «структуру» на базе ЕУСПБ для работы в этом направлении.

Как ты знаешь, я редактировал (и, прежде всего, составил) книгу «Социология в России». Так что одно из основных пособий по курсу есть. Сюда же — Центр документальных исследований по советской социологии — Г. Батыгин (плюс М. Пугачёва) и в какой-то мере Г. Осипов, который собирает архивные материалы по предмету. Г. Батыгин подготовил книгу, основанную и на интервью с ведущими советскими социологами, и на архивных источниках. Я это к тому, что тебе надо, конечно, работать в тесном контакте с Геннадием Батыгиным. Я передал ему содержание твоего письма и попрошу его тебе написать.

А. Здравомыслов предлагает преобразовать свою «Ассоциацию профессиональных социологов» в нечто близкое твоему замыслу. Возможно, это хорошая мысль.

*Твой В. Ядов  
Москва, 7 апреля 1999 г.*

## ИНТЕРВЬЮ С ДОКТОРОМ ФИЛОСОФСКИХ НАУК Б.М. ФИРСОВЫМ<sup>1</sup>

**Вопрос:** *Наш журнал с первого своего номера интересуется становлением социологии в нашей стране в последние сорок лет сквозь призму биографий непосредственных участников этого процесса. Поэтому мы обращаемся к Вам. Полагаю, что некоторые факты Вашей научной деятельности известны, но тем не менее полная картина была бы интересной нашим читателям.*

Самопредставление никогда не бывает легким, и я мог бы ограничиться послужным списком. Но все же постараюсь выделить наиболее значимые события жизненного пути. Родился в 1929 г. в Ростовской области и спустя шесть лет вместе с родителями переехал в Ленинград. Рано лишился отца. Его арестовали в 1938 г. по подозрению в том, что, попав в плен к белым во время гражданской войны на Северном Кавказе, он якобы выдал своих товарищей по краснодарскому коммунистическому подполью. Случай, редкостный для сталинских времен, — отца вскоре выпустили из тюрьмы за недоказанностью состава преступления. Семье это радости не принесло. Отец вышел из тюрьмы со следами побоев и скоротечным туберкулезом, от которого и скончался, прожив на свободе немногим более 30 дней. Впоследствии, уже в хрущёвскую пору, краевые партийные историки объявили отца героем-подпольщиком. Я так и не смог спросить отца, какое из двух испытаний, выпавших на его долю, было самым тяжелым: пытки белогвардейских следователей, загонявших иголки под ногти, или допросы товарищей по революционной борьбе. Моя мать, подобно родителям большинства моих сверстников, тщательно оберегала меня от страха перед массовыми репрессиями и их неисчислимыми личными и общественными бедствиями. Судьба и смерть отца были окружены тайной, которая была открыта мне только перед поступлением в институт. Мама берегла мою душу, но ценой собственных глубочайших страданий и внутренних переживаний. О них не принято было говорить с ребенком, с другими членами семьи, не говоря уже о более широком окружении. Наверное, и по этой причине я вступил в жизнь, твердо усвоив систему взглядов, которые до определенного исторического момента, казалось, были олицетворением высоких социальных истин.

---

<sup>1</sup> См.: Интервью 1999: 3–22.

Благодаря отцу, прошедшему серьезную школу самообразования, я рано научился читать. В школе занимался с интересом, быстро справлялся с домашними заданиями и, едва закончив их, принимался за поглощение книг, большинство которых были получены в подарок от отца. Когда его не стало, книги — лучшие детгизовские издания довоенного времени — покупала мать, отказывая себе во многом ради того, чтобы поставить меня на ноги. Кажется, что ей это удалось. Я окончил электрофизический факультет Ленинградского электротехнического института имени В.И. Ульянова (Ленина) по специальности «электронная оптика», имея весьма ясное представление о своем профессиональном призвании и предназначении в жизни, о важности труда ради общественного блага. Наверное, по этой причине я с увлечением занимался сначала комсомольской, а затем и партийной работой, видя в ней средство для достижения социальных целей, которые я в полной мере разделял. Социальный оптимизм, несомненно, составлял основу моего мирочувствия. К тому же он подкреплялся результатами общественной деятельности. В качестве секретаря комитета комсомола ЛЭТИ я приложил немало стараний к тому, чтобы студенческий спектакль «Весна в ЛЭТИ» увидел свет и принес славу институту. Работая секретарем обкома ВЛКСМ, я оказался причастным к успехам и победам ленинградского профессионального и самодеятельного искусства на Международном фестивале в Москве. В тридцать лет, еще не зная сомнений в правильности избранного страной исторического пути, я был избран первым секретарем Дзержинского райкома партии г. Ленинграда и, кажется, довольно быстро завоевал доверие большого числа людей, пытаюсь, прежде всего, не отрывать слово от дела и не эксплуатировать в личных и прагматических целях возможности партийного руководителя высокого ранга. Я и по сей день живу в квартире, полученной моими родителями в 1935 г. Меньше всего я хотел бы этим подкрепить свое бескорыстие. Речь о другом. Родители воспитали во мне комплекс моральных правил. Им я всю жизнь старался следовать, стремясь завоевать уважение к себе со стороны других людей. Достигнутая гармония отношений с внешним миром сохранялась, пока мои поступки не вступили в противоречие с нормативными предписаниями партийно-государственной Системы.

Первое столкновение имело место в 1961 г. Опуская подробности, скажу, что я отказался от работы в аппарате ЦК КПСС и, видимо, от многообещающей карьеры. Отказ был осознанным. Я считал работу в партийном аппарате важной, но таящей в себе угрозу профессиональной дисквалификации. Для меня в тот момент было более предпочтительным возвращение в аспирантуру для закрепления знаний, полученных в институте. Отстаивая свое право на выбор жизненного пути, я заявил, что аппаратная работа, в отличие от выборной, мне лично не кажется привлекательной, поскольку она лишает человека самостоятельности. Партийный чиновник очень высокого уровня, которому было поручено решить мою судьбу, позволил мне выговориться и даже пожелал успехов на инженерном поприще. Но едва за мной захлопнулась дверь кабинета, как собеседник позвонил в Ленинградский обком КПСС и предложил немедленно снять меня с работы ввиду моей политической незрелости. Обкому удалось отложить немедленное исполнение «при-

говора» ровно на один год со ссылками на мой авторитет среди коммунистов и трудящихся района. По мере приближения согласованной с ЦК КПСС даты освобождения меня от работы секретарем райкома КПСС мне предлагалось занять должность директора Кировского театра, подумать о переходе в административные органы и стать одним из руководителей областного управления внутренних дел. Затем предложили отправиться на учебу в Академию общественных наук при ЦК КПСС и после окончания учебы занять должность секретаря обкома КПСС по пропаганде. Я не принимал этих предложений, искренно считая себя не подготовленным для работы в новых для меня областях деятельности. Но всему приходит конец. Ровно за сутки до истечения года (будем считать эту пунктуальность случайностью) бюро обкома КПСС назначило меня директором Ленинградской студии телевидения. Обо всей этой закулисной стороне дела я узнал не сразу и потому с опозданием начал осознавать всевластный характер партийной системы и принятый ею негласный кодекс служебного поведения.

Телевизионный период моей деятельности оказался более полезным с точки зрения жизненных уроков. Работа меня увлекла, телевидение бурно развивалось, открылась вторая, а затем и третья (учебная) программа, передачи ЛСТ стали заметным явлением в программах Центрального телевидения. На дворе стояла недолгая хрущёвская «оттепель». Пришедший ей на смену «ледниковый период» знаменовал усиление цензуры, идеологического контроля за работой телевидения. В реальности это означало, что власть сознательно отказалась от идеи превратить средства массовой информации, прежде всего телевидение, в инструмент равноправного политического и культурного диалога с населением страны. Импульс, приданный общественному развитию решениями XX съезда КПСС, не затронул в необходимой степени механизма демократизации. Инициативы, а их было много, быстро стали наказуемыми, творческий риск все чаще подпадал под категорию идеологической диверсии, естественное право на эксперимент сменилось системой наказаний за «проколы». В начале 1966 г. по настоянию Ленинградского обкома я был изгнан из «телевизионного рая» за ослабление контроля за содержанием передач общесоюзной программы телевидения. Превентивные меры, обеспечивавшие послушание создателей телевизионных программ, сейчас могут показаться реликтовыми, но о них следует помнить тем, кто начал свою жизнь в науке, не ведая запретов на свободу выражения мысли. Мой «прокол», как тогда называли служебные проступки, состоял в следующем. Участники вышедшей из-под контроля передачи говорили совсем не о том, что было ими и редакторами заявлено в так называемой микрофонной карточке и прошло предварительную цензуру. В данном случае не имело значения, что фактическое содержание не выходило за рамки дозволенного. Дело в другом: общесоюзный телевизионный эфир в течение полутора часов оставался «открытым» и люди свободно, «не спросив разрешения», говорили на общедоступном человеческом языке о том, что их волновало как законопослушных граждан советского государства. Именно эта неожиданно проклюнувшаяся свобода представляла для власти особую социальную опасность, и потому наказание в назидание всем, кто

мог бы позволить себе подобную дерзость, оказалось неотвратимым. Я всю жизнь буду жалеть о принудительном отлучении от телевидения. Меня против моей воли и моих убеждений лишили увлекательной работы по перестройке ленинградского телевидения, так сказать, «подстрелили на взлете», нисколько не заботясь о судьбе важного общественного дела, которому мои телевизионные коллеги и я беззаветно служили, пытаюсь преодолеть дефицит человекоцентризма (способность телевизионного канала сосредоточиться на наиболее актуальных интересах аудитории). В ту пору о зрителе говорили очень много, клялись его именем, но мало принимали во внимание его действительные запросы.

Идея человекоцентричности крепко засела в моей голове, и потому, будучи освобожденным от «государевой службы», я решил уйти в очную аспирантуру философского факультета Ленинградского университета и под научным руководством В. Ядова, с которыми меня связывали прочные личные отношения, написать кандидатскую диссертацию, посвященную отношениям телевидения с реальным, а не абстрактным зрителем. Замысел удался. Этому помогла моя первая зарубежная стажировка. В 1967 году я провел несколько месяцев в Англии в качестве стажера Лондонской школы экономики и политики. Одновременно мне была предоставлена возможность для тщательного ознакомления с деятельностью Би-Би-Си и ее службы изучения радиотелевизионной аудитории, которая и по сей день является одной из самых лучших в мире. Не секрет, что вместе с тогдашним руководством Гостелерадио, которое было вынуждено «сдать» меня обкому КПСС, я не исключал возможности в каком-то обновленном качестве, с новыми знаниями и опытом, вернуться на телевидение. И такая возможность представлялась. В конце декабря 1967 г. я получил официальное письмо, в котором мне предлагалось занять должность Генерального директора Советского телевидения (так тогда называли общенациональную телесеть, возникшую на базе построенного телецентра в Останкино). Знакомство с Би-Би-Си не прошло даром и породило множество всяких, увы, фантастических идей относительно того, каким могло бы стать отечественное телевидение. Я принял это предложение и прибыл в Москву. Однако торжественный въезд в Останкинский телецентр на белом коне не состоялся по трагикомической причине. К моменту возвращения стало ясно, что против моего назначения на столь высокий пост возражает все тот же всевластный обком КПСС. Его вето не мог преодолеть аппарат ЦК КПСС. Ввиду явного кризиса принципа демократического централизма я отказался рассматривать комбинации, позволяющие в обход обкома занять телевизионный трон, и уехал в Ленинград дописывать кандидатскую диссертацию. Она была защищена досрочно, в феврале 1969 г., за что я по приказу ректора ЛГУ получил премию в размере месячной аспирантской стипендии, которая составляла тогда за вычетом подоходного налога и налога за бездетность 86 рублей 40 копеек. Вскоре я получил предложение возглавить сектор телевидения во вновь созданном Институте конкретных социологических исследований АН СССР. Это открыло возможности для научной работы, связанной с изучением современных проблем массовой коммуникации.

Затем последовал период работы в Институте социально-экономических проблем АН СССР, под крышей которого в 1975 г. были собраны разрозненные отряды обществоведов, имевшие статус филиалов и секторов московских научных учреждений. Это время отмечено ренессансом отношений с партией, которая испытывала острый дефицит информации о социальных процессах в стране. Частично этот дефицит покрывался донесениями органов государственной безопасности. Не могу судить о достоверности, глубине и представительности этих сведений, поскольку никто меня с ними не знакомил, но с уверенностью утверждаю, что в середине 1970-х гг. органы безопасности знали существенно больше о положении страны, чем партия и ее комитеты, включая Центральный Комитет. Этот дисбаланс требовалось устранить, равно как и преодолеть возникшую информационную зависимость партии от того, что считали нужным сообщать партийным комитетам органы советской разведки и контрразведки. Ленинградский обком в числе первых вознамерился создать собственную информационную службу, частью которой должна была стать система изучения общественного мнения. При деятельном участии руководимого мною сектора массовой коммуникации и общественного мнения ИСЭП АН СССР такая система была создана и несколько лет успешно действовала. Я не только сейчас, но и тогда отчетливо осознавал известную ущербность добровольно принятой обязанности развивать научную базу информационной деятельности партийного органа. В этом случае социология принудительно изолировалась от служения целям, более широким, чем цели КПСС. Местные партийные органы ревностно охраняли результаты заказанных ими опросов общественного мнения, которые утаивались не только от народа — полномочного субъекта общественного мнения, но и от ЦК КПСС, к чему мы еще вернемся. В подобных ограничениях угадывался страх системы перед истинной картиной настроений населения. С другой стороны, работа под прикрытием партийного комитета позволяла изучать отражение в массовом сознании проблем тогдашнего советского общества, развивать методику исследований, накапливать опыт обработки и анализа данных об общественном мнении. Предложенная нами система оперативных опросов работающего населения Ленинграда позволяла получать представительные сведения в течение 24 часов с момента начала опроса. Не скрою, что мы тщательно готовились к тому, что рано или поздно появится Общенациональный центр изучения общественного мнения с отделениями на местах и, разумеется, с открытой программой деятельности. Впрочем, надеждам не было суждено сбыться.

Наверное, мы достаточно быстро продвигались вперед, осваивая одну за другой новые задачи теоретического и прикладного характера, связанные с изучением массового сознания, эффективности массовой пропаганды. В итоге, когда было принято решение создать Информационный центр, призванный обслуживать секретариат и политбюро ЦК КПСС, то по указанию общего отдела ЦК КПСС сектор привлекли к проектированию системы машинного анализа писем трудящихся, адресуемых ЦК КПСС. Основная цель системы состояла в изучении содержания писем (проблематика и мотивы обращения к адресату, сведения об авторах обращений). Кроме того, требо-



валось с помощью вычислительной техники существенно улучшить и регламентировать работу аппарата с этими письмами (рассмотрение писем и составление ответов их авторам, контроль за выполнением соответствующих поручений центральным и местным ведомствам, партийным и государственным чиновникам самого высокого уровня). Задача академических социологов виделась в том, чтобы методически обеспечить функционирование всех звеньев такой системы и сформулировать требования к математической обработке первичной информации. Работа системы была сферой ответственности заказчика, тем более что обработанная информация и аналитические выводы предназначались для узкого круга руководящих лиц и уже поэтому защищались весьма суровыми правилами работы с секретными документами. Мне удалось обойти рифы секретности, предложив в качестве экспериментального полигона для отработки методик машинного анализа писем использовать тексты писем, направленных в Ленинградский обком КПСС. Такое решение устраивало общий отдел ЦК КПСС, но было совершенно неприемлемым для обкома. Я не учел, да и не знал в подробностях, что к тому времени (речь идет о начале 1980-х гг., на которые пришелся пик стагнации) республиканские и областные комитеты партии тщательно скрывали от своего боевого штаба — Центрального Комитета — сведения о фактическом положении дел на местах. Здесь не меньше, чем на телевидении, боялись «проколов», ибо они разрушали иллюзию всеобщего благополучия, в котором, по мнению партии и ее руководителей, пребывала страна и ее народ. Г. Романов, тогдашний первый секретарь обкома КПСС и член политбюро ЦК КПСС, не отличался способностью к высокому полету мысли. По его мнению, препарированная почта обкома могла представить замечательный город — колыбель революции, авангард технического прогресса, кузницу передового производства и общественного политического опыта — в невыгодном свете. Во избежание угроз, связанных с утечкой информации наверх, наши социологические изыскания было велено прекратить. В одночасье из сейфов института изъяли архив более чем десятилетних исследований, а их исполнителей лишили пропусков в Смольный и выдворили из рабочего помещения, где они занимались научным трудом во славу и в интересах партийных органов. Каюсь, но я не увидел в этом признаки бессилия и надвигающейся агонии партии, годы существования которой были сочтены.

Фактические потери от провинциального самодурства Г. Романова были невелики. Руководимый мною сектор прочно занимал одно из лидирующих мест в сфере исследований массовой коммуникации и общественного мнения и имел высокую научную репутацию в стране и за рубежом. Здесь оказалось достаточным отойти, сохраняя равнение в рядах, на заранее укрепленные научные позиции. Несравненно большую опасность для меня и моих коллег по сектору представляли невежество и консерватизм тогдашних руководителей Института социально-экономических проблем. К началу 1984 г. они сумели необоснованно и преднамеренно уволить В. Ядова, начали гонения на А. Алексева и других сотрудников, вина которых была только в том, что они сохраняли независимость мышления. Вскоре наступил и мой час. В октябре 1984 г. бюро Ленинградского обкома КПСС объявило мне строгий выговор

с занесением в учетную карточку за грубые нарушения установленного порядка работы со служебными документами и освободило меня от должности заведующего сектором. Абсурдность этого обвинения не вызывает сомнений, как, впрочем, и факт непосредственного участия дирекции института и преданной ей группы «волонтеров идеологической инквизиции» в намеренной фальсификации дела. Не стану сейчас приводить аргументы и факты. Рукописи, в том числе и доносы, не горят. Скажу о другом. Ревниво оберегая свое реноме, Г. Романов действовал спонтанно. По всей видимости, его запретительная реакция в описанном случае не зависела от личности нарушителя спокойствия. История же, случившаяся в октябре 1984 г., опиралась на «домашние заготовки», на заранее написанный сценарий, в соответствии с которым мне, как основному фигуранту дела, а заодно и моим коллегам требовалось причинить заранее определенный ущерб. Больше всего пострадали сотрудники сектора. Ведь они не имели никакого отношения к моему «проколу», которого, к тому же, я не совершал. Волевым решением сектор массовой коммуникации и общественного мнения был расформирован. Талантливые ученые, профессионально сложившиеся исследователи — Б. Докторов, В. Сафронов, Н. Нечаева, О. Бурмыкина, А. Корниенко — были этапированы, иначе не скажешь, под конвоем дирекции института в сектор региональных проблем социалистического соревнования(?!). На их прежние научные занятия наложили секвестр. Идеологические инквизиторы уже не могли в то время подводить людей под репрессии, но они, все еще чувствуя свою безнаказанность, отчаянно боролись за сохранение власти, изощренно унижая при этом достоинство неугодных им людей.

Главному фигуранту разъяснили, что он утратил политическое доверие, без которого ему нельзя работать в таком ответственном идеологическом учреждении, каким является ИСЭП АН СССР. Правда, верный своему принципу всегда проявлять заботу о судьбе коммунистов, пусть даже понесших тяжелое, но справедливое партийное наказание, обком счел возможным направить фигуранта «для прокорма» в ленинградское отделение Института этнографии АН СССР. В отличие от научной каторги, где томилась и изнывали мои коллеги и ученики, пятилетняя этнографическая ссылка стала ярким и продуктивным периодом моей жизни. Тогдашний директор ленинградского отделения Института этнографии АН СССР Р. Итс предоставил мне полную свободу самоопределения в новой, точнее, неведомой для меня дотоле научной дисциплине. Это позволило расширить научные познания, преодолеть известную самодостаточность социологического видения мира и даже внести определенный вклад в отечественную этнографию, введя в научный оборот систематизированное описание сведений о быте русских крестьян, собранных в конце прошлого века сотрудниками Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева. Дальнейшие события моей жизни оказались связанными с созданием и работой в Санкт-Петербургском филиале Института социологии РАН (1989–1995 годы) и Европейском университете в Санкт-Петербурге (с 1995 г. и по настоящее время).

Подробно рассказывая о перипетиях своего жизненного пути, я менее всего хотел бы предстать в виде жертвы безвременья, как иной раз называют

советский период. Вне зависимости от того, как мы определим данный отрезок истории страны, я всегда буду считать себя причастным к ней. Отделиться от времени нельзя, да и незачем, если ты не утратил чувства ответственности за историю, совершавшуюся на твоих глазах. К тому же я был и остался человеком действия. Это в полной мере отразилось на моей донанучной биографии и впоследствии повлияло на способ существования в мире науки и образования. Сказанное вовсе не означает, что я пренебрегал теорией, когда утверждал себя в очевидных для всех, материализованных результатах научно-практической деятельности. Но если бы оказалось возможным представить человеческое сообщество дихотомически разделенным на людей слова и людей дела, меня бы следовало причислить к последним. Лгать я не умел и потому всегда стремился уйти от тех, кто жил, опираясь на ложь. Другое дело, всегда ли избегание заведомой неправды и обмана происходило осознанно. Здесь часто приходилось включать интуицию. В своих исследованиях советской действительности я никогда не основывался на лжи и выполнил тем самым программу-минимум, направленную на сохранение собственной чести и достоинства. Программа-максимум в этом случае состояла бы в способности встать на путь инакомыслия, но не вместе со всеми, как это и случилось в период перестройки, а вопреки всем, на что в доперестроечную эпоху смогли подвигнуться лишь единичные представители многочисленной армии советских обществоведов. Ведь не только тогда, но и сейчас слово, «обеспеченное умом, знанием и азартом посильного противостояния» (М. Чудакова), является счастливым делом немногих.

**Вопрос:** *Борис Максимович, что бы Вы могли рассказать об истории социологии советского периода в тогдашнем Ленинграде и ее развитии сейчас? Каково Ваше отношение к институционализации социологии?*

История социологии советского периода лишена каких бы то ни было тайн, если ее представить как рассказ о развитии отдельных отраслей социологического знания (см.: Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. М., 1998). Было бы также полезно представить каждую из названных отраслей с помощью *case studies* и осуществить разбор наиболее представительных классических работ советского периода (подчеркну, что такие были). Тогда стали бы ясными теоретические предпосылки, методология, техника сбора данных, качество полученных результатов. Идею относительно нетрудно воплотить в жизнь, тем более что и классики, слава богу, здравствуют. Третий вариант мог бы показать процесс восхождения на Голгофу социологического знания в условиях советского государства — раскрыть отношения между социологией и властью, прочертить пути становления теоретико-концептуальных взглядов, выделить этапы развития отечественной социологии в сопоставлении с развитием мировой социологической науки, раскрыть мотивационную сторону советского социологического сообщества, отношения социологии с другими дисциплинами, влияние социологии на жизнь советского социума и т. д. Такой истории пока нет, но именно ее следует адресовать грядущим поколениям. Всякий иной вариант будет лишен смысла для молодых людей, которые никогда не держали в руках советский паспорт.

Или, как недавно написал мне в письме Г. Батыгин, редактор «Социологического журнала», социологию необходимо представить не столько как академическую дисциплину, сколько как самосознание эпохи. В центре такого варианта — социальный контекст, антиномии партийно-государственных структур и интеллектуальной мысли. С тех же позиций надо смотреть и на современную (постсоветскую) социологию. Ее роднит с советской социологией невестребованность со стороны власти, ныне уже не тоталитарной, а демократической. Еще одна общая черта, если анализировать состояние науки «изнутри», — наличие дилетантизма, который угрожает развиться в наследственное заболевание. Как ни странно, но на преодоление этой угрозы не повлияли вполне очевидные шаги в области институционализации социологической науки. Практически все требования академических и вузовских социологов, громкогласно высказанные с перестроечных трибун, в той или иной степени были удовлетворены, но профанация социологического знания с помощью чудовишно безграмотных методик не прекращается. Суррогатами этого знания будут оболванивать электорат во время предстоящих думской и президентской избирательных кампаний. Сомневаюсь, что существуют надежные способы защиты от нелегитимных приемов борьбы за победу на выборах путем подтасовки социологических данных, которая становится новым видом «беловоротничковой преступности».

**Вопрос:** *Интересен вопрос о формировании поля социальных наук и о диспозициях тех или иных групп и личностей, повлиявших на процесс становления социологии в прошлом и «творящих» социологию сегодня. Что Вы видите общего и различного в расстановке социологических сил тогда и теперь?*

Здесь не может быть однозначного ответа. Я согласен с И. Голосенко, который в своей исповеди, адресованной читателям вашего журнала, выделил в научной социологической среде цепных псов идеологизированной науки, поклонников идеалов чистой науки и представителей настоящей науки (они, заметим, жили и здравствовали, невзирая на деформирующее влияние внешних обстоятельств). Каждая из названных групп играла по своим правилам, имела свою стратегию выживания в более широком научном окружении и в социуме. Исторически значим и потому должен быть транслирован в будущее опыт настоящих ученых-социологов. К ним в полной мере приложима формула М. Чудаковой. В абсолютном измерении — это «генофонд» социологии, который при определенных оговорках может и должен пополняться за счет представителей чистой науки. В условиях современной России предложенная И. Голосенко структура претерпела изменения, появились отряды коммерциализированных социологов. Здесь бы я остановился и уступил слово науковедам и социологам науки. Что позволялось, отвергалось и поощрялось в социологии 15 и более лет назад, хорошо известно. По моим наблюдениям, сейчас позволяется все, отвергается тоже все. Стратегия нематериального поощрения остается латентной, и кажется, что научное сообщество этим мало озабочено. Сейчас никакой «борьбы» нет, взаимные притяжения и отталкивания, если они и имеют место, лишены эмоциональной окраски.

**Вопрос:** *Что бы Вы могли отметить из атмосферы 40–50–60-х гг. в Советском Союзе, Ленинграде, Ленинградском университете? Кто были Вашими кумирами и учителями? Что, на Ваш взгляд, утрачено безвозвратно и что необходимо вернуть и сохранить?*

За тридцать с лишним лет профессиональных занятий социологией мне довелось быть свидетелем того, как в условиях репрессивного времени складывалось социологическое сообщество, а ныне — увидеть его дезинтеграцию, возникшую, кстати сказать, вопреки выстраданным декларациям и гарантиям индивидуальной свободы и научного творчества. Жизнь в социологическом коллективном хозяйстве была далекой от идеала. Однако чувство локтя было и в сложных ситуациях помогало преодолевать невзгоды. Последовавшее затем вынужденное переселение на социологические хутора хотя и открывало путь к проявлениям личной инициативы, но обернулось утратой атмосферы профессиональной сплоченности, лучше сказать — солидарности и единства. Удастся ли восстановить утраченное — покажет время. Здесь многое зависит от молодого поколения социологов: пожелают ли они вступить в равноправный диалог с учеными средних и старших поколений или «капсулируются», торопливо провозгласив себя представителями «третьей волны» отечественной социологии. Моими учителями, которые помогли мне преодолеть трудности запоздалого прихода в социологическую науку, дефицит необходимых познаний и отсутствие исследовательского опыта, являются В. Ядов, И. Кон и В. Шубкин. За эти годы мы стали очень близкими друзьями. Но учитель — явление пожизненное. Роль великовозрастного ученика меня в этом случае несколько не смущает.

Моему сравнительно скорому профессиональному становлению помогли еще два человека. Х. Химмельвейт, автор фундаментальной пионерной книги «Ребенок и телевидение» и профессор Лондонской школы экономики и политики, которая несколько месяцев вводила меня в мир сложных и тонких отношений телевидения и аудитории (Англия, 1967 г.). Дж. Гэллап-старший, директор Американского института общественного мнения, терпеливо объяснял мне технологии опросов общественного мнения (США, 1977 г.).

**Вопрос:** *Последние десять лет ознаменовались радикальными изменениями в нашей стране. Как это отразилось на состоянии России? Что Вы могли бы сказать в конце нашего «нервного» столетия о прошлом и настоящем нашего отечества?*

Отношение весьма сложное. Я считаю историческим подвигом народа бескровный демонтаж социалистической системы, в результате которого эти перемены стали возможны. Другое дело — это система экономических и политических отношений, которую мы получили взамен того, что было. Кажется, что мы живем в демократических и рыночных временках, настолько хрупким, неустойчивым и, не побоюсь этого слова, все еще бедственным является нынешнее бытие народа. Колючие ветры затянувшейся общественной непогоды и иные катаклизмы, имеющие место в окружающей социальной среде, нашей второй природе, лишь усиливают дискомфорт нынешнего коллективного и индивидуального бытия. Оттого многих людей одолевает ностальгия

по теплу и сытости коммунальной жизни в отринутую эпоху. Таков экзистенциальный срез. Его не должна отвергать «понимающая» социология.

Однако самым важным для меня является культурный срез. Историками советского общества замечено, что идеология, так прочно укорененная в текстах широко понимаемой советской культуры, осуществляла одну важную функцию — инфантилизацию советских граждан. В итоге планка требований к социальным качествам людей оказалась заниженной. В то же время от их социальных свойств в полной мере зависит судьба любого общества. Эту мысль еще в двадцатые годы выразил выдающийся русский социолог П.А. Сорокин в своей работе «Современное состояние России». Позволю себе две цитаты оттуда: «Общество, состоящее из идиотов или бездарных людей, никогда не будет обществом преуспевающим. Дайте группе дьяволов великолепную конституцию, и все же этим вы не создадите из нее прекрасного общества. И обратно, общество, состоящее из талантливых и волевых лиц, неминуемо создаст и более совершенные формы общежития» (см.: Новый мир. 1992. № 4. С. 188). Так вот, инфантильные люди и культура, поддерживающая этот инфантилизм, до сей поры не имеют адекватных реакций еще на одну закономерность. Сорокин открыл закон социального иллюзионизма, согласно которому крупные общественные сдвиги начинаются и идут под знаменем притягательных лозунгов «царства Божия на земле», «братства, равенства и свободы». В момент начала великих преобразований большинство людей, так или иначе участвующих в движениях, верят в то, что движения приведут, наконец, к осуществлению великих идеалов, хотя в конечном счете ни одно из этих движений не смогло осуществить «выставленных идеалов». Вспоминая грандиозные и вдохновлявшие нас лозунги периода перестройки, полезно напомнить все, что пророчески писал первый социолог России про лозунги революции 1917 г.: «Из одного края великой земли русской до другого пронеслись они, заражали миллионы, зажигали их огнем энтузиазма и фанатизма, будили и опьяняли их и возбуждали великую веру к себе и в себя. Казалось, великий час пробил. Вечно жданное наступает, мир обновляется, и «синяя птица» всех этих ценностей в руках. ...История еще раз обманула верующих иллюзионистов. Поистине «слепые вели слепых, и все упали в яму»» (см.: Там же. С. 193). Правда, в своих комментариях Сорокин заметит, что свой закон он связывает с кровавыми революциями, а бескровные революции могут иметь иную перспективу. Культурный фактор здесь особенно важен. Культура должна справляться с процессами общественной трансформации. Ее терпимость по отношению к изменениям «нервного века», равно как и сохранение традиций и опыта предшествующих поколений, должны быть гармоничными ее сторонами.

**Вопрос:** *В каких направлениях социологических исследований Вы конкретно участвовали? Были ли официально признаны результаты Ваших исследований?*

Так уж получилось, что каждый период моей социологической биографии имеет исследовательский акцент. Начал я с изучения места телевидения в советском обществе, что впоследствии вывело меня на путь анализа процессов массовой коммуникации в условиях различных социальных систем.

Этому была посвящена моя докторская диссертация, которую я защитил в 1979 г., будучи ранее поощрен стипендией ЮНЕСКО для работы в штаб-квартире ЮНЕСКО, научных учреждениях и университетах Франции (1972 г.), а также стажировкой при исследовательском институте Японской радиовещательной корпорации Эн-Эйч-Кей (1978 г.). Сравнительные исследования коммуникационных процессов были положены в основу нескольких международных проектов, руководителем которых я являлся в конце 1970-х–начале 1980-х гг. Сотрудничали мы с социологами Венгрии и Финляндии. В конце 1980-х–начале 1990-х гг. в кооперации с эстонскими социологами с интересом изучал массовое экологическое сознание. Своеобразным научным синтезом всего ранее сделанного мною был коллективный проект «Качество населения Санкт-Петербурга», поддержанный Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом в 1993–1996 гг. Этим было положено начало новому направлению фундаментальных исследований — комплексному изучению человеческих ресурсов и человеческого потенциала.

**Вопрос:** *Социологическое образование является ключевым направлением развития социологии. Как Вы оцениваете подготовку по социологии в Петербурге и в России? Преподавали ли сами социальные науки в вузах?*

Опыт преподавания социальных наук более чем скромный. В семидесятилетие я пять лет подряд вел курс методологии и методики социологических исследований в одном из вузов Ленинграда, в 1993–1994 учебном году я в качестве *visiting professor* читал лекции о советской (российской) системе средств массовой коммуникации для студентов-журналистов Ганноверского университета. Не скажу, что преподавательская работа очень меня увлекала. Склонность к научным исследованиям я сохранил и по сей день. Правда, социологическое образование всегда считал важным уже хотя бы потому, что самоучкой вступил на путь социолога-исследователя. Более чем тридцатилетний опыт «догоняющего саморазвития» может что-то значить, но лучше начинать социологическую карьеру раньше, в пору молодости, и не жалеть времени на мировоззренческие дисциплины, языки, гуманитарное знание, умение излагать научные факты языком, понятным не только профессиональному клану, но и непосвященным в научные таинства согражданам. Отсутствие большого числа ярких личностей среди молодых социологов, окончивших университеты, заставило меня задуматься над системой подготовки новых поколений научной элиты. И сегодня процесс старения научной (преподавательской) среды происходит скорее, чем ее пополнение новыми научными дарованиями. Отсюда и неотложность перестройки послевузовского образования.

**Вопрос:** *Каково Ваше отношение к возможностям, предоставленным эрой М.С. Горбачёва и постсоветским периодом? Занимались ли помимо академических дел публичными и политическими вопросами в период перестройки и последовавших затем реформ?*

Эра Горбачёва, если так угодно называть перестроечное время, дала мне возможность вернуться из этнографической ссылки в профессиональ-

ную социологию. К тому времени я преодолел, едва ли не полностью, интеллигентский синдром (извечное стремление к добровольной роли наставника, поводыря «незрелого народа», учителя жизни) и пришел к выводу, что пора становиться на позиции независимого интеллектуала. Отсюда кажется вполне понятной концентрация внутренних усилий на академических делах и полная атрофия желания заниматься политическими вопросами. В результате такой конверсии я нисколько не утратил гражданских чувств, иначе не смог бы вложить много стараний и усилий в создание Санкт-Петербургского филиала Института социологии РАН. Индивидуальная ответственность, путь к которой открыло горбачёвское и послегорбачёвское время, показалась мне привлекательнее, чем постоянные муки от душевных испытаний в предощущении надвигающегося заката традиционной модели русской интеллигенции. По этой причине, едва представилась возможность, я снял с себя полномочия директора филиала института. Меня увлекла идея организации негосударственного университета как сферы для серьезных интеллектуальных занятий и полноценного (подчеркну — независимого) существования.

**Вопрос:** *Могли бы Вы, подводя итоги, оценить свои достижения на поприще социологии? Что было предметом Вашего особого внимания: разработка новой проблематики или апробация каких-либо идей в социологии, включая социологическое образование? Что удалось и что не удалось?*

*Политические и культурные условия чрезвычайно важны для публичного деятеля, каким является ученый в области общественных наук. Насколько влияли на характер и интенсивность Вашей деятельности в академическом институте политические и идеологические требования со стороны партийно-государственных органов?*

*Этот вопрос тесно связан с проблемой мотивации преподавательского и научного труда, его продуктивности. Какие из своих научных и педагогических достижений Вы считаете наиболее значимыми, этапными в своем творчестве? Что, на Ваш взгляд, более всего стимулировало творческую активность: мотив познания, жажда успеха, стремление к власти в академическом поле или другие факторы?*

Тему достижений я предпочел бы отложить и отдать на откуп профессиональному окружению. Могу лишь заметить, что в силу разных причин мой потенциал часто оказывался невостребованным. Впрочем, это было типичным явлением для академической среды в последнее десятилетие, предшествовавшее началу перестройки, когда более всего в научном сотруднике, зачисленном на государственный кошт, ценилось послушание и способность к воспеванию советской действительности. Все официальные институты общества (наука не была здесь исключением из правила) обязаны были нести почетный караул у знамен развитого социализма. Сей караул был снят только в августе 1991 г. А до той поры ни «караульные начальники», ни «разводящие», ни «часовые» не решались признаться даже самим себе, что дальнейшее несение караула лишено исторической перспективы. Но, кажется, об этом мы уже говорили.

Моя исследовательская деятельность (о преподавательской деятельности сказать могу мало, настолько малозаметной она мне кажется) была свя-



зана всегда с разработкой новой проблематики, постановкой, прежде всего, актуальных вопросов научного знания, призванного обслуживать интересы практики. Пришел я в науку поздно, но поставил перед собой цель добиться успеха и занять свое место в профессиональном сообществе. Вряд ли эти цели можно соотнести с карьерными устремлениями или борьбой за власть. Главной была забота о качестве научного труда, нетерпимое отношение к суррогатам научной продукции и имитации научной деятельности. Мотивацию моего собственного научного труда, которой вы интересуетесь, я связываю с исполнением научного долга. Бытие в науке — это, прежде всего, этическое решение. Отсюда мне кажется трюизмом как-то особо выделять мотив познания. Он имманентен профессиональному научному труду. Этики науки утверждают, что этическая компонента научного мышления помогает связывать действия с результатом.

**Вопрос:** *Филиал Института социологии в Санкт-Петербурге был учрежден в 1989 г. Вы были его первым директором. В чем состояла стратегия развития социологии в рамках академической науки? Каковы сегодня материально-технические и организационные условия его функционирования? Как Вы оцениваете достижения института, есть ли у него перспективы и с чем они связаны? Существует ли какая-либо продуманная стратегия развития Института социологии РАН?*

Эта стратегия в конце 1980-х гг. состояла в том, чтобы придать социологии статус полноправной научной дисциплины. Ведь даже в период хрущёвской оттепели, когда казалось, что социологическое солнце встает над страной, понятие «социология» по инерции сталинской эпохи привычно и устойчиво связывалось идеологами партии с понятием «буржуазная наука». Отсюда не буржуазным считалось лишь изучение относительно ограниченного круга общественных суждений с помощью количественных методов, вернее, той их части, которая получала сертификат социальной благонадежности. В эту своеобразную «резервацию» и поместили науку «социологию», но под вымышленным именем «конкретные социальные исследования». Узаконение нового имени «социологические исследования» не привело к ощутимым изменениям статуса многострадальной науки. В доперестроечные годы ее радикальная институционализация была делом неосуществимым. Не говорю уже о том, что весь теоретический и методологический аппарат социологии находился в официальном плену у догм исторического материализма. Удаление от советизированного Маркса считалось побегом из колонны, шагающей в ногу по направлению к намеченной цели. За попытку побега полагалось наказание. Раскрепощение социологии было девизом организации и реорганизации профессиональной социологической деятельности в условиях перестройки. В итоге филиал был наделен вполне определенным статусом научного учреждения системы Академии наук, получил право на ученый совет, аспирантуру, издательскую деятельность, установление международных связей. Наличие головной организации — Института социологии РАН — никак не ограничивало свободу научного творчества и, более того, стимулировало ее. Программа исследований стала

результатом сложения научных интересов ученых, пришедших в филиал. Я сознательно пошел на такую стратегию. Она была предложена не от переизбытка либерализма. Искусственным способом создания филиала я предпочел естественный путь, движение от достигнутого, от того, что знали, умели и хотели делать мои коллеги. Полагаю, что право на самоопределение в данном случае было выстрадано ими за годы принуждения к официальной тематике и воспитательному режиму существования в науке. Плохо или хорошо, но вера в результативность коллективных порывов и прорывов была утрачена, а работа на единый наряд основательно дискредитирована. При всех преимуществах согласованного коллективного действия, оно накладывало ограничения на плюрализм научного поведения и мышления и мешало индивидуальному самоопределению в научной сфере. Сверх того, я считал утратившими силу и легитимность методы перековки научных сотрудников. В любом случае наставления на путь истинный следовало исключить из сферы административного распоряительства филиалом. Я все больше и больше приходил к выводу, что хозяином своей судьбы должен быть сам научный сотрудник, а не прогрессивно настроенный, живущий интересами научной массы руководитель. Была ли такая позиция оправданной, судить в конечном счете не мне. Но переломить себя я не смог.

Считаю, что в итоге мне удалось помочь становлению филиала, который теперь является неотъемлемой частью российской социологии и важным элементом Санкт-Петербургской науки. Его перспективы я вижу в сохранении и развитии тех научных направлений, которые придали его лицу необщее выражение. Настало время конвертировать филиал в самостоятельный академический институт. Утверждаю, что особенности социологического мышления, взгляды на социальную жизнь, интерес к социально-культурным изменениям, историческая динамика культуры, подходы к анализу современного состояния России — весьма близки к парадигматике П. Сорокина и многим идеям, составляющим его научное наследие. Потому горячо поддерживаю точку зрения моих коллег, что следование традициям Питирима Сорокина, своеобразный «римейк» его наиболее важных работ может принести этому институту не только всероссийскую славу, но и мировую известность. С такой идеей не стыдно вступить в новое тысячелетие.

**Вопрос:** *Существует ли связь между институтами РАН и университетами? Сейчас постоянно возникают новые учебные заведения, частные и государственные, и обучение социальным наукам проводится почти повсеместно. В Европейском университете в Санкт-Петербурге есть факультет социологии и политологии. Каковы его задачи и в чем его специфика на фоне многочисленных факультетов социологии? Как Вы можете оценить взаимоотношения между исследованиями и образованием в социологических науках?*

Начнем по порядку. Да, теперь эта связь существует, но для этого пришлось разломать «берлинскую стену» между миром высшего образования и миром науки. Сожалею, что при создании филиала, то есть еще 10 лет назад, я не нашел общего языка с факультетом социологии Санкт-Петербургского университета. Сожалею, что тогда декан факультета настроенно относился

к вновь возникшему научному учреждению, а директор-организатор филиала Института социологии не понимал до конца изначальную важность союза науки и образования. Тому, что происходит ныне в отношениях двух субъектов научно-образовательной деятельности, я могу только радоваться.

Совсем иная мотивация лежит в основе появления Европейского университета в Санкт-Петербурге. Миссия ЕУСПб — поиск и активная поддержка будущих научных лидеров, которым предстоит жить и работать в XXI веке и взять на себя ответственность за преодоление доставшегося им в наследство глубокого кризиса российской науки и образования. Другими словами, это попытка заняться подготовкой научной и культурной элиты. Под элитой в данном случае я понимаю ученых и высокопрофессиональных специалистов, отличающихся высокими творческими достижениями и обладающих глубокими знаниями, исследовательским и экзистенциальным опытом для того, чтобы выступить в роли наставников следующих за ними поколений молодежи. В рабочем смысле это попытка реформировать аспирантуру в сфере гуманитарных и социальных наук, которую до сей поры не затронули перестроечные веяния. Деятельность ЕУСПб не является провозглашенной альтернативой нынешнему вузовскому постдипломному образованию. Видовое разнообразие является основой развития растительного и животного мира. Полагаю, что этот закон живой природы может быть перенесен в контекст социальной жизни. Вопрос, таким образом, состоит не в том, зачем нужен ЕУСПб, когда один за другим открываются обществоведческие факультеты, а в том, существует ли потребность в модели и условиях обучения аспирантов, предложенных создателями ЕУСПб. Отвечаю со всей определенностью — такая потребность существует. На пятьдесят мест (прием 1999 г., четвертый по счету) на факультеты истории, экономики, этнологии, политических наук и социологии было подано свыше 230 заявлений. Мы учим аспирантов в большей степени, чем это принято до сей поры в высшей школе и в учреждениях РАН, мы создаем им условия для научной работы и современного информационного обеспечения, мы прививаем им навыки самофинансирования научной деятельности, и все это приносит свои плоды. Пока дерево плодоносит, его не вырубят ни один разумно мыслящий садовник. Кстати, вся мировая система высшего образования совершает эволюцию в сторону инновативных форм постдипломного высшего образования, а ускоренное воспроизводство научной элиты включается все чаще в список приоритетных национальных целей. Бакалавр в XXI веке будет таким же ординарным явлением, как человек со средним образованием в уходящем столетии, но это только повысит спрос и цену на научный талант и преподавательский дар. Может быть, стоит предвосхитить это время путем осуществления серии натуральных многолетних экспериментов, выполненных на основе различающихся образовательных технологий?

**Вопрос:** *Для ученого в сфере социальных наук важна методологическая позиция и пристрастия. Каково Ваше отношение к современным социологическим теориям и подходам и Ваше научное кредо? Какие теоретические принципы в социологии и в целом в социальных науках Вы разделяете в настоящее время? Какие*

*социологические проблемы и темы привлекают Ваше внимание сейчас, в конце 90-х годов уходящего тысячелетия?*

Мой ответ, возможно, покажется странным. Современных социологических теорий и подходов всегда было очень много. Не могу пожаловаться на то, что я не имел возможности познакомиться с ними в процессе социологической деятельности. Вопрос применения той или иной теории давно связываю с задачами и предметной сферой исследования. Так было в пору увлекательных занятий массовой коммуникацией, когда мне удавалось держать руку на пульсе мировых достижений в этой области социологического познания. Так было и в других случаях, на которые я ссылался. Правда, начинал я всегда с того, что сделали мои отечественные предшественники и коллеги. Где-то в середине своей научной карьеры почувствовал особый интерес к междисциплинарным подходам без попыток покинуть орбиты социологического знания. Занятия этнографией сильно стимулировали интерес к истории, ведь недаром большинство «остепененных» этнографов и этнологов являются кандидатами и докторами исторических наук. Порой погружение в историю было настолько глубоким, что угасал интерес к современности (но это, скорее, от неопытности в обращении с инструментами исторического исследования). Изучая качество населения Санкт-Петербурга, я понял, сколь опасна самодостаточность социологического объяснения, которое хотя и позволяет выявить проблему, но придать ей рельефность оказывается бессильным. Одновременно сильно начал мешать преднамеренный операционализм, суровую школу которого я многократно проходил начиная с конца 60-х гг. На сегодня внутреннее доверие к количественным методам сохраняется, однако качественные методы кажутся более привлекательными. К тому же, как это не раз замечено в апологиях качественных методов, количественная социология предложит результаты измерений, выраженные на искусственных (формализованных) языках, а качественная — результаты наблюдений, записанных с помощью естественного языка. При этом одна часть социологов, пытаясь достичь убедительности, будет стремиться войти в жизненные миры индивидов, а другая часть постарается обойтись без этого, считая себя прикрытой броней из чисел и потому неуязвимой. В итоге возникнет противостояние числа («позитивной науки») и естественного языка (актора). Кажется, что качественные методы ближе к дыханию жизни социума, к возможности понять его настроение, структуры и особенности повседневной деятельности индивидов. Историческое время, которое лишало людей права на сомнения, уходит; наблюдаемая девальвация безошибочных конструкций реальности, которые предлагают позитивисты, кажется явлением закономерным. Вот так, с опозданием, я для себя восстановил в правах доверие к понимающей социологии. Меня не смущает, что за этим стоит размывание жанра социального мышления, подмеченное наблюдательным американским антропологом Гирцем (Geertz). Сценарии иных обществоведческих работ, по его же наблюдению, используют законы театральной драматургии, представляя жизнь социума как драму характеров в определенных социальных обстоятельствах. Я бы счел полезными для науки эти сценарии, если они сближают социологический дискурс с ментальностью широких кругов.

**Вопрос:** *В каком направлении, с Вашей точки зрения, развивается современная российская социология?*

Таких направлений несколько. Первое — восстановление истинных границ территории социологического знания путем мирных переговоров со смежными науками, которые вынужденно принимали на себя функции социологии в период, когда социология считалась несуществующей. Второе — неуклонное обогащение методического арсенала науки. Третье — динамичное расширение предметной сферы социологического анализа до пределов, охватывающих вселенную жизнедеятельности социума. Четвертое — встраивание в систему современных социологических теорий и обеспечение доступа к мировому социологическому знанию. Стопроцентно соглашусь с Т. Шаниным, который все это назвал моделью «расширяющегося потока».

**Вопрос:** *Наконец, ряд вопросов о Ваших личных намерениях и целях. Каковы Ваши исследовательские планы? Что уже осуществлено, что предстоит сделать?*

Одни цели и намерения концентрируются так или иначе вокруг стремления добиться устойчивого развития Европейского университета в Санкт-Петербурге. Смею надеяться, что это еще какое-то время будет оставаться главным делом моей жизни. Я считаю роль администратора, организатора научно-образовательной деятельности крайне важной, хотя некоторые мои досточтимые коллеги согласились бы пребывать в этой роли только под общим наркозом. Я их не осуждаю хотя бы потому, что в их высказываниях сквозит природное остроумие. Хотя я кожей чувствую и не приемлю людей, которые сознательно стоят на обочине, в то время как другие натушно вытаскивают «Студебеккер» из размытой дорожной колеи. Я также надеюсь, что время и обстоятельства позволят мне серьезно заняться научной деятельностью, тем более что надлежащую форму научной активности мне удалось сохранить за весь период несения трехлетней бессменной вахты на посту ректора ЕУСПб. Нынешние научные интересы и планы я связываю с исследованиями ментальности и открытием тайн «русскости». Определенно планирую на несколько месяцев оторваться от ректорского кресла и написать книгу об истории советской социологии 1950–1980-х гг. Буду настойчиво искать грант, который бы позволил создать условия для этой чрезвычайно важной работы. Одно из них уже наличествует. Я получил согласие полутора десятков ныне здравствующих отцов-основателей советской социологии помочь мне словом и делом в написании книги. Она предназначена для молодых людей, которые избрали профессию социолога, но не жили в советское время. Неотвратимое прощание с социализмом затягивается, и по этой причине им надо знать, от какого наследства мы и они должны отказаться.

**Вопрос:** *Какие перспективы и трудности, по Вашему мнению, ожидают наше общество в ближайшем будущем? Имеете ли Вы смелость прогнозировать будущее России в XXI столетии?*

Трудности эти общеизвестны, жизнь не дает возможности их не чувствовать и переживать с той или иной степенью успешности. Я по натуре опти-

мистический фаталист и не лишен способности в своих предчувствиях опираться на подтверждаемые историей человечества закономерности. Историк и литератор Я. Гордин недавно напомнил о явлении, которое можно было бы назвать «инстинктом самосохранения больших общностей». В основе этого инстинкта лежит генетическая способность сопротивляться любым попыткам заставить социум двигаться неестественным и потому непривычным путем. Так вот, Россия сохранится и обретет столь необходимое ей социальное здоровье. Однако выздоровление потребует немалых усилий и времени. Третье поколение, если вести отсчет от моего, в полной мере почувствует выстраданный расцвет страны и ее народа.

*Интервью подготовил и провел В.В. Козловский.*

Б.М. ФИРСОВ  
«...О СЕБЕ И СВОЕМ РАЗНОМЫСЛИИ...»<sup>1</sup>

*От ведущего рубрики «Современная история российской социологии» журнала «Телескоп».*

*Это интервью с Борисом Максимовичем Фирсовым — один из фрагментов нашего много десятилетий не прерывающегося разговора обо всем. Почти двадцать лет мы работали вместе, и мне всегда это было интересно. Мы встречались утром, зная, что предстоит сделать в течение дня, нередко работали вместе много часов, надолго задерживались на работе, продолжали наши дискуссии по дороге к метро и уже из дома обменивались телефонными звонками, чтобы уточнить детали грядущего дня. БМ, так я уже многие годы называю Б.М. Фирсова, всегда был моим руководителем. Когда мы познакомились, мне было немногим более тридцати лет, и по опыту жизни я во всем ему уступал. Но никогда он не давал мне повода, даже легкого намек воспринимать себя как подчиненного, а его — как начальника. Мой отъезд в Америку в 1994 году лишь увеличил физическое расстояние между нами и сделал еще более приятной и памятной каждую из наших встреч. А их было уже много и в России, и в Америке.*

*В июне 2004 года БМ исполнилось 75 лет. Это интервью мы назвали постюбилейным. Хотя в основном разговор касается прошлого и сделанного, это — не подведение итогов. Это разговор друзей, в котором одному разрешено о многом спрашивать, а другой старается максимально искренне отвечать. Но одновременно это и документ, рассказывающий о судьбе одного из пионеров российской социологии.*

Борис Докторов

---

<sup>1</sup> См.: Фирсов 2005: 2–12.

## 1. До вступления на социологическую тропу: 1929–1962

**Борис Докторов:** *БМ, даже притом, что биографии ряда советских социологов первого поколения включают в себя период освобожденной комсомольской и партийной работы, твой путь в социологию уникален. Ты получил техническое образование, и затем весьма успешно складывалась твоя партийная и административная деятельность. Не мог бы ты обозначить основные вехи этого движения, выделяя те обстоятельства, которые потом привели тебя в социологию?*

**Борис Фирсов:** Я вышел из блокадного и военного времени с громадным запасом жизненного оптимизма и желанием стать полезным обществу человеком. Учился в школе на одни пятерки. Правда, за коллективные и индивидуальные художества мне в старших классах дважды снижали оценки по поведению и один раз исключили из школы, но на очень короткий срок. Наверное, во мне был ресурс коммуникабельности, неизбывной потребности что-то делать для других и уверенности в себе. Дружба была превыше всего, и я с энтузиазмом руководил похищением классного журнала и погружением его в вечность глубин реки Карповки в присутствии всего класса.

Я окончил Ленинградский электротехнический институт имени В.И. Ульянова (Ленина)<sup>2</sup>, один из самых престижных вузов города, в феврале 1954 года, получив диплом инженера-электрофизика с отличием. Уже на втором курсе я был избран секретарем комитета ВЛКСМ института и с головой ушел в общественную работу. Лекции «мотал», пользуясь правом свободного посещения занятий, но лабораторные, курсовые работы и экзамены сдавал в срок, не давая себе никаких поблажек. Иначе бы я утратил моральное право призывать студентов-комсомольцев быть примером в овладении знаниями. Служение ЛЭТИ было нравственным императивом институтской профессуры и через нее — ядра студенческой массы, состоявшей из двух частей. Одна из этих частей — фронтовики, хорошо знавшие цену жизни, право на которую они отстаивали на фронтах войны. Их целеустремленность заражала. Вторая часть — вчерашние школьники, но с опытом переживания тягот военных лет, представители первого в советской истории «непоротого поколения», с пробудившимся интересом к культуре, литературе, театру, спорту, джазу. Им, правильнее сказать в первом лице — нам, мне, еще предстояло пережить шок от ужасов сталинского прошлого. Не ведая, когда наступит прозрение, мы радостно глотали жизнь, оберегаемые родительской любовью и мудростью.

На моих глазах ЛЭТИ стал «эстрадно-музыкально-спортивным вузом с небольшим электротехническим уклоном», Так, с оттенком «белой зависти», называли его студенты других высших учебных заведений города. Комитет ВЛКСМ вуза, надежно прикрытый парткомом, состоявшим из трех поколений фронтовиков (преподаватели, аспиранты, студенты), находился у истоков

---

<sup>2</sup> Ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). — *Примеч. ред.*



этого принципиального изменения — создания дружественной культурной среды. Эхо «Весны в ЛЭТИ», самодеятельного студенческого спектакля-обозрения, и сейчас, 50 лет спустя, греет души многих выпускников института, как и слава институтской баскетбольной команды тех лет, чемпиона СССР. Чтобы сделать понятной причинно-следственную связь между комсомольской работой и этими достижениями, скажу на современном языке, что комитет ВЛКСМ был деятельным спонсором и инициатором многочисленных начинаний. Поддерживать и воплощать их в жизнь было интересно.

В итоге вместо того, чтобы принять предложение кафедры поступить в аспирантуру ЛЭТИ и заниматься электронной оптикой, я стал общественным деятелем, последовательно избираясь на должности секретаря райкома комсомола (1953–1956), секретаря обкома ВЛКСМ (1956–1959), а затем и первого секретаря Дзержинского РК КПСС Ленинграда (1959–1962). Эта эволюция требует пояснения. Я бы хотел только обезопасить себя от подозрений в карьеризме.

Существовал и существует некий альтруистический мотив принесения части самого себя на алтарь неэгоистических целей. В пору создания Европейского университета в Санкт-Петербурге (1994) мне довелось защищать этот проект перед советологической профессурой Стенфордского университета. От успешности защиты зависело, согласится или не согласится «Stanford Community» взять проект и его организаторов под свое поручительство перед американскими благотворительными фондами. Защита прошла успешно, доказательством чему был прием ректором (provost) университета Кондолизой Райс и главным фандрайзером — лицом ответственным за поиск денежных средств (грантов) на поддержку деятельности университета. На этой встрече были произнесены слова, которые кажутся заслуживающими упоминания: «Никогда не стесняйтесь обращаться за поддержкой идеи, в которую вы верите. Если она действительно хороша, то спонсор будет всю жизнь жалеть, что не поддержал полезное дело».

У меня никогда не было денег для поддержки разных инициатив, но идеи, высказанные другими людьми, часто не оставляли меня равнодушным. Говорить об этом во всеулышание я стеснялся, пиар в свою пользу в советские времена не процветал. Но все же, занимая различные посты, я старался делать акцент на поддержке и помощи, что в конечном счете влияло на дебиюрократизацию рутинной деятельности. Ленинградский обком ВЛКСМ, в период моей работы там, помог выявить большое количество талантливой творческой молодежи. Слава балетных звезд и звезд эстрады пришла к А. Осипенко, И. Колпаковой, В. Семенову, Э. Пьехе, А. Броневицкому после того, как они стали лауреатами художественных конкурсов Московского фестиваля молодежи и студентов (1957). Выпестованный при активной поддержке обкома ВЛКСМ Эстрадно-танцевальный ансамбль молодежи Петроградской стороны успешно выступил в концертных программах фестиваля. На волне фестивального успеха многие молодые авторы и исполнители смогли быстро закрепиться в сфере профессионального искусства. Один из номеров программы ансамбля назывался «Дождик». Под музыку А. Колкера и песню К. Рыжова двенадцать красивых молодых девушек исполняли танец с зонтиками. Дирижеру А. Бад-

жену пришла в голову игривая мысль — девушки должны были танцевать в купальных костюмах. Свидетельствую, что более целомудренного танца я не видел. Потому без тени сомнения номер был включен в первый показ программы ансамбля в Актовом зале МГУ. Зал аплодировал с восхищением. Однако «начальство», секретарь ЦК ВЛКСМ З. Туманова, осудила легкомысленный номер и повелела «одеть девочек» для будущих выступлений. Я получил от нее устный реприманд<sup>3</sup> за то, что, будучи секретарем обкома ВЛКСМ, «протащил» опереточное действо в святая святых для всей страны — Актовый зал МГУ — и к тому же не отговорил мою жену от выхода на сцену в пляжном костюме.

**Б.Д.:** *Оставалась ли в то время у тебя возможность вернуться в ЛЭТИ и начать работу по полученной специальности?*

**Б.Ф.:** К 1959 году многие мои «однокашники» из ЛЭТИ, став аспирантами, начали защищать кандидатские диссертации, делать открытия, изобретать, писать книги и учебные пособия. Не могу сказать, чтобы я им завидовал, но все же я почувствовал, что выветриваются мои технические и математические знания, полученные в ЛЭТИ, что я теряю профессию. У меня возник план — пойти к партийному начальству и попросить отпустить меня, уже тридцатилетнего, с миром в аспирантуру ЛЭТИ. Вместо этого я оказался в зале партийной конференции Дзержинской районной партийной организации, куда меня привезли «сватать» на должность первого секретаря райкома партии. Вопросов мне не задавали, я был оставлен в списках для голосования, раз ЦК КПСС велел выдвигать молодых, но 81 делегат (из 300) проголосовал «против». Не будь тогдашнего «страховочного» правила (оставлять в бюллетене ровно столько кандидатов, сколько следовало избрать в партийный орган), мое поражение на выборах было бы неминуемым. Одеваясь вечером после закрытия конференции, я услышал в темноте раздевалки разговор бывалых партийцев. Один спросил другого, кого избрали «партийным вождем района», и получил недвусмысленный ответ: «Да этого сопляка из обкома комсомола!» Что оставалось делать? Завоевывать у людей авторитет.

Уже через год, на очередной отчетно-выборной конференции я получил один голос «против». Отношения наладились быстро на основе свода мною же установленных правил, регламентировавших мою деятельность. Я старался помнить обо всех обещаниях, не забывать ни одну из адресованных мне официальных и неофициальных просьб. Один раз в неделю принимал всякого, кто хотел со мной встретиться, и вел жесткий учет всех адресованных мне обращений. Проводить прием было тяжело — записывалось по 40–50 человек. Самый большой вопрос — жилье. Власть у меня была большая. Во многих случаях моей письменной резолюции, адресованной председателю исполкома райсовета, было достаточно для предоставления жилья, ускорения очереди, выделения площади «до подхода очереди». Я внимательно изучал мотивы обращений и реальные обстоятельства жизни людей. В спорных или сомнительных случаях ехал к заявителю домой и, если требовалось, объяснял

---

<sup>3</sup> выговор.

ему и членам его семьи, почему нельзя в их случае нарушить очередь, просил терпеливо ждать, когда она подойдет. Я и по сей день живу в трехкомнатной стандартной квартире, которую мои родители получили в 1935 году. Но первый секретарь райкома КПСС, не улучшивший своих жилищных условий, не получивший квартиру в новом доме, был тогда редкостью. Оказалось, что партийный актив, жители района, обращавшиеся за помощью, обо всем этом знали. Поэтому я был для них своеобразной моральной инстанцией.

Еще одно обстоятельство, которое помогло мне завоевать авторитет в глазах людей, заключалось в том, что я изначально стремился больше узнавать, чем советовать, распоряжаться, «руководить». А.Н. Изергина, научный сотрудник Эрмитажа и супруга академика И.А. Орбели, основательно просветила нас с женой по части художников-импрессионистов и выставки произведений Пикассо; сотрудники Русского музея провели со мной не один час в запасниках, где лежали тогда закрытые от всех коллекции русского авангарда; театровед и парторг Театрального института А. Юфит, ставший вскоре одним из моих близких друзей, помог прочесть уникальное собрание книг о жизни и творчестве Мейерхольда. Партнерские и доверительные отношения, а не трансляция директив, составляли ядро моей руководящей, если так можно выразиться, деятельности. Я стремился к тому, чтобы райком партии был местом, где умеют слушать и слышат.

**Б.Д.:** *Все двигалось успешно, почему ты ушел от, как тогда это называлось, «освобожденной партийной работы»?*

**Б.Ф.:** Конец «освобожденной партийной работе» наступил совершенно неожиданно, в мае 1962 года, хотя мое смещение с поста первого секретаря райкома партии, высокой номенклатурной должности, было предreshено за год до фактического дня «перехода на другую работу», о чем я узнал гораздо позже. Вот как это было. Весной 1961 года всех первых секретарей РК КПСС Ленинграда на один день командировали в ЦК партии. Нам объявили, что отныне мы включены в так называемую учетно-контрольную номенклатуру ЦК КПСС и с каждым из нас персонально хотят познакомиться работники ряда отделов ЦК. Знакомство это было скорее формальным, и все мои коллеги, вызванные в Москву, довольно быстро освободились.

Меня попросили задержаться и сказали, что со мной будут беседовать отдельно и более обстоятельно, чем с другими. Я вышел покурить и в это время ко мне подошел знакомый мне ответственный работник ЦК КПСС, который еще год тому назад был первым секретарем одного из райкомов партии Ленинграда. Он отвел меня в сторону и сказал примерно следующее: «Тебя оставили для бесед не случайно. Ты молод, энергичен, тебя уважают в районе и городе, можешь быстро продвигаться. Тебя будут «смотреть» несколько человек. Если пройдешь «смотрины» успешно, то тебе предложат должность инспектора ЦК КПСС, зачислят в особый кадровый резерв ЦК КПСС, а затем, какое-то время спустя, будут рекомендовать для избрания секретарем Новосибирского обкома партии по пропаганде. Разумеется, это только план, детали которого тебе не скажут. Сегодня тебя будут спрашивать об отношении к работе в аппарате ЦК КПСС. Так что взвесь все, прежде чем начнутся «смотрины»...»

Прежде чем меня представили Чураеву, члену бюро ЦК КПСС по РСФСР, у меня состоялось три беседы. Всем моим собеседникам, включая Чураева, я мягко говорил о несогласии работать в партийном аппарате, в Москве, объясняя это и семейными обстоятельствами, и желанием вернуться на работу по специальности, а также определенной «нелюбовью» к аппаратной работе как деятельности важной, даже почетной, но несамостоятельной. В сжатой форме я сказал Чураеву: «Партия много теряет оттого, что не дает возможности партийным кадрам периодически возвращаться к основам своей базовой профессии. Конечно, работа в партийном аппарате нужна, но заниматься ею “вечно” не следует. В общем случае профессиональная и освобожденная партийная работа должны чередоваться». Мой высокий собеседник, предложил мне чай с сухками (это считалось знаком особого расположения к человеку, приглашенному на беседу в ЦК), не мешал мне высказываться и ни разу не возразил. Более того, он сказал, что понимает мое стремление вернуться в мир электронной оптики, написать диссертацию, с тем чтобы в этом новом качестве оказаться полезным для партии. Мы миролюбиво распрощались.

По приезде в Ленинград меня вызвали в обком партии. Первый секретарь обкома И. Спиридонов с некоторым раздражением сказал, что я подвел обком, отказавшись от чести работать в аппарате ЦК КПСС. Видимо, ЦК будет настаивать на том, чтобы «мягко», не называя истинной причины, перевести меня на другую работу. Через день Спиридонов сказал по телефону, что дело улажено, и я могу продолжить выполнение возложенных на меня обязанностей. События последующих месяцев заставили думать, что меня «простили». Я был избран делегатом XXII съезда партии. После съезда многократно, не менее 30 раз, выступал с докладами об этом событии на партийных собраниях, разъясняя новую Программу КПСС и причины перезахоронения тела Сталина у Кремлевской стены.

На самом деле Обком с трудом уговорил Чураева не настаивать на немедленном освобождении меня от работы («никто нас не поймет, он хорошо работает, и люди его уважают»). Чураев со скрипом отвел ровно один год на то, чтобы меня «убрать» с партийной работы. Весной 1962 г. система исполнения указания пришла в действие. В течение месяца мне была предложена сначала должность директора Театра оперы и балета имени С.М. Кирова. Моему удивлению не было предела. Затем сделали намек на то, что в связи с реорганизацией органов милиции и внутренних дел города и области меня проектируют на должность заместителя начальника УВД. Наконец, последовал вызов в обком КПСС и новый первый секретарь В. Толстикова объявил о намерении рекомендовать меня для поступления в Академию общественных наук при ЦК КПСС. Из коротких реплик Толстикова следовало, что обкому сделан «втык» за рекомендацию «мудаков» для учебы в этой Академии, тогда как партия сейчас особо нуждается в умных и перспективных кадрах. Он добавил, что после учебы в Москве я с большой вероятностью буду выдвинут на должность секретаря обкома КПСС по агитации и пропаганде. Толстикovu я сказал примерно следующее: «Я не хочу, будучи инженером, заниматься в АОН при ЦК КПСС и заранее говорю, что сознательно “завалю” все всту-

пительные экзамены и тем скомпрометирую обком. Разрешите мне переход в аспирантуру ЛЭТИ». Мы расстались, ни о чем не договорившись.

19 мая 1962 года по звонку я был вызван на бюро обкома КПСС. Вошел в зал заседаний и еще в дверях, не успев присесть, услышал слова: «Есть мнение рекомендовать Б.М. Фирсова на должность директора Ленинградской студии телевидения». Решение было принято единогласно. Это было ровно год спустя после чаепития с Чураевым.

## 2. Телевидение — живое дело: 1962–1966

**Б.Д.:** *Думаю, мало кто из действующих сейчас социологов был участником съездов КПСС и занимал столь высокие, как ты, посты в партийной иерархии. Не мог бы ты сейчас припомнить свое мироощущение?*

**Б.Ф.:** На мое мироощущение в ту пору повлияли и смерть Сталина, и доклад Хрущёва на XX съезде КПСС. Мой друг, петербургский математик А. Вершик, заметил как-то, что одни люди смогли зафиксировать разрыв с системой уже в 1956 году. Он назвал их «пятидесятниками» — они свели свои отношения с властью до минимума или стали уходить в оппозицию. Выбор других — уже «шестидесятников» — состоял в решении исправлять ошибки партии «изнутри». Но прозреют они позже. Многим из них — к ним я отношу и себя — придется пережить серию «встрясок» от венгерских событий 1956 года, «Пражской весны» 1968 года, афганской войны, начавшейся в 1980 году, прежде чем они изменят знак своего отношения к советскому общественному строю с «плюса» на «минус».

Исторически так сложилось, что именно «шестидесятники» составили ядро тех профессиональных когорт, которые пришли на телевидение в пору его бурного развития, начавшегося в конце 50-х — начале 60-х годов. Они находились в многосложных отношениях с внешней средой, где уже начинали пускаться корни инакомыслие, диссидентство, политический радикализм и либеральные взгляды. Внутреннее сочувствие к этим явлениям было налицо, притом что сохранялась вера в возможность перемен к лучшему. Социальный конструктивизм и творческий активизм преобладали в их настроениях и поступках. Начало и середина 60-х годов для тех, кто занимался теорией и практикой телевидения, было временем, когда сохранялся энтузиазм и поддерживалась вера в фантастическое будущее телевизионной музыки. Надежды на это основательно подогревало развитие советского телевидения: рост числа его каналов (программ), создание общесоюзной телевизионной сети, охватывавшей всю территорию СССР, строительство крупнейшего в Европе телецентра «Останкино», открытие которого намечалось на ноябрь 1967 года.

Скажу без обиняков: работать на телевидении было захватывающе интересно. Ядро профессионалов, работавших на Ленинградском ТВ, моих новых коллег, видели свою миссию в интенсивном культурном просвещении телевизионной аудитории на основе высоких художественных стандартов. Сеять разумное, доброе, вечное, творить и выдумывать было девизом людей, работавших на студии в то время и опиравшихся на поддержку самых широких слоев интеллигенции города.

В итоге наиболее известные поэты (Б. Окуджава, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, В. Солоухин, Б. Ахмадулина, В. Соснора, Г. Горбовский и др.), критически настроенные молодые писатели (И. Ефимов, В. Маразмин, А. Битов, Я. Гордин, С. Довлатов), писатели-представители старших возрастных когорт (Ю. Герман, Д. Гранин, А. Володин и др.) были авторами, героями и участниками большого числа телевизионных передач. Самые громкие имена тогдашней театральной сцены (Г. Товстоногов, Н. Акимов, Ю. Толубеев, Е. Копелян, И. Смоктуновский и др.) вступили в культурный диалог с телезрителями.

Предметом особых забот Ленинградского телевидения была великая русская и зарубежная литература. Ее гуманизм импонировал ленинградской аудитории, как и стремление не избегать сложностей жизни, идти от реализма и действительной сложности конфликтов и проблем, с которыми сталкиваются герои литературных произведений. Приведу только два примера. Один из них — передачи о Петербурге Достоевского. Их новаторство было в том, что до хрущёвской «оттепели» имя Достоевского подвергалось ostrакизму, оно лишь вскользь упоминалось в школьных учебниках литературы, творчество писателя-классика изучали небольшие группы будущих литературоведов. Утверждаю, что телевидение помогло вернуть писателя в прижизненную коллективную память не только ленинградской, но и советской аудитории.

Еще одно яркое событие — телевизионная экранизация книги Джона Стейнбека «Зима тревоги нашей». Тогдашние представления об Америке были сформированы под влиянием ряда произведений официальной литературы. Я хорошо помню знаковую послевоенную пьесу «Русский вопрос» писателя Константина Симонова, которого называли «советским писателем на экспорт». Занимая высокое положение в партийно-литературной иерархии, Симонов написал конъюнктурную вещь, которая не могла дать глубокого представления об американском народе. Герои пьесы (американцы) вели односторонние дискуссии со своими русскими оппонентами. Это были не люди, а политизированные схемы. В отличие от Симонова, Стейнбек показал своих литературных героев во всей сложности их повседневных забот и переживаний, отказался от всякого рода ценностных подушек и подпорок, показав своих соотечественников такими, какими они были в реальности. Для ленинградцев это было открытием тогдашней Америки, вызвало их громадный интерес, но одновременно в очередной раз «напрягло» цензуру.

**Б.Д.:** *Мы еще не были знакомы, когда я слышал о телевизионной передаче, в которой говорилось о переименовании улиц Ленинграда. Позже слышал о ней от ветеранов ленинградского телевидения. В чем там было дело?*

**Б.Ф.:** Передача «Литературный вторник» 4 января 1966 года — апофеоз отношения студии к цензуре и стоявшим за нею обкомом партии. Она была посвящена социальному бытованию русского языка: проблемам топонимики, государственной политики, связанной с непрерывным переименованием городов и населенных пунктов, когда взамен исторически сложившихся названий городам присваивались имена деятелей советского государства, а затем эти новые названия отнимались, если деятель попадал под машину политических репрессий. Д. Лихачев, в ту пору член-корреспондент АН СССР,

писатели В. Солоухин, Л. Успенский и другие участники передачи выступили в защиту культурных и языковых традиций многочисленных городов страны, в которых власти под влиянием скороспелых революционных мотивов непрерывно меняли практически всю систему названий улиц и проспектов. Большинство высказываний сводились к тому, что давление идеологии обедняет язык, стандартизует устную и письменную речь, мешает культурной идентификации жителей городов и страны в целом. Открытая дискуссия взвинтила партийные власти.

В документе (от 18 февраля 1966 г.), озаглавленном «Записка отдела пропаганды и агитации, культуры, науки и учебных заведений ЦК КПСС в связи с телепередачей Ленинградского телевидения “Литературный вторник”», было сказано: «Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР, обсудив передачу “Литературный вторник”, освободил от работы директора Ленинградской студии телевидения т. Фирсова, главного редактора литературно-драматических программ т. Никитина, принял меры по укреплению дисциплины и повышению ответственности работников студии. Ленинградскому комитету по радиовещанию и телевидению поручено подготовить передачу, отражающую марксистско-ленинские взгляды на развитие русского языка и русской литературы»<sup>4</sup>.

От этой «разборки» более всего пострадала телевизионная аудитория. Она с восторгом смотрела открытую дискуссию в эфире, понимая, что передача идет «вживую», а ее участники произносят собственные слова. Значит, на телевидении могут быть случаи неконтролируемого цензурой выхода в эфир. Все это имело место в начале 1966 года, когда оставалось немногим более двух лет до «Пражской весны» и до установления почти абсолютной власти цензуры в советских средствах массовой коммуникации.

Ведущим этого «вторника» был Борис Вахтин, ленинградский прозаик, переводчик, китаист. Судьбе было угодно спаять узами крепчайшей дружбы нас двоих, дотоле незнакомых людей. Я и по сей день живу под знаком необыкновенной вахтинской личности, не в силах примириться с внезапной смертью Бориса в 1981 году. Быть свободным всегда! Этому я с опозданием научился у него.

### 3. Первые шаги по социологической тропе: 1966–1969

**Б.Д.:** *В этой ситуации почему ты не вернулся в ЛЭТИ или не вспомнил про АОН при ЦК КПСС, где ты мог бы без особого труда подготовить диссертацию, скажем, о партийном руководстве телевидением?*

**Б.Ф.:** Заниматься в Академии да еще писать нечто о партийном руководстве телевидением (в духе этой Академии) было бы для меня самоубийством. Такое в мою голову прийти не могло, как говорится, по определению. Конечно, я мог вернуться в ЛЭТИ с тем, чтобы стать преподавателем вуза. На это

---

<sup>4</sup> См.: Распятые 2000: 17–18.

потребовалось бы не менее пяти лет: два года на то, чтобы преодолеть отставание в уровне профессиональных знаний, и три года на подготовку диссертации, включая проведение технического эксперимента. Идти на это в возрасте 37 лет было сложно. К тому же во мне сидел вирус телевидения. Ведь я чувствовал необходимость его основательной перестройки в том, что касалось организации телевизионного дела в стране, управления телевидением, развития многопрограммности (многоканальности) телевидения. Как директор студии, я принимал непосредственное участие в подготовке и открытии второй (местной) программы, отдал много сил разработке концепции и созданию третьей (учебной) программы Ленинградского телевидения, что было тогда большим новшеством<sup>5</sup> и нашло поддержку руководителей города. В середине 1965 года Ленинградскую студию телевидения посетила представительная делегация лейбористской партии Великобритании, которую наша учебная программа крайне заинтересовала. Один из моих гостей сказал тогда, что он видит в таком типе и форме телевидения мощное средство просвещения английского рабочего класса. Я не придавал его словам особого значения, но сказал, что общественный успех нашего учебного канала определен близостью его содержания профессиональным интересам целевой аудитории — инженеров и научных сотрудников предприятий и НИИ Ленинградского Совнархоза, студентов технических вузов города. Через год, после прихода к власти лейбористов, в Англии появился «виртуальный» и общедоступный образовательный институт, вошедший в историю под названием «Открытого университета» (Open University).

Многое решили мои отношения с Владимиром Ядовым, предложившим конкурентную идею — поступить в очную аспирантуру философского факультета ЛГУ и защитить социологическую кандидатскую диссертацию, в основе которой лежало бы эмпирическое исследование ленинградской телеаудитории. Руководители Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР не без сожаления освободили меня от должности директора ЛСТ, уступив настояниям обкома КПСС, и потому они приняли участие в моей судьбе. Было заключено негласное соглашение о том, чтобы после защиты диссертации найти способ и создать условия для моей работы «на телевидении». С этой целью Председатель Комитета Н. Месяцев попросил Министерство высшего образования найти возможность для моей стажировки в Англии.

Так я уже в сентябре 1967 года оказался в Лондоне в качестве стажера факультета социальной психологии Лондонской школы экономики (LSE), одновременно «прикомандированного» к Службе исследований аудитории Би-Би-Си. Последняя была создана для изучения радиослушателей (с 1935 г.) и телезрителей (с середины 1950-х гг.). Обе «принимающие стороны» сделали все для моей успешной деятельности: профессор Хильде Химмельвейт<sup>6</sup>

<sup>5</sup> См.: Фирсов 1972а.

<sup>6</sup> Хильде Химмельвейт (Hilde Himmelweit, 1918–1989), профессор, известна своими работами в области социальной психологии. Ее книга «Television and the Child» (Himmelweit et al. 1958) получила широкое признание в Европе и Америке.



помогла мне освоить основы методов анализа аудитории. Х. Грин, тогдашний Генеральный директор Би-Би-Си, и сотрудники Службы исследований аудитории создали прекрасные условия для освоения опыта проведения опросов радиослушателей и телезрителей, а также практики использования результатов исследований в управлении радиотелевизионным вещанием страны.

Однако научно-практические занятия и сбор материалов для диссертации были прерваны. Имея разрешение на продление командировки до весны 1968 года, я получил в декабре 1967 года официальное письмо Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР с предложением занять должность Генерального директора Советского телевидения — новой структуры, которая создавалась в связи с завершением строительства телецентра в Останкино. Моим добрым гидом-советчиком в период стажировки был Владимир Дунаев, специальный корреспондент нашего радио и телевидения в Лондоне. Мы быстро сошлись и взяли за привычку примерять английский опыт к нашим, советским условиям. Предложение Комитета, скажу об этом особо, было для меня неожиданным. Лавры Генерального директора мне никогда не снились, но продолжал гореть огонь социальных надежд на перемены к лучшему в обществе. Огонь этот, хотя и согривал душу, но, признаюсь, мешал видеть и чувствовать то, как в реальности складывается и в какую сторону развивается действительность. Не я один, а мы вместе с Дунаевым, два идеалиста, приняли решение: «Теперь, когда стало более или менее ясно, “как надо”, не использовать шанс и не попытаться сделать, “как надо”, было бы ошибкой». Я заказал авиационный билет до Москвы на 14 декабря 1967 года.

Триумфатором я не стал. Первые два дня после прилета прошли в странном ожидании необходимого для моего случая разговора. Радиотелевизионный Комитет молчал. В свою очередь, и я решил не напоминать о себе. Ведь я извещил о своем согласии принять предложенный мне пост и о дате прилета из Лондона. В конце второго дня после прибытия в Москву мне позвонил по телефону в гостиницу заведующий сектором Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС Павел Московский и пригласил на встречу. Испытывая некоторое чувство смущения, я это сразу почувствовал, он сказал, что обстоятельства вынуждают применить «обходную тактику» для занятия предложенного кресла. Обком КПСС в лице первого секретаря обкома В. Толстикова возражает против моего нового назначения хотя бы уже потому, что обком настаивал на моем освобождении от работы на студии телевидения.

Я, со слов Московского, крайне нужный для дела человек. Потому «товарищи советуют» мне занять «промежуточную должность», но предварительно встать на партийный учет в Москве, в Комитете по радиовещанию и телевидению. В этом случае я безболезненно, как колобок, уйду от «ленинградских бабушек» и прикачу, целый и невредимый, к «московским дедушкам» в лице Секретариата и Политбюро ЦК КПСС. Говорили не долго. Я ограничился выражением удивления перед бессилием принципа демократического централизма и сказал, что ни понять ситуацию, ни согласиться с обходными маневрами я не могу. Последовал вопрос: «Надо ли понимать так, что вы хотите въезжать на Советское телевидение на белом коне?» Я ответил утвердительно. Поздно вечером того же дня я уехал в Ленинград про-

водить эмпирическое исследование ленинградской телеаудитории, благо я теперь знал, как это надо делать, и дописывать диссертацию. Срок занятий в аспирантуре истекал в феврале 1969 года.

Мой доклад о работе Би-Би-Си на коллегии Комитета по радиовещанию и телевидению в Москве весной 1968 года занял несколько часов. Он был посвящен высоким профессиональным стандартам всех видов управленческой и творческой деятельности Би-Би-Си<sup>7</sup>. Тогда это было разномыслием!

#### 4. Коммуникационные исследования: 1969–1984

**Б.Д.:** *В 1979 году ты защитил докторскую диссертацию по коммуникационным проблемам. Каковы были главные выводы твоих многолетних наблюдений, и почему после защиты ты полностью отошел от этой темы?*

**Б.Ф.:** Напомню, прежде всего, о кандидатской диссертации. Ее защита состоялась досрочно. За это ректор ЛГУ профессор К. Кондратьев наградил меня премией в размере месячной аспирантской стипендии. С вычетами это составило 83 рубля 47 копеек. Не только для меня, мамы и жены, на плечи которых легли многочисленные заботы о прокорме аспиранта-переростка, но и для большого числа моих друзей, телевизионщиков-сослуживцев успешная защита символизировала победу над обстоятельствами, ответ на вызов судьбы<sup>8</sup>. Я решил заниматься исследованиями процессов массовой коммуникации в стране и за рубежом. Речь шла о научных основах функционирования всей системы советских СМИ, телевидения в особенности, чье влияние на все стороны жизни населения становилось особенно ощутимым.

Вопрос с работой решил в считанные дни. Тогда под крылом академика А. Румянцева, директора ИКСИ АН СССР, собирались энтузиасты исследовательского советского общества. В конце февраля 1969 года я стал старшим научным сотрудником, а вскоре и заведующим сектором социальных проблем телевидения этого академического института. К тому времени за моими плечами был трехлетний опыт менеджера, как сказали бы теперь, крупной телевизионной компании. Я знал в деталях принципы программной политики советского и некоммерческого западного телевидения (Би-Би-Си, Образовательные каналы США и др.). Под руководством В. Ядова, Х. Химмельвейт я хорошо освоил «кухню» изучения аудитории телевидения на основе современных социологических и социально-психологических методов. Наконец, у меня была идея, которую я намеревался внедрять в сознание общества и в практику.

Суть идеи — «человекоцентризм», ориентация любого канала массовой коммуникации на наиболее актуальные интересы людей, а не на прагматические сиюминутные цели политики и идеологии. Развивая эту идею, я исходил из некоторого социологизированного представления о телезрителе (радиослушателе, читателе газет), которому должно служить человекоцентричное ТВ.

<sup>7</sup> См.: Фирсов 1968а; Методы изучения аудитории 1969.

<sup>8</sup> Результаты изучения ленинградской телеаудитории см.: Фирсов 1967а: 50–52; 1967б: 42–45; 1968б; 1972б.

Я видел этого зрителя (1) умеющим сопротивляться любым попыткам манипулировать его мнением; (2) обладающим особым чутьем на правду, которую не сможет заглушить даже самая изощренная телевизионная риторика; (3) способным отличать культурные суррогаты от подлинных произведений искусства; (4) понимающим и тонко чувствующим специфику и природу телевидения. Согласно этой идее, на смену неразборчивой телемании должны были прийти отношения, базирующиеся на равноправии сторон, диалоге, партнерстве, на осознании роли телевидения в жизнедеятельности советских людей и места советского человека в деятельности самого ТВ. Здесь многое происходило от «романтических мечтаний», не будь их, я не рискнул бы бросаться в останкинский телевизионный омут зимой 1967 года.

Останкинская история стала знаковой в моей судьбе. Дело в том, что махина нового, Останкинского ТВ вместе с большим числом подключенных к нему республиканских и городских телевизионных центров уже к 1970 году забуксовала в предчувствии брежневской стагнации. Экранный маховик начал вращаться на холостом ходу, подбрасывая ежедневно миллионам своих потребителей образцы браваурного славословия и примитивную мозаику отредактированной, «свернутой» реальности. Приукрашивание действительности было, что называется, в крови у телевизионной журналистики. Этим основательно подрывалась вера в правдивость экранных сообщений. Образцово-показательные ситуации и поступки становились на экране средством создания искусственной картины всеобщего благополучия. Все это оборачивалось бегством от правды советской жизни и, как следствие, оказывалось способом гашения, торможения социальной активности.

Этому телевидению зритель, а тем более такой, каким я грезил, вообще оказался не нужен. Во главе советского телевидения и радио встал идеологический чиновник-самодур С. Лапин, человек властный, беспощадный в преследовании не только инако-, но и разно с ним мыслящих. Он одержимо обличал всех, кто работал вместе с его предшественником — Н. Месяцевым, которого он сменил на посту руководителя общесоюзного ведомства по радиовещанию и телевидению. Я был «человеком Месяцева» в бытность директором Ленинградской студии телевидения и потому, по логике Лапина, не заслуживал никакого доверия. Лапин несколько раз с высоких московских трибун заглазно обвинял меня в некритическом отношении к опыту Би-Би-Си, ставшей «заклятым противником» нашей страны вследствие «антисоветских» радиопередач русской службы.

Сюжетов на тему «Фирсов — агент Би-Би-Си» Лапину было явно мало, и он переключился еще на одну тему. В комсомольские годы я подружился с Иржи Пеликаном, Президентом Международного союза студентов. Мой приход на Ленинградское телевидение совпал по времени с назначением И. Пеликана на пост директора Чехословацкого телевидения. Мы сделали многое для развития отношений сотрудничества и поддерживали личные отношения вплоть до момента, когда Пеликан, один из лидеров «Пражской весны», был вынужден сначала уйти в подполье, а затем покинуть Чехословакию. Пеликан нашел способ выразить мне дружеское сочувствие при изгнании из телевизионного рая. В 1966–67 годы я встречался с ним в Москве и имел честь и удо-

вольствие принимать его у себя дома. Он знал мою семью и любил жареную баранью ногу, которую искусно готовила мама. Лапин предпочитал недвусмысленно намекать на то, что друзья-приятели Пеликан и Фирсов могли свить гнездо антисоциалистической оппозиции в нашей стране. Чем черт не шутит?

Стало ясно, что идею человекоцентризма советского телевидения надо откладывать до новых времен, не зная, когда они наступят. Однако терять приобретенную нелегким трудом научную форму, утрачивать позиции одного из лидеров исследований в сфере массовой коммуникации, «работать в стол» не хотелось. В итоге я переключился на изучение путей развития массовой коммуникации в мире и с этой целью возбудил ходатайство о предоставлении мне стипендии ЮНЕСКО. Комиссия СССР по делам ЮНЕСКО, рабочий орган МИД СССР, проявила неординарный интерес к моей заявке. Стипендия была предоставлена. Осень и начало зимы 1972 года я работал в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, изучая богатейшие и малоизвестные в нашей стране сведения о росте электронных СМК в условиях развитых и развивающихся стран и особенностях их коммуникационной (информационной) политики. Различия в языках, на которых об этом говорил мир и Советский Союз, были драматическими. В первом случае имелись в виду социокультурные и технические условия для планомерного и растущего по своим масштабам распространения информации, культуры и образования, во втором случае — мировой конфликт идеологий и способы защиты советского населения от буржуазного влияния. Учить тогда мировому опыту советские партийно-государственные инстанции было делом бесполезным. Становилось понятно, что и здесь социологическая тропа, как ни петляй, выведет лишь к светлому зданию социализма с человеческим лицом, где ничего не надо менять, настолько совершенны советское телевидение, радио и печать — верные и боевые помощники Коммунистической партии Советского Союза. Собранные ценой больших усилий документы ЮНЕСКО, труды канадца М. Маклюэна и десятков других зарубежных авторов помогли мне написать добротную диссертацию по проблемам развития массовой коммуникации в мире. Однако ее успешная защита (1979) только усилила впечатление, что общественный спрос на серьезные исследования постоянно падает. Стагнация общественной жизни как системное заболевание социума не могла обойти социологию<sup>9</sup>.

Хотя, замечу, инерция первых, стартовых усилий по изучению массовой коммуникации действовала непредсказуемо длительное время, вплоть до начала 80-х годов. Мои и моих коллег исследования в 70-е годы стали широко известны за рубежом. Мы установили сотрудничество с Научным центром по изучению массовой коммуникации Венгерского радио и телевидения (Тамаш Сечке, Пал Тамаш, Ильдико Ковач и их коллеги)<sup>10</sup>, университетом Тампере

---

<sup>9</sup> Материалы, собранные в ЮНЕСКО, были частично рассмотрены в книге «Пути развития средств массовой коммуникации» (Фирсов 1977) и использованы в докторской диссертации (Фирсов 1979).

<sup>10</sup> Массовая коммуникация 1979; Человек социалистического общества 1979, 1980, 1981, 1983; A tömegkommunikáció 1980.

(школа профессора Каарле Норденстренга)<sup>11</sup>. Однако мы не смогли обойти запреты на сравнительные международные исследования, на открытый и бескомпромиссный диалог с нашими зарубежными коллегами, вынужденно ограничились сотрудничеством семинарами и научными публикациями общего характера. Главный итог международного сотрудничества весьма характерен для тех лет: это — интенсивное развитие профессиональных связей и человеческих отношений, во многих случаях переросших в многолетнюю и прочную человеческую привязанность, которая сохранила свои силу и потенциал до настоящего времени.

### **5. Вхождение в миры общественного мнения: 1971–1984**

**Б.Д.:** *Я вместе с тобой хоронил надежды на общественный интерес к исследованиям массовой коммуникации. Но, возвращаясь к событиям 35-летней давности, я не могу не спросить у тебя, ради истины: почему, держа вместе со всей партией курс на стагнацию, обком КПСС решил проводить опросы общественного мнения, да еще не по городской тематике, а по вопросам отношения населения к политике КПСС (на примере партсъездов тех лет)?*

**Б.Ф.:** Я не могу исчерпывающим образом ответить на этот вопрос. Формальный ответ состоит в следующем. В 1969 году ЦК КПСС принял постановление о состоянии и мерах улучшения партийно-политической информации. К выполнению этого постановления обком первоначально привлек группу преподавателей-социологов Ленинградской высшей партийной школы во главе с Андреем Здравомысловым, изучавших эффективность внутрипартийной работы. Но главное состояло в другом: обком решил создать собственный надежный канал для регулярного сбора информации о настроениях трудящихся с опорой на научные силы всего города.

Решение необычное, но об истинных мотивах его могу только догадываться. Отсюда неформальный ответ (гипотеза) состоит в следующем. В силу разных причин к тому времени возросла информационная автономия органов государственной безопасности. Один мой знакомый, генерал КГБ, рассказывал мне в ту пору, что его учреждение располагает банком данных, характеризующих едва ли не все многообразие жизни страны в целом и по регионам. Иными словами, КГБ СССР знал больше, чем ЦК КПСС. Часто от высших чинов КГБ зависело, что следует сообщать «наверх», в какой форме, с какими степенями подробностей и т. д. Такую же селекцию данных производили местные партийные органы, направляя отчеты и сводки в отделы и секретариат ЦК КПСС. Автономизация информационных ресурсов становилась явлением общесоюзным. Едва ли не всякий руководящий орган хотел обладать информацией, доступа к которой не имели другие органы.

---

<sup>11</sup> Social Role of Mass Communication 1982; City — Way of Life — Mass Communication 1984.

Дело это было совершенно новым в тогдашних условиях и не могло обойтись без экспертизы, консультаций, без зондажей общественных настроений. В начале 1970 г. исследование общественно-политической активности рабочих проводилось социологами ВПШ и ИКСИ АН СССР. Исследовательский потенциал социологии получил высокую оценку. Это ускорило процесс создания специализированной системы по изучению общественного мнения работающего населения Ленинграда на основе предварительной проработки и проектирования всех стадий сбора и анализа исходной (первичной) информации. Мне также удалось доказать «заказчику», что запуск такой системы в действие не может происходить без крупных натуральных экспериментов, которые раскрывали бы потенциал системы. Ну, а дальше я нашел и звал тебя, Борис Зусманович, и вместе с небольшой группой помощников (твоих и моих слушавцев из ВПШ и ленинградских секторов ИКСИ АН СССР) мы совершили «прыжок в неизвестное» — провели по всем правилам опрос общественного мнения об отношении рабочих и служащих Ленинграда к решениям XXIV съезда КПСС. Нам, как ты помнишь, этого показалось мало, и мы повторили опрос через два месяца с целью проверки устойчивости полученных данных.

В чем состоял расчет, если так можно выразиться? С научной точки зрения было важно не дать заглохнуть делу, начатому Борисом Грушиным<sup>12</sup>. К тому времени я твердо усвоил, что если не удастся сделать что-то здесь и сейчас, надо продолжать в другом месте и в другое время. Небольшой коллектив сектора общественного мнения и массовой коммуникации ИСЭП АН СССР, куда, кроме тебя и меня, входили К. Муздыбаев, В. Сафронов, Н. Нечаева, О. Бурмыкина, В. Лосенков, М. Елизарова, Г. Булычева, работал увлеченно.

Мы с честью, скажу об этом без стеснения, преодолели свою часть дистанции. Была создана система для оперативных опросов общественного мнения различных слоев населения крупного города. Все, чем должна располагать такая система: надежные выборки, сеть интервьюеров, методики, математическое обеспечение обработки первичной информации на ЭВМ, все было содеяно и отвечало научным стандартам и критериям. Систему прокатили несколько раз (на примере изучения отношения населения к XXIV, XXV, XXVI съездам КПСС и других актуальных вопросов). Наш коллективный рекорд — разработка и апробация оперативного режима (экспресс-опрос 2000 человек с выдачей первичных результатов в течение суток от момента начала опроса). Общее число исследований, проведенных в рамках специализированной системы (1971–1984), составило 15. Тогдашние цензурные условия и правило, согласно которому вся деятельность партии не подлежала оглашению в открытой печати, не позволили опубликовать результаты опросов общественного мнения в интересах партии. Когда-нибудь будут сняты замки секретности с этой работы и я расскажу о ней подробно<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> См.: Докторов 2004: 2–13.

<sup>13</sup> Самые общие сведения об организации опросов и их тематике см.: Алексеев и др. 1979: 23–32; 1981: 78–85.

**Б.Д.:** *Не мог бы ты вспомнить здесь о твоей встрече и беседе с Джорджем Гэллапом? Уверен, это будет интересно не только мне.*

**Б.Ф.:** В 1977 году я прошел стажировку при Институте Гэллапа в Принстоне. Сначала Гэллап отнесся ко мне сдержанно, наверное, это было реакцией на мой максимализм и настойчивость. Я изначально просил о разрешении провести одну рабочую неделю в стенах напряженно работающей организации и устроить мне встречи со всеми ключевыми фигурами, включая Гэллапа и его сыновей, активных помощников и продолжателей дела своего отца. Условились, что я приеду для предварительной беседы, а там будет видно. Мы встретились с Гэллапом в назначенное время. Лицо открытое, глаза пронизательные, манера поведения располагающая к откровенности и прямоте диалога. После краткого моего представления Гэллап взял кусок мела, передал его мне и произнес: «Идите к доске, посмотрим, что и насколько глубоко вы знаете». Секретарше он сказал, что с мистером Фирсовым намерен говорить долго, поскольку тот претендует на 7 дней стажировки вместо разового ознакомительного визита. Мэтр спрашивал меня обо всем: о понимании социальной роли феномена общественного мнения, методах его изучения, способах представления результатов исследований, этике взаимоотношений с респондентами и многом другом, включая мое собственное мнение о состоянии исследований в нашей стране.

В конце встречи он отвел 15 минут на мои вопросы и на объяснение в подробностях целей моего визита в Принстон. Я спросил его, в частности, об отношении Сената и Конгресса США к конкретным результатам опросов общественного мнения. Он сказал, что практически после каждого очередных выборов ему приходится заниматься социологическим ликбезом новых конгрессменов. Отправляясь на очередные слушания, после состоявшейся избирательной кампании, он знает, что один вопрос ему будет задан в обязательном порядке: «Где гарантия, доктор Гэллап, что мнение двух тысяч американцев, на которое вы ссылаетесь, представляет мнение основных слоев населения страны, а также населения в целом? Можно ли доверять вашим результатам?» Ответ на этот «коварный» вопрос он сформулировал около 40 лет назад, еще в 1930-е годы, и с той поры воспроизводил его без изменений: «Для того чтобы оценить вкус приготовленного супа, вовсе не обязательно вычерпывать всю кастрюлю до дна. Достаточно хорошо перемешать суп и отведать одну ложку. Гарантии представительности сведений об общественном мнении — в высоком качестве выборки!» (Политики всего мира похожи друг на друга. О том же позже меня часто спрашивали ленинградские партработники в периоды проведения опросов работающего населения Ленинграда по заданию обкома КПСС.)

Затем вошла секретарша и был оглашен вердикт: «Этому джентльмену из России следует показать все, что он хочет видеть, устроить деловые встречи со всеми сотрудниками, которые его интересуют. Под его честное слово (обещание не публиковать научные материалы, ввиду того, что они являются ответственностью коммерческой организации) — снабдить образцами отчетов, методик, материалами, регламентирующими сбор информации об общественном мнении. Дать ему для чтения отчеты о наиболее типических исследованиях,

включая маркетинговые». Перед прощанием Дж. Гэллап сказал, что Россия как партнер его очень интересует. Он хотел бы создать филиал в Москве или Ленинграде. Сразу этого не сделать, но начинать надо, не откладывая дела в долгий ящик. Например, он готов провести на представительных выборах советско-американское исследование по любой теме, которую назовет советская сторона или я сам, как представитель академического учреждения. Правда, он догадывается, что у меня не может быть полномочий на переговоры по такому поводу. Я не должен стесняться сказать ему об этом. Вот что значит деликатность и предупредительность в отношениях с человеком, который сейчас не является партнером, но может им стать! Расстались мы дружески, а я целую неделю ездил из Нью-Йорка в Принстон, изучая деятельность всех звеньев Американского института общественного мнения.

**Б.Д.:** *Помнишь, Игорь Кон спрашивал нас: «Борисы, что вы изучаете? Общественного мнения нет». Однако мне кажется, в конце 70-х существовал оптимизм относительно частичной востребованности результатов изучения общественного мнения. Разделял ли ты этот оптимизм?*

**Б.Ф.:** Нет, не разделял. Я чувствовал неустойчивость общей ситуации в стране и понимал, что эта неустойчивость будет усиливаться. В 1975 году нашей свободной научной жизни и работе в ленинградских секторах ИКСИ АН СССР пришел конец. Ленинградский обком партии, «встревоженный» быстрым ростом численности филиалов, отделений и секторов московских академических институтов социального профиля, решил объединить эти подразделения в рамках суперструктуры, получившей название Институт социально-экономических проблем АН СССР. Решение — роковое для развития социальных наук в нашем городе, для обширного класса научных направлений. Серьезные цели для «сливания» этих направлений в одну емкость отсутствовали. Обком искал средство для формального объединения нескольких сот научных сотрудников под одной крышей с директором-единоначальником, единой партийной организацией, единым отделом кадров, первым отделом, общими для всех часами прихода и ухода с работы и прочими чертами безрадостного советского научного быта. Мы не подпали под влияние части общих уравнилельных и безликих преобразований по одной причине. Наш сектор в момент создания ИСЭП АН СССР имел статус подразделения, занимающегося исследованиями в интересах областного комитета КПСС и эксплуатацией специализированной системы по изучению общественного мнения. С этим должны были считаться руководители вновь созданного института, другое дело, насколько им нравилась или не нравилась наша «экстерриториальность».

Паранойя засекречивания и борьбы с утечкой информации достигла пика к началу 80-х гг. Партийно-государственная система, с одной стороны, расширяла производство потоков социальной информации в своих интересах, зная наперед, что, став собственником этой информации, она засекретит ее и регламентирует доступ к ней не только «извне», но также «изнутри». В указанном смысле судьба наших социологических опросов была, что называется, незавидной. Их результаты были известны только первым лицам



в областной партийной иерархии, редко — среднему звену и никогда — рядовым коммунистам, не говоря уже о населении города — субъекте и носителе общественного мнения. Эти результаты скрывались даже от работников ЦК КПСС, которым, вообще говоря, было известно, что в Ленинграде функционирует система изучения общественного мнения на базе использования новейших методов сбора и обработки информации. Дело доходило до курьезов. Став Генеральным секретарем ЦК КПСС, Ю. Андропов решил улучшить состояние советского здравоохранения. Для этого срочно потребовались данные о том, как оценивают медицинское обслуживание советские граждане. Один из референтов ЦК КПСС позвонил мне и спросил, не располагаю ли я какими-то надежными сведениями на сей счет. Я ответил утвердительно, но сказал, что выслать нужные сведения не могу. Требуется официальный запрос из ЦК КПСС в обком КПСС.

Запрос состоялся, но референту пришлось сказать секретарю обкома, что «навел» его на нужный источник сведений Фирсов. Возник служебный скандал. «Дознавателей» в лице сотрудников общего отдела обкома интересовала не столько просьба из секретариата Андропова и способ ее скорейшего удовлетворения, сколько причины разглашения «тайны». «Возмутительный» случай был доложен Г. Романову — партийному руководителю Ленинграда в ранге члена Политбюро ЦК КПСС. «Хозяин» тоже возмутился и повелел информацию не передавать, впредь оберегая ее от возможной утечки. Шел декабрь 1983 года...

Но разве может быть история без конца? Конец наступил, и очень скоро. Нас с тобой привлекли к разработке проекта информационной системы ЦК КПСС. Мы отвечали за подсистему машинного (на базе ЭВМ) учета и анализа писем в ЦК КПСС от многих тысяч граждан, пытавшихся улучшить свою судьбу, решить свои наболевшие проблемы. Зная, что письма в ЦК и особенно результаты их анализа будут бдительно охраняться общим отделом ЦК КПСС, мы заранее оговорили, что наш научный вклад будет состоять в разработке батареи методов машинного анализа текстов писем, включая инструкции по кодированию, вводу закодированной информации в ЭВМ. Для апробации методического инструментария мы предложили создать экспериментальный массив информации из писем в Ленинградский обком КПСС. Но теперь, после случая с запросом из секретариата Андропова, бдительность обкома партии возросла на несколько порядков. Кто может гарантировать, что ЦК КПСС не использует методический эксперимент для оценки деятельности обкома КПСС и положения дел в Ленинграде и области? Средства «защиты» стократно превысили средства «нападения». Романов наложил вето на любые формы участия обкома КПСС в разработке информационной системы ЦК КПСС. Персонами нон-грата были объявлены все сотрудники сектора общественного мнения и массовой коммуникации ИСЭП АН СССР во главе со мною. В тот же день от нас отобрали пропуски в Смольный и изъяли из спецотдела Института все материалы, связанные с многолетним изучением общественного мнения в интересах обкома КПСС. Но рукописи не горят! Место их хранения известно.

**Б.Д.:** *Последующую цепочку событий невозможно забыть, и все же мне представляется крайне важным твой рассказ обо всем случившемся...*

**Б.Ф.:** Тезис о непредсказуемости ситуации как общего свойства жизни страны, не вышедшей из состояния застоя, имеет ко мне непосредственное отношение. В один день я перестал быть социологом и поневоле превратился в этносоциолога. В октябре 1984 г. бюро Ленинградского обкома КПСС объявило мне строгий выговор с занесением в учетную карточку (ловлю себя на том, что уже сейчас доброй половине населения России пришлось бы долго объяснять, что значат эти слова) и освободило от занимаемой должности. Расскажу обо всем эскизно. Социологам в ИСЭПе было неуютно. Ну, разные мы были люди с политэкономами сталинского времени, по прихоти обкома партии поставленными во главе института. Разномыслие запрещалось, требовалось без колебаний поддерживать оскопленный экономический детерминизм и единственно правильное и непобедимое учение.

В нашей легкой фронде была усмотрена угроза единоначалию ортодоксальных экономистов. У них возникло подозрение, что социологи покушаются на их власть. Начались «битвы русских с кабардинцами». «Гонители» наступали, будучи не очень разборчивыми в средствах борьбы с несогласными, «гонимые», как водится, оборонялись, но по преимуществу словом. Нападать на сотрудников, к тому же работающих по заданию партийных органов, было опасно, не зная, кто «за ними стоит». Здесь можно было получить по носу. Тем временем запас недоброжелательства рос, и к моменту, когда сектор был выведен из партийной зоны, дирекция уже не могла сдерживать свое недоброжелательство и перешла осенью 1984 г. в наступление. Я не знаю досы, которое было собрано на меня. О его действительном содержании могу догадываться по «профессиональным» вопросам, которые мне прокурорским тоном задавал на бюро обкома КПСС начальник местного управления КГБ генерал Носырев. Вот один из них, ключевой для генерала: «Почему именно Вас, Фирсов, печатают за границей, в Соединенных Штатах Америки, и как Вы к этому относитесь?» Речь шла о переводах моих статей, опубликованных в журнале «Социологические исследования», который автоматически реферировался в американской печати на основе специального соглашения с ИНИОН АН СССР, о чем генералу КГБ следовало знать по чину.

Придрались, иначе не скажешь, к тому, что я передал своему финскому коллеге доклады сотрудников сектора на очередной совместный семинар. Их следовало размножить в Финляндии и выслать обратно в наш адрес. Доклады были стопроцентно просоветские, отжатые до сухого бессодержательного остатка. Более того, имелось разрешение Главлита (на мое имя) на вывоз и публикацию материалов за границей. Оно было предьявлено в момент, когда мой финский коллега уже прошел таможенный и пограничный контроль. В итоге меня обвинили по «расстрельной» статье. В проекте предлагалось за серьезные недостатки в научной деятельности, грубые нарушения установленного порядка работы со служебными документами исключить меня из рядов КПСС. Ограничились строгим выговором с занесением в учетную карточку, принимая во внимание прошлые «революционные заслуги». Правда, одновременно рекомендовали перевести в другой институт.

## 6. Жизнь среди этнографов: 1984–1989

**Б.Д.:** После всех этих бурных событий ты мягко приземлился в Институте этнографии и взялся за освоение архива князя В.Н. Тенишева. Как тебе удалось его найти? Кто-нибудь его когда-либо изучал?

**Б.Ф.:** Работу искать не пришлось. Директор ленинградской части Института этнографии АН СССР Рудольф Фердинандович Итс предложил мне должность ведущего научного сотрудника в группе общих проблем и дал целый год на освоение новой для меня дисциплины. Этнография наука спокойная. Пиетет к человеку, толерантность — ее родовые черты. Плюс высокая культура описания различных этносов, глубочайший интерес к особенному, индивидуальному. Плюс развитая этика научного труда. Ни одно из серьезных этнографических исследований не начинается с «чистого листа». Всякий автор, берясь за перо, начинает с того, что демонстрирует уважение к трудам своих предшественников и коллег, работающих в смежных областях. Заметна лингвистическая образованность, профессиональная историческая подготовка. Нельзя заниматься своим этносом, не зная языка, на котором говорят его представители.

Моим главным делом стало изучение материалов Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева (1843–1903), не успевшего осуществить главный замысел, ради которого он затеял грандиозное по тем временам этнографическое предприятие, — написать двухтомный труд под названием «Быт великорусских крестьян-землепашцев». Но это окончательная формулировка темы моей научной работы. Первая формулировка была связана с легендой, согласно которой Тенишев якобы на сломе двух веков обратился к представителям образованных и правящих классов России с предложением нарисовать судьбу России, какой она будет через сто лет. Все та же легенда утверждала, что отвечали респонденты с величайшим старанием. Очень скоро я убедился, что в действительности все было не так. С высоты позиции, очищенной от догматической предубежденности, В.Н. Тенишева справедливо считать пытливым, заинтересованным исследователем повседневной жизни русского народа, стремившимся повысить полезность этнографического знания. Он оставил нам богатейшее культурное наследие — бесценный архив коллективной памяти о великорусских крестьянах. Ввести его в научный оборот (в этом состояла главная цель работы) — значило бы обогатить источниковую базу исследований культуры русского этноса. Эта цель была достигнута. В свет вышло тщательное описание материалов бюро (чего раньше не делали этнографы, хорошо знакомые с архивом Этнографического бюро) на примере дел одной губернии<sup>14</sup>.

Этнографический дебют оказался удачным, но все-таки в ушах все время звучали социологические трубы.

---

<sup>14</sup> См.: Быт великорусских крестьян-землепашцев 1994.

## 7. Второй раз в ту же реку: 1989–1995

Я не герой перестройки, и тем более не прораб, как плеяда моих друзей-«шестидесятников». Я исполнил все ритуалы того времени: голосовал за Горбачёва, пока не иссяк запас его интеллектуальной энергии и решительности, утром первого дня путча вышел из рядов КПСС, прошагав в ее рядах 39 лет, и, естественно, без колебаний принял сторону Ельцина. Однако во мне созрело твердое убеждение перейти на позиции принципиальной беспартийности и не открывать беспроцентного кредита ни одному из лидеров страны, чье правление придется на последнюю половину моей жизни. К тому же в момент, когда я получал последний, надеюсь, подзатыльник от местных властей осенью 1984 г., я сказал самому себе: «Радуйся! Ты стал свободным от них».

Но тут наступил период общественной реабилитации и признания научных и человеческих заслуг В. Ядова. Он стал первым профессиональным социологом, допущенным к руководству головным социологическим институтом в системе Академии наук СССР. В момент утверждения его в этой должности на заседании Президиума АН СССР Г. Марчук, тогдашний Президент Академии, задал Ядову дежурный вопрос: согласен ли Ядов принять на себя эту нелегкую ношу и нет ли у него специфических пожеланий?

В советское время лица, утверждаемые на высокие посты, ждали этого вопроса. Это был момент, когда руководителей-небожителей можно было попросить о чем-то необычном, разумеется, за счет казны. Ядов отказался от выпрашивания сверхлимитных благ по случаю восшествия на социологический трон страны. Я, сказал он, приму назначение только в одном случае: если будет создан филиал Института социологии АН СССР в Ленинграде, где в заточении в стенах ИСЭП АН СССР томятся несколько десятков профессиональных социологов. Марчук вздрогнул, а затем сказал, что идею надо поддержать. Создавать филиал пришлось мне. 1989–1990 годы — период, единственный в истории советской социологии, когда эта наука оказалась востребованной. Обком дал безоговорочное согласие на создание нового института и согласился утвердить его директором-организатором «опального» Фирсова.

Позже три причины повлияли на мое решение оставить пост директора филиала в начале января 1995 г. Первая из них — драматическое падение уровня интереса государства к науке. Государство гарантировало лишь прозябание, будучи не в силах создать как экономические, так и юридические стимулы для развития социального и гуманитарного знания. Вторая причина — самодостаточность и инертность части профессиональной среды. Третья причина — появление негосударственных (в любом случае не частных) форм научной и образовательной деятельности.

## 8. ЕУСПб — еще одно живое дело (начиная с января 1992 г.)

**Б.Д.:** *Я помню, как ты начинал прорабатывать концепцию Европейского университета. Страшно было начинать это новое дело?*

**Б.Ф.:** Затруднюсь вспомнить автора, который сказал, что все человечество можно поделить на три части. Первая часть, самая малая, это — изобретатели огня. В любой науке, в социологии, в частности, их единицы. Вторая часть — люди, открывающие разные способы применения огня. Их больше, чем первых, но и не большинство. К большинству относится третья часть: те, кто греются теплом от огня, изобретенного и добытого другими. В конце января 1992 года мэр Санкт-Петербурга А. Собчак предложил мне возглавить организационный комитет по созданию негосударственного образовательного учреждения, вскоре нареченного его основателями Европейским университетом в Санкт-Петербурге — именем, закрепленным в конце 2004 года актом государственной аттестации.

Я принял это предложение, тем более что оно совпало с моим тогдашним настроением перейти из третьей во вторую лигу «игроков с огнем». Дюжина лет, отданных служению идее ЕУСПб (ректор-организатор, ректор в течение двух сроков, с 1997 по 2003 гг.), международная и российская репутация этого единственного в стране аспирантского колледжа в области социальных и гуманитарных наук дают мне право считать эти годы самым счастливым и результативным периодом моей профессиональной деятельности. Был реализован проект, авторов которого первоначально считали городскими сумасшедшими, настолько нереальными казались замысел, а тем более его воплощение. Победили разномыслие, а вместе с ним и готовность рисковать во имя идеи и искать нетривиальные выходы из, казалось бы, «непроходимых» ситуаций. Победили новые принципы творчества и интеллектуального труда, которые стали возможны только в постсоветской России. Извини, за высокий слог, но речь идет о праве предлагать общественно-полезную идею и брать на себя полноту ответственности за ее воплощение в жизнь. Достигнув успеха на этих основаниях, ты испытываешь особое мироощущение человека, способного брать верх над обстоятельствами. Страх перед новизной и необычностью дела я не испытывал. Волновался, но это чувство сопровождает меня всегда.

**Б.Д.:** *Не считаешь ли ты важным назвать структуры или акторов, помогавших и помогающих Университету?*

**Б.Ф.:** Скажу еще о новых субъектах и об их роли в создании и судьбе ЕУСПб. Учредители (КУГИ Администрации Санкт-Петербурга, Социологический институт РАН, Петербургский экономико-математический институт РАН, Санкт-Петербургский Союз ученых) взяли на себя «родительские обязанности» на «всю оставшуюся жизнь». От них в родословной ЕУСПб обозначилось право на поддержку со стороны Правительства и Законодательного собрания. Без этого, сознаюсь, было бы трудно выйти «в свет», «выбиться в люди». Оба выражения здесь будут уместными. Члены попечительского совета выступили в трех одинаково важных и бескорыстных ролях. Одна из

них — поручительство своим именем за академическую репутацию Университета. Суть второй роли — экспертиза стратегии развития Университета. Третья роль — поддержка словом и делом повседневной деятельности Университета. При взгляде «снизу вверх» попечительский совет — инстанция моральной ответственности ректората и подразделений ЕУСПб за качество жизни в российском и международном образовательном и научном сообществе. Три главных спонсора (число их на самом деле гораздо больше) — Фонд Форда, Фонд Маркатуров и Международная программа поддержки высшего образования (Институт «Открытое общество», Фонд Сороса) — помогли создать условия для обучения талантливой научной молодежи из Санкт-Петербурга и других регионов страны, соответствующие самым высоким международным стандартам.

Имею честь и обязанность заявить, что беспрецедентную по своим масштабам и многолетнюю помощь спонсоров отличало и отличает полное отсутствие «аннексий и контрибуций», что в переводе с ранне-большевистского языка на современный означает выполнение добровольно принятых спонсорских обязательств без каких бы то ни было предварительных условий идеологического или политического характера. Чем больше выветривается альтруизм из нашего национального менталитета, тем сильнее растет подозрительность, что альтруизм отсутствует и у других наций. Как гражданин России, я выражаю сожаление, что вклад международных благотворительных фондов в поддержку российского образования и российской науки не встретил душевного отклика у властей моей страны и остался неотмеченным. Ни извиняться, ни благодарить мы по-прежнему не умеем.

## 9. В поисках самого себя

Решение оставить ректорский пост я принял без колебаний еще в период выборов на второй срок (весна 2000 г.). Официально заявил об этом год спустя, попросив попечительский и ученый советы озаботиться поиском преемника. Альтернативных кандидатов не появилось — слишком большими достоинствами обладал номинированный мною и поддержанный университетским электоратом Николай Вахтин, сын Бориса Вахтина и мой единомышленник, проработавший со мной все эти годы в качестве заместителя председателя Организационного комитета, а затем — первого проректора ЕУСПб. Январь–апрель 2003 года я провел в стенах Института Кеннана (Вашингтон, США) в качестве стажера-исследователя высокого уровня, что дало мне возможность отключиться от многосложных ректорских обязанностей и заняться поиском-разведкой темы научных исследований на перспективу. Скрытый мотив моего отъезда в США — сознательное намерение оставить Н. Вахтина одного на «капитанском мостике».

Все годы ректорства я старался быть «играющим тренером» и поддерживать научную форму. В какой-то степени мне это удалось. Я написал книгу по истории советской социологии<sup>15</sup> и опубликовал около четырех десятков

<sup>15</sup> См.: Фирсов 2001.

статей о том, что меня волновало и интересовало как социолога: историческая динамика советской и постсоветской культуры, судьбы научных элит и интеллектуалов в современном российском обществе, связи истории и социологии, проблемы развития науки и высшего образования, и др. Чувствуя, что могу сделать гораздо больше, я все же не смог преодолеть гравитацию ректорского поста. Административная деятельность всегда оставалась на первом месте, научная — на втором, преподавательская — на последнем, да и то в минимальных дозах. Ответ на вопрос о том, чем и во имя чего следует жертвовать, — скорее всего, этический и личный. Мое решение состояло в том, чтобы наступить на горло собственной научной песне и, находясь на ректорском посту, при прочих равных условиях всегда отдавать предпочтение общеуниверситетским интересам. Удалось мне это сделать или нет — пусть судят университетские коллеги. Мое внутреннее ощущение состоит в том, что Университет был для меня эти годы Большой Целью и никогда не был средством.

**Б.Д.:** *...И теперь что?..*

**Б.Ф.:** Из Вашингтона я вернулся с двумя приобретениями. Одно из них — модель жизни в послеректорский период. Она опирается на идею самофинансирования научной деятельности, чему весьма активно и с высоким КПД учили и учат слушателей Университета. Конечно, можно было внести на заседание ученого совета проект «Закона о Первом ректоре Европейского университета в Санкт-Петербурге». Прецеденты имеются. Не скрою, что мои коллеги спрашивали меня, чего бы я хотел. Я ответил, что предпочитаю уйти от всяких административных дел и тем более от попыток продолжать хотя бы в самой малой степени вмешиваться в руководство и управление Университетом. Я хочу заниматься наукой и прошу предоставить мне рабочее место в стенах Университета. Что касается денег, то я буду сам добывать их для себя, участвуя в международных и российских научных конкурсах, опираясь на статус, которым наделил меня Университет. Так я стал Главным научным сотрудником ЕУСПб и получил два гранта на поддержку своих инициативных научных проектов.

**Б.Д.:** *Меня интересует выбор тобою тем для этих грантов. Они — продолжение коммуникационных исследований, этнографических поисков, наблюдений последних лет за тем, что происходит в стране?.. Почему именно эти темы?*

**Б.Ф.:** Грант Фонда Макартуров был получен мной на индивидуальный проект «Ментальные миры современного российского населения». Могу повторить<sup>16</sup>, что фатальная власть ментальности над нами непрерывно растет. В расплывчатости определенных ментальности и ускользании форм ее бытия заключены определенные преимущества, например возможность ухватывать в анализе «нечто», что не попадает в фокус других наук. Именно такой способ познания выбрал М. Вебер, угадывая и открывая «нечто непознанное, но

---

<sup>16</sup> См.: Фирсов 2003: 4–9; 2004: 2–8.

существующее» (дух капиталистической предприимчивости) в проявлениях «очевидного» (протестантская этика). Мне интересно проложить путь к открытию тайн ментальности.

Фонд Форда поддержал еще один мой проект «Разномыслие в России. 1953–1991 гг.: идеи, носители идей, роль культуры, искусства и науки». Тема этого проекта — социальная история разрушения монолита советской системы. Бесспорно, что эта история будет многократно переписываться ввиду постоянного открытия новых фактов и документов. Но все же я вижу особую пользу в том, чтобы она была предложена теми, чья сознательная жизнь и деятельность пришлось на советское время.

Результаты исследования я намерен изложить в книге, суммировав их с личными впечатлениями о событиях прожитой жизни. Про часть событий могу сказать лишь то, что я их формальный свидетель и современник. Линия судьбы такова, что они не стали источником и причиной моих глубинных переживаний в моменты и периоды их свершения. Рефлексия во многих других случаях наступала позднее, в более зрелую пору жизни, когда приходилось с головой погружаться в волны исторических перемен, определять, а то и переопределять свое отношение к тому, что происходило в твоей же собственной стране. Человеческий, профессиональный, да и гражданский долг стали главными причинами напряжения памяти, мобилизации творческих сил и настройки моего сознания на волну анализа разномыслия, включая мое собственное в тех случаях, когда оно возникало. Я постараюсь не столько оглядываться на былое время, сколько понять его в необходимых деталях в назидание самому себе и для пользы вечной молодых граждан новой России, воспринимающих советскую эпоху понаслышке.



**Б.З. Докторов, Б.М. Фирсов**

## ПРАВИЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗНОМЫСЛИЕ

**Б. Фирсов рассказывает о своей новой книге Б. Докторову<sup>1</sup>**

*Возможно, мы с Борисом Максимовичем Фирсовым несколько поторопились с обсуждением его новой книги «Разномыслие в СССР. 1940-1960-е годы». Он не в полной мере отошел от сложной, многолетней работы, а я недостаточно погрузился, проник в ее содержание. Однако, на мой взгляд, необходимо, чтобы процесс ознакомления российских социологов с этим монографическим исследованием начался как можно быстрее. Широта трактовки стержневой темы анализа и выводы Фирсова, необычность его жизненного пути, слово и дух книги обещают стать катализатором размышлений и действий социологов, разрабатывающих многие проблемы российского общества. По своему предмету это книга об общественном сознании советских людей, по жанру — социальная история современности, по стилю — близка к исповеди социолога. Книга читается медленно, все время возникает диалог читателя с самим собою.*

*Анализ событий, отстоящих от нас более чем на полвека, в равной мере интересен деталями и обобщениями, он — о неразрывности социального времени и иллюстрирует глубокое замечание Фолкнера о том, что прошлое никогда не умирает, оно даже не становится прошлым. Такая книга не могла бы быть написана человеком, не имеющим собственного опыта наблюдений и переживаний процессов, происходивших в СССР сороковых-шестидесятых годов. Но одновременно она остро современна; в ней представлена динамика восприятия социальной реальности «шестидесятником», которого перестройка заставила переосмыслить многое в обществе и в себе.*

*Молодые социологи, читая книгу Фирсова, смогут задуматься, а таково ли в действительности то социальное устройство России, которое видится им. Социологам среднего возраста обсуждаемая работа напомнит, что в сегодняшних россиянах сохраняется многое от человека советского. А это говорит о необходимости внимательного изучения и сохранения опыта социологии советского времени. Наиболее близка тема разномыслия в СССР будет социологам первых поколений. Они будут постоянно сверять написанное Фирсовым со своим видением прошлого и своими раздумьями и чувствами относительно прожитого. Это прекрасно и означает, что уже в ближайшие годы можно ожидать развития многих методологических и сюжетных линий, обозначенных в книге.*

**Борис Докторов**

---

<sup>1</sup> См.: Докторов, Фирсов 2008: 153–167.

**Борис Докторов:** *Борис Максимович, такие книги, как твоя, пишутся по итогам прожитых лет... Трудно допустить, что так просто, проснувшись как-то утром и выпив чашку кофе, ты сказал себе: «А не сотворить ли мне повестушку?» На мой взгляд, можно говорить о трех обстоятельствах, которые привели тебя к рассмотрению проблемы разномыслия в СССР. Первое — стремление обобщить все, что сделано тобою по части анализа сознания людей: изучение аудитории телевидения и развития массовой коммуникации в целом, анализ общественного мнения, размышления по поводу качества современного населения страны, погружение в мир россиян, живших на рубеже 19 и 20 веков, наконец, осмысление истории советской социологии<sup>2</sup>. Второе: стремление понять свой собственный жизненный путь. Третье: особенности нынешнего состояния России и сознания россиян. Так ли это? Какие из названных обстоятельств наиболее подвинули тебя к анализу разномыслия? Может быть, ты увеличишь их перечень?*

**Борис Фирсов:** *Согласен с тем, что такая книга пишется по итогам прожитых лет. Но далее ты предлагаешь три причины, под влиянием которых я взялся за перо. Одна из них — желание подвести итог сделанному в науке. Вторая — заново открыть себя, понять свою собственную жизненную траекторию. Третья — выразить свое отношение к нынешнему состоянию России и россиян. Строго говоря, ты не угадал. Твоей пули в «десятке» нет.*

Я давно, еще в перестроечные годы, понял, что время СССР заканчивается, грядет другая жизнь, стал размышлять на тему, а почему это происходит, почему «великий могучий Советский Союз» так бесславно завершает свой исторический путь. Одно из самых убедительных объяснений тому в процессе внутренних диалогов с самим собой я связал с трансформациями сознания, с его медленным, но неуклонным развитием в сторону отказа от социалистической (коммунистической) идеи. Это была своеобразная «контрэволюция» сознания советского общества, подготовившая крах советской системы.

Ясно, что я опирался на собственное мироощущение, лучше сказать, мирочувствие. Но серьезно писать об этом, будучи директором Ленинградского филиала Института социологии РАН, а затем ректором Европейского университета в Санкт-Петербурге, я не мог. Не было времени. На мое счастье в начале нового века, в 2003 г. истекали мои ректорские полномочия, я впервые в своей жизни переходил из царства необходимости в царство свободы и, как всякий нормальный человек, искал способы существования в новых жизненных условиях. Играть в домино с ветеранами труда и войны во дворе дома я бы никогда не стал. Потому решил стать научным сотрудником с программой деятельности, определяемой, прежде всего, собственным выбором. Я твердо заявил, что буду писать, но не мемуары, а работы смешанного жанра, свободные от жестких канонов научных трактатов, допускающие смешение стилей, вариации дискурса, позволяющие, если требуется, ссылаться на самого себя (речь не о цитатах), на собственный жизненный и широко

---

<sup>2</sup> См.: Фирсов 1972б, 1977, 2001; Массовая коммуникация 1981; Качество населения 1993, ч. 1; 1996, ч. 2; Быт великорусских крестьян-землепашцев 1994.

понимаемый научный опыт и, разумеется, на поступки и мысли других, близких мне по духу людей. Не стану определять жанр. Для того чтобы оправдать подобного рода авторское своемыслие, я должен был выбрать общественно значимую тему, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», проведенные в муках мало кому нужного сочинительства...

**Б.Д.:** *Это — о мотивах; теперь, пожалуйста, о проблемном поле...*

**Б.Ф.:** Чтобы не терзать тебя и будущего читателя нашей беседы поисками разгадок моего творчества, сошлюсь на идею написать книгу о том, как неотвратимо разрушался монолит советской системы. Я решил вернуться к осуждению «культы личности» на XX съезде КПСС — событию, которое породило надежды на возможность реформ и диалога с властью. Однако уже тогда, как писал об этом наблюдательный Ю. Левада, власть начала утрачивать свое безраздельное господство над людьми и не могла остановить бурление умов в обществе. Гласность и открытие шлюзов разнообразной информации в перестроечный период придали этому бурлению невиданные масштабы, привели к образованию «взрывной смеси», которая для начала пробила брешь в каменной стене ортодоксального социального мышления. Потом благодаря этой брешу развалилась и сама стена. Заряды, заложенные в 60-е гг. (добавлю от себя: и в 50-е гг.), «рванули» в 80-е. Хотя этого, будем откровенны, никто не ожидал. Рассказ Левады помог очертить проблемное поле предпринятого мною исследования. Я решил изучить процесс разномыслия (*diversity of thinking* — англ.) в советском обществе в период от победы в Великой отечественной войне до образования новой России.

История разрушения монолита советской системы нуждается в современном и непредвзятом освещении. Ее следует адресовать молодым поколениям, родившимся и вступившим на жизненный путь в условиях обновленной России. Бесспорно, что эта история будет многократно переписываться ввиду постоянного открытия новых фактов и документов. Но все же я видел и вижу особую пользу в том, чтобы она была предложена людьми, чья сознательная жизнь и деятельность пришлась на советское время.

**Б.Д.:** *Заголовок твоей книги «Разномыслие в СССР. 1940–1960-е годы» указывает на предмет и объект твоего исследования. Мы знаем, как сложно они выбираются, конструируются. Из какого первичного хаоса они возникли? В рамках видевшейся тобою тематики были ли какие-либо иные варианты с выбором предмета и объекта? Почему ты выбрал термин «разномыслие», а не, к примеру, «инакомыслие»?*

**Б.Ф.:** В конце 2003 года, задумываясь о новом проекте, я по установившейся традиции полагал, что появление первых признаков раскрепощения страны надо отсчитывать от марта 1953 года, т. е. связать со смертью Сталина и наступившей хрущёвской «оттепелью». В согласии с этим, восемь первых послевоенных лет, прошедших под знаком сталинской власти, следовало считать мрачным, лучше сказать, мертвым периодом истории, когда люди продолжали привычно молчать, будучи приученными к безгласному повиновению в период «большого террора».

*Коллективность* молчания в упомянутый период не вызывает сомнений. Но даже и в этом, казалось бы, тяжелом, безвыходном случае *не прекращались* индивидуальная и групповая (в малых группах) рефлексия окружающей жизни и выражение разных мнений в «укрытиях», роль которых выполняли близкие люди, спаянные совместным переживанием непрерывных бед и редких радостей тех лет.

Мостик к этой рефлексии прокладывается вполне естественным образом, если принять, что оптимизм минимально требовательных и кое в чем продвинувшихся (ядро классического советского общества) мог и должен был иметь *альтернативой* пессимизм выживших, максимально требовательных и ни в чем не преуспевших. Особый и до сей поры мало изученный феномен — всенародное переживание событий военных лет, жестокая правда об испытаниях, выпавших на долю едва ли не каждой семьи.

Размышляя над всем этим и опираясь на впечатления от прожитой жизни, я предположил, что не только в условиях «глобального потепления», наступившего в хрущёвскую эпоху, но и в условиях «вечной мерзлоты» сталинских послевоенных лет люди искали и находили способы оставаться самими собой, сопротивляться принуждению к единомыслию, которое было в конечном счете одним из главных и решающих приемов удержания власти. Проследить этот тренд на примерах коллективных действий нельзя. Тени «групповщины», групповых «заговоров» до сих пор преследуют едва ли не все ветви российской власти. Совершив переход с социетального уровня на уровень поступков отдельных людей, я обрел поддержку своим представлениям о разномыслии в высказываниях и воспоминаниях моих ровесников, чьи жизненные впечатления я полностью разделяю и считаю верными. Приведу слова одного из них, известного российского актера Сергея Юрского: «Плоха была советская власть. Очень плоха. В такие тупики нас загнала, из которых выберемся ли — большой вопрос. Но опыт терпения, опыт тайной духовной жизни народа, опыт не только героического диссидентства, но и глубинного подспудного *сохранения себя как личности в толпе* (курсив мой. — Б.Ф.) — этот опыт бесценен».

**Б.Д.:** Конечно, размышления всегда приводят к критике...

**Б.Ф.:** Да, тоталитарный режим оказался не в силах «прекратить» тайную духовную жизнь, позволявшую человеку находить в себе силы, чтобы избежать насильственного погружения в волны и потоки коллективного опыта и переживаний, в душливую атмосферу всеобщего единомыслия. Индивидуальность человека — суть неповторимая совокупность его психических свойств, и потому различия в восприятии и отношении с окружающим его миром заданы изначально. Отсюда продукты психической деятельности, которыми обмениваются люди — мнения, взгляды, убеждения, — в принципе у разных людей должны быть разными. Их одинаковость (единомыслие) скорее частный случай, исключение из правила. *Правилом является разномыслие!* По всей видимости, оно было всегда. Придушенное репрессиями 1930-х годов, незаметное на фоне всеобщего страха, оно постепенно взяло на себя роль фермента-катализатора, доведя брожение умов в обществе до

смены ориентиров, обозначающих движение социума в историческом времени. Это показано в книге на примере практик разномыслия, обозначившихся уже в послевоенное время.

**Б.Д.:** *Теперь — о самом термине «разномыслие».*

**Б.Ф.:** Обоснование выбора разномыслия в качестве главного понятия всей книги — это сквозная тема всей книги. Возможно, тебя и читателей заинтересуют результаты моей работы с этим словом. Время своевольно распоряжается значениями слов нашего родного языка, непредсказуемо наделяя приоритетом и особым смыслом обозначаемые ими явления. Ведь далеко не однозначным является слово «разный». Словарь рекомендует различать такие его значения: 1. **Разный** (*несходный с другим, с другими в чем-либо, в каком-либо отношении*). Разные характеры. 2. **Разный** (*о двух или нескольких лицах, предметах, понятиях: не один и тот же, не тот же самый*). Двигаться в разных направлениях<sup>3</sup>. Синонимы этих значений *различный, неодинаковый*, ссылки на слова, весьма близкие по смыслу, такие как *разнообразный, разнородный*, помогут зафиксировать семантическое поле искомого словоупотребления. С помощью слова «разный» можно создать собирательные понятия, способные объединять не сходные между собой, отличающиеся явления (предметы, признаки), не образующие к тому же какого-либо единства. Одно их таких существительных — РАЗНОМЫСЛИЕ — отражение множественности мнений и взглядов, разнообразия точек зрения, несогласия во мнениях. Как всегда, выручает В. Даль, предложивший видеть за этим существительным различные мысли, заботы, думы, бродящие в голове, неодинаковые убеждения, помыслы, скорее всевозможные, всякие или всяческие (*разг.*), чем просто непохожие.

Однако для Даля, человека, жившего в пору, свободную от влияния разрушительных идеологий, любое слово было не более чем элементом народной речи, живого русского языка. XX век изменил внутриязыковую ситуацию и ликвидировал нейтральность словоупотребления, свойственный естественному течению народной жизни. Революция вторглась в семантику слов и стала навязывать нейтральным понятиям идеологизированные смыслы. Разномыслящий индивид перестал быть просто человеком, думающим и рассуждающим не так, как остальные. Партийная идеология делает его «не нашим», «чужим», занеся его своемыслие в число заведомо осуждаемых революционной моралью свойств. «И тот, кто сегодня не с нами, / Тот — против нас!» Специфика слова «разномыслие» в русском языке сегодня такова, что оно означает необщее понимание и отношение к социальной жизни.

**Б.Д.:** *В силу чего ты ограничился двумя десятилетиями — 1940–1960, а не взял более широкий временной период? Разве в годы Гражданской войны «мыслие» было гомогенным? А «перестройка» не была пиком разномыслия?*

**Б.Ф.:** Причина, под влиянием которой я ограничился двумя десятилетиями, 1940–1960-ми годами, не довел свой рассказ о разномыслии до

<sup>3</sup> Словарь синонимов 1971, т. 2: 347.

финала советской истории, весьма простая. Помешал максимализм замысла. Ведь я замахнулся на теорию, социальную историю выбранного мною социального феномена, а также на обширную панораму практик разномыслия. У меня не хватило сил и времени, и я попросил у грантодателя пощады. Анализ разномыслия в брежневское и горбачёвское время — предмет особых усилий, здесь должны быть иные схемы. Фонд Форда пошел мне навстречу, хотя мысли довести дело до логического конца я не оставил.

**Б.Д.:** *В чем специфика инакомыслия, как это явление соотносится с разномыслием?*

**Б.Ф.:** Сошлюсь на разыскания современных российских историков-архивистов. Один из них, В.А. Козлов, напомнил, что в принципе это соотношение занимало, волновало Александра Галича. Диссидент по духу, он обозначил существо диссидентства термином «резистанс» («своего рода сопротивление»), но одновременно писал о «молчаливом резистансе» — десятках и сотнях тысяч людей, составлявших фон, без которого инакомыслие не могло бы существовать. Козлов пишет, что Галич почувствовал некоторую узость самоназваний «инакомыслящий» и «диссидент», их временную и географическую локальность (небольшая группа столичной интеллигенции, занятая правозащитной деятельностью и «самиздатом» в 60-е и 70-е гг.). Одновременно он уловил существование еще какой-то среды, иных, кроме названных социальных и культурных слоев, к которым эти слова (самоназвания) не подходили и оставались не идентифицированными. Как назвать диссидентом рабочего, обозвавшего Сталина болваном? Можно ли считать диссидентской деятельностью разбрасывание листовок или создание подпольных кружков, реже — организаций? К тому же правозащитники осуждали подпольщину и не разбрасывали подметных писем. Да и возникновение инакомыслия на тщательно прополотом путем массовых чисток обществе вряд ли допускалось до известного времени. Явление инакомыслия будет возрождено в постсталинском обществе. Другое дело «молчаливый резистанс» (по Галичу) и его синоним «разномыслие» (посмею сказать — по Фирсову) как альтернатива насаждаемому единомыслию сверху, как сознательное отделение себя от тела принудительно внушаемой коллективности слов и дел. За этим не во всех случаях стоит протест, борьба с властью, но уход из-под глыб идеологического монолита был вполне возможен, притом что человек оставался лояльным к режиму. Такого рода феномен имел высокую вероятность в условиях не только авторитарного, но и тоталитарного режима.

**Б.Д.:** *И тогда... что же следует понимать под инакомыслием? Определи его построже.*

**Б.Ф.:** Особый смысл в русском языке имеет слово «иной». От него возникло прочно укорененное в современном лексиконе, издавна животрепещущее и злободневное слово — ИНАКОМЫСЛЯЩИЙ, тот, кто мыслит иначе, держится иных, других убеждений, бросая вызов окружению — обществу и власти. Были эпохи, когда этого слова боялись. Толкование слова в Словаре Ожегова (1952 г., еще жив вождь и учитель!) сопровождалось ремаркой

(устар.) — *устарелое*, которая задавала нормативное отношение к слову и обозначаемому им явлению. Де, мол, так раньше называли человека, имевшего другой образ мыслей, а сейчас (в начале 1950-х гг.) таких людей едва ли встретишь. Тот же словарь особым образом выделял канонические черты советской общественной системы — единодушие, единство, единомыслие. Правда, при толковании слова «единомышленник» словарь предусматривал два его значения: 1. **Единомышленник** — человек, который находится в полном единомыслии с кем-нибудь. 2. **Единомышленник** — сообщник в каком-нибудь деле; иллюстрацию словаря к этому значению упомянутого слова (*Выдал своих сообщников*) тогда понимали все.

Разрушить монолит единомыслия, сформировавшийся к концу сталинского правления, значило прийти к распространению в обществе раскрепощенных форм общественного сознания, какими правомерно можно считать разномыслие и инакомыслие. Но в случае *разномыслия* человек приступает к реконструкции картины мира, не порывая с конституирующей этот мир идеей, что не мешает ему быть ее серьезным критиком. В случае *инакомыслия* ментальная картина мира в голове индивида радикально меняется, она теперь опирается на другой тип устройства общественной жизни.

Апофеоз советского инакомыслия (тему которого я совершенно сознательно оставил за пределами подробного анализа) — диссидентство, которое опиралось на культуру поступка, связанного с экзистенциальным протестом. Модель, которую формировало это движение, была первой несовершенной моделью гражданского общества. Именно в него «играли», по выражению А. Даниэля, диссиденты.

**Б.Д.:** *Приведи, пожалуйста, пару примеров разномыслия.*

**Б.Ф.:** Первый пример разномыслия как необщего понимания и отношения к социальной жизни — доклад Н.С. Хрущёва на XX съезде КПСС. Мужественный поступок, вызов, перчатка, брошенная всей партией. Другое дело, как и кто эту перчатку поднял. Я посвятил целый раздел сопротивлению десталинизации советского общества, начавшейся в эпоху Хрущёва. Другой пример — из числа тех, которые остались по разным причинам в архиве книги. Известен факт (о нем поведал журнал «Звезда» в материалах, посвященных пятидесятилетию XX съезда КПСС), когда будущий крупный российский математик Анатолий Вершик (родился в 1930 г.) в одну из мартовских ночей 1956 г. разбил мемориальную доску, посвященную Сталину и установленную на здании бывшей Биржи в Ленинграде. Слава богу, его не поймали, но поступок заслуживает того, чтобы о нем сказать.

Но, вообще говоря, книга насыщена примерами практик разномыслия, что дало мне возможность построить панораму явления, относящуюся к послевоенному двадцатилетию.

**Б.Д.:** *Можно ли трактовать возникновение социологии в СССР в конце 1950-х годов как проявление разномыслия?*

**Б.Ф.:** Со всей определенностью «да». Наиболее важной здесь оказалась роль интеллектуального сообщества. Социология, бесспорно, была результа-

том сознательной деятельности интеллектуальной элиты под влиянием хрущёвской либерализации после XX съезда КПСС (1956). Идею реставрации социологии в числе первых предложила и начала обсуждать группа советских философов с либеральной ориентацией (Г. Андреева, Б. Грушин, А. Здравомыслов, И. Кон, Ю. Левада, Г. Осипов, В. Ядов и др.). Естественным оказалось очень скорое присоединение к ним экономиста В. Шубкина, историка и этнографа Ю. Арутюняна. В принципе идея была поддержана по методу «снежного кома» большинством интеллектуального сообщества. Ядро философской науки в целом тем не менее было инертно к идее, что не помешало части философов (кто имел дело с диалектическим материализмом, логикой и естественными науками — П. Копнин, А. Зиновьев, А. Ракитов, Б. Кедров) также высказаться «за». Из числа ученых — специалистов по историческому материализму — в ряды защитников социологии вступил В. Келле, а следом за ним — международники (Ю. Арбатов, Ю. Замошкин, В. Семенов) и специалисты по системному анализу (И. Блауберг, В. Садовский, Б. Юдин). Новые волны поддержки исходили от математиков, кибернетиков (Л. Канторович, лауреат Нобелевской премии), журналистов и писателей-публицистов. Особо важными оказались действия журнала «Новый мир», а также «Литературной газеты» («ЛГ»), которая стала рупором социологии (до выхода первого номера журнала «Социологические исследования» в 1974 г.), публиковала социологические статьи, рецензии на книги. Редакция «ЛГ» была первым заказчиком исследований читательской почты и читательской аудитории.

Поддержку со стороны интеллектуалов можно объяснить тремя обстоятельствами. Во-первых, они являлись сторонниками демократизации общества, расширения политических свобод и верили в то, что социология может выступить средством раскрепощения общества. Ведь социологические исследования, по их мнению, позволяют увидеть реальные настроения и мнения людей и в этом смысле превзойти возможности власти, которая часто с высокомерием продолжала настаивать на том, что знает реальные потребности населения, поскольку ее политика отражает подлинные интересы советских людей. Во-вторых, они считали социологию средством, которое могло бы подчеркнуть важность человека и человеческого фактора. В-третьих, социология открывала путь к принятию решений в опоре на научные данные. Это было вызовом всему тогдашнему обществоведению, трезвым, реалистическим взглядом на вещи взамен сладкоголосого пения в честь мудрой политики коммунистической партии.

Реализация этих установок помогла социологии сыграть заметную роль в просвещении общества, в развитии его самопознания. Татьяна Ивановна Заславская справедливо писала о том, что долгие десятилетия население страны было лишено объективной информации о положении дел в социуме. Более того, оно тонуло в потоках государственной лжи о «новом платье короля» и часто не решалось домысливать, почему король временами оказывался голым. На фоне очевидного лукавства экономической и социальной статистики социология в своих первых попытках пыталась приподнять завесу над истинным положением вещей. Т. Заславская уподобляет возникновение социологии в СССР «появлению маленького и тусклого зеркала в руках



человека, никогда не видевшего себя самого и превратившегося в полузверя». Реанимация, «расшевеливание» общества, сохранившего в себе витальные силы, стимулировали громадный интерес к социологическому разномыслию и его результатам.

**Б.Д.:** *Есть ли у разномыслия мера: оно есть или его нет? или это континуум: скажем, «слабое», «среднее» и «сильное»?*

**Б.Ф.:** Я предпочитаю говорить о качестве разномыслия, но не пытаюсь прилагать к нему метрические системы. Это качество сильно зависит от социальных условий. Есть большая разница в «катакомбном» разномыслии и разномыслии, вышедшем на поверхность общественной жизни. Гласность в эпоху перестройки это уже крик души народа, а не просто публичный обмен мнениями по широкому кругу вопросов общественной жизни.

Также имеет значение для внешнего восприятия, для оценочного суждения, лучше сказать, экспертизы предмет разномыслия. Одно дело, когда оно касается сфер личной, семейной жизни, другое, — когда оно сопряжено с обществом, отношением к режиму. Термометр с градуированной шкалой, разбитой на интервалы «слабое», «среднее» и «сильное», внесет путаницу в диагноз сложного социального явления, каким является массовое сознание, склонное к разномыслию или, напротив, избегающее его. В книге я предпринял опыт сравнения «крамолы» и общественного мнения, сопоставил «антисоветские высказывания» (кому-то они могут показаться пиком разномыслия) со свойствами массового сознания, какими их нашел Борис Грушин в пору расцвета Института общественного мнения «Комсомольской правды». Десять базовых характеристик, предложенных Грушиным для «измерения» массового сознания населения страны, помогли мне понять *качество* «крамольного» разномыслия. Итогом стал эскизный набросок портрета «крамолы» как одной из форм общественного мнения.

**Б.Д.:** *Я обратил внимание на эту твою картину. Не мог бы ты совсем скупо обозначить здесь образ этого феномена?*

**Б.Ф.:** По десяти критериям Грушина это будет выглядеть так.

*Круг интересов.* Общий диапазон интересов тогдашних россиян позволил сказать, что по кругу своих устремлений и интересу к различным сторонам жизни страны и мира масса советских людей выглядела в те годы развитой и активной. Этого не скажешь о настроениях носителей крамолы. Низкая включенность в различные сегменты жизни тогдашнего социума является следствием их бросающегося в глаза недовольства жизнью, остро осознаваемой растущей неспособностью государства платить по векселям социальных обещаний. Как правило, крамольники — люди с узким диапазоном общественных интересов.

*Морфология «крамольного» сознания.* Менталитет этих людей оказался перегружен знаниями, заимствованиями «извне» под действием советской, зарубежной пропаганды, слухов и молвы. Роль собственного опыта здесь была минимальной. Несамостоятельность сознания будет влиять на выбор картины мира. Многие носители крамолы станут считать источником зла

СССР не столько вследствие осознанного противостояния советской системе, сколько под влиянием бытовых разговоров, во многих случаях «бухтенья и куража».

*Уровень знаний* был низким вследствие отсутствия свободы доступа к информации и невысокого уровня образования. Крамольники часто и заметно пугались во всем, что выходило за пределы опыта их собственной жизни.

*Способность суждения*, вследствие низкого уровня знаний, оставляла желать лучшего.

*Ценностные ориентации* отражали явную сосредоточенность «крамольников» на ценности справедливости, равенства, на общих условиях выживания в тесной привязке к собственной жизни, несли на себе печать недовольства и критики как частных условий жизни, так и советской системы в целом.

*Отношение к собственному обществу*. Среди носителей крамолы было мало сознательных, стойких оппонентов власти, тех, кто относился к своей отрицательной позиции осмысленно. Преобладали бузотеры и житейски неустроенные лица. Особо резкой была персонифицированная, отчужденная критика вождей, политических лидеров страны, Н. Хрущёва в первую очередь.

*Эмоционально-психологический тонус*, самочувствие явно указывают на недовольство, тревожность, беспросветность жизни и пессимистические ожидания, с нею связанные.

*Реактивные способности*. Большинство сюжетов, связанных с дестабилизацией и нарушением баланса своих внутренних состояний, крамольники высказывали открыто.

*Структура сознания в терминах дифференцированности взглядов*. Поскольку едва ли не каждое «антисоветское высказывание» оспаривает общепринятые политические и идеологические каноны, то факт демонстрации плюрализма не вызовет сомнений. Что бы ни говорили их авторы, они говорили и думали не так, как все. Но сознание «крамольников» оставалось акцентуированным. Его носители сплотились вокруг отрицательного отношения к определенному числу сторон советской действительности, в частности к тому, что лозунг Коммунистической партии «Все для человека» не действовал, постоянно нарушался по вине власти.

*Цельность — разорванность*. Крамольное массовое сознание (не стационарное, не стабильное) обидой не назовешь, но и сознательным вызовом оно тогда не являлось. Это временный выход из реальности, где строили коммунизм, но с большими шансами на возвращение в эту реальность. Были и «невозвращенцы», но, по всей вероятности, немного. Ведь нередко, по свидетельствам историков, «перелопативших» не одну тысячу поднадзорных дел, осужденные крамольники в своих жалобах на строгость приговора писали о том, что никогда не имели антисоветских настроений и в доказательство приводили собственную биографию, отвечавшую тогдашним критериям советскости. И это не было их заискиванием перед властями.

Эклектика взглядов и идей — таков диагноз антисоветских высказываний, подвергавшихся преследованиям в 1960-е гг., который был поставлен российскими историками (В. Козлов, О. Эдельман и др.). Он совпадает с моей социологической экспертизой разномыслия авторов этих высказываний.

**Б.Д.:** *И ты сам, и многие твои друзья относятся к когорте «шестидесятников». Как бы ты определил это социально-политическое и нравственное образование? Каковы его критерии, границы? Почему среди твоих ровесников одни стали «шестидесятниками», а другие — нет?*

**Б.Ф.:** Разномыслие для меня — индикатор двух широко разлитых в обществе умонастроений, одно из которых — постепенное осознание того, что социалистическая идея, принятая было людскими массами (человеком), гаснет, теряет свою энергию; второе — предчувствие того, что на место угасающей приходит новая идея. По моему мироощущению, которое я постарался отразить в книге, послевоенный период советской истории, вплоть до смерти Сталина, связан с первым из этих умонастроений, хрущёвское время — вторым. Разумеется, все это очень индивидуально, лично, блуждает и пропадает в лабиринтах ментальности разных людей и не всегда выходит на поверхность бытия. Апофеоз советского разномыслия — «шестидесятничество». «Шестидесятники» опирались на парадигму разномыслия в том понимании, которое я предложил и постарался обосновать в книге.

Большую часть «шестидесятников» можно четко разделить на две категории. Одни существовали внутри системы, играли по ее правилам и часто использовали эти правила для улучшения системы (например, Георгий Арбатов, Федор Бурлацкий). Они старались обустроить коммунистическую идею таким образом, чтобы она жила и не мешала людям нормально жить<sup>4</sup>. Другие намеренно находились вне системы, не признавали ее правил и в том или ином виде противостояли ей. В этой среде вызревали диссиденты, чей нравственный выбор был связан с поиском формы сохранения себя, своей свободы в общественной ситуации, когда быть свободным во внешнем мире не удавалось никому, включая даже Генсека ЦК КПСС. Для них главный вопрос состоял в том, как жить, оставаясь при этом порядочным человеком<sup>5</sup>.

Петербургский журналист Д. Травин после длительного интервью со мной написал, что Б. Фирсова нельзя отнести ни к той, ни к другой категории. Он все время пытался синтезировать правила системы, по которым играл как номенклатурщик, с творческими устремлениями, важными для него как для личности. С каждым годом, вплоть до начала перестройки, делать это становилось все труднее, и Фирсов сознательно терял одну за другой номенклатурные позиции, стремясь сохранить себя как представителя интеллектуальной профессии и человека<sup>6</sup>.

Долгое время я твердо верил если не в лучезарное, то вполне достойное будущее своей страны и старался его приблизить. Жалею ли я об этом? Вычеркиваю ли себя из советского периода моей жизни, значительная часть которого была пронизана иллюзиями и ожиданиями перемен к лучшему? Со всей определенностью отвечаю: нет, не жалею и ничего не вычеркиваю. Я отождествляю себя с советскими «шестидесятниками» и разделяю склады-

<sup>4</sup> См.: Травин 2007.

<sup>5</sup> См.: Травин 2006а.

<sup>6</sup> См.: Травин 2006б.

вающееся мнение о результатах их побед и поражений. Они разрушили атмосферу единомыслия, в которую долгое время была погружена страна, они же смогли обозначить варианты движения общества на грани XX и XXI веков. Драма «шестидесятников» не столько в их компромиссах и даже не в умеренно-наивных планах совершенствования социализма с человеческим лицом, «робких альтернативах», продиктованных «детским позитивизмом», сколько «в самоограничении, обернувшемся ограниченностью следующих поколений, изживать которую еще очень долго»<sup>7</sup>. Кассационной жалобы на приговор, вынесенный Петром Вайлем, я подавать не стану ввиду согласия с его вердиктом.

**Б.Д.:** *Категория разномыслия применима ко всему спектру отношения людей (индивидов, групп) к миру, или в первую очередь речь идет об отношении к политике, социальному устройству, идеологии?*

**Б.Ф.:** Ко всему спектру. Здесь нет предмета для спора. Мой акцент на разномыслии в сферах политики, социального устройства, идеологии связан с тем, что в этих случаях от советского человека требовались особые усилия для открытого выражения вольнодумства, для демонстрации независимости ума, твердости собственной точки зрения.

**Б.Д.:** *Верно ли я понимаю, что разномыслие — норма, оно существует во всех странах, при всех режимах, но инакомыслие — в тоталитарных государствах?*

**Б.Ф.:** Да, верно, если понимать под инакомыслием (диссидентством) форму *открытой* защиты конституционных прав и свобод. Диссиденты не были организованной политической оппозицией, которая имела программу и план действий. Диссидентов было *немного*, что лишний раз указывало на трудности преодоления государственного страха, в котором граждане прожили несколько десятилетий. В то же время оно свидетельствовало, что действия государства — нарушителя прав и свобод — могут быть оспорены. Человеческий дух побеждал всемогущее государство.

По критериям порядочности, которые всегда сохраняли свое императивное значение, хороший человек всегда оставался тем, кто, несмотря на свои изъяны и недостатки, поступал по совести, кто мог совершать ошибки и заблуждаться, но делал это искренно, а не корысти ради, кто в решающий момент не продавал, не опускал глаза долу, не отворачивался, не прятал руку за спину, а протягивал ее как знак внутренней готовности и желания прийти на помощь. Порядочный поступок становился мерилom достоинств человека. Не случайно микросреды, где царил дух порядочности и поддерживался культ хороших людей, часто оказывались ячейками порождения диссидентского движения. Собственно, там и возник новый этос отношений человека и государства. «Как жить, сохраняя ощущение того, что ты, несмотря на все творящееся вокруг, остаешься порядочным человеком?» — такой вопрос

<sup>7</sup> См.: Вайль 2007: 160.

задаст себе Людмила Алексеева, одна из выдающихся советских диссиденток в «оттепельные» годы на заре «шестидесятнического» движения, и ответит: «Я веду себя в соответствии с собственным представлением о том, что хорошо и правильно, а что неприемлемо».

**Б.Д.:** *Твои сторонники в трактовке права людей на разномыслие четко обозначены в книге, но скажи, с кем ты полемизируешь? Или с чьей стороны ты ожидаешь несогласие?*

**Б.Ф.:** Повторю то, что сказал об этом в предисловии к книге. Я всегда испытывал и испытываю особый интерес к личным документам и свидетельствам событий прошлого. Потому «без страха» ходил по «минным полям субъективности» ради поиска фактов, работавших на мое собственное восприятие и понимание прожитой жизни, будучи к тому же убежденным в особой роли единичного, случайного в историческом процессе. Я субъективно, но не предвзято, подошел к отбору авторов мемуаров и воспоминаний. Это — люди, чья нравственная позиция во многом совпадает с моей, чьи взгляды являются опорой моего мирочувствия, кому я доверяю больше, чем продолжающим лгать официальным источникам и персонам. Разномыслие — надежный способ иммунной защиты от пандемии разновременного вранья, окутавшего Россию. Особые меры я предпринял для защиты от моих современников, которые пишут так, как если бы никого и ничего до них не было. В итоге появился солидарный дискурс послевоенной эпохи, основанный на растущем во времени скептицизме ее восприятия. Преимущества этого дискурса и в звучании голоса автора, и в бережном отношении автора к голосам своих современников. Я сознательно пошел по пути синтеза чужого и собственного дискурса. Солировать мне было бы трудно...

Теперь о тех, с кем я спорю. Строго говоря, ни с кем, если иметь в виду конкретных лиц. Я пытаюсь построить баланс, навести мост между двумя типами понимания человека советского. Сообразно первому, человек советский представляет некую особь, чье поведение и мышление полностью определено гегемоническим дискурсом. Идеология здесь тотальна, она перешла в повседневный быт (пример Леонида Ионина: в 1937 г. на льдине в районе Северного полюса дрейфовали четыре полярника-папанинца, один из них, беспартийный радист Кренкель, выходил из палатки на лютый мороз, когда трое остальных проводили собрание ячейки ВКП(б)). Особь формируется целиком и полностью условиями государства-Левиафана. Как следствие, она предсказуема, то есть полностью детерминирована режимом, внешними условиями, и укладывается в схемы, которые бывает трудно опровергнуть. Второй тип понимания — личностный. Огрубляя, его можно представить так: поливалентные в своих отношениях с миром люди находили способ оставаться людьми, опираясь на «разрешенные» системой формы взаимодействия, создавали практики повседневности, позволявшие выживать.

Истина и в этих случаях находится где-то посередине. Одинаково вредны как эйфория перед всем советским, так и увлечения обществоведов паталогоанатомией советского общества. Многие феномены советской жизни не поддаются однозначной интерпретации. Считается, например, что лице-

мерие было универсальной характеристикой советского социума. Аргументируется это распространенностью двоемыслия и ссылками на Дж. Оруэлла и Р. Арона. Однако лицемерия во многих случаях могло и не быть — люди часто не могли разобраться в себе. Кроме того, ими разыгрывались роли, что было характерно для повседневного существования. Массы людей скрывали этим свое отношение к происходящему, тем более что быть героями все не могли. Героизм был уделом меньшинства. Но я не считаю разыгрывание ролей признаком сильно выраженной общественной патологии, если принять, что жизнь человека постоянно сопровождается нравственными сделками и компромиссами. В ряде ситуаций, типичных для советской жизни прошлых лет, было бы полезнее говорить не столько о двоемыслии как деградации, сколько о сокрытии собственных мыслей как защитном механизме личности. Лицо и маска не обязательно противостоят друг другу. Отделить человеку себя от роли часто невозможно, о чем писал И. Кон в своей новомировской статье «Люди и роли» (Новый мир. 1970. № 12). Маска всегда скрывала истинное лицо, но не всегда обезличивала. Пожизненный максимализм, постоянная жесткая оппозиция состояний человека вместо естественного различения и гибкого выбора ролей — нонсенс! Неслучайно часть диссидентов (С.А. Ковалев и др.) покоробил призыв А.И. Солженицына «Жить не по лжи!». В условиях вегетарианского тоталитаризма этот призыв невозможно было соблюсти. Ложью были пронизаны все виды общественных отношений, начиная от участия в голосовании и кончая сдачей экзаменов по марксизму-ленинизму или выходом на коммунистический субботник.

Говоря иначе, я решил еще раз поставить вопрос о том, кто мы такие, что с нами делать. Термин или калька *Homo Sovieticus* меня до известной степени сковывал. То же о термине «*сталинская личность*». Что это такое? — спрашивал я не один раз себя. Найти правильный ответ мне помог один из консультантов моей книги, историк Олег Кен, безвременно ушедший из жизни поздней осенью 2007 года. Он прозорливо заметил, что это — кальки, рыночные бренды периода перестроечной России. Названия эти были бы оправданны, если бы советская власть, и только она, непрерывно давала предписания относительно мыслей и действий, доводя их до конца, чего не было в реальности. К тому же и сам автор, подбодрил меня Кен, такую идею опроверг своими примерами и ссылками на практики разномыслия поколения отцов и детей. В повседневных размышлениях, в результате рефлексии различных сторон жизни возникали вспышки, выбросы человеческой энергии, которые долгое время продолжали звучать, пока обязательно кто-то не повторял поступок, а то и подвиг предшественников. Разномыслие это и неодолимое движение от кого-то к кому-то, от чего-то к чему-то, это и повседневная борьба человеческого ума за изменения к лучшему. Его своеобразная платформа — социальная трансформация форм мышления, порождение собственного взгляда на вещи.

**Б.Д.:** *Твоя апология разномыслия понятна. Но все-таки проиллюстрируй, объясни, что ты имеешь в виду под этой трансформацией.*

**Б.Ф.:** На протяжении второй половины 1940-х и в 1950-х годах жизнь, в которую вступили следом за отцами их дети, я и мои сверстники, продол-

жала озаряться светом иллюзий и надежд, навеянных верой в социалистическую и коммунистическую идею. Парадоксально, но одновременно и для отцов, и для детей началось обрушение «великой идеи». В многосложном процессе преодоления идеологии коммунизма под влиянием драматической истории страны я наметил несколько *точек необратимости* развития этого процесса.

Одна из таких точек — *круговая оборона семьи*. Это — неизученный феномен, но семья оборонялась от атак и агрессии сталинского времени, а впоследствии ошибок и нападков других правителей, которые часто не знали, что творили, разными способами вмешиваясь в жизнь людей, пытаясь поставить ее под контроль. Отцы и матери «непоротого» поколения, уберегая своих детей от тяжести и грубости времени, скрывали мерзкие стороны жизни, спасая тем самым юношеские души от слишком ранних конфликтов с окружающей жизнью. Вторым способом защиты детей в конце хрущёвского времени стали семейные инвестиции в их образование. Революция состояла в том, что постепенно складывалась новая социальная структура с людьми, большинство из которых считали образование высшей ценностью. Идеология здесь явно теснилась, отступала, ибо люди предпочитали инвестиции в себя заботам об общем благе.

Вторая точка — *снижение потенциала жертвенности* во имя светлого будущего. Война, унесшая жизни миллионов людей, трудности послевоенной поры, низкая платежеспособность власти в том, что было связано с обещаниями мирной, справедливой и зажиточной жизни в условиях выстрадавшего мира, — все это имело своим следствием рост самооценки собственной жизни в глазах массы людей и осознание права на распоряительство ею в целях сохранения самих себя. В 1946 году на долю займов приходилось 24 % государственного бюджета, в 1952 году — 42 %! О том, что грядет очередной заем, торжественно-загадочным голосом извещал страну диктор Левитан: во столько-то часов текущего дня будет передано особой важности сообщение от имени ЦК партии и Правительства. Случалось такое ежегодно в первых числах мая, но все знали, что сегодня начнется ограбление населения страны. С каждым таким случаем вера в человечность идеологии коммунизма выветривалась.

Третья важная точка — *препятствия на пути усвоения идеологемы труда* в социалистическом обществе, согласно которой труд являлся делом чести, доблести и героизма. Уже в шестидесятые годы в представлениях массы рабочих и служащих ценность высокого заработка начала выходить на лидирующее место в системе ценностей труда, материальное и индивидуальное стало теснить и преобладать над духовным и общественным.

Четвертая и далеко не последняя точка необратимости (об остальных читатель узнает, если прочтет книгу) — *обнажение конфликта поколений*, социокультурных наследий и ценностей. О проблеме отцов и детей заговорили накануне 1961 года. В декабрьском номере «Юности» за 1960 г. Станислав Рассадин опубликовал статью, в заголовок которой вынес изобретенное им слово «Шестидесятники». Статья дала повод говорить о том, что автор-злоумышленник противопоставляет детям отцов. Сам автор будет отрицать

«крамолу». «Злополучная» статья посвящалась не более как книгам о молодом поколении страны, написанным молодыми авторами, где ореол «благородной нравственности строителей коммунизма» превращался в холодный нимб, а они (молодые герои прозы и драматургии) были готовы отвечать за свою судьбу, опираясь на воспитание правдой. Был ли искренен Рассадин, отрицая в полемике с партийными ортодоксами-критиками, что он не намеревался своим текстом противопоставлять отцов и детей? Ответом будет: «Да!». Вскоре после выхода статьи в свет В. Корнилов, поэт совсем из другого лагеря, чем официальные критики рассадинской статьи, принес стихотворение с посвящением Рассадину, кажется, так и неопубликованное (цензура тогда «такое» не пропускала)<sup>8</sup>. Дружество двух литераторов надолго расстроила «глупая ссора». То, что здесь «учуял» Корнилов и прямолинейно выразил, — это драма, общая не только для двух людей, но и для страны. Выходило, что противостояние, неизбежное при любом общественном переломе, обнажилось.

## ОТЦЫ И ДЕТИ

*С. Рассадину*

Говорят отцы: «Что делать, дети?  
Нас нелепо развела судьба:  
Мы стояли насмерть за идеи,  
Вы стоите — за самих себя.  
Мы, как сталь, а вы как будто окись,  
Будто вышли из другой руды.  
Мы росли и верили: жестокость —  
Это — проявленье доброты.

Потому и не пытались спорить,  
Принимали долю, не ропща...  
Знали: выжить и мечту построить  
В мире можно только сообща».  
И с усмешкой отвечают дети:  
«Хватит с нас идей и медных фраз.  
Мечется двадцатое столетье,  
Может, и живем в последний раз.

Вот и все. На том поставим точку.  
Сами стройте церковь на крови.  
Хватит скопа. Дайте в одиночку  
Наглотаться воли и любви.

И не ожидайте, не поможем!  
Разве — после дождичка в четверг...  
Мы не больно на отцов похожи,  
Мы похожи на двадцатый век».

*26 декабря 1960 г.*

<sup>8</sup> См.: Рассадин 2004: 25–26.



Рассадин сберег стихи, будучи убежденным в том, что они продолжают ему нравиться. Я включил их в книгу, твердо веря, что в скором времени молодая поэзия XXI века вернется к вечному спору отцов и детей. Люди, чье сознание прошло через эти точки необратимости, преодолевая влияние канонов коммунистической идеологии, могут считаться носителями разномыслия, характерного для эпохи, о которой идет речь в моей книге. По этой причине стихотворение Корнилова для книги — знаковое!

**Б.Д.:** *Можно ли найти в работах советских социологов, опубликованных до перестройки, следы, признаки разномыслия? Если нет, то о чем это говорит?*

**Б.Ф.:** Вопрос неточен. Разномыслия могло быть больше! Но власть сильно мешала разными способами. Об одном из таких способов ты написал мне в своем недавнем письме очень точно: «Я хочу сказать, что первые поколения советских социологов — это мощные личности и сильные самостоятельные ученые... отсутствие цитирования советских авторов в западной литературе — не их вина, но их беда. Это — не индикатор низкого качества исследовательской деятельности первых социологов, а следствие политики “железного занавеса”, который для социологии *не был поднят* даже в годы детанта и позже, вплоть до начала середины 90-х».

Мне остается принять от тебя эстафету и добавить следующее. В основе моего понимания истории послевоенной социологии лежит конфронтация естественного и подконтрольного (несвободного, разрешительного, регламентированного сверху) характера возникновения (порождения) и развития социальных наук. Господствовала неестественная форма управления социологией (по аналогии с другими сферами), знаменовавшая собою полную зависимость ученых и администраторов науки от институтов власти, прежде всего партийной и государственной. Вмешательство инстанций (режим) в деятельность профессионального сообщества было постоянным, оно — предпосылка «урезанного» существования науки и всех ее компонентов.

Свободой духа, так отличавшей диссидентское движение, не обладали ни советская социология, ни основная масса профессиональных социологов на старте возрождения своей науки. Во многом это объясняется тем, что и возрождавшаяся дисциплина, и ее горячие поборники находились в цепком плену государственной идеологии, представленной советским вариантом теоретического марксизма, который предлагал ограниченный взгляд на общество и его развитие. Выход за «красные флажки» учения и обращение к иным теоретическим представлениям и взглядам на общество были сопряжены с рядом опасностей, угрожавших самой возможности продолжения творческой научной деятельности. Но даже если отвлечься от усиленного политического и идеологического контроля, то не удастся сбросить со счетов действие еще двух важных факторов. Один из них — *вера* в справедливость марксизма как учения об обществе, привитая в результате длительного идеологического и образовательного воздействия. Другой — *относительно слабая осведомленность* о немарксистских взглядах на развитие общества, а в ряде случаев неграмотность в том, что касалось истинной сложности и разнообразия взглядов мировой социологической науки на свой предмет. В этом смысле

переход к плюрализму социологического объяснения мира и развития собственного общества происходил медленно и часто внутри сознания самого исследователя. Внешняя, публичная сторона процесса, связанная с преодолением власти марксистских догм, была весьма незаметной, протекая если не в сложных, то в опосредованных, непрямых формах. Например, пытаюсь очистить социологическое знание от идеологических наслоений, социологи сокращали ссылки на догмы, избегали подробных цитат.

Влияние марксистских догм я бы рискнул назвать *первопричиной* относительно медленного развития коллективной ментальности социологов в направлении оппозиционного противостояния истмату как единственно правильному научному мировоззрению. Данным тезисом я не пытаюсь уменьшить роль Маркса как ученого, оставившего след в сокровищнице, как любил говорить в советское время, мировой социально-философской мысли. Даже самые критически настроенные социологи не могли избежать влияния многих марксовых концепций, тем более что они были органической частью их философского образования и более широко — мировоззрения. Однако советская обществоведческая (социологическая) мысль оставалась длительное время в противоестественном состоянии: она оставалась *искусственно замороженной* с помощью марксистской методологии вплоть до середины 80-х гг. И потому советская социология как наука (прозрения отдельных ученых, осмысливших все до конца, здесь не играли ведущей роли) не решила своей главной задачи, связанной с типологической идентификацией советского общества — не предсказала неизбежность ожидавшей его трансформации.

Несвобода социологической мысли — первая и самая важная причина того, что история «поручила» диссидентство представителям других обществоведческих дисциплин, например философам, историкам, представителям иных свободных профессий. Как бы подкрепляя этот исходный тезис, исследователи пишут, что среди последних было больше беспартийных, чем среди первых социологических когорт. Либеральные идеи в большей мере циркулировали в среде беспартийных. В то же время «присмотр» за результатами социологических исследований не ослабевал. Малейшее проявление политической нелояльности вело, как правило, к отлучению ученого от собранных данных и их анализа. Опасение, что исследовательская деятельность может быть приостановлена в любой момент, делало социологов менее «опportunистичными» в сравнении с другими обществоведами.

**Б.Д.:** *Сказалось ли это на широте социологического воображения, на общей картине современного общества (мира), на сегодняшнем менталитете социологов?*

**Б.Ф.:** Да, сказалось. Несмотря на изменившиеся условия, наша наука сегодня с отставанием осмысляет опыт минувшего века, уступая не только художественной литературе, но и истории. В свою очередь, отечественные историки лишь с недавнего времени стали погружаться в глубины «советского», с опозданием приступив к формированию своего взгляда на наше недавнее прошлое. Этому есть объяснение, которое нелишне повторить:

многолетние идеологические табу надолго вытолкнули многие представления в тень исторического, социологического, более широко — обществоведческого сознания, повлияли на нашу способность к рефлексии быстро развивающегося социального знания... Не потому ли наше теперешнее обостренное восприятие прошлого (бесчеловечный режим), которое было вброшено в сознание народа в перестроечное время, оказалось не единственно возможным, далеко не абсолютным?

Именно такой вопрос поставили перед собой историки Саратовского университета и доказали его правомерность, выпустив в свет сборник работ американских историков, посвященных сталинизму<sup>9</sup>. Эту книгу я бы советовал прочесть всем социологам. В частности, там говорится, что большевистский надзор за настроениями населения не просто и не только российский феномен, а вспомогательная функция политики современной эпохи, одним из вариантов которой является тоталитаризм. Автор этой «индугенции» М. Фуко — один из беспощадных исследователей современной цивилизации. Он писал, что современные государства отличались от традиционных своим *стремлением* изменять сознание и мировоззрение подданных, «управлять людьми», а не просто «править» землями. «Исторически сложилось так, что процесс, приведший в XVIII веке к политическому господству класса буржуазии, прикрывался установлением ясной, кодифицированной и формально элитарной юридической структуры, которая стала возможной благодаря созданию режима парламентского, представительского типа. Но развитие и распространение дисциплинарных устройств стало обратной стороной, темной стороной этих процессов»<sup>10</sup>. В итоге нормализующая власть становится одной из основных функций современного общества. «Судьи нормальности окружают нас со всех сторон. Мы живем в обществе учителя-судьи, врача-судьи, воспитателя-судьи и социального работника-судьи; именно на них основывается повсеместное господство нормативного; каждый индивид, где бы он ни находился, подчиняет ему свое тело, жесты, поведение, поступки, способности и успехи»<sup>11</sup>.

**Б.Д.:** Тезис ясен. А где и в чем связь разномыслия с ментальностью, исследование которой ты начал во время работы в Институте Кеннана?

**Б.Ф.:** Мне здесь поможет Умберто Эко<sup>12</sup>. Его позиция, открывающая путь к изучению ментальности, состоит в том, что мы как не в состоянии существовать без питания, сна, так не способны осознать, кто мы такие, без взгляда и ответа Других. Буквально: можно ополоуметь, живя в социуме, где все и каждый, едва ли не каждый, систематически нас не замечают и ведут себя так, будто нас на свете нет. Самый трагический для истории слу-

---

<sup>9</sup> См.: Американская русистика 2001.

<sup>10</sup> См.: Фуко 1999: 325.

<sup>11</sup> Там же: 448–449.

<sup>12</sup> См.: Эко 2000: 8–9.

чай, когда круг Других (с которыми особь себя соотносит) сужен до пределов группы, клана, племени, партии, этноса, а остальные являются в мягком варианте «не нашими», а в брутальном, агрессивном варианте — «варварами» и не воспринимаются как человеческие существа.

Ну, а теперь одна ссылка на мое недавнее исследование ментальности. Оно позволило установить, что многие россияне до сих пор знают «чужое» лишь понаслышке. Их ментальная конструкция это, прежде всего, «мы — они». Все остальные люди для них «не свои», то есть «чужие» и неправильные, равно как и их мысли. На каком-то этапе это вполне естественно. Проблема в том, что значительная часть нынешних жителей Российской Федерации (социологи здесь не составляют исключения) за пределы этого этапа не вышла. Один из экспертов моего проекта заявил: «Россияне ищут несхожесте или сходство всегда. Сходство выступает в роли оценочной категории “Молодец, это — по-нашему!”». Тот же эксперт не раз слышал от своих российских оппонентов: «Вы мыслите не по-нашему», «Такая логика — не наша». Это маркирование служит в российской научной этике заменой аргументов.

**Б.Д.:** *Значит, ты хочешь сказать: «Да, мы — другие, но нам надо знать, что думают о нас представители дальнего, а теперь и ближнего зарубежья, их суждения, мнения, оценки часто демонстрируют полезное для нас разномыслие»?*

**Б.Ф.:** Именно это! Рефлексией, анализом всего, что имело место в жизни советской страны, за рубежом всегда занимались очень серьезные люди — политические деятели, журналисты, представители социальных и гуманитарных наук. Конечно, писали они с разных позиций, с разной степенью объективности/тенденциозности, реакционности/прогрессивности. Понять плюрализм и принципиальную несводимость их точек зрения сравнительно нетрудно, если принять во внимание разнохарактерные вызовы, которые постоянно бросала миру советская страна. Однако слушать мир и слышать все, что он говорит и думает о стране победившего социализма, в СССР было не принято. Тем более не считалось правилом реагировать на мировое общественное мнение. Отгородившись по воле своих вождей от остальной части планеты «железным занавесом», страна жила в состоянии изоляции, и потому едва ли не все произносимое «извне» по поводу нашего неодолимого движения к коммунизму «изнутри» чаще всего расценивалось не иначе как очередное (дежурное) проявление антисоветизма. Не могу сказать, что эти оценки, как правило, предлагавшиеся «сверху», наталкивались на серьезное сопротивление «снизу». Хотя, к чести мирового сообщества, подчеркну это особо, по прошествии многих лет оно не один десяток лет прозорливо поднимало вопросы огромной важности, затрагивавшие коренные особенности развития советской социальной системы и требовавшие рефлексии на всех ее уровнях. Если очистить проблему от набивших оскомину идеологических споров, то придется признать, что зарубежная социальная (политическая) мысль обладала одним решающим преимуществом в дискуссии с марксизмом, возведенным в ранг государственной общественной теории. Она была свободной!

Кстати, в этом качестве она во многом сформировала если не теорию, то понятийный язык описания и анализа советской системы, неуклонно двигавшейся к своему историческому финалу. Критика и преодоления *культы личности* не равноценны искоренению *сталинизма* и уничтожению почвы, на которой он произрастает. Сознаемся в том, что о сталинизме первым заговорил Запад, призывая нас называть вещи своими именами. Одна из самых значительных и трагических по своему содержанию книг «Архипелаг ГУЛАГ» была написана в начале 1970-х годов. Однако эта главная солженицынская тема начала звучать уже в довоенные годы в зарубежных изданиях воспоминаний людей, которым чудом удалось бежать из советского лагерного плена, а также в работах деятелей первой волны русской эмиграции, представлявших в прошлом оппозиционные по отношению к большевикам партии.

Оттуда же в 1960-е пришло слово «диссидент» как обозначение движения против тоталитарного режима в социалистических странах. В очередное издание «Политического словаря» у нас это слово впервые вошло в 1978 г. Империалистическая пропаганда, говорилось там, обозначает этим термином «отдельных “отщепенцев”», которые становятся на путь антисоветской деятельности, нарушают законы и, не имея опоры внутри страны, обращаются за поддержкой за границу, к империалистическим подрывным (разведывательным и пропагандистским) центрам. Чтобы убедить читателей в своей правоте, автор упомянутого словаря решил прибегнуть к авторитету Л. Брежнева, который, в свою очередь, решил сослаться на высший авторитет — «наш народ», требующий, «чтобы с такими, с позволения сказать, деятелями обращались как с противниками социализма... пособниками, а то и агентами империализма. Естественно, что мы принимаем и будем принимать в отношении их меры, предусмотренные законом». В своем ключе высказался и Ю. Андропов, один из создателей карательной психиатрии — принудительного лечения разно- и инакомыслия. Для него диссидентами были люди, побуждаемые политическими, идейными заблуждениями, религиозным фанатизмом, национальными вывихами, личными обидами и неурядицами... наконец, в ряде случаев, психической неустойчивостью<sup>13</sup>.

**Б.Д.:** *Возвращаемся на круги своя. Ты сказал: «Совершив переход с социального уровня на уровень действий и поступков отдельного человека, я обрел поддержку в высказываниях и воспоминаниях моих ровесников, чьи жизненные впечатления я уверенно разделяю и считаю их верными. По твоему мнению, насколько заметны в численном отношении были эти группы?»*

**Б.Ф.:** Я уже говорил о двух категориях «шестидесятников»: одни принимали правила системы и умели использовать их для своих целей, другие находились вне системы. Себя я не отношу ни к той ни к другой категории. Я постоянно пытался синтезировать правила системы, по которым играл как

---

<sup>13</sup> См.: Геллер, Некрич 1995, кн. 2: 243–244.

номенклатурщик, но стремился сохранить себя как ученого. Система упорно стремилась многоцветие жизни свести исключительно к черным и белым тонам, внутри нее постепенно выкристаллизовывались «нужные люди», занимавшиеся «тем, что положено и как положено». При этом вне системы оставались их антиподы: «не те люди», занимавшиеся «не тем, чем положено, и не так, как положено». Число их антиподов непрерывно росло, приближаясь к критическому значению. Когда все мы оказались в числе антиподов, система рухнула. Наверное, в тот момент нас оказалось очень много, едва ли не большинство, а «правильных» людей меньшинство. И сегодня власть снова движется по тому же пути, аккуратно составляя списки «наших и не наших». Впору садиться за стол и писать историю разномыслия в постсоветской России.

**Б.Д.:** *Прежде чем ты углубишься в эту новую работу, пожалуйста, ответь на три моих последних вопроса. Первый вопрос: я понимаю, что обсуждаемая книга — итог некоего интегрального подхода к освоению нашего прошлого, что в ней нашли применение методы анализа социума, встречающиеся в разных науках, и все же мне хотелось бы «оприходовать» твою работу по нашему социологическому департаменту. Уместно ли говорить о том, что это книга по социологии массового сознания советского общества?*

**Б.Ф.:** Классификаторы, которыми мы пользуемся, как ты говоришь, для «оприходования» социологических работ, далеки от совершенства. В моем случае речь идет о советском этапе *генезиса* российской личности. Каковы будут окончательные результаты этого генезиса, сказать трудно, но все-таки разномыслие изменило советского человека, помогло разрушить броню принудительного единодушия, в которую страна была закована репрессивным сталинским режимом. И хотя в сути своей современный человек остался уязвимым, ничуть не прибавив эмоционально, душевно, интеллектуально, все же след от высвобождения энергии разномыслия остался в форме обертоннов нового мирочувствия — «длящегося отторжения от какой бы то ни было единой доктрины, общей идеологии, от маршировки строем»<sup>14</sup>.

**Б.Д.:** *Жаль, но мы исчерпали лимит отведенного нам пространства в «Социологическом журнале» и настало время для заключительных фраз. Что бы ты хотел сказать в конце нашей беседы?*

**Б.Ф.:** Альтернатива диссидент — конформист, о которой мы продолжаем чаще всего говорить, обращаясь к советскому прошлому, не исчерпывает ни социальных позиций, ни психологического склада людей. Одно состояние умонастроений я бы рискнул вписать между этими вечными антагонистами. Это случай, когда ты еще не можешь бросить вызов социальному порядку, идеологии, «верхам», но уже не хочешь пассивно следовать велениям власти, бездумно принимать существующий *status quo* и слепо

---

<sup>14</sup> См.: Вайль 2007: 11–12.

верить в справедливость господствующих в стране социальных взглядов и учений. «Неправдой искривлен мой рот», — написал когда-то Мандельштам. Лжецами мы не рождались, но становились ими под влиянием господствующих правил советской жизни. Впрочем, святости в отношениях с истиной и правдой не хватало не только государству, но и гражданам. Потому все мы не только свидетели-праведники, невинные жертвы обмана, но также прямые или косвенные участники свершений, заблуждений и преступлений своего времени.

Оценку моему разномыслию, если оно было, пусть выскажут читатели моей книги и журнала. Как человек советский, я искал и находил свою меру и форму притяния правил советской жизни, а также свою меру и форму отчуждения от них. Какими бы они ни были, я никогда от них не откажусь.

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОДЕКС СОЦИОЛОГА<sup>1</sup>

## **I. Общее положение**

Как гражданин советского общества, которому предоставлены возможности и условия для проведения социологических исследований, социолог в своей повседневной деятельности руководствуется, прежде всего, общегосударственными интересами. Как представитель марксистско-ленинской социологии, социолог придерживается принципа партийности науки, занимая четкую классовую позицию при анализе социальной действительности.

Социолог не имеет морального права слагать с себя ответственность за экономические, социальные, политические и нравственно-психологические последствия применения (внедрения в практику) полученных им результатов. Эта ответственность не заканчивается и тогда, когда полученные результаты предъявлены, одобрены или приняты к реализации государственными, общественными органами, учреждениями и организациями-заказчиками исследований.

## **II. Исследовательская деятельность**

1. Социолог проявляет профессиональную компетентность, научную честность и корректность на всех этапах социологического исследования.

2. Руководствуясь идеалом достижения истины, социолог уделяет особое внимание стремлению к максимальной достоверности и надежности социологической информации и выводов, которые делаются на основе анализа этой информации.

3. Как представитель наук об обществе, социолог не допускает того, чтобы при анализе социальных проблем и процессов его личные интересы и другие посторонние влияния препятствовали установлению научной истины.

4. Социолог несет личную ответственность за результаты, полученные им на базе программ и методик других исследователей, а также за использование чужих идей и результатов в собственном научном труде.

5. Плагиат и присвоение в любых формах чужих идей недопустимы и несовместимы с профессией социолога.

---

<sup>1</sup> Профессиональный кодекс социолога был написан М. Лазаром, Б. Фирсовым и В. Ядовым в 1987 г. и опубликован в журнале «Социологические исследования» (см.: Лазар и др. 1988: 95–104).



6. Социолог считает своим долгом опираться не только на идеи и результаты прямых предшественников в своей науке, но и на знания, полученные в определенных сферах научных исследований.

7. Социолог обязан строить свою исследовательскую деятельность так, чтобы она не выходила за рамки ограничений, связанных с объемом имеющихся ресурсов, познавательными возможностями методов и техники исследования.

8. В отношениях с заказчиками социолог обеспечивает профессиональное решение проблем, строго соблюдает условия, предусмотренные договорными отношениями или обязательствами, принятыми на себя в любой иной форме.

9. Социолог вправе опираться на поддержку и помощь Советской социологической ассоциации, ее органов и отделений на местах в создании условий для своей исследовательской деятельности, защите своего профессионального достоинства и чести.

### **III. Научные дискуссии и полемика**

1. Социолог отстаивает свои взгляды, идеи и концепции, невзирая на конъюнктуру и авторитеты. Защита своей точки зрения, проявление научной честности и принципиальности требуют от него нравственной твердости и гражданского мужества, способности вступать в спор с общепринятыми взглядами на то или иное явление общественной жизни, с авторитетами в науке. Предпосылками занятия такой позиции являются прочность личного мировоззрения, наличие четкой политической и нравственной позиции.

2. Отношение социолога к другим идеям и людям — авторам или сторонникам этих идей — отличается терпимостью и уважением. Научная критика и полемика как естественные для науки формы ее развития несовместимы с навешиванием идеологических ярлыков и тем более с любыми попытками сведения счетов, расправы с оппонентами.

3. Повседневную деятельность социолога, его контакты и связи с коллегами характеризуют взаимная поддержка в борьбе за истину, высокая культура чувств, тактичность, общительность и умение вести себя, не роняя достоинства ученого-обществоведа.

### **IV. Научные публикации**

1. Несмотря на объективную потребность как можно скорее предавать гласности полученные новые знания, социолог воздержится от поспешных публикаций, когда их выводы и рекомендации недостаточно проверены и обоснованы.

2. Социологические публикации, особенно если они опираются на эмпирическую базу, помимо соответствия общенаучным требованиям должны содержать информацию, позволяющую профессионально оценить корректность постановки исследовательских задач и достигнутой степень достоверности полученных данных.

Социолог проявит заботу о том, чтобы материалы печати, радио и телевидения, прямо или косвенно использующие результаты проведенного им исследования, также удовлетворяли бы этим требованиям.

3. Уважение труда своих коллег и предшественников, обязательность упоминания доли их участия и связи с публикуемым научным трудом (отчетом об исследовании), благодарность за любую помощь, не дающую право на соавторство, являются непреложными нормами научного общения социолога.

#### **V. Респонденты и обследуемые**

1. Во взаимоотношениях с респондентами социолог будет строго соблюдать гарантии конфиденциальности, неразглашения сообщенных респондентами сведений. Исключение составляют случаи, когда это не предусматривается программой сбора данных, о чем респонденты (обследуемые) должны быть заблаговременно поставлены в известность.

2. Закон социологической деятельности — не допускать использования методов, техники, процедур, ущемляющих достоинство личности респондентов (обследуемых), их интересы.

#### **VI. Ответственность за нарушение Профессионального кодекса социолога**

1. Вступление в ССА является одновременно актом принятия на себя ответственности и обязательств, вытекающих из положений и требований Профессионального кодекса социолога.

Социолог обязуется охранять честь своего профессионального сообщества, он не станет использовать членство в ССА таким образом, чтобы это могло нанести ущерб общественной репутации ССА.

2. Член ССА, нарушивший Профессиональный кодекс, а тем более умышленно уклоняющийся от соблюдения его положений и требований, подлежит моральному порицанию и критике со стороны своих коллег и в особых случаях может быть предупрежден об исключении и исключен из членов ССА.

3. Случаи грубого нарушения Профессионального кодекса социолога предаются гласности на общих собраниях (конференциях) членов ССА и в соответствующих изданиях ССА.

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ССА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОДЕКСА СОЦИОЛОГА И УЧРЕЖДЕНИИ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ ПРИ ПРАВЛЕНИИ ССА**

Учитывая высокую профессиональную и нравственную ответственность социолога перед обществом и особенно в условиях революционной перестройки экономического механизма, развития социалистической демократии и гласности, усиливающейся потребности в объективной информации о социальных процессах и позициях граждан, социальных групп и слоев по акту-

альным проблемам общественной жизни, правление утверждает Профессиональный кодекс социолога с внесенными в него поправками и дополнениями и создает Совет по профессиональной этике при правлении ССА.

Руководствуясь Профессиональным кодексом социолога, Совет по профессиональной этике осуществляет следующие функции:

а) обсуждает и выносит на решение президиума ССА предложения по профессионально-этическим проблемам социологии и социологических исследований, не предусмотренным в Профессиональном кодексе;

б) стимулирует теоретическую разработку и обсуждение морально-этических проблем социологии и социологических исследований на собраниях и научных конференциях ССА, в ее изданиях в широкой печати;

в) рассматривает обращения членов ССА, адресованные президиуму и касающиеся ущемления личного и профессионального достоинства членов ССА со стороны должностных лиц в связи с выполнением социологом его профессионального долга;

г) обсуждает и выносит решения по апелляциям членов ССА в случае их несогласия с санкциями, наложенными бюро региональных отделений ССА за несоблюдение Профессионального кодекса.

Совет по профессиональной этике при президиуме ССА избирается правлением ССА на срок его полномочий в составе 15 человек. Совет отчитывается о своей текущей работе перед президиумом ССА и по итогам срока полномочий — перед правлением ССА.

Совет по профессиональной этике при президиуме ССА избирает председателя, заместителя председателя, определяет формы своей работы в зависимости от целей и содержания деятельности (рабочие комиссии, широкое обсуждение, вынесение вопроса на заседание президиума и т. д.).

## СОСТАВ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ ПРИ ПРАВЛЕНИИ ССА

*Андреева Г.М.*, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова; *Гордон Л.А.*, Москва, Институт международного рабочего движения АН СССР; *Герчиков В.И.*, Новосибирск, Институт экономики и организации промышленного производства СО АН СССР; *Здравомыслов А.Г.*, Москва, Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; *Кодуа Э.И.*, Тбилиси, Тбилисский государственный университет; *Кон И.С.*, Москва, Институт этнографии АН СССР; *Лапин Н.И.*, Москва, Институт философии АН СССР; *Левада Ю.А.*, Москва, Всесоюзный центр по изучению общественного мнения по социально-экономическим вопросам при ВЦСПС; *Наумова Н.Ф.*, Москва, Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований АН СССР, ГКНТ; *Павельсон М.Э.*, Таллин, Таллинский политехнический институт; *Попова И.М.*, Одесса, Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова; *Хмелько В.Е.*, Киев, Институт истории партии при ЦК КПУ; *Фирсов Б.М.*, Ленинград, Институт этнографии АН СССР; *Шубкин В.Н.*, Москва, Институт международного рабочего движения АН СССР; *Ядов В.А.*, Москва, Институт социологии АН СССР.

# Литература

- (Аитов 1983) Аитов Н.А. Работники хорошие и плохие. М.: Советская Россия, 1983.
- (Александров 1946) Александров Г.Ф. О современных буржуазных теориях прогресса // Большевик. 1946. № 12. С. 11–39.
- (Алексеев 1997) Алексеев А.Н. Драматическая социология (Эксперимент социолога-рабочего). М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, СПб. фил., 1997. Кн. 1–2.
- (Алексеев 2003) Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия: В 4 т. СПб.: Норма, 2003. Т. 1–2.
- (Алексеев 2005) Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия: В 4 т. СПб.: Норма, 2005. Т. 3–4.
- (Алексеев и др. 1979) Алексеев Б.К., Докторов Б.З., Фирсов Б.М. Изучение общественного мнения: опыт и проблемы // Социол. исслед. 1979. № 4. С. 23–32.
- (Алексеев и др. 1981) Алексеев Б.К., Докторов Б.З., Фирсов Б.М. Изучение общественного мнения: вопросы организации исследований // Социол. исслед. 1981. № 1. С. 78–85.
- (Амальрик 1969) Амальрик А. Просуществовал ли Советский Союз до 1984 года? Amsterdam, 1969.
- (Американская русистика 2001) Американская русистика. Вехи историографии последних лет. Советский период. Самара: Самарский университет, 2001.
- (Андреев 1995) Андреев Г. Феномен русской интеллигенции // Грани. 1995. № 154. С. 212.
- (Араб-Оглы 1958) Араб-Оглы Э.А. Социология и кибернетика. Применение кибернетики в общественных науках // Вопросы философии. 1958. № 5. С. 138–151.
- (Ахиезер 1997) Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Т. 1. От прошлого к будущему. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997.
- (Баскин 1947) Баскин М.П. Американские социологические журналы // Большевик. 1947. № 1. С. 56–64.
- (Баскин 1949) Баскин М.П. Англо-американская социология на службе империализма. М., 1949.

- (Батыгин 1991) Батыгин Г.С. Советская социология на закате сталинской эры (несколько эпизодов) // Вестник АН СССР. 1991. № 10. [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://www.vestnik.isras.ru/index.php?page\\_id=1535](http://www.vestnik.isras.ru/index.php?page_id=1535)
- (Батыгин 1998) Батыгин Г.С. Гл. 1: Преемственность российской социологической традиции // Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998. С. 23–44.
- (Батыгин 1999) Батыгин Г.С. Предисловие // Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах. СПб., 1999. С. 3–16.
- (Батыгин 2005) Батыгин Г.С. «Социальные ученые» в условиях кризисных структурных изменений в дисциплинарной организации и тематическом репертуаре социальных наук // Социальные науки в постсоветской России / Под ред. Г.С. Батыгина, Л.А. Козловой, Э.М. Свицерки. М.: Академический проект, 2005.
- (Беляева 2004) Беляева Л.А. Эмпирическая социология в России и в Восточной Европе: Учебное пособие. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004.
- (Берви-Флеровский 1869) Берви-Флеровский В.В. Положение рабочего класса в России: наблюдения и исследования. СПб., 1869.
- (Беседа с В.Ж. Келле 2001) Беседа с В.Ж. Келле // Вопросы философии. 2001. № 6. С. 83–92.
- (Бестужев-Лада 1995) Бестужев-Лада И.В. «Почему я не написал историю института социологии» // Социол. журн. 1995. № 4. С. 183–189.
- (Бикбов, Гавриленко 2002) Бикбов А., Гавриленко С. Российская социология: автономия под вопросом // Логос. 2002. № 5–6(35). С. 1–25.
- (Бутенко 2008) Бутенко И.А. К истории создания первой социологической ассоциации // Социол. исслед. 2008. № 6. С. 52–58.
- (Бухарин 1922) Бухарин Н.И. Теория исторического материализма: популярный учебник марксистской социологии. М., 1922.
- (Быт великорусских крестьян-землепашцев 1994) Быт великорусских крестьян-землепашцев (по материалам Этнографического бюро кн. В.Н. Тенишева) / Сост. и авт. вступит. статьи, описания материалов Владимирской губернии и науч.-справ. аппарата Б.М. Фирсов и И.Г. Киселева. СПб.: Европейский Дом, 1994.
- (Бьорлинг 1999) Бьорлинг Ф. Whether 'tis nobler in the mind... Пастернак и нравственная дилемма послереволюционной интеллигенции // Россия/Russia. Новая серия / Под ред. Н.Г. Охотина. М.: О.Г.И., 1999. Вып. 2(10): Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: история и типология. С. 95–103.
- (Вайль 2007) Вайль П. Карта родины. М.: КоЛибри, 2007.
- (Вайль, Генис 1996) Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М.: НЛО, 1996.
- (Вайль, Генис 1998) Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. 2-е изд., исправ. М.: НЛО, 1998.
- (Вернадский 1998) Вернадский В.И. Дневник 1939 года // Дружба народов. 1998. № 11–12. С. 5–44.
- (Вехи 1990) Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1990.

- (Волков 1997) Волков В. Советская цивилизация как повседневная практика: возможности и пределы трансформации // Куда идет Россия?.. Общее и особенное в современном развитии. М., 1997. С. 323–333.
- (Воспоминания и дискуссии 2010) Воспоминания и дискуссии о Юрии Александровиче Леваде / Сост. Т.В. Левада. М.: Издатель Карпов Е.В., 2010.
- (Гаспаров 1999) Гаспаров М.Л. Русская интеллигенция как отводок европейской культуры // Россия/Russia. Новая серия / Под ред. Н.Г. Охотина. М.: О.Г.И., 1999. Вып. 2(10): Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: история и типология. С. 20–27.
- (Геллер, Некрич 1995) Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней: В 3 кн. М.: МИК, 1995. Кн. 2.
- (Генисаретский 1994) Генисаретский О.И. Ценностные изменения и трансформации антропологической системы либерализма // Куда идет Россия?.. Альтернативы общественного развития. М., 1994. С. 438–447.
- (Гефтер 1995) Гефтер М. Мир миров: российский зачин / Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. М., 1995. Т. 3.
- (Голод 1984) Голод С. Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты. Л.: Наука, 1984.
- (Голосенко 1992) Голосенко И.А. Социология Питирима Сорокина (русский период деятельности). Самара: Социологический центр «Социо», 1992.
- (Голосенко 1997) Интервью с И.А. Голосенко: «Я беру только Россию, мне ее с избытком хватает...», 2 апреля 1997 г. Записала М. Пугачева // Личный архив М.Г. Пугачевой.
- (Голосенко 2002) Голосенко И.А. Социологическая ретроспектива дореволюционной России. Избранные произведения в 2 книгах. СПб.: Социол. общ-во им. М.М. Ковалевского, 2002.
- (Голосенко, Козловский 1995) Голосенко И.А., Козловский В.В. История русской социологии XIX–XX вв. М.: Онега, 1995.
- (Гордон, Клопов 1972) Гордон Л.А., Клопов Э.В. Человек после работы. Социальные проблемы быта и внерабочего времени. М.: Наука, 1972.
- (Гоулднер 2003) Гоулднер А. Наступающий кризис западной социологии. СПб.: Наука, 2003. Гл. 12: О кризисе марксизма и возникновении академической социологии в Советском Союзе. С. 504–536.
- (Гофман 1995) Гофман А. Семь лекций по социологии. М.: Наука, 1995.
- (Грушин 1967) Грушин Б.А. Мнения о мире и мир мнений. М., 1967.
- (Грушин 2000) Грушин Б.А. На пути к самосознанию. Злоключения социологии времен постперестройки // Независимая газета. 2000. 28 сент.
- (Грушин 2001) Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина: В 4 кн. Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева. М.: Прогресс-Традиция, 2001.
- (Грушин 2003) Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина: В 4 кн. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (ч. 1). М.: Прогресс-Традиция, 2003.
- (Грушин 2006) Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева,

- Брежнева, Горбачева и Ельцина: В 4 кн. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (ч. 2). М.: Прогресс-Традиция, 2006.
- (Гудков 1999) Гудков Л. Образованное сообщество в России: социологические подступы к теме // Неприкосновенный запас. М.: НЛО, 1999. № 1(3). С. 23–31.
- (Гудков 2006) Гудков Л. О ценностных основаниях и внутренних ориентирах общественных наук // Пути России: проблемы социального познания / Под общ. ред. Д.М. Рогозина. М.: МВШСЭН, 2006. С. 26–38.
- (Гудков 2008) Гудков Л. Наша нынешняя социология – это компьютер на телеге. Интервью «Полит.ру». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.polit.ru/Analytics/2008/11/12>
- (Давыдов 1994) Давыдов Ю.Н. Уточнение понятия «интеллигенция» // Куда идет Россия?.. Альтернативы общественного развития. М.: Интерпракс, 1994. С. 244.
- (Джилас 1957) Джилас М. Новый класс. Анализ коммунистической системы. Нью-Йорк, 1957.
- (Джимбинов 1992) Джимбинов С. Коэффициент искажения // Новый мир. 1992. № 9. С. 209.
- (Джрнзаян 1988) Джрнзаян Л. Культ и раболепие // Социол. исслед. 1988. № 5. С. 64–71.
- (Дилигенский 1997) Дилигенский Г.Г. Российские архетипы и современность // Куда идет Россия?.. Общее и особенное в современном развитии. М., 1997. С. 273–280.
- (Докторов 2004) Докторов Б. Б.А. Грушин. Четыре десятилетия изучения российского общественного мнения // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2004. № 4. С. 2–13.
- (Докторов, Фирсов 2008) Докторов Б.З., Фирсов Б.М. Правилom является разномыслие. Б. Фирсов рассказывает Б. Докторову о своей новой книге // Социол. журн. 2008. № 3. С. 153–167.
- (Докторов, Ядов 2008) Докторов Б., Ядов В. Разговоры через океан: о поколениях отечественных социологов на протяжении полувека // Социальн. реальность. 2008. № 4. С. 47–81.
- (Егоров 2004) Егоров Б.Ф. Воспоминания. СПб.: Нестор-История: СПбИИ РАН, 2004.
- (Живов 1999) Живов В. Об оглядывании назад и частично по поводу сборника «Семидесятые как предмет истории русской культуры» // Неприкосновенный запас. М.: НЛО, 1999. № 2(4). С. 48–55.
- (Записка заведующего сектором 2008) Записка заведующего сектором социальных проблем массовой коммуникации Б.М. Фирсова о деятельности Сектора по изучению общественного мнения в структуре Ленинградской областной партийной организации (1970–1976 гг.) // Осипов Г.В., Москвичёв Л.Н. Социология и власть (как это было на самом деле). М.: ЗАО «Изд-во “Экономика”», 2008. С. 307–323. (РГАНИ. Ф. 5, оп. 69, д. 539, л. 3–27. Копия).
- (Заславская 1997) Заславская Т.И. Российское общество на социальном изломе: взгляд изнутри. М., 1997.

- (Заславская 2007a) Заславская Т.И. Избранное: В 3 т. Т. 3. Моя жизнь: воспоминания и размышления. М.: ЗАО «Изд-во “Экономика”», 2007.
- (Заславская 2007b) Заславская Т.И. «Я с самого раннего детства знала, что наука — это самое интересное и достойное занятие» // Социол. журн. 2007. № 3. С. 166.
- (Здравомыслов 1964) Здравомыслов А.Г. Проблема интереса социологической теории. Л.: Изд-во ЛГУ, 1964.
- (Здравомыслов 1969) Здравомыслов А.Г. Теоретические и методологические проблемы исследования социальных интересов: Автореф. дис. ... доктора философ. наук. М., 1969.
- (Здравомыслов 1999a) Здравомыслов А.Г. От социального действия к системе современных обществ [Памяти Талкотта Парсонса (1902–1979)] // А.Г. Здравомыслов. Социология российского кризиса: Статьи и доклады 90-х годов. М.: Наука, 1999. С. 253–300.
- (Здравомыслов 1999b) Здравомыслов А.Г. Социология российского кризиса: Статьи и доклады 90-х годов. М.: Наука, 1999.
- (Здравомыслов 2000) Здравомыслов А.Г. О судьбах социологии в России // Социол. исслед. 2000. № 3. С. 136–145.
- (Здравомыслов 2008a) Здравомыслов А.Г. Социология в современной России // Здравомыслов А.Г. Социология: теория, история, практика. М.: Наука, 2008. С. 106–211.
- (Здравомыслов 2008b) Здравомыслов А.Г. Социология: история, теория, практика. М.: Наука, 2008.
- (Интеллектуальная элита 1993) Интеллектуальная элита Санкт-Петербурга / Под ред. С.А. Кугеля. СПб.: Изд-во СПб. ун-та экономики и финансов, 1993. Ч. 1.
- (Интеллектуальная элита 1994) Интеллектуальная элита Санкт-Петербурга / Под ред. С.А. Кугеля. СПб.: Изд-во СПб. ун-та экономики и финансов, 1994. Ч. 2, кн. 1.
- (Интервью 1992) Интервью с В.А. Ядовым «Гуманитарное направление в социологии работает на спасение мира» // СОЦИС. 1992. № 4. С. 33–36.
- (Интервью 1999) Интервью с доктором философских наук Б.М. Фирсовым // Журн. социологии и социальн. антропологии. 1999. Т. 2, № 4(8). С. 3–22.
- (Интервью 2008) Интервью В.Ж. Келле Б.М. Фирсову // Фирсов Б.М. Разномыслие в СССР. 1940–1960-е годы: История, теория и практики. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в С.-Петербурге: Европейский Дом, 2008.
- (Ионин 1987) Ионин Л. Консервативный синдром // СОЦИС. 1987. № 5. С. 19–30.
- (История буржуазной социологии 1979) История буржуазной социологии конца XIX–начала XX веков. М.: Наука, 1979.
- (История советской социологии 2001) История советской социологии 1950–1980-х гг.: Курс лекций. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в С.-Петербурге, 2001.
- (История становления 1989) История становления советской социологической науки в 20–30-е гг. / Под ред. З.Т. Голенковой. М.: Изд-во Ин-та социологии АН СССР, 1989.



- (Кантор 1997) Кантор В.К. О национальном мифе непонимания // Вопросы философии. 1997. № 2. С. 34–39.
- (Качество населения 1993) Качество населения Санкт-Петербурга / Отв. ред. Б.М. Фирсов. СПб.: СПб. фил. Ин-та социологии РАН. 1993. Ч. 1.
- (Качество населения 1996) Качество населения Санкт-Петербурга / Отв. ред. Б.М. Фирсов. СПб.: Европейский Дом, 1996. Ч. 2.
- (Келле 2008) Келле В.Ж. «Я мыслю, и, значит, я существую» (интервью) // Б.М.Фирсов. Разномыслие в СССР. 1940–1960-е годы: История, теория и практики. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в С.-Петербурге: Европейский Дом, 2008. С. 305–313.
- (Кириллов 1995) Кириллов С. О судьбах «образованного сословия» в России // Новый мир. 1995. № 8.
- (Колбановский 1958) Колбановский В.В. О предмете марксистской социологии // Вопросы философии. 1958. № 8.
- (Количественные методы в социологии 1966) Количественные методы в социологии / Под ред. А.Г. Аганбегяна и др. М., 1966.
- (Кон 1964) Кон И.С. Позитивизм в социологии: Исторический очерк. Л.: Изд-во ЛГУ, 1964.
- (Кон 1967) Кон И.С. Социология личности. М., 1967.
- (Кон 1999) Кон И.С. Социологическая психология. М.: Московский психолого-социальный институт, 1999.
- (Кон 2008) Кон И.С. 80 лет одиночества. М.: Время, 2008.
- (Кордонский 1995) Кордонский С.Г. Интеллигент на randevу // Век XX и мир. М., 1995. С. 87.
- (Корнев 1998) Корнев С. Выживание интеллектуала в эпоху массовой культуры // Неприкосновенный запас. М.: НЛЮ, 1998. № 1. С. 18–21.
- (Кравченко 1999) Кравченко С.А. Оценки процесса реформирования российского общества в свете интегральной парадигмы П.А. Сорокина // Питирим Сорокин и социально-культурные тенденции нашего времени: Материалы к Междунар. симп., посвящ. 110-летию со дня рожд. П.А. Сорокина. Москва; С.-Петербург, 4–6 февраля 1999 г. М.; СПб.: Изд-во СПб. гуманитар. ун-та профсоюзов, 1999. С. 325.
- (Кугель 2005) Кугель С.А. Записки социолога. СПб.: Нестор-История, 2005.
- (Кудрявцев, Трусов 2000) Кудрявцев В., Трусов А. Политическая юстиция в СССР. М.: Наука, 2000.
- (Кузьменко 1999) Кузьменко В.П. Социальные циклы развития общества Питирима Сорокина, их роль в создании нового порядка цивилизаций на рубеже тысячелетий // Питирим Сорокин и социально-культурные тенденции нашего времени: Материалы к Междунар. симп., посвящ. 110-летию со дня рожд. П.А. Сорокина. Москва; С.-Петербург, 4–6 февраля 1999 г. М.; СПб.: Изд-во СПб. гуманитар. ун-та профсоюзов, 1999. С. 300–310.
- (Кучинский 1957) Кучинский Ю. Социологические законы // Вопросы философии. 1957. № 5. С. 95–100.
- (Лазар и др. 1988) Лазар М., Фирсов Б., Ядов В. Профессиональная мораль в социологии // Социол. исслед. 1988. № 5. С. 95–104.

- (*Левада 1992*) Левада Ю. Уходящая натура?.. «Человек советский»: предварительные итоги // Знамя. 1992. № 6. С. 201–211.
- (*Левада 1993*) Левада Ю.А. Статьи по социологии. М., 1993.
- (*Левада 1994*) Левада Ю.А. Проблема интеллигенции в современной России // Куда идет Россия?.. Альтернативы общественного развития. М.: Интерпракс, 1994. С. 208–214.
- (*Левада 2001*) Левада Ю. «Человек советский»: проблема реконструкции исходных форм // Мониторинг общественного мнения. 2001. № 2(52), март–апрель. С. 7–16.
- (*Левада 2006а*) Левада Ю. Ищем человека. Социологические очерки 2000–2005. М.: Новое издательство, 2006.
- (*Левада 2006б*) Левада Ю.А. «Человек советский» — реконструкция архетипа // Левада Ю.А. Ищем человека. Социологические очерки, 2001–2005. М.: Новое издательство, 2006. С. 265–270.
- (*Левада 2008*) Левада Ю.А. «Я считал, что было бы неестественно вести себя как-то иначе» // Социол. журн. 2008. № 1. С. 155–174.
- (*Левада и др. 1991*) Левада Ю., Ноткина Т., Шейнис В. Секрет нестабильности самой стабильной системы // Погружение в трясину (Анатомия застоя). М.: Прогресс, 1991. С. 15–30.
- (*Левыкин 1984*) Левыкин И. К вопросу об интегральных показателях социалистического образа жизни // СОЦИС. 1984. № 2. С. 90–97.
- (*Ленинградская социологическая школа 1998*) Ленинградская социологическая школа (1960-е–1980-е годы): Материалы междунар. конф., Санкт-Петербург, 23–25 сентября 1994 г. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998.
- (*Лотман 1999*) Лотман М.Ю. Интеллигенция и свобода (к анализу интеллигентского дискурса // Россия/Russia. Новая серия / Под ред. Н.Г. Охотина. 1999. Вып. 2(10): Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: история и типология. С. 122–151.
- (*Мангейм 1998*) Мангейм К. Проблемы поколений // НЛО. 1998. № 2(30). С. 7–47.
- (*Маркс, Энгельс т. 7*) Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 7: Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1950 г.
- (*Маркс, Энгельс т. 23*) Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 23: Маркс К. Капитал. Т. 1.
- (*Маркс, Энгельс т. 46*) Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 46, ч. 1.
- (*Массовая информация 1980*) Массовая информация в советском промышленном городе: Опыт комплексного социологического исследования / Под общ. ред. Б.А. Грушина, Л.А. Ониква. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1980.
- (*Массовая коммуникация 1979*) Массовая коммуникация в социалистическом обществе / Под ред. А.В. Дмитриева, Н.С. Мансурова, Т. Сечке, П. Тамаша, Б.М. Фирсова. Л.: Наука, 1979.
- (*Массовая коммуникация 1981*) Массовая коммуникация в условиях научно-технической революции / Под ред. Б.М. Фирсова. Л.: Наука, 1981.
- (*Материалы Пленума ЦК КПСС 1983*) Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14 июня 1983 г. М., 1983.

- (*Методы изучения аудиторрии 1969*) Методы изучения аудиторрии английского радио и телевидения / Сост. Б.М. Фирсов. М.: Изд-во ССА, 1969. (Информ. бюл. ССА; № 41).
- (*Мертон 1965*) Мертон Р. Социология сегодня: проблемы и перспективы. М., 1965.
- (*Миллс 1959*) Миллс Ч. Властвующая элита. М.: Иностранная литература, 1959.
- (*Миронов 1999*) Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII–начало XX в.): В 2 т. СПб., 1999.
- (*Найман 1998*) Найман А. Славный конец бесславных поколений. М.: Вагриус, 1998.
- (*Немчинов 1955*) Немчинов В. Социология и статистика // Вопросы философии. 1955. № 5.
- (*Нора 1998*) Нора П. Поколение как место памяти // НЛО. 1998. № 2(30). С. 48–72.
- (*Ожидали ли перемен? 1991*) Ожидали ли перемен? (Из материалов экспертного опроса рубежа 70–80-х годов): В 2 кн. / Ред.-сост. А.Н. Алексеев. М.: Изд-во Ин-та социологии АН СССР (Ленингр. фил.), 1991.
- (*Оранский 1929*) Оранский С.А. Основные вопросы марксистской социологии. Л.: Прибой, 1929.
- (*Осипов 2008*) Осипов Г.В. Возрождение социологии в России: Доклад на научной сессии РАН, посвященной 50-летию создания первой отечественной социологической ассоциации и 40-летию первого академического института социологии (26 марта 2008 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://www.isras.ru/index/php?page\\_id=699](http://www.isras.ru/index/php?page_id=699)
- (*Осипов, Колбановский 1957*) Осипов Г.В., Колбановский В.В. Властвующая элита // Вопросы философии. 1957. № 5.
- (*Осипов, Москвичев 2008*) Осипов Г.В., Москвичев Л.Н. Социология и власть (как это было на самом деле). М.: ЗАО «Изд-во “Экономика”», 2008.
- (*Открывая Грушина 2010*). Открывая Грушина / Ред.-сост. М.Е. Аникина, В.М. Хруль. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010.
- (*Отцы и дети 2005*) Отцы и дети. Поколенческий анализ современной России / Сост. Ю. Левада, Т. Шанин. М.: НЛО, 2005.
- (*Пайпс 1997*) Пайпс Р. Россия при большевиках. М.: РОССПЭН, 1997.
- (*Памяти Юрия Александровича Левады 2011*) Памяти Юрия Александровича Левады / Сост. Т.В. Левада. М.: Издатель Карпов Е.В., 2011.
- (*Паперный 1996*) Паперный В. Культура Два. М.: НЛО, 1996.
- (*Петров, Давидович 1967*) Петров М.К., Давидович В.Е. На путях «к самопознанию науки» // Вопросы философии. 1967. № 3.
- (*Печчеи 1980*) Печчеи А. Человеческие качества. М.: Прогресс, 1980.
- (*Погорелов, Соколов 2005*) Погорелов Ф., Соколов М. Академические рынки, сегменты профессии и интеллектуальные поколения. Фрагментация петербургской социологии // Журн. социологии и социальн. антропологии. 2005. № 2. С. 76–92.
- (*Подгородников 1999*) Подгородников М. Слабый позвоночник // Знамя. 1999. № 9. С. 157–172.

- (*Поколения в науке 2009*) Поколения в науке // Антропологический форум. 2009. № 11. С. 17–132.
- (*Полвека борьбы и свершений 2008*) Полвека борьбы и свершений. М.: Вече, 2008.
- (*Померанцев 1953*) Померанцев В. Об искренности в литературе // Новый мир. 1953. № 12.
- (*Померанцев 1965*) Померанцев К. Во что верит советская молодежь // Новый журнал (Нью-Йорк). 1965. Кн. 68. С. 140–158.
- (*Попов 2005*) Попов А. Зарубежная Россия: Памяти Джорджа Фишера // Русская газета. № 29/2005. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://russkayagazeta.com/rg/gazeta/fullstory/fiber>
- (*Поппер 1992*) Поппер К. Открытое общество и его враги. М.: Феникс, Междунар. фонд «Культурная инициатива», 1992. Т. 2.
- (*Почти сорок лет спустя 2009*) Почти сорок лет спустя. Б. Докторов и Б. Фирсов вспоминают о ленинградских опросах общественного мнения в 1970-х гг. // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2009. № 3. С. 6–15.
- (*Пресса в обществе 2000*) Пресса в обществе (1959–2000). Оценки журналистов и социологов: Документы. М.: Моск. шк. полит. исслед., 2000.
- (*Проблемы деятельности ученого 1996*) Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. Вып. 10: Материалы VI сес. Междунар. шк. социологии науки и техники / Под ред. С.А. Кугеля. СПб.: С.-Петерб. гос. тех. ун-т, 1996.
- (*Пугачева 1999*) Пугачева М.Г. Семинарское движение в социологии 1960–1970-х годов: параллельная наука или «игра в бисер»? // Способы адаптации населения к новой социально-экономической ситуации в России / Под ред. И.А. Бутенко. М., 1999. С. 118–127.
- (*Распятые 2000*) Распятые. Писатели — жертвы политических репрессий. Вып. 6: Слово, взятое в цепи / Авт.-сост. З. Дичаров. СПб.: Русско-Балтийский информ. центр, БЛИЦ, 2000.
- (*Рассадин 2004*) Рассадин С. Книга прощаний: Воспоминания о друзьях и не только о них. М.: ТЕКСТ, 2004.
- (*Российская социологическая традиция 1994*) Российская социологическая традиция шестидесятых годов и современность: Материалы симп. 23 марта 1994 г. / Под ред. В.А. Ядова, Р. Гратхоффа. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1994.
- (*Российская социология шестидесятых 1999*) Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред. и авт. предисл. Г.С. Батыгин; Ред.-сост. С.Ф. Ярмолюк. СПб.: Изд-во Рус. христиан. гуманитар. ин-та, 1999.
- (*Россия/Russia 1998*) Россия/Russia. Новая серия / Под ред. Н.Г. Охотина. М.: О.Г.И., 1998. Вып. 1(9): Семидесятые годы как предмет истории русской культуры.
- (*Руткевич 2003*) Руткевич М.Н. Развитие философии и социологии в Уральском университете (40–70 гг. XX века). М.: Центр социального прогнозирования, 2003.

- (Рывкина 1988) Реакционные традиции и революционные требования // Век XX и мир. 1988. № 3. С. 21–25.
- (Свешникова 2009) Свешникова О. Юбилей Геродота: шестидесятническое прошлое в зеркале современной социологии // НЛО. 2009. № 98. С. 97–110.
- (Семенова 2002) Семенова В.В. Социальный портрет поколений // Россия реформирующаяся / Под ред. Л.М. Дробижевой. М.: Academia, 2002. С. 184–212.
- (Словарь синонимов 1971) Словарь синонимов русского языка: В 2 т. Л.: Наука, 1971. Т. 2.
- (Советский простой человек 1993) Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х / Отв. ред. Ю.А. Левада. М.: Мировой океан, 1993.
- (Солженицын 1991) Солженицын А.И. Образованщина // Новый мир. 1991. № 6. С. 43.
- (Сорокин 1992а) Сорокин П.А. Современное состояние России // Там же. 1992. № 4. С. 181–203.
- (Сорокин 1992б) Сорокин П.А. Современное состояние России // Там же. № 5. С. 161–191.
- (Сорокин 1993) Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1993.
- (Социальная траектория 1999) Социальная траектория реформируемой России: Исследования Новосибирской экономико-социологической школы / Отв. ред. Т.И. Заславская, Т.И. Калугина. Новосибирск: Наука (Сиб. предприятие РАН), 1999.
- (Социальные науки 2005) Социальные науки в постсоветской России / Под ред. Г.С. Батгыгина, Л.А. Козловой, Э.М. Свидерски. М.: Академический проект, 2005.
- (Социологическая литература 1995) Социологическая литература второй половины XIX–начала XX века: Библиографический указатель. М.: Онега, 1995. С. 9–10.
- (Социология в Ленинграде–Санкт-Петербурге 2008) Социология в Ленинграде–Санкт-Петербурге во второй половине XX века / Под ред. А.О. Боронова. СПб., 2008.
- (Социология в России 1998) Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. 2-е изд., перераб. и дополн. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998.
- (Социология в СССР 1965–1966) Социология в СССР: В 2 т. / Под ред. Г.В. Осипова. М., Мысль, 1965–1966.
- (Социология в СССР 2008) Социология в СССР: взгляд изнутри и извне в работах Геннадия Осипова, Джорджа Фишера, Ильи Земцова, Алекса Смирненко. М.: Вече, 2008.
- (Социология и власть 1997) Социология и власть: Документы и материалы. 1953–1968. Сборник 1 / Под ред. проф. Л.Н. Москвичева. М.: Academia, 1997. (Сер.: Социология и власть. 1950–1990: Документы и материалы).
- (Социология и власть 2001) Социология и власть: Документы. 1969–1972. Сборник 2 / Под ред. Л.Н. Москвичева. М.: Academia, 2001.

- (*Структурно-функциональный анализ 1968*) Структурно-функциональный анализ в современной социологии. М., 1968. (Информ. бюл. ССА; № 6).
- (*Тимашев 1958*) Тимашев Н.С. Две идеологии (Мысли о современном положении России) // Новый журнал. 1958. Кн. 53. С. 209–220.
- (*Тойнби 1991*) Тойнби А. Постигание истории. М., 1991.
- (*Тощенко 2007*) Тощенко Ж.Т. «Социология возродилась в нашей стране сначала как политическая витрина» // Социол. журн. 2007. № 4.
- (*Тощенко 2008*) Тощенко Ж.Т. Региональные социологические центры 1960–1970-х годов // Социол. исслед. 2008. № 6. С. 59–63.
- (*Травин 2006а*) Травин Д. Людмила Алексеева. Вызов системы // Дело. 2006. 21 авг.
- (*Травин 2006б*) Травин Д. Борис Фирсов. Мир за фасадом // Там же. 13 нояб.
- (*Травин 2007*) Травин Д. Федор Бурлацкий. Устроитель коммунизма // Там же. 2007. 12 февр.
- (*Тукумцев 2000*) Тукумцев Б.Г. Очерки истории первой самарской социологической лаборатории. Самара, 2000.
- (*Феноменов 1925*) Феноменов М. Современная деревня: Опыт краеведческого обследования одной деревни (деревня Гадыши, Валдайского уезда Новгородской губернии). М.: Л., 1925. Ч. 1–2.
- (*Филиппов 1997*) Филиппов А.Ф. О понятии «теоретическая социология» // Социол. журн. 1997. № 1–2. С. 3–37.
- (*Философ и социолог Борис Грушин 2001*) Философ и социолог Борис Грушин. В России кипит неслышанный бульон // Комсомольская правда. 2001. 19 февр.
- (*Фирсов 1967а*) Фирсов Б.М. Массовая коммуникация // Журналист. 1967. № 2. С. 50–52.
- (*Фирсов 1967б*) Фирсов Б.М. Среднего зрителя нет // Там же. № 12. С. 42–45.
- (*Фирсов 1968а*) Фирсов Б.М. О некоторых направлениях в деятельности Британской радиовещательной корпорации. М.: Изд-во Комитета по радиовещ. и телевид. при СМ СССР, 1968.
- (*Фирсов 1968б*) Фирсов Б.М. Ваше мнение о телевидении. М.: Изд-во Комитета по радиовещ. и телевид. при СМ СССР, 1968.
- (*Фирсов 1972а*) Фирсов Б.М. Телевидение и обучение. М.: Искусство, 1972 (в соавт. с Р.С. Прасоловым и А.И. Серобабинным).
- (*Фирсов 1972б*) Фирсов Б.М. Телевидение глазами социолога. М.: Искусство, 1972.
- (*Фирсов 1977*) Фирсов Б.М. Пути развития средств массовой коммуникации. Л.: Наука, 1977.
- (*Фирсов 1979*) Фирсов Б.М. Массовая коммуникация в условиях различных социальных систем: Дис. ... докт. философ. наук (специальность 09.00.09 – Прикладная социология). Л., 1979.
- (*Фирсов 1995*) Фирсов Б.М. Интеллектуалы, власть и коммуникация // Социол. журн. 1995. № 4. С. 21–30.
- (*Фирсов 1996а*) Фирсов Б. Элита и власть: историческая динамика отношений: Докл. на науч. семинаре «Элиты в посткоммунистических обществах» (Москва, 28–29 марта 1996 г.). СПб., 1996а. (Рукопись).

- (Фирсов 1996б) Фирсов Б. Как добивались послушания социологии // Социол. журн. 1996б. № 5. С. 82–94.
- (Фирсов 1997) Фирсов Б.М. Связь времен. Девять сюжетов о прошлом, настоящем и будущем. СПб.: Европейский Дом, 1997. С. 5–31.
- (Фирсов 2000) Фирсов Б.М. Как создавался курс по истории социологии 50-х–80-х гг. (рассказ в документах) // Журн. социол. и социальн. антропол. 2000. Т. 3, № 2. С. 154–169.
- (Фирсов 2001) Фирсов Б.М. История советской социологии 1950–1980-х годов: Курс лекций. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в С.-Петербурге, 2001.
- (Фирсов 2003) Фирсов Б.М. Ментальные миры современного российского населения // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2003. № 4. С. 4–9.
- (Фирсов 2004) Фирсов Б.М. Ментальные миры современного российского населения // Там же. 2004. № 5. С. 2–8.
- (Фирсов 2005) Фирсов Б.М. «...О себе и своем разномыслии...» // Там же. 2005. № 1. С. 2–12.
- (Фирсов 2006) Фирсов Б.М. Советская и постсоветская культура в исторической динамике: модернизация и культурная дифференциация // Культуральные исследования: Сборник науч. работ / Под ред. А. Эткинды, П. Лысакова. СПб.; М.: Изд-во Европейского ун-та в С.-Петербурге: Летний сад, 2006. С. 29–90.
- (Фирсов 2008) Фирсов Б.М. Разномыслие в СССР. 1940–1960-е годы: История, теория и практики. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в С.-Петербурге: Европейский Дом, 2008.
- (Фирсов 2009) Фирсов Б.М. О польских влияниях (интервью для книги «Последний польский миф: советские диссиденты о польских влияниях») // Новая Польша. 2009. № 10. [Интервьюер — Т.Ф. Косинова]. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.novopol.ru/index.php?id=1224>
- (Фишер 2008) Фишер Дж. Наука и политика. Новая социология в Советском Союзе. Итака (штат Нью-Йорк: Центр по изучению международных проблем Корнельского университета: 1964) // Социология в СССР: взгляд изнутри и извне в работах Геннадия Осипова, Джорджа Фишера, Ильи Земцова, Алекса Симиренко. М.: Вече, 2008. С. 343–396.
- (Фрумкина 2002) Фрумкина Р. Внутри истории. Эссе, статьи, мемуарные очерки. М., 2002.
- (Фуко 1999) Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999.
- (Хабермас 2006) Хабермас Ю. Первым почуять важное. Что отличает интеллектуала // Неприкосновенный запас. М.: НЛЮ, 2006. № 3(47). С. 5–13.
- (Хальтер 1998) Хальтер Г. Вкус свободы // Искусство кино. 1998. № 9.
- (Хартунг 1998) Хартунг К. Что Запад не видит на Востоке. Размышления в день объединения // Там же.
- (Худяков 1930) Худяков И. Записки каракозовца. М.: Молодая гвардия, 1930.
- (Цензура 2004) Цензура в Советском Союзе. 1917–1991: Документы / Сост. А.В. Блюм; Коммент. В.Г. Воловикова. М.: РОССПЭН, 2004.
- (Ципко 1986) Ципко А. Возможности и ресурсы кооперативов // Социол. иссл. 1986. № 2. С. 47–58.

- (*Человек и его работа 1967*) Человек и его работа / Под ред. А.Г. Здравомыслова, В.П. Рожина, В.А. Ядова. М.: Мысль, 1967.
- (*Человек и его работа 2003*) Человек и его работа в СССР и после: Учеб. пособие для вузов / Под ред. А.Г. Здравомыслова, В.А. Ядова. 2-е изд., исправ. и дополн. М.: Аспект Пресс, 2003.
- (*Человек советский 2000*) Человек советский десять лет спустя. 1989–1999 / Ю.А. Левада. От мнений к пониманию. Социологические очерки 1993–2000. М.: Моск. шк. полит. исслед., 2000. С. 438–476.
- (*Человек социалистического общества 1979*) Человек социалистического общества и процессы массовой коммуникации: Материалы 2-го совет.-венгер. симп., Ленинград, 17–23 сентября 1977 г. / Отв. ред. Т. Сечке и Б.М. Фирсов. Будапешт; Л.: Изд-во Науч. центра Венгер. радио и телевид., 1979.
- (*Человек социалистического общества 1980*) Человек социалистического общества и процессы массовой коммуникации: Материалы 3-го совет.-венгер. симп., Будапешт, 18–22 сентября 1979 г. / Отв. ред. Т. Сечке и Б.М. Фирсов. Будапешт; Л.: Изд-во Науч. центра Венгер. радио и телевид., 1980.
- (*Человек социалистического общества 1981*) Человек социалистического общества и процессы массовой коммуникации: Материалы 4-го совет.-венгер. симп., Ленинград, 2–6 июня 1980 г. / Отв. ред. Б.М. Фирсов и Т. Сечке. Л.; Будапешт: Наука, 1981.
- (*Человек социалистического общества 1983*) Человек социалистического общества и процессы массовой коммуникации: Материалы 5-го совет.-венгер. симп., Будапешт, 21–27 сентября 1982 г. / Отв. ред. Т. Сечке и Б.М. Фирсов. Будапешт; Л.: Изд-во Науч. центра Венгер. радио и телевид., 1983.
- (*Черняев 2008*) Черняев А. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991 годы. М.: РОССПЭН, 2008.
- (*Чудакова 1998*) Чудакова М. Заметки о поколениях в Советской России // НЛО. 1998. № 2(30). С. 73–91.
- (*Шереги 2006*) Шереги Ф. От издателя // В.Э. Шляпентох. Проблемы качества социологической информации: достоверность, репрезентативность, прогностический потенциал. М.: Центр социальн. прогнозирования, 2006. С. 9–10.
- (*Шляпентох 1970*) Шляпентох В. Социология для всех. Некоторые проблемы, результаты, методы. М.: Советская Россия, 1970.
- (*Шляпентох 2006*) Шляпентох В.Э. Проблемы качества социологической информации: достоверность, репрезентативность, прогностический потенциал. М.: Центр социальн. прогнозирования, 2006.
- (*Шляпентох 2007*) Шляпентох В.Э. Страх и дружба в нашем тоталитарном прошлом. СПб.: Изд-во журн. «Звезда», 2007.
- (*Шмелев 1985*) Шмелев Г. Социально-экономический потенциал семейного подряда // Социол. исслед. 1985. № 4. С. 14–21.
- (*Шмелев 1998*) Шмелев Н.П. Интеллигенция и реформы // Конгресс российской интеллигенции. Москва, 10–11 декабря 1997 г. СПб., 1998. С. 39–55.



- (Шубкин 1996) Шубкин В. Насилие и свобода. М.: На Воробьевых горах, 1996.
- (Щепаньский 1969) Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М.: Прогресс, 1969.
- (Эко 2000) Эко У. Пять эссе на темы этики. СПб.: Симпозиум, 2000.
- (Экономическая социология в России 2008) Экономическая социология в России. Поколение учителей / Сост. и отв. ред. В.В. Радаев. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2008.
- (Эренбург 1954) Эренбург И. Оттепель // Знамя. 1954. № 5.
- (Юбилейная научная сессия РАН 2008) Юбилейная научная сессия РАН // Социол. журн. 2008. № 2. С. 151–152.
- (Ядов 1968) Ядов В.А. Методология и техника социологических исследований. Тарту, 1968.
- (Ядов 1983) Ядов В. Отношение к труду: концептуальная модель // Социол. исслед. 1983. № 3. С. 50–63.
- (Ядов 1990) Ядов В.А. Размышления о предмете социологии // СОЦИС. 1990. № 2. С. 3–36.
- (Ядов 1995) Ядов В.А. Куда идет российская социология? // Социол. журн. 1995. № 1. С. 5–9.
- (Ядов 2008) Ядов В.А. Для чего нужна сегодня национальная русская социология? // Социол. исслед. 2008. № 6. С. 16–20.
- (Ядов 2011) Ядов В.А. Скверная история // Троицкий вариант. 2011, 6 дек. № 93. С. 8.
- (Яковлев 2001) Яковлев А. Омут памяти. М.: Вагриус, 2001.
- (Яницкий 2002) Яницкий О.Н. Семейная хроника (1852–2002). М.: Изд-во LVS, 2002.
- (Яницкий 2009) Яницкий О.Н. Досье инвайронменталиста. Очерк интеллектуальной биографии. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 2009.
- (A tömegkommunikáció 1980) A tömegkommunikáció a szocialista társadalom életében / Szerkesztette A.V. Dmitrijev, B.M. Firsov, N. Sz. Manszurov, Szecső Tamás, Tamás Pál. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980.
- (Becker 2001) Becker H. The Chicago School, So-Called. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://home.earthlink.net/~hbecker/chicago.html>
- (Becker, Boskoff 1954) Becker H., Boskoff A. (eds.). Modern Sociological Theory in Continuity and Change. New York, 1954.
- (Beliaev, Butorin 1982) Beliaev E., Butorin P. The Institutionalization of Soviet Sociology: Its Social and Political Context // Social Forces. December 1982. Vol. 61, N 2. P. 418–435.
- (City – Way of Life – Mass Communication 1984) City – Way of Life – Mass Communication: Report of the Third Soviet-Finnish Seminar. Tampere: University of Tampere, 1984.
- (Firsov 1997) Firsov B. The Elite and the Power in Russia (Historical dynamics of relations) // Elites in Transition. Elite Research in Central and Eastern Europe / Ed. by H. Best, U. Becker. Opladen: Leske und Budrich, 1997. P. 133–148.

- (*Firsov 2000*) Firsov B. Une histoire ordinaire, ou pourquoi Pitirim Sorokin n'a pas pu, au crepuscule de la vie, revoir la Russie // *Transitions / Bilan de la culture sovetique*. 2000. Vol. 10, no. 2 (Institut Europeen, Universite de Geneve). P. 211–219.
- (*Fisher 1964*) Fisher G. *Science and Politic: The New Sociology in the Soviet Union*. Cornell University Press, 1964.
- (*Fulop-Miller 1927*) Fulop-Miller R. *The Mind and the Face of Bolshevism*. New York, 1927. P. 243. (Цит. по: *Геллер М., Некрич А.* Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней: В 3 кн. М.: МИК, 1995. Кн. 1. С. 230–231).
- (*Gagnon 1989*) Gagnon A. The Role of intellectuals in Liberal Democracies: Political Influence and Social involvement // *Intellectuals in Liberal Democracies. Political Influence and Social Involvement* / Ed. by A.G. Gagnon. New York: Praeger, 1989. P. 3–15.
- (*Goode, Hutt 1952*) Goode W.J., Hutt P.K. *Methods in Social research*. New York: McGraw-Hill, 1952.
- (*Gouldner 1970*) Gouldner A. *The Coming Crisis of Western Sociology*. New York: Basic Books, 1970.
- (*Gouldner 1976*) Gouldner A. *The Dialectic of Ideology and Technology*. New York: Seabury, 1976.
- (*Gouldner 1979*) Gouldner A. *The Future of the Intellectuals and the Rise of the New Class*. New York: Seabury, 1979.
- (*Himmelweit et al. 1958*) Himmelweit H.T., Oppenheim A.N., and Vince P. *Television and the child: an empirical study of the effect of television on the young*. London: Published for the Nuffield Foundation by Oxford University Press, 1958.
- (*Hollander 1965*) Hollander P. *The Dilemmas of Soviet Sociology // Problems of Communism*. 1965 (November–December).
- (*Lane 1970*) Lane D. *Ideology and Sociology in the USSR // The British Journal of Sociology*. 1970. Vol. 21, N 1. P. 43–51.
- (*Man and His Work 1969*) *Man and His Work* / Ed. by A.G. Zdravomyslov, V.P. Rozhin, and V.A. Iadov; Transl. and ed. by S.P. Dunn. New York: International Arts and Sciences Press, Inc., White Plains, 1969.
- (*Merton 1960*) Merton R.K. *Sociology Today: Problems and Prospects*. New York, 1960.
- (*Merton, Riecken 1962*) Merton R.K., Riecken H.W. *Notes on the Sociology of the USSR // Current Problems in Socio Behavioral Research. Symposia Studies. Series N 10*. Washington: National Institute of Social and Behavioral Science, November 1962.
- (*Mills 1956*) Mills Ch.W. *The Power Elite*. New York, 1956.
- (*Parsons 1964*) Parsons T. *The Motivation of Economic Activities // Essay in Sociological Theory*. 1964. P. 53.
- (*Parsons 1965*) Parsons T. *An American Expression of Sociology in the Soviet Union // American Sociological review*. February 1965. Vol. 30. P. 121–125.
- (*Parsons 1968*) Parsons T. *The structure of Social Action. A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers*. 1968. Vol. 1.0.

- (*Shalin 1978*) Shalin D.N. The Development of Soviet Sociology: 1956–1976 // Annual Review of Sociology. 1978. Vol. 4. P. 171–191.
- (*Shalin 1990*) Shalin D. Sociology for the Glasnost Era: Institutional and Substantive Changes in Recent Soviet Sociology // Social Forces. 1990. Vol. 68. P. 1019–1039.
- (*Shlapentokh 1987*) Shlapentokh V. The Politics of the Sociology in the Soviet Union. Boulder; London: Westviewpress, 1987.
- (*Smith 1976*) Smith H. The Russians. New York: Quadrangle/New York Times Book, 1976. P. 557–682.
- (*Smith 1991*) Smith H. The New Russians. New York: Random House, 1991. P. 382–413.
- (*Social Role of Mass Communication 1982*) Social Role of Mass Communication. Report of the Second Finnish-Soviet Seminar. Tampere: University of Tampere, 1982.
- (*Szelenyi, Martin 1991*) Szelenyi I., Martin B. The Three Waves of New Class Theories and a Postscript // Intellectuals and Politics: social theory in a changing world / Ed. by Ch. C. Lemert. Newbury Park, CA.: Sage Publications, 1991. P. 19–30.
- (*Timasheff 1946*) Timasheff N. The Great Retreat. The growth and decline of communism in Russia. New York, 1946.
- (*Vivat, Ядов! 2009*) Vivat, Ядов! К 80-летию юбилею: Сборник. М.: Новый хронограф, 2009.
- (*Weinberg 1964*) Weinberg E. Soviet Sociology. 1960–1963. Cambridge: MIT Center for International Studies, 1964.
- (*Weinberg 1974*) Weinberg E. The Development of Sociology in the Soviet Union. London: Routledge & Kegan Paul, 1974.
- (*Yu 1972*) Yu F.T.C. Campaigns, Communication and Development // The Process and Effects of Mass Communication / Ed. by W. Schramm, D. Roberts. Chicago: Univ. of Illinois Press, 1972. P. 836–860.

# Именной указатель<sup>1</sup>

- Абуладзе Т. 322  
Аввакум 100  
Аганбегян А.Г. 222, 224, 302–303  
Адорно Т. 181  
Аитов Н.А. 102, 300  
Айтматов Ч.Т. 314  
Айхенвальд Ю.И. 75  
Акимов Н.П. 397  
Александр II 182  
Александров А.Д. 23  
Александров Г.Ф. 82, 82, 83  
Алексеев А.Н. 12, 16, 192, 192, 193–196, 196–197, 211, 211, 294, 294, 295, 295, 298, 330, 330, 331, 331, 334, 362, 376, 405  
Алексеев Б.К. 305, 305, 306–307, 309  
Алексеева Л.М. 428  
Аллик Я. 159–160  
Аллик Ю. 160  
Амальрик А.А. 124, 353, 353, 357  
Амбарцумов Е.А. 40  
Андреев Э.П. 335  
Андреева Г.М. 101, 137, 257, 423, 442  
Андреева Н.А. 315  
Андропов Ю.В. 44, 108, 267, 298–300, 310–311, 408, 436  
Аникина М.Е. 13  
Аннинский Л.А. 47  
Араб-Оглы Э.А. 100, 358  
Арбатов Ю.А. 101, 423, 426  
Аристотель 77  
Арон Р. 429  
Арутюнян Л.А. 322  
Арутюнян Ю.В. 101, 423  
Архангельский Л.М. 159  
Арцимович Л.А. 127  
Асеев Ю.А. 264  
Астафьев В.П. 314  
Ахиезер А.С. 99, 104–105, 297, 297–298  
Ахмадулина Б.А. 397  
Ахматова А.А. 72  
Бабосов Е.М. 300  
Бадхен А.С. 392  
Бакунин М.А. 61, 341  
Бармин 141  
Барраклоу 120  
Барулин В.С. 102  
Баскин М.П. 82, 82, 83  
Батищев Г.С. 157  
Баткин Л.М. 157  
Батыгин Г.С. 8, 8, 10, 12, 58, 65, 69, 82, 82, 83, 83, 91–92, 130, 296, 360–361, 362, 370, 379  
Бауман З. 45  
Бахтин М.М. 158  
Беккер Г. 281; *см. также* Becker Н.  
Белл Д. 341  
Беляева Л.А. 12, 84

<sup>1</sup> Курсивом выделены страницы, на которых встречаются фамилии авторов и редакторов цитируемых источников.

- Берви-Флеровский В.В. 59, 61  
 Берге, ван ден П. 264  
 Бергер П. 92  
 Бердяев Н.А. 64, 80, 82, 269  
 Берелсон Б. 235  
 Бессонова О.Э. 363  
 Бестужев-Лада И.В. 100, 101, 157  
 Библер В.С. 157  
 Бикбов А.Т. 328  
 Битов А.Г. 397  
 Блауберг И.В. 101, 423  
 Блюм Р.Н. 159  
 Бляхман Л.С. 306  
 Богданов А.А. 76  
 Богомолов О.Т. 316  
 Бойко В.И. 102  
 Боккль Г. 67  
 Борев Ю.Б. 161  
 Борин А.Б. 296  
 Бороноев А.О. 13  
 Боскофф А. 281  
 Брежнев Л.И. 12, 27, 37, 46, 108, 111,  
 148, 152, 167, 179, 267, 288, 292,  
 297, 313, 436  
 Броневицкий А.А. 392  
 Бубнов А.С. 76  
 Буковский В.К. 125  
 Булгаков М.А. 77  
 Булычева Г.Н. 405  
 Бунин И.А. 58, 165  
 Бурлацкий Ф.М. 47, 145, 316, 430  
 Бурмыкина О.Н. 377, 409  
 Бутенко И.А. 21, 21  
 Бухарин Н.И. 80–81, 81, 85, 88, 146  
 Бьорлинг Ф. 245–246
- Вайль П.Л.** 126, 126–128, 152, 152,  
 158, 268, 427, 427, 437  
 Варис Т. 312  
 Васьковская Е.И. 11, 16  
 Вахтин Б.Б. 398, 413  
 Вахтин Н.Б. 413  
 Вебер М. 62, 80, 82, 95, 137, 234, 253,  
 260–261, 275, 335, 414  
 Веллисте Т. 160  
 Вернадский В.И. 55, 55, 56, 56
- Вершик А.М. 396, 422  
 Веселовский В. 276  
 Визбор Ю.И. 221  
 Вихалемм П. 159  
 Воейков А.И. 182  
 Вознесенский А.А. 397  
 Волков В.В. 177, 177–178  
 Володин А.М. 397  
 Воннегут К. 209  
 Вооглайд Ю. 151, 159–160, 322  
 Воробьев В. 102  
 Выжutowич В.В. 295  
 Высоцкий В.В. 106
- Габиани А.А. 102  
 Гавриленко С.М. 328  
 Гайденок П.П. 159  
 Галансков Ю.Т. 142  
 Галич А.А. 221, 421  
 Гарфинкель Г. 290  
 Гаспаров М.Л. 343  
 Гвишиани Д.М. 238  
 Гегель Г. 142, 164  
 Геллер М.Я. 98, 122, 268, 353–354, 436  
 Генис А.А. 126, 126–128, 158  
 Генисаретский О.И. 184  
 Герман Ю.П. 397  
 Герцен А.И. 61  
 Герчиков В.И. 442  
 Гефтер М.Я. 139, 139, 144, 157, 192,  
 356  
 Гидденс Э. 94  
 Гиддингс Ф.Г. 62  
 Гилязитдинов Д.М. 102  
 Гинзбург А.И. 125, 142  
 Гиппиус З.Н. 72  
 Гириц К. 387; *см. также* Geertz С.  
 Глезерман Г.Е. 151, 257  
 Гоголь Н.В. 58, 165  
 Голиков Е. 160  
 Голод С.И. 300  
 Голосенко И.А. 12, 60, 60, 61–62, 62,  
 65, 67–68, 140, 140, 141, 255,  
 269, 272, 286, 379  
 Голосов В.Ф. 102  
 Голофастр В.Б. 103

- Горбачёв М.С. 53–54, 152, 239, 300, 302, 313–315, 319–320, 322, 327, 382, 411  
 Горбовский Г.Я. 397  
 Горбунов Н. 160  
 Гордин Я.А. 389, 397  
 Гордон Л.А. 146–147, 176, 234, 362, 442  
 Горячев Ф.С. 113  
 Гоулднер А. 264, 278, 282, 282, 283, 283–284, 285–287, 287, 288, 290, 290, 291, 291, 341, 341; *см. также* Gouldner А.  
 Гофман А.Б. 67–68, 157, 255  
 Гофман И. 290  
 Гранин Д.А. 397  
 Гратхофф Р. 8  
 Графова Л.И. 195  
 Грибоедов А.С. 78  
 Грин Х. 400  
 Гроздилова А.Д. 16  
 Гроссман В.С. 322  
 Грушин Б.А. 12–13, 40, 46, 89, 101, 132, 156, 159–160, 177, 179–180, 234, 236–239, 255, 257, 275, 299, 300, 305, 308, 308, 316–318, 320, 324, 330–331, 331, 332, 332, 348, 358, 405, 423–424  
 Губерман И.М. 164–165  
 Гуд В. 228, 251, 251, 252, 272; *см. также* Good W.J.  
 Гудков Л.Д. 169, 180, 180, 249, 249, 338, 347, 347  
 Гулыга А.В. 162  
 Гумплович Л. 62  
 Гурвич Г.Д. 88, 266  
 Гуревич А.Я. 157  
 Гус Я. 100  
 Гэлбрайт Д. 341  
 Гэллап Дж. (ст.) 311, 380, 406–407
- Давидович В.Е. 242  
 Давидюк Г.П. 102  
 Давыдов Ю.Н. 101, 142–143, 159, 335  
 Даль В.И. 420  
 Даниэль А.Ю. 121–122, 422
- Даниэль Ю.М. 221  
 Данилевский Н.Я. 61  
 Демичев П.Н. 23–24, 237  
 Де Роберти Е. 61–63  
 Джафарли Т. 305  
 Джилас М. 174  
 Джимбинов С.Б. 79  
 Джрназян Л.Н. 316, 316  
 Дилигенский Г.Г. 178, 178  
 Дмитриев А.В. 50  
 Догерти 120  
 Добров Г.М. 256  
 Довлатов С.Д. 397  
 Докторов Б.З. 10, 14, 16, 59, 59, 114, 241, 249, 304, 306–307, 360, 362, 377, 390, 391–405, 405, 406–416, 416, 417–438  
 Долгоруков, кн. 152  
 Достоевский Ф.М. 78, 397  
 Дубин Б.В. 348–349  
 Дубчек А. 208  
 Дунаев В.П. 404  
 Дэвис К. 264  
 Дюркгейм Э. 62, 80, 137, 253, 275
- Евтушенко Е.А. 397  
 Егоров Б.Ф. 249, 249  
 Ежи Лец С. 160, 164  
 Елизарова М.Г. 405  
 Ельцин Б.Н. 152, 319, 324, 411  
 Ефимов И. 397  
 Ефремов О.Н. 314
- Живов В.М.** 338  
 Жигульский Я. 276
- Загоскин М.Н. 75  
 Замошкин Ю.А. 101, 299, 316, 423  
 Замятин Е.И. 58, 77, 165  
 Заславская Т.И. 10, 13, 14, 16, 49, 49, 50, 50, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 59, 59, 102, 107, 218–219, 221–222, 222, 223–225, 275, 301, 303, 303, 304, 315, 315, 316, 316, 317–318, 318, 322–323, 323, 334, 347, 358, 360, 362–363, 364, 423

- Захаров М.А. 314  
 Здравомыслов А.Г. 10, 12, 16, 36, 45,  
     57, 58, 59, 84, 90, 101, 145–146,  
     227–228, 231, 251–252, 252, 259,  
     259, 263, 264, 306, 358, 360,  
     363–364, 364, 370, 404, 423, 442  
 Здравомыслова Е.А. 10, 15, 98, 322  
 Зиммель Г. 62  
 Зимянин М.В. 41  
 Зиновьев А.А. 101, 155, 162, 423  
 Знанецкий Ф. 275  
 Зомбарт В. 80, 82  
 Зошенко М.М. 221
- Иванов В.Н.** 41  
 Иванова Н.А. 11, 16  
 Изергина А.Н. 394  
 Ильенков Э.В. 142, 157, 162  
 Ильичев Л.Ф. 23, 121  
 Иовчук М.Т. 149  
 Ионин Л.Г. 255, 316, 317, 428  
 Итс Р.Ф. 377, 410
- Кабе Э.** 68  
 Кабо Е.О. 84, 84  
 Каблуков Н.А. 182  
 Каганович Л.М. 56  
 Калугина З.И. 363  
 Кантор В.К. 58, 165  
 Канторович Л.В. 101, 423  
 Капица П.Л. 127, 183  
 Кареев Н.И. 61–62, 64, 84  
 Карпинский Л.В. 47, 125, 145, 288,  
     358  
 Карпов Е.В. 13  
 Катерли Н.С. 144  
 Квасов Г.Г. 36, 114, 143  
 Кедров Б.М. 101, 256, 423  
 Келле В.Ж. 101, 171, 172, 250, 255,  
     258  
 Кен О.Н. 429  
 Кенкман П. 159–160  
 Кетегат А.А. 196, 211  
 Кивенко В.Д. 241–242  
 Ким Ю.Ч. 104, 221  
 Кириллин В.А. 121
- Кириллов С. 338–339  
 Кистяковский Б.А. 93  
 Клейн Л. 350  
 Клопов Э.В. 176, 234, 299, 362  
 Клосковска М. 276  
 Клячкин Е. 221  
 Кнаббе Г.С. 157  
 Ковалёв С.А. 122, 429  
 Ковалевский М.М. 12, 62–63, 88  
 Ковальзон М.Я. 256  
 Ковальский Н.А. 29  
 Ковач И. 403  
 Коган В.З. 159, 163  
 Коган Л.Н. 102, 149, 159, 163, 305  
 Кодуа Э.И. 442  
 Козлов В.А. 421, 425  
 Козлова Л.А. 12  
 Козловский В.В. 60, 62–65, 67–68,  
     389  
 Колбановский В.В. 91, 95, 100, 100,  
     132, 147–148  
 Колкер А.Н. 392  
 Колпакова И.А. 392  
 Кон И.С. 10, 13, 14, 16, 24, 40, 46,  
     77, 90, 101, 117–119, 119–120,  
     121, 121, 138–139, 141, 144, 159,  
     163, 167, 175, 228, 248, 248, 249,  
     249, 251, 251, 252, 252, 253–254,  
     254, 255, 255, 269, 316, 341, 348,  
     358, 360, 364, 365, 380, 407, 423,  
     429, 442  
 Кондратьев К.Я. 401  
 Кондратьев Н.Д. 64, 76  
 Константинов Ф.В. 22, 23, 229, 250,  
     256–257  
 Конт О. 57, 62, 67, 82, 94–95, 252, 275  
 Копелян Е.З. 397  
 Копнин П.В. 101, 423  
 Кордонский С.Г. 336  
 Корнев С. 244–245  
 Корниенко А.В. 377  
 Корнилов В.Н. 431–432  
 Коротич В.А. 317  
 Косыгин А.Н. 238  
 Кравченко С.А. 168, 168  
 Кренкель Э.Т. 428

- Крупская Н.К. 75  
 Кубо М. 160  
 Кугель С.А. 10, 13, 16, 50, 360, 365, 365  
 Кудрявцев В.Н. 101, 131, 131  
 Кузьменко В.П. 190  
 Куприн А.И. 58, 165  
 Куусинен О.В. 121  
 Кучинский Ю. 100, 101
- Лавров П.Л.** 61–62  
**Лажечников И.И.** 75  
 Лазар М.Г. 216, 216, 321, 439, 439  
 Лапенайте О.В. 11  
 Лапин Н.И. 101, 299, 358, 442  
 Лапин С.Г. 107, 402–403  
 Лассуэлл Г. 235  
 Лауристин М. 159, 322  
 Лебедев-Полянский П.И. 76, 76, 78  
 Левада Т.В. 13  
 Левада Ю.А. 12, 13, 45, 48, 101, 134, 136–137, 152, 152, 153–156, 159–160, 180, 181, 184, 185, 186, 186–189, 192, 192, 255, 264, 275, 301, 317, 336, 341, 344, 345, 348–349, 363, 418, 423, 442
- Левинсон А.Г.** 157  
 Леви-Стросс К. 184  
 Левитан Ю.Б. 430  
 Левыкин И.Т. 102, 300, 300  
 Легостаев В.М. 54  
 Ленин (Ульянов) В.И. 35, 71–72, 80–81, 85, 88, 93, 152, 250, 266, 279  
 Леонов Л.М. 221  
 Леонтович М.А. 127  
 Леонтъев А.А. 103  
 Лесевич В.В. 61  
 Лесков Н.С. 75, 78  
 Лигачев Е.К. 54  
 Лиленфельд П.Ф. 61  
 Лисичкин Г.С. 47, 166  
 Литтунен Ю. 312  
 Лихачев Д.С. 397  
 Лосев А.Ф. 77  
 Лосенков В.А. 405  
 Лотман Ю.М. 159, 249–250, 342
- Луман Н. 18  
 Лумис З. 264  
 Лумис Ч. 264  
 Луначарский А.В. 73  
 Лурье Л. 106
- Магун В.С.** 227  
**Мак-Ивер Р.** 261  
**Маклюен М.** 403  
**Маколи М.** 360–361  
**Максимова Э.М.** 295  
**Малин В.Н.** 23, 23  
**Мамардашвили М.К.** 145  
**Мангейм К.** 95, 139, 275, 344  
**Мандельштам О.Э.** 106, 152, 343, 438  
**Мао Цзэдун** 94  
**Марамзин В.Р.** 397  
**Марк Б.** 280  
**Марков Б.А.** 117  
**Маркс К.** 49, 67, 68, 68, 69, 81, 94, 123, 145, 164, 181, 181, 203, 229, 272, 279, 283–284, 286–288, 293, 299, 329, 340–341, 384, 433, 437
- Марр Н.Я.** 288  
**Мартиндейл Д.** 264  
**Марчук Г.И.** 54, 327, 411  
**Маршак С.Я.** 221  
**Махонин П.** 220  
**Маяковский В.В.** 92  
**Медведев Р.А.** 354  
**Мейерхольд В.Э.** 394  
**Мельников Г.И.** 102  
**Мертон Р.** 172, 253, 255, 257–258, 264, 278–279, 281, 283, 283, 322; *см. также* Merton R.
- Месяцев Н.Н.** 399, 402  
**Мечников И.И.** 182  
**Микулинский С.Р.** 256  
**Миллс Ч.Р.** 120, 264, 281  
**Милль Д.С.** 67  
**Милтс А.** 159  
**Милюков П.Н.** 64  
**Милютин Д.А.** 182  
**Миронов Б.Н.** 170, 170, 171, 171  
**Митин М.Б.** 23, 90  
**Михайлов Д.** 160



- Михайловский Н.К. 61–62  
 Модржинская Е.Д. 151  
 Можин В.П. 54  
 Молевич Е.Ф. 102  
 Момджян Х.Н. 151  
 Мор Т. 141  
 Москвичев Л.Н. 8, 12, 18–19, 36, 39–40, 42, 130, 238–239, 241–243, 254  
 Московский П.В. 400  
 Муздыбаев К. 405  
 Мур У. 264  
 Мурутгар А. 159
- Нагель Э.** 264  
 Найман А. 58, 58, 165, 166  
 Наумова Н.Ф. 442  
 Некрич А.М. 98, 122, 268, 353–354, 436  
 Немчинов В.С. 100, 100  
 Нечаева Н.А. 377, 405  
 Никитин Е.П. 257, 398  
 Николаев В.В. 32, 52  
 Николаева Т. 11  
 Николай I 67  
 Николай II 63  
 Новак С. 276  
 Нора П. 344  
 Норденстренг К. 312, 404  
 Носырев Д.Д. 409
- Ожегов С.И.** 421  
 Окуджава Б.Ш. 397  
 Олесневич О. 102  
 Ольшанский В.Б. 103, 358  
 Оников Л.А. 150, 235, 358  
 Оранский С.А. 81  
 Орбели И.А. 394  
 Орлов Б.С. 47  
 Оруэлл Дж. 138, 142, 433  
 Осипенко А.Е. 392  
 Осипов Г.В. 12, 18–19, 24, 36, 39–40, 42, 45, 59, 64, 100, 101, 130, 147–149, 151, 155, 238–239, 241–243, 254, 255, 326–328, 328, 358, 370, 423
- Островитянов К.В. 22  
 Островский А.Н. 58, 165  
 Острогорский М.Я. 88
- Павел I** 67  
 Павельсон М.Э. 442  
 Паевский В.В. 87  
 Пайпс Р. 70  
 Паперный В.З. 71  
 Парсонс Т. 94, 137, 172, 230, 253, 258–265, 281, 281, 282–284, 289–290; *см. также* Parsons T.  
 Парсонс Э. 260  
 Пастернак Б.Л. 245  
 Патрушев В.Д. 223  
 Пеликан И. 402–403  
 Петренко Е.С. 152, 155  
 Петров М.К. 242  
 Печчеи А. 183, 183  
 Пикассо П. 394  
 Пилипенко Н.В. 114, 257  
 Писарек В. 276  
 Писемский А.Ф. 78  
 Платонов Г.Д. 175  
 Плеханов Г.В. 88, 142, 273  
 Плимак Е.Г. 250  
 Плутник А. 295  
 Погорелов Ф. 351, 356  
 Подгородников М. 107  
 Полупортянцев М.Л. 161–164  
 Померанцев В.М. 98  
 Померанцев К. 127  
 Попов А.А. 280  
 Попова И.М. 442  
 Поппер К. 69, 69–70, 247, 247  
 Поремский В.Д. 25, 26  
 Поспелов П.Н. 23  
 Прайс Д. 241–242  
 Пруденский Г.А. 223, 251, 364  
 Прутков К. 161  
 Пугачёва А.Б. 106  
 Пугачёва М.Г. 140–141, 156, 156, 157, 157–158, 370  
 Путин В.В. 152  
 Пушкин А.С. 78, 180  
 Пъеха Э.С. 392

- Радаев В.В. 13  
Ракитов А.И. 101, 423  
Распутин В.Г. 314  
Рассадин С.Н. 430–431, 431, 432  
Ребане Я.К. 159  
Рекс Дж. 264  
Рикен Г. 278–279, 281; *см. также*  
Riecken G.  
Римашевская Н.М. 234, 318, 362  
Рисмэн Д. 259  
Рожин В.П. 251  
Розанов В.В. 268  
Розет С.М. 196  
Романов Г.В. 307, 309–311, 376–377,  
408  
Рост Ю. 295  
Рубинов А.З. 295  
Рубл Б. 10, 360, 365  
Рузвельт Э. 280  
Румянцев А.М. 24, 28–29, 29, 33–34,  
37, 37, 38, 45, 48, 131, 276, 316,  
401  
Руткевич М.Н. 13, 36, 38, 40, 41, 48,  
102, 153, 240, 249, 316  
Рыбаков А.Н. 322  
Рыбаковский Л.Л. 102  
Рывкина Р.В. 45, 157, 216, 216, 220,  
223, 225, 316, 316  
Рыжов К.И. 392  
Рябушкин Т.В. 40–41
- Садовский В.Н. 101, 423  
Салтыков-Щедрин М.Е. 320  
Саркисянц Г. 54  
Сатаров Г.А. 324  
Сафронов В.В. 377, 405  
Сахаров А.Д. 124, 127, 322, 325, 354–  
355  
Свешникова О. 12, 240  
Свидерски Э.М. 12  
Седов Л.А. 154, 159  
Селеньи И. 341  
Семенов В.Г. 392  
Семенов В.С. 101, 268, 268, 423  
Семенова В.В. 344  
Сервантес Мигель де 78
- Сергеев М.И. 102  
Сечке Т. 403  
Сигов И.И. 312  
Симонов К.М. 397  
Синявский А.Д. 221  
Скрябин Г.К. 254  
Смелсер Н. 264–265  
Смирнов Г.Л. 42, 235  
Смоктуновский И.М. 397  
Собчак А.А. 412  
Соколов М.М. 351, 351, 356  
Сократ 164  
Солженицын А.И. 107, 118, 122, 125,  
133, 232, 337, 337, 354–355, 429  
Соловьев Э.Ю. 162  
Солоухин В.А. 397–398  
Сорокин П.А. 24, 24, 25, 62–64, 80,  
85, 87–88, 93, 121, 167, 167, 182,  
182, 183, 183, 191, 191, 265–266,  
268–270, 352, 381, 385  
Соснин С. 192  
Соснора В.А. 397  
Софронов А.В. 107  
Спенсер Г. 62, 67, 94, 253, 275  
Спирidonов И.В. 395  
Сталин И.В. 19, 28, 33, 81, 90, 98,  
109–110, 127–128, 132, 142–  
143, 149, 152, 271, 280, 282, 288,  
316, 328, 337–338, 354, 395–  
396, 418, 421–422, 426  
Старовойтова Г.В. 322  
Стейнбек Дж. 397  
Степанов А.Д. 298, 300  
Степун Ф.А. 64  
Столлович Л.Н. 16, 158, 158, 159, 162;  
*см. также* Stolovitš L.  
Стронин А.И. 61  
Струве П.Б. 64, 80, 269, 342  
Стругацкие А.Н. и Б.Н. 127–128,  
208–209  
Суслов М.А. 28–29, 32–34, 36, 119,  
121  
Сухарев А.И. 102
- Талейран Ш. 147  
Тамаш П. 10, 171, 360, 366, 366, 403

- Тамм И.Е. 127  
 Тард Г. 80  
 Твардовский А.Т. 167  
 Тенишев В.Н., кн. 377, 410  
 Теннис Ф. 62  
 Тимашев Н.С. 64, 88, 352, 352, 353, 353, 410  
 Титма М. 159–160  
 Товстоногов Г.А. 397  
 Тойнби А. 245, 245  
 Толоконцев Н.А. 310  
 Толстиков В.С. 395, 400  
 Толстой Л.Н. 58, 165  
 Толубеев Ю.В. 397  
 Томилин С.А. 182  
 Тощенко Ж.Т. 50, 60, 60, 102, 102, 294  
 Травин Д.Я. 426, 426  
 Трапезников С.П. 36–37  
 Троицкий Л.Д. 85, 250  
 Трусов А.И. 131, 131  
 Туган-Барановский М.И. 82  
 Тукумцев Б.Г. 13  
 Туманова З.П. 393  
 Тургенев И.С. 58  
 Тынянов Ю.Н. 221
- Уайткер Я. 264  
 Уорд Л. 62  
 Успенский Л.В. 398  
 Ушаков Д.Н. 338
- Файнбург З.И. 102  
 Федоренко Н.П. 136  
 Федосеев П.Н. 35–36, 39, 49, 54, 254, 254, 256, 258  
 Феноменов А. 83, 83  
 Филиппов А.Ф. 168, 169, 240  
 Фирсов Б.М. 8–11, 16, 96, 106–107, 139, 141, 151, 159–160, 165, 171, 177, 196, 216, 248, 250, 255, 276, 286, 292–293, 311, 359–360, 371, 390, 390, 391–399, 399, 400–401, 401, 402–403, 403, 404–413, 413, 414, 414, 415–416, 416, 417, 417, 418–439, 442; *см. также* Firsov В.
- Фишер Дж. 263, 278, 280, 281, 281; *см. также* Fisher G.  
 Фишер Л. 280  
 Фокин В.В. 314  
 Фолкнер У. 416  
 Франк А. 264  
 Франк С.Л. 64, 80, 82, 269  
 Францев Ю.П. 82, 147  
 Фрейд З. 95, 121  
 Фролов С.Ф. 102  
 Фрумкина Р.М. 344, 344  
 Фуко М. 180, 343, 434, 434  
 Фурцева Е.А. 47  
 Фюельзак М. 18, 248
- Хабермас Ю. 342, 342, 344, 344  
 Хайдеггер М. 119  
 Хальтер Г. 190  
 Хартунг К. 191  
 Харчев А.Г. 50, 101, 159  
 Хатт П. 228, 251–252, 272; *см. также* Hutt P.K.  
 Херцберг Ф. 227–228, 232–233  
 Химмельвейт Х. 380, 399, 401; *см. также* Himmelweit H.  
 Химмельstrand У. 265  
 Хлебников Н. 61  
 Хмелько В.Е. 442  
 Хоманс Дж. 264, 290  
 Хохлюк Г.С. 102  
 Хруль В.М. 13  
 Хрущёв Н.С. 12, 28, 98–99, 104, 110, 127, 152, 171, 314, 354, 396, 425  
 Худяков И.А. 152
- Цветаева М.И. 106  
 Ципко А.С. 315, 315
- Чаадаев П.Я. 180  
 Чаянов А.В. 76  
 Че Гевара 94  
 Черненко К.У. 299–300  
 Чернов В.М. 64  
 Чернышевский Н.Г. 126  
 Черняев А.С. 299  
 Черчилль У. 268

- Чехов А.П. 58, 165  
 Чудакова М.О. 344, 378–379  
 Чуковский К.И. 221  
 Чупров А.А. 65  
 Чураев В.М. 395–396
- Шабанова М.А.** 363  
**Шалин Д.Н.** 10, 14, 16, 152–156, 255, 322, 324, 360, 366; *см. также* Shalin D.  
**Шамир И.** 128  
**Шанин Т.** 10, 16, 344, 360, 367, 388  
**Шафарж З.** 220  
**Швейцер А.** 202  
**Шейнис В.Л.** 145, 192  
**Шелепин А.Н.** 160  
**Шереги Ф.Э.** 10, 16, 19, 305, 360, 368, 369  
**Шкаратан О.И.** 10, 101, 306, 361, 369  
**Шляпентох В.Э.** 10, 13, 16, 19, 43–47, 47, 48, 48, 83, 83, 89, 118, 124–125, 157, 163, 223, 297, 361, 369; *см. также* Shlapentokh V.  
**Шмелёв Г.** 315, 315  
**Шмелев Н.П.** 338  
**Шпакова Р.П.** 255  
**Шпенглер О.** 82, 190  
**Шрамм У.** 235  
**Шубкин В.Н.** 10, 45, 92, 101, 133, 157, 222–223, 265–266, 266, 286, 299, 316, 361–362, 369, 370, 380, 423, 442  
**Шумилов В.Т.** 115–116  
**Шустрова Н.Я.** 192
- Щапов А.П.** 61  
**Щеголев Ю.А.** 196  
**Щедровицкий Г.П.** 156, 159  
**Щепаньский Я.** 45, 276–277  
**Щербатов М.М.** 182
- Эдельман О.В.** 425  
**Эйдельман Н.Я.** 107  
**Эйзенхауэр Д.** 280  
**Эко У.** 434, 434  
**Элброу М.** 94, *см. также* Albrow M.  
**Эллюль Ж.** 235  
**Энгельс Ф.** 68, 181, 203, 279  
**Эренбург И.Г.** 98, 98
- Юдин Б.Г.** 101, 423  
**Юдин П.Ф.** 23, 23, 270  
**Южаков С.Н.** 61  
**Юрский С.Ю.** 419  
**Юффит А.З.** 394
- Ядов В.А.** 8, 10, 13, 15, 17, 45–46, 46, 59, 90, 90, 93–94, 94, 101, 115, 117, 130, 137, 141, 149, 157, 159–160, 164, 172, 216, 226–227, 229, 231–233, 248, 251–252, 258, 276, 299–300, 300, 306, 316, 318–319, 326–327, 329, 329, 348, 349, 358, 361, 365, 370, 370, 374, 376, 378, 380, 399, 401, 411, 423, 439, 442  
**Яковлев А.Н.** 235, 314, 317, 317, 333  
**Яковлев Е.В.** 317  
**Якуба Е.А.** 102  
**Яницкий О.Н.** 13, 295–296  
**Янсон Ю.Э.** 182  
**Ярская В.Н.** 102
- Albrow M.** 94; *см. также* Элброу М.  
**Becker H.** 215, 281; *см. также* Беккер Г.  
**Beliaev E.** 278  
**Boskoff A.** 281  
**Butorin P.** 278
- Firsov B.** 139, 268; *см. также* Фирсов Б.М.  
**Fisher G.** 278, 280; *см. также* Фишер Дж.  
**Fulop-Miller R.** 335
- Gagnon A.** 340  
**Geertz C.** 387; *см. также* Гирц К.  
**Good W.J.** 251; *см. также* Гуд У.  
**Gouldner A.** 278, 282–283, 341–342; *см. также* Гоулднер А.

- Himmelweit H.** 399; *см. также* Химмельвейт Х.
- Hollander P.** 278
- Hutt P.K.** 251; *см. также* Хатт П.
- Lane D.** 278
- Martin B.** 341
- Merton R.** 278, 280, 283; *см. также* Мертон Р.
- Mills C.W.** 281
- Parsons T.** 261–262, 278, 281–282; *см. также* Парсонс Т.
- Riecken G.** 278, 280; *см. также* Рикен Г.
- Shalin D.** 278, 313, 315, 322, 324, 367; *см. также* Шалин Д.
- Shlapentokh V.** 43–46, 48, 97, 100, 102, 109–110, 114, 124, 134, 298, 313, 367; *см. также* Шляпентох В.
- Smith H.** 354
- Stolovitš L.** 158; *см. также* Столович Л.Н.
- Szelenyi I.** 341
- Tolstoy L.** 369
- Weinberg E.** 278
- Yu F.T.C.** 118

## Список сокращений

<i>Агитпроп</i>	— Отдел агитации и пропаганды при ЦК ВКП(б)
<i>АН СССР</i>	— Академия наук СССР
<i>АОН</i>	— Академия общественных наук при ЦК КПСС
<i>БАН</i>	— Библиотека Академии наук СССР (РАН)
<i>БСЭ</i>	— Большая Советская Энциклопедия
<i>ВАК</i>	— Высшая Аттестационная Комиссия
<i>ВКП(б)</i>	— Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
<i>ВЛКСМ</i>	— Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
<i>ВППШ</i>	— Высшая партийная школа
<i>ВСК</i>	— Всемирный социологический конгресс
<i>ВЦИК</i>	— Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
<i>ВЦИОМ</i>	— Всесоюзный (Всероссийский) центр изучения общественного мнения
<i>ВЦСПС</i>	— Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
<i>ВЧК</i>	— Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
<i>ВШЭ</i>	— Высшая школа экономики
<i>Генсек</i>	— Генеральный секретарь
<i>Главлит</i>	— Главное управление по делам литературы и издательств при Наркомпросе РСФСР
<i>Главполитпросвет</i>	— Главное управление политического просвещения Наркомпроса РСФСР
<i>Госкино</i>	— Государственный комитет по кинематографии
<i>Госкомиздат СССР</i>	— Государственный Комитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли СССР
<i>Госкомтруд СССР</i>	— Государственный Комитет Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы
<i>Госплан СССР</i>	— Государственная Комиссия СССР по планированию при Совете Труда и Обороне СССР при Совете Народных Комиссаров СССР
<i>ГПУ</i>	— Государственное политическое управление при НКВД РСФСР

- ГУ-ВШЭ — Государственный университет-Высшая школа экономики
- ГУЛАГ — Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения
- ДИН — Демографический институт АН СССР
- ЗАО — Закрытое акционерное общество
- ИКСИ АН СССР — Институт конкретных социальных исследований АН СССР (РАН)
- ИНИОН АН СССР — Институт научной информации по общественным наукам АН СССР (РАН)
- ИС РАН — Институт социологии АН СССР (РАН)
- ИСИ АН СССР — Институт социальных исследований АН СССР
- ИСПИ РАН — Институт социально-политических исследований РАН
- ИСЭП АН СССР — Институт социально-экономических проблем АН СССР (РАН)
- ИФИС — Институт философии и социологии
- ИЭиОПП — Институт экономики и организации промышленного производства Сиб. отделения АН СССР (РАН)
- КГБ СССР — Комитет государственной безопасности СССР
- КПСС — Коммунистическая Партия Советского Союза
- КУГИ — Комитет по управлению городским имуществом
- Л. — Ленинград
- ЛГУ — Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова
- Ленгорлит — Ленинградское городское управление по делам литературы и издательств (подчинялось Главлиту)
- Ленингр. — Ленинградский
- ЛСТ — Ленинградская студия телевидения
- М. — Москва
- МВШСЭН — Московская высшая школа социально-экономических наук
- МГК КПСС — Московский городской комитет КПСС
- МГУ — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- МИД СССР — Министерство иностранных дел СССР
- Моск. — Московский
- МСА — Международная социологическая ассоциация
- Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения РСФСР
- НГУ — Новосибирский государственный университет
- НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
- НЛО — Новое литературное обозрение
- НТР — научно-техническая революция
- НЭСШ — Новосибирская экономико-социологическая школа
- О.Г.И. — Объединенное гуманитарное издательство
- ОГПУ — Объединенное Государственное политическое управление
- ООН — Организация Объединенных Наций

- ПНР — Польшая Народная Республика  
*Пролеткульт* — Пролетарская культурно-просветительская организация — массовая культурно-просветительская и литературно-художественная организация пролетарской самодеятельности при Наркомпросе
- ПСР — планы социального развития  
 РАН — Российская академия наук  
 РГАНИ — Российский государственный архив новейшей истории  
 РК КПСС — районный комитет КПСС  
 РКП(б) — Российская Коммунистическая партия (большевиков)  
 РОССПЭН — Издательство «Российская политическая энциклопедия»
- РСДРП(б) — Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)  
 РСФСР — Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (1918–1922, с 1922 по 1991 в составе СССР)
- С.-Петербург* — Санкт-Петербург  
*Сиб.* — Сибирский  
 СМ СССР — Совет Министров СССР  
 СМИ — средства массовой информации  
 СМК — средства массовой коммуникации  
 СМУП — средства массовой устной пропаганды  
 Спб. — Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский  
 СПБИИ РАН — Санкт-Петербургский Институт истории РАН  
*Спецхран* — отдел специального хранения (в СССР специальный отдел в библиотеке, доступ к которому был ограничен)
- ССА — Советская социологическая ассоциация  
 СССР — Союз социологов России  
 СССР — Союз Советских Социалистических Республик (1922–1991)
- США — Соединенный Штаты Америки  
 ТМИ — теоретико-методологическая интеграция  
 УКГБ ЛО — Управление КГБ по Ленинградской области  
*Центротеатр* — Центральный театральный Комитет при Наркомпросе  
 ЦК ВКП(б) — Центральный Комитет ВКП(б)  
 ЦК КПСС — Центральный Комитет КПСС  
 ЦК КПЭ — Центральный комитет Коммунистической партии Эстонии
- ЦК РКП(б) — Центральный Комитет РКП(б)  
 ЦСУ СССР — Центральное статистическое управление СССР  
 ЦЭМИ — Центральный экономико-математический институт АН СССР (РАН)
- ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)



<i>авт.</i>	— автор	<i>отв.</i>	— ответственный
<i>авт.-сост.</i>	— автор-составитель	<i>перераб.</i>	— переработанный
<i>автореф.</i>	— автореферат	<i>полит.</i>	— политический
<i>бюл.</i>	— бюллетень	<i>предисл.</i>	— предисловие
<i>венгер.</i>	— венгерский	<i>прилож.</i>	— приложение
<i>вступит.</i>	— вступительный	<i>радиовещ.</i>	— радиовещание
<i>вып.</i>	— выпуск	<i>ред.</i>	— редактор
<i>г.</i>	— год	<i>ред.-сост.</i>	— редактор-составитель
<i>гг.</i>	— годы	<i>рус.</i>	— русский
<i>гл.</i>	— глава	<i>сер.</i>	— серия
<i>гос.</i>	— государственный	<i>сес.</i>	— сессия
<i>гуманитар.</i>	— гуманитарный	<i>сиб.</i>	— сибирский
<i>д.</i>	— дело	<i>симп.</i>	— симпозиум
<i>дис.</i>	— диссертация	<i>соавт.</i>	— соавтор
<i>дополн.</i>	— дополненный	<i>совет.</i>	— советский
<i>журн.</i>	— журнал	<i>сост.</i>	— составитель
<i>изд.</i>	— издание	<i>социальн.</i>	— социальный
<i>изд-во</i>	— издательство	<i>социол.</i>	— социологический
<i>им.</i>	— имени	<i>справ.</i>	— справочный
<i>ин-т</i>	— институт	<i>т.</i>	— том
<i>информ.</i>	— информационный	<i>телевид.</i>	— телевидение
<i>исправ.</i>	— исправленный	<i>тех.</i>	— технический
<i>исслед.</i>	— исследование	<i>у-нт</i>	— университет
<i>кн.</i>	— книга; князь	<i>учеб.</i>	— учебный
<i>конф.</i>	— конференция	<i>ф.</i>	— фонд
<i>л.</i>	— лист	<i>фил.</i>	— филиал
<i>лит-ра</i>	— литература	<i>философ.</i>	— философский
<i>междунар.</i>	— международный	<i>христиан.</i>	— христианский
<i>настоящ.</i>	— настоящий	<i>ч.</i>	— часть
<i>науч.</i>	— научный	<i>шк.</i>	— школа
<i>общ.</i>	— общий		
<i>общ-во</i>	— общество	<i>Ibid.</i>	— Ibidem (Там же)
<i>оп.</i>	— описание		

# Summary

## **B.M. F i r s o v. The History of Soviet Sociology: 1950s–1980s : Esseys**

The developing process of Russian sociology, aborted during the Stalin regime, resumed only in the late 1950s, after the 20<sup>th</sup> CPSU Congress. It is the goal of the second edition of this book to continue studies of the renaissance of this branch of science during the last decades of the Soviet Union. Its central topics remain the same: the role of sociologists in supporting and criticizing the Soviet system; a historical excursus into the realm of relations between the party / state power and the country's intellectual elite. In this edition the author uses new sources that allowed him to reconsider the varying social and political context of the Soviet society, the main theoretical and empirical works in sociology and their significance for reconstructing the social history of the Soviet Union and the phenomenology of Soviet society. It also allowed him to deepen his research on behavioral motivation of the sociological community based on the analysis of different academic schools, as well as most typical life-stories of individual scholars, and to suggest his own understanding of the ways Soviet sociology entered into the fields of the world sociology.

The book will be interesting for sociologists, historians and historians of science, as well as for lecturers and students who work at social sciences departments and for broader public interested in the development of social sciences in Russia.

# Contents

Author's Preface (2001) .....	8
Author's Preface (2012) .....	12
<i>Essay 1. Several viewpoints on the past of the Soviet sociology</i> .....	17
1.1. Introductory remarks .....	17
1.2. Documents from the dossier on rehabilitation of the Soviet sociology	19
1.3. The periods of the history of the Soviet sociology (Vladimir Shlapentokh's subjective version) .....	43
1.4. The state of sociological science in the light of <i>glasnost</i> at the time of <i>perestroika</i> .....	49
1.5. In lieu of a summary .....	55
<i>Essay 2. The formation of the science and the continuity of sociological tradition</i> .....	57
2.1. Introductory remarks .....	57
2.2. On the development of Russian sociological science .....	60
2.3. Political involvement of the Russian sociology .....	65
2.4. Marxism and the Russian sociology .....	67
2.5. On the mechanism of authoritarian command of the intellectual life ..	70
2.6. Marxism and the Soviet sociology in 1920s–1940s .....	79
2.7. Formation of gaps in the sociological knowledge .....	83
2.8. On the continuity of sociological tradition .....	89
2.9. General conclusion regarding the discipline's formation and development .....	94
<i>Essay 3. Sociology between society and power</i> .....	96
3.1. Introductory remarks .....	96
3.2. Sociology and the waves of radicalization in the country's political life	98
3.3. Sociological research and Soviet leaders. Manipulating the information .....	108
3.4. The influence of totalitarian ideology .....	112
3.5. The dissident role of Soviet sociologists .....	121
3.6. Society and the Soviet science: myths of the 1960s (A resume for the third essay) .....	125

<i>Essay 4. Subjective factors and motivation of the sociological activities</i> .....	129
4.1. Introductory remarks .....	129
4.2. Pluralism of goals of sociological activities .....	130
4.3. Sociologists and intellectual milieu .....	134
4.4. Six typical models of relations with power .....	137
4.5. Non-typical model number seven: an intellectually independent scholar .....	151
4.6. Back to the seminar movement of 1960s – 1970s .....	156
4.7. Reasons for cultural deficit of the sociological thought .....	165
 <i>Essay 5. Social history of the Soviet society and sociological research</i> .....	170
5.1. Introductory remarks .....	170
5.2. Sociological basis for reconstructing the social history .....	173
5.3. Sociological perspective of the social life development .....	177
5.4. Genesis of qualities of “the soviet personality” .....	181
5.5. In search of the true knowledge as a reflection of social history ....	192
 <i>Essay 6. Academic schools as the foundation and «crystallizers» of sociological science</i> .....	212
6.1. Towards the definition of an academic school .....	212
6.2. The role of ethical dimension .....	216
6.3. The Novosibirsk Economic-and-Sociological school .....	217
6.4. The formation of the Soviet school of the sociology of labor .....	225
6.5. The complex research project «Public opinion» («Taganrog project», 1967–1974) .....	234
6.6. On the significance of academic schools and the main obstacles to their development .....	240
6.7. The 21 <sup>st</sup> century: will it change anything in the fate of academic schools? .....	244
 <i>Essay 7. How bridges were thrown between Soviet and Western sociology: «self-made sociologists»</i> .....	248
7.1. Introductory remarks .....	248
7.2. In the beginning was the printed word .....	251
7.3. How Robert Merton came to the rescue of the Soviet sociology ....	255
7.4. Three stages of mastering Parsons .....	259
7.5. «Professor Sorokin? Where has he sprung from?» .....	265
7.6. Polish sociology: the East in the West or the West in the East? .....	270
7.7. Renascent Soviet sociology under the eyes of Western sociologists ..	278
7.8. Summary .....	290
 <i>Essay 8. Soviet sociology in the period of the perestroika changes</i> .....	292
8.1. A postscript to the Brezhnev period and pre-perestroika years ....	292
8.2. The Novosibirsk manifesto .....	301
8.3. Odyssey of party helpers .....	304
8.4. Struggle for regaining the original name .....	313

8.5. Sociological science in search of itself and a place in the changing society .....	320
8.6. The final: two events from the annals of Soviet sociology .....	326
<i>Essay 9. The Soviet sociology by the highest standards .....</i>	330
9.1. Boris Grushin's verdict ( <i>maxima</i> ) .....	330
9.2. Ambivalence of the social roles played by the Soviet social scholars .....	335
9.3. Sociological community in the mirror of generation analysis .....	344
9.4. «Bermuda triangle» of ideologies .....	350
Epilogue .....	358
<i>Appendix 1. Boris Firsov. How the course on the history of the Soviet sociology in the 1950s–1980s was developed (a story in documents) (2000) .....</i>	359
<i>Appendix 2. Boris Firsov. Interview to the «Journal of Sociology and Social Anthropology» (1999) .....</i>	371
<i>Appendix 3. Boris Firsov. Interview to the «Telescope» magazine (2005) ...</i>	390
<i>Appendix 4. Boris Firsov. Interview to «Sociological Journal» (2008) .....</i>	416
<i>Appendix 5. The Professional Code of Sociologists (1988) .....</i>	439
References .....	443
Index of Names .....	459
List of abbreviations .....	469
Summary .....	473

*Научное издание*

**Борис Максимович Фирсов**

**История советской социологии: 1950–1980-е годы  
Очерки**

*Учебное пособие*

Утверждено к печати Ученым советом  
Европейского университета в Санкт-Петербурге

Редактор, корректор *Е. И. Васьковская*  
Дизайн *А. Ю. Ходот*  
Оригинал-макет *А. Б. Левкина*

Издательство Европейского университета  
в Санкт-Петербурге  
191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 3  
e-mail: [books@eu.spb.ru](mailto:books@eu.spb.ru)  
тел.: +7 812 386 7627  
факс: +7 812 275 5139  
Сайт и интернет-магазин издательства  
[WWW.EUPRESS.RU](http://WWW.EUPRESS.RU)

Подписано в печать 02.05.12. Формат 60×90  $\frac{1}{16}$ .  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 30. Тираж 1000 экз.  
Заказ № 230

Первая Академическая типография «Наука»  
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12/28

**Книги по социологии, вышедшие в Издательстве  
Европейского университета в Санкт-Петербурге  
в 2010–2012 гг.**

Вадим Волков

СИЛОВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, XXI век, 2012. —

изд. 3-е, испр. и доп. — 352 с.

ISBN 978-5-94380-121-1

Здравомыслова Е., Темкина А., ред.

ЗДОРОВЬЕ И ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ: социологические подходы,

2012. — 324 с. — (Серия «Гендерная серия»; Вып. 3)

ISBN 978-5-94380-124-2

Виктор Вахштайн

СОЦИОЛОГИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ И ТЕОРИЯ ФРЕЙМОВ,

2011. — 334 с. — (Серия «Прагматический поворот»; Вып. 4)

ISBN 978-5-94380-117-4

Хархордин О.В., ред.

ОТ ОБЩЕСТВЕННОГО К ПУБЛИЧНОМУ, 2011. — 530 с. —

(Серия «Res Publica»; Вып. 5)

ISBN 978-5-94380-115-0

Фирсов Б.М., ред. РАЗНОМЫСЛИЕ В СССР И РОССИИ.

Сборник материалов научной конференции. 15–16 мая 2009 в

ЕУСПб, 2010. — 366 с.

ISBN 978-5-94380-103-7

Анна Роткирх. МУЖСКОЙ ВОПРОС. Любовь и секс

трех поколений в автобиографиях петербуржцев, 2011. —

390 с. — (Серия «Гендерная серия»; Вып. 2)

ISBN 978-5-94380-109-9

Здравомыслова Е., Пасынкова В., Темкина А., Ткач О., ред.

ПРАКТИКИ И ИДЕНТИЧНОСТИ. Гендерное устройство, 2010. —

326 с. — (Серия «Гендерная серия»; Вып. 1)

ISBN 978-5-94380-105-1

Готовится к изданию:

Борис Докторов. РОССИЙСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ: история в био-  
графиях, биографии в историях

ИЗДАТЕЛЬСТВО  ЕВРОПЕЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

# ЧИТАЙ ЕУ

книжный интернет-магазин

[www.eupress.ru](http://www.eupress.ru)



**актуальные  
исследования**

**антропология  
искусство  
история  
культурология  
политология  
социология  
философия**

Европейский университет  
в Санкт-Петербурге

СПб., ул. Гагаринская, 3  
Тел.: +7 (812) 579-21-33  
Э-почта: [mail@eupress.ru](mailto:mail@eupress.ru)





Фирсов Борис Максимович (р. 1929)

доктор философских наук, профессор, почетный ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге, почетный доктор университета Хельсинки. Проходил социологические стажировки в Лондонской школе экономики и политики и на Би-Би-Си (1967); в штаб-квартире ЮНЕСКО (1972); Институте Дж. Гэллага (1977); в Японской радиовещательной корпорации Эн-Эйч-Кей (1978); в ряде ведущих университетов США (1991). Visiting professor в университете Ганновера (1994), research fellow в Институте Кеннана, США (2004). Руководил проектом изучения качества населения Санкт-Петербурга (1993–1996). Его проект «Ментальные миры современного российского населения» был поддержан Фондом Макаруров и Фондом Форда (2004–2007). Автор 215 научных работ по вопросам изучения общественного сознания, массовой коммуникации, общественного мнения, истории советской социологии, часть которых была опубликована за рубежом (Болгария, Венгрия, Германия, Польша, США, Финляндия, Франция, Чехословакия, Япония).

...Даже искренно выраженные переживания, свободные от предвзятости или, наоборот, от холода отрешенности, не гарантируют полной достоверности наблюдений, особенно если «наблюдатель наблюдает самого себя». Помня об этом, я пользовался не столько личным опытом социологической деятельности, сколько опытом других, кристаллизованным в документах, личных свидетельствах и воспоминаниях моих многочисленных коллег по социологическому сообществу. Поэтому в основе профессиональной мотивации, побудившей меня выступить в роли летописца, лежит скорее соавторство, чем авторство. Я готов отнести эту книгу к жанру коллективного повествования о том, что случилось с социологией и социологами в период, который охватывает четыре непростых десятилетия жизни советского государства — 50–80-е годы XX столетия. Но, как автор, я намереваюсь убедить читателя, что так было, но, правда, могло быть и иначе. Как было на самом деле предстоит открывать еще не одному поколению исследователей...

ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Борис Фирсов

